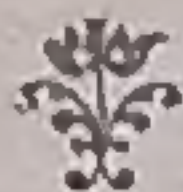


РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Хрестоматия
для 8 класса
Гречей Лидии

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

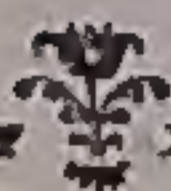
*Хрестоматия
для 8 класса
средней школы*



СОСТАВИЛИ
Н. Л. БРОДСКИЙ и И. Н. КУБИКОВ

Издание двадцать шестое

Утверждено
Министерством просвещения РСФСР.



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Москва 1969

8(075)
588

ДРЕВНЯЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Летопись

Древнерусское летописание началось в XI в. и кончилось в XVI в. В начале второго десятилетия XII в. была составлена в Киеве «Повесть временных лет». Составление и обработка её приписываются монаху Нестору.

Как южные славяне, так и русские книжники черпали исторические сведения из греческих «хронографов» (т. е. «летописей»), где к описанию исторических судеб Византии присоединялись известия о русских событиях (о взятии Киева Аскольдом и Диром, о походах русских князей на Византию и пр.). Рост национального самосознания политически и культурно окрепшей Киевской Руси вызвал в среде русских книжников стремление создать историю своей земли независимо от истории чужой страны. Эта цель ясно видна из первых слов русской летописи: «Се повести временных лет, откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуда Русская земля стала есть». Многочисленные составители летописей в разных областях древней Руси пользовались как письменными источниками, так и устными преданиями, нередко сказочно-легендарными.

Приведённые отрывки из летописи были его в церкви славянского языка на русский.

...заложил: при нем она была выстроена, на-
...но достать, стоя на коне. Был же Мстислав плотен
...сен лицом, с большими глазами, храбр на войне, мило-
...чень любил дружину, не щадил для неё имущества, не

В 946 ал в питье и еде. После него всю его власть унаследовал
чал собиъ и стал единовластцем Русской земли.

много

рил м

пеки

ЯРОСЛАВ. ЗАБОТЫ О ПРОСВЕЩЕНИИ

ном В 1037 году. Ярослав начал строить в Киеве большую город-
в пою ограду, у которой есть Золотые ворота; основал и церковь
святой Софии, митрополичью, и после этого церковь святого бла-
говещения богородицы, что на Золотых воротах, после этого мо-
настыри св. Георгия и св. Ирины. При нём вера христианская на-
чала широко распространяться, умножились монахи и начали ос-
новываться монастыри. Ярослав любил церковные уставы, очень

князь печенежский к реке, вызвал Владимира и сказал ему: «Выставь ты своего воина, а я своего: пусть борются; если твой ударит об землю моего, то не будем воевать три года, если мой — твоего, то будем три года воевать». И они разошлись. Владимир же, вернувшись в стан, послал глашатаев с такими словами: «Нет ли такого воина, который бы взялся биться с печенегом?» И нигде такого воина не находилось. На другой день утром приехали печенеги и привели с собой своего воина, а у наших не было. И начал Владимир тужить, и послал опять по всем своим войскам. И пришёл один старик к князю и сказал ему: «Князь! Есть у меня один сын, младший, дома; я вышел воевать с четырьмя, а он остался; с самого его детства никто не мог его побороть; раз когда я его бранил, а он мял кожу, он рассердился на меня и разорвал кожу руками». Князь, услышав это, обрадовался, послал за ним, и привели его к князю, и князь рассказал ему всё, а он сказал князю: «Князь! Не знаю, могу ли я, надо меня испытать: нет ли большого и сильного быка?» И нашли большого и сильного быка, и он приказал его разъярить; быка прижгли раскалённым железом и пустили; бык побежал мимо него, он схватил быка рукою за бок и вырвал кожу с мясом, сколько захватила рука. И сказал ему Владимир: «Можешь с ним бороться». И на другой день утром пришли печенеги и начали кричать: «Разве нет у вас воина? Наш уже готов». А Владимир в эту ночь велел воинам надеть оружие. Печенеги выставили своего воина, и был он очень велик и страшен; и вышел воин Владимира; посмотрел на него печенег и рассмеялся, потому что он был среднего роста. Разместили место между обоими полками, пустили борцов друг на друга; они схватились, и наш удавил печенега, и все вскрикнули; печенеги и прогнали его из города и напали на лагерь у печенег. Потом

для сды дружинне и сказал так: «Серебром и золотом я не найду себе дружины, а с дружиною добуду и серебра, и золота, как дед мой и отец добыли дружиною серебра и золота». Владимир ведь любил дружинну и совещался с ней об устроении своей земли, о войнах, о земских порядках.

БОЙ МСТИСЛАВА С РЕДЕДЕЮ

В 1012 году. Когда Мстислав был в Тмуторокани, он пошёл на касогов¹. Услышав же это, князь касожский Редедя вышел против него, и когда оба полчища стали друг против друга, Редедя сказал Мстиславу: «Зачем мы будем губить войско? Сойдёмся сами бороться: если ты одолеешь, то возьмёшь моё имение, и жену мою, и детей моих, и землю мою; если я одолею, то возьму всё твоё». И сказал Мстислав: «Пусть будет так». И сказал Редедя Мстиславу: «Сойдёмся не с оружием, а на простую борьбу». И принялись они крепко бороться. Они долго боролись, Мстислав стал изнемогать, потому что Редедя был велик и силен. И сказал Мстислав: «О, пречистая богородица! помоги мне; если я его одолею, построю церковь во имя твоё». И сказавши это, ударил им о землю, и, извлекши нож, зарезал Редедю. Пойдя в его землю, он взял всё его имение, жену его и детей его и наложил дань на касогов. И, вернувшись в Тмуторокань, он заложил церковь святой богородицы и построил её. Она стоит и до сих пор в Тмуторокани.

МСТИСЛАВ

В 1034 году. В 1035 году. В 1036 году. Мстислав поехал на охоту, разболелся и умер, и положили его в церкви святого Спаса, которую он сам заложил: при нем она была выстроена, насколько можно достать, стоя на коне. Был же Мстислав плотен телом, красен лицом, с большими глазами, храбр на войне, милостив; он очень любил дружинну, не щадил для неё имущества, не отказывал в питье и еде. После него всю его власть унаследовал Ярослав и стал единовластцем Русской земли.

ЯРОСЛАВ. ЗАБОТЫ О ПРОСВЕЩЕНИИ

В 1037 году. Ярослав начал строить в Киеве большую городскую ограду, у которой есть Золотые ворота; основал и церковь святой Софии, митрополичью, и после этого церковь святого благовещения богородицы, что на Золотых воротах, после этого монастыри св. Георгия и св. Ирины. При нём вера христианская начала широко распространяться, умножились монахи и начали основываться монастыри. Ярослав любил церковные уставы, очень любил священников, особенно монахов, прилежно читал книги

¹ Касоги — черкесы.

ночью и днём. И собрал он многих писцов, приказывал переводить с греческого на славянское письмо, и списали они много книг; он и приобрёл много книг, поучаясь которыми, верующие люди наслаждаются божественным учением. И как бывает, что один распахнет землю, другой посеет, а третьи пожинают и едят нескучную пищу, так и он. Его отец Владимир распахал и размягчил, т. е. просветил крещением, он засеял книжными словами сердца верующих людей, а мы пожинаем, усваивая книжное учение. Великая бывает польза от книжного учения: книгами мы учимся и наставляем на путь покаяния; от книжных слов приобретаем мы мудрость и воздержание; они ведь реки, напоющие вселенную, они источники мудрости, в книгах неисчётная глубина, ими мы в печали утешаемся, они узда воздержания...

Героический эпос

СЛОВО О ПЪЛКУ ИГОРЕВЕ,
ИГОРЯ, СЫНА
СВЯТЬСЛАВЛЯ,
ВНУКА ОЛЬГОВА

СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ,
ИГОРЯ, СЫНА
СВЯТОСЛАВОВА,
ВНУКА ОЛЕГОВА

Не лепо ли ны бяшеть, братие, начати старыми словесы трудных повестий о плъку Игореве, Игоря Святъславлича¹? Начати же ся тѣй песни по былинамъ сего времени, а не по замышлению Бояню². Боян бо вещий, аще кому хотяше

Перевод.

Не лучше ли нам, братия, начать на старинный лад печальную повесть о походе Игоря Святославича? Начнём же эту повесть по былям нашего времени, а не по замышлению Бояна. Ибо вещий Боян, если хо-

¹ Игорь Святославович (1151—1202) — князь новгород-северский, двоюродный брат киевского князя Святослава. В апреле — мае 1185 г. предпринял набег на половцев с войском примерно в 5 тысяч человек. Русские дружины в степи встретили небольшой отряд половцев, которые, «пустив по стреле», бежали. Молодые князья — сын Игоря Владимир и племянник Святослав из Рыльска — бросились в погоню, разбили половцев и взяли богатую добычу. Но на следующий день русские были «со всех стран» окружены превосходящими силами половцев. Огромное войско половцев, видимо, уже шло на Русь, и Игорю пришлось принять на себя удар, предназначавшийся всей Русской земле. В жестоком бою, в котором Игорь приказал конным спешиться, чтобы не оставить пешее войско, русские понесли жестокие потери. Все четыре князя, участвовавшие в походе, попали в плен. Это горестное событие имело еще и особое значение — только что союзные княжеские войска победили половецкого хана Кобяка, взяли его в плен, и вдруг опять маленький отряд русских воинов терпит тягостный урон. Между 1185 и осенью 1187 г. было написано «Слово о полку Игореве» — взволнованное обращение к русским князьям объединить свои военные силы «за землю Русскую».

² Боян — певец. Автор «Слова» хочет писать не по художественным замыслам Бояна, но изменяет своему намерению и широко применяет традиционные приемы устной народной поэзии. Поэтическое творчество Бояна относилось, по «Слову», к двум последним третям XI и к началу XII в.

песнь творити, то растекашется мыслию по древу, серым вълком по земли, шизым орлом под облакы. Помняшетъ об рече първых времен усобице. Тогда пущашеть 10 соколовъ на стадо лебедей: которыи дотечаше, та преди песнь пояше старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже зареза Редедю пред пълкы касожьскими, красному Романови Святъславличу¹. Боян же, братие, не 10 соколовъ на стадо лебедей пущаше, нъ своя вещиа прѣсты на живая струны вѣскладаше; они же сами князем славу рокотаху².

Почнем же, братие, повесть сию от старого Владимира³ до нынешняго Игоря, иже истягну умъ крепостию своею и поостри сердца своего мужеством, наплънився ратнаго духа, наведе своя храбрыя пълкы на землю Половецкую за землю Руськую.

Тогда Игорь възре на светлое солнце и виде: от него тьмою вся своя воя прикрыты. И рече Игорь к дружине своей: «Братие и дружино! лучше бы потяту быти, неже полонену быти; а всядем, братие, на свои брѣзья комони, да позримъ синяго Дону». Спала князю умъ похоти, и жалость ему знамение заступи искусити Дону великаго. «Хощу бо, рече, копие приломити конецъ

тел создать песню, то растекался мыслью по дереву, серым волком по земле, сизым орлом под облаками. Сказывают, он помнил усобицы старых времён. Тогда пускал он десять соколов на стадо лебедей: до которой сокол долетал, та первая запевала старому Ярославу, или храброму Мстиславу, зарезавшему Редедю перед полками касожскими, или прекрасному Роману Святославичу. Но Боян, братия, не десять соколов напускал на стадо лебедей, а свои вещие персты на живые струны возлагал, и они сами славу князьям рокотали.

Начнём же, братия, эту повесть от старого Владимира до нынешнего Игоря, который укрепил свой ум, заострил сердце мужеством и, исполненный ратного духа, повёл свои храбрые полки на землю половецкую за землю Русскую.

Тогда Игорь взглянул на светлое солнце и увидел, что всё его войско покрыто тьмой. И сказал Игорь дружине своей: «Братия и дружина! лучше быть убитыми, чем полонёнными; сядем, братия, на своих борзых коней да посмотрим синего Дона». Вспала князю на ум охота, и жажда ему знамение заслонила — испытать Дону великаго. «Хо-

¹ *Ярослав Мудрый* — князь, умер в 1054 г.; его брат *Мстислав*, князь черниговский, о котором рассказано в летописи, как он победил один на один черкесского силача (богатыря) Редедю, умер в 1036 г. *Роман*, князь тмутороканский, внук Ярослава, умер в 1079 г.

² Это сравнение рисует картину древнерусской соколиной охоты.

³ *Владимир Мономах* (1053—1125) княжил в пограничной со степью Переяславской области и предпринимал частые походы против половцев.

поля половецкого; с вами, Русичи, хочу главу свою приложить, а любо испити шело-
момъ Дону».

О Бояне, соловню старого времени! Абы ты сиа плъкы ушекотал, скача, славию, помыслену древу, летая умом под облакы, свивая славы обаполь сего времени, рища в тропу Трояню¹, чрез поля на горы! Пети было песнь Игоревн, того внуку: «Не буря соколы занесе чрез поля широкая; галици стады бежать к Дону великому». Чи ли въспети было, вешей Бояне, Велесовъ внуче: «Комони ржутъ за Сулою²; звенить слава в Кыеве».

Трубы трубятъ в Новеграде³, стоять стязи в Путивле; Игорь ждет мила брата Всеволода. И рече ему буй-тур⁴ Всеволод: «Один брат, один свет светлый ты, Игорю! Оба есве Святъ-славличя. Седлай, брате, свои бръзыи комони, а мои ти готови, оседлани у Курьска наперед. А мои ти Куряни сведоми къмети: под трубами пови-ти, под шеломи възлелеяни, конец копия въскръмлени; пути имъ ведоми, яругы имъ знаеми, луци у них напряжени, тули отворени, сабли изъострени, сами скачють, акы серыи влъци в поле, ищучи себе чти, а князю славы».

¹ Земля (тропа) Трояна — вероятно, Траянов вал, устроенный римским императором Траяном (98—117 гг. н. э.) для ограждения завоеванной им Дакии (на месте нынешней Румынии и Бессарабии) от нападений кочевников-скифов.

² Сула — приток Днепра.

³ Новгород-Северский — удельный город князя Игоря на реке Десне.

⁴ Тур — от греческого слова таuros — бык, зубр.

чу, — сказал он, — поломать копье о конец поля половецкого; с вами, русские, хочу свою голову положить, либо напиться шлемом из Дона».

О Боян, соловей старого времени! Если бы ты воспел эти полки, скача, как соловей, по воображаемому древу, летая умом под облаками, свивая славу обеих половин этого времени, мчась по тропе Троян-вой, через поля на горы! Нача-лась бы песнь в честь Игоря, внука Олега: «Не буря занес-ла соколов через поля широ-кие; (не) галки стаями бегут к Дону великому». Или так бы ты запел, веший Боян, внук Ве-леса: «Кони ржут за Сулой, звенит слава в Кыеве».

Трубы трубят в Новгороде, стоят боевые знамена в Путив-ле, Игорь ждет милого брата Всеволода. И сказал ему буй-тур Всеволод: «Один брат, один свет светлый ты, Игорь! Оба мы с тобой Святославичи. Сед-лай, брат, своих борзых коней, а мои уже готовы, осёдланы, впереди у Курска. А мои куря-не — опытные воины: под тру-бами пеленаны, под шлемами взлелеяны, с конца копья вскор-млены, дороги им известны, овраги знакомы, луки у них на-тянуты, колчаны открыты, саб-ли заострены, сами скачут, словно серые волки в поле, ища себе чести, а князю — славы».

зла
му
пут
ему
зве
чет
шат
и Г
рож
тор

А
гам
му;
рци-
к Д
ды е
влъц
гам;
звер
чрьл
земле

Дл
свет
крыла
говор
велик
прегор
а княз

Съ
таша
кыя; и
полю
полове
паволо
Орьтъм
жухы на
болотам
всякими
ми. Чрь
чрьлена

Тогда вступил Игорь князь в злат стремя и поеха по чистому полю. Солнце ему тьмою путь заступаше; ночь, стонуши ему грозою, птицъ убуди; свист зверинъ вста близъ. Див кличет врѣху древа, велит послушати земли незнаеме — Влѣзе и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, Тмутороканьскый блѣван!

А Половцы неготовами дорогами побегоша к Дону великому; крычат телеги полунощы, рци—лебеди роспужены. Игорь к Дону вой ведет. Уже бо беда его пасет птицъ по дубию; влѣци грозу въсрожат по яругам; орли клеткомъ на кости звери зовут; лисици брешут на чръленыя щиты. О Руская земле! уже за-шеломанем еси!

Длѣго ночь мръкнет; заря — свет запалила: мѣгла поля покрыла; щекот славий успе; говор галичъ убудися. Русичи великая поля чрълеными щиты прегородиша, ищучи себе чти, а князю славы.

Съ зарания в пятѣкъ потопташа поганыя плѣкы половецкыя; и, рассушясь стрелами по полю помчаша красныя девкы половецкыя, а с ними злато, и паволокы и драгыя оксамиты. Орьтѣмами и япончицами и кожухы начаша мосты мостити по болотам и грязивым местом, и всякими узорочьи половецкыми. Чрълен стяг, бела хорюговъ, чрълена чолка, сребрено стру-

Тогда князь Игорь вступил в золотое стремя и поехал по чистому полю. Солнце тьмою застилало ему путь; ночь стонала грозою, перебудила птиц; поднялся близко свист звериный. Див (ночное чудовище) кличет на верху древа; велит послушать земле неизвестной — Волге, и Поморью, и Посулью, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, Тмутороканский идол!

А половцы непроторѣнными дорогами побежали к Дону великому; скрипят их телеги в полночь, словно испугнутые лебеди. Ещё Игорь к Дону войско ведёт, а уже Беда его (т. е. Недоля) кормит птиц по деревьям (т. е. телами его воинов); волки накликают по оврагам грозу; орлы клекчут, сзывая зверей на кости; лисицы лают на красные щиты. О Русская земля! Ты уже за холмом!

Долго ночь длилась; но вот показался свет зари, туманы покрыли поля, уснул соловьиный щѣкот, пробудился говор галок. Русские перегородили великие поля своими красными щитами, ища себе чести, а князю славы.

Рано утром в пятницу они смяли поганые половецкие полки и, рассыпавшись, как стрелы, по полю, помчались, захватывая прекрасных половецких девушек, а с ними золото, шёлковые ткани, дорогую бархатную парчу. Покрывалами, накидками, шубами и всякими узорными половецкими тканями начали мосты мостить по болотам и грязным местам. Красное

жис — храброму Святъславичю! Дремлет в поле Ольгово¹ хороброе гнездо. Далече залетело! Не было оно обиде порождено ни соколу, ни кречету, ни тебе, чръный ворон, поганый половчин! Гзак бежит серым вльком, Кончак² ему след править к Дону великому.

Другаго дни велми рано кровавыя зори свет поведают; чръныя тучя с моря идут, хотят прикрыти 4 солнца, — а в них трепещут синнии мльнии. Быти грому великому! Итти дождю стрелами с Дону великаго! Ту ся копием приламат, ту ся саблямь потручати о шеломи половецкыя, на реце на Каяле³, у Дону великаго. О Руская земле! уже за шеломянем еси!

Се ветри, Стрибожи⁴ внуци, веют с моря⁵ стрелами на храбрыя плъки Игоревы. Земля тутнет, реки мутню текуть, пороси поля прикрывают. Стязи глаголют; половцы идут от Дона и от моря и от всех стран, рускыя плъкы оступиша. Дети бесови кликом поля прегородиша, а храбрии Русичи преградиша чрълеными щиты.

Яр-туре Всеволоде! Стоиши на борони, прыщеси на вои стрелами, гремлеши о шеломи мечи харалужными. Камо, тур, поскачаше, своим златым шеломам посвечивая, тамо лежат

знамя, белая хоругвь, красный султан и серебряное копье — храброму Игорю Святославичю! Дремлет в поле храброе Олегово гнездо, далеко залетело! Не было оно рождено на обиду ни соколу, ни кречету, ни тебе, чръный ворон, поганый половчин! Гзак бежит серым волком, Кончак следом за ним к Дону великому.

На другой день очень рано кровавая заря возвещает рассвет, чёрные тучи идут с моря, хотят прикрыть 4 солнца, а в них трепещут синие молнии. Быть грому великому! Идти дождю стрелами с Дону великаго! Тут изломаться копьям, тут притупиться саблям о шлемы половецкие, на реке на Каяле, у великаго Дона. О Руская земля! ты уже за холмом!

Вот ветры, внуки Стрибога, веют с моря стрелами на храбрые полки Игоря. Земля дрожит, реки мутно текут, пыль покрывает поля. Знамена шумят; половцы идут от Дона и от моря и от всех сторон, обступили русские полки. Криком перегородили поля бесовы дети, а храбрые русские перегородили красными щитами.

Ярый тур Всеволод! Стоишь ты на поле брани, осыпашь вражеских воинов стрелами, гремишь о шлемы булатными мечами. Куда ты, тур, поскачешь, посвечивая своим золо-

¹ Олѣг Святославич — родоначальник северских князей, вместе с половцами сражался против русских князей (Владимира Мономаха и др.).

² Гзак и Кончак — половецкие ханы.

³ Каяла (Калка) — река горя и слёз (каяти — считать несчастным); теперь река Кальмиус, впадает в Азовское море.

⁴ Стрибог — языческий древнерусский бог ветра.

⁵ Азовское море.

пога
поск
шесл
яр-т
дорс
вота
злат
ти —
чая

Бы
лета
Ольг
ча. Т
кова
ше. С
граде
звон
Яросл
Влади
клада
же Вя
привед
полом
ву, пра
же Ка
отца с
иноход
Киеву.
славли
усобиц
Даждь
крамол
скратил
земле р
нъ част
пна се
свою р
полетет
ты рати
рати не

¹ Авар
² Ольг
³ Даждь

поганыя головы половецкыя; поскепаны саблями, калеными шеломи оварьскыя¹ от тебе, яр-туре Всеволоде! Кая рана дорога, братие, забыв чти и живота, и града Чрънигова, отня злата стола, и своя милья хоти — красныя Глебовны², свычая и обычая!

Были вечи Трояни, минула лета Ярославля; были плъци Ольговы, Ольга Святъславлича. Тъй бо Олег мечем крамолу коваше и стрелы по земли сеяше. Ступает в злат стремя в граде Тьматорокане; тъй же звон слыша давний великий Ярославль, а сын Всеволожь Владимир по вся утра уши закладаше в Чернигове; Бориса же Вячеславлича слава на суд приведе и на ковылу зелену паполому постла за обиду Ольгову, прабра и млада князя. С тоя же Каялы Святополък полелея отца своего между угорьскими иноходьцы ко святой Софии к Киеву. Тогда при Ользе Гориславлича сеяшется и растяшеть усобицами, погибашеть жизнь Даждьбожа внука³, в княжихъ крамолах веци человекомъ скратишась. Тогда по Руской земле редко ратаеве кикахуть, нъ часто врани граяхнуть, трупиа себе деляче; а галици свою речь говоряхуть, хотять полетети на уедие. То было в ты рати и в ты плъкы, а сицеи рати не слышано.

тым шлемом, там лежат поганыя половецкыя головы; разби-ваешь ты, ярый тур Всеволод, шлемы аварские калёными саблями! Какая рана, братия, дорога ему, когда он забыл и о почестях, и о богатстве, и о городе Чернигове, золотом отцовском столе, и о привете и ласке своей милой жены, красавицы Глебовны!

Были Трояновы века, времена Ярославовы; были походы Олеговы, Олега Святославича. Тот ведь Олег мечом ковал крамолу и стрелы сеял по земле. Вступает он в золотое стремя в городе Тьматорокани, а тот звон уже слышал давний — великий Ярослав, и сын Всеволода Владимир (Мономах) каждое утро затыкал уши в Чернигове (не желая слышать этого звона). Бориса же Вячеславича жажда славы привела к смерти и постлала ему на ковыль зелёный погребальный покров за обиду Олега, храброго и молодого князя. С той же Каялы Святополк повёз отца своего между венгерскими иноходцами ко святой Софии, к Киеву. Тогда при Олеге Гориславиче сеялись и росли усобицы, погибало достояние внука Даждьбога; от княжеских крамол сокращалась жизнь человеческая. Тогда по Русской земле редко пере-кликались пахари, но часто вороны каркали, деля между собою трупы; да галки свою речь говорили, собираясь лететь кормиться. То было в те походы и в те войны; а таковой битвы и не слыхано.

¹ Аварские народы впервые появились на Кавказе в V в.

² Ольга Глебовна — жена Всеволода.

³ Даждьбог — языческий древнерусский бог солнца.

С заранна до вечера, с вечера до света летят стрелы калёные, гремят сабли о шлемы, трещат булатные копья в чужой степи среди половецкой земли. Чёрная земля под копытами была засеяна костями, полита кровью; печалью взошёл (этот посев) по Русской земле.

Что ми шумить, что ми звенить далече рано пред зорями? Игорь плъкы заворачает¹, жаль бо ему мила брата Всеволода. Бишася день, бишася другой; третьяго дни к полуднию падоша стязи Игоревы. Ту ся брата разлучиста на брезе быстрой Каялы; ту кровавого вина не доста; ту пир докончаша храбри Русичи: сваты попоиша, а сами полегоша за землю Рускую. Ничить трава жалощами, а древо с тугою к земле преклонилось.

Уже бо, братие, невеселая година въстала, уже пустыня силу прикрыла. Въстала обида в силах Дажьбожа внука, вступила девою на землю Трояню, всплескала лебедиными крылы на синем море, у Дону; плещучи, убуди жирня времена. Усобица князем на поганья погыбе, рекоста бо брат брату: «Се мое, а то — мое же». И начяша князи про малое «се великое» мльвити, а сами на себе крамолу ковати; а погании с

С утра до вечера, с вечера до рассвета летят калёные стрелы, гремят сабли о шлемы, трещат булатные копья в чужой степи среди половецкой земли. Чёрная земля под копытами была засеяна костями, полита кровью; печалью взошёл (этот посев) по Русской земле.

Что это шумит, что звенит вдалеке рано пред зарёю? Игорь заворачивает полки: ведь жаль ему милого брата Всеволода. Бились день, бились другой; на третий день к полудню пали знамёна Игоря. Тут разлучились братья на берегу быстрой Каялы; тут не хватило кровавого вина; тут пир докончили храбрые русские: сватов напоили, а сами полегли за землю Русскую. Никнет трава от жалости, а дерево печально к земле приклонилось.

Уже, братия, невесёлая година настала, уже пустыня (степь) прикрыла силу (русскую); поднялась обида на силы Дажьбога внука (на Русскую землю), вступила девою на землю Трояна, заплескала лебедиными крыльями на синем море у Дона; пробудила скорбные времена. У князей вместо борьбы с погаными междоусобия, брат стал брату говорить: «Это моё, и то моё!» И начали князья про малое «это — вели-

¹ Летописный рассказ о походе Игоря подробно описывает этот эпизод. Кочевое племя ковуев, ставшее мирным, приняло участие в походе Игоря. Во время боя с половцами ковуи дрогнули и побежали. Игорь, издали увидев их бегущими, бросился за ними, чтобы вернуть их обратно. («Игорь же был в то время на коне, пошёл к полку их, хотя возвратить к полкам».) Часть воинов не побежала, среди них был брат Игоря — Всеволод. Игорь видит бедственное положение брата, но помочь ему бессилен, так как наперез ему поскакавшие половцы разъединили братьев. Он об одном просит судьбу — чтоб не быть очевидцем смерти брата.

всехъ стран прихождаху с по-
бедами на землю Рускую. О!
далече зайде сокол, птицъ бья,
к морю! А Игорева храбраго
плъку не кресити.

За ним кликну Карна и
Жля¹, поскочи по Руской зем-
ли, смагу мычючи в пламяне
розе. Жены руския въсплака-
шась, аркучи: «Уже нам своих
милых лад ни мыслию смысли-
ти, ни думою сдумати, ни очима
съглядати, а злата и серебра ни
мало того потрепати». А вѣсто-
на бо, братие, Киев тугою, а
Чернигов напастьми; тоска раз-
лилася по Руской земли; печаль
жирна тече средь земли Рус-
кой. А князи сами на себе кра-
молу коваху; а поганини сами
победами нарищуще на Рус-
кую землю емляху дань по бе-
ле от двора.

Тии бо два храбрая Святъ-
славича, Игорь и Всеволод,
уже лжу убудиста которою. Ту
бѣше успил отец их Святъславъ
грозный, великий киевский;
грозою бѣшет притрепал свои-
ми сильными плъкы и харалуж-
ными мечи, наступи на землю
Половецкую, притопта хлъмы
и яругы, взмути реки и озера,
иссуши потоки и болота. А по-
ганого Кобяка из луку моря, от
железных великих плъков По-
ловецких, яко вихрь, выторже.
И падеся Кобяк в граде Кieve,

кое» молвити, сами на себя ко-
вать крामолу; поганые же со
всех сторон приходили с побе-
дами на Русскую землю. О, да-
леко залетел сокол, избивая
птиц, — к морю! А Игорева
храброго войска уже не воскресе-
сить.

Вслед ему завопили Карна и
скорбная Жля, поскакали по
Русской земле, раскидывая ог-
ни в пламенном роге. Заплака-
ли русские жѣны, причитая:
«Уж нам своих милых мужей
ни мыслию помыслить, ни ду-
мою подумать, ни очами погля-
деть, а золота и серебра и по-
давно не держать в руках». И
застонал, братия, Киев от пе-
чали, а Чернигов от напасти;
тоска разлилась по Русской
земле, печаль обильно потекла
среди Русской земли. А князья
сами на себя ковали крामолу;
поганые же победно налетали
на Русскую землю и брали дань
по белке со двора.

Эти два храбрые Святослави-
ча, Игорь и Всеволод, уже
распрю пробудили враждою.
Еѣ было усыпил отец их Свято-
слав, грозный, великий киев-
ский князь; разбил (половцев)
своими сильными полками и
булатными мечами и напал на
половецкую землю, притоптал
холмы и овраги, возмутил реки
и озѣра, а поганого Кобяка вих-
рем вырвал из лукоморья от
железных великих полков по-
ловецких. И пал Кобяк в горо-
де Кieve, в гриднице Святосла-

¹ Карна и Жля — олицетворения понятий плача и скорби: Карна (от карити) — вопленица, Жля — жальница, плакальщица по мѣртвым.

в гриднице Святъславли. Ту Немцы и Венедици, ту Греци и Морава поют славу Святъсלאву, кають князя Игоря, иже погрузи¹ жир во дне Каялы, реки Половецкия; Рускаго злата насыпаша. Ту Игорь князь выседе из седла злата, а в седло кощиево². Уныша бо градом забралы, а веселие пониче.

А Святъслав мутен сон виде в Киеве на горах. «Си ночь с вечера одевахуть мя, рече, чрьною паполомою на кровати тисове; чрьпахнуть ми синее вино с трудом смешено; сыпахуть ми тыщими тулы поганых тльковин³ великий женчюг на лоно и негують мя; уже дьскы безкнеса в моем тереме златовръсем; всю ночь с вечера бусови врани възгряхту у Плесньска на болони и несошася к синему морю».

И ркоша бояре князю: «Уже, княже, туга умь полонила: се бо два сокола⁴ слетеста с отня стола злата поискати града Тматороканя, а любо успити шеломомь Дону. Уже соколома крылья припешали поганых саблями, а самою опуташа в путины железны. Темно бо бе в 3-й день: два солнца померкоста, оба обагрная стльпа погасоста и с нима молодая месяца, Олег⁵ и Святъслав⁶, тьмою ся

вовою. Тут Немцы и Венециане, тут Греки и Морава поют славу Святославу, порицают князя Игоря, который погубил богатство на дне половецкой реки Каялы; насыпал русского золота. Тут пересел князь Игорь с золотого седла в седло раба. Приуныли городские стены, поникло веселье.

А Святослав видел тревожный сон в Киеве на горах. «Этой ночью, — рассказывал он, — одевали меня с самого вечера чёрным покрывалом, на тесовой кровати; черпали мне синее вино, смешанное с печалью, сыпали мне на грудь крупный жемчуг из пустых колчанов поганых иноземцев и не жили меня; уже доски на моём златоверхом тереме без князька. Всю ночь с вечера каркали серые вороны у Плеснеска на лугу и неслись к синему морю».

И сказали бояре князю: «Уже печаль заполонила твой ум, князь: вот два сокола слетели с отцовского золотого престола поискать города Тматорокани или напиться шлемом из Дона. Уже соколам крылья подрезали саблями поганых, а самих их опутали железными силками. Было темно в 3-й день: два солнца померкли, оба багрные столпа погасли и с ними оба молодых месяца, Олег и

¹ Погрузити — в древних памятниках значит вообще погубить.

² Кощёй — кочевник. Игорь пересел в седло хана Кончака («Кошся», как он назван ниже), т. е. попал в плен. Кощёй также обозначал раба.

³ То есть не русский, нуждающийся в толковании своей речи.

⁴ То есть Игорь и Всеволод.

⁵ Может быть, второй сын Игоря.

⁶ Племянник Игоря.

поволокоста, и в море погрузи-
ста, и великое буйство подаста
Хинови. На реце на Каяле тьма
свет покрыла; по Руской земли
прострошася Половци, аки пар-
дуже гнездо. Уже снесся хула
на хвалу, уже тресну нужда на
волю, уже врѣжеса Дивъ на
землю. Се бо готския красныя
девы¹ въспеша на брезе сине-
му морю, звоня руским златом;
поют время Бусово, лелеют
месть Шароканю². А мы уже,
дружина, жадни веселия».

Тогда великий Святъслав из-
рони злато слово, съ слезами
смешано, и рече: «О моя сы-
новчя, Игорю и Всеволоде! Ра-
но еста начала Половецкую
землю мечи цвелити, а себе сла-
вы искати; нъ нечестно одо-
лесте, нечестно бо кровь пога-
ную пролиясте. Ваю храбрая
сердца, в жестоцем харалуже
скована, а в буести закалена.
Се ли створисте моей сребреней
седине! А уже не вижу власти
сильного и богатого и многовая
брата моего Ярослава³ с чер-
ниговскими былями, с могуты,
и с татраны, и с шельбиры, и с
топчаки, и с ревугы, и с ольбе-
ры⁴: тии бо бес щитовъ с заса-
пожники кликом плѣкы побежа-
дают, звонячи в прадедную
славу. Нъ рекосте: «Мужаиме-

Святослав, тьмою заволокл
и в море погрузились и ве-
ликую дерзость придали пога-
ным. На реке на Каяле тьма за-
крыла свет; по Русской земле
рассеялись половцы, словно
барсово гнездо. Уже позор воз-
нёсся над славою, уже могуче
вышла нужда на волю, уже бро-
сился Див на землю. И вот гот-
ские красавицы-девы запели на
берегу синего моря, позванивая
русским золотом: воспевают
время Бусово, лелеют месть
Шаруканову. А мы, дружина,
уже лишены веселья».

Тогда великий Святослав из-
ронил золотое слово, смешан-
ное со слезами, и сказал:
«О мои племянники, Игорь и
Всеволод! Рано вы начали со-
крушать мечами землю поло-
вецкую, а себе славы искать,
но бесславно вы одолели, без
славы пролили вы кровь пога-
ных. Ваши храбрые сердца из
твёрдого булата выкованы и в
мужестве закалёны. Что вы сде-
лали с моей серебряной седи-
ной? Уже не вижу я мощи силь-
ного, богатого, владеющего
многочисленным войском брата
моего Ярослава с чернигов-
скими боярами, с могучими
воеводами, и с татранами, и с
шельбирами, и с топчаками, и
с ревугами, и с ольберами: эти,
бывало, без щитов, с засапож-

¹ Готы во II в. жили на берегу Чёрного и Азовского морей; в половине XI в. были покорены половцами; захваченная половцами добыча могла попасть в руки готских девушек.

² Бобз — король антов, в IV в. был разбит готским князем. О половецком хане Шарукане известно, что в 1107 г. он вместе с Боняком напал на Русь, но был разбит и бежал.

³ Ярослав Всеволодович — черниговский князь.

⁴ Были — бояре: могуты — воеводы; татраны, шельбиры, топчаки, реву́ги и ольберы — названия мелких племён, служивших в войске черниговского князя.

ся сами, преднюю славу сами похитим, а заднюю си сами поделим!» А чи диво ся, братие, стару помолодити? Коли сокол в мытх бывает, высоко птиц възбивает, не даст гнезда своего в обиду. Нъ се зло: княже ми непособие. На ниче ся годи ны обратиша. Се у Рим¹ кричат под саблями половецкими, а Володимир² под ранами. Туга и тоска сыну Глебову.

Великий княже Всеволоде³! Не мыслию ль ти прилети издалеча, отни злата стола поблюсти? Ты бо можеш Волгу веслы раскропити, а Дон шело мы выльяти! Аже бы ты был, то была бы чага по ногате⁴, а кощей по резане⁵. Ты бо можеш посуху живыми шереширь стреляти, удалыми сыны Глебовы.

Ты, буй Рюриче и Давыде⁶! Не ваю ли вои злачеными шело мы по крови плаваша? Не ваю ли храбрая дружины рыкают аки тури, ранены саблями калеными на поле незнаеме? Вступита, господина, в злата стремяна за обиду сего времени, за землю Рускую, за раны Игоревы, буюго Святъславлича!

ными ножами, кликом побеждают полки, звеня славою прадедов. Но вы сказали: «Будем одни мужественны, одни захватим будущую славу да и прежнюю сами поделим». И разве диво, братья, старому помолодеть? Когда сокол лияет, он высоко взбивает птиц, не даст своего гнезда в обиду. Но вот зло: от князей мне непомога. Наизнанку времена перевернулись. Вот в Римове кричат под саблями половецкими, а Владимир под ранами. Горе и тоска сыну Глебову!

Великий князь Всеволод! Разве нет у тебя в мыслях прилететь издалека — поберечь отцовский золотой стол? Ведь ты можешь Волгу расплескать веслами, а Дон вычерпать шлемами! Если бы ты был здесь, то была бы пленница по ногате, а раб — по резане. Ты ведь можешь по суху живыми стрелами метать — удалыми сынами Глебовыми.

Вы, храбрые Рюрик и Давид! Не ваши ли воины золочеными шлемами плавали в крови? Не ваша ли храбрая дружина рычит, словно туры, раненные калеными саблями в незнакомом поле? Вступите, господа, в золотые стремяна за обиду сего времени, за землю Русскую, за раны Игоря, храброго Святославича!

¹ Город Римов, разорённый половцами после победы над Игорем.

² Владимир Глебович — переяславский князь, раненный в борьбе с половцами.

³ Всеволод — великий князь суздальский (1154—1212); разбил волжских болгар в походе 1182—1184 гг.

⁴ Золотая и серебряная монета; в гривне считалось 20 ногат.

⁵ Мелкая монета; в гривне было 50 резан.

⁶ Дети Ростислава, сына Мстислава Владимировича Великого.

Галичкы Осмомысле Яросла-
ве¹! Высоко седиши на своем
златокованнем столе, подпер
горы Угорскыи² своими желез-
ными плъки, заступив королеви
путь³, затворив Дунаю воро-
та⁴, меча бремены чрез облаки,
суды рядя до Дуная. Грозы
твоя по землям текут; отворяе-
ши Киеву врата⁵; стреляеши
с отня злата стола салтани за
землями⁶. Стреляй, господине,
Кончака, поганого кощея, за
землю Рускую, за раны Игоре-
вы, буюго Святъславлича!

А тый, буй Романе и Мстисла-
ве⁷! Храбрая мысль носит ваш
ум на дело! высоко плаваеши
на дело в буести, яко сокол на
ветрех ширяся, хотя птицю в
буйстве одолети. Суть бо у ваю
железныи папорзи под шело-
мы латинскими. Теми тресну
земля, и многи страны: Хинова,
Литва, Ятвязи, Деремела и По-
ловцы сулицы своя повръгоша,
а главы своя подклониша под
твы мечи харалужныи. Нъ уже,
княже, Игорю утръпе соляцю
свет, а древо не бологом лист-
вие срони! По Рси и по Сули⁸
гради поделиша. А Игорева
храброго плъку не кресити!
Дон ти, княже, кличет и зо-

Галицкий Ярослав Осмо-
мысл! Высоко седишь ты на
своём златокованном престоле,
подперши венгерские горы свои-
ми железными полками, засту-
пив королю путь, затворив Ду-
наю ворота, метая тяжести че-
рез облака, суды рядя до Ду-
ная. Грозы твои по землям
текут; ты подступаешь к Киеву,
стреляешь через земли в султа-
нов сотцовского золотого стола.
Стреляй, господин, Кончака,
поганого раба, за землю Рус-
скую, за раны Игоря, храброго
Святославича!

А вы, храбрые Роман и Мсти-
слав! Отважная мысль влечёт
ваш ум к подвигу; высоко вы
парите для смелого дела, ши-
ряясь, словно сокол в воздухе,
когда он в ярости хочет ударить
птицу. Ведь у вас железная бро-
ня под латинскими шлемами.
От них дрогнула земля и мно-
гие страны — Финны, Литва,
Ятвяги, Деремелы и Половцы —
побросали свои копья, а головы
свои склонили под ваши сталь-
ные мечи. Но уже, князь, для
Игоря померк солнечный свет,
а дерево не к добру сронило
свою листву! По Роси и по Суле
(половцы) поделили города.
А Игорева храброго войска уже

¹ Галицкий князь Ярослав (умер в 1187 г.) назван Осмомыслом, вероятно, за широкий размах его политики, за способность одновременно думать о многих начинаниях государственного характера.

² Карпатские горы.

³ Указание на борьбу с королём Венгрии.

⁴ Область русского княжества Галиции при Ярославе простиралась от Карпатских гор почти до устья Дуная в Чёрном море.

⁵ То есть можешь впустить в Киев кого хочешь.

⁶ Предполагают, что здесь автор «Слова» намекал на возможное участие галичан в походе против султана Саладина.

⁷ Мстислав — двоюродный брат волынского князя Романа, сын Ярослава Луцкого.

⁸ Рось и Сула — притоки Днепра.

всть князи на победу. Ольгови-
ничи¹, храбрыи князи, доспели
на брань.

не воскресить! Дон кличет тебя,
князь, и зовёт князей на победу.
Ольговины, храбрые князья, го-
товы к бою.

Ингварь и Всеволод² и вси
три Мстиславичи³, не худа
гнезда шестокрилцы, не побед-
ными ль жребии собе власти
расхытисте? Кое ваши златы
шеломы и сулицы Ляцкии и
щиты? Загородите полю ворота
своими острыми стрелами за
землю Рускую, за раны Игоревы,
бугега Святъславлича!

Ингвар и Всеволод и все три
Мстиславовичи, не худого гнез-
да шестокрыльцы, не победным
ли жребием похитили себе во-
лости? Что же (бездействуют)
ваши золотые шлемы, польские
копья и щиты? Загородите во-
рота степи (половецкой) свои-
ми острыми стрелами за землю
Русскую, за раны Игоря, храб-
рого Святославича!

Уже бо Сула не течет среб-
ренными струями къ граду Пе-
реяслави, и Двина болотом
течет оным грозным Полочаном
под кликом поганных. Един же
Изяслав⁴, сын Васильков, по-
звони своими острыми мечи о
шеломы литовския, притрепа
славу деду своему Всеславу, а
сам под чрълеными щиты на
кроваве траве притрепанъ ли-
товскими мечи и рек: «Дружи-
ну твою, княже, птицъ крылы
приоде, а звери кровь полиза-
ша». Не бысть ту брата Бряча-
слава, ни другаго Всеволода;
един же изрони жемчужну
душу из храбра тела, чрес зла-
то ожереліе. Унылы голоси,
понице веселие, трубы трубят
городеньски⁵. Ярослав и вси
внуци Всеслави! Уже понизите
стязи свои, вонзите свои мечи
верезжени; уже бо выскочисте
из дедней славе. Вы бо своими

Уже Сула не течёт серебря-
ными струями к городу Перея-
слави, и Двина болотом течёт
к тем грозным Половчанам под
кликом поганных. Один Изяслав,
сын Васильков, позвонил свои-
ми острыми мечами о шлемы
литовские, полелеял славу деда
своего Всеслава, а сам под
красными щитами был побит на
кровавой траве литовскими ме-
чами и сказал: «Дружину твою,
князь, птицы крыльями при-
крыли, а звери кровь её выли-
зали». Не было тут ни брата
Брячислава, ни другого — Все-
волода: одиноко изронил он
свою жемчужную душу из храб-
рого тела через золотое оже-
релье. Приуныли песни, поник-
ло веселье, трубят трубы горо-
денские. Ярослав и все внуки
Всеславовы! Опустите свои зна-
мёна, вложите (в ножны) свои
попорченные мечи: вы уже не-

¹ То есть Игорь и Всеволод.

² Дети Ярослава Изяславича Луцкого. Третий сын Ярослава — Мстислав.

³ Названы Мстиславовичами по прадеду Мстиславу Великому.

⁴ Князь полоцкий; был убит литовцами в 1185 г., к нему не пришли на
помощь его братья.

⁵ Местечко Городно, где княжил Изяслав Василькович.

крамолами начясте наводити поганя на землю Рускую, на жизнь Всеславию; которою бо беше насилie от земли Половецкыи!

На седьмом веце Трояни врьже Всеслав жребий о девицю себе любу¹. Тъй клюками подпръ ся о кони и скочи къ граду Киеву и дотчеса стружием злата стола Киевскаго. Скочи от них лютым зверем. В плъночи из Белаграда, обесися сине мгле, утре же вознзи стрикусы, отвори врата Новуграду, разшибе славу Ярославу, скочи влъком до Немиги² с Дудуток³. На Немизе снопы стелют головами, молотят чеи харалужными, на тоце живот кладут, веют душу от тела. Немизе кровави брезе не бологом бяхуть посеяни, посеяни костями русских сынов. Всеслав князь людем судяше, князем грады рядяше; а сам в ночь влъком рыскаше; из Киева до рыскаше до кур Тмutorоканя; великому Хръсови влъком путь прерыскаше. Тому в Полотске позвониша заутренюю рано у святыя Софеи в колоколы, а он в Киеве звон слыша. Аще и вещь душа в дръзе теле, нъ часто беды страдаше. Тому⁴ вещей Боянъ и пръвое припевку, смысленый, рече: «Ни хыт-

достойны дедовской славы; вы своими крамолами начали наводить поганых на землю Рускую; на достояние Всеслава; из-за раздоров, ведь, явилось насилie от земли Половецкой!

На седьмом веке Трояна бросил Всеслав жребий о милой ему девице. Он, хитростями опершись на коня, подскакал к городу Киеву и дотронулся древком до золотого престола Киевского. Лютым зверем отскочил от них. В полночь из Белгорода скрылся в синем тумане, а на утро, поднявшись, топорами отворил ворота Новгорода, расшиб славу Ярослава, отскочил волком с Дудуток до Немиги. На Немиге стелют снопы из голов, молотят булатными цепами, на току жизнь кладут, веют душу от тела. Кровавые берега Немиги не добром были засеяны, — засеяны костями русских сынов. Князь Всеслав людей судил, князьям города распределял, а сам ночью рыскал волком: из Киева, до петухов, добегал до Тмutorокани, великому Хорсу волком путь перебегал. Ему в Полоцке рано позвонили в колокола заутреню у святой Софии, а он звон слышал в Киеве. Но хотя и вещь душа в его мужественном теле, но часто беды терпел. О нём вещий Боян впервые припевку,

¹ *Всеслав* — князь полоцкий, мечтал о Киеве. Неугомонный, всю жизнь воевал: в 1067 г. взял Новгород, но сыновья Ярослава Мудрого (Изяслав, Святослав, Всеволод) разбили его на Немиге и, заманив в Киев, посадили в темницу. Народ освободил его и посадил на великокняжеский престол. Но киевский князь Изяслав вместе с поляками пошёл против Всеслава. Тот бежал в Полоцк, откуда был изгнан, однако вернулся и с бою занял престол. Автор «Слова» рисует его в образе чародея.

² *Немига* (Немиза) — приток реки Свислочь.

³ *Дудутки* — местечко близ Новгорода.

⁴ То есть Всеславу.

ру, ни горазду, ни птицю горазду, суда божия не минути».

О! стонати Руской земли, помянувшѣ пръвую годину и пръвых князей! Того старого Владимира¹ нельзя бе пригвоздити к горам Киевским. Сего бо ныне сташа стязи Рюриковы, а друзии Давидовы², нъ розно ся им хоботы пашут, копиа поют.

На Дунаи³ Ярославны⁴ глас ся слышит, зегзицею, незнаема, рано кычетъ: «Полечю, рече, зегзицею по Дунаеви, омочю бѣбрян рукав в Каяле реце, утру князю кровавыя его раны на жестоцем его теле». Ярославна рано плачет в Путивле на забрале, аркучи: «О Ветре, ветрило! Чему, господине, насильно вееши? Чему мычѣши хиновъскыя стрелки на своею нетрудною крилцю на моея лады вой? Мало ли ти бѣшет горе под облакы веяти, лелеючи корабли на синем море? Чему, господине, мое веселие по ковылю развѣя?»

Ярославна рано плачет Путивлю городу на забрале, аркучи: «О Днепре Словутичу! Ты пробил еси каменныя горы сквозе землю Половецкую; ты лелеял еси на себе Святославли насады до плъку Кобяко-

мудрый, сказал: «Ни хитрому, ни умному суда божия не миновать!»

О, стонать Русской земле, вспоминая прежние времена и прежних князей! Того старого князя Владимира нельзя было пригвоздить к киевским горам. Одни знамена стали ныне Рюрика, другіе — Давида, злат копья.

На Дунае слышится голос Ярославны; одинокой кукушкой рано утром кукует: «Полечу я кукушкой по Дунаю; омочу бѣбровый рукав в реке Каяле, утру князю кровавыя его раны на могучем его теле». Ярославна рано утром плачет в Путивле на городской стене, причитая: «О ветер, ветрило! Зачем ты так сильно веешь? Зачем ты мечѣшь ханскыя стрелы на своих лѣгких крыльях против воинов моего милого мужа? Разве мало тебе веять вверху под облаками, лелея корабли на синем море? Зачем же, господин, ты развѣял по ковылю мою радость?»

Ярославна плачет рано утром в Путивле на городской стене, причитая: «О Днепр Словутич! Ты пробил каменныя горы сквозь половецкую землю; ты лелеял на себе Святославовы лады до войска Кобяка: взле-

¹ То есть Владимира Мономаха, думавшего об единстве земли Русской.

² Потомки Владимира Мономаха живут несогласно: в 1177 г. во время изгнания половцев князь Рюрик остался без помощи Давида, бывшего причиной распрѣй между князьями и в другом походе, когда в 1185 г. союзники — Святослав, великий киевский князь, Рюрик и другіе — не помогли Владимиру Глебовичу в борьбѣ с половцами.

³ В народной поэзии — вообще река.

⁴ Евфросинья Ярославна — вторая жена Игоря,

ва¹, — възлелей, господине, мою ладу къ мне, а бых не сла-ла къ нему слез на море рано».

Ярославна рано плачет во Путивле на забрале, аркучи: «Светлое и тресветлое Слънце! Всем тепло и красно еси: чему, господине, простре горячую свою лучю на лады вой? В поле безводне жажду имь лучи съпряже, тугою им тули затче?»²

Прысну море полунощи; идут сморци мглами. Игореву князю бог путь кажет из земли Половецкой на землю Рускую, к отню злату столу. Погасоша вечеру зори. Игорь спит, Игорь бдит, Игорь мыслию поля мерит от великаго Дону до малаго Донца. Комонь в полуночи. Овлур³ свисну за рекою; велит князю разумети; стукну земля, възшуме трава; вежи ся Половечький подвизашася. А Игорь князь поскочи горностаем к тростию и белым гоголем на воду; въврѣжеся на бръз комонь и скочи с него бусым влъком. И потече к лугу Донца и полете соколом под мглами, избивая гуси и лебеди завтраку и обеду и ужине. Коли Игорь соколом полете, тогда Влур влъком потече, труся собою студеную росу; претръгоста бо своя бръзая комоня.

Донец рече: «Княже Игорю! Не мало ти величия, а Конча-

лей же ко мне моего милого, чтобы я не посылала к нему на море слѣз рано утром». Ярославна рано плачет в Путивле на городской стене, причитая: «Светлое, пресветлое солнце! Для всех ты тепло и прекрасно: зачем, владыка, ты простер свои знойные лучи на воинов моего мужа? В безводной степи жаждой стянул им луки, печалью заткал им колчаны?»

Зашумело в полночь море; идут туманные смерчи; князю Игорю бог указывает путь из земли половецкой на землю Русскую к отцову золотому престолу. Погасли вечерние зори. Игорь спит, Игорь бодрствует, Игорь в мыслях измеряет поля от великаго Дона до малаго Донца. Конь (готов) в полночь. Овлур свистнул за рекой, давая этим знак князю. Стукнула земля, зашумела трава, задвигались половецкие шатры. А князь Игорь поскакал горностаем к камышу и белым гоголем на воду; вскочил на борзого коня, потом соскочил с него серым волком, побежал к лугу Донца и полетел соколом под туманами, избивая гусей и лебедей к завтраку, обеду и ужину. Когда Игорь летел соколом, то Овлур бежал волком, стряхивая с себя студеную росу; надорвали они своих борзых коней.

Донец сказал: «Князь Игорь! Не мало тебе славы, а Кончаку

¹ Воспоминания о походе киевского князя Святослава, закончившемся в 1184 г. победой над половцами.

² Плач Ярославны, являясь своего рода заклинанием, заговором стихий природы, вскрывает древнерусские верования; этим эпизодом поэт подготавливает читателя к дальнейшему описанию событий — бегству Игоря из плена (в том же 1185 г.), явившемуся как бы результатом мольбы Ярославны к Днепру.

³ Половчанин Овлур (Лавор) содействовал побегу Игоря.

ку нелюбия, а Руской земли веселія». Игорь рече: «О Донче! Не мало ти величія, лелеявшу князя на вльнах, стлавшу ему зелену траву на своих сребреных брезех, одевавшу его теплыми мъглами под сению зелену древу, стрежаше его гоголем на воде, чайцами на струях, чрънядьми на ветрех. Не тако ли, — рече, — река Стугна, худу струю имея, пожръши чужи ручьи и стругы, рострена к устью, уношу князю Ростиславу затвори Днепръ темне березе. Плачется мати Ростиславля по уноши князи Ростиславе: «Уныша цветы жалобою, и древо с тугою к земли преклонилося»¹.

А не сорокы востроскоташа: на следу Игореве ездит Гзак с Кончаком. Тогда врани не граяхуть, галицы помлькоша, сорокы не троскоташа, по лозию ползоша только; дятлове тектом путь к реце кажут, соловии веселыми песньми свет поведают. Мльвить Гзак Кончакови: «Аже сокол къ гнезду летит, соколича ростреляеве своими злаченными стрелами!» Рече Кончак ко Гзе: «Аже сокол к гнезду летит, а ве сокольца опутаеве красною девицею». И рече Гзак к Кончакови: «Аще его опутаеве красною девицею, ни нама будет сокольца, ни нама красны девице, то почнут наю птици бити в поле Половецком»²».

досады, а Русской земле веселія!» Игорь ответил: «О Донче! Не мало и тебе величія, то, что ты лелеял князя на вльнах, стлав для него зеленую траву на своих серебряных берегах, одевал его теплыми туманами под сенью зеленого дерева, стерёг его гоголем на воде, чайками на струях, утками на ветрах». Не такова-то, говорят, река Стугна: будучи мала водной, но пожравши чужие ручьи и потоки, расширенная к устью, она юноше князю Ростиславу затворила Днепр у темного берега. Плачется мать по юноше князе Ростиславе: «Приуныли цветы от жалости и дерево с печали к земле приклонилось».

То не сороки застрекотали: по следу Игоря едет Гзак с Кончаком. Тогда вороны не каркали, галки замолкли, сороки не стрекотали, только ползали по ветвям; дятлы стуком путь к реке указывают, соловьи весёлыми песнями возвещают рассвет. Говорит Гзак Кончаку: «Коли сокол к гнезду летит, расстреляем соколёнка своими золочёными стрелами». Ответил Кончак Гзе: «Если сокол к гнезду летит, опутаем соколёнка красной девицей». Гзак сказал Кончаку: «Если мы опутаем его красной девицей, не будет у нас ни соколёнка, ни красной девицы, и почнут нас птицы бить в поле половецком».

¹ Ростислав, брат Владимира Мономаха, утонул в реке Стугне, спасаясь от преследования половцев после поражения русских князей в 1093 г.

² В 1187 г. Владимир, сын Игоря, женился на дочери Кончака. Вернулся из плена в том же году.

Рек Боян на ходы на Святъ-славля песнотворца старого времени Ярославля, Ольгова коганя хоти: «Тяжко ти, головы, кроме плечю; зло ти, телу, кроме головы», — Руской земли без Игоря. Солнце светится на небесе, Игорь князь в Руской земли. Девицы поют на Дунаи, выются голоси чрез море до Києва. Игорь едет по Боричеву к святей богородицы Пирогощей¹. Страны ради, гради весели.

Певше песнь старым князем, а потом молодым пети: «Слава Игорю Святъславличю, буй-туру Всеволоду, Владимиру Игоревичу. Здрави князи и дружина, побарая за христьяны на поганья плъки! Князем слава а дружине». Аминь.

Говорил Боян о походах Святославовых, песнетворец старого времени Ярославова, Олегова, княжего: «Тяжко тебе, голова, без плеч, худо тебе, тело, без головы». Так и Русской земле без Игоря. Солнце светит на небе, Игорь князь на Русской земле. Девицы поют на Дунае, выются их голоса через море до Києва. Игорь едет по Боричёву ко святой богородице Пирогощей. Страны рады, города веселы.

Спев песню старым князьям, будем петь и молодым: «Слава Игорю Святославичу, буйному туру Всеволоду, Владимиру Игоревичу. Да здравствуют князья и дружина, борющиеся за христиан с погаными полками! Слава князьям и дружине». Аминь.

Повести

ПОВЕСТЬ ОБ ЕВПАТИИ КОЛОВРАТЕ²

Царь Батый окаянный начал воевати Рязанскую землю; и пошёл ко граду к Рязани и обступил град Рязань и бил неотступно пять дней. А в шестый день рано пришли поганые ко граду, одни с огнями, а иные с пороками³, а иные с многочисленными лестницами. И взяли град Рязань месяца декабря в 21 день. И не оставили в граде ни одного живого, все равно умерли и едину чашу смертную пили. Не было там ни стонущего, ни плачущего, ни отца и матери о чадах, или чада об отце и о матери, ни брата о брате, ни ближнего рода; но все вкупе мёртвы лежали. И это всё насладил бог грехов ради наших.

Безбожный царь Батый, видя великое пролитие крови христианской, разъярился очень и огорчился и пошёл на град Суз-

¹ Киевская церковь богородицы Пирогощей была заложена в 1131 г. Мстиславом Великим. «Боричёв взвоз» — улица в Киеве, ведущая с Подола в город.

² Повесть об Евпатии входит в состав исторической повести о разорении Рязани Батыем в 1237 г.; дошла до нас в списках XVI и XVII вв. В печатаемом тексте устаревшие формы и выражения переведены на современный язык.

³ Пороки — стенобитные орудия.

даль и Володимир, желая Русскую землю поплеснити и веру христианскую искоренити и церкви божии до останка разорити.

И некий от вельмож Рязанских, именем Евпатий Коловрат, в то время был в Чернигове. И услышал о приходе зловерного царя Батыева и идёт из Чернигова с малою дружиною, и шёл скоро. И приехал в землю Рязанскую и видит её опустевшею, грады разорены, церкви пожжены, люди перебиты. И пришёл во град Рязань и увидел град разорён, государи побиты и множество народа лежаще, одни убиты и посечены, а иные пожжены, иные в реке утоплены. И вскричал Евпатий в горести души своей и рыдал в сердце своём. И собрал мало дружины — тысячу и семьсот человек, которых бог сохранил, потому что были вне града. И двинулся вслед безбожного царя Батыева, желая пити смертную чашу с своими государями равно. И едва догнал его в земле Суздальской.

И внезапно напал на станы Батыевы и начал сечи без милости. И смёл все полки татарские. Татары же стали как бы пьяны или безумны, и Евпатий тако их бил нещадно, и мечи притупилися, и брали татарские мечи и секли их нещадно. Татары думали, что мёртвые восстали. Евпатий сильные полки татарские, проезжая, бил их нещадно и ездил по полкам татарским храбро и мужественно, так что и самому царю страшно стало.

И тогда поймали от полку Евпатиева пять человек воинских, изнемогших от великих ран, и привели их к царю Батыеву. И царь Батый начал вопрошати: «Коя веры вы и коя земли и что мне много зла творите?» Они же сказали: «Веры христианской мы, рабы великого князя Юрия Ингоровича Рязанского, а от полку Евпатиева Коловрата, посланы от князя Ингваря Ингоровича Рязанского тебя, сильного царя, почтити и честно проводитьи и честь тебе воздати; да не подиви, царю, не успеваем наливати чашу на великую силу — рать татарскую». Царь же подивился ответу их мудрому. И послал шурина своего Хостоврула на Евпатия, а с ним сильные полки татарские. Хостоврул же похвалился перед царём, желая Евпатия жива пред царя привести.

И сошлись сильные полки татарские, желая Евпатия жива взяти. Хостоврул же съехался с Евпатием. Евпатий же, исполни силою, наехал и рассек Хостоврула на полы¹ до седла; и начали бити силу татарскую. И многих тут нарочитых богатырей Батыевых побили, одних на полы рассекли, а иных до седла раскроили. Татары же устрашились, видя Евпатия крепка исполнина, и навели на него множество пороков. И начали бити по нём с сточисленных пороков; и тогда убили.

И принесли тело его пред царя Батыева. Царь Батый послал по мурзы и по князи и по санчакбеи². И начали дивиться храбрости и крепости, и мужеству. Они же сказали царю: «Мы с многими

¹ Пополам.

² Санчакбеи — правители санчака (санджака), то есть области.

цари
цов и
бо лю
венно
них не
Ца
ловра
ною, д
пали.
своего
плени
не вре

ПОВ

С

«Ры
бьём ч
риши. Х
ника и
озеро з
лишил
ся тот Б
аки лю
острыми
ет нам р
путь сво
не умеет
тим быт
Судь
вечаешь
за товар
дедов на
дне озер
милосты
не смутит

1 Со м
2 При
3 Повес
Московской
ней бумага
процесса. С
отразился в
зодов воспо
теристики о
тыков в ска
рой полови
4 Богате

цари во многих землях, на многих бранях бывали, а таких удалых
цов и резвцов не видали, ни отцы наши не возвестили нам: сии
бо люди крилати и не имеющие смерти, тако крепко и мужест-
венно сражались, один с тысящею, а два с тьмою¹; ни один же от
них не может съехати жив с побойща».

Царь Батый посмотрел на тело Евпатиево и говорит: «О Ко-
ловрате Евпатие, гораздо меня потрепал с малою своею дружи-
ною, да многих богатырей сильной орды побил и многие от тебя
пали. Если бы у меня такой служил, держал бы его против сердца
своего»². И дал тело Евпатиево его дружине оставшой, которые
пленены на побойще; и велел их царь Батый отпустить и ничем
не вредить.

ПОВЕСТЬ О ЕРШЕ ЕРШОВИЧЕ СЫНЕ ЩЕТИННИКОВЕ³

Список ссудного дела слово в слово, как был суд у Леща с Ершом

«Рыбам господам: великому Осетру и Белуге, Белой рыбице,
бьём челом Ростовского озера сынчишко боярский Лещ с това-
рищи. Жалоба, господа, вам на злого человека, на Ерша Щетин-
ника и на ябедника. В прошлых, господа, годех было Ростовское
озеро за нами, а тот Ёрш, злой человек, Щетинников наследник,
лишил нас Ростовского озера, наших старых жиров⁴; расплодил-
ся тот Ёрш по рекам и по озёрам; он собою мал, а щетины у него,
аки лютые рогатины, и он свидится с нами на стану — и теми
острыми своими щетинами подкалывает наши бока и прокалыва-
ет нам рёбра, и суётся по рекам и по озёрам, аки бешеная собака,
путь свой потеряв. А мы, господа христиански, лукавством жить
не умеем, а браниться и тягаться с лихими людьми не хотим, а хо-
тим быть оборонены вами, праведными судьями».

Судьи спрашивали ответчика Ерша: «Ты, Ёрш, истцу Лещу от-
вечаешь ли?» Ответчик Ёрш рече: «Отвечаю, господа, за себя и
за товарищев своих в том, что то Ростовское озеро было старина
дедов наших, а и ныне наше, а он, Лещ, жил у нас в суседстве на
дне озера, а на свет не выхаживал. А я, господа, Ёрш, божнею
милостью, отца своего благословением и матерними молитвами,
не смутщик, не вор, не тать и не разбойник, в приводе нигде не

¹ Со множеством.

² При сердце своём.

³ Повесть представляет собой сатирическое описание судопроизводства Московской Руси (взятничество пристава) в форме челобитной (официальной бумаги), составленной согласно установленным правилам следственного процесса. Сюжет повести был очень популярен, перешёл в лубочные картинки, отразился в пословичной речи («выжил, как ёрш леща»). Одним из её эпизодов воспользовался Ершов, автор «Конька-Горбушка»; её приёмами характеристики общественных явлений под видом рыб воспользовался также Салтыков в сказке «Премудрый пескарь». Создание повести относится ко второй половине XVII в.

⁴ Богатства.

бывал, воровского у меня ничего не вынимывали; я силен, силен рыи, живу я своею силой, а не чужою; знают меня в Ростове, в иных великих городах князи и бояре, столбники и дьяки, жильцы московские, дьяки и подьячие, и всякие чиновники покупают меня дорогою ценою, и варят меня с перцем и с уксусом, и ставят перед собою честно, и многие добрые люди пьют с похмелья и кушавши поздравляют».

Судьи спрашивали истца Леша: «Ты, Лещ, чем гордишься? Истец Лещ рече: «Уличаю его божиею правдою да виной, известными судьями». Судьи спрашивали истца Леша: «Где тебе ведомо про Ростовское озеро и о реках, и о восточах, и на кого шлѣшься?» Истец Лещ рече: «И шлюсь я, господи, из Ростова на добрых людей разных городов и областей; есть, господи, человек добрый, живёт в немецкой области под Ивановым городом, в реке Нарве, по имени рыба Сиг, а другой, господи, человек добрый живёт в Новгородской области в реке Волхове, по имени рыба Лодуга». Спрашивали ответчика Ерша: «Ты, Ерш, шлѣшься ли на Лещёву правду, на таковых людей?» И ответчик Ерш рече: «Слатися, господи, нам на таковых людей не уметь: Сиг и Лодуга — люди богатые, животами прожиточны, а Лещ такой же человек заводной³, шлѣмся в послушество»⁴. И судьи спрашивали ответчика Ерша: «Почему у тебя такие люди недрузья и каная у тебя с ними недружба?» Ответчик Ерш рече: «Господа мои судьи, недружбы у нас с ними никакой не бывало, а слатися на них не смеем — для того, что Сиг и Лодуга люди великие, а Лещ такой же человек заводной; они хотят нас, маломочных людей, испродать⁵ напрасно».

Судьи спрашивали истца Леша: «Ещё кому у тебя ведомо Ростовское озеро и о реках, и о восточах, и на кого шлѣшься?» Истец Лещ рече: «Шлюсь я, господи, из виноватых есть человек добрый, живёт в Переславском озере, рыба Сельдь».

Судьи спрашивали ответчика Ерша: «Ты, Ерш, шлѣшься ли на Лещёву правду?» Ответчик же Ерш рече: «Сиг и Лодуга и Сельдь с племянью⁶, а Лещ такой же человек заводной: в суседстве имаются, где судятся — едят и пьют вместе, про нас не молвят».

И судьи послали пристава Окуня и велели взять с собою в понятых Мня⁷, приказали взять в правде переславскую Сельдь. Пристав же Окунь емлет в понятых Мня, и Мень Окуню пристава сулит посулы великие и рече: «Господине Окуне, аз не гожусь в понятых быть: брюхо у меня велико — ходить не могу, а се глаза малы — далеко не вижу, а се губы толсты — перед добрыми

¹ Об истоках.

² Привлечённых по делу.

³ Зажиточный.

⁴ В свидетели.

⁵ Разорить.

⁶ Родня.

⁷ Рыбу налим.

людьми говорить не умею». Пристав же Окунь смлет в попятых Головля и Езя. И Окунь поставил в правде переславскую Сельдь. И судьи спрашивали в правде у переславской Сельди: «Сельдь, скажи ты нам про Леща и про Ерша и промеж ими про Ростовское озеро». Сельдь же рече в правде: «Леща с товарищи знают; Лещ человек добрый, христианин божий, живёт своею, а не чужою силой, а Ёрш, господа, злой человек, щетинник, ябедник, скигается по рекам и по озёрам, а где тот Ёрш впросится ночевать и он тут хочет и племя развести». И судьи спрашивали: «Правда, Сельдь переславская, скажи ты про того Ерша, знают ли его на Москве князья и бояре, дьяки и дворяне, попы и дьконы, гости богатые». «Правда», Сельдь переславская сказала: «Знают его на Москве на земском дворе... ярыжки кабацкие, у которого лучится одна деньга и на ту деньгу купит Ершов много, половину съедят, а другую расплюют и собакам размечут, да сверх того ведомо тебе и самому, Осетру, каков тот Ёрш!» И Осётр сказал: «Господа! Аз вам не правда ни послух и скажу вам правду божью, а свою беду: когда я шёл из Волги-реки к Ростовскому озеру и к рекам жировать, и он меня встретил на устье Ростовского озера и нарече мя братом, а я лукавства его не ведал, а спрошать про него, злого человека, никого нелучилось, и он меня спроси: — братец Осётр, где идёши? И аз ему поведал: — иду к Ростовскому озеру и к рекам жировать. И рече ми Ёрш — братец Осётр, когда аз шёл Волгою-рекою, тогда аз был толще тебя и доле¹, бока мои тёрли у Волги-реки берега, очи мои были аки полная чаша, хвост же мой был аки большой судовой парус; а ныне, братец Осётр, видишь ты и сам, каков я стал скуден, иду из Ростовского озера. — Аз же, господа, слышав такое его прелестное слово, и не пошёл в Ростовское озеро к рекам жировать; дружину свою и детей голодом поморил, а сам от него в конец погинул. Да ещё вам, господа, скажу: тут же Ёрш обманул меня, Осетра, старого мужика, и привеле меня к неводу и рече ми: — братец Осётр, пойдём в невод: есть там рыбы много. — И я его нача посылать наперёд. И он, Ёрш, мне рече: — братец Осётр, коли меньшей брат ходит наперёд большого? — И я на него, господа, прелестное слово положился и в невод пошёл, обратился в невод да увяз, а невод — что боярский двор: — итти ворота широкие, а вытти узки. А тот Ёрш за невод выскочил в ячею, а сам мне насмехался — ужели ты, братец, в неводу рыбы наелся? — А как меня поволокли вон из воды, и тот Ёрш нача прощаться: — братец, братец Осётр! прости, не поминай лихом. А как меня мужики на берегу стали бить дубинами по голове, и я начал стонать, и он, Ёрш, рече ми: — братец Осётр, терпи Христа ради!»

Конец судного дела. Судьи слушали судного дела и приговорили: «Леща с товарищи оправить, а Ерша обвинить». И выдали истцу Лещу того Ерша головой и велели казнить торговою каз-

¹ Длиннее.

нию — бити кнутом и после кнута повесить в жаркие дни против солнца за его воровство и за ябедничество. А у судного дела сидели люди добрые: дьяк был Сом с большим усом, а доводчик Карась, а список с судного дела писал Выюн, а печатал Рак своей заднею клешнёю, а у печати сидел Вандыш¹ переславский. Да на того же Ерша выдали правую грамоту: «где его застанут в своих вотчинах, тут его без суда казнить».

Речет Ёрш судьям: «Господа судьи! Судили вы не по правде, судили по мзде. Леща с товарищами оправили, а меня обвинили». Плюнул Ёрш судьям в глаза и скочил в хворост: только того Ерша и видели.

¹ Снеток.

Михаил Васильевич Ломоносов

* 1711—1765 *

Повелитель многих языков, язык российский, не токмо обширностью мест, где он господствует, но купно и собственным своим пространством и довольствием велик перед всеми в Европе. Невероятно сие покажется иностранным и некоторым природным россиянам, которые больше к чужим языкам, нежели к своему, трудов прилагали. Но кто, не упреждённый великими о других мнениями, прострет в него разум и с прилежанием вникнет, со мною согласится.

Карл пятый, римский император, говаривал, что испанским языком с богом, французским с друзьями, немецким с неприятелями, итальянским с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно. Ибо нашёл бы в нём великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языков...

Российская грамматика, 1755,

ОДА НА ДЕНЬ ВОСШЕСТВИЯ НА ПРЕСТОЛ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ, 1747 г.

Царей и царств земных отрада,
Возлюбленная тишина,
Блаженство сёл, градов ограда,
Коль ты полезна и красна!
Вокруг тебя цветы пестреют,

И класы на полях желтеют;
Сокровищ полны корабли
Дерзают в море за тобою;
Ты сыплешь щедрою рукою
Свое богатство по земли.

Великое светило миру,
Блестя с вечной высоты
На бисер, злато и порфиру,
На все земные красоты,
Во все страны свой взор
возводит;

Тогда божественны науки
Чрез горы, реки и моря
В Россию простирали руки
К сему монарху, говоря:
Мы с крайним тщанием готовы
Подать в Российском роде новы
Чистейшего ума плоды.
Монарх к себе их призывает,
Уже Россия ожидает
Полезны видеть их труды¹.

Но, ах! жестокая судьбина!
Бессмертия достойный муж,
Блаженства нашего причина,
К несносной скорби наших
душ,
Завистливым отторжен роком!
Нас в плаче погрузил глубоком!
Внушив рыданий наших слух,
Верхи Парнасски восстенали,
И Музы воплем провожали
В небесну дверь пресветлый
дух².

В толикой праведной печали
Сомненный их смущался путь;
И токмо шествуя желали
На гроб и на дела взглянуть.
Но кроткая Екатерина³,
Отрада по Петре едина,
Приемлет щедрой их рукой.
Ах, если б жизнь её

продлилась,
Давно б Секвана постыдилась
С своим искусством пред
Невой⁴.

Какая светлость окружает
В толикой горести Парнасс?
О, коль согласно там бряцает
Приятных струн сладчайший
глас!

Все холмы покрывают лики;
В долинах раздаются клики:
Великая Петрова дочь⁵
Щедроты отчи превышает,
Довольство Муз усугубляет
И к счастью отверзает дверь.

Великой похвалы достоин,
Когда число своих побед
Сравнить сраженьем может
воин,

И в поле весь свой век живет;
Но ратники ему подвластны,
Всегда хвалы его причастны,
И шум в полках со всех сторон
Звучащу славу заглушает,
И грому труб её мешает
Плачевный побеждённых стон.

Сия тебе единой слава,
Монархиня, принадлежит,
Пространная твоя держава,
О, как тебя благодарит!
Воззри на горы превысоки,
Воззри в поля твои широки,
Где Волга, Днепр, где Обь
течёт;

Богатство в оных потаенно
Наукой будет откровенно,
Что щедростью твоей цветёт.

Толикое земель пространство,
Когда всевышний поручил
Тебе в счастливое подданство,
Тогда сокровища открыл,
Какими хвалится Индия;
Но требует к тому Россия
Искусством утверждённых рук.
Сие злату очистит жилу,
Почувствуют и камни силу
Тобой восставленных наук.

¹ Указание на основание Петром I Академии наук, открытой в 1725 г.

² По античной мифологии, на горе Парнас обитали Музы — покровительницы искусств и наук.

³ Екатерина I.

⁴ Секвана — латинское название реки Сены. Ломоносов имеет в виду Парижскую академию наук, с которой сопоставляет Академию наук в Петербурге.

⁵ Елизавета Петровна.

И быстрых разумом Невтонов¹
Российская земля рождать.

В градском шуму и наедине,
В покое сладки и в труде.

Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастный случай берегут;
В домашних трудностях утеха
И в дальних странствах не
помеха.

Тебе, о милости источник,
О ангел мирных наших лет!
Всевышний на того помощник,
Кто гордостью своей дерзнет,
Завидя нашему покою,
Против тебя восстать войною;
Тебя зиждитель сохранит
Во всех путях беспреткновенну
И жизнь твою благословенну
С числом щедрот твоих
сравнит.

Науки пользуют везде,
Среди народов и в пустыне,

¹ Платон — греческий философ (IV в. до н. э.); Невтон (Ньютон, 1642—1727) — английский математик, физик и астроном.

Гавриил Романович Державин

• 1743 — 1816 •

ОДА К ФЕЛИЦЕ¹

(1782)

(В сокращении)

Богородица царица
Киргиз-кайсацкия орды!
Которой мудрость несравненна
Открыла верные следы
Царевичу младому Хлору
Взойти на ту высокую гору,
Где роза без шипов растёт,
Где добродетель обитает:
Она мой дух и ум пленяет,
Поддай найти её совет.

2

Поддай, Фелица! наставленье:
Как пышно и правдиво жить,

Как укрощать страстей

волненье

И счастливым на свете быть?
Меня твой голос возбуждает,
Меня твой сын препровождает;
Но им последовать я слаб.
Мятясь житейской суетою,
Сегодня властвую собою,
А завтра прихотям я раб.

3

Мурзам твоим не подражая,
Почасту ходишь ты пешком,
И пища самая простая
Бывает за твоим столом,

¹ В 1781 г. Екатерина II сочинила для своего внука Александра «Сказку о царевиче Хлоре». Хлор, сын киевского царя, во время прогулки был похищен киргизским ханом, который приказывает ему отыскать розу без шипов. Дочь хана, весёлая и любезная Фелица, хотела помочь царевичу в его поисках, но ей помешал это сделать ее муж, султан Брюзга, тогда она даёт в руководители мальчику своего сына — Рассудок. На пути царевича приглашает к себе мурза Лентяг, чтобы соблазнами отвлечь его от цели. При помощи Рассудка царевич достигает крутой горы, на вершине которой он и находит розу без шипов, т. е. добродетель. Хан отослал царевича вместе с розой к его отцу.

Державин воспользовался сказкой Екатерины и под именем Фелицы (от латинского слова *фелицитас* — счастье), под которым, как объяснил автор оды, он разумел «премудрость, благодать, добродетель», прославил императрицу. Себя и вельмож екатерининского двора поэт называет мурзами.

Не дорожа твоим, покоем,
Читаешь, пишешь пред
налогом¹.

И всем из твоего пера
Блаженство смертным
проливаешь;

Подобно в карты не играешь,
Как я, от утра до утра.

4

Не слишком любишь
маскарады,
А в клуб не ступишь и ногой;
Храня обычаи, обряды,
Не донкишотствуешь² собой;
Коня Парнаска не седлаешь³,
К духам в собрание
не въезжаешь⁴;
Не ходишь с трона на Восток,
Но кротости ходя стезёю,
Благотворящею душою
Полезных дней проводишь ток.

5

А я, проспавши до полудни,
Курю табак и кофе пью;
Преображая в праздник будни,
Кружу в химерах мысль мою:
То плен от Персов похищаю,
То стрелы к Туркам обращаю;

То, возмечтав, что я Султан,
Вселенну устрашаю взглядом;
То вдруг, прельщаяся нарядом,
Скачу к портному по кафтан⁵.

6

Или в пиру я пребогатом,
Где праздник для меня дают,
Где блещет стол серебром и
златом,

Где тысячи различных блюд;
Там славный окорок
Вестфальской,

Там звенья рыбы
Астраханской,

Там плов и пироги стоят,
Шампанским вафли запиваю
И всё на свете забываю
Средь вин, сластей и аромат.

7

Или средь рощицы прекрасной
В беседке, где фонтан шумит,
При звоне арфы

сладкогласной,
Где ветерок едва дышит,
Где всё мне роскошь

представляет,
К утехам мысли уловляет,
Томит и оживляет кровь...

¹ *Налог* — род столика с покатою крышкой.

² *Донкишотствуешь* — образовано от имени героя романа Сервантеса Дон-Кихота, который сделался символом людей, лишённых сознания реальной действительности.

³ То есть, по мнению Державина, Екатерина не занималась стихотворством. Будучи автором опер, комедий, она заказывала в случае необходимости стихотворные вставки своим чиновникам.

⁴ К «духам», т. е. в масонские ложи, организованные столичным дворянством отчасти для выражения недовольства официальной церковностью и отдельными проявлениями правительственного режима. Эти объединения (ложи) назывались «Востоками» и были разгромлены Екатериной II, когда оппозиционные круги дворянства стали казаться ей опасными. В 1792 г. один из представителей масонских лож, книгоиздатель и журналист Н. И. Новиков, был посажен в Шлиссельбургскую крепость.

⁵ Строфы 5, 6, 7 и 8 относятся к временщику-вельможе, князю Г. А. Потёмкину.

Или великолепным цугом¹
 В карете английской, златой,
 С собакой, шутом или другом,
 Или с красавицей какой
 Я под качелями гуляю;
 В шинки пить мёду засезжаю;
 Или, как то наскучит мне,
 По склонности моей к премене,
 Имея шапку на бекрене,
 Лечу на резвом бегуне².

9

Или музыкой и певцами,
 Органом и волынкой вдруг,
 Или кулачными бойцами³
 И пляской веселю мой дух;
 Или о всех делах заботу
 Оставя, езжу на охоту
 И забавляюсь лаем псов⁴;

Или над Невскими берегами
 Я тешусь по ночам рогами⁵
 И греблей удалых греблю.

10

Иль сидя дома я прокажу,
 Играю в дураки с женой,
 То с ней на голубитню пашу,
 То в жмурки резвимся порок,
 То в свайку с нею веселюся,
 То сю в голове ищуся;
 То в книгах рыться я люблю.
 Мой ум и сердце просвещаю,
 Полкана и Бову читаю⁶;
 Над библией зевая сплю.

11

Таков, Фелица, я развратен!
 Но на меня весь свет похож...

ОСЕНЬ ВО ВРЕМЯ ОСАДЫ ОЧАКОВА

(1788)

(Отрывок)

1

Спустил седой Эол Борея⁷
 С цепей чугунных из пещер;
 Ужасные крыла расширя,
 Махнул по свету богатырь;

Погнал стадами воздух синий,
 Сгустил туманы в облака,
 Давнул — и облака расселись,
 Пустился дождь и восшумел.

¹ Цуг — упряжка в четыре или шесть лошадей попарно.

² Лечу на резвом бегуне. — Державин относил восьмую строфу к тому же Потёмкину, а «более к гр. А. Г. Орлову, который был охотник до скачки лошадиной».

³ Или кулачными бойцами. — А. Г. Орлов, по объяснению Державина, «был охотник до всякого молодечества русского, как и до песен русских».

⁴ И забавляюсь лаем псов. — Относится к вельможе П. И. Панину, который любил псовую охоту.

⁵ Я тешусь по ночам рогами. — По объяснению Державина, относится к вельможе С. К. Нарышкину, который первый завёл роговую музыку, т. е. крепостной оркестр, состоявший из музыкантов, которые извлекали из рога каждый по одной ноте, а все вместе составляли как бы один инструмент.

⁶ Полкан и Бова — герои переведённого в конце XVII в. старонитальянского романа о Бове-королевиче; роман быстро сделался популярным среди читателей разных слоёв. «Относится, — по словам Державина, — до кн. Вяземского, любившего читать романы, которые часто автор, служа у него в команде, пред ним читывал, и случалось, что тот и другой дремали и не понимали ничего».

⁷ Эол — бог ветра в античной мифологии. Борея — северный ветер.

Уже р
 Сноши
 И рос
 Рукою
 Уже ст
 Ковыл
 Шумя
 Расстл

В олуц
 Как ко
 Ловецк
 И выжа
 Запаси
 Ест доб
 Обогащ
 Блажен

Борей н
 И Зиму
 Идёт сед

Колпи

2

Уже румяна осень носит
Сноп златый на гумно,
И роскошь винограду просит
Рукою жадной на вино.
Уже стада толпятся птичьи,
Ковыль сребрится по степям;
Шумящи красно-желты листья
Расстлались всюду по тропам.

3

В опушке заяц быстроногий,
Как колпик¹ поседев, лежит;
Ловецки раздаются роги,
И выжлят лай, и гул гремит.
Запасшись крестьянин хлебом,
Ест добры щи и пиво пьёт;
Обогащённый щедрым небом,
Блаженство дней своих поёт.

4

Борей на Осень хмурит брови
И Зиму с севера зовёт.
Идёт седая чародейка,

Косматым машет рукавом;
И снег, и мраз, и иней сыплет,
И воды претворяет в льды,
От холодного её дыханья
Природы взор оцепенел.

5

На место радуг испещрённых
Висит по небу мгла вокруг;
А на коврах полей зелёных
Лежит рассыпан белый пух.
Пустыни сетуют и доли,
Голодные волки воют в них;
Древа стоят и холмы голы,
И не пасётся стад при них.

6

Ушёл олень на тундры мшисты,
И в логовище лёг медведь;
По сёлам нимфы голосисты
Престали в хороводах петь;
Дымятся серым дымом дома,
Поспешно едет путник в путь,
Небесный Марс оставил громы
И лёг в туманы отдохнуть...

ПАМЯТНИК

(1796)

1

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,
Металлов твёрже он и выше пирамид;
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,
И времени полёт его не сокрушит.

2

Так — весь я не умру; но часть меня большая,
От тлена убежав, по смерти станет жить,
И слава возрастёт моя, не увядая,
Доколь Славянов род вселенна будет чтить.

¹ Колпик — птица из породы цапель.

Слух прѣйдет обо мне от Белых вод до Чѣрных
 Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льѣт Урал;
 Всяк будет помнить то в народах неисчѣтных,
 Как из безвестности я тем известен стал,

Что первый я дерзнул в забавном Русском слоге
 О добродетелях Фелицы возгласить,
 В сердечной простоте беседовать о боге
 И истину царям с улыбкой говорить.

О Муза! возгордись заслугой справедливой,
 И прѣзрит кто тебя, сама тех презирай;
 Непринужденною рукой, неторопливой,
 Чело твоѣ зарѣй бессмертия венчай.

П
Г
М
Е
П
С
С
М

Ка
ку.
ну
(М

воен

Денис Иванович Донцов

* 1745—1792 *

НЕДОРОСЛЬ¹

Комедия в пяти действиях
(1792)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Простаков.	Г-н Скотинин, брат г-жи Простаковой.
Г-жа Простакова, жена его.	Кутейкин, семинарист.
Митрофан, сын их, недоросль ² .	Цыфиркин, отставной сержант.
Еремеевна, мама ³ Митрофанова.	Вральман, учитель.
Правдин.	Тришка, портной.
Стародум.	Слуга Простакова.
Софья, племянница Стародума.	Камердинер Стародума.
Милон.	

Действие в деревне Простаковых

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЯВЛЕНИЕ I

Г-жа Простакова, Митрофан, Еремеевна.

Г-жа Простакова (осматривая кафтан на Митрофане). Кафтан весь испорчен. Еремеевна, введи сюда мошенника Тришку. (Еремеевна отходит.) Он, вор, везде его обузил. Митрофанушка, друг мой! Я чаю, тебя жмёт до смерти. Позови сюда отца. (Митрофан отходит.)

¹ Печатается в сокращении.

² Недоросль — молодой дворянин (до 20 лет), ещё не поступивший на военную службу. Дворяне XVIII в., по свидетельству современника, всячески старались уклониться от службы, когда наступал её срок, и старели в своих поместьях. Дворянский недоросль, уклонявшийся от службы, превратил это звание вследствие нежелания служить и учиться в синоним неуча и лентяи.

³ Мама, мамушка — старинное народное название няни.

ЯВЛЕНИЕ II

Г-жа Простакова, Еремеевна, Тришка.

Г-жа Простакова (Тришке). А ты, скот, подойди поближе. Не говорила ль я тебе, воровская харя, чтоб ты кафтан пустил шире. Дитя, первое, растёт; другое, дитя и без узкого кафтана деликатного сложения. Скажи, болван, чем ты оправдаешься?

Тришка. Да вить я, сударыня, учился самоучкой. Я тогда же вам докладывал; ну, да извольте отдавать портному.

Г-жа Простакова. Так разве необходимо надобно быть портным, чтобы уметь сшить кафтан хорошенько? Экое скотское рассуждение!

Тришка. Да вить портной-то учился, сударыня, а я нет.

Г-жа Простакова. Ища он же и спорит! Портной учился у другого, другой у третьего; да первок¹ портной у кого же учился? Говори, скот.

Тришка. Да первок портной, может быть, шил хуже и моего.

Митрофан (вбегает). Звал батюшку. Изволил сказать: тотчас.

Г-жа Простакова. Так поди же, вытащи его, коли добром не дозовёшься.

Митрофан. Да вот и батюшка.

ЯВЛЕНИЕ III

Те же и Простаков.

Г-жа Простакова. Что, что ты от меня прятаться изволишь? Вот, сударь, до чего я дожила с твоим потворством! Какова сыну обновка к дядину сговору? Каков кафтанец Тришка сшить изволил?

Простаков (от робости запинаясь). Ме... мешковат немножко.

Г-жа Простакова. Сам ты мешковат, умная голова.

Простаков. Да я думал, матушка, что тебе так кажется.

Г-жа Простакова. А ты сам разве ослеп?

Простаков. При твоих глазах мои ничего не видят.

Г-жа Простакова. Вот каким муженьком наградила меня господь: не смыслит сам разобрать, что широко, что узко.

Простаков. В этом я тебе, матушка, и верил и верю.

Г-жа Простакова. Так верь же и тому, что я холопам потакать не намерена. Поди, сударь, и теперь же накажи...

ЯВЛЕНИЕ IV

Те же и Скотинин.

Скотинин. Кого? За что? в день моего сговора! Я прошу тебя, сестрица, для такого праздника отложить наказание до

¹ Народное выражение вместо *первый-то*.

завтр
будь
У ме
так п
Г-
шлюс
тан?
С
П
С
рядн
Г-
евне.)
чаю, с
Ер
изволи
Г-
какое
Ер
для М
Г-
лось, М
М
Ск
М
Пр
волил.
М
не пом
Ер
кувшин
М
дрянь в
Г-ж
М
Г-ж
М
матушка
Пр
М
Г-ж
М
Г-ж
Вот сыно
Скот
нок, а не
Подоб
т. е. на кир

завтрева: а завтра, коль изволишь, я и сам охотно помогу. Не будь я Тарас Скотинин, если у меня не всякая вина виновата. У меня в этом, сестрица, один обычай с тобою. Да за что же ты так прогневалась?

Г-жа Простакова. Да вот, братец, на твои глаза пошлюсь. Митрофанушка, подойди сюда. Мешковат ли этот кафтан?

Скотинин. Нет.

Простаков. Да я и сам уже вижу, матушка, что он узок.

Скотинин. Я и этого не вижу. Кафтанец, брат, сшит изряднѣхонько.

Г-жа Простакова (Тришке). Выйди вон, скот. (Еремеевне.) Поди же, Еремеевна, дай позавтракать ребѣнку. Ведь я чаю, скоро и учителя придут.

Еремеевна. Он уже и так, матушка, пять булочек скушать изволил.

Г-жа Простакова. Так тебе жаль шестой, бестия? Вот какое усердие! Изволь смотреть!

Еремеевна. Да во здравие, матушка. Я ведь сказала это для Митрофана же Терентьевича. Протосковал до самого утра.

Г-жа Простакова. Ах, мати божия! Что с тобою сделалось, Митрофанушка?

Митрофан. Так, матушка. Вчера после ужина схватило.

Скотинин. Да видно, брат, поужинал ты плотно.

Митрофан. А я, дядюшка, почти и вовсе не ужинал.

Простаков. Помнится, друг мой, ты что-то скушать изволил.

Митрофан. Да что! Солонины ломтика три, да подовых¹, не помню, пять, не помню, шесть.

Еремеевна. Ночью то и дело испить просил. Квасу целый кувшинец выкушать изволил.

Митрофан. И теперь как шальной хожу. Ночь всю такая дрянь в глаза лезла.

Г-жа Простакова. Какая ж дрянь, Митрофанушка?

Митрофан. Да то ты, матушка, то батюшка.

Г-жа Простакова. Как же это?

Митрофан. Лишь стану засыпать, то и вижу, будто ты, матушка, изволишь бить батюшку.

Простаков (в сторону). Ну! беда моя! Сон в руку!

Митрофан (разнежась). Так мне и жаль стало.

Г-жа Простакова (с досадою). Кого, Митрофанушка?

Митрофан. Тебя, матушка: ты так устала, колотя батюшку.

Г-жа Простакова. Обойми меня, друг мой сердечный! Вот сынок — одно моё утешение!

Скотинин. Ну, Митрофанушка! ты, я вижу, матушкин сынок, а не батюшкин.

¹ Подовые пироги — пироги из кислого теста, которые пекутся на поду, т. е. на кирпичной настилке внутри печи.

Простакон. По крайней мере, я люблю его, как надлежит родителю; то-то умное дитя, то-то разумное, забавник, затейник; иногда я от него вне себя и от радости сам истинно не верю, что он мой сын.

Скотинин. Только теперь забавник наш стоит что-то нахмуясь.

Г-жа Простакон. Уж не послать ли за доктором в город?

Митрофан. Нет, нет, матушка. Я уж лучше сам выздоровлю. Побегутка теперь на голубятню, так авось либо...

Г-жа Простакон. Так авось либо господь милостив. Поди, порезвись, Митрофанушка. (Митрофан с Еремеевною отходят.)

ЯВЛЕНИЕ V

Г-жа Простакон, Простакон, Скотинин

Скотинин. Что ж я не вижу моей невесты? Где она? Ввечеру быть уж сговору: так не пора ли ей сказать, что выдают её замуж?

Г-жа Простакон. Успеет, братец. Если ей это сказать прежде времени, то она может ещё подумать, что мы ей докладываемся. Хотя по муже, однако, я ей свойственница, а я люблю, чтоб и чужие меня слушали.

Простакон (Скотинину). Правду сказать, мы поступили с Софьюшкой, как с сущей сироткой. После отца осталась она младенцем. Тому с полгода, как её матушке, а моей сватьюшке, сделался удар...

Г-жа Простакон (показывая, будто крестит сердце). С нами сила крестная!

Простакон. От которого она и на тот свет пошла. Дядюшка её г. Стародум поехал в Сибирь, а как несколько уже лет не было о нём ни слуху, ни вести, то мы и считаем его покойником. Мы, видя, что она осталась одна, взяли её в нашу деревеньку и надзираем над её именем, как над своим.

Г-жа Простакон. Что, что ты сегодня так разоврался, мой батюшка? Ещё братец может подумать, что мы для интересу её к себе взяли.

Простакон. Ну как, матушка, ему это подумать? Ведь Софьюшкино недвижимое имение нам к себе придвинуть не можно.

Скотинин. А движимое хотя и выдвинуто, я не челобитчик¹.хлопотать я не люблю, да и боюсь. Сколько меня соседи ни обижали, сколько убытку ни делали, я ни на кого не бил челом, а всякий убыток, чем за ним ходить, сдеру с своих же крестьян, — так и концы в воду.

¹ Бить челом — кланяться, старинное судебное выражение, означавшее жаловаться в суд на кого-либо; челобитчик — истец, проситель.

Простакон. То правда, братец: весь околоток говорит, что ты мастерски оброк собираешь.

Г-жа Простакон. Хоть бы ты нас поучил, братец-батьюшка, а мы никак не умеем. С тех пор как всё, что у крестьян было, мы отобрали, ничего уже содрать не можем. Такая беда!

Скотинин. Изволь, сестрица, поучу вас, поучу, лишь женишь меня на Софьюшке.

Г-жа Простакон. Неужели тебе эта девчонка так понравилась?

Скотинин. Нет, мне нравится не девчонка.

Простакон. Так по соседству её деревеньки?

Скотинин. И не деревеньки; а то, что в деревеньках-то её водится и до чего моя смертная охота.

Г-жа Простакон. До чего же, братец?

Скотинин. Люблю свиней, сестрица; а у нас в околотке такие крупные свиньи, что нет из них ни одной, которая, став на задние ноги, не была бы выше каждого из нас целой головою.

Простакон. [Странное дело, братец, как родня на родню походить может! Митрофанушка наш весь в дядю — и он до свиней сызмала такой же охотник, как и ты. Как был ещё трёх лет, так, бывало, увидя свинку, задрожит от радости.]

Скотинин. Это, подлинно, диковинка! Ну, пусть, братец, Митрофан любит свиней для того, что он мой племянник. Тут есть какое-нибудь сходство; да отчего же я к свиньям так сильно пристрастился?

Простакон. И тут есть же какое-нибудь сходство. Я так рассуждаю.¹

(Явления VI—VIII. Софья получает письмо от своего дядюшки Стародума. Стародум извещает о своём приезде и пишет, что он составил себе состояние, наследницей которого назначает Софью. Г-жа Простакон тотчас решает женить на Софье Митрофанушку.)

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

(Явления I—II. Милон, прибывший в деревню Простаконных с отрядом солдат, встречается с Правдиным, давним своим другом. Здесь же он неожиданно встречает Софью, которую давно любит.)

Явления III—IV. Скотинин узнаёт о новых замыслах г-жи Простаконной и пытается избить Митрофанушку. Еремеевна яростно защищает своего питомца.)

ЯВЛЕНИЕ V

Г-жа Простакон, Еремеевна, Правдин, Митрофан,
Кутейкин, Цыфиркин, Милон

Г-жа Простакон (к гостям). Одна моя забота, одна моя отрада — Митрофанушка. Мой век проходит. Его готовлю в люди. (Здесь появляются Кутейкин с часословом², а Цыфиркин с

¹ Взятые в квадратные скобки — позднейшая переработка и дополнение текста автором.

² Часослов — книга, употреблявшаяся при церковном богослужении.

аспидной доской и грифелем. Оба они знаками спрашивают Еремеевну, входит ли. Она их манит, а Митрофан отмахивает.)

Г-жа Простакова (не видя их, продолжает.) Авось либо господь милостив, и счастье на роду ему написано.

Правдин. Оглянитесь, сударыня, что за вами делается?

Г-жа Простакова. А! Это, батюшка, Митрофанушкины учителя: Сидорыч Кутейкин...

Еремеевна. И Пафнутий Цыфиркин.

Митрофан (в сторону). Пострел их побери и с Еремеевной!

Кутейкин. Дому владыке мир и многая лета с чады и домочадцы.

Цыфиркин. Желаем вашему благородию здравствовать сто лет, да двадцать, да ещё пятнадцать. Несчётны годы.

Милон. Ба! это наш брат, служивый! Откуда взялся, друг мой?

Цыфиркин. Был гарнизонный, ваше благородие, а ныне пошёл в чистую¹.

Милон. Чем же ты питаешься?

Цыфиркин. Да кое-как, ваше благородие. Малу толику арифметике маракую, так питаюсь в городе около приказных служителей у счётных дел. Не всякому открыл господь науку: так кто сам не смыслит, меня нанимает то счётец поверить, то итоги подвести. Тем и питаюсь; праздно жить не люблю. На досуге ребят обучаю. Вот и у их благородия с парнем третий год над ломаными² бьёмся, да чего-то плохо клеится. Ну и то правда, человек на человека не приходит.

Г-жа Простакова. Что, что ты это, Пафнутий, врёшь? Я не вслушалась.

Цыфиркин. Так. Я его благородию докладывал, что в иного пня в десять лет не вдолбишь того, что другой ловит на полёте.

Правдин (Кутейкину). А ты, господин Кутейкин, не из учёных ли?

Кутейкин. Из учёных, ваше благородие. Семинарии здешняя епархии³. Ходил до риторики⁴, да, богу изволившу, назад воротился. Подавал в консисторию⁵ челобитье, в котором прописал: «Такой-то-де семинарист, из церковничьих детей, убоялся бездны премудрости, просит от неё об увольнении». На что и милостивая резолюция вскоре последовала, с отметкою: «Такого-то-де семинариста от всякого учения уволить: писано бо есть — не мечите бисера перед свиньями, да не попрут его ногами».

Г-жа Простакова. Да где наш Адам Адамыч?

¹ В полную отставку, без возврата на службу.

² Над дробями.

³ Епархия — административно-территориальная единица духовного ведомства.

⁴ Три последовательных курса семинарии назывались: грамматика, риторика и философия. Кутейкин, очевидно, не дошёл до второго курса.

⁵ Консистория — в дореволюционной России административно-судебное учреждение по духовному ведомству.

Еремеевна. Я и к нему было толкнулась да насилу унесла ноги: дым столбом, моя матушка! Задушил, проклятый, табачи-
шем. Такой греховодник!

Кутейкин. Пустое, Еремеевна! Несть греха в курении табака.

Правдин *(в сторону)*. Кутейкин ещё и умничает!

Кутейкин. Во многих книгах разрешается: во псалтири именно напечатано: «И знак на службу человеком».

Правдин. Ну, а ещё где?

Кутейкин. И в другой псалтири напечатано то же. У нашего протопопа маленькая, в осьмушку, и в той то же.

Правдин *(2-же Простаковой)*. Я не хочу мешать упражнениям сына вашего: слуга покорный.

Милон. Ни я, сударыня.

Г-жа Простакова. Куда же вы, государи мои?..

Правдин. Я поведу его в мою комнату. Друзья, давно не видавшись, о многом говорить имеют.

Г-жа Простакова. А кушать где изволите: с нами или в своей комнате? У нас за столом только что своя семья с Софьюшкой.

Милон. С вами, с вами, сударыня.

Правдин. Мы оба эту честь иметь будем.

ЯВЛЕНИЕ VI

Г-жа Простакова, Еремеевна, Митрофан,

Кутейкин, и Цыфиркин.

Г-жа Простакова. Ну, так теперь хоть по-русски прочти зады, Митрофанушка.

Митрофан. Да, зады! Как не так.

Г-жа Простакова. Век живи, век учись, друг мой сердечный! Такое дело.

Митрофан. Как не такое! Пойдёт на ум ученье. Ты б ещё навезла сюда дядюшек!

Г-жа Простакова. Что, что такое?

Митрофан. Да, того и смотри, что от дядюшки таска: а там с его кулаков, да за часослов. Нет, так я, спасибо, уж один конец с собою!

Г-жа Простакова *(испугавшись)*. Что, что ты хочешь делать? Опомнись, душенька!

Митрофан. Ведь здесь и река близко. Нырни — так поминай как звали!

Г-жа Простакова *(вне себя)*. Уморил! Уморил! Бог с тобой!

Еремеевна. Всё дядюшка напугал: чуть было в волоски ему не вцепился. А ни за што, ни про што...

Г-жа Простакова *(в злобе)*. Ну...

Еремеевна. Пристал к нему: хочешь ли жениться?

Г-жа Простакова. Ну...

Еремеевна. Дитя не потаил: уж давно-де, дялюшка, охота берёт. Как он остервенится, моя матушка, как векинется...

Г-жа Простакова (дрожа). Ну... а ты, бестия, остоле- нела, а ты не вцепилась братцу в харю, а ты не раздёрнула ему рыла по уши...

Еремеевна. Приняла было! Ох, приняла, да...

Г-жа Простакова. Да... да что... не твоё дитя, бестия! По тебе ребёнка хоть убей до смерти.

Еремеевна. Ах, создатель, спаси и помилуй! Да кабы бра- тец в ту же минуту отойти не изволил, то я б с ним поломалась, во что б бог ни поставил. Притупились бы эти (указывая на ногти), я б и клыков беречь не стала.

Г-жа Простакова. Все вы, бестии, усердны на одних словах, а не на деле...

Еремеевна (заплавав). Я не усердна вам, матушка! Уж как больше служить, не знаешь... рада бы не токмо что... живота не жалеешь... а всё не угодно.

Цыфиркин. Нам куда поход, ваше благородие? } Вместе.
Кутейкин. Нам восвояси повелите?

Г-жа Простакова. Ты же ещё, старая ведьма, и разре- велась. Поди, накорми их с собою, а после обеда тотчас опять сюда. (К Митрофану.) Пойдём со мной, Митрофанушка. Я тебя из глаз теперь не выпущу. Как скажу тебе нещечко¹, так пожить на свете слюбится. Не век тебе, моему другу, не век тебе учиться; ты, благодаря бога, столько уж смыслишь, что и сам взведёшь деточек. (К Еремеевне.) С братцем перевожусь не по-твоему. Пусть же все добрые люди увидят, что мама и что мать родная! (Отходит с Митрофаном.)

Кутейкин. Житьё твоё, Еремеевна, яко тьма кромешная. Пойдём-ка за трапезу, да с горя выпей сперва чарку...

Цыфиркин. А там другую, — вот те и умноженье

Еремеевна (в слезах). Нелёгкая меня не приберёт. Сорок лет служу, а милость всё та же...

Кутейкин. А велика ли благостыня?

Еремеевна. По пяти рублей на год, да по пяти пощёчин на день. (Кутейкин и Цыфиркин отводят её под руки.)

Цыфиркин. Смекнём же за столом, что тебе доходу в круглый год.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

явление I

Стародум и Правдин.

Правдин. Лишь только из-за стола встали, и я, подошел к окну, увидел вашу карету, то, не сказав никому, выбежал к вам навстречу обнять вас от всего сердца. Моё к вам душевное по- чтение...

¹ Нещечко — в данном случае: нечто, что-то.

Стародум. Оно мне драгоценно, поверь мне.

Правдин. Ваша ко мне дружба тем лестнее, что вы не можете иметь её к другим, кроме таких...

Стародум. Каков ты. Я говорю без чинов. Начинаются чины, перестаёт искренность.

Правдин. Ваше обхождение...

Стародум. Ему многие смеются. Я это знаю. Быть так. Отец мой воспитал меня по-тогдашнему, а я не нашёл и нужды себя перевоспитывать. Служил он Петру Великому. Тогда один человек назывался ты, а не вы; тогда не знали ещё заражать людей только, чтоб всякий считал себя за многих. Зато нынче многие не стоят одного. Отец мой у двора Петра Великого...

Правдин. А я слышал, что он в военной службе...

Стародум. В тогдашнем веке придворные были воины, да воины не были придворные. Воспитание дано было мне отцом моим по тому веку наилучшее. В то время к научению мало было способов, да и не умели ещё чужим умом набивать пустую голову.

Правдин. Тогдашнее воспитание действительно состояло в нескольких правилах.

Стародум. В одном. Отец мой непрестанно твердил мне одно и то же: имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время. На всё прочее мода: на умы мода, на знания мода, как на пряжки, на пуговицы.

Правдин. Вы говорите истину. Прямое достоинство в человеке есть душа.

Стародум. Без неё просвещёнейшая умница — жалкая тварь. *(С чувством.)* Невежда без души — зверь. Самый мелкий подвиг ведёт его во всякое преступление. Между тем, что он делает, и тем, для чего он делает, никаких весков у него нет. От таких-то животных пришёл я освободить...

Правдин. Вашу племянницу. Я это знаю. Она здесь. Пойдём...

Стародум. Постой. Сердце моё кипит ещё негодованием на недостойный поступок здешних хозяев. Побудем здесь несколько минут. У меня правило: в первом движении ничего не начинать.

Правдин. Редкие правило ваше наблюдать умеют.

Стародум. Опыты жизни моей меня к тому приучили. О, если б я ранее умел владеть собой, я имел бы удовольствие служить долее отечеству.

Правдин. Каким же образом? Происшествия с человеком ваших качеств никому равнодушны быть не могут. Вы меня крайне одолжите, если расскажите...

Стародум. Я ни от кого их не таю для того, чтоб другие в подобном положении нашлись меня умнее. Вошед в военную службу, познакомился я с молодым графом, которого имени я и вспомнить не хочу. Он был по службе меня моложе, сын случайного отца, царского фаворита, воспитан в большом свете, и имел особенный случай научиться тому, что в наше воспитание ещё и

не входило. Я все силы употребил списать его дружбу, чтоб всегдашним с ним обхождением наградить недостатки моего воспитания. В самое то время, когда взаимная наша дружба утверждалась, услышали мы печально, что объявлена война. Я бросился обнимать его с радостью. «Любезный граф! Вот случай нам отличить себя. Пойдём тотчас в армию и сделаемся достойными звания дворянина, которое дала нам порода». Вдруг граф сильно наморщился и, обняв меня, сухо: «Счастливей тебе путь», сказал мне, «а я ласкаюсь, что батюшка не захочет со мной расстаться». Ни с чем нельзя сравнить презрения, которое ощутил я к нему в ту же минуту. Тут увидел я, что между людьми случайными и людьми почтенными бывает иногда неизмеримая разница; что в большом свете водятся премелкие души и что с великим просвещением можно быть великому скареду.

Правдин. Сущая истина.

Стародум. Оставя его, поехал я немедленно, куда звала меня должность. Многие случаи имел я отличить себя. Раны мои доказывают, что я их не пропускал. Доброе мнение обо мне начальников и войска было лестною наградою службы моей, как вдруг получил я известие, что граф, прежний мой знакомец, о котором я гнушался вспоминать, произведён чином, а обойдён я — я, лежавший тогда от ран в тяжкой болезни! Такое несправедливое растерзало моё сердце, и я тотчас взял отставку.

Правдин. Что ж бы иное и делать надлежало?

Стародум. Надлежало образумиться. Не умел я остеречься от первых движений раздражённого моего любочестия. Горячность не допустила меня тогда рассудить, что прямо любочестивый человек ревнует к делам, а не к чинам; что чины нередко выпрашиваются, а истинное почтение необходимо заслуживается; что гораздо честнее быть без вины обойдённому, нежели без заслуг пожаловану.

Правдин. Но разве дворянину не позволено взять отставку ни в каком уже случае?

Стародум. В одном только: когда он внутренне удостоверен, что служба его отечеству прямой пользы не приносит. А тогда поди.

Правдин. Вы даёте чувствовать истинное существо должности дворянина.

Стародум. Взяв отставку, приехал я в Петербург. Тут случай завёл меня в такую сторону, о которой мне отроду и в голову не приходило.

Правдин. Куда же?

Стародум. Ко двору. Меня взяли ко двору. А? Как ты об этом думаешь?

Правдин. Как же вам эта сторона показалась?

Стародум. Любопытна. Первое показалось мне странно то, что в этой стороне по большой прямой дороге никто почти не ездит, а все объезжают крюком, надеясь доехать поскорее.

Пра
Ста
зойтись
не подни
Пра
Ста
Тут себя
шем час
дей, кото
дили ни
Пра
государс
Стар
двору по
в числе п
Пра
Стар
пот: а то
Пра
Стар
рами: либ
дожидать
у себя дом
Пра
свою табак
Стар
керке цена
платя день
табакерки,
Ошибаешь
шёл от дво
домой непо
Пра
двора, а ко
Стар
Прав
Стар
больным не

Софья
Старод
Софья!
Софья
Сердце моё
Старод
ца моего.

Правдин. Хоть крюком, да просторна ли дорога?

Стародум. А такова-то просторна, что двое, встретясь, разойтись не могут. Один другого сваливает, и тот, кто на ногах, не поднимает уже никогда того, кто на земли.

Правдин. Так поэтому тут самолюбие...

Стародум. Тут не самолюбие, а, так назвать, себялюбие. Тут себя любят отменно, о себе одном пекутся; об одном настоящем часе суеются. Ты не поверишь: я видел тут множество людей, которым во все случаи их жизни ни разу на мысль не приходили ни предки, ни потомки.

Правдин. Но те достойные люди, которые у двора служат государству...

Стародум. О! те не оставляют двора для того, что они двору полезны, а прочие для того, что двор им полезен. Я не был в числе первых и не хотел быть в числе последних.

Правдин. Вас, конечно, у двора не узнали?

Стародум. Тем для меня лучше. Я успел убраться без хлопот: а то бы выжили ж меня одним из двух манеров.

Правдин. Каких?

Стародум. От двора, мой друг, выживают двумя манерами: либо на тебя рассердятся, либо тебя рассердят. Я не стал дожидаться ни того, ни другого, рассудил, что лучше вести жизнь у себя дома, нежели в чужой передней.

Правдин. Итак, вы отошли от двора ни с чем? *(Открывает свою табакерку.)*

Стародум *(берёт у Правдина табак)*. Как ни с чем? Табакерке цена пятьсот рублёв. Пришли к купцу двое. Один, заплатя деньги, принёс домой табакерку; другой пришёл домой без табакерки, и ты думаешь, что другой домой пришёл ни с чем? Ошибаешься. Он принёс назад свои пятьсот рублёв целы. Я отошёл от двора без деревень, без ленты, без чинов, да моё принёс домой неповреждённо, мою душу, мою честь, мои правила.

Правдин. С вашими правилами людей не отпускать от двора, а ко двору призывать надобно.

Стародум. Призывать? А зачем?

Правдин. За тем, за чем к больным врача призывают.

Стародум. Мой друг, ошибаешься. Тщетно звать врача к больным неисцельно: тут врач не пособит, разве сам заразится.

ЯВЛЕНИЕ II

Те же и Софья.

Софья *(к Правдину)*. Сил моих не стало от их шуму.

Стародум *(в сторону)*. Вот черты лица её матери! Вот моя Софья!

Софья *(смотря на Стародума)*. Боже мой, он меня назвал! Сердце моё меня не обманывает...

Стародум *(обняв её)*. Нет! Ты дочь моей сестры, дочь сердца моего.

Софья (бросается в его объятия). Дядюшка! я вне себя от радости.

Стародум. Любезная Софья! Я узнал в Москве, что ты живёшь здесь против воли. Мне на свете шестьдесят лет. Случалось быть часто раздражённым, иногда быть собою довольным. Ничто так не терзало моё сердце, как невинность в сетях коварства; никогда не бывал я так собою доволен, как если случилось вырвать добычу из рук порока.

Правдин. Сколь приятно быть тому и свидетелем!

Софья. Дядюшка! ваши ко мне милости...

Стародум. Ты знаешь, что я одной тобой привязан к жизни. Ты должна делать утешение моей старости, а мои попечения — твоё счастье. Пошел в отставку, положил я основание твоему воспитанию, но не мог иначе основать твоего состояния, как разлучась с твоею матерью и с тобою.

Софья. Отсутствие ваше огорчало нас несказанно.

Стародум (к Правдину). Чтоб оградить её жизнь от недостатка в нужном, решился я удалиться на несколько лет в ту землю, где достают деньги, не променивая их на совесть, без подлой выслуги, не грабя отечества; где требуют денег от самой земли, которая поправосуднее людей, лицепрятия не знает, а платит одни труды верно и щедро.

Правдин. Вы могли б обогатиться, как я слышал, несравненно больше.

Стародум. А на что?

Правдин. Чтоб быть богату, как другие.

Стародум. Богату! А кто богат? Да ведаешь ли ты, что для прихотей одного человека всей Сибири мало! Друг мой! Всё состоит в воображении. Последуй природе, никогда не будешь беден, последуй людским мнениям, никогда богат не будешь.

Софья. Дядюшка, какую правду вы говорите!

Стародум. Я нажил столько, чтоб при твоём замужестве не останавливала нас бедность жениха достойного.

Софья. Во всю жизнь мою ваша воля будет мой закон.

Правдин. Но, выдав её, не лишнее было бы оставить и детям...

Стародум. Детям? Оставлять богатство детям? В голове нет. Умны будут, без него обойдутся; а глупому сыну не в помощь богатство. Видал я молодцов в золотых кафтанах, да с свинцовой головой. Нет, мой друг! наличные деньги — не наличные достоинства. Золотой болван — всё болван.

Правдин. Со всем тем мы видим, что деньги нередко ведут к чинам, чины, обыкновенно, к знатности, а знатым оказывается почтение.

Стародум. Почтение! Одно почтение должно быть лестно человеку — душевное, а душевного почтения достоин только тот, кто в чинах не по деньгам, а в знати не по чинам.

Правдин. Заключение ваше неоспоримо...

(Явления III—VI. Драка г-жи Простаковой со Скотининым. Узнав в неизвестном приезде Стародума, г-жа Простакова с подобострастием приветствует его и расхваливает успехи Митрофанушки в ученье. Стародум отправляется отдохнуть от дороги. Входят учителя Митрофанушки.)

ЯВЛЕНИЕ VII

Г-жа Простакова, Митрофанушка, Цыфиркин и Кутейкин.

Г-жа Простакова. Пока он отдыхает, друг мой, ты хоть для виду поучись, чтоб дошло до ушей его, как ты трудишься, Митрофанушка.

Митрофан. Ну! а там что?

Г-жа Простакова. А там и женишься.

Митрофан. Слушай, матушка, я те потешу, поучусь! Только, чтобы это был последний раз и чтоб сегодня ж быть сговору.

Г-жа Простакова. Придёт час воли божией!..

Митрофан. Час моей воли пришёл: не хочу учиться, а хочу жениться. Ты ж меня взманила, пеняй на себя. Вот я сел. (Цыфиркин очинивает грифель.)

Г-жа Простакова. А я тут же присяду. Кошелёк повяжу для тебя, друг мой! Софьюшкины денежки было бы куды класть.

Митрофан. Ну, давай доску, гарнизонная крыса! Задавай, что писать.

Цыфиркин. Ваше благородие завсегда без дела лаяться изволите.

Г-жа Простакова (работая). Ах, господи боже мой! Уж ребёнок не смей и избранить Пафнutyича! Уж и разгневался!

Цыфиркин. За что разгневаться, ваше благородие! У нас российская пословица: собака лает, ветер носит.

Митрофан. Задавай же зады, поворачивайся.

Цыфиркин. Всё зады, ваше благородие. Ведь с задами-то век назади останешься.

Г-жа Простакова. Не твоё дело, Пафнutyич. Мне очень мило, что Митрофанушка вперёд шагать не любит. С его умом, да залететь далеко, да и боже избави!

Цыфиркин. Задача: изволил ты, наприклад¹, идти по дороге со мною; ну, хоть возьмём с собою Сидорыча. Нашли мы трое...

Митрофан (пишет). Трое.

Цыфиркин. На дороге, наприклад же, триста рублей.

Митрофан (пишет). Триста.

Цыфиркин. Дошло дело до дележа. Смекни-тко, по чему на брата?

Митрофан (вычисляя, шепчет). Единожды три — три, единожды ноль — ноль.

Г-жа Простакова. Что, что до дележа?

Митрофан. Вишь триста рублей, что нашли, троим разделить.

¹ Наприклад — например.

Г-жа Простакова. Врёт он, друг мой сердечный! Нашел деньги, ни с кем не делись. Всё себе возьми, Митрофанушка! Не учишь этой дурацкой науке.

Митрофан. Слышь, Пафнутьич, задавай другую.

Цыфиркин. Иinni, ваше благородие. За ученье жалуете мне в год десять рублёв.

Митрофан. Десять.

Цыфиркин. Теперь, правда, не за что; а кабы ты, бари, что-нибудь у меня перенял, не грех бы тогда было и ещё прибавить десять.

Митрофан *(пишет)*. Ну, ну десять.

Цыфиркин. Сколько бы ж на год?

Митрофан *(вычисляя, шепчет)*. Ноль да ноль — ноль; один да один... *(Задумался.)*

Г-жа Простакова. Не трудись по-пустому, друг мой! Гроша не прибавлю; да и не за что. Наука не такая. Лишь тебе мученье, а всё, вижу, пустота. Денег нет — что считать. Деньги есть — сочтём и без Пафнутьича хорошохонько.

Кутейкин. Шабаш, право, Пафнутьич. Две задачи решены. Ведь на поверку приводить не станут.

Митрофан. Небось, брат. Матушка тут сама не ошибётся. Ступай-ка ты теперь, Кутейкин, проучи вчерашнее.

Кутейкин *(открывает часослов; Митрофан берёт указку)*. Начнём благословясь. За мною со вниманием. Аз же есмь червь...

Митрофан. Аз же есмь червь...

Кутейкин. Червь, сиречь животное, скот. Сиречь: аз есмь скот.

Митрофан. Аз есмь скот.

Кутейкин *(учебным голосом)*. А не человек.

Митрофан *(так же)*. А не человек.

Кутейкин. Поношение человеков.

Митрофан. Поношение человеков.

Кутейкин. И уни...

(Явления VIII—IX. Урок прерывает Вральман, заступающийся за «репёнка», которого «уморить хотят». После ухода г-жи Простаковой и Митрофанушки начинается перебранка между учителями.)

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

(Явления I—VII. Нравоучительная беседа Стародума с Софьей. Стародум знакомится с Милоном, в котором узнаёт молодого офицера, рекомендованного ему в качестве достойного жениха для Софьи. Услышав о взаимной склонности Софьи и Милона, Стародум даёт согласие на их брак.)

ЯВЛЕНИЕ IV

Г-жа Простакова, Митрофан, Стародум, Простаков, Правдин, Милон, Скотинин.

Г-жа Простакова *(входя)*. Всё ли с тобою, Митрофанушка?

Митрофан. Ну, да уж не заботься.

Г-жа Простакова (*Стародуму*). Позволь же, мой батюшка, потрудить вас теперь общей нашею просьбою. (*Мужу и сыну*). Кланяйтесь.

Стародум. Какою, сударыня?

Г-жа Простакова. Во-первых, прошу милости всех садиться. (*Все садятся, кроме Митрофана и Еремеевны.*) Вот в чём дело, батюшка. За молитвы родителей наших (нам, грешным, где б и умолить!) даровал нам господь Митрофанушку. Мы всё делали, чтоб он у нас стал таков, как изволишь его видеть. Не угодно ль, мой батюшка, взять на себя труд и посмотреть, как он у нас выучен.

Стародум. О сударыня, до моих ушей уже дошло, что он теперь только и отучиться изволил. Я узнал, кто его и учителя, вижу наперёд, какому грамотею ему быть надобно, учась у Кутейкина, и какому математику, учась у Цыфиркина. (*К Правдину*). Любопытен бы я был послушать, чему немец-то его выучил.

Г-жа Простакова. Всем наукам, батюшка.

Простаков. Всему, мой отец.

Митрофан. Всему, чему изволишь.

} *Вместе.*

Правдин (*Митрофану*). Чему ж бы, например?

Митрофан (*подаёт ему книгу*). Вот, грамматике.

Правдин (*взяв книгу*). Вижу. Это грамматика. Что ж вы в ней знаете?

Митрофан. Много. Существительна да прилагательна...

Правдин. Дверь, например, какое имя: существительное или прилагательное?

Митрофан. Дверь? которая дверь?

Правдин. Котора дверь? Вот эта.

Митрофан. Эта? Прилагательна.

Правдин. Почему же?

Митрофан. Потому что она приложена к своему месту. Вон у чулана шеста неделя дверь стоит ещё не навешена: так та, покамест, существительна.

Стародум. Так поэтому у тебя слово дурак прилагательное, потому что оно прилагается к глупому человеку?

Митрофан. И ведомо.

Г-жа Простакова. Что, каково, мой батюшка?

Простаков. Каково, мой отец?

Правдин. Нельзя лучше. В грамматике он силён.

Милон. Я думаю, не меньше и в истории.

Г-жа Простакова. То, мой батюшка, он ещё сызмала к историям охотник.

Скотинин. Митрофан по мне. Я сам без того глаз не сведу, чтоб выборный не рассказывал мне историй. Мастер, собачий сын! Откуда что берётся!

Г-жа Простакова. Однако всё-таки не придёт против Адама Адамыча.

Правдин (*Митрофану*). А далеко ль вы в истории?

Митрофан. Далеко ль? Какова история! В ней за тридцать земель, за тридцать царство.

Правдин. А! так этой-то истории учит вас Бральман Стародум. Бральман! Имя что-то знакомое.

[Митрофан. Нет. Наш Адам Адамыч истории не рассказывает; он, что я же, сам охотник слушать.

Г-жа Простакова. Они оба заставляют себе рассказывать истории скотницу Хавронью.]

Правдин. Да не у ней ли оба вы учились и географии?

Г-жа Простакова (сыну). Слышишь, друг мой сердечный. Это что за наука?

Митрофан (тихо матери). А я почём знаю?

Г-жа Простакова (тихо Митрофану). Не упрямись, друшенька, теперь-то себя и показать.

Митрофан (тихо матери). Да я не возьму в толк, о чём спрашивают.

Г-жа Простакова (Правдину). Как, батюшка, называешь ты науку-то?

Правдин. География.

Г-жа Простакова (Митрофану). Слышишь, география.

Митрофан. Да что такое? Господи боже мой! Пристали с ножом к горлу.

Г-жа Простакова (Правдину). И ведомо батюшка. Да скажи ему, сделай милость, какая это наука-то: он её и расскажет.

Правдин. Описание земли.

Г-жа Простакова (Стародуму). А к чему бы это служило на первый случай?

Стародум. На первый случай сгодилося бы и к тому, что ежели б случилось ехать, так знаешь, куда едешь.

Г-жа Простакова. Ах, мой батюшка! Да извозники-то на что ж? Это их дело. Это-таки и наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: повези меня туда — свезут, куда изволишь. Мне поверь, батюшка, что, конечно, то вздор, чего не знает Митрофанушка.

Стародум. О, конечно, сударыня, в человеческом невежестве весьма утешительно считать всё то за вздор, чего не знаешь.

[Г-жа Простакова. Без наук люди живут и жили. Не покойник батюшка воеводою был пятнадцать лет, а с тем и скотницей изволил, что не умел грамоте, а умел достаточек нажить и сохранить. Челобитчиков принимал всегда, бывало, сидя на железном сундуке. После всякого сундук отворит и что-нибудь покойничек вынуть. То-то эконо́м был! Жизни не жалел, чтоб из сундука ничего не вынуть. Перед другими не хвалюсь, от вас не потаю: покойничек свет, лёжа на сундуке с деньгами, умер, так сказать, с голода. А! каково это?

Стародум. Препохвально. Надобно быть Скотинину, чтоб вкусить такую блаженную кончину.]

Скотинин
мём дялю
вал, ни он
Правдин

Скотинин
борзом ин
Мужик бы
хватит себ
тылицею?
Я хотел бы
такого тум
трезвясь, с

Милонин
ным челове
бы не креп

Стародум

Г-жа Простакова

выучиться?

посмышлён

нибудь дол

Стародум

полезным с

Г-жа Простакова

У нас, быва

(Явление)

на Стародум

тайно похитит

Правдин

няя хозяйка

Стародум

ловечие злой

Правдин

первом беш

ные ей люди.

Стародум

шиту может!

знает он, в ч

не возвращат

должен искат

но... и что угн

Похва — по

Потылица —

Скотинин. Да, коль доказывать, что ученье вздор, так возьмём дядю Вавилу Фалеленча. О грамоте никто от него не слышивал, ни он ни от кого слышать не хотел: а какова была головушка!

Правдин. Что ж такое?

Скотинин. Да с ним на роду вот что случилось. Верхом на борзом иноходце разбежался он хмельной в каменные ворота. Мужик был рослый, ворота низки: забыл наклониться — как хватит себя лбом о притолоку, индо пригнуло дядю к похвям¹ потылицею², и бодрой конь вынес его из ворот к крыльцу навзничь. Я хотел бы знать: есть ли на свете учёный лоб, который бы от такого тумака не развалился; а дядя, вечная ему память, протрезвясь, спросил только: целы ли ворота?

Милон. Вы, господин Скотинин, сами признаёте себя неучёным человеком; однако, я думаю, в этом случае и ваш лоб был бы не крепче учёного.

Стародум (Милону). Об заклад не бейся, друг мой. Я думаю, что Скотинины все родом крепколобы.

Г-жа Простакова. Батюшка мой! да что за радость и выучиться? Мы это видим своими глазами и в нашем краю. Кто посмышлёнее, того свои же братья тотчас выберут ещё в какую-нибудь должность.

Стародум. А кто посмышлёнее, тот и не откажет быть полезным своим согражданам.

Г-жа Простакова. Бог вас знает, как вы нынче судите. У нас, бывало, всякий того и смотрит, что на покой.

(Явление IX. В ответ на домогательства г-жи Простаковой и Скотинина Стародум сообщает, что Софья уже сговорена. Г-жа Простакова решает тайно похитить Софью.)

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

явление I

Стародум и Правдин.

Правдин. Это был тот пакет, о котором при вас сама здешняя хозяйка вчера меня уведомила.

Стародум. Итак, имеешь теперь способ прекратить бесчеловечие злой помещицы?

Правдин. Мне поручено взять под опеку дом и деревни при первом бешенстве, от которого могли бы пострадать подвластные ей люди.

Стародум. Благодарение богу, что человечество найти защиту может! Поверь мне, друг мой, где государь мыслит, где знает он, в чём его истинная слава, там человечеству не могут не возвращаться его права; там все скоро ощутят, что каждый должен искать своего счастья и выгод в том одном, что законно... и что угнетать рабством себе подобных незаконно.

¹ Похви — подхвостник, ремень, удерживающий седло.

² Потылица — затылок.

Правдин. Я в этом согласен с вами; да как мудро истреб-
ить закоренелые предрассудки, в которых низкие души нахо-
дят свои выгоды!

Стародум. Слушай, друг мой! Великий государь есть го-
сударь премудрой. Его дело показать людям прямое их благо.
Слава премудрости его та, чтоб править людьми, потому что
управляться с истуканами нет премудрости. Крестьянин, кото-
рый паше всех в деревне, выбирается обыкновенно пасти ста-
до, потому что немного надобно ума пасти скотину. Достойный
престола государь стремится возвысить души своих подданных.
Мы это видим своими глазами.

Правдин. Удовольствие, которым государи наслаждаются,
владея свободными душами, должно быть столь велико, что я не
понимаю, какие побуждения могли бы отвлекать...

Стародум. А! Сколь великой душе надобно быть в госу-
даре, чтоб стать на стезю истины и никогда с неё не совращать-
ся! Сколько сетей расставлено к уловлению души человека,
имеющего в руках своих судьбу себе подобных! И, во-первых,
толпа скаредных льстецов всеминутно силится уверять его, что
люди сотворены для него, а не он для людей.

Правдин. Без душевного презрения нельзя себе вообра-
зить, что такое льстец.

Стародум. Льстец есть тварь, которая не только о дру-
гих ниже о себе хорошего мнения не имеет. Всё его стремление
к тому, чтобы сперва ослепить ум у человека, а потом делать из
него, что ему надобно. Он ночной вор, который сперва свечу по-
гасит, а потом красть станет.

Правдин. Несчастиям людским, конечно, причиною соб-
ственное их развращение; но способы сделать людей добрыми...

Стародум. Они в руках государя. Как скоро все увидят,
что без благонравия никто не может выйти в люди; что ни под-
лой выслугой и ни за какие деньги нельзя купить того, чем на-
граждается заслуга; что люди выбираются для мест, а не мес-
та похищаются людьми — тогда всякий найдёт свою выгоду
быть благонравным и всякий хорош будет.

Правдин. Справедливо. Великий государь даёт...

Стародум. Милость и дружбу тем, кому изволит; места в
чинам тем, кто достоин.

Правдин. Чтоб в достойных людях не было недостатку,
прилагается ныне особое старание о воспитании.

Стародум. Оно и должно быть залогом благосостояния
государства. Мы видим все несчастные следствия дурного воспи-
тания. Что для отечества может выйти из Митрофанушки, за ко-
торого невежды-родители платят ещё деньги невеждам-учите-
лям! Сколько дворян-отцов, которые нравственное воспитание
сынка своего поручают своему рабу крепостному! Лет через пять
взвешать и выходят вместо одного раба двое: старый дядька да
молодой барин.

Прав
своих...

Стар
науках не
благонрав
есть лютые
добродетел
нии сына
нул ему ис
люди спос
вельможа
и силу, с
презрения

Правд
людей имел
рену... Что
Старо

Милон
было уцепи
шпагу). Не

Софья (б
Старод
Правди
Софья.
Еремее
Милон.

рые, подхват
сводят уже с
Софья.
Старод
Правди
или как с зло
Еремеев
Г-жа Пр
ники! Всех пр

Те же, г-ж
Г-жа Про
на Милона).
Простак
Митрофа
Г-жа Про

Правдин. Но особы высшего состояния просвещают детей своих...

Стародум. Так, мой друг; да я желал бы, чтоб при всех науках не забывалась главная цель всех знаний человеческих — благонравие. Верь мне, что наука в развращённом человеке есть лютое оружие делать зло. Просвещение возвышает одну добродетельную душу. Я хотел бы, например, чтоб при воспитании сына знатного господина наставник его всякий день разогнул ему историю и указал в ней два места: в одном, как великие люди способствовали благу своего отечества; в другом, как вельможа недостойный, употребивший во зло свою доверенность и силу, с высоты пышной своей знатности низвергся в бездну презрения и поношения.

Правдин. Надобно, действительно, чтоб всякое состояние людей имело приличное себе воспитание: тогда можно быть уверену... Что за шум?

Стародум. Что такое сделалось?

ЯВЛЕНИЕ II

Те же, Милон и Софья, Еремеевна.

Милон (отталкивая от Софьи Еремеевну, которая за неё было уцепилась, кричит к людям, имея в руке обнажённую шпагу). Не смей никто подойти ко мне!

Софья (бросаясь к Стародуму). Ах, дядюшка! Защити меня!

Стародум. Друг мой! Что такое?

Правдин. Какое злодеяние!

Софья. Сердце моё трепещет!

Еремеевна. Пропала моя головушка!

Милон. Злодеи! Идучи сюда, вижу множество людей, которые, подхватя её под руки, несмотря на сопротивление и крик, сводят уже с крыльца к карете.

Софья. Вот мой избавитель!

Стародум (к Милону). Друг мой!

Правдин (Еремеевне). Сейчас скажи, куда везти хотели, или как с злодейкой...

Еремеевна. Венчаться, мой батюшка, венчаться!

Г-жа Простакова (за кулисами). Плуты! воры! мошенники! Всех прибить велю до смерти!

ЯВЛЕНИЕ III

Те же, г-жа Простакова, Простаков и Митрофан.

Г-жа Простакова. Какая я госпожа в доме! (Указывая на Милона). Чужой погрозит, приказ мой ни во что!

Простаков. Я ли виноват?

Митрофан. За людей приниматься!

Г-жа Простакова. Жива быть не хочу!

Вместе.

Правдин. Злодеяние, которому я сам свидетель, даёт право вам, как дяде, а вам, как жениху...

Г-жа Простакова. Жениху!

Простаков. Хороши мы!

Митрофан. Всё к чёрту!

Вместе.

Правдин. Требовать от правительства, чтобы сделанная ей обида наказана была всей строгостью закона. Сейчас представляю её перед суд, как нарушительницу гражданского спокойствия.

Г-жа Простакова (бросаясь на колени). Батюшка! Виновата!

Правдин. Муж и сын не могли не иметь участия в злодеянии.

Простаков. Без вины виноват! }

Митрофан. Виноват, дядюшка! }

Вместе, бросаясь

на колени.

Г-жа Простакова. Ах, я собачья дочь! Что я наделала!

ЯВЛЕНИЕ IV

Те же и Скотинин.

Скотинин. Ну, сестра, хорошу было шутку... Ба! что это? Все наши на коленях!

Г-жа Простакова (стоя на коленях). Ах, мои батюшки! Повинную голову меч не сечёт. Мой грех! Не погубите меня! (К Софье.) Мать ты моя родная, прости меня. Умилосердись надо мною (указывая на мужа и сына) и над бедными сиротами.

Скотинин. Сестра! О своём ли ты уме?

Правдин. Молчи, Скотинин.

Г-жа Простакова. Бог даст тебе благополучие и с дорогим женихом твоим. Что тебе в голове моей?

Софья (Стародуму). Дядюшка, я моё оскорбление забываю.

Г-жа Простакова (подняв руки к Стародуму). Батюшка! Прости и ты меня грешную. Ведь я человек, не ангел.

Стародум. Знаю, знаю, что человеку нельзя быть ангелом, да не надобно быть и чёртом.

Милон. И преступление, и раскаяние в ней презрения достойны.

Правдин (Стародуму). Ваша малейшая жалоба, ваше одно слово перед правительством... и уж спасти её нельзя.

Стародум. Не хочу ничьей гибели. Я её прощаю.

(Все вскочили с колен.)

Г-жа Простакова. Простил! Ах, батюшка!.. Ну, теперь-то дам я зброю канальям, своим людям! Теперь-то я всех переберу поодиночке! Теперь-то допытаюсь, кто из рук её выпустил! Нет, мошенники! Нет, воры! Век не прощу этой насмешки!

Правдин. А за что вы хотите наказывать людей ваших?

Г-жа Простакова. Ах, батюшки! Это что за вопрос? Разве я не властна и в своих людях?

Прав
вам вздум
Скот
когда захо
Прав
Скотинин!
никто не в
Г-жа
и слуги вы
ти дворянс
Старо
Г-жа П
всех с голо
Правд
(Вынув бу
тельства ва
ваших для
шей, до кото
леват мне
Проста
Г-жа П
батюшка? Ч
Правди
в благоучре
стакову.) По
Проста
тушка!
Г-жа Пр
Скотин
берутся. Да
Уберусь же я
Г-жа Пр
Скотини
толку. Жених
Староду
Скотини
впрямь, да и
Правдин
ко ж, повестит
Скотини
людей...
Правдин
Скотини
Правдин
Скотини
Указ Петра
создательной госуд

Правдин. А вы считаете себя вправе драться тогда, когда вам вздумается?

Скотинин. Да разве дворянин не волен поколотить слугу, когда захочет?

Правдин. Когда захочет! Да что за охота? Прямой ты Скотинин! (Г-же Простаковой.) Нет, сударыня, тиранствовать никто не волен.

Г-жа Простакова. Не волен! Дворянин, когда захочет, и слуги высечь не волен! Да на что ж дан нам указ-то о вольности дворянства¹?

Стародум. Мастерница толковать указы!

Г-жа Простакова. Изволь насмехаться; а я теперь же всех с головы на голову... (Порывается идти.)

Правдин (останавливая её). Поостановитесь, сударыня. (Вынув бумагу и важным голосом Простакову.) Именем правительства вам приказываю сей же час собрать людей и крестьян ваших для объявления им указа, что за бесчеловечие жены вашей, до которого попустило её ваше крайнее слабомыслие, повелевает мне правительство принять в опеку дом ваш и деревни.

Простаков. А! До чего мы дожили!

Г-жа Простакова. Как! Новая беда! За что? за что, батюшка? Что я в своём доме госпожа...

Правдин. Госпожа бесчеловечная, которой злонравие и в благоучреждённом государстве терпимо быть не может. (Простакову.) Подите.

Простаков (отходит, всплеснув руками). От кого это, матушка!

Г-жа Простакова (тоскуя). О, горе взяло! О, грустно!

Скотинин (в сторону). Ба! ба! ба! Да этак и до меня доберутся. Да этак и всякий Скотинин может попасть под опеку... Уберусь же я отсюда по-добру, по-здорову.

Г-жа Простакова. Всё теряю! Совсем погибаю!

Скотинин (Стародуму). Я шёл было к тебе добиться толку. Жених...

Стародум (указывая на Милона). Вот он.

Скотинин. Ага! так мне и делать здесь нечего. Кибитку впрячь, да и...

Правдин. Да и ступай к своим свиньям. Не забудь, однако ж, повестить всем Скотининым, чему они подвержены.

Скотинин. Как друзей не остеречь! Повешу им, чтоб они людей...

Правдин. Побольше любили, или б по крайней мере...

Скотинин. Ну...

Правдин. Хоть не трогали.

Скотинин (отходя). Хоть не трогали.

¹ Указ Петра III, в основном сводившийся к освобождению дворян от обязательной государственной службы.

явление V

Г-жа Простакова, Стародум, Правдин, Митрофан,
Софья, Еремеевна.

Г-жа Простакова (*Правдину*). Батюшка! не погуби ты меня! Что тебе прибыли? Не возможно ль как-нибудь указ поотменить? Все ли указы исполняются?

Правдин. Я от должности никак не отступлю.

Г-жа Простакова. Дай мне сроку хоть на три дня.
(*В сторону.*) Я дала бы себя знать...

Правдин. Ни на три часа.

Стародум. Да, друг мой, она и в три часа напроказить может столько, что веком не пособишь.

Г-жа Простакова. Да как вам, мой батюшка, самому входить в мелочи?

Правдин. Это моё дело. Чужое возвращено будет хозяевам, а...

Г-жа Простакова. А с долгами-то разделаться?.. Не доплачено учителям.

Правдин. Учителям? (*Еремеевне.*) Здесь ли они? Введи их сюда.

Еремеевна. Чай что прибрели. А немца-то, мой батюшка?..

Правдин. Всех позови. (*Еремеевна отходит.*) Не заботься ни о чём, сударыня: я всех удовольствую.

Стародум. (*видя в тоске г-жу Простакову*). Сударыня, ты сама себя почувствуешь лучше, потеряв силу делать другим дурно.

Г-жа Простакова. Благодарю вас за милость! Куда я гожусь, когда в моём доме моим же рукам и воли нет?

явление VI

Те же, Еремеевна, Вральман, Кутейкин и Цыфиркин.

Еремеевна (*введя учителей, к Правдину*). Вот тебе и вся наша сволочь, мой батюшка.

Вральман (*Правдину*). Фаше фысоко-и-плахоротие. Исфоллили меня к сепе просить.

Кутейкин (*Правдину*). Зван бых, и приидох.

Цыфиркин (*Правдину*). Что приказу будет, ваше благородие?

Стародум (*с прихода Вральмана в него вглядывается*). Ба! это ты, Вральман?

Вральман (*узнав Стародума*). Ай! ай! ай! ай! ай! Это ты мой милостивый хосподин. (*Целует полу Стародуму*). Стародум, фенько ли, мой отес, пошифать исфоллишь?

Правдин. Как? Он вам знаком?

Стародум. Как не знаком. Он три года был у меня кучером. (*Все показывают удивление.*)

Правдин. Изрядный учитель!

Старо
право, что
Враль
я послетний
хте не ната

Правд
куном над
Цыфир
Кутей

чтёмся...

Правд

Кутей

мал. За пол

простой, что

Г-жа П

што это?

Правд

Г-жа П

выучил Митр

Кутей

Правд

Тебе много л

Цыфир

Г-жа П

сять рублей,

Цыфир

в два года —

Правд

Цыфир

Староду

Цыфир

Староду

Цыфир

дцать лет. За

возьму.

Староду

лон вынимают

Правд

Кутей

Староду

душу.

Цыфир

рить меня ты во

Милон (да

Цыфир

деньги.)

Цыфир

Правд

Стародум. А ты здесь в учителях, Вральман? Я думал, право, что ты человек добрый и не за своё дело не возьмёшься. Вральман. Та што телать, мой патюшка. Не я перфой, не я послетний. Три месеса ф Москфе шатался пез мест, кутшер нигде не ната. Пришло мне. липо с голот мереть, липо ушитель...

Правдин (к учителям). По воле правительства став опекуном над здешним домом, я вас отпускаю.

Цыфиркин. Лучше не надо.

Кутейкин. Отпускать благоволите? Да прежде разо-чтёмся...

Правдин. А что тебе надобно?

Кутейкин. Нет, милостивый господин, мой счётец зело не мал. За полгода за ученье, за обувь, что истаскал в три года, за простой, что сюда прибрёдёшь, бывало, по-пусту, за...

Г-жа Простакова. Ненасытная душа, Кутейкин. За што это?

Правдин. Не мешайтесь, сударыня, я вас прошу.

Г-жа Простакова. Да коль пошло на правду: чему ты выучил Митрофанушку?

Кутейкин. Это его дело, не моё.

Правдин (Кутейкину). Хорошо, хорошо. (Цыфиркину.) Тебе много ль заплатить?

Цыфиркин. Мне? Ничего.

Г-жа Простакова. Ему, батюшка, за один год дано десять рублей, а ещё за год ни полушки не заплачено.

Цыфиркин. Так: на те десять рублей я износил сапогов в два года — мы и квиты.

Правдин. А за ученье?

Цыфиркин. Ничего.

Стародум. Как ничего?

Цыфиркин. Не возьму ничего: он ничего не перенял.

Стародум. Да тем не меньше тебе заплатить надобно.

Цыфиркин. Не за што. Я государю служил с лишком двадцать лет. За службу деньги брал: по-пустому не брал и не возьму.

Стародум. Вот прямо добрый человек. (Стародум и Милон вынимают из кошельков деньги.)

Правдин. Тебе не стыдно, Кутейкин?

Кутейкин (потупя голову). Посрамился окаянный.

Стародум (Цыфиркину). Вот тебе, друг мой, за добрую душу.

Цыфиркин. Спасибо, ваше высокородие, благодарен. Дарить меня ты волен; сам не заслужа, век не потребую.

Милон (давая ему деньги). Вот ещё тебе, друг мой.

Цыфиркин. И ещё спасибо. (Правдин даёт также ему деньги.)

Цыфиркин. Да за што, ваше благородие, жалуете?

Правдин. За то, что ты не походишь на Кутейкина.

Правдин. Ну ваше благородие! Я солдат.
Правдин (Цыфиркину). Поди ж, мой друг, с богом. (Цы-
фиркин уходит.) А ты, Кутейкин, пожалуй-ка сюда завтра, да
постарайся расчесться с самою госпожою.

Кутейкин (выбегая). С самою! Ото всего отступаюсь.

Вральман (Стародуму). Старофа слуха не остафьте, фа-
ше быскорошке. Фосмите меня апять к сепе.

Стародум. Да ты, Вральман, я чаю, отстал и от лошадей?

Вральман. Эй нет, мой патюшка. Шифучи с стешним хос-
потам. Касалось мне, што я фсе с лошатками.

ЯВЛЕНИЕ VII

Те же и камердинер.

Камердинер (Стародуму). Карета ваша готова.

Вральман. Прикажешь мне дофести сепя?

Стародум. Поди, садись на козлы. (Вральман отходит.)

ЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ

Митрофан и Еремеевна.

Стародум (к Правдину, держа руки Софьи и Милона).
Ну, мой друг, мы едем. Пожелай нам...

Правдин. Всего счастья, на которое имеют право честные
сердца.

Г-жа Простакова (бросаясь обнимать сына). Один ты
остался у меня, мой сердечный друг, Митрофанушка!

Митрофан. Да отвяжись, матушка! Как навязалась...

Г-жа Простакова. И ты? И ты меня бросаешь! А! не-
благодарной! (Упала в обморок.)

Софья (подбежав к ней). Боже мой! Она без памяти!

Стародум (Софье). Помоги ей, помоги. (Софья и Ере-
меевна помогают.)

Правдин (Митрофану). Негодница, тебе ли грубить мате-
ри? К тебе её безумная любовь и довела её всего больше до
несчастья.

Митрофан. Да она как будто неведомо...

Правдин. Грубиян!

Стародум (Еремеевне). Што она теперь? Што?

Еремеевна (посмотрев пристально на Простакову
всплеснув руками). Очнётся, мой батюшка, очнётся.

Правдин (Митрофану). С тобой, дружок, знаю, что
лать. Пошёл-ка служить...

Митрофан (махнув рукой). По мне, куда велят!

Г-жа Простакова (очнувшись, в отчаянии). Погибла
совсем! Отнята у меня власть! От стыда никуда глаз показат-
нельзя! Нет у меня сына!

Стародум (указав на Простакову). Вот злонаравия досто-
ные плоды!

ПУТ

Любезней

Что бы ра
сочувственный
гих вещах ра
согласно — и
Я взгляну
ства уязвленн
и узрел, что б
от того толь
предметы. Уж
ла к своим ч
навек? Уже
чтоб чувства
вострепетал о
толкнуло. Я ч
завесу с очей
глас природы
я от уныния м
и сострадание
ся заблуждени

1 Печатается
2 «Тидемахида
реложение правоу
ключения Телемак
выразил своё отно

Александр Николаевич Радищев

* 1749 — 1802 *

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ¹ (1790)

«Чудище обло, озорно, огромно,
стоzeвно и лаяй».

«Тилемахида», т. II,
кн. XVIII, стих 514².

А. М. К.

Любезнейшему другу.

Что бы разум и сердце произвести ни захотели, тебе оно, о! сочувственник мой, посвящено да будет. Хотя мнения мои о многих вещах различествуют с твоими, но сердце твоё бьёт моему согласно — и ты мой друг.

Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала. Обратил взоры мои во внутренность мою — и узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы. Уже ли, вещал я сам себе, природа толико скупа была к своим чадам, что от блудящего невинно сокрыла истину навеки? Уже ли сия грозная мачеха произвела нас для того, чтоб чувствовали мы бедствия, а блаженство николи? Разум мой вострепетал от сея мысли, и сердце моё далеко её от себя оттолкнуло. Я человеку нашёл утешителя в нём самом. «Отъими завесу с очей природного чувствования — и блажен буду». Сей глас природы раздавался громко в сложении моём. Воспрянул я от уныния моего, в которое повергли меня чувствительность и сострадание; я ощутил в себе довольно сил, чтобы противиться заблуждению; и — веселие неизреченное! я почувствовал, что

¹ Печатается в отрывках.

² «Тилемахида» — поэма В. К. Тредиаковского, представляющая собой переложение правоучительного романа французского писателя Фенелона «Приключения Телемаха». Приведённым в качестве эпиграфа стихом Радищев выразил своё отношение к самодержавно-крепостнической России.

возможно всякому соучастником быть во благо...
подобных. — Се мысль, побудившая меня написать тебе, —
будешь. Но если, говорил я сам себе, я найду кого-нибудь, кто
мерение моё одобрит, кто ради благой цели не оторвет от меня
ное изображение мысли, кто состраждет со мною над бедою, —
ми собратии своей, кто в шестии морях меня подкрепит, —
губой ли плод произойдёт от подъятого мною труда? —
почто мне искать далеко кого-либо! Мой друг! ты близок,
сердца живёшь — и имя твоё да озарит сия натаю.

ЛЮБАНИ

Зимою ли я ехал или летом, для нас, думаю, равно...
быть и зимою и летом. Нередко-то бывает с путешественниками,
поедут на санях, а возвращаются на телегах. — Летом, —
вёшками вымощенная дорога замучила мои бока; я вылез из
кибитки и пошёл пешком. Лёжа в кибитке, мысли мои обрести
были в неизмеримость мира. Отделяясь душевно от земли, казался
мне, что удары кибиточные были для меня легче. —
упражнения духовные не всегда нас от телесности отвлекают,
для сохранения боков моих пошёл я пешком. — В нескольких
шагах от дороги я увидел пахущего ниву крестьянина. Время
было жаркое. Посмотрел я на часы. — Первого сорок минут —
Я выехал в субботу. — Сегодня праздник... Пахущий крестья-
нин принадлежит, конечно, помещику, который оброку с него
берёт... Крестьянин пашет с великим тщанием... Нива, конечно,
не господская... Соху поворачивает с удивительною лёгкостью...
«Бог в помощь», сказал я, подошед к пахарю, который, не останавли-
ваясь, доканчивал зачатую борозду... «Бог в помощь», повто-
рил я... «Спасибо, барин», говорил мне пахарь, отряхая со-
шник и перенося соху на новую борозду. «Ты, конечно, раско-
пник, что пашешь по воскресеньям?» «Нет, барин, я прямым крестом
крещусь», сказал он, показывая мне сложенные три перста...
«А бог милостив, с голоду умирать не велит, когда есть сила...
семья»... «Разве тебе во всю неделю нет времени работать, с
ты и воскресенье не спускаешь, да ещё и в самый жар?» «В
деле-то, барин, шесть дней, а мы шесть раз в неделю ходим
барщину; да под вечерок возим оставшее в лесу сено на господ-
ский двор, коли погода хороша; а бабы и девки, для прогулки,
ходят по праздникам в лес по грибы да по ягоды. Дай бог
(крестясь), чтобы под вечер сего дня дождик пошёл. Барин, е-
ли есть у тебя свои мужички, так они того же у господина мо-
гут. «У меня, мой друг, мужиков нет, и для того никто меня не крестит.
Велика ли у тебя семья?» «Три сына и три дочки. Первому
кому-то десятый годок». «Как же ты успеваешь доставать хлеб,
коли только праздник имеешь свободным?» «Не один праздни-
ки — и ночь наша. Не ленись наш брат, то с голоду не умрём.
Видишь ли, одна лошадь отдыхает; а как эта устанет, возьмёт

за другую;
на своего?
го на пашню
сам ты сче-
спасибо
ни холста,
брату, как
казчика. П
рублей с д
дится отда
зываем это
жу; даже л
воз, ни в ра
душные пла
крестьян св
можно пожа
баешься, —
да; но небос
харь запряг
мною прост
Разговор
лей. Первое
стояния. Ср
шничьими. Те
вое, а други
чет. Одни су
разве по де
тогда извест
ет союз общ
кровь во мне
на челе каж
Углубленный
мой на моего
чался из сто
мраз, протек
нул его ра
ности моей ст
говорил я са
нуряющего кр
или ещё хуже
твой Петруш
телем наших
му, — сном!
ку ни плетми
маешь, что ку
пять с подобн
ко хвастаешь,
даешь ли, что

за другую; дело-то и споро!..» «Так ли ты работаешь на господина своего?» «Нет, барин, грешно бы было так же работать. У него на пашне сто рук для одного рта, а у меня две для семи ртов: сам ты счёт знаешь. Да хотя растянись на барской работе, то спасибо не скажут. Барин подушных не заплатит: ни барана, ни холста, ни курицы, ни масла не уступит. То ли житьё нашему брату, как где барин оброк берёт с крестьянина, да ещё без приказчика. Правда, что иногда и добрые господа берут более трёх рублей с души; но всё лучше барщины. Ныне ещё поверье заводится отдавать деревни, как то называется, на аренду. А мы называем это отдавать головой. Голый наёмник дерёт с мужиков кожу; даже лучшей поры нам не оставляет. Зимой не пускает в извоз, ни в работу в город; всё работай на него, для того что он подушные платит за нас. Самая дьявольская выдумка отдавать крестьян своих чужому в работу. На дурного приказчика хотя можно пожаловаться, а на наёмника кому?..» «Друг мой, ты ошибаешься,— мучить людей законы запрещают!» — «Мучить? Правда; но небось, барин, не захочешь в мою кожу», — Между тем пахарь запряг другую лошадь в соху и, начав новую борозду, со мною простился.

Разговор сего земледельца возбудил во мне множество мыслей. Первое представилось мне неравенство крестьянского состояния. Сравнил я крестьян казённых с крестьянами помещичьими. Те и другие живут в деревнях; но одни платят известное, а другие должны быть готовы платить то, что господин хочет. Одни судятся своими равными; а другие в законе мёртвы, разве по делам уголовным. — Член общества становится только тогда известен правительству, его охраняющему, когда нарушает союз общественный, когда становится злодей! Сия мысль всю кровь во мне воспалила. — «Страшись, помещик жестокосердый, на челе каждого из твоих крестьян вижу твое осуждение». — Углубленный в сих размышлениях, я нечаянно обратил взор мой на моего слугу, который, сидя на кибитке, передо мной, качался из стороны в сторону. Вдруг почувствовал я быстрый мраз, протекающий кровь мою, и, прогоня жар к вершинам, нудил его распростираться по лицу. Мне так стало во внутренности моей стыдно, что едва я не заплакал. «Ты во гневе твоём», говорил я сам себе, «устремляешься на гордого господина, изнуряющего крестьянина своего на ниве своей; а сам не то же ли или ещё хуже того делаешь? Какое преступление сделал бедный твой Петрушка, что ты ему воспрещаешь пользоваться усладителем наших бедствий, величайшим даром природы несчастному, — сном!.. Он получает плату, сыт, одет, никогда я его не секу ни плетью, ни батожем. (О умеренный человек!) — и ты думаешь, что кусок хлеба и лоскут сукна тебе дают право поступать с подобным тебе существом, как с кубарем, и тем ты только хвастаешь, что не часто подсекаешь его в его вертении. Ведаешь ли, что в первенственном уложении, в сердце каждого

...иногда? Если я кого ударю, тот и меня ударить может. — Вспомни тот день, когда Петрушка пьян был и не пощел тебе отеть. Вспомни о его пощёчине. О, если бы он тогда хотя пьяный опомнился и тебе отвечал бы соразмерно твоему вопросу! — А кто тебе дал власть над ним? — Закон... Закон? И ты смеешь поносить сие священное имя? Несчастный!» — Слезы потекли из глаз моих; и в таком положении почтовые клячи дотащили меня до следующего стана.

СПАССКАЯ ПОЛЕСТЬ

...Мне представилось, что я царь, шах, хан, король, бей, набаб¹, султан или какое-то сих названий нечто сидящее во власти на престоле. Место моего восседания было из чистого золота и хитро искладенными драгоценными разного цвета камнями блистало лучезарно. Ничто сравниться не могло с блеском моих одежд. Глава моя украшалась венцом лавровым. Вокруг меня лежали знаки, власть мою изъявляющие...

С робким подобострастием и взоры мои ловящи, стояли вокруг престола моего чины государственные. В некотором отдалении от престола моего толпилось бесчисленное множество народа, коего разные одежды, черты лица, осанка, вид и стан различие их племени возвещали. Трепетное их молчание уверяло меня, что они все воле моей подвластны²...

Глубочайшее в собрании сем присутствовало молчание; казалось, что все в ожидании были важного какого происшествия, от коего спокойствие и блаженство всего общества зависели. Обращённый сам в себя и чувствуя глубоко вкоренившуюся скуку в душе моей, от насыщающего скоро единообразия происходящую, я долг отдал естеству и, рот разинув до ушей, зевнул во всю мочь. Все вняли чувствованию души моей. Внезапу смятение распростёрло мрачный покров свой по чертам веселия, улыбка улетала со уст нежности и блеск радования с ланит удовольствия. Искажённые взгляды и озиранье являли нечаянное изшествие ужаса и предстоящие беды. Слышны были вздохи, колющие предтечи скорби; и уже начинало раздаваться задерживаемое присутствием страха стенание. Уже скорыми в сердца всех стопами шествовало отчаяние и смертные содрогания, самые кончины мучительнее. Тронутый до внутренности сердца такою печальным зрелищем, ланитные мышцы нечувствительно

¹ Набаб (набоб) — правитель провинции в Индии.

² Далее в аллегорической форме дано изображение Екатерины II и подобострастие придворных. Екатерина, читая это описание, поняла намёк Радищева: «Скажите сочинителю, что я читала его книгу от доски до доски». Её секретарь Храповицкий отметил в своём дневнике под 11 августа 1790 г.: «Человек о Радищеве с приметной чувствительностью приказано рассмотреть в Совете, чтоб не быть пристрастным, и объявить, дабы не уважали до меня касающуюся, понеже я презираю». Лицемерие Екатерины II, письмом 13 июля 1790 г. запретившей книгу Радищева, так как она «в благопристойном государстве отнюдь терпима быть не может», очевидно.

стянул
лица
ма зв
отягчё
ке мое
ливши
лося к
да зд
Подоб
рев и
во всё
голоса
ширил
ей держ
рил вну
жества
ностию
дан, из
ным ви
народ о
Юношес
лосерд,
первым
дивый, и
вольност

¹ Екат
(1788—179
началась
(Южная У
стания раб
ководством
Екатер
менее смел
так, были
валась с е
им, рисуя ж
она писала
ваши фран
лода.
У нас в
нищие, то п
В 1781
царствовани

стались ко ушам моим и, растягивая губы, произвели в чертах лица моего кривление, улыбке подобное, за коим я чхнул весь-ма звонко. Подобно как в мрачную атмосферу, густым туманом стягченную, проникает полуденный солнца луч., тако при улыбке моей развеялся вид печали, на лицах всего собрания посе-дившийся: радость проникла сердца всех быстротечно, и не оста-вляя ксого вида неудовольствия нигде. Все начали восклицать: да здравствует наш великий государь, да здравствует навеки! Подобно тихому полуденному ветру, помавающему листвия де-рев и любострастное производящему в дубраве шумление, тако во всём собрании радостное шептание раздавалось. Иной впол-голоса говорил: он усмирил внешних и внутренних врагов, рас-ширил пределы отечества, покорил тысячи разных народов сво-ей державе. Другой восклицал: он обогатил государство, расши-рил внутреннюю и внешнюю торговлю, он любит науки и худо-жества, поощряет земледелие и рукоделие. Женщины с неж-ностью вещали: он не дал погибнуть тысячам полезных сограж-дан, избавя их до сосца ещё гибельные кончины. Иной с важ-ным видом возглашал: он умножил государственные доходы, народ облегчил от податей, доставил ему надёжное пропитание. Юношество, с восторгом руки на небо простирая, рекло: он ми-лосерд, правдив, закон его для всех равен, он почитает себя первым его служителем. Он законодатель мудрый, судия прав-дивый, исполнитель ревностный, он паче всех царей велик, он вольность дарует всем¹.

¹ Екатерина вела войны с Турцией (1768—1774, 1787—1791), с Швецией (1788—1790); при ней был раздел Польши (1772), завоевание Крыма (1783), началась колонизация Северного Кавказа, была колонизирована Новороссия (Южная Украина). Внутренние враги — это крестьянские восстания и вос-стания рабочих, вылившиеся в грандиозное движение народных масс под ру-ководством Пугачёва (1773—1775).

Екатерина была писательницей, писала в журналах, но всякое более или менее смелое обличение недостатков общественной жизни преследовалось ею; так, были прекращены журналы Новикова, Фонвизина и пр. Она переписы-валась с европейскими писателями (Вольтером и др.) и, не стесняясь, лгала им, рисуя жизнь в России как самую счастливую. Так, одному корреспонденту она писала: «Русский крестьянин во сто раз счастливее и достаточнее, чем ваши французские крестьяне... у нас умирают от объедения, а никогда от го-лода».

У нас вовсе не видно людей худых и ни одного в лохмотьях, а если есть нищие, то по большей части это ленивцы, — так говорят сами крестьяне».

В 1781 г. граф Безбородко составил для Екатерины II перечень дел её царствования за 19 лет.

Губерний устроено по новому образцу	29
Городов построено	144
Конвенций и трактатов заключено	30
Побед одержано	78
Замечательных указов законодательных и учредительных издано	88
Указов для облегчения народа	123

Итого 492

Речи таковые, ударяя в тимпан¹ моего уха, громко раздавались в душе моей. Похвалы сии истинными в разуме моём изображались, ибо сопутствуемы были искренности наружными чертами. Таковыми их приемля, душа моя возвышалась над обыкновенным зрением кругом; в существе своём расширялась и, всё объемля, касалась степеней божественной премудрости. Но ничто не сравнилось с удовольствием самоодобрения при раздавании моих приказаний. Первому военачальнику повелевал я идти с многочисленным войском на завоевание земли, целым небесным поясом от меня отделённой.

— Государь, — ответствовал он мне, — слава единая имени твоего победит народы, оную землю населяющие. Страх предшествовать будет оружию твоему, и возвращуся, приносяй дань царей сильных. — Учредителю плавания я рек: да корабли мои рассеются по всем морям, да узрят их неведомые народы; флаг мой да известен будет на Севере, Востоке, Юге и Западе.

Исполню, государь. — И полетел на исполнение, яко ветер определённый надувать ветрила корабельные. — Возвести до дальнейших пределов моя область, рек я хранителю законов, се день рождения моего, да ознаменится он в летописях навеки отпущением повсеместным. Да отверзнутся темницы, да изыдут преступники, и да возвратятся в дома свои, яко заблудшие от истинного пути. — Милосердие твое, государь! есть образ всещедрого существа. Бегу возвестить радость скорбящим отцам по чадах их, супругам по супругам их. — Да воздвигнутся, рек я первому зодчию, великолепнейшие здания для убежища мусс², да украсятся подражаниями природы разнообразными; и да будут они ненарушими, яко небесные жительницы, для них же они уготовляются. — О премудрый, отвечал он мне, егда велениям твоего гласа стихии повиновались и, совокупя силы свои, учреждали в пустынях и на дебрях обширные грады, превосходящие великолепием славнейшие в древности; колико мало важен будет сей труд для ревностных исполнителей твоих велений. Ты рек, и грубые строения припасы уже гласу твоему внемлют. — Да отверзется ныне, рек я, рука щедроты, да излиются остатки избытка на немощствующих, сокровища ненужные да возвратятся к их источнику. — О всещедрый владыко, всевышним нам дарованный, отец своих чад, обогатитель нищего, да будет твоя воля. — При всяком моём изречении все предстоящие восклицали радостно, и плескание рук не токмо сопровождало моё слово, но даже предупреждало мысль.

Единая из всего собрания жена, облекаясь твёрдо о столп.

Екатерина, сообщая об этом Ф. Гримму, французскому литератору, хвастливо спрашивала его: «Ну, как-то вы довольны нами? были ли мы ленивы?» Радищев, показывая в своей книге действительное положение страны, радовался в этой главе мнимые «благодетельства» Екатерины.

¹ Тимпан — здесь: барабанная перепонка в ухе.

² Мусс.

испуск
Черты
была
Кто си
Сия
взорой
По
жавы,
бо да
вкусит
нам пу
лю весе
да от с
ный к те
ма! ска
Нека
меня ок
насилие
На о
шительн
ла с них
сказала
Я есмь
тебе под
отжену т
сие испол
виде взор
утантся б
Ты позна
не тебя л
твое пора
не возмут
Их призов
стоящую
одеждами
и вход ми
царям во
ном моём
Пребывани
Но я, ве
восхооще
ва душа тв
далённости
рящешь. Н
ные возник
твой друг
трепета, он
дерзай его к

испускала вздохи скорби и являла вид презрения и негодования. Черты лица её были суровы и платье простое. Глава её покрыта была шляпою, когда все другие с обнажёнными стояли главами. Кто сия? вопрошал я близ стоящего меня.

Сия есть странница нам неизвестная, именует себя Прямо-взорой и глазным врачом...

По сем продолжал я моё слово. Пойдём, столпы моего державы, опоры моего власти, пойдём усладиться по труде. Достоинство да вкусит трудившийся плода трудов своих. Достоинство царю вкусити веселия, он же изливает многочисленные всем. Покажи нам путь к уготованному тобою празднеству, рек я к учредителю веселий. Мы тебе последуем. — Постой, вещала мне странница от своего места, постой, и подойди ко мне. — Я врач, присланный к тебе и тебе подобным, да очищу зрение твоё. — Какие бельма! сказала она с восклицанием.

Некая невидимая сила нудила меня идти пред нею; хотя все меня окружавшие мне в том препятствовали, делая даже мне насилие.

На обоих глазах бельма! сказала странница, а ты столь решительно судил о всём. Потом коснулась обоих моих глаз и сняла с них толстую плену, подобную роговому раствору. Ты видишь, сказала она мне, что ты был слеп, и слеп совершенно. — Я есмь Истина. Всевышний, подвигнутый на жалость стенанием тебе подвластного народа, ниспослал меня с небесных кругов, да отжену темноту, проницанию взора твоего препятствующую. Я сие исполнила. Все вещи представятся днесь в естественном их виде взорам твоим. Ты проникнешь во внутренность сердец. Не утаится более от тебя змея, крыющаяся в излучинах душевных. Ты познаешь верных своих подданных, которые вдали от тебя, не тебя любят, но любят отечество; которые готовы всегда на твоё поражение, если оно отомстит порабощение человека. Но не возмутят они гражданского покоя безвременно и без пользы. Их призови себе в друзья. Изжени сию гордую чернь, тебе предстоящую и прикрывшую срамоту души своей позлащёнными одеждами. Они-то истинные твои злодеи, затмевающие очи твои и вход мне в твои чертоги воспреещающие. Един раз являюся я царям во всё время их царствования, да познают меня в истинном моём виде; но я никогда не оставляю жилища смертных. Пребывание моё не есть в чертогах царских...

Но я, вещаю тебе, проживу в пределах твоего обладания. Егда восхощешь меня видети, егда осаждённая кознями ласкательства душа твоя взалкает моего взора, воззови меня из твоего отдалённости; где слышен будет твёрдый мой глас, там меня и обрящешь. Не убойся гласа моего николи. Если из среды народных возникнет муж, порицающий дела твои, ведай, что той есть твой друг искренний. Чуждый надежды мзды, чуждый рабского трепета, он твёрдым гласом возвестит меня тебе. Блюдись и не дерзай его казнити, яко общего возмутителя. Призови его, угос-

ни его, яко странника. Ибо всяк порицающий царя в самовластии его есть странник земли, где всё пред ним трепещет. Угости его, вещаю, почти его, да возвратившись возможет он паче и паче глаголати нелъстиво. Но таковые твёрдые сердца бывают редки: едва один в целом столетии явится на светском ристалище¹. А дабы бдительность твоя не усыплялася негою власти, се кольцо дарую тебе, да возвестит оно тебе твою неправду, когда на неё дерзать будешь...

Но обрати теперь взоры свои на себя и на предстоящих тебе, возри на исполнение твоих велений, и если душа твоя не содрогнётся от ужаса при взоре таковом, то отыиду от тебя и чертог твой загладится навсегда в памяти моей.

Изрекшей странницы лице казалось весёлым и вещественным сияющее блеском. Воззрение на неё вливало в душу мою радость... Я ощущал в ней тишину...

Одежды мои, столь блестящие, казались замараны кровию и омочены слезами. На перстах моих виделись мне остатки мозга человеческого; ноги мои стояли в тине. Вокруг меня стоящие являлись того скареднее. Вся внутренность их казалась чёрною и сгораемою тусклым огнём ненасытности. Они метали на меня и друг на друга искажённые взоры, в коих господствовали хищность, зависть, коварство и ненависть. Военачальник мой, посланный на завоевания, утопал в роскоши и веселии. В войсках подчинённости не было; воины мои почитались хуже скота...

[Посмотрев кругом себя очищенными от белым взорами, властитель увидел подлинную и печальную правду своего, казалось бы, блестящего царствования: веления его или нерадиво исполнялись, или даже прямо извращались, само милосердие обратилось в торговлю, и только тому, кто давал больше, «стучал молот жалости и великодушия».]

Слёзы пролились из очей моих и скрыли от меня толь бедственные представления безрассудной моей щедроты. Теперь ясно я видел, что знаки почестей, мною раздаваемые, всегда доставались в удел недостойным... Прииди, вещал я старцу, коего созерцал в крае обширные моея области, кроющегося под заросшею мхом хижиною, прииди облегчить моё бремя: прииди и возврати покой томящемуся сердцу и востревоженному уму.

Изрекши сие, обратил я взор мой на мой сан, познал обширность моей обязанности, познал, откуда проистекает моё право и власть. Вострепетал во внутренности моей, убоялся служения моего. Кровь моя пришла в жестокое волнение, и я пробудился. Ещё не опомнившись, схватил я себя за палец, но тернового кольца на нём не было. О, если бы оно пребывало хотя на мизинце царей!

Властитель мира, если, читая сон мой, ты улыбнёшься с насмешкою или нахмуришь чело, ведай, что виденная мною странница отлетела от тебя далеко и чертогов твоих гнушается.

¹ Ристалище — площадь, место для боевых упражнений; здесь: поприще.

ВОЛЬНОСТЬ

(В сокращении)

I

От дар небес благословенный,
Источник всех великих дел,
О вольность, вольность, дар бесценный,
Позволь, чтоб раб тебя воспел.
Исполни сердце твоим жаром,
В нём сильных мышц твоих ударом
Во свет рабства тьму претвори,
Да Брут и Телль ещё проснутся,
Седяй во власти, да смятутся
От гласа твоего цари.

12

Чело надменное вознесши,
Приняв железный скипетр, царь,
На громном троне властью севши,
В народе зрит лишь подлу тварь.
Живот и смерть в руке имея:
«По воле, — рекл, — щажу злодея;
Я властью могу дарить;
Где я смеюсь, там всё смеётся;
Нахмурюсь грозно, всё смятётся;
Живёшь тогда, велю коль жить».

14

Возникнет рать повсюду бранна,
Надежда всех вооружит;
В крови мучителя венчанна
Омыть свой стыд уж всяк спешит.
Меч остр, я зрю, везде сверкает.
В различных видах смерть летает,
Над гордою главой паря.
Ликуйте, склепанны народы,
Се право мщенье природы
На плаху возвело царя.

22

Злодей, злодеев всех лютейший,
Превзыде зло твою главу,
Преступник, изо всех первейший,
Предстань, на суд тебя зову!
Злодействы все скопил в едино,
Да ни единая прейдет мимо
Тебя из казней, супостат.
В меня дерзнул острить ты жало.
Единой смерти за то мало,
Умри! умри же ты сто крат!

Николай Михайлович Карамзин

• 1766 — 1826 •

БЕДНАЯ ЛИЗА

(1792)

(В сокращении)

Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели — куда глаза глядят — по лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места или в старых новые красоты.

Но всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные, готические башни Симонова монастыря. Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного амфитеатра: великолепная картина, особливо, когда светит на неё солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных золотых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся! Внизу расстилаются тучные, густозелёные, цветущие луга; а за ними по жёлтым пескам течёт светлая река, волнуемая лёгкими вёслами рыбацких лодок или шумящая под рулём грузных стругов, которые плывут от плодоноснейших стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом. На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада; там молодые пастухи, сидя под тенью дерев, поют простые, унылые песни и сокращают тем летние дни, столь для них единообразные. Подалее, в густой зелени древних вязов, блистает златоглавый Данилов монастырь; ещё далее, почти на краю горизонта, синеются Воробьёвы горы. На левой же стороне видны обширные, хлебом покрытые поля, лесочки, три или четыре деревеньки и вдали село Коломенское с высоким дворцом своим.

Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там
лесну; туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе
с Природою. Страшно воют ветры в стенах опустевшего мана-
стыря, между гробов, заросших высокой травой, и в тёмных пе-
реходах келий. Там, опершись на развалины гробных камней,
внимаю глухому стону времён, бездною минувшего поглощённым,
стону, от которого сердце моё содрогается и трепещет. Иногда
вхожу в келии и представляю себе тех, которые в них жили. —
печальные картины! Здесь вижу седого старца, преклонившего
колена перед распятием и молящегося о скором разрешении зем-
ных оков своих: ибо все удовольствия исчезли для него в жизни,
все чувства его умерли, кроме чувства болезни и слабости. Там
юный монах — с бледным лицом, с томным взором — смотрит в
поле сквозь решётку окна своего, видит весёлых птичек, свободно
плавающих в море воздуха, — видит и проливает горькие слёзы
из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет, и унылый звон колокола
возвещает мне безвременную смерть его. Иногда на воротах храма
рассматриваю изображение чудес, в сем монастыре случив-
шихся, — там рыбы падают с неба для насыщения жителей мана-
стыря, осаждённого многочисленными врагами; тут образ бого-
матери обращает неприятелей в бегство. Всё сие обновляет в моей
памяти историю нашего отечества — печальную историю тех вре-
мён, когда свирепые татары и литовцы огнём и мечом опустошали
окрестности российской столицы и когда несчастная Москва, как
беззащитная вдовица, от одного бога ожидала помощи в лютых
своих бедствиях.

Но всего чаще привлекает меня к стенам Симонова монастыря
воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах! я люб-
лю те предметы, которые трогают моё сердце и заставляют меня
проливать слёзы нежной скорби!

Саженьях в семидесяти от монастырской стены, подле берёзо-
вой рощи, среди зелёного луга, стоит пустая хижина без две-
рей, без окончин, без полу; кровля давно сгнила и обвалилась.
В сей хижине лет за тридцать перед сим жила прекрасная, лю-
безная Лиза с старушкою, матерью своею.

Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что
он любил работу, пахал хорошо землю и вёл всегда трезвую
жизнь. Но скоро по смерти его жена и дочь обедняли. Ленивая
рука наёмника худо обрабатывала поле, и хлеб перестал хорошо
родиться. Они принуждены были отдать свою землю в наём, и за
весьма небольшие деньги. К тому же бедная вдова, почти беспре-
станно проливая слёзы о смерти мужа своего, — ибо и крестьянки
любить умеют! — день от дня становилась слабее и совсем не
могла работать. Одна Лиза, которая осталась после отца пятна-
дцати лет, — одна Лиза, не щадя своей нежной молодости, не
щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь — ткала
холсты; вязала чулки, весною рвала цветы, а летом брала ягоды
и продавала их в Москве. Чувствительная добрая старушка, видя

...часто прижимала ее к груди, обнимая, кормила ее своим милостивым, кормилицею, отрадою своей и молила Бога, чтобы он награждал ее за все то, что она делала для матери. «Бог дал мне руки, чтобы работать (тогда Лиза), ты кормила меня своею грудью и ходила за мною, когда я был ребенком; теперь пришла моя очередь ходить за тобой. Переставь только кручиниться, перестань плакать; слезы жизни не оживят батюшки». Но часто нежная Лиза не могла удержать собственных слез своих — ах! она помнила, что у нее был отец и что его не стало; но для успокоения матери старалась гнать печаль сердца своего и казаться покойною и веселою. «В том свете, любезная Лиза (отвечала горестная старушка), на том свете перестану я плакать. Там, сказывают, будто все весело, а, верно, весела буду, когда увижу отца твоего. Только теперь хочу умереть. — что с тобою без меня будет! На кого тебя покинуть? Нет, дай бог прежде пристроить тебя к месту! Может быть скоро сыщется добрый человек! Тогда, благословя нас, милых детей моих, перекрещусь и спокойно лягу в сырую землю».

Прешло года два после смерти отца Лизина. Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами. Молодой, хорошо одетый человек, приятного вида, встретился ей на улице. Она показала ему цветы — и покраснелась.

— Ты продаёшь их, девушка? — спросил он с улыбкою.

— Продаю, — отвечала она.

— А что тебе надобно?

— Пять копеек.

— Это слишком дешево. Вот тебе рубль.

Лиза удивилась, осмелилась взглянуть на молодого человека, — ещё более покраснелась и, потупив глаза в землю, сказала ему, что она не возьмёт рубля.

— Для чего же?

— Мне не надобно лишнего.

— Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля. Когда же ты не берёшь его, вот тебе пять копеек. Я хотел бы всегда покупать у тебя цветы; хотел бы, чтоб ты рвала их только для меня.

Лиза отдала цветы, взяла пять копеек, поклонилась и хотела идти; но незнакомец остановил её за руку.

— Куда же ты пойдёшь, девушка?

— Домой.

— А где дом твой?

Лиза сказала, где она живёт, сказала и пошла. Молодой человек не хотел удерживать её, может быть для того, что мимоходящие начали останавливаться и, смотря на них, коварно усмехались.

[Так началось знакомство Лизы с молодым дворянином Эрастом. Знакомство это в дальнейшем перешло в горячую взаимную любовь. Чувство Лизы было глубоким, искренним, прочным. Эраст же в скором времени омолодился. Любовь Лизы стала его тяготить.]

Иногда
— За
важное д
Након
чайшем б
сказал ей
— Лю
бой прост
мой идёт
Лиза п
Эраст
Лизу и на
ставаться.
схватила
спросила:
— Тебе
— Мог
с величай
все будут
отечества.
— Ах, к
куда бог ве
— Смер
— Я ум
— Но за
возвратись
— Дай
литься. Ах!
домлял мен
тебе — о сле
— Нет, б
чтобы ты без
— Жесто
рады! Нет! р
когда высохн
— Думай
— Буду, с
Любезный, м
рая любит те
Но я не мо
На другой де
Эраст хоте
могла от слёз
её должен еха
денег, сказав:
— Я не хо
свою, которая
Старушка

Иногда, прощаясь с нею, он говорил ей:

— Завтра, Лиза, не могу с тобою видаться; мне встретилось важное дело, — и всякий раз при сих словах Лиза вздыхала.

Наконец, пять дней сряду она не видела его и была в величайшем беспокойстве; в шестой пришёл он с печальным лицом и сказал ей:

— Любезная Лиза! Мне должно на несколько времени с тобой проститься. Ты знаешь, что у нас война; я в службе; полк мой идёт в поход.

Лиза побледнела и едва не упала в обморок.

Эраст ласкал её; говорил, что он всегда будет любить милую Лизу и надеется по возвращении своём уже никогда с нею не расставаться. Долго она молчала; потом залилась горькими слезами, схватила руку его и, взглянув на него со всею нежностью любви, спросила:

— Тебе нельзя остаться?

— Могу, — отвечал он, — но только с величайшим бесславием, с величайшим пятном для моей чести. Все будут презирать меня; все будут гнушаться мною, как трусом, как недостойным сыном отечества.

— Ах, когда так, — сказала Лиза, — то поезжай, поезжай, куда бог велит! Но тебя могут убить.

— Смерть за отечество не страшна, любезная Лиза.

— Я умру, как скоро тебя не будет на свете.

— Но зачем это думать? Я надеюсь остаться жив, надеюсь возвратиться к тебе, моему другу.

— Дай бог! дай бог! Всякий день, всякий час буду о том молиться. Ах! для чего не умею ни читать, ни писать. Ты бы уведомлял меня обо всём, что с тобою случится! а я писала бы тебе — о слезах своих.

— Нет, береги себя, Лиза; береги для друга твоего. Я не хочу, чтобы ты без меня плакала.

— Жестокий человек! Ты думаешь лишить меня и этой отрады! Нет! расставшись с тобою, разве тогда перестану плакать, когда высохнет сердце моё.

— Думай о приятной минуте, в которую мы опять увидимся.

— Буду, буду думать об ней! Ах! если бы она пришла скорее! Любезный, милый Эраст! помни, помни свою бедную Лизу, которая любит тебя более, нежели самоё себя!

Но я не могу описать всего, что они при сем случае говорили. На другой день надлежало быть последнему свиданию.

Эраст хотел проститься и с Лизиной матерью, которая не могла от слёз удержаться, слыша, что ласковый, пригожий барин её должен ехать на войну. Он принудил её взять у него несколько денег, сказав:

— Я не хочу, чтобы Лиза в моё отсутствие продавала работу свою, которая, по уговору, принадлежит мне.

Старушка осыпала его благословениями.

— Дай, господи, — говорила она, — чтобы ты к нам благополучно возвратился и чтобы я тебя ещё раз увидела в здешней жизни! Авось-либо моя Лиза к тому времени найдёт себе жениха по мыслям. Как бы я благодарила бога, если б ты приехал к нашей свадьбе! Когда же у Лизы будут дети, знай, барин, что ты должен крестить их! Ах! мне бы очень хотелось дожить до этого!

Лиза стояла подле матери и не смела взглянуть на неё. Читатель легко может вообразить себе, что она чувствовала в сию минуту.

Но что же чувствовала она тогда, когда Эраст, обняв её в последний раз, в поледний раз прижав к своему сердцу, сказал: прости, Лиза!.. Какая трогательная картина! Утренняя заря, как алое море, разливалась по восточному небу. Эраст стоял под ветвями высокого дуба, держа в объятиях своих бледную, томную, горестную подругу, которая, прощаясь с ним, прощалась с душою своею. Вся Натура пребывала в молчании.

Лиза рыдала — Эраст плакал — оставил её — она упала — стала на колени, подняла руки к небу и смотрела на Эраста, который удалялся — далее — далее и, наконец, скрылся — воссияло солнце, и Лиза, оставленная, бедная, лишилась чувств и памяти.

Она пришла в себя — и свет показался ей уныл и печален. Все приятности Натуры сокрылись для неё вместе с любезным её сердцу.

«Ах! (думала она) для чего я осталась в этой пустыне? Что удерживает меня лететь вслед за милым Эрастом? Война не страшна для меня; страшно там, где нет моего друга. С ним жить, с ним умереть хочу или смертью своею спасти его драгоценную жизнь. Постой, постой, любезный! я лечу к тебе!» — Уже хотела она бежать за Эрастом; но мысль: у меня есть мать! остановила её. Лиза вздохнула и, приклонив голову, тихими шагами пошла к своей хижине. С сего часа дни её были днями тоски и горести, которую надлежало скрывать от нежной матери: тем более страдало сердце её! Тогда только облегчалось оно, когда Лиза, уединяясь в густоту леса, могла свободно проливать слёзы и стенать о разлуке с милым. Часто печальная горлица соединяла жалобный голос свой с её стенанием. Но иногда — хотя весьма редко — златой луч надежды, луч утешения освещал мрак её скорби. — Когда он возвратится ко мне, как я буду счастлива! как всё переменится! — от сей мысли прояснялся взор её, розы на щеках освежались, и Лиза улыбалась, как майское утро после бурной ночи. — Таким образом прошло около двух месяцев.

В один день Лиза должна была идти в Москву, затем чтобы купить розовой воды, которою мать её лечила глаза свои. Из одной из больших улиц встретила её великолепная карета, и в сей карете увидела она — Эраста. Ах! — закричала Лиза и бросилась к нему; но карета проехала мимо и поворотила на двор. Эраст вышел и хотел уже идти на крыльцо огромного дома, как вдруг почувствовал себя в Лизиних объятиях. Он побледнел —

потом, не
привёл в

— Лиза
ниться; ты
своего спо
то есть же
(он положи
в последн

Прежд
нета и ска

— Про
Сердце
ловека в
жется — см
чего пишу

Итак, Э

Нет, он в
сражаться
своё имени
ску, отягч
свои обстоя
торая давно
жить к ней
сие может

Лиза оч
какое перо
другую? я
рок прервал
улице, остав
привести её
мощию сей
зная куда.

«Мне нел
на меня неб
падает; земл

Она выш
кого пруда,
дель перед те
воспоминани
изобразилос
она в некотор
увидела дочь
щую по дорож
лов! и, подав

— Любезн
матушке — он

Империял

потом, не отвечая ни слова на её восклицания, взял её за руку, привёл в свой кабинет, запер дверь и сказал ей:

— Лиза! обстоятельства переменились: я помолвлен жениться; ты должна оставить меня в покое и для собственного своего спокойствия забыть меня. Я любил тебя и теперь люблю, то есть желаю тебе всякого добра. Вот сто рублей — возьми их (он положил ей деньги в карман) — позволь мне поцеловать тебя в последний раз — и пооди домой.

Прежде нежели Лиза могла опомниться, он вывел её из кабинета и сказал слуге:

— Проводи эту девушку со двора.

Сердце моё обливается кровию в сию минуту. Я забываю человека в Эрасте — готов проклинать его — но язык мой не движется — смотрю на небо, и слеза катится по лицу моему. Ах! для чего пишу не роман, а печальную быль?

Итак, Эраст обманул Лизу, сказав ей, что он едет в армию? — Нет, он в самом деле был в армии; но вместо того чтобы сражаться с неприятелем, играл в карты и проиграл почти всё своё имение. Скоро заключили мир, и Эраст возвратился в Москву, отягчённый долгами. Ему оставался один способ поправить свои обстоятельства — жениться на пожилой богатой вдове, которая давно была влюблена в него. Он решился на то и переехал жить к ней в дом, посветив искренний вздох Лизе своей. Но всё сие может ли оправдать его?

Лиза очутилась на улице, и в таком положении, которого никакое перо описать не может. Он, он выгнал меня? Он любит другую? я погибла — вот её мысли, её чувства! Жестокий обморок прервал их на время. Одна добрая женщина, которая шла по улице, остановилась над Лизою, лежавшею на земле, и старалась привести её в память. Несчастная открыла глаза — встала с помощью сей доброй женщины — благодарила её и пошла, сама не зная куда.

«Мне нельзя жить (думала Лиза), нельзя!.. О если бы упало на меня небо! Если бы земля поглотила бедную!.. Нет!.. небо не падает; земля не колеблется! Горе мне!»

Она вышла из города и вдруг увидела себя на берегу глубокого пруда, под тению древних дубов, которые за несколько недель перед тем были безмолвными свидетелями её восторгов. Сие воспоминание потрясло её душу; страшнейшее сердечное мучение изобразилось на лице её. Но через несколько минут погрузилась она в некоторую задумчивость — потом осмотрелась вокруг себя, увидела дочь своего соседа (пятнадцатилетнюю девушку), идущую по дороге, кликнула её, вынула из кармана десять империа¹лов¹ и, подавая ей, сказала:

— Любезная Анята, любезная подружка, отнеси эти деньги к матушке — они не краденые, — скажи ей, что Лиза против неё

¹ Империа́л — золотая монета в 10 рублей.

...от неё любовь свою к одному жестокому...
...— к Э... На что знать его имя? — Скажи, что он изме-
... — возьми, чтобы она меня простила — бог будет её по-
... — поцелуй у неё руку, так, как я теперь твою целую —
... что... — Тут она бросилась в воду. Анюта закричала,
... но не могла спасти её; побежала в деревню — собра-
... и вытащили Лизу; но она была уже мёртвая.

Таким образом скончала жизнь свою прекрасная душою и те-
лом. Когда мы там, в новой жизни, увидимся, я узнаю тебя, неж-
ная Лиза!

Её погребли близ пруда, под мрачным дубом, и поставили де-
ревянный крест на её могиле. Тут часто сижу в задумчивости,
опершись на возмезднице Лизина праха; в глазах моих струится
пруд; надо мною шумят листья.

Лизина мать услышала о страшной смерти дочери своей,
и кровь её от ужаса охладела — глаза навек закрылись... Хижины
опустела. В ней воет ветер, и суеверные поселяне, слыша по ве-
чам сей шум, говорят: «Там стонет мертвец; там стонет бедная
Лиза!»

Эраст был до конца жизни своей несчастлив. Узнав о судьбе
Лизиной, он не мог утешиться и почитал себя убийцею. Я по-
знакомился с ним за год до его смерти. Он сам рассказал мне
сию историю и привёл меня к Лизиной могиле... Теперь, может
быть, они уже примирились!

Ра
Д
За
О
Сне
О
Счёл
Я
В ч
Кла
С
Расс
И на
П

Туск
В
Мол
Ми
«Что,
Вы
Слуш
В

Василий Андреевич Жуковский

* 1783—1852 *

СВЕТЛАНА

Баллада

(1810—1812)

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали;
Снег пололи; под окном
Слушали, кормили
Счётным курицу зерном;
Ярый воск топили;
В чашу с чистою водой
Клади перстень золотой,
Серьги изумрудны;
Расстилали белый плат
И над чашей пели в лад
Песенки подблюдны.

Тускло светится луна
В сумраке тумана —
Молчалива и грустна
Милая Светлана.
«Что, подруженька с тобой?
Вымолви словечко;
Слушай песни круговой;
Вынь себе колечко.
Пой, красавица: «кузнец,

Скуй мне злат и нов венец,
Скуй кольцо золотое;
Мне венчаться тем венцом,
Обручаться тем кольцом
При святом наложе».

— Как могу, подружки петь?
Милый друг далёко;
Мне судьбина умереть
В грусти одинокой.
Год промчался — вести нет;
Он ко мне не пишет;
Ах, а им лишь красен свет,
Им лишь сердце дышит...
Иль не вспомнишь обо мне?
Где, в какой ты стороне?
Где твоя обитель?
Я молюсь и слёзы лью!
Утоли печаль мою,
Ангел-утешитель.

Вот, в светлице стол накрыт
Белой пеленою;
И на том столе стоит

Зеркало с свечою;
Два прибора на столе.
«Загадай, Светлана;
В чистом зеркала стекле
В полночь, без обмана
Ты узнаешь жребий свой —
Стукнет в двери милый твой
Лёгкою рукою;
Упадёт с дверей запор;
Сядет он за свой прибор
Ужинать с тобою».

Вот красавица одна;
К зеркалу садится;
С тайной робостью она
В зеркало глядится;
Тёмно в зеркале; кругом
Мёртвое молчанье;
Свечка трепетным огнём
Чуть лиёт сиянье...
Робость в ней волнует грудь,
Страшно ей назад взглянуть,
Страх туманит очи...
С треском пыхнул огонёк,
Крикнул жалобно сверчок,
Вестник полуночи.

Подпершись локотком,
Чуть Светлана дышит...
Вот... легохонько замком
Кто-то стукнул, слышит;
Робко в зеркало глядит:
За её плечами
Кто-то, чудилось, блестит
Яркими глазами...
Занялся от страха дух...
Вдруг в её влетает слух
Тихий, лёгкий шёпот:
«Я с тобой, моя краса;
Укrotились небеса;
Твой услышан ропот!»

Оглянулась... Милый к ней
Простирает руки.
«Радость, свет моих очей
Нет для нас разлуки.
Едем! Поп уж в церкви ждёт
С дьяконом, дьячками;

Хор венчальну песнь поёт,
Храм блестит свечами».
Был в ответ умильный взор;
Идут на широкий двор,
В ворота тесовы;
У ворот их санки ждут;
С нетерпенья кони рвут
Повода шелковы.

Сели... кони с места враз;
Пышут дым ноздрями;
От копыт их поднялась
Вьюга над санями.
Скачут... пусто всё вокруг
Степь в очах Светланы;
На луне туманный круг;
Чуть блестят поляны.
Сердце вещее дрожит;
Робко дева говорит:
«Что ты смолкнул, милый?»
Ни полслова ей в ответ:
Он глядит на лунный свет,
Вледный и унылый.

Кони мчатся по буграм,
Топчут снег глубокий...
Вот, в сторонке божий храм
Виден одинокий;
Двери вихорь отворил:
Тьма людей во храме;
Яркий свет паникадил
Тускнет в фимиаме;
На середине чёрный гроб;
И гласит протяжно поп:
«Буди взят могилой!»
Пуще девица дрожит;
Кони мимо; друг молчит,
Бледен и унылый.

Вдруг метелица кругом;
Снег валит клоками;
Чёрный вран, свистя крылом,
Вьётся над санями;
Ворон каркает: печаль!
Кони торопливы
Чутко смотрят в тёмну даль,
Подымая гривы;
Брезжит в поле огонёк;

Виден ми
Хижин
Кони бор
Снег взр
Мчатся

Вот прим
Из очей
Кони, сан
Будто н
Одинокая
Брошен
В страши
Вкруг м
Возвратит
Виден ей
Вот пер
В дверь
Дверь шат
Тихо ра

Что ж? В
Белою з
Спасов ли
Свечка г
Ах! Светла
В чью за
Страшен х
Безответ
Входит с т
Пред иконо
Спасу по
И с кресто
Под свят
Робко пр

Всё утихло.
Слабо све
То прольёт
То опять
Всё в глубо
Страшное
Чу, Светлан
Лёгкое жу
Вот, глядит;

Виден мирный уголок,
Хижинка под снегом.
Кони борзые быстрей,
Снег взрывая, прямо к ней
Мчатся дружным бегом.

Вот примчались... и вмиг
Из очей пропали:
Кони, сани и жених,
Будто не бывали.
Одинокая, впотьмах,
Брошена от друга
В страшных девица местах;
Вкруг метель и вьюга.
Возвратиться — следу нет...
Виден ей в избушке свет:
Вот перекрестилась;
В дверь с молитвою стучит...
Дверь шатнулася... скрипит...
Тихо растворилась.

Что ж? В избушке гроб; накрыт
Белою запоной;
Спасов лик в ногах стоит;
Свечка пред иконой...
Ах! Светлана, что с тобой?
В чью зашла обитель?
Страшен хижины пустой
Безответный житель.
Входит с трепетом, в слезах;
Пред иконой пала в прах,
Спасу помолилась;
И с крестом своим в руке,
Под святыми в уголке
Робко притаилась.

Всё утихло... вьюги нет...
Слабо свечка тлится,
То прольёт дрожащий свет,
То опять затмится...
Всё в глубоком мёртвом сне;
Страшное молчанье...
Чу, Светлана!.. в тишине
Лёгкое журчанье...
Вот, глядит: к ней в уголок

Белоснежный голубок
С светлыми глазами,
Тихо вея, прилетел,
К ней на перси тихо сел,
Обнял их крылами.

Смолкло всё опять кругом...
Вот Светлане мнится,
Что под белым полотном
Мёртвый шевелится...
Сорвался покров; мертвец
(Лик мрачнее ночи)
Виден весь — на лбу венец,
Затворёны очи.
Вдруг... в устах сомкнутых
стон;

Силится раздвинуть он
Руки охладели...
Что же девица? Дрожит...
Гибель близко... но не спит
Голубочек белый.

Встрепенулся, развернул
Лёгкие он крылы.
К мертвецу на грудь
вспорхнул...

Всей лишённый силы,
Простонав, заскрежетал
Страшно он зубами,
И на деву засверкал
Грозными очами...
Снова бледность на устах;
В, закатившихся глазах
Смерть изобразилась...
Глядь, Светлана... О Творец!
Милый друг её — мертвец!
Ах!.. и пробудилась.

Где ж?.. У зеркала, одна
Посреди светлицы;
В тонкий занавес окна
Светит луч денницы;
Шумный бьёт крылом петух.
День встречая пенем;
Всё блестит... Светланин дух
Смутен сновиденьем.
«Ах, ужасный, грозный сон!
Не добро вещает он —

Горькую судьбину;
Тайный мрак грядущих дней,
Что сулишь душе моей,
Радость или кручину?»

Села (тяжко поет грудь)
Под окном Светлана;
Из окна широкий путь
Виден сквозь тумана;
Снег на солнышке блестит,
Пар алеет тонкий...
Чу!.. в дали пустой гремит
Колокольчик звонкий;
На дороге снежный прах;
Мчат, как будто на крылах,
Санки кони рьяны;
Ближе... вот уж у ворот;
Статный гость к крыльцу идёт...
Кто?.. Жених Светланы.

Что же твой, Светлана, сон,
Прорицатель муки?
Друг с тобой; всё тот же он
В опыте разлуки;
Та ж любовь в его очах,
Те ж приятны взоры;
Те ж на сладостных устах
Милы разговоры.
Отворяйся ж, божий храм;
Вы летите к небесам,
Верные обеты;
Собирайтесь, стар и млад;

Сдвинув звонки чаши, влад
Пойте: многи леты!

Улыбнись, моя краса,
На мою балладу;
В ней большие чудеса,
Очень мало складу.
Взором счастливый твоим,
Не хочу и славы;
Слава — нас учили — дым;
Свет — судья лукавый.
Вот баллады толк моей:
«Лучший друг нам в жизни сей
Вера в провиденье.
Благ зиждителя закон:
Здесь несчастье — лживый сон;
Счастье — пробужденье».

О! не знай сих страшных снов
Ты, моя Светлана...
Будь создатель ей покров!
Ни печали рана,
Ни минутной грусти тень
К ней да не коснется;
В ней душа — как ясный день;
Ах! Да пронесётся
Мимо — бедствия рука;
Как приятный ручейка
Блеск на лоне луга,
Будь вся жизнь её светла,
Будь весёлость, как была,
Дней её подруга.

ЛЕСНОЙ ЦАРЬ

Баллада

(Из Гёте)

(1818)

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой.
К отцу, весь издрогнув, малютка приник;
Обняв, его держит и греет старик.
— Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?
— Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул:
Он в тёмной короне, с густой бородой.
— О нет, то белеет туман над водой. —

«Дитя, оглянися; младенец, ко мне;
Весёлого много в моей стороне:
Цветы бирюзовы, жемчужны струи;
Из золота слиты чертоги мои».
— Родимый, лесной царь со мной говорит:
Он золото, перлы и радость сулит.
— О нет, мой младенец, ослышался ты:
То ветер, проснувшись, колыхнул листы.—

«Ко мне, мой младенец; в дубраве моей
Узнаешь прекрасных моих дочерей:
При месяце будут играть и летать,
Играя, летая, тебя усыплять».
— Родимый, лесной царь созвал дочерей:
Мне, вижу, кивают из тёмных ветвей.
— О нет, всё спокойно в ночной глубине:
То вётлы седые стоят в стороне.—

«Дитя, я пленился твоей красотой:
Неволей иль волей, а будешь ты мой».
— Родимый, лесной царь нас хочет догнать;
Уж вот он: мне душно, мне тяжело дышать.
Ездок оробелый не скачет, летит;
Младенец тоскует, младенец кричит;
Ездок погоняет, ездок доскакал...
В руках его мёртвый младенец лежал.

МОРЕ

Элегия

(1822)

Безмолвное море, лазурное море,
Стою очарован над бездной твоей.
Ты живо, ты дышишь; смятенной любовью,
Тревожною думой наполнено ты.
Безмолвное море, лазурное море,
Открой мне глубокую тайну твою:
Что движет твоё необъятное лоно?
Чем дышит твоя напряжённая грудь?
Иль тянет тебя из земныя неволи
Далёкое, светлое небо к себе?..
Таинственной, сладостной полное жизни,
Ты чисто в присутствии чистом его;
Ты льбьшься его светозарной лазурью,
Вечерним и утренним светом горнишь,
Ласкаешь его облака золотые
И радостно блещешь звездами его.

Когда же собираются тёмные тучи,
Чтоб ясное небо отнять у тебя
Ты бьёшься, ты воешь, ты волна подтаскиваешь,
Ты рвёшь и терзаешь враждебную мглу...
И мгла исчезает, и тучи уходят;
Но, полное прошлой тревоги своей,
Ты долго вздымаешь испуганный волны,
И сладостный блеск возвращённых небес
Не вовсе тебе тишину возвращает;
Обманчив твой неподвижности вид:
Ты в бездне покойной скрываешь смятение,
Ты, небом любуясь, дрожишь за него.

1 Ким
2 Сейн
задушенный
3 Цу
тыя

Кондратий Федорович Дилеев



• 1795 — 1826 •

К ВРЕМЕННОМУ

(1820)

Надменный временщик, и подлый и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей,
Взнесённый в важный сан пронырствами, злодей!
Ты на меня взирать с презрением дерзаешь,
И в грозном взоре мне свой ярый гнев являешь.
Твоим вниманием не дорожу, подлец!
Из уст твоих хула — достойных хвал венец!
Смеюсь мне сделанным тобой уничиженьем!
Могу ль унизиться твоим пренебреженьем,
Коль сам с презрением я на тебя гляжу,
И горд, что чувств твоих в себе не нахожу.
Что сей кимвальный ¹ звук твоей мгновенной славы?
Что власть ужасная и сан твой величавый?
Ах! лучше скрыть себя в неизвестности простой,
Чем с низкими страстями и подлою душой
Себя, для строгого своих сограждан взора,
На суд их выставлять, как будто для позора!
Когда во мне, когда нет доблестей прямых,
Что пользы в сани мне и в почестях самих?
Не сан, не род — одни достоинства почтенны;
Сеян! ² и самые цари без них — презренны;
И в Цицероне ³ мной не консул — сам он чтим,

¹ Кимвал — музыкальный инструмент у древних народов.

² Сеян — временщик эпохи римского императора Тиберия (14—37 гг. н. э.), задушенный по приказанию последнего.

³ Цицерон (I в. до н. э.) — римский государственный деятель, знаменитый оратор, защитник аристократической республики; в своих речах нападал на Катилину, организатора заговора против Римской республики. Катилина был разоблачен Цицероном.

За то, что им спасён от Катилины Рим...
 О муж, достойный муж! Почто не можешь, снова
 Родившись, сограждан спасти от рока злова?
 Тиран, вострепещи! Родиться может он!
 Иль Кассий¹, или Брут², иль враг царей Катон³!
 О, как на лире я потщусь того прославить,
 Отечество моё кто от тебя избавит!
 Под лицемерием ты мыслишь, может быть,
 От взора общего причины зла укрыть...
 Не зная о своём ужасном положении,
 Ты заблуждаешься в несчастном ослеплении:
 Как ни притворствуешь и как ты ни хитришь,
 Но свойства злые души не утаишь:
 Твои дела тебя изобличат народу;
 Познает он, что ты стеснил его свободу.
 Налогом тягостным довёл до нищеты,
 Селения лишил их прежней красоты⁴...
 Тогда вострепещи, о временщик надменный!
 Народ тиранствами ужасен разъяренный!
 Но если злобный рок, злодея полюбя,
 От справедливой мзды⁵ и сохранит тебя,—
 Всё трепещи, тиран! За зло и вероломство
 Тебе свой приговор произнесёт потомство!

ПЕСНЯ

(1824)

Ах, тошно мне
 И в родной стороне;
 Всё в неволе,
 В тяжкой доле,
 Видно, век вековать?
 Долго ль Русской народ
 Будет рухлядью господ,
 И людьми,
 Как скотами,
 Долго ль будут торговать?

Кто же нас кабалил,
 Кто им барство присудил,
 И над нами,
 Бедняками,
 Будто с плетью посадил?
 По две шкуры с нас дерут;
 Мы посеём, они жнут;
 И свобода
 У народа
 Силой бар задушена.

¹ Кассий — участник заговора против Юлия Цезаря, уничтожившего аристократически-республиканский строй.

² Брут — глава республиканского заговора против Юлия Цезаря, убитого в 44 г. до н. э.

³ Катон — возглавлял аристократическую республиканскую партию в борьбе против Цезаря.

⁴ Рылеев намекает на военные поселения, созданные Аракчеевым по приказу Александра I, в которых вследствие нещадной эксплуатации крепостных крестьян-солдат возникали возмущения, обычно жестоко подавлявшиеся.

⁵ Мзда — награда, плата; в переносном смысле — возмездие, кара.

А что сило
 Силой выр
 И в при
 На разд
 Стариною

А теперь т
 Грабят нас
 И обман
 Их карм
 Стала наш

Баре с зем
 И с приход
 Нас морс
 И волоча
 По дорогам

А уж правд
 Не ищи, му
 Без синюх
 Судьи глу
 Без вины ты

Чтоб в пала
 Прежде стор
 За бумагу
 За отвагу,
 Ты за всё п

Там же каж
 Покривится

Я ль о
 Позор
 И под
 Перер
 Нет, н
 В пост
 И изн
 Под т

¹ Синюха — д
² В кабаках.
³ Сан — здесь

А что силой отнято,
Силой выручим мы то.
И в приволье,
На раздолье,
Стариною заживём.

А теперь господа
Грабят нас без стыда,
И обманом
Их карманом
Стала наша мошна.

Баре с земским судом
И с приходским попом
Нас морочат
И волочат
По дорогам да судам.

А уж правды нигде
Не ищи, мужик, в суде.
Без синюхи¹
Судьи глухи,
Без вины ты виноват.

Чтоб в палату дойти,
Прежде сторожу плати,
За бумагу,
За отвагу,
Ты за всё про всё давай!

Там же каждая душа
Покривится из гроша,

Заседатель,
Председатель
Заодно с секретарём.

Нас поборами царь
Иссушил, как сухарь;
То дороги,
То налоги
Разорили нас вконец.

А под царским орлом²
Ядом потчуют с вином,
И народу
Лишь за воду
Велят вчетверо платить.

Уж так худо на Руси,
Что и боже упаси!
Всех затеев
Аракчеев
И всему тому виной.

Он царя подстрекнёт,
Тот указ подмахнёт,
Ему шутка,
А нам жутко,
Тошно так, что ой, ой, ой.
А до бога высоко,
До царя далеко,
Да мы сами
Ведь с усами,
Так мотай себе на ус!

ГРАЖДАНИН

(1825, декабрь)

Я ль буду в роковое время
Позорить Гражданина сан³
И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся Славян?
Нет, неспособен я в объятьях сладострастья,
В постыдной праздности влачить свой век млатой
И изнывать кипящею душой
Под тяжким игом самовластья!

¹ Синюха — денежная ассигнация пятирублёвого достоинства.

² В кабаках.

³ Сан — здесь: в смысле достоинства.

Пусть юноши, своей не разгадав судьбы,
Постигнуть не хотят предназначенье века
И не готовятся для будущей борьбы
За угнетённую свободу человека.
Пусть с хладною душой бросают хладный взор
На бедствия своей отчизны¹
И не читают в них грядущий свой позор
И справедливые потомков укоризны.
Они раскаются, когда народ, восстав,
Застанет их в объятьях праздной неги
И, в бурном мятеже ища свободных прав,
В них не найдёт ни Брута, ни Риэги².

СМЕРТЬ ЕРМАКА

Д у м а

(1822)

Ревела буря, дождь шумел;
Во мраке молнии летали;
Бесперерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали...
Ко славе страстию дыша,
В стране суровой и угрюмой,
На диком бреге Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой.

Товарищи его трудов,
Побед и громозвучной славы,
Среди раскинутых шатров
Беспечно спали близ дубравы.
«О, спите, спите, — мнил герой, —
Друзья, под бурею ревущей;
С рассветом глас раздастся мой,
На славу иль на смерть зовущий!

Вам нужен отдых; сладкий сон
И в бурю храбрых успокоит;
В мечтах напомним славу он
И силы ратников удвоит.

¹ В других, наиболее распространённых списках: «на бедствия страданий отчизны».

² Рафаэль Риэго — испанский революционер, поднял восстание в 1819—1820 гг.; был казнён во время торжества реакции в ноябре 1823 г. В 1824 г. гимн его имени слушали в Испании русские морские офицеры (будущие декабристы) и «с восторгом поднимали бокалы в его память» (по словам дебриста Бестужева). Портрет его был выставлен в книжном магазине в Петербурге в 1825 г., во время междуцарствия. Гимн Риэго являлся официальным гимном республиканской Испании.

Кто жизни не щадил своей,
В разбоях злато добывая,
Тот думать будет ли о ней,
За Русь святую погибая?

Своей и вражьей кровью смыв
Все преступленья буйной жизни,
И за победы заслужив
Благословения отчизны —
Нам смерть не может быть страшна;
Своё мы дело совершили:
Сибирь царю покорена,
И мы — не праздно в мире жили!»

Но роковой его удел
Уже сидел с героем рядом
И с сожалением глядел
На жертву любопытным взглядом.
Ревела буря, дождь шумел;
Во мраке молнии летали;
Бесперерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали.

Иртыш кипел в крутых берегах:
Вздымались седые волны,
И рассыпались с рёвом в прах,
Бия о брег, казачьи чёлны.
С вождём покой в объятьях сна
Дружина храбрая вкушала;
С Кучумом буря лишь одна
На их гибель не дремала!

Страшась вступить с героем в бой,
Кучум к шатрам, как тать презренный,
Прокрался тайною тропой,
Татар толпами окруженный.
Мечи сверкнули в их руках, —
И окровавилась долина,
И пала грозная в боях,
Не обнажив мечей, дружина...

Ермак воспрянул ото сна,
И, гибель зря, стремится в волны,
Душа отвагою полна,
Но далеко от берега чёлны!
Иртыш волнуется сильнее...

и страдаю-
в 1819—
В 1824 г.
удущие де-
овам дека-
не в Петер-
ициальным

Ермак все силы напрягает —
И мощною рукой своей
Валы седые рассекает...

Плывёт... уж близко челнока, —
Но сила року уступила,
И, закипев страшной, река
Героя с шумом поглотила.
Лишивши сил богатыря
Бороться с ярою волною,
Тяжёлый панцырь — дар царя —
Стал гибели его виною.

Ревела буря... вдруг луной
Иртыш кипящий осребрился,
И труп, извергнутый волной,
В броне медяной озарился.
Носились тучи, дождь шумел,
И молнии ещё сверкали,
И гром вдалеке ещё гремел,
И ветры в дебрях бушевали.

Александр Сергеевич Грибоедов

• 1795—1829 •

МОНОЛОГИ ЧАЦКОГО ИЗ КОМЕДИИ «ГОРЕ ОТ УМА»

А судьи кто? — За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времён Очаковских и покоренья Крыма¹;
Всегда готовые к журьбе²,
Поют всё песнь одну и ту же,
Не замечая об себе:

Что старее, то хуже.

Где? укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве
И где не воскресят клиенты-иностранцы
Прошедшего житья подлейшие черты.
Да и кому в Москве не зажимали рты
Обеды, ужины и танцы?
Не тот ли, вы к кому меня ещё с пелён,
Для замыслов каких-то непонятных,
Дитёй возили на поклон?
Тот Нестор³ негодяев знатных,
Толпою окружённый слуг;
Усердствуя, они в часы вина и драки

¹ Времён Очаковских и покоренья Крыма — то есть давно.

² Журьба (укр.) — здесь: укоризна.

³ Нестор — имя греческого полководца (из поэмы Гомера «Илиада»).
В нарицательном смысле имя Нестора стало обозначать героя, старейшего по
возрасту, славного своей мудростью. Здесь это имя упоминается в ирониче-
ском смысле.

И честь, и жизнь его не раз спасали:
На них он выменял борзые три сороки
Или вон тот ещё, который для затей
На крепостной балет согнал на многих фураж
От матерей, отцов отторженных детей?
Сам погружён умом в зефирах и амурах.
Заставил всю Москву дивиться их красе!
Но должников не согласил к отсрочке: —
Амуры и зефиры все
Распроданы поодиночке!!!
Вот те, которые дожили до седины!
Вот уважать кого должны мы на безлюдьи!
Вот наши строгие ценители и судьи!
Теперь пускай из нас один,
Из молодых людей найдётся: враг исканий,
Не требуя ни мест, ни повышенья в чин.
В науки он вперит ум, алчущий познаний;
Или в душе его сам бог возбудит жар
К искусствам творческим, высоким и прекрасным.
Они тотчас: — разбой! пожар!
И прослывет у них мечтателем! опасным!! —
Мундир! один мундир! Он в прежнем их быту
Когда-то укрывал, расшитый и красивый,
Их слабодушие, рассудка нищету;
И нам за ними в путь-счастливый!
И в жёнах, дочерях к мундиру та же страсть!
Я сам к нему давно ль от нежности отрёкся?!
Теперь уж в это мне ребячество не впасть,
Но кто б тогда за всеми не повлёкся?
Когда из гвардии, иные от двора
Сюда на время приезжали:
Кричали женщины: ура!
И в воздух чепчики бросали!

(Действие II, явление 5-е)

Не образумлюсь... виноват,
И слушаю, не понимаю,
Как будто всё ещё мне объяснить хотят,
Растерян мыслями... чего-то ожидаю.
Слепец! я в ком искал награду всех трудов!
Спешил!.. летел! дрожал! вот счастье, думал, близко!
Пред кем я давича так страстно и так низко
Был расточитель нежных слов!
А вы! о боже мой! кого себе избрали?
Когда подумаю, кого вы предпочли!
Зачем меня надеждой завлекли!
Зачем мне прямо не сказали,
Что всё прошедшее вы обратили в смех?!

Что память даже вам постыла
Тех чувств, в обоих нас движений сердца тех,
Которые во мне ни даль не охладила,
Ни развлечения, ни перемена мест.
Дышал и ими жил, был занят непрерывно!
Сказали бы, что вам внезапный мой приезд,
Мой вид, мои слова, поступки — всё противно, —
Я с вами тотчас бы сношения пресек,

И перед тем, как навсегда расстаться,
Не стал бы очень добираться,
Кто этот вам любезный человек?..
Вы помирите с ним, по размышленьи зрелом.

Себя крушить, и для чего?
Подумайте, всегда вы можете его
Беречь, и пеленать, и спсылать за делом.
Муж-мальчик, муж-слуга, из жениных пажей,
Высокий идеал московских всех мужей. —
Довольно!.. с вами я горжусь моим разрывом,
А вы, сударь отец, вы страстные к чинам:
Желаю вам дремать в неведение счастливом,
Я сватаньем моим не угрожаю вам.

Другой найдётся, благодетель,
Низкопоклонник и делец,
Достоинствами, наконец,
Он будущему тестю равный.
Так! отрезвился я сполна.
Мечтанья с глаз долой, и спала пелена;
Теперь не худо было б сряду
На дочь и на отца,
И на любовника-глупца,
И на весь мир излить всю жёлчь и всю досаду.
С кем был! Куда меня закинула судьба!
Все гонят! все клянут! мучителей толпа,
В любви предателей, в вражде неутомимых,
Рассказчиков неукротимых,
Нескладных умников, лукавых простяков,
Старух зловещих, стариков,
Дряхлеющих над выдумками, вздором.
Безумным вы меня прославили всем хором,
Вы правы: из огня тот выйдет невредим,
Кто с вами день пробыть успеет,
Подышит воздухом одним,
И в нём рассудок уцелеет.
Вон из Москвы! сюда я больше не езду.
Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету,
Где оскорблённому есть чувству уголок! —
Карету мне, карету! (Уезжает)

(Действие IV, явление 14-е)

МИЛЬОН ТЕРЗАНИИ

(Отрывки)

(Критический этюд «Горе от ума» Грибоедова)

И. А. Гончаров

Комедия «Горе от ума» держится какими-то особняком в литературе и отличается молоджавостью, свежестью и более яркой живучестью от других произведений слова. Она, как старик, около которого все, отжив по очереди свою пору, рают и валяются, а он ходит, бодрый и свежий, между модами старых и колыбелями новых людей. И никому в голову не приходит, что настанет когда-нибудь и его черёд.

Все знаменитости первой величины, конечно, недаром появились в так называемый «храм бессмертия». У всех них, как у иных, как например у Пушкина, гораздо более прав на вечность, нежели у Грибоедова. Их нельзя близко и ставить одного с другим. Пушкин громаден, плодотворен, силен, богат. Он для русского искусства то же, что Ломоносов для русского просвещения вообще. Пушкин занял собою всю свою эпоху, создал другую, породил школы художников, — взял себе в эпигоны всё, кроме того, что успел взять Грибоедов и до чего не догадался Пушкин.

Несмотря на гений Пушкина, передовые его герои, как герои его века, уже бледнеют и уходят в прошлое. Гениальные создания его, продолжая служить образцами и источником искусства, сами становятся историей. Мы изучили Онегина, его время и его среду, взвесили, определили значение этого типа, но не находим уже живых следов этой личности в современном веке, хотя создание этого типа останется неизгладимым в литературе. Даже позднейшие герои века, например Лермонтовский Печорин, представляя, как и Онегин, свою эпоху, каменеют однако в негнущейся подвижности, как статуи на могилах. Не говорим о явившихся позднее их, более или менее ярких типах, которые при жизни авторов успели сойти в могилу, оставив по себе некоторые права на литературную память.

Называли бессмертной комедию «Недоросль» Фонвизина — и основательно — её живая, горячая пора продолжалась около полувека: это громадно для произведения слова. Но теперь, ни одного намёка в «Недоросле» на живую жизнь, и комедия, отслужив свою службу, обратилась в исторический памятник.

«Горе от ума» появилось раньше Онегина, Печорина, пережило их, прошло невинно через Гоголевский период, прожило эти полвека со времени своего появления и всё живёт своей нетленной жизнью, переживёт ещё много эпох и всё не утратит своей жизненности.

Отчего же это, и что такое вообще это «Горе от ума»?

Критика не как будто затруднилась печатать грамотная масса и не найдя недостижных, полустических речей, то и пестрила Грибоедов истаскала комедию.

Но пьеса выжила, но себе в каждом Крылова, не утратила в живую.

Одни ценят эпохи, создание пьесы представляется и притом таким Лица Фамусова, мять так же всех сложилось кроме одного, — и так примелькается, что он такое? Он карта в колоде. Лица, то о Чацком, и, может быть, и

Другие, отдавая типов, дорожат сатирой — моральный колодец, с жизни.

Но и те и другие «комедию», действующим движением

Несмотря на роли, и те и другие оживлённые толпы

ролях, как будто

Все эти различные зрелища у

пьесы, т. е. что и галерея живых

с тем и комедия — какая сдвигаясь — какая совокупность, она, без сомнения, период русской

Критика не трогала комедию с однажды занятого ею места, как будто затрудняясь, куда её поместить. Изустная оценка опередила печатную, как сама пьеса задолго опередила печать. Но грамотная масса оценила её фактически. Сразу поняв её красоты и не найдя недостатков, она разнесла рукопись на клочья, на стихи, полустихия, развела всю соль и мудрость пьесы в разговорной речи, точно обратила миллион в гривенники, и до того испестрила Грибоедовскими поговорками разговор, что буквально истаскала комедию до пресыщения.

Но пьеса выдержала и это испытание — и не только не опозлилась, но сделалась, как будто, дорожке для читателя, нашла себе в каждом из них покровителя, критика и друга, как басни Крылова, не утратившие своей литературной силы, перейдя из книги в живую речь...

Одни ценят в комедии картину московских нравов известной эпохи, создание живых типов и их искусную группировку. Вся пьеса представляется каким-то кругом знакомых читателю лиц, и притом таким определённым и замкнутым, как колода карт. Лица Фамусова, Молчалина, Скалозуба и другие врезались в память так же твёрдо, как короли, валеты и дамы в картах, и у всех сложилось более или менее согласное понятие о всех лицах, кроме одного, — Чацкого. Так все они начертаны верно и строго и так примелькались всем. Только о Чацком многие недоумевают: что он такое? Он как будто пятьдесят третья какая-то загадочная карта в колоде. Если было мало разногласия в понимании других лиц, то о Чацком, напротив, разноречия не кончились до сих пор и, может быть, не кончатся ещё долго.

Другие, отдавая справедливость картине нравов, верности типов, дорожат более эпиграмматической солью языка, живой сатирой — моралью, которою пьеса до сих пор, как неисчерпываемый колодец, снабжает всякого на каждый обиходный шаг жизни.

Но и те и другие ценители почти обходят молчанием самую «комедию», действие, и многие даже отказывают ей в условном сценическом движении.

Несмотря на то, всякий раз, однако, когда меняется персонал в ролях, и те и другие судьи идут в театр, и снова поднимаются оживлённые толки об исполнении той или другой роли и о самых ролях, как будто в новой пьесе.

Все эти разнообразные впечатления и на них основанная своя точка зрения у всех и у каждого служат лучшим определением пьесы, т. е. что комедия «Горе от ума» есть и картина нравов, и галерея живых типов, и вечно острая жгучая сатира, и вместе с тем и комедия и, скажем сами за себя — больше всего комедия — какая едва ли найдётся в других литературах, если приять совокупность всех прочих высказанных условий. Как картина, она, без сомнения, громадна. Полотно её захватывает длинный период русской жизни — от Екатерины до императора Ни-

какая. В группе двадцати лиц отразилась, как луч света в капле воды, вся прежняя Москва, её рисунок, тогдашний её дух, исторический момент и нравы. И это с такою художественною, объективною законченностью и определённостью, какая далась у нас только Пушкину и Гоголю.

В картине, где нет ни одного бледного пятна, ни одного постороннего, лишнего штриха и звука — зритель и читатель почувствуют себя и теперь, в нашу эпоху, среди живых людей. И общее и детали, всё это не сочинено, а так целиком взято из московских гостинных и перенесено в книгу и на сцену, со всей теплотой и со всем «особым отпечатком» Москвы, — от Фамусова до мелких штрихов, до князя Тугоуховского и до лакея Петрушки, без которых картина была бы не полна.

Однако для нас она ещё не вполне законченная историческая картина: мы не отодвинулись от эпохи на достаточное расстояние, чтоб между ею и нашим временем легла непроходимая бездна. Колорит не сгладился совсем; век не отделился от нашего, как отрезанный ломоть: мы кое-что оттуда унаследовали, хотя Фамусовы, Молчалины, Загорецкие и пр. видоизменились так, что не влезут уже в кожу Грибоедовских типов. Резкие черты отжили, конечно: никакой Фамусов не станет теперь приглашать в шуты и ставить в пример Максима Петровича, по крайней мере, так положительно и явно. Молчалин, даже перед горничной, втихомолку, не сознается теперь в тех заповедях, которые завещал ему отец; такой Скалозуб, такой Загорецкий невозможны даже в далёком захолустье. Но пока будет существовать стремление к почестям помимо заслуги, пока будут водиться мастера и охотники угождать и «награждать братья и весело пожить», пока сплетни, безделье, пустота будут господствовать, не как пороки, а как стихии общественной жизни,— до тех пор, конечно, будут мелькать и в современном обществе черты Фамусовых, Молчалиных и других, нужды нет, что с самой Москвы стёрся тот «особый отпечаток», которым гордился Фамусов.

Общечеловеческие образцы, конечно, остаются всегда, хотя и те превращаются в неузнаваемые от временных перемен типа, так что на смену старому художникам иногда приходится обновлять, по прошествии долгих периодов, являвшиеся уже когда-то в образах основные черты нравов и вообще людской природы, сближая их в новую плоть и кровь в духе своего времени. Тартюф, конечно, — вечный тип, Фальстаф — вечный характер, но и тот, и другой, и многие ещё знаменитые подобные им первообразы страстей, пороков и прочь, исчезая сами в тумане старины, почти утратили живой образ и обратились в идею, в условное понятие, в нарицательное имя порока, и для нас служат уже не живым уроком, а портретом исторической галереи.

Это особенно можно отнести к Грибоедовской комедии. В ней местный колорит слишком ярок и обозначение самых характерных так строго очерчено и обставлено такою реальностью деталей,

что общечел
ных положе
Как кар
была отчаст
на московск
Ленский, Ор
преданию. И
гредит прот
писалась ме

(говорит он)

а про своё в

U. T. H.:

говорит он Ф

Следовате
колорита: ст
какими-нибу
ство до степе
в темноту, а
нальному на
Но всё же
шают обрати
Эта будущно
Соль, эпи
когда не умир
живой русски
духа какого-н
смехом. Нель
будь другая,
речь. Проза и
кажется, чтоб
в оборот весь
ского ума и я
группа этих л
всё вместе, бу
венную комед
и в обширном
она и не могла
Оставя две
говорят за себ
т е. картину э
обратимся сна

что общечеловеческие черты едва выделяются из-под обществен-
ных положений, рангов, костюмов и т. п.

Как картина современных нравов комедия «Горе от ума»
была отчасти анахронизмом и тогда, когда в 30-х годах появилась
на московской сцене. Уже Щепкин, Мочалов, Лязова-Синицкая,
Ленский, Орлов и Сабуров играли не с натуры, а по сценическому
преданию. И тогда стали исчезать резкие штрихи. Сам Чацкий
гремил против «века минувшего», когда писалась комедия, а она
писалась между 1815 и 1820 годами.

Как посравнить да посмотреть

(говорит он)

Век нынешний и век *минувший*,
Свежо предание, а верится с трудом...

а про своё время выражается так:

Теперь вольнее всякий дышит...

или:

Бранил *ваш* век я беспощадно, —

говорит он Фамусову.

Следовательно, теперь остаётся только немного от местного
колорита: страсть к чинам, низкопоклонничество, пустота. Но с
какими-нибудь реформами чины могут отойти, низкопоклонниче-
ство до степени лакейства Молчалинского уже прячется и теперь
в темноту, а поэзия фрунта уступила место строгому и рацио-
нальному направлению в военном деле.

Но всё же ещё кое-какие живые следы есть, и они пока ме-
шают обратиться картине в законченный исторический барельеф.
Эта будущность пока ещё у неё далеко впереди.

Соль, эпиграмма, сатира, этот разговорный стих, кажется, ни-
когда не умрут, как и сам, рассыпанный в них, острый и едкий,
живой русский ум, который Грибоедов заключил, как волшебник
духа какого-нибудь в свой замок, и он рассыпается там злобным
смехом. Нельзя представить себе, чтоб могла явиться когда-ни-
будь другая, более естественная, простая, более взятая из жизни
речь. Проза и стих слились здесь во что-то нераздельное затем,
кажется, чтобы их легче было удержать в памяти и пустить опять
в оборот весь собранный автором ум, юмор, шутку и злость рус-
ского ума и языка. Этот язык так же дался автору, как далась
группа этих лиц, как дался главный смысл комедии, как далось
всё вместе, будто вылились разом и всё образовало необыкно-
венную комедию — и в тесном смысле, как сценическую пьесу,
и в обширном, как комедию жизни. Другим ничем, как комедией,
она и не могла бы быть.

Оставя две капитальные стороны пьесы, которые так явно
говорят за себя и потому имеют большинство почитателей, —
т. е. картину эпохи, с группой живых портретов, и соль языка, —
обратимся сначала к комедии как к сценической пьесе, потом

как к комедии вообще, к её общему смыслу, к главному разуму её в художественном и литературном значении, наконец, к тому и об исполнении её на сцене.

Давно привыкли говорить, что нет движения, т. е. нет действия в пьесе. Как нет движения? Есть — живое, непрерывное, от первого появления Чацкого на сцене до последнего его слова:

Карету мне, карету!

Это — тонкая, умная, изящная и страстная комедия, в тесном, техническом смысле, — верная в мелких психологических деталях, — но для зрителя почти неуловимая, потому что она замаскирована типичными лицами героев, гениальной рисовкой, колоритом места, эпохи, прелестью языка, всеми поэтическими силами, так обильно разлитыми в пьесе. Действие, т. е. собственно интрига в ней, перед этими капитальными сторонами кажется бледным, лишним, почти ненужным.

Только при разъезде, в сених зритель точно пробуждается при неожиданной катастрофе, разразившейся между главными лицами, и вдруг припоминает комедию-интригу. Но и это ненадолго. Перед ним уже вырастает громадный, настоящий смысл комедии.

Главная роль, конечно, — роль Чацкого, без которой не было бы комедии, а была бы, пожалуй, картина нравов...

Чацкого роль — роль страдательная: оно иначе и быть не может. Такова роль всех Чацких, хотя она в то же время и всегда победительная. Но они не знают о своей победе, они сеют только, а пожинают другие — а в этом их главное страдание, т. е. в безнадёжности успеха.

Конечно, Павла Афанасьевича Фамусова он не образумил, не отрезвил и не исправил. Если б у Фамусова при разъезде не было «укоряющих свидетелей», т. е. толпы лакеев и швейцара, — он легко справился бы с своим горем: дал бы головомоёк дочери, выдрал бы за ухо Лизу и поторопился бы свадьбой Софьи с Скалозубом. Но теперь нельзя: на утро, благодаря сцене с Чацким, вся Москва узнает — и пуще всех «княгиня Марья Алексевна». Покой его возмутится со всех сторон — и поневоле заставит кое о чём подумать, что ему в голову не приходило. Он едва ли даже кончит свою жизнь таким «тузом», как прежние. Толки, порождённые Чацким, не могли не всколыхнуть всего круга его родных и знакомых. Он уже и сам против горячих монологов Чацкого не находил оружия. Все слова Чацкого разнесутся, повторятся всюду и произведут свою бурю.

Молчалин после сцены в сених не может оставаться прежним Молчалиным. Маска сдёрнута, его узнали, и ему, как пойманному ворю, надо прятаться в угол. Горичевы, Загорецкий, княжны — все попали под град его выстрелов, и эти выстрелы не останутся бесследны. В этом, до сих пор согласном хоре иные голоса, ещё смелые вчера, смолкнут, или раздадутся другие и за, и против

Битва толпы
прежде, ка
у него ест
брат его о
тать. Одна
занимается
и он завяз
но послед
Москве и
своих личн
то брызнул
«милльон те
всего: от «у

Теперь,
зачем он по
ных вопрос
должать с
выше и важ

Да, тепе
ственных во
«камере и о
суде своём н
точки, забег
будем повто
в его горячи
мина об об
мест, от чин
«разбоем и п

Живучест
идей, блестя
истин еп нег
зари, или фа
курьеры неиз
ходу общест
физиономии

Роль и фи
обличитель л
«жизнь свобо
вести ему эта
призрак, пока
зумом, правдо

Перед увл
мечты, он тре
ленным отриц
тилова, и скаж

Он очень пе
товой програм

Битва только разгоралась. Чацкого авторитет известен был и прежде, как авторитет ума, остроумия, конечно, знаний и проч. У него есть уже и единомышленники. Скалозуб жалуется, что брат его оставил службу, не дождавшись чина, и стал книги читать. Одна из старух ропщет, что племянник её, князь Фёдор, занимается химией и ботаникой. Нужен был только взрыв, бой, и он завязался, упорный и горячий — в один день в одном доме, но последствия его, как мы выше сказали, отразились на всей Москве и России. Чацкий породил раскол, и если обманулся в своих личных целях, не нашёл «прелести встреч, живого участия», то брызнул сам на заглохшую почву живой водой, увези с собой «миллион терзаний», этот терновый венец Чацких — терзаний от всего: от «ума», а ещё более от «оскорблённого чувства».

Теперь, в наше время, конечно, сделали бы Чацкому упрёк, зачем он поставил своё «оскорблённое чувство» выше общественных вопросов, общего блага и т. д. и не остался в Москве продолжать свою роль бойца с ложью и предрассудками, роль — выше и важнее роли отвергнутого жениха?

Да, теперь! А в то время, для большинства, понятия об общественных вопросах были бы то же, что для Репетилова толки о «камере и о присяжных». Критика много погрешила тем, что в суде своём над знаменитыми покойниками сходила с исторической точки, забегая вперёд и поражала их современным оружием. Не будем повторять её ошибок — и не обвиним Чацкого за то, что в его горячих речах, обращённых к фамусовским гостям, нет помин об общем благе, когда уже и такой раскол от «исканий мест, от чинов», как «занятие науками и искусствами», считался «разбоем и пожаром».

Живучесть роли Чацкого состоит не в новизне неизвестных идей, блестящих ипотез, горячих и дерзких утопий, или даже истин en herbe; у него нет отвлечённостей. Провозвестники новой гари, или фанатики, или просто вестовщики — все эти передовые курьеры неизвестного будущего являются и — по естественному ходу общественного развития — должны являться, но их роли и физиономии до бесконечности разнообразны.

Роль и физиономия Чацких неизменна, Чацкий больше всего обличитель лжи и всего, что отжило, что заглушает новую жизнь, «жизнь свободную». Он знает, за что он воюет и что должна принести ему эта жизнь. Он не теряет земли из-под ног и не верит в призрак, пока он не облёкся в плоть и кровь, не осмыслился разумом, правдой, словом, не очеловечился.

Перед увлечением неизвестным идеалом, перед обольщением мечты, он трезво остановится, как остановился перед бессмысленным отрицанием «законов, совести и веры» в болтовне Репетилова, и скажет своё:

Послушай, ври, да знай же меру!

Он очень положителен в своих положениях и заявляет их в готовой программе, выработанной не им, а уже начатым веком. Он

не гонит с юношескою запальчивостью со сцены всего, что уцелело, что, по законам разума и справедливости, как по естественным законам в природе физической, осталось доживать свой срок, что может и должно быть терпимо. Он требует места и свободы своему веку: просит дела, но не хочет прислуживаться, и клеймит позором низкопоклонство и шутовство. Он требует «службы делу, а не лицам», не смешивать «веселья или дурачества с делом», как Молчалин, он тяготится среди пустой, праздной толпы «мучителей, зловещих старух, вздорных стариков», отказываясь преклоняться перед их авторитетом дряхлости, чиновлюбия и проч. Его возмущают безобразные проявления крепостного права, безумная роскошь и отвратительные нравы «разливанья в пирах и мотовстве» — явления умственной и нравственной слепоты и растления.

Его идеал «свободной жизни» определен: это — свобода от всех этих исчисленных цепей рабства, которыми оковано общество, а потом свобода — «вперить в науки ум, алчущий познаний», или беспрепятственно предаваться «искусствам творческим, высоким и прекрасным», — свобода «служить или не служить», «жить в деревне или путешествовать», не сывая за то ни разбойником, ни зажигателем, — и ряд дальнейших очередных подобных шагов к свободе — от несвободы.

И Фамусов, и другие знают это и, конечно, про себя все согласны с ним, но борьба за существование мешает им уступить.

От страха за себя, за своё безмятежно-праздное существование Фамусов затыкает уши и клеветает на Чацкого, когда тот заявляет ему свою скромную программу «свободной жизни». Между прочим —

Кто путешествует, в деревне кто живёт, — говорит он, а тот с ужасом возражает:

Да он властей не признаёт!

Итак, лжёт и он, потому что ему нечего сказать, и лжёт всё то, что жило ложью в прошлом. Старая правда никогда не смутится перед новой — она возьмёт это новое, правдивое и разумное бремя на свои плечи. Только больное, ненужное бонется ступить очередной шаг вперёд.

Чацкий сломлен количеством старой силы, нанеся ей в свою очередь смертельный удар качеством силы свежей.

Он вечный обличитель лжи, запрятавшейся в поговорку: «один в поле не воин». Нет, воин, если он Чацкий, и притом победитель, но передовой воин, застрельщик и — всегда жертва.

Чацкий неизбежен при каждой смене одного века другим. Положение Чацких на общественной лестнице разнообразно, но роль и участь всё одна, от крупных государственных и политических личностей, управляющих судьбами масс, до скромной доли в тесном кругу.

Всемирных. У каждого
самолубов. Очевидно
«миллион» его. Очевидно
не для себя. Кроме
одного века. Повторяя
лей уживаться
лицу в теле
шим, бол
ции и Ку
Каждого
кого, — и
дела, — бу
не — ни гр
ных мотив
с одной ст
ной жизни
Вот от
когда-нибу
И литерат
Грибоедов
смены пок
довых лич
долговечн
стве, или с
вантесовск
и являются
В честн
вечно слы
слова, то с
От этой му
никогда.
И в это
привести Ч
лений — в б
вый порядо
труда — гро
О многих из
знали, а ин
Вспомним
а возьмём о
мер Белинск
его все. При
звучат те же

Всем им управляет одно: раздражение при различных мотивах. У кого, как у Грибоедовского Чацкого, любовь, у других самолюбие или славолюбие — но всем им достаётся в удел свой «миллион терзаний», и никакая высота положения не спасает от него. Очень не многим, просветлённым Чацкий даёт утешительное сознание, что они не даром бились — хотя и бескорыстно, но не для себя и не за себя, и для будущего, и за всех, и успели.

Кроме крупных и видных личностей, при резких переходах из одного века в другой Чацкие живут и не переводятся в обществе, повторяясь на каждом шагу, в каждом доме, где под одной кровлей ужинается старое с молодым, где два века сходятся лицом к лицу в тесноте семейств, — всё длится борьба свежего с отжившим, больного с здоровым, и все бьются в поединках, как Гораци и Курнаци, — миниатюрные Фамусовы и Чацкие.

Каждое дело, требующее обновления, вызывает тень Чацкого, — и кто бы ни были деятели, около какого бы человеческого дела, — будет ли то новая идея, шаг в науке, в политике, в войне — ни группировались люди — им никуда не уйти от двух главных мотивов борьбы: от совета «учиться, на старших глядя», с одной стороны, и от жажды стремиться от рутины «к свободной жизни» вперёд и вперёд — с другой.

Вот отчего не состарился до сих пор и едва ли состареется когда-нибудь Грибоедовский Чацкий, а с ним и вся комедия. И литература не выбьется из магического круга, начертанного Грибоедовым, как только художник коснётся борьбы понятий, смены поколений. Он или даст тип крайних, незрелых передовых личностей, едва намекающих на будущее и потому недолговечных, каких мы уже пережили немало в жизни и в искусстве, или создаст видоизменённый образ Чацкого, как после Сервантесовского Дон-Кихота и Шекспировского Гамлета являлись и являются бесконечные их подобия.

В честных, горячих речах этих позднейших Чацких будут вечно слышаться Грибоедовские мотивы и слова, — и если не слова, то смысл и тон раздражительных монологов его Чацкого. От этой музыки здоровые герои в борьбе со старым не уйдут никогда.

И в этом бессмертне стихов Грибоедова! Много можно бы привести Чацких — являвшихся на очередной смене эпох и поколений — в борьбах за идею, за дело, за правду, за успех, за новый порядок, на всех ступенях, во всех слоях русской жизни и труда — громких великих дел и скромных кабинетных подвигов. О многих из них хранится свежее предание, других мы видели и знали, а иные ещё продолжают борьбу. Обратимся к литературе. Вспомним не повесть, не комедию, не художественное явление, а возьмём одного из позднейших бойцов с старым веком, например Белинского. Многие из нас знали его лично, а теперь знают его все. Прислушайтесь к его горячим импровизациям — и в них звучат те же мотивы, тот же тон, как у Грибоедовского Чацкого.

И так же он умер, уничтоженный «миллионом тоски», лихорадкой ожидания и не дождавшийся исполнения желаний, которые теперь — уже не грёзы больше...

Наконец — последнее замечание о Чацком. Делает Грибоедову о том, что будто Чацкий не облечён так естественно, как другие лица комедии, в плоть и кровь, что в нём мало жизненности. Иные даже говорят, что это не человек, а абстракт, идея, ходячая мораль комедии, а не такое полное и законченное создание, как например, фигура Онегина, других, выхваченных из жизни типов.

Это несправедливо. Ставить рядом с Онегиным Чацкого нельзя: строгая объективность драматической формы не допускает той широты и полноты кисти, как эпическая. Если другие лица комедии являются строже и резче очерченными, то это они обязаны пошлости и мелочи своих натур, легко исчерпываемых художником в лёгких очерках. Тогда как в личности Чацкого, богатой и разносторонней, могла быть в комедии рельефно взята одна господствующая сторона, — а Грибоедов успел наметить и на многие другие...

Нет, Чацкий — по нашему мнению — из всех наиболее живая личность, и как человек, и как исполнитель указанной ему Грибоедовым роли. Но повторяем, натура его сильнее и глубже других лиц, и потому не могла быть исчерпана в комедии.

Ба
Щ
Г
С
Пр
Ра
Хо
На
О
То
Ко
Т
П
Тир
А
Вос
Уз
Вез

впер
кина
убий
на о
люб
П

* 1799-1837 *

О да

(1817)

Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная Власть
В сгущённой мгле
 предрассуждений
Воссела — рабства грозный
Гений
И Славы роковая страсть.

Лишь там над царскою главою
Народов не легло страданье,
Где крепко с Вольностью святой
Законов мощных сочетанье;
Где всем простерт их твёрдый
Щит,
Где, сжатый верными руками,
Граждан над равными главами
Их меч без выбора скользит,

² *Цитёры царица* — богиня Венера, в честь которой был сооружён храм на острове Цитера. Смысл этого двустишия: поэт отказывается воспевать любовь.

⁸ *Возвышенный галл* — Андрей Шенье (1762—1794), французский поэт. Пушкин посвятил ему стихотворение «Андрей Шенье». *Галлы* — французы.

и преступленье свысока
Сражает праведным размахом;
Где неподкупна их рука
Ни алчной скупостью,
ни страхом.

Владыки! Вам венец и трон
Даёт Закон — а не Природа —
Стоите выше вы Народа,
Но вечный выше вас Закон.

И горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,
Где иль Народу — иль царям
Законом властвовать
возможно!

Тебя в свидетели зову,
О мученик ошибок славных,
За предков в шуме бурь
недавних
Сложивший царскую главу.

Восходит к смерти Людовик¹
В виду безмолвного потомства.
Главой развенчанной приник
К кровавой плахе вероломства.
Молчит Закон — Народ молчит,
Падёт преступная секира...
И се — злодейская порфира²
На галлах скованных лежит.

Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.

Читают на твоём челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрёк ты богу на земле.

Когда на мрачную Неву
Звезда полуночи сверкает,
И беззаботную главу
Спокойный сон отягощает,
Глядит задумчивый певец
На грозно спящий средь тумана
Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный
дворец³ —

И слышит Клии⁴ страшный
глас
За сими страшными стенами,
Калигулы⁵ последний час
Он видит живо пред очами,
Он видит — в лентах и звездах,
Вином и Злобой упоенны,
Идут убийцы потаенны,
На лицах дерзость, в сердце
страх.

Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъёмный,
Врата отверсты в тьме ночной
Рукой предательства наёмной...
О стыд! о ужас наших дней!
Как звери, вторглись
янычары!..⁶

Падут бесславные удары...
Погиб увенчанный злодей.

¹ Людовик XVI — французский король, казнённый в 1793 г. по приговору Конвента.

² Злодейская порфира — «Наполеонова порфира» (по объяснению самого поэта). Порфира — парадная царская одежда. Пушкин имел в виду тиранническую власть Наполеона.

³ Забвенью брошенный дворец — Михайловский замок, где был убит Павел I в 1801 г.

⁴ Клии — муза истории и эпоса (в греческой мифологии).

⁵ Калигула — римский император (37—41 гг. н. э.), известный своей жестокостью и бессмысленным деспотизмом.

⁶ Янычары — турецкая военная каста, грабящая население. Янычары охраняли двор султана, вмешивались в дела правительства, участвовали в дворцовых переворотах.

И днесь учитесь, о цари:
Ни наказанья, ни награды,
Ни кров темниц, ни алтари —
Не верные для вас ограды.

Склонитесь первые главой
Под сень надежную закона,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

К ЧААДАЕВУ¹
(1818)

Любви, надежды, ^{тихой} гордой славы
Не долго ^{тешил} нас обман;
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит ещё желанье:
Под гнётом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждём с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждёт любовник молодой

Минуту верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдёт она,
Заря пленительного счастья,
Россия вспрянет от сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

ДЕРЕВНЯ²
(1819)

Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
Где льётся дней моих невидимый поток
На лоне счастья и забвенья!
Я твой: я променял порочный двор царей,
Роскошные пиры, забавы, заблужденья,
На мирный шум дубрав, на тишину полей,
На праздность вольную, подругу размышленья.

Я твой — люблю сей тёмный сад
С его прохладой и цветами,
Сей луг, уставленный душистыми скирдами,
Где светлые ручьи в кустарниках шумят;
Везде передо мной подвижные картины:
Здесь вижу двух озёр лазурные равнины,
Где парус рыбака белеет иногда,
За ними ряд холмов и нивы полосаты,
Вдали рассыпанные хаты,
На влажных берегах бродящие стада,
Овины дымные и мельницы крылаты;
Везде следы довольства и труда...

¹ Распространялось в списках. В печати появилось в 1903 г.

² Распространялось в списках. Полностью было напечатано в 1870 г.

Я здесь, от суетных оков освобожденный,
Учуся в истине блаженство находить,
Свободною душой закон боготворить,
Роптанью не внимать толпы непросвещенной,
Участьем отвечать застенчивой мольбе

И не завидовать судьбе
Злодея, иль глупца — в величии неправом.

Оракулы веков¹, здесь вопрошаю вас!

В уединеньи величавом
Слышнее ваш отрадный глас;
Он гонит лени сон угрюмый,
К трудам рождает жар во мне,
И ваши творческие думы
В душевной зреют глубине.

Но мысль ужасная здесь душу омрачает:

Среди цветущих нив и гор
Друг человечества² печально замечает
Везде невежества губительный позор.

Не видя слёз, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца.

Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
Надежд и склонности в душе питать не смея,

Здесь девы юные цветут
Для прихоти развратного злодея;
Опора милая стареющих отцов,
Младые сыновья, товарищи трудов,
Из хижины родной идут собой умножить
Дворовые толпы измученных рабов.
О, если б голос мой умел сердца тревожить!
Почто в груди моей горит бесплодный жар
И не дан мне в удел витийства грозный дар?
Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя³,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли, наконец, прекрасная заря?

¹ Оракулы веков — мыслители, поэты, которых Пушкин читал и изучал, формируя своё мировоззрение.

² «Друзьями человечества» называли себя в России члены тайных обществ, будущие декабристы.

³ В одном из списков «Деревни» при жизни Пушкина эта строка читалась так: «И рабство падшее и падшего царя».

(1820)

Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края:
С волненьем и тоской туда стремлюся я,
Воспоминая упоенный...
И чувствую: в очах родились слёзы вновь;
Душа кипит и замирает;
Мечта знакомая вокруг меня летает;
Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
И всё, чем я страдал, и всё, что сердцу мило,
Желаний и надежд томительный обман...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Лети, корабль, неси меня к пределам дальным
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей,
Страны, где пламенем страстей
Впервые чувства разгорались,
Где музы нежные мне тайно улыбались,
Где рано в бурях отцвела
Моя потерянная младость,
Где легкокрылая мне изменила радость
И сердце хладное страданью предала.
Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отчески края;
Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья;
И вы, наперсницы порочных заблуждений,
Которым без любви я жертвовал собой,
Покоем, славою, свободой и душой,
И вы забыты мной, изменницы молодые,
Подруги тайные моей весны златые,
И вы забыты мной... Но прежних сердца ран,
Глубоких ран любви, ничто не излечило...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной угрюмый океан...

(1820)

Редет облаков летучая гряда.
Звезда печальная, вечерняя звезда!
Твой луч осеребрил увядшие равнины,
И дремлющий залив, и чёрных скал вершины.

Люблю твой слабый свет в небесной вышине;
Он думы разбудил уснувшие во мне:
Я помню твой восход, знакомое светило,
Над мирною страной, где всё для сердца мило.
Где стройны тополи в долинах вознеслись,
Где дремлет нежный мирт и тёмный кипарис,
И сладостно шумят полуденные волны.
Там некогда в горах, сердечной думы полный,
Над морем я влачил задумчивую лень,
Когда на хижины сходила ночи тень,
И дева юная во мгле тебя искала,
И именем своим подругам называла.

К МОРЮ

(1824)

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.

Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой шум
призывный
Услышал я в последний раз.

Моей души предел желанный!
Как часто по берегам твоим
Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим!

Как я любил твои отзывы,
Глухие звуки, бездны глас,
И тишину в вечерний час,
И своенравные порывы!

Смиранный парус рыбаков,
Твоею прихотью хранимый,
Скользит отважно средь зыбей:
Но ты выиграл неодолимый,
И стая тонет кораблей.

Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный
брег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтический побег.

Ты ждал, ты звал... я был
окован;
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я.

О чём жалеть? Куда бы ныне
Я путь беспечный устремил?
Один предмет в твоей пустыне
Мою бы душу поразил.

Одна скала, гробница славы...¹
Там погружались в хладный
сон

Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон.

Там он почил среди мучений,
И вслед за ним, как бури шум,

Другой
Другой

Исчез, о
Оставя
Шуми, в
Он был,

Твой обр

Он духом
Как ты, в

Как ты, в

Я помню
Передо м
Как мимо
Как гений

В томлень

В тревогах
Звучал мне

И снились

Шли годы.

Рассеял пре

Что смолкну
Раздайтесь,

Да здравству
И юные жён

¹ Байрон, у
тельной борьбы
² Здесь А.
ре» господствова
реакции.

¹ Остров св. Елены, где в 1821 г. в ссылке умер Наполеон.

Другой от нас умчался гений,¹ / Мир опустел... Теперь куда же
Другой властитель наших / Меня б ты вынес, океан?
дум¹. Судьба людей повсюду та же:

Исчез, оплаканный свободой, / Где благо, там уже на страже
Оставляя миру свой венец. / Иль просвещение², иль тиран.

Шуми, взволнуйся непогодой: / Прощай же, море! Не забуду
Он был, о море, твой певец. / Твое торжественной красоты,
Твой образ был на нём / И долго, долго слышать буду
означен. / Твой гул в вечерние часы.

Он духом создан был твоим: / В леса, в пустыни молчаливы
Как ты, могущ, глубок / Перенесу, тобою полн,
и мрачен, / Твои скалы, твои заливы,
Как ты, ничем не укротим. / И блеск, и тень и говор волн.

К А. П. КЕРН

(1825)

Я помню чудное мгновенье: / И я забыл твой голос нежный,
Передо мной явилась ты, / Твои небесные черты.
Как мимолётное виденье, / В глуши, во мраке заточенья
Как гений чистой красоты. / Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья
Без слёз, без жизни, без любви.

В томленьях грусти / Душе настало пробужденье:
безнадежной, / И вот опять явилась ты,
В тревогах шумной суеты / Как мимолётное виденье,
Звучал мне долго голос / Как гений чистой красоты.
нежный,
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв / И сердце бьётся в упоенье,
мятежный / И для него воскресли вновь
Рассеял прежние мечты, / И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слёзы, и любовь.

ВАКХИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ

(1825)

Что смолкнул веселия глас? / Полнее стакан наливайте!
Раздайтесь, вакхальны / На звонкое дно
припевы! / В густое вино
Да здравствуют нежные девы / Заветные кольца бросайте!
И юные жёны, любившие нас!

¹ Байрон, умерший в 1824 г. в Греции, где он был участником освободительной борьбы греческого народа.

² Здесь А. С. Пушкин иронически говорит о «просвещении» и «культуре» господствовавшего класса дворянства и буржуазии в эпоху европейской реакции.

Подыдем стаканы, содвинем их

разом!

Да здравствуют музы,

да здравствует разум!

Ты, солнце святое, гори!

Как эта лампада бледнеет

Пред ясным восходом зари,

Так ложная мудрость

мерцает и тлеет

Пред солнцем бессмертным

Да здравствует солнце, да

скроется тьма!

19 ОКТЯБРЯ 1825 г.

Роняет лес багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле,
Проглянет день, как будто поневоле,
И скроется за край окружных гор.
Пылай, камин, в моей пустынной келье;
А ты, вино, осенней стужи друг,
Пролей мне в грудь отрадное похмелье,
Минутное забвенье горьких мук.

Печален я: со мною друга нет,
С кем долгую запил бы я разлуку,
Кому бы мог пожать от сердца руку
И пожелать весёлых много лет.
Я пью один: вотще воображенье
Вокруг меня товарищей зовёт;
Знакомое не слышно приближенье,
И милого душа моя не ждёт.

Я пью один, и на брегах Невы
Меня друзья сегодня именуют...¹
Но многие ль и там из вас пируют?
Ещё кого недосчитались вы?
Кто изменил пленительной привычке?
Кого от вас увлék холодный свет?
Чей глас умолк на братской перекличке?
Кто не пришёл? Кого меж вами нет?

Он не пришёл, кудрявый наш певец²,
С огнём в очах, с гитарой сладкогласной:
Под миртами Италии прекрасной
Он тихо спит, и дружеский резец
Не начертал над русскою могилой

¹ День открытия Царскосельского лицея — 19 октября 1811 г. — лицеисты первого, пушкинского выпуска праздновали ежегодно, собираясь в Петербурге.

² Н. А. Корсаков, товарищ Пушкина по Лицею, умер во Флоренции 25 сентября 1820 г.

¹ 5-я и 6-я
Лицея отпра-
влялись в 1820
Ф. П. Врангел-
я в проща-
ным, говори-

Слов несколько на языке родном,
Чтоб некогда нашёл привет унылой
Сын севера, бродя в краю чужом.

Сидишь ли ты в кругу своих друзей,
Чужих небес любовник беспокойный?
Иль снова ты проходишь тропик знойный
И вечный лёд полуночных морей?
Счастливый путь!.. С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О волн и бурь любимое дитя!¹

Ты сохранил в блуждающей судьбе
Прекрасных лет первоначальны нравы:
Лицейский шум, лицейские забавы
Средь бурных волн мечталися тебе;
Ты простирали из-за моря нам руку,
Ты нас одних в молодой душе носил
И повторял: на долгую разлуку
Нас тайный рок, быть может, осудил!»²

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастье куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

Из края в край преследуем грозой,
Запутанный в сетях судьбы суровой,
Я с трепетом на лоно дружбы новой,
Устав, приник ласкающей главой...
С мольбой моей печальной и мятежной,
С доверчивой надеждой первых лет,
Друзьям иным душой преданся нежной;
Но горек был небратский их привет.
И ныне здесь, в забытой сей глуши,
В обители пустынных выюг и хлада,

¹ 5-я и 6-я строфы относятся к Ф. Ф. Матюшкину, который по окончании Лицея отправился в кругосветное плавание, потом поступил в Балтийский флот, а в 1820—1824 гг. участвовал, под руководством начальника экспедиции Ф. П. Врангеля, в описании северных берегов Восточной Сибири.

² В прощальной песне лицейстов, сочинённой А. А. Дельвигом, между прочим, говорилось:

Судьба на вечную разлуку,
Быть может, здесь сроднила нас!

Мне сладкая готовилась отрада:
Тронх из вас, друзей моей души,
Здесь обнял я. Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его Лицея превратил¹.

Ты, Горчаков, счастливец с первых дней,
Хвала тебе — фортуны блеск холодный
Не изменил души твоей свободной:
Всё тот же ты для чести и друзей.
Нам разный путь судьбой назначен строгой;
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись,
Но невзначай просёлочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись².

Когда постиг меня судьбины гнев,
Для всех чужой, как сирота бездомный,
Под бурею главой поник я томной,
И ждал тебя, вещун пермесских дев³,
И ты пришёл, сын лени вдохновенный,
О Дельвиг мой; твой голос пробудил
Сердечный жар, так долго усыпленный,
И бодро я судьбу благословил.

С младенчества дух песен в нас горел,
И дивное волненье мы познали;
С младенчества две музы к нам летали,
И сладок был их лаской наш удел;
Но я любил уже рукоплесканья,
Ты, гордый, пел для муз и для души;
Свой дар, как жизнь, я тратил без вниманья,
Ты гений свой воспитывал в тиши.

Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво:
Но юность нам советует лукаво,
И шумные нас радуют мечты...
Опомнимся, но поздно! и уныло

¹ И. И. Пущин, близкий друг Пушкина, посетил опального поэта в Михайловском 11 января 1825 г.

² А. М. Горчакова Пушкин видел осенью 1825 г. в псковском имении А. А. Горчакова и прочёл ему несколько отрывков из трагедии «Борис Годунов».

³ То есть поэт. *Пермес* — ручей, бегущий с горы Геликон, где жили, по верованиям греков, музы — «пермесские девы». *Вещун* — вещий, пророк, как нередко Пушкин называл поэта. А. А. Дельвиг писал стихи ещё в Лицее.

Вил
кину «брат
Пушкину.
воду проч
был по воз
? В ру
фессор Ку

Глядим назад, следов не видя там.
Скажи, Вильгельм, не то ль и с нами было,
Мой брат родной по музе, по судьбам? ¹

Пора, пора! душевных наших мук
Не стоит мир; оставим заблужденья!
Сокроем жизнь под сень уединенья!
Я жду тебя, мой запоздалый друг, —
Приди; огнём волшебного рассказа
Сердечные преданья оживи;
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви.

Пора и мне... пируйте, о друзья!
Предчувствую отрадное свиданье;
Запомните ж поэта предсказанье:
Промчится год, и с вами снова я,
Исполнится завет моих мечтаний;
Промчится год, и я явлюся к вам!
О, сколько слёз и сколько восклицаний,
И сколько чаш, подъятых к небесам!

И первую полней, друзья, полней!
И всю до дна в честь нашего союза!
Благослови, ликующая муза,
Благослови: да здравствует Лицей!
Наставникам, хранившим юность нашу,
Всем честию, и мёртвым и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим ².

Полней, полней! и сердцем возгоря,
Опять до дна, до капли выпивайте!
Но за кого? о други, угадайте...
Ура, наш царь! так! выпьем за царя.

¹ Вильгельм Кюхельбекер, лицейский друг Пушкина. Как поэт он Пушкину «брат родной по музе»; по «судьбам» — родной пострадавшему от царя Пушкину, так как Кюхельбекер вызвал недовольство царских властей по поводу прочитанных им в Париже лекций по русской литературе и вынужден был по возвращении в Россию покинуть Петербург.

² В рукописи есть отрывок, где из лицейских учителей особо выделен профессор Куницын:

Куницу дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена.

ПРОРОК

(1826)

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутьи мне явился;
Перстами лёгкими как сон
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, —
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней¹ лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,

И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею² кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угля, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь,
и внемли,
Исполнись волею моею,
И, обходя моря и земли,
Глаголом³ жги сердца людей».

АРИОН⁴

(1827)

Нас было много на челне;
Иные парус натягали,
Другие дружно упирали
Вглубь мощны вёсла. В тишине
На руль склонясь, наш
кормщик умный
В молчаньи правил грузный
чёлн;
А я — беспечной веры полн,

Пловцам я пел... Вдруг лоно
волн
Измял с налёту вихорь
шумный!..
Погиб и кормщик и пловец! —
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

¹ Дольний — от слов дол, долина.

² Десница — правая рука.

³ Глагол — слово, речь.

⁴ Арион (VII—VI вв. до н. э.) — древнегреческий поэт.

Древние греки приписывали Ариону до 2000 стихов, но до нас из них ничего не дошло. О жизни Ариона сложилось много легенд. Наиболее известен рассказ о чудесном спасении его на дельфине от морских пиратов.

Пушкин воспользовался этим сказанием, чтобы образно представить своё отношение к декабристам, мысль о которых проступает у Пушкина в 1826—1828 гг. то в письмах («Повешенные повешены, — писал он Вяземскому в августе 1826 г., — но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна...»), то в отдельных произведениях. (например послание «В Сибирь»), то в рисунках (после черновых строф 5-й главы «Онегина» в рукописи нарисованы вал и карета, на валу виселица и на ней пять повешенных, а сбоку начата фраза: «И я бы мог...»), то в пометках (например: «у.о.с. Р.П.М.К.Б.24», что следует читать: услышал о смерти Рылеева, Пестеля, Муравьёва, Каховского, Бестужева 24 июля 1826 г.).

АНЧАР¹

(1828)

В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит, один во всей вселенной.

Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила,
И зелень мёртвую ветвей,
И корни ядом напоила.

Яд каплет сквозь его кору,
К полудню растопясь от зною,
И застывает ввечеру
Густой, прозрачною смолою.

К нему и птица не летит,
И тигр нейдёт: лишь вихорь
чёрный

На древо смерти набежит —
И мчится прочь уже
тлетворный.

И если туча оросит,
Блуждая, лист его дремучий,

С его ветвей уж ядовит
Стекает дождь в песок

горючий.
Но человека человек
Послал к анчару властным

взглядом,
И тот послушно в путь потек,
И к утру возвратился с ядом.

Принёс он смертную смолу
Да ветвь с увядшими листьями,
И пот по бледному челу
Струился хладными ручьями;

Принёс — и ослабел и лёг
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

А князь тем ядом наплат
Свои послушливые стрелы,
И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы.

(1829)

Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный
храм,
Сижусь меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам.

Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдём под вечны
своды —

И чей-нибудь уж близок час.

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживёт мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю:
Мне время тлеть, тебе цвести.

¹ Древо яда.

День каждый, каждую минуту
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.

И где мне смерть пошлёт
судьбина?

В бою ли, в странствии,
в волнах?

Или соседняя долина
Мой примет охладельный прах?

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне всё б хотелось почивать.

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

Ревёт л
Трубит
Поёт ли

Свой от
Р

Перед г
Стою с
Всё спит
Во мраке
Столбов
И их зна

Под ними
Сей идол
Маститый

Смиритель
Сей остал
Екатери

В твоём гр
Он русски
Он нам тв
Когда на

Окт
Пос
Дох
Жу
Но
В о
И с
И б

Ревёт ли зверь в лесу глухом,
Трубят ли рог, гремит ли гром,
Поёт ли дева за холмом, —
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.

Ты внимлешь грохоту громов,
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов
И шлешь ответ;
Тебе ж нет отзыва... Таков
И ты, поэт!

(1831)

Перед гробницею святой
Стою с поникшею главой...
Всё спит кругом; одни лампы
Во мраке храма золотят
Столбов гранитные громады
И их знамён нависший ряд.

Под ними спит сей властелин,
Сей идол северных дружин,
Маститый страж страны
державной,

Смиритель всех её врагов,
Сей остальной из стаи славной
Екатерининских орлов.

В твоём гробу восторг живёт!
Он русский глас нам издаёт;
Он нам твердит о той године,
Когда народной веры глас

Воззвал к святой твоей седине:
«Иди, спасай!» Ты встал —
и спас.

Внемли ж и днесь наш верный
глас

Встань и спасай царя и нас;
О старец грозный, на мгновенье
Явись у двери гробовой,
Явись: вдохни восторг и рвенье
Полкам, оставленным тобой.

Явись и дланию своей
Нам укажи в толпе вождей,
Кто твой наследник, твой
избранный...

Но храм — в молчанье
погружён,
И тих твоей могилы бранной
Невозмутимый, вечный сон.

ОСЕНЬ

(1833)

(Отрывок)

Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?
Державин.

I

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает —
Журча ещё бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы. —

Теперь моя пора: я не люблю весны;
 Скучна мне оттепель; вонь, грязь — весной я болен;
 Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены.
 Суровою зимой я более доволен,
 Люблю её снега; в присутствии луны
 Как лёгкий бег саней с подругой быстр и волен,
 Когда, под сободем, согрета и свежа,
 Она вам руку жмёт, пылая и дрожа.

3

Как весело, обув железом острым ноги,
 Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек!
 А зимних праздников блестящие тревоги!..
 Но надо знать и честь; полгода снег да снег,
 Ведь это наконец и жителю берлоги,
 Медведю, надоест.— Нельзя же целый век
 Кататься нам в санях с Армидами младыми
 Иль киснуть у печей за стёклами двойными.

4

Ох, лето красное! любил бы я тебя,
 Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.
 Ты, все душевные способности губя,
 Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи.
 Лишь как бы напоить да освежить себя,
 Иной в нас мысли нет — и жаль зимы-старухи.
 И, проводив её блинами и вином,
 Поминки ей творим мороженым и льдом.

5

Дни поздней осени бранят обыкновенно,
 Но мне она мила, читатель дорогой,
 Красою тихою, блистающей смиренно, —
 Так нелюбимое дитя в семье родной
 К себе меня влечёт. Сказать вам откровенно,
 Из годовых времён я рад лишь ей одной.
 В ней много доброго; любовник не тщеславный,
 Я нечто в ней нашёл мечтою своенравной.

6

Как это объяснить? мне нравится она,
 Как, вероятно, вам чахоточная дева
 Порою нравится. — На смерть осуждена,
 Бедняжка клонится без ропота, без гнева,
 Улыбка на устах увянувших видна; —

Могильной пропасти она не слышит зева;
Играет на лице ещё багровый цвет.
Она жива ещё сегодня, — завтра нет.

7

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса —
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч — и первые морозы,
И отдалённые седой зимы угрозы.

8

И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русский холод;
К привычкам бытия вновь чувствую любовь:
Чредой слетает сон, чредой находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят — я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн — таков мой организм
(Извольте мне простить ненужный прозаизм).

9

Ведут ко мне коня; в раздолии открытом,
Махая гривой, он всадника несёт,
И звонко под его блистающим копытом
Звенит промёрзлый дол и трескается лёд.
Но гаснет краткий день — и в камельке забытом
Огонь опять горит — то яркий свет лиёт,
То тлеет медленно — а я пред ним читаю,
Иль думы долгие в душе моей питаю.

10

И забываю мир — и в сладкой тишине
Я сладко усыплён моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем —
И тут ко мне идёт незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей....

11

И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы лёгкие навстречу им бегут,

И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны:
Громада двинулась и рассекает волны. —

12

Плывёт. Куда ж нам плыть?..

.
.

(1835)

...Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провёл
Изгнанником два года незаметных. —
Уж десять лет ушло с тех пор — и много
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону,
Переменился я — но здесь опять
Минувшее меня объемлет живо,
И, кажется, вечер ещё бродил
Я в этих рощах.

Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет — уж за стеною
Не слышу я шагов её тяжёлых,
Ни кропотливого её дозора.
Вот холм лесистый, над которым часто
Я сиживал недвижим — и глядел
На озеро — воспоминаю с грустью
Иные берега, иные волны...
Меж нив золотых и пажитей зелёных
Оно, синее, стелется широко:
Через его неведомые воды
Плывёт рыбак и тянет за собою
Убогий невод. По берегам отлогим
Рассеяны деревни — там за ними
Скривилась мельница — насилу крылья
Ворочая при ветре...

На границе
Владений дедовских, на месте том,
Где в гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоят — одна поодаль, две другие

1 Вплоть
цензуры В.
чатались Н.
лонну, воздв
«... народу я
искажённый т
(в Москве на
2 Ехегі п
8 гг. до н. э.)
3 Алексан
27 метров (на

Друг к дружке близко, — здесь, когда их мимо
Я проезжал верхом при свете лунном,
Знакомым шумом шорох их вершин
Меня приветствовал. По той дороге
Теперь поехал я и пред собою
Увидел их опять. Они всё те же,
Всё тот же их знакомый уху шорох, —
Но около корней их устарелых
(Где некогда всё было пусто, голо)
Теперь молодая роща разрослась,
Зелёная семья; кусты теснятся
Под сенью их, как дети. А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ,
Как старый холостяк, и вокруг него
По-прежнему всё пусто.

Здравствуй, племя,
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастёшь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. — Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Весёлых и приятных мыслей полон,
Пройдёт он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомнит.

ПАМЯТНИК¹

(1836)

Exegi monumentum²

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастёт народная тропа,
Вознёсся выше он главою непокорной
Александрийского столпа³.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживёт и тленья убежит —

¹ Вплоть до 1887 г. текст печатался с искажениями, внесёнными ради цензуры В. А. Жуковским; вместо Александрийского столпа печаталось Наполеонова столпа (с намёком на Вандомскую колонну, воздвигнутую в Париже в честь Наполеона в 1836 г.); 4-я строфа: «... народу я любезен» — «что прелестью живой стихов я был полезен». Этот искажённый текст 4-й строфы был выбит и на памятнике Пушкину в 1881 г. (в Москве на площади Пушкина). В 1937 г. восстановлен подлинный текст.
² *Exegi monumentum* — эпитафия из оды римского поэта Горация (65—8 гг. до н. э.), начинавшейся теми же словами: «Я воздвиг памятник».
³ Александрийский столп — колонна в честь Александра I, высотой в 27 метров (на Дворцовой площади Петербурга).

И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой,
И назовёт меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

Велению божью, о Муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца.

ЦЫГАНЫ

(1825)

Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют.
Они сегодня над рекой
В шатрах изодранных ночуют.
Как вольность, весел их ночлег
И мирный сон под небесами;
Между колёсами телег,
Полузавешанных коврами,
Горит огонь; семья кругом
Готовит ужин; в чистом поле
Пасутся кони; за шатром
Ручной медведь лежит на воле;
Всё живо посреди степей:
Заботы мирные семей,
Готовых с утром в путь

недальний,

И песни жён, и крик детей
И звон походной наковальни.
Но вот на табор кочевой
Нисходит сонное молчанье,
И слышно в тишине степной
Лишь лай собак да коней

ржанье.

Огни везде погашены.
Спокойно всё; луна сияет
Одна с небесной вышины
И тихий табор озаряет.

В шатре одном старик не спит;
Он перед углями сидит,
Согретый их последним жаром,
И в поле дальное глядит,
Ночным подёрнутое паром.
Его молоденькая дочь
Пошла гулять в пустынном

поле.

Она привыкла к резвой воле,
Она придёт; но вот уж ночь,
И скоро месяц уж покинет
Небес далёких облака —
Земфиры нет как нет: и стынет
Убогий ужин старика.

Но вот она; за нею следом
По степи юноша спешит;
Цыгану вовсе он неведом.
«Отец мой, — дева говорит, —
Веду я гостя; за курганом
Его в пустыне я нашла
И в табор на ночь зазвала.
Он хочет быть, как мы,

цыганом;

Его преследует закон,
Но я ему подругой буду.
Его зовут Алеко — он
Готов идти за мною всюду».

Я рад
Под сен
Или про
Как ты
С тобой
Будь на

Бродяще
А завтра
В одной
Примись
Железо
И села с

Я оста

Кто ж от
Но поздн
Зашёл; по
И сон ме

Светло.

Вокруг бе
«Вставай,
Проснись,

Оставьте,
И с шумом
Шатры раз
Готовы дв
Всё вместе
Толпа вали
Ослы в пе
Детей игра
Мужья и б
И стар и м
Крик, шум,
Медведя рё
Нетерпеливо

Волынка
трубок, вделан

Старик.

Я рад. Остаешься до утра
Под сенью нашего шатра
Или пробудь у нас и доле,
Как ты захочешь. Я готов
С тобой делить и хлеб и кров.
Будь наш, привыкни к нашей
доле,

Бродящей бедности и воле;
А завтра с утренней зарёй
В одной телеге мы поедём;
Примись за промысел любой:
Железо куй — иль песни пой
И сёла обходи с медведем.

Алеко.

Я остаюсь.

Земфира.

Он будет мой —
Кто ж от меня его отгонит?
Но поздно... месяц молодой
Зашёл; поля покрыты мглой.
И сон меня невольно клонит...

Светло. Старик тихонько
бродит
Вокруг безмолвного шатра.
«Вставай, Земфира: солнце
всходит,
Проснись, мой гость! пора,
пора!..
Оставьте, дети, ложе неги!..»
И с шумом высыпал народ;
Шатры разобраны; телеги
Готовы двинуться в поход.
Всё вместе тронулось — и вот
Толпа валит в пустых равнинах.
Ослы в перекидных корзинах
Детей играющих несут;
Мужья и братья, жёны, девы,
И стар и млад вослед идут;
Крик, шум, цыганские припевы,
Медведя рёв, его цепей
Нетерпеливое бряцанье,

Лохмотьев ярких пестрота,
Детей и старцев нагота,
Собак и лай и завыванье,
Волынки¹ говор, скрип телег,
Всё скудно, дико, всё нестройно
Но всё так живо-неспокойно.
Так чуждо мёртвых наших нег,
Так чуждо этой жизни празд-
ной,
Как песнь рабов однообразной!

Уныло юноша глядел
На опустелую равнину
И грусти тайную причину
Истолковать себе не смел.
С ним черноокая Земфира,
Теперь он вольный житель
мира,

И солнце весело над ним
Полуденной красою блещет;
Что ж сердце юноши трепещет?
Какой заботой он томим?

Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда;
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда;
В долгу ночь на ветке
дремлет;
Солнце красное взойдёт,
Птичка гласу бога внемлет,
Встрепенётся и поёт.
За весной, красой природы,
Лето знойное пройдёт —
И туман и непогоды
Осень поздняя несёт:
Людам скучно, людам горе;
Птичка в дальные страны,
В тёплый край, за сине
море

Улетает до весны.
Подобно птичке беззаботной
И он, изгнанник перелётный,
Гнезда надёжного не знал
И ни к чему не привыкал.
Ему везде была дорога,

¹ Волынка — народный духовой музыкальный инструмент из нескольких трубок, сделанных в пузырь, через который вдувается воздух.

...не была почтена сень,
Прозвучавший позвон, свой день
Он отдавал на волю бога,
И жизни не могла тревога
Смутить его сердечную лень.
Что порой волшебной славы
Манила дальняя звезда;
Нежданно роскошь и забавы
К нему являлись иногда;
Над одинокой головою
И гром нередко грохотал;
Но он беспечно под грозою
И в ведро ясное дремал
И жил, не признавая власти
Судьбы коварной и слепой —
Но боже! как играли страсти
Его послушною душой!
С каким волнением кипели
В его измученной груди!
Давно ль, надолго ль

усмирели?

Они проснутся: погоди!

Земфира.

Скажи, мой друг: ты не
жалеешь

О том, что бросил навсегда?

Алеко.

Что ж бросил я?

Земфира.

Ты разумеешь?
Людей отчизны, города.

Алеко.

О чём жалеть? Когда б ты
знала,
Когда бы ты воображала
Невольно душных городов!
Там люди, в кучах за оградой,
Не дышат утренней прохладой,
Ни веником запахом лугов;

¹ Меж нами есть одно преданье... — Старик цыган рассказывает преданье о поэте Овидии (родился в 43 г. до н. э., умер в 17 г. н. э.), сосланном римским императором Августом на берег Чёрного моря, в город Томы, где он и умер.

Любви стыдятся, мысль
Торгуют волею своей
Главы пред идолами
И просят денег да ценой
Что бросил я? Измен
Предрассуждений
Толпы безумное
Или блистательный позор.

Земфира.

Но там огромные палаты,
Там разноцветные ковры,
Там игры, шумные пиры,
Уборы дев там так богаты!..

Алеко.

Что шум веселий городских?
Где нет любви, там нет веселий.
А девы... Как ты лучше их
И без нарядов дорогих,
Без жемчугов, без ожерелий!
Не изменись, мой нежный друг,
А я... одно моё желанье
С тобой делить любовь, досуг
И добровольное изгнанье!

Старик.

Ты любишь нас, хоть и
рождён

Среди богатого народа.
Но не всегда мила свобода
Тому, кто к неге приучён.
Меж нами есть одно преданье¹:
Царём когда-то сослан был
Полудня житель к нам в
изгнанье.

(Я прежде знал, но позабыл
Его мудрёное прозвание.)
Он был уже летами стар,
Но млад и жив душой

незлобной —
Имел он песен дивный дар
И голос, шуму вод подобный;
И полюбили все его,

И жил
Не обиж
Людей
Не разу
И слаб
Чужие л
Зверей и
Как мёр
И зимни
Пушисто
Они свят
Но он к
Привыкн
Скитался

Он говор
Его кара
Он ждал:
И всё не
Бродя по
Да горьки
Свой даль
И завеща
Чтобы на
Его тоску
И смерть

Неуспокое

Так вот
О Рим, о
Певец люб
Скажи мне
Могильный

Из рода в
Или под се
Цыгана ди

Прошло д

Цыганы ми
Везде по-пр
Гостеприимс
Презрев око
Алеко волен

И жил он на берегах Дуная,
Не обижая никого,
Людей рассказами пленяя;
Не разумел он ничего,
И слаб и робок был, как дети;
Чужие люди за него
Зверей и рыб ловили в сети;
Как мёрзла быстрая река
И зимни вихри бушевали,
Пушистой кожей покрывали
Они святого старика;
Но он к заботам жизни бедной
Привыкнуть никогда не мог;
Скитался он иссохший,
бледный,

Он говорил, что гневный бог
Его карал за преступленье...
Он ждал: придёт ли избавленье.
И всё несчастный тосковал,
Бродя по берегам Дуная,
Да горьки слёзы проливал,
Свой дальний град воспоминая.
И завещал он умирая,
Чтобы на юг перенесли
Его тоскующие кости,
И смертью — чуждой сей
земли —

Неуспокоенные гости!

А л е к о.

Так вот судьба твоих сынов,
О Рим, о громкая держава!..
Певец любви, певец богов,
Скажи мне, что такое слава?
Могильный гул, хвалебный
глас,
Из рода в роды звук бегущий?
Или под сенью дымной кущи
Цыгана дикого рассказ?

Прошло два лета. Так же
бродят

Цыганы мирною толпой;
Везде по-прежнему находят
Гостеприимство и покой.
Презрев оковы просвещения,
Алеко волен, как они;

Он без забот и сожаленья
Ведёт кочующие дни.
Всё тот же он; семья всё та же;
Он, прежних лет не помня даже,
К бытию цыганскому привык.
Он любит их ночлегов сени
И упоенье вечной лени,
И бедный, звучный их язык.
Медведь — беглец родной
берлоги,

Косматый гость его шатра,
В селеньях, вдоль степной
дороги,

Близ молдаванского двора
Перед толпою осторожной
И тяжко пляшет, и ревёт,
И цепь докучную грызёт;
На посох опершись дорожный,
Старик лениво в бубны бьёт,
Алеко с пеньем зверя водит,
Земфира поселян обходит
И дань их вольную берёт.
Настанет ночь; они все трое
Варят нежатое пшено;
Старик уснул, — и всё в покое,
В шатре и тихо и темно.

Старик на вешнем солнце
греет

Уж остывающую кровь;
У люльки дочь поёт любовь.
Алеко внемлет и бледнеет.

З е м ф и р а.

Старый муж, грозный муж,
Режь меня, жги меня:
Я тверда; не боюсь
Ни ножа, ни огня.

Ненавижу тебя,
Презираю тебя;
Я другого люблю,
Умираю любя.

А л е к о.

Молчи. Мне пенье надоело,
Я диких песен не люблю.

Земфира.

Не любишь? мне какое дело!
Я песню для себя пою.

Режь меня, жги меня;
Не скажу ничего;
Старый муж, грозный муж,
Не узнаешь его.

Он свежее весны,
Жарче летнего дня;
Как он молод и смел!
Как он любит меня!

Как ласкала его
Я в ночной тишине!
Как смеялись тогда
Мы твоей седине!

Алеко.

Молчи, Земфира! я доволен...

Земфира.

Так понял песню ты мою?

Алеко.

Земфира!

Земфира.

Ты сердиться волен,
Я песню про тебя пою.

(Уходит и поёт:
«Старый муж...» и проч.)

Старик.

Так, помню, помню — песня
эта

Во время наше сложена,
Уже давно в забаву света
Поётся меж людей она.
Кочуя на степях Кагула¹,
Её, бывало, в зимнюю ночь
Моя певала Мариула,
Перед огнём качая дочь.
В уме моём минувши лета
Час от часу темней, темней;

¹ Кагул — приток Дуная, в Бессарабии.

Но заронила песня эта
Глубоко в памяти моей.

Всё тихо; ночь. Луной

Лазурный юга небосклон,^{украшен}
Старик Земфирой пробуждён:
«О мой отец! Алеко страшен.
Послушай: сквозь тяжёлый сон
И стонет, и рыдает он».

Старик.

Не тронь его. Храни

Слышал я русское преданье;^{молчанье.}
Теперь полунощной порой
У спящего теснит дыханье
Домашний дух; перед зарёй
Уходит он. Сиди со мной.

Земфира.

Отец мой! шепчет он:

Земфира!

Старик.

Тебя он ищет и во сне:
Ты для него дороже мира.

Земфира.

Его любовь постыла мне.
Мне скучно; сердце воли
просит —
Уж я.. Но тише! слышишь? он
Другое имя произносит...

Старик.

Чьё имя?

Земфира.

Слышишь? хриплый стон
И скрежет ярый!.. Как ужасно!
Я разбужу его...

Старик.

Ночного духа не гони —
Уйдёт и сам...
Напрасно.

Привста

Иду к

Где т

Какой-то
Во сне
Мученья
Ты, сон
И звал

Я видел,
Я видел

Не вер

Ах, я н
Ни снам,
Ни даже

О чём,
О чём взд
Здесь люд
И жёны
Не плачь:

Отец, он

Утешся,
Твоё унынь

Буджак
Аккерма

Земфира.

Он повернулся,
Привстал, зовёт меня...

проснулся —
Иду к нему — прощай, усни.

Алеко.

Где ты была?

Земфира.

С отцом сидела:
Какой-то дух тебя томил;
Во сне душа твоя терпела
Мученья; ты меня страшил:
Ты, сонный, скрежетал зубами
И звал меня.

Алеко.

Мне снилась ты.
Я видел, будто между нами...
Я видел страшные мечты!

Земфира.

Не верь лукавым
сновиденьям.

Алеко.

Ах, я не верю ничему:
Ни снам, ни сладким увереньям,
Ни даже сердцу твоему.

Старик.

О чём, безумец молодой,
О чём вздыхаешь ты всечасно?
Здесь люди вольны, небо ясно,
И жёны славятся красой.
Не плачь: тоска тебя погубит.

Алеко.

Отец, она меня не любит.

Старик.

Утешься, друг: она дитя.
Твоё унынье безрассудно:

Ты любишь торестно и трудно,
А сердце женское — шутя.
Взгляни: под отдалённым

сводом

Гуляет вольная луна;
На всю природу мимоходом
Равно сиянье льёт она.
Заглянет в облако любое,
Его так пышно озарит —
И вот — уж перешла в другое;
И то недолго посетит.
Кто место в небе ей укажет,
Примолвя: там остановись.
Кто сердцу юной девы скажет:
Люби одно, не изменись.
Утешься.

Алеко.

Как она любила!
Как, нежно преклонясь ко мне,
Она в пустынной тишине
Часы ночные проводила!..
Веселья детского полна,
Как часто милым лепетаньем
Иль упоительным лобзаньем
Мою задумчивость она
В минуту разогнать умела!..
И что ж? Земфира неверна!
Моя Земфира охладела!..

Старик.

Послушай: расскажу тебе
Я повесть о самом себе.
Давно, давно, когда Дунаю
Не угрожал ещё москаль —
(Вот видишь, я припоминаю,
Алеко, старую печаль.)
Тогда боялись мы султана;
А правил Буджаком¹ паша
С высоких башен

Аккермана². —

Я молод был; моя душа
В то время радостно кипела;
И ни одна в кудрях моих
Ещё сединка не блела —

¹ Буджак — южная часть Бессарабии.

² Аккерман — город в Бессарабии, в XVIII столетии — турецкая крепость.

Между красавиц молодых
Одна была.. и долго ею
Как солнцем любовался я
И наконец назвал моею...

Ах, быстро молодость моя
Звездой падучею мелькнула!
Но ты, пора любви, минула
Ещё быстрее: только год
Меня любила Мариула.

Однажды близ кагульских

вод

Мы чуждый табор повстречали;
Цыганы те, свои шатры
Разбив близ наших у горы,
Две ночи вместе ночевали.
Они ушли на третью ночь, —
И, брося маленькую дочь,
Ушла за ними Мариула.
Я мирно спал — заря блеснула,
Проснулся я, подруги нет!
Ищу, зову — пропал и след...
Тоскуя, плакала Земфира,
И я заплакал — с этих пор
Постыли мне все девы мира;
Меж ими никогда мой взор
Не выбирал себе подруги —
И одинокие досуги.
Уже ни с кем я не делил.

Алеко.

Да как же ты не поспешил
Тотчас вослед неблагодарной
И хищникам, и ей, коварной,
Кинжала в сердце не вонзил?

Старик.

К чему? вольнее птицы
младость;
Кто в силах удержать любовь?
Чредою всем даётся радость;
Что было, то не будет вновь.

Алеко.

Я не таков. Нет, я не споря
От прав моих не откажусь!
Или хоть мщеньем наслажусь.

О нет! когда б над бездной моря
Нашёл я спящего врага,
Клянусь, и тут моя нога
Не пощадила бы злодея;
Я в волны моря, не бледнея,
И беззащитного б толкнул;
Внезапный ужас пробужденья
Свирепым смехом упрекнул,
И долго мне его паденья
Смешон и сладок был бы гул.

Молодой цыган.

Ещё одно... одно лобзанье...

Земфира.

Пора: мой муж ревнив и зол

Цыган.

Одно... но доле!.. на прощанье.

Земфира.

Прощай, покамест не пришёл.

Цыган.

Скажи — когда ж опять
свиданье?

Земфира.

Сегодня, как зайдёт луна,
Там за курганом над могилой...

Цыган.

Обманет! не придёт она!

Земфира.

Вот он! беги!.. Приду, мой
милый.

Алеко спит: в его уме
Виденье смутное играет;
Он, с криком пробудясь во тьме,
Ревниво руку простирает;
Но обробелая рука
Покровы хладные хватает —
Его подруга далека...
Он с трепетом привстал и
внемлет...

Всё тих

Г-о нём
Встаёт
Вокруг
Спокойн
Темно; л
Чуть бре

Чуть по
Ведёт за
Нетерпел
Куда зло

Могила
Вдали бе
Туда сла
Влачит, п
Дрожат у
Идёт... и
Вдруг вид
И близкий
Над обесс

Пора...

Постой

Нет, нет, по

Уж поздно.

Как ты роби
Минутой!

Ты ме

Всё тихо... страх его
объемлет —

...и жмёт и жар и холод,
Встаёт он, из шатра выходит,
Вокруг телег ужасен бродит;
Спокойно всё; поля молчат;
Темно; луна зашла в туманы,
Чуть брезжит звёзд неверный

свет,
Чуть по росе приметный след
Ведёт за дальние курганы:
Нетерпеливо он идёт,
Куда зловещий след ведёт.

Могила на краю дороги
Вдали белеет перед ним...
Туда слабеющие ноги
Влачит, предчувствием томим —
Дрожат уста, дрожат колени,
Идёт... и вдруг... иль это сон?
Вдруг видит близкие две тени
И близкий шёпот слышит он
Над обесславленной могилой.

1-й голос.

Пора...

2-й голос.

Постой...

1-й голос.

Пора, мой милый.

2-й голос.

Нет, нет, постой, дождёмся дня.

1-й голос.

Уж поздно.

2-й голос.

Как ты робко любишь.
Минутой!

1-й голос.

Ты меня погубишь.

2-й голос.
Минутой!

1-й голос.

Если без меня
Проснётся муж?..

Алеко.

Проснулся я.
Куда вы! не спешите оба;
Вам хорошо и здесь, у гроба.

Земфира.

Мой друг, беги, беги...

Алеко.

Постой!
Куда, красавец молодой?
Лежи!

(Вонзает в него нож.)

Земфира.

Алеко!

Цыган.

Умираю...

Земфира.

Алеко, ты убьёшь его!
Взгляни: ты весь обрызган
кровью!

О, что ты сделал?

Алеко.

Ничего.
Теперь дыши его любовью.

Земфира.

Нет, полно, не боюсь тебя! —
Твои угрозы презираю,
Твоё убийство проклиная...

Алеко.

Умри ж и ты!
(Поражает её.)

Земфира.

Умру любя...

...к. денницей озарённый,
...Алеко за холмом,
...шумом в руках,

окровавленный,
Сидел на камне гробовом.
Два трупа перед ним лежали;
Убийца страшен был лицом.
Цыганы робко окружали
Его встревоженной толпой.
Могилу в стороне копали.
Шли жёны скорбной чередой
И в очи мёртвых целовали.
Старик-отец один сидел
И на погибшую глядел
В немом бездействии печали;
Подвняли трупы, понесли
И в лоно хладное земли
Чету младую положили.
Алеко издали смотрел
На всё... когда же их закрыли
Последней горстию земной,
Он молча, медленно склонился
И с камня на траву свалился.

Тогда старик, приближась,
рек:
«Оставь нас, гордый человек.
Мы дики; нет у нас законов.
Мы не терзаем, не казним,
Не нужно крови нам и стонов,
Но жить с убийцей не хотим...
Ты не рождён для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасен нам твой будет глас:—
Мы робки и добры душою,
Ты зол и смел — оставь же нас,
Прости, да будет мир с тобою».

Сказал — и шумною толпою
Поднялся табор кочевой
С долины страшного ночлега.
И скоро всё в дали степной
Сокрылось; лишь одна телега,
Убогим крытая ковром,
Стояла в поле роковом.
Так иногда перед зимою,

Туманной, утренней порой,
Когда подьёмнется с холма
Станица поздних журавлей
И с криком вдаль на юг несётся,
Произённый гибельным свинцом
Один печально остаётся,
Повиснув раненым крылом.
Настала ночь: в телеге тёмной
Огня никто не разложил,
Никто под крышью подьёмно,
До утра сном не опочил.

Эпилог

Волшебной силой песнопенья
В туманной памяти моей
Так оживляются виденья
То светлых, то печальных дней

В стране, где долго, долго
брани

Ужасный гул не умолкал,
Где повелительные грани¹
Стамбулу русский указал,
Где старый наш орёл двуглавый
Ещё шумит минувшей славой,
Встречал я посреди степей
Над рубежами древних станов
Телеги мирные цыганов,
Смиренной вольности детей.
За их ленивыми толпами
В пустынях часто я бродил,
Простую пищу их делил
И засыпал пред их огнями.
В походах медленных любил
Их песен радостные гулы —
И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил.

Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны!..
И под изданными шатрами
Живут мучительные сны.
И ваши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед.
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.

¹ Где повелительные грани Стамбулу русский указал — имеется в виду граница с Турцией, установленная после русско-турецкой войны по мирному договору 1812 г.

Всё
Для
Не
Как
Бра
Зат
И б
То
Как
И че
Не в
Когд
Отец
И зе

Всего
Пере
Но в

Что з
Что б
И тру
Что за
Его то
Была
Котор
За что
Свой в

В Мол
Вдали

Гом
Фео
Предств
Ада
мышленн
Пуб
ский поэт
иоря.

Высокой страсти не имея
 Для звуков жизни не щадить,
 Не мог он ямба от хорея,
 Как мы ни бились, отличить.
 Бранил Гомера¹, Феокрита²;
 Зато читал Адама Смита³,
 И был глубокой эконом,
 То есть умел судить о том,
 Как государство богатеет,
 И чем живёт и почему
 Не нужно золота ему,
 Когда простой продукт имеет.
 Отец понять его не мог
 И земли отдавал в залог.

VIII.

Всего, что знал ещё Евгений,
 Пересказать мне недосуг;
 Но в чём он истинный был
 гений,
 Что знал он твёрже всех наук,
 Что было для него измлада
 И труд, и мука, и отрада,
 Что занимало целый день
 Его тоскующую лень, —
 Была наука страсти нежной,
 Которую воспел Назон⁴,
 За что страдальцем кончил он
 Свой век блестящий и
 мятежный
 В Молдавии, в глуши степей
 Вдали Италии своей.

IX.

.

Как рано мог он лицемерить,
 Таить надежду, ревновать,
 Разуверять, заставить верить,
 Казаться мрачным, изнывать,
 Являться гордым и послушным,
 Внимательным иль

равнодушным!

Как томно был он молчалив,
 Как пламенно красноречив,
 В сердечных письмах как
 небрежен!

Одним дыша, одно любя,
 Как он умел забыть себя!
 Как взор его был быстр и
 нежен,

Стыдлив и дерзок, а порой
 Блистал послушною слезой!

XI.

Как он умел казаться новым,
 Шутя невинность изумлять,
 Пугать отчаяньем готовым,
 Приятной лестью забавлять,
 Ловить минуту умиления,
 Невинных лет предубежденья
 Умом и страстью побеждать,
 Невольной ласки ожидать,
 Молить и требовать признанья,
 Подслушать сердца первый
 звук,

Преследовать любовь, и вдруг
 Добиться тайного свиданья...
 И после ей наедине
 Давать уроки в тишине!

XII.

Как рано мог уж он тревожить
 Сердца кокеток записных!

¹ Гомёр (IX в. до н. э.) — знаменитый древнегреческий поэт.

² Феокрит (III в. до н. э.) — автор стихотворений на бытовые темы, впоследствии названных «идиллиями».

³ Адам Смит (1723—1790) — английский экономист, ранний идеолог промышленной буржуазии.

⁴ Публий Овидий Назон (43 г. до н. э.—17 г. н. э.) — знаменитый римский поэт. Был сослан императором Октавием Августом на берег Чёрного моря.

Когда ж хотелось уничтожить
 Ему соперников своих,
 Как он язвительно злословил!
 Какие сети им готовил!
 Но вы, блаженные мужья,
 С ним оставались вы друзья:
 Его ласкал супруг лукавый,
 Фобласа¹ давний ученик,
 И недоверчивый старик,
 И рогоносец величавый,
 Всегда довольный сам собой,
 Своим обедом и женой.

XIII. XIV.

.

XV.

Бывало, он ещё в постеле:
 К нему записочки несут.
 Что? Приглашенья? В самом
 деле,
 Три дома на вечер зовут:
 Там будет бал, там детский
 праздник.
 Куда ж поскачет мой
 проказник?
 С кого начнёт он? Всё равно:
 Везде поспеть немудрено.
 Покамест в утреннем уборе,
 Надев широкий боливар²,
 Онегин едет на бульвар,
 И там гуляет на просторе,

Пока недремлющий брат
 Не провозвист ему обед.

XVI.

Уж тёмно: в санки он садится.
 «Поди, поди!» раздался крик;
 Морозной пылью серебрится
 Его бобровый воротник.
 К *Talon*⁴ помчался: он уверен,
 Что там уж ждёт его Каверин⁵.
 Вошёл: и пробка в потолок,
 Вина кометы⁶ брызнул ток...
 Пред ним *roast beef*⁷

окровавленный,
 И трюфли, роскошь юных лет,
 Французской кухни лучший
 цвет,
 И Стразбурга пирог нетленный
 Меж сыром лимбургским
 живым
 И ананасом золотым.

XVII.

Ещё бокалов жажда просит
 Залить горячий жир котлет,
 Но звон брегета им доносит,
 Что новый начался балет.
 Театра злой законодатель,
 Непостоянный обожатель
 Очаровательных актрис,
 Почётный гражданин кулис,
 Онегин полетел к театру,
 Где каждый, вольностью дыша,
 Готов охлопать *entrechat*⁸,

¹ Фоблас — герой романа Луве де Куврэ «Положения кавалера Фобласа» (русский перевод романа 1792—1796 гг.).

² Боливар — шляпа à Bolívar, названная в честь деятеля национально-освободительного движения в Южной Америке Симона Боливара (1783—1830).

³ Брегет — в данном случае часы, от имени швейцарского часовщика Луи Брегета (1747—1823).

⁴ Talon — известный ресторатор того времени.

⁵ Каверин Пётр Павлович (1794—1855) — один из ближайших друзей Пушкина.

⁶ Вино кометы — перевод французского «Vin de la comète» — означает вино сбора 1811 г., когда обильный урожай винограда приписывался влиянию кометы, видимой осенью этого года.

⁷ Roast beef (англ.) — ростбиф; жареное мясное филе.

⁸ Entrechat (франц.) — антраша, прыжок.

(Оби)

Мои
 Чтоб

Волш

Сатир
 Блист

И пер
 Там О

Народ
 С мла

Там на
 Корнел

Там вы
 Своих

Там и Д
 Там, та

Младые

Мои бо

Внемлит
 Всё те ж

Сменив,
 Услышу

Узрю ли

¹ Фёдр

турга второ

² Клеон

³ Мойн

артистка А.

⁴ Княж

⁵ Озеро

⁶ Семён

ка, игравша

⁷ Китён

⁸ Корнел

дней.

⁹ Шахов

ральный дея

¹⁰ Дидло

¹¹ Терпси

¹² А. И.

¹³ Эол —

Обнимать Феду¹,
Клеопатру²,
Мойну³ вызвать (для того,
Чтоб только слышали его).

XVIII.

Волшебный край! там в стары
годы,
Сатиры смелый властелин,
Блистал Фонвизин, друг
свободы,

И переимчивый Княжнин⁴;
Там Озеров⁵ невольны дани
Народных слёз, рукоплесканий
С молодой Семёновой⁶ делил;
Там наш Катенин⁷ воскресил
Корнеля⁸ гений величавый;
Там вывел колкий Шаховской⁹
Своих комедий шумный рой,
Там и Дидло¹⁰ венчался славой,
Там, там, под сению кулис
Младые дни мои неслись.

XIX.

Мои богини! что вы? где вы?
Внемлите мой печальный глас:
Всё те же ль вы? другие ль
девы,
Сменив, не заменили вас?
Услышу ль вновь я ваши хоры?
Узрю ли русской Терпсихоры¹¹

Душой исполненный полёт?
Иль взор унылый не найдёт
Знакомых лиц на сцене
скучной,
И, устремив на чуждый свет
Разочарованный лорнет,
Веселья зритель равнодушный,
Безмолвно буду я зевать
И о былом вспоминать?

XX.

Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла, всё кипит,
В райке нетерпеливо плещут.
И, взвившись, занавес шумит.
Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина¹², она,
Одной ногой касаясь пола,
Другую медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг легит,
Летит, как пух от уст Эола¹³,
То стан совьёт, то разовьёт,
И быстрой ножкой ножку бьёт.

XXI.

Всё хлопает. Онегин входит.
Идёт меж кресел по ногам,
Двойной лорнет, скосясь,
наводит

¹ Фёдра — героиня одноимённой трагедии Расина, французского драматурга второй половины XVII в.

² Клеопатра — героиня пьесы, точно не установленной.

³ Мойна — героиня трагедии В. А. Озерова «Фингал»; исполняла эту роль артистка А. М. Колосова.

⁴ Княжнин Яков Борисович (1742—1791) — драматург.

⁵ Озеров Владислав Александрович (1770—1816) — драматург.

⁶ Семёнова Екатерина Семёновна (1786—1849) — драматическая артистка, игравшая в Петербурге от 1803 до 1826 г.

⁷ Катенин Павел Александрович (1792—1853) — поэт, драматург и критик.

⁸ Корнель Пьер (1606—1684) — автор французских классических трагедий.

⁹ Шаховской Александр Александрович (1777—1846) — драматург и театральный деятель.

¹⁰ Дидло (1767—1837) — балетмейстер петербургского балета.

¹¹ Терпсихора — муза танцев.

¹² А. И. Истомина (1799—1848) — первая балерина петербургского театра.

¹³ Эол — бог ветров (из греческой мифологии).

На ложь незнакомых дам;
Все ярусы окинул взором,
Всё видел: лицами, убором
Ужасно недоволен он:
С мужчинами со всех сторон
Раскланялся, потом на сцену
В большом рассеянии взглянул,
Отворотился — и зевнул.
И молвил: «всех пора на смену;
Балеты долго я терпел,
Но и Дидло мне надоел».

XXII.

Ещё амуры, черти, змеи
На сцене скачут и шумят;
Ещё усталые лакеи.
На шубах у подъезда спят;
Ещё не перестали топтать,
Сморкаться, кашлять, шикать,
хлопать;

Ещё снаружи и внутри
Везде блистают фонари;
Ещё, прозябнув, быются кони,
Наскуча упряжью своей,
И кучера, вокруг огней,
Бранят господ и быют в ладони:
А уж Онегин вышел вон;
Домой одеться едет он.

XXIII.

Изображу ль в картине верной
Уединённый кабинет,
Где мод воспитанник
примерный
Одет, раздет и вновь одет?
Всё, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный
И по Балтийским волнам
За лес и сало возит нам,
Всё, что в Париже вкус
голодный,

Полезный промысел избрав,
Изобретает для забав,
Для роскоши, для неги
модной, —
Всё украшало кабинет
Философа в осьмнадцать лет.

XXIV.

Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе,
И, чувств изнеженных отрада,
Духи в гранёном хрустале;
Гребёнки, пилочки стальные,
Прямые ножницы, кривые,
И щётки тридцати родов
И для ногтей и для зубов.
Руссо¹ (замечу мимоходом)
Не мог понять, как важный
Грим²

Смел чистить ногти перед ним,
Красноречивым сумасбродом.
Защитник вольности и прав
В сем случае совсем неправ.

XXV.

Быть можно дельным
человеком
И думать о красе ногтей:
К чему бесплодно спорить
с веком?

Обычай деспот меж людей.
Второй Чадаев³, мой Евгений,
Боясь ревнивых осуждений,
В своей одежде был педант
И то, что мы назвали франт.
Он три часа по крайней мере
Пред зеркалами проводил,
И из уборной выходил
Подобный ветреной Венере,
Когда, надев мужской наряд,
Богиня едет в маскарад.

¹ Руссо Жан-Жак (1712—1778) — французский писатель и мыслитель.

² Гримм Мельхиор (1723—1807) — французский писатель.

³ Чадаев Пётр Яковлевич (1794—1856). — Пушкин сравнивает Онегина со своим другом, который славился искусством одеваться.

XXVI.

В последнем вкусе туалетом
Заняв ваш любопытный взгляд,
Я мог бы пред учёным светом
Здесь описать его наряд;
Конечно б, это было смело,
Описывать моё же дело:
Но *панталоны, фрак, жилет,*
Всех этих слов на русском нет;
А вижу я, винюсь пред вами,
Что уж и так мой бедный слог
Пестреть гораздо б меньше мог
Иноплеменными словами,
Хоть и заглядывал я встарь
В Академический Словарь.

XXVII.

У нас теперь не то в предмете:
Мы лучше поспешим на бал,
Куда стремглав в ямской
кажете

Уж мой Онегин поскакал.
Перед померкшими домами
Вдоль сонной улицы рядами
Двойные фонари карет
Весёлый изливают свет
И радуги на снег наводят;
Усеян площадками кругом,
Блестит великолепный дом;
По цельным окнам тени ходят,
Мелькают профили голов
И дам и модных чудаков.

XXVIII.

Вот наш герой подъехал
к сениям;
Швейцара мимо он стрелой
Взлетел по мраморным
ступеням,

Расправил волосы рукой,
Вошёл. Полна народу зала;
Музыка уж греметь устала:
Толпа мазуркой занята;
Кругом и шум и теснота;
Бренчат кавалергарда шпоры;
Летают ножки милых дам;

По их пленительным следам
Летают пламенные взоры,
И рёвом скрипок заглушён
Ревнивый шёпот модных жён.

XXIX.

Во дни веселий и желаний
Я был от балов без ума:
Верней нет места для
признаний
И для вручения письма.
О вы, почтенные супруги!
Вам предложу свои услуги;
Прошу мою заметить речь:
Я вас хочу предостеречь.
Вы также, маменьки, построже
За дочерьми смотрите вслед:
Держите прямо свой лорнет!
Не то... не то, избави боже!
Я это потому пишу,
Что уж давно я не грешу.

XXX.

Увы, на разные забавы
Я много жизни погубил!
Но если б не страдали нравы,
Я балы б до сих пор любил.
Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманый наряд;
Люблю их ножки; только вряд
Найдёте вы в России целой
Три пары стройных женских
ног.

Ах! долго я забыть не мог
Две ножки... Грустный,
охладелый,
Я всё их помню, и во сне
Они тревожат сердце мне.

XXXI.

Когда ж, и где, в какой
пустыне,
Безумец, их забудешь ты?
Ах, ножки, ножки! где вы ныне?
Где мнёте вешние цветы?

Изгнанные в восточной пеще,
 На северном, печальном снеге
 Вы не оставили следов:
 Любили мягких вы ковров
 Роскошное прикосновенье.
 Давно ль для вас я забывал
 И жажду славы и похвал,
 И край отцов, и заточенье?
 Исчезло счастье юных лет —
 Как на лугах ваш лёгкий след.

XXXII.

Дианы грудь, ланиты Флоры
Прелестны, милые друзья!
Однако ножка Терпсихоры
Прелестней чем-то для меня
Она, пророчествуя взгляду
Неоценённую награду,
Влечёт условною красой
Желаний своевольный рой.
Люблю её, мой друг Эльвина,
Под длинной скатертью столов,
Весной на мураве лугов,
Зимой на чугуне камина,
На зеркальном паркете зал,
У моря на граните скал.

XXXIII.

Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к её ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!
Нет, никогда средь пылких

Кипящей младости моей
Я не желал с таким мученьем
Лобзать уста молодых Армид¹,
Иль розы пламенных ланит,
Иль перси, полные томленьем,
Нет, никогда порыв страстей
Так не терзал души моей!

¹ Армида — имя красавицы, героини поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим».

XXXIV.

Мне памятно другое время!
В заветных иногда мечтах
Держу я счастливое стремя...
И ножку чувствую в руках;
Опять кипит воображенье.
Опять её прикосновенье
Зажгло в увядшем сердце

Опять тоска, опять любовь!..
Но полно прославлять

надменных
Болтливой лирою своей;
Они не стоят ни страстей,
Ни песен, ими вдохновенных:
Слова и взор волшебниц сих
Обманчивы... как ножки их.

XXXV.

Что ж мой Онегин?

Полусонный
В постелю с бала едет он:
А Петербург неугомонный
Уж барабаном пробуждён.
Встаёт купец, идёт разносчик,
На биржу тянется извозчик,
С кувшином охтенка спешит,
Под ней снег утренний хрустит.
Проснулся утра шум приятный.
Открыты ставни; трубный дым
Столбом восходит голубым,
И хлебник, немец аккуратный,
В бумажном колпаке, не раз
Уж отворял свой *васисдас*.

XXXVI.

Но, шумом бала утомленный,
И утро в полночь обратя,
Спокойно спит в тени
 блаженной

Забав и роскоши дитя.
Проснётся за-полдень, и снова
До утра жизнь его готова,

Одноо
И завт
Но бы

СВОБОД

Среди
Среди

Вотще
Неосто

Нет: рз

Ему на
Красави
Предме
Измены
Друзья
Затем, ч
Beef ste

Шампан

И сыпат
Когда бо
И хоть о
Но разл
И брань,

Недуг, ко
Давно бы
Подобный
Короче: р
Им овлад
Он застре
Попробов
Но к жизни
Как Child

1 Beef st
2 Child-H
3 Сей (I
4 Бентам

Однако разна и пестра.
И завтра то же, что вчера.
Но был ли счастлив мой
Евгений.

Свободный, в цвете лучших
лет,

Среди блистательных побед,
Среди вседневных
наслаждений?

Вотще ли был он средь пиров
Неосторожен и здоров?

XXXVII.

Нет: рано чувства в нём
остыли:

Ему наскучил света шум;
Красавицы не долго были
Предмет его привычных дум;
Измены утомить успели;
Друзья и дружба надоели,
Затем, что не всегда же мог
*Beef steaks*¹ и стразбургский

пирог
Шампанской обливать
бутылкой

И сыпать острые слова,
Когда болела голова.
И хоть он был повеса пылкой,
Но разлюбил он наконец
И брань, и саблю, и свинец.

XXXVIII.

Недуг, которого причину
Давно бы отыскать пора,
Подобный английскому *сплину*,
Короче: русская *хандра*
Им овладела понемногу;
Он застрелиться, слава богу,
Попробовать не захотел;
Но к жизни вовсе охладел.
Как *Child-Harold*², угрюмый,
томный

¹ *Beef steaks* (англ.) — бифштекс.

² *Child-Harold* (англ.) — *Чайльд-Гарольд*, герой поэмы Байрона.

³ *Сей* (1767—1832) — французский либеральный буржуазный экономист.

⁴ *Бентам* (1748—1832) — английский юрист и философ.

В гостинных появлялся он;
Ни снуетки света, ни бостон,
Ни милый взгляд, ни вздох
нескромный,
Ничто не трогало его,
Не замечал он ничего.

XXXIX. XL. XLI.

.....

XLII.

Причудницы большого света!
Всех прежде вас оставил он;
И правда то, что в наши лета
Довольно скучен высший тон;
Хоть, может быть, иная дама
Толкует *Сея*³ и *Бентама*⁴,
Но вообще их разговор
Несносный, хоть невинный
вздор;

К тому ж они так непорочны,
Так величавы, так умны,
Так благочестия полны,
Так осмотрительны, так точны
Так неприступны для мужчин,
Что вид их уж рождает сплин.

XLIII.

И вы, красотки молодые,
Которых позднею порой
Уносят дрожки удалые
По петербургской мостовой,
И вас покинул мой Евгений.
Отступник бурных
наслаждений,

Онегин дома заперся,
Зевая, за перо взялся,
Хотел писать — но труд
упорный

Ему был тошен; ничего

Не вышло из пера его,
И не попал он в цех задорный
Людей, о конх не сужу,
Затем, что к ним принадлежу.

XLIV.

И снова, преданный безделью,
Томясь душевной пустотой,
Уселся он — с похвальной
целью
Себе присвоить ум чужой;
Отрядом книг уставил полку,
Читал, читал — а всё без

толку:

Там скука, там обман иль бред;
В том совести, в том смысла
нет;

На всех различные вериги;
И устарела старина,
И старым бредит новизна.
Как женщин, он оставил книги,
И полку, с пыльной их семьёй,
Задёрнул траурной тафтой.

XLV.

Условий света свергнув бремя,
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то
время.

Мне нравились его черты,
Мечтам невольная
преданность,

Неподражательная странность
И резкий, охлаждённый ум.
Я был озлоблен, он угрюм;
Страстей игру мы знали оба:
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар угас;
Обоих ожидала злоба
Слепой Фортуны и людей
На самом утре наших дней.

XLVI.

Кто жил и мыслил, тот не
может
В душе не презирать людей;

¹ Диана — в мифологии богиня луны, охоты и лесов.

Кто чувствовал, того тревожит
Призрак невозвратимых дней:
Тому уж нет очарований,
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызёт.
Всё это часто придаёт
Большую прелесть разговору.
Сперва Онегина язык
Меня смущал; но я привык
К его язвительному спору,
И к шутке, с желчью пополам,
И злости мрачных эпиграмм.

XLVII.

Как часто летнею порою,
Когда прозрачно и светло
Ночное небо над Невою,
И вод весёлое стекло
Не отражает лик Дианы¹,
Вспомня прежних лет романы,
Вспомня прежнюю любовь,
Чувствительны, беспечны

вновь,

Дыханьем ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!
Как в лес зелёный из тюрьмы
Перенесён колодник сонный,
Так уносились мы мечтой
К началу жизни молодой.

XLVIII.

С душою, полной сожалений,
И опершись на гранит,
Стоял задумчиво Евгений,
Как описал себя Пиит.
Всё было тихо; лишь ночные
Перекликались часовые;
Да дрожек отдалённый стук
С Мильонной раздавался
вдруг;

Лишь лодка, вёслами махая,
Плыла по дремлющей реке:
И нас пленяли вдалеке
Рожок и песня удалая.

Но сла
Напев

Адриат
О Брен
И, вдох
Услышу
Он свят
По горд
Он мне
Ночей И
Я негой
С венеци
То говор
Плыва в
С ней об
Язык Пе

Придёт л
Пора, пор
Брожу на
Маню вет
Под ризой

По вольно
Когда ж н
Пора поки
Мне непри
И средь по
Под небом
Вздыхать с
Где я страд
Где сердце

Онегин был
Увидеть чуж
Но скоро бы
На долгий с

¹ Тассо То
ший писать окт
ной рифмовкой.
² Альбион
³ Петрарка

Но слаще, средь почных забав,
Напев Торкватовых¹ октав!

XLIX.

Адриатические волны,
О Брента! нет, увижу вас,
И, вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!
Он свят для внуков Аполлона;
По гордой лире Альбиона²
Он мне знаком, он мне родной.
Ночей Италии златой
Я негой наслажусь на воле
С венецианкою молодой,
То говорливой, то немой,
Плывя в таинственной гондоле;
С ней обретут уста мои
Язык Петрарки³ и любви.

L.

Придёт ли час моей свободы?
Пора, пора! — взываю к ней;
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей.
Под ризой бурь, с волнами
споря,
По вольному распутью моря
Когда ж начну я вольный бег?
Пора покинуть скучный берег
Мне неприязненной стихии,
И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Вздыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил.

LI.

Онегин был готов со мною
Увидеть чуждые страны;
Но скоро были мы судьбою
На долгий срок разведены.

¹ Тассо Торквато (1544—1595) — знаменитый итальянский поэт, любивший писать октавами, т. е. строфой, состоящей из восьми стихов с определённой рифмовкой.

² Альбион — древнее название Великобритании.

³ Петрарка (1304—1374) — итальянский поэт, мастер любовной лирики.

Отец его тогда скончался.
Перед Онегиным собрался
Займодавцев жадный полк.
У каждого свой ум и толк:
Евгений, тяжбы ненавидя,
Довольный жребием своим,
Наследство предоставил им,
Большой потери в том не видя
Иль предузнав издалика
Кончину дяди старика.

LII.

Вдруг получил он в самом деле
От управителя доклад,
Что дядя при смерти в постеле
И с ним проститься был бы
рад.

Прочтя печальное посланье,
Евгений тотчас на свиданье
Стремглав по почте поскакал
И уж заранее зевал,
Приготовляясь, денег ради,
На вздохи, скуку и обман
(И тем я начал мой роман);
Но, прилетев в деревню дяди,
Его нашёл уж на столе,
Как дань готовую земле.

LIII.

Нашёл он полон двор услуги;
К покойному со всех сторон
Съезжались недруги и друзья,
Охотники до похорон.
Покойника похоронили.
Попы и гости ели, пили
И после важно разошлись,
Как будто делом занялись.
Вот наш Онегин сельский
житель,

Заводов, вод, лесов, земель
Хозяин полный, а досель

Порядка враг и расточитель,
И очень рад, что прежний путь
Переменил на что-нибудь.

LIV.

Два дня ему казались новы
Уединённые поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихого ручья;
На третий роща, холм и поле
Его не занимали боле;
Потом уж наводили сон;
Потом увидел ясно он,
Что и в деревне скука та же,
Хоть нет ни улиц, ни дворцов,
Ни карт, ни балов, ни стихов.
Хандра ждала его на страже,
И бегала за ним она,
Как тень иль верная жена.

LV.

Я был рождён для жизни
мирной,
Для деревенской тишины:
В глуши звучнее голос лирный,
Живее творческие сны.
Досугам посвятись невинным,
Брожу над озером пустынным,
И *far niente*¹ мой закон.
Я каждым утром пробуждён
Для сладкой неги и свободы:
Читаю мало, долго сплю,
Летучей славы не ловлю.
Не так ли я в былые годы
Провёл в бездействии, в тени
Мои счастливейшие дни?

LVI.

Цветы, любовь, деревня,
праздность,
Поля! я предан вам душой.
Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной,

¹ *Far niente* — ничегонеделание.

² *Салгир* — река на Крымском полуострове.

Чтобы насмешливый читатель
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здесь мои черты,
Не повторял потом безбожно,
Что намарал я свой портрет,
Как Байрон, гордости поэт,
Как будто нам уж невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом.

LVII.

Замечу кстати: все поэты —
Любви мечтательной друзья.
Бывало, милые предметы
Мне снились, и душа моя
Их образ тайный сохранила;
Их после Муза оживила:
Так я, беспечен, воспевал
И деву гор, мой идеал,
И пленниц берегов Салгира².
Теперь от вас, мои друзья,
Вопрос нередко слышу я:
«О ком твоя вздыхает лира?
Кому, в толпе ревнивых дев,
Ты посвятил её напев?»

LVIII.

«Чей взор, волнуя вдохновенье,
Умильной лаской наградил
Твое задумчивое пенье?
Кого твой стих боготворил?»
И, други, никого, ей богу!
Любви безумную тревогу
Я безотрадно испытал,
Блажен, кто с нею сочетал
Горячку рифм: он тем удвоил
Поэзии священный бред,
Петрарке шествуя вослед,
А муки сердца успокоил,
Поймал и славу между тем:
Но я, любя, был глуп и нем.

Прош
И пр
Своб
Воли

Пишу
Перо,
Близ
Ни же
Погас

Я всё
И скор
В душ
Тогда-
Поэму

Деревня
Была п
Там дру

Благосл
Господс
Горой о
Стоял на
Пред ни
Луга и
Мелькал
Стада бр
И сени р
Огромны
Приют за

Почтенны
Как замк
Отменно

¹ Дриада

Прошла любовь, явилась Муза,
И прояснился тёмный ум.
Свободен, вновь ищу союза
Волшебных звуков, чувств и
дум;

Пишу, и сердце не тоскует,
Перо, забывшись, не рисует,
Близ неоконченных стихов,
Ни женских ножек, ни голов;
Погасший пепел уж не
вспыхнет,

Я всё грущу: но слёз уж нет,
И скоро, скоро бури след
В душе моей совсем утихнет:
Тогда-то я начну писать
Поэму песен в двадцать пять.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I.

Деревня, где скучал Евгений,
Была прелестный уголок;
Там друг невинных
наслаждений

Благословить бы небо мог.
Господский дом уединенный.
Горой от ветров огражденный,
Стоял над речкою. Вдали
Пред ним пестрели и цвели
Луга и нивы золотые,
Мелькали сёлы; здесь и там
Стада бродили по лугам,
И сени расширял густые
Огромный, запущенный сад,
Приют задумчивых дриад¹.

II.

Почтенный замо́к был построен;
Как замо́ки строиться должны:
Отменно прочен и спокоен,

¹ Дриады — в греческой мифологии богини лесов.

Я думал уж о форме плана
И как героя назову;
Покамест моего романа
Я кончил первую главу;
Пересмотрел всё это строго;
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу;
Цензуре долг свой заплачу;
И журналистам на съеденье
Плоды трудов моих отдам.
Иди же к невским берегам,
Новорождённое творенье,
И заслужи мне славы дань —
Кривые толки, шум и брань!

O rus!
Hor.
O Русь!

Во вкусе умной старины,
Везде высокие покои,
В гостиной штофные обои,
Царей портреты на стенах,
И печи в пёстрых изразцах.
Всё это ныне обветшало,
Не знаю право почему;
Да, впрочем, другу моему
В том нужды было очень мало,
Затем, что он равно зевал
Средь модных и старинных
зал.

III.

Он в том покое поселился,
Где деревенской старожил
Лет сорок с ключницей
бранился,
В окно смотрел и мух давил.
Всё было просто: пол дубовый,
Два шкафа, стол, диван
пуховый,

Нигде ни пятнышка чернил.
Онегин шкафы отворил:
В одном нашёл тетрадь

расхода,
В другом наливок целый строй,
Кувшины с яблочной водой,
И календарь осьмого года:
Старик, имея много дел,
В иные книги не глядел.

IV.

Один среди своих владений,
Чтоб только время проводить,
Сперва задумал наш Евгений
Порядок новый учредить.
В своей глуши мудрец
пустынный,
Ярём он барщины старинной
Оброком лёгким заменил:
И раб судьбу благословил.
Зато в углу своём надулся,
Увидя в этом страшный вред,
Его расчётливый сосед;
Другой лукаво улыбнулся;
И в голос все решили так:
Что он опаснейший чужак.

V.

Сначала все к нему езжали;
Но так как с заднего крыльца
Обыкновенно подавали
Ему донского жеребца,
Лишь только вдоль большой
дороги
Заслышат их домашни дроги:—
Поступком оскорбясь таким,
Все дружбу прекратили с ним.
«Сосед наш неуч; самосбродит;
Он фармазон¹; он пьёт одно
Стаканом красное вино;

¹ Фармазон — искажённое «франкмасон» (масоны — представители религиозно-философского учения). В данном случае это обывательское определение передовых людей того времени.

² Геттинген — город в прусской провинции, где находится известный университет.

³ Кант (1724—1804) — немецкий философ.

Он дамам к ручке не подходит;
Всё да, да нет; не скажет бы-с
Иль нет-с». Таков был общий
глас.

VI.

В свою деревню в ту же пору
Помещик новый прискакал
И столь же строгому разбору
В соседстве повод подавал.
По имени Владимир Ленской,
С душою прямо

геттингенской²,
Красавец, в полном цвете лет,
Поклонник Канта³ и поэт.
Он из Германии туманной
Привёз учёности плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно

странный,
Всегда восторженную речь
И кудри чёрные до плеч.

VII.

От хладного разврата света
Ещё увянуть не успев,
Его душа была согрета
Приветом друга, лаской дев;
Он сердцем милый был
невежда,

Его лелеяла надежда,
И мира новый плеск и шум
Ещё пленяли юный ум.
Он забавлял мечтою сладкой
Сомненья сердца своего;
Цель жизни нашей для него
Была заманчивой загадкой,
Над ней он голову ломал
И чудеса подозревал.

Он ве
Соеди
что,
Его в
Он ве
За че
И что
Разби
что ес
Людей
что их
Неотра
Когда-
И мир

Негодо
Ко бла
И слави
В нём
Он с ли

Под неб
Их поэт
Душа во
И Муз в
Счастли
Он в пес
Всегда в
Порывы
И прете

Он пел л

И песнь
Как мысл
Как сон м
В пустыня
Богиня та
Он пел ра
И нечто и
И романти
Он пел те
Где долго
Лились его

VIII.

Он верил, что душа родная
Соединиться с ним должна,
Что, безотрадно изнывая,
Его вседневно ждёт она;
Он верил, что друзья готовы
За честь его принять оковы,
И что не дрогнет их рука
Разбить сосуд клеветника;
Что есть, избранные судьбами,
Людей священные друзья;
Что их бессмертная семья
Неотразимыми лучами
Когда-нибудь нас озарит
И мир блаженством одарит.

IX.

Негодование, сожаленье,
Ко благу чистая любовь.
И славы сладкое мученье
В нём рано волновали кровь.
Он с лирой странствовал

Под небом Шиллера и Гете,
Их поэтическим огнём
Душа воспламенилась в нём;
И Муз возвышенных искусства,
Счастливцев, он не постыдил:
Он в песнях гордо сохранил
Всегда возвышенные чувства,
Порывы девственной мечты
И прелесть важной простоты.

X.

Он пел любовь, любви послушный.
И песнь его была ясна,
Как мысли девы простодушной,
Как сон младенца, как луна
В пустынях неба безмятежных,
Богиня тайн и вздохов нежных;
Он пел разлуку и печаль,
И нечто и туманну даль,
И романтические розы;
Он пел те дальние страны,
Где долго в лоно тишины
Лились его живые слёзы;

Он пел поблеклый жизни цвет
Без малого в осьмнадцать лет.

XI.

В пустыне, где один Евгений
Мог оценить его дары,
Господ соседственных селений
Ему не нравились пиры, .
Бежал он их беседы шумной.
Их разговор благоразумный
О сенокосе, о вине,
О псарне, о своей родне,
Конечно, не блистал ни
чувством,
Ни поэтическим огнём,
Ни острою, ни умом,
Ни общежития искусством;
Но разговор их милых жён.
Гораздо меньше был умен.

XII.

Богат, хорош собою, Ленский
Везде был принят как жених;
Таков обычай деревенский;
Все дочек прочили своих
За *полурусского соседа*;
Взойдёт ли он, тотчас беседа
Заводит слово стороной
О скуке жизни холостой;
Зовут соседа к самовару,
А Дуня разливает чай,
Ей шепчут: «Дуня, примечай!»
Потом приносят и гитару:
И запищит она (бог мой!):
Приди в чертог ко мне златой!..

XIII.

Но Ленский, не имев, конечно,
Охоты узы брака несть,
С Онегиным желал сердечно
Знакомство покороче свести.
Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лёд и пламень
Не столь различны меж собой.
Сперва взаимной разнотой
Они друг другу были скучны:
Потом поправились; потом

Слезжались каждый день
 верхом,
И скоро стали неразлучны.
Так люди (первый каюсь я)
От делать нечего — друзья.

XIV.

Но дружбы нет и той меж
нами.

Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулями,
А единицами — себя.
Мы все глядим в Наполеоны.
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно.
Нам чувство дико и смешно.
Сноснее многих был Евгений;
Хоть он людей, конечно, знал
И вообще их презирал, —
Но (правил нет без
исключений)

XV.

Он слушал Ленского
с улыбкой:

Поэта пылкий разговор,
И ум, ещё в сужденьях зыбкой.
И вечно вдохновенный взор,—
Онегину всё было ново;
Он охладительное слово
В устах старался удержать
И думал: глупо мне мешать
Его минутному блаженству;
И без меня пора придёт;
Пускай покамест он живёт
Да верит мира совершенству;
Простим горячке юных лет
И юный жар, и юный бред.

XVI.

Меж ими всё рождало споры
И к размышлению влекло:
Племён минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые,

Судьба и жизнь . . .
Всё подвергается . . .
Поэт в жару . . .
Читал, забывшись, . . .
Отрывки северных по . . .
И снисходительный . . .
Хоть их не много . . .
Прилежно юноше . . .

XVII.

Но чаще занимали страсти
Умы пустынных моих.
Ушед от их мятежной власти,
Онегин говорил об них
С невольным вздохом

Блажен, кто ведал их волненья
И наконец от них отстал,
Блаженней тот, кто их не знал,
Кто охлаждал любовь —

разлукой.
Вражду — злословием; порой
Зевал с друзьями и с женой,
Ревливой не тревожась мукой,
И дедов верный капитал
Коварной двойке не вверял!

XVIII.

Когда прибегнем мы под знамя
Благоразумной тишины,
Когда страстей угаснет пламя,
И нам становятся смешны
Их своеволие иль порывы
И запоздалые отзывы —
Смиренные не без труда,
Мы любим слушать иногда
Страстей чужих язык
мятежный.

И нам он сердце шевелит;
Так точно старый инвалид
Охотно клонит слух прилежный
Рассказам юных усачей,
Забытый в хижине своей.

XIX.

Зато и пламенная младость
Не может ничего скрывать.

Она
В д
Онег

Как.
Поэт
Свою
Он пр
Евген
Его л
Обиле
Давно

Ах, он
Уже не
Безуми
Ещё ли
Всегда
Одно п
Одна п
Ни охл
Ни дол
Ни муз
Ни чуж
Ни шум
Души
Согрето

Чуть от
Сердечн
Он был
Её млад
В тени
Он разд
И детям
Друзья-с
В глуши
Невинно
В глазах
Нивела ка
Незнаем
Ни моты

Бразду, любовь, печаль и
радость

Она готова разболтать.
В любви считаясь инвалидом,
Онегин слушал с важным
видом,

Как, сердца исповедь любя,
Поэт высказывал себя;
Свою доверчивую совесть
Он простодушно обнажал.
Евгений без труда узнал
Его любви младую повесть,
Обильный чувствами рассказ
Давно не новым для нас.

XX.

Ах, он любил, как в наши лета
Уже не любят; как одна
Безумная душа поэта
Ещё любить осуждена:
Всегда, везде одно мечтанье,
Одно привычное желанье,
Одна привычная печаль.
Ни охлаждающая даль,
Ни долгие лета разлуки,
Ни музам данные часы,
Ни чужеземные красы,
Ни шум веселий, ни науки
Души не изменили в нём,
Согретою девственным огнём.

XXI.

Чуть отрок, Ольгою пленённый,
Сердечных мук ещё не зная,
Он был свидетель умилённый
Её младенческих забав;
В тени хранительной дубравы
Он разделял её забавы,
И детям прочили венцы
Друзья-соседи, их отцы.
В глуши, под сению смиренной,
Невиной прелести полна,
В глазах родителей, она
Цвела как ландыш потаенный,
Незнаемый в траве глухой
Ни мотыльками, ни пчелой

XXII.

Она поэту подарила
Младых восторгов первый сон,
И мысль об ней одушевила
Его цевницы первый стон.
Простите, игры золотые!
Он роши полюбил густые,
Уединенье, тишину,
И Ночь, и Звёзды, и Луну,
Луну, небесную лампаду,
Которой посвящали мы
Прогулки средь вечерней тьмы
И слёзы, тайных мук отраду...
Но нынче видим только в ней
Замену тусклых фонарей.

XXIII.

Всегда скромна, всегда
послушна,
Всегда как утро весела,
Как жизнь поэта простодушна,
Как поцелуй любви мила,
Глаза как небо голубые,
Улыбка, локоны льняные,
Движенья, голос, лёгкий стан.
Всё в Ольге... но любой роман
Возьмите и найдёте верно
Её портрет: он очень мил,
Я прежде сам его любил,
Но надоел он мне безмерно.
Позвольте мне, читатель мой,
Заняться старшею сестрой.

XXIV.

Её сестра звалась Татьяна...
Впервые именем таким
Страницы нежные романа
Мы своевольно освятим.
И что ж? оно приятно, звучно;
Но с ним, я знаю, неразлучно
Воспоминанье старины
Иль девичьей! Мы все должны
Признаться: вкусу очень мало
У нас и в наших именах
(Не говорим уж о стихах);
Нам просвещение не пристало,
И нам досталось от него
Жеманство, — больше ничего.

XXV.

Она звалась Татьяной.
 Ни красотой сестры своей,
 Ни свежестью её румяной
 Не привлекла б она очей.
 Дика, печальна, молчалива,
 Как лань лесная боязлива,
 Она в семье своей родной
 Казалась девочкой чужой.
 Она ласкаться не умела
 К отцу, ни к матери своей;
 Дитя сама, в толпе детей
 Играть и прыгать не хотела,
 И часто целый день одна
 Сидела молча у окна.

XXVI.

Задумчивость, её подруга
 От самых колыбельных дней,
 Течение сельского досуга
 Мечтами украшала ей.
 Её изнеженные пальцы
 Не знали игл; склоняясь
 на пальцы,
 Узором шёлковым она
 Не оживляла полотна.
 Охоты властвовать примета:
 С послушной куклою дитя:
 Приготавливается шутя
 К приличию — закону света,
 И важно повторяет ей
 Уроки маменьки своей.

XXVII.

Но куклы даже в эти годы
 Татьяна в руки не брала;
 Про вести города, про моды
 Беседы с нею не вела.
 И были детские проказы
 Ей чужды; страшные рассказы
 Зимой в темноте ночей
 Пленяли больше сердце ей.
 Когда же няня собирала
 Для Ольги на широкий луг

Всех маленьких её подруг,
 Она в горелки не играла,
 Ей скучен был и звонкий смех,
 И шум их ветреных утех.

XXVIII.

Она любила на балконе
 Предупреждать зари восход,
 Когда на бледном небосклоне
 Звёзд исчезает хоровод,
 И тихо край земли светлеет,
 И, вестник утра, ветер веет,
 И всходит постепенно день.
 Зимой, когда ночная тень
 Полмиром доле обладает,
 И доле в праздной тишине,
 При отуманенной луне,
 Восток ленивый почивает,
 В привычный час пробуждена,
 Вставала при свечах она.

XXIX.

Ей рано нравились романы;
 Они ей заменяли всё;
 Она влюблялась в обманы
 И Ричардсона¹ и Руссо.
 Отец её был добрый малый,
 В прошедшем веке

запоздалый;

Но в книгах не видал вреда;
 Он, не читая никогда,
 Их почитал пустой игрушкой,
 И не заботился о том,
 Какой у дочки тайный том
 Дремал до утра под подушкой.
 Жена ж его была сама
 От Ричардсона без ума.

XXX.

Она любила Ричардсона
 Не потому, чтобы прочла,
 Не потому, чтоб Грандисона
 Она Ловласу предпочла;
 Но в старину княжна Алина,
 Её московская кузина,

¹ Ричардсон (1689—1761) — английский романист. Большой известностью пользовались его романы «Кларисса», где главным героем был Ловлас, и «Грандисон».

Сержанта часто ей об них.
В то время был ещё жених
Её супруг, но по неволе;
Она вздыхала по другом,
Который сердцем и умом
Ей правился гораздо боле:
Сей Грандисон был славный
франт,
Игрок и гвардии сержант.

XXXI.

Как он, она была одета
Всегда по моде и к лицу; —
Но не спросясь её совета,
Девицу повезли к венцу.
И чтоб её рассеять горе,
Разумный муж уехал вскоре
В свою деревню, где она,
Бог знает кем окружена,
Рвалась и плакала сначала,
С супругом чуть не развелась;
Потом хозяйством занялась,
Привыкла, и довольна стала.
Привычка свыше нам дана:
Замена счастью она.

XXXII.

Привычка уладила горе,
Не отразимое ничем;
Открытие большое вскоре
Её утешило совсем:
Она меж делом и досугом
Открыла тайну, как супругом
Самодержавно управлять,
И всё тогда пошло на стать.
Она езжала по работам,
Солила на зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы,
Ходила в баню по субботам,
Служанок била осердясь —
Всё это мужа не спросясь.

XXXIII.

Бывало, писывала кровью
Она в альбомы нежных дев,
Звала Полинною Прасковью,

И говорила нараспев;
Корсет носила очень узкий,
И русский Н как
N французский
Произносить умела в нос;
Но скоро всё перевелось:
Корсет, альбом, княжну
Алину,
Стишков чувствительных
тетрадь

Она забыла; стала звать
Акулькой прежнюю Селину,
И обновила наконец
На вате шлафор и чепец.

XXXIV.

Но муж любил её сердечно,
В её затей не входил,
Во всём ей веровал беспечно,
А сам в халате ел и пил;
Покойно жизнь его катилась;
Под вечер иногда сходилась
Соседей добрая семья,
Нецеремонные друзья,
И потужить, и позлословить,
И посмеяться кой о чем.
Проходит время; между тем
Прикажут Ольге чай готовить,
Там ужин, там и спать пора,
И гости едут со двора.

XXXV.

Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на масленице жирной
Водились русские блины;
Два раза в год они говели;
Любили круглые качели,
Подблюдны песни, хоровод;
В день троицын, когда народ
Зевая слушает молебен,
Умильно на пучок зари
Они роняли слёзки три;
Им квас как воздух был
потребен,
И за столом у них гостям
Носили блюда по чинам.

И так они старели оба.
И отворились наконец
Перед супругом двери гроба,
И новый он принял венец.
Он умер в час перед обедом,
Оплаканный своим соседом,
Детьми и верною женой
Чистосердечней, чем иной.
Он был простой и добрый

барин,

И там, где прах его лежит,
Надгробный памятник гласит:
*Смиренный грешник, Дмитрий
Ларин,*

*Господний раб и бригадир
Под камнем сим вкушает мир.*

XXXVII.

Своим пенатам возвращенный,
Владимир Ленский посетил
Соседа памятник смиренный,
И вздох он пеплу посвятил;
И долго сердцу грустно было.
«Poor Yorick! ¹ — молвил он
уныло, —

Он на руках меня держал.
Как часто в детстве я играл
Его очаковской медалью!
Он Ольгу прочил за меня,
Он говорил: дождусь ли дня?...»
И полный искренней печалью,
Владимир тут же начертал
Ему надгробный мадригал.

XXXVIII.

И там же надписью печальной
Отца и матери, в слезах,
Почтил он прах

патриархальный...

Увы! На жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле провиденья,

Восходят, зреют и падут;
Другие им вослед идут...
Так наше востроное племя
Растёт, волнуется, кипит
И к гробу прадедов теснит.
Придёт, придёт и наше время,
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас!

XXXIX.

Покамест упивайтесь ею,
Сей лёгкой жизнью, друзья!
Её ничтожность разумею,
И мало к ней привязан я;
Для призраков закрыл я
вежды;

Но отдалённые надежды
Тревожат сердце иногда:
Без не приметного следа
Мне было б грустно мир

оставить.

Живу, пишу не для похвал;
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой
прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук.

XL.

И чье-нибудь он сердце тронет,
И сохранённая судьбой,
Быть может, в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной;
Быть может (лестная
надежда!),

Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет
И молвит: то-то был Поэт!
Прими ж мои благодаренья,
Поклонник мирных аонид.
О ты, чья память сохранит
Мои летучие творенья;
Чья благосклонная рука
Потреплет лавры старика!

¹ Poor Yorick! (англ.) — «Бедный Йорик!» Восклицание Гамлета в сцене на кладбище, когда он берёт в руки череп шута.

«Куда
— Пр
«Я не
Свои
— У

Помил
Там ка
— Ни

Отселе
Во-пер

Простая
К гостя
Варенье
Про до

— Я тут
«Да ску
— Я мо

Милее м
Где я мо
Да полн
Ну что ж

Ах, слуш

Увидеть
Предмет
И слёз, и
Представь

¹ «Она
² Эклога
сывающее се
³ Филло
⁴ Et ceter

Elle était fille. elle était amoureuse.

*Malfilâtre*¹.

— Я рад. — «Когда же?»

— Хоть сейчас.

Они с охотой примут нас.

III.

«Поедем». —

Поскакали други,

Явились; им расточены

Порой тяжёлые услуги

Гостеприимной старины.

Обряд известный угощенья:

Несут на блюдечках варенья,

На столик ставят вошаной

Кувшин с брусничною водой.

.
.
.
.

IV.

Они дорогой самой краткой

Домой летят во весь опор.

Теперь подслушаем украдкой

Героев наших разговор:

— Ну что ж, Онегин? ты

зеваешь.

— «Привычка, Ленский». — Но

скучаешь

Ты как-то больше. — «Нет,

равно.

Однако в поле уж темно;

Скорей! пошёл, пошёл,

Андрюшка!

Какие глупые места!

А кстати, Ларина проста,

Но очень милая старушка;

Боюсь: брусничная вода

Мне не наделала б вреда.

«Куда? Уж эти мне поэты!»

— Прощай, Онегин, мне пора.

«Я не держу тебя; но где ты

Свой проводишь вечера?»

— У Лариных. — «Вот это
чудно.

Помилуй! и тебе не трудно

Там каждый вечер убивать?»

— Ни мало. — «Не могу
понять.

Отселе вижу, что такое:

Во-первых (слушай, прав
ли я?),

Простая, русская семья,

К гостям усердие большое,

Варенье, вечный разговор

Про дождь, про лён, про
скотный двор...»

II.

— Я тут ещё беды не вижу.

«Да скука, вот беда, мой друг».

— Я модный свет ваш
ненавижу;

Милее мне домашний круг,

Где я могу... — «Опять эклога²!

Да полно, милый, ради бога.

Ну что ж? ты едешь? очень
жаль.

Ах, слушай, Ленский; да
нельзя ль

Увидеть мне Филлиду³ эту,

Предмет и мыслей, и пера,

И слёз, и рифм et cetera⁴?..

Представь меня». — Ты
шутишь. — «Нету».

¹ «Она была молодой девушкой, она была влюблена» (Малфилатр).

² Эклога (греч.) — небольшое избранное стихотворение, идиллически опи-
сывающее сельские нравы

³ Филлида — обычное имя героини в античных эклогах.

⁴ Et cetera — и прочее.

V.

Скажи: которая Татьяна?
— Да та, которая грустна
И молчалива как Светлана,
Вошла и села у окна. —
«Неужто ты влюблён в

меньшую?»

— А что? — «Я выбрал бы
другую,

Когда б я был как ты поэт.
В чертах у Ольги жизни нет,
Точь-в-точь в Вандиковой

Мадонне¹;

Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне». —
Владимир сухо отвечал
И после во весь путь молчал.

VI.

Меж тем Онегина явленье
У Лариных произвело
На всех большое впечатленье
И всех соседей развлекло.
Пошла догадка за догадкой.
Все стали толковать украдкой,
Шутить, судить не без греха,
Татьяне прочить жениха;
Иные даже утверждали,
Что свадьба слажена совсем,
Но остановлена затем,
Что модных колец не достали.
О свадьбе Ленского давно
У них уж было решено.

VII.

Татьяна слушала с досадой
Такие сплетни; но тайком
С неизъяснимою отрадой
Невольно думала о том;

И в сердце дума заронилась;
Пора пришла, она влюбилась.
Так в землю падшее зерно
Весны огнём оживлено.
Давно её воображенье,
Сгорая негой и тоской,
Алкало пищи роковой;
Давно сердечное томленье
Теснило её младую грудь;
Душа ждала... кого-нибудь.

VIII.

И дождалась... Открылись очи;
Она сказала: это он!
Увы! теперь и дни и ночи,
И жаркий одинокий сон,
Всё полно им: всё дева милой
Без умолку волшебной силой
Твердит о нём. Докучны ей
И звуки ласковых речей,
И взор заботливой прислуги.
В уныние погружена,
Гостей не слушает она,
И прокликает их досуги,
Их неожиданный приезд
И продолжительный присест.

IX.

Теперь с каким она вниманьем
Читает сладостный роман,
С каким живым очарованьем
Пьёт обольстительный обман!
Счастливой силою мечтанья
Одушевлённые созданья,
Любовник Юлии² Вольмар³,
Малек-Адель⁴ и де Линар⁵,
И Вертер⁶, мученик мятежный,
И бесподобный Грандисон,
Который нам наводит сон,
Все для мечтательницы нежной

¹ Ван-Дейк или Ван-Дик (1599—1641) — известный голландский художник. В ленинградском Эрмитаже есть его картина «Мадонна с куропатками».

² Юлия — героиня романа Жан-Жака Руссо «Новая Элоиза» (1761).

³ Вольмар — возлюбленный Юлии, из того же романа.

⁴ Малек-Адель — герой романа французской писательницы Коттэн (1770—1807).

⁵ Де Линар — герой повести баронессы Крюднер (1764—1824) «Валерия».

⁶ Вертер — герой знаменитого романа Гёте «Страдания молодого Вертера».

В единый
В одном

Вообража
Своих во
Кларисой,
Татьяна
Одна с он
Она в ней
Свой тайн
Плоды се
Вздыхает
Чужой во
В забвень
Письмо дл
Но наш ге
Уж верно

Свой слог
Бывало, пл
Являл нам
Как соверш
Он одарял
Всегда неп
Душой чув
И привлека
Питая жар
Всегда вост
Готов был
И при конц
Всегда нака
Добру дост

¹ Цельфине
Сталь (1802).
² «Вампир»
мечание Пушк
³ «Мельморт
1824), вышедш
⁴ «Вечный
генд. послужив
заголовком «Аг
исследователей,
Льюиза «Амвро
⁵ Корсар —
⁶ Сбогар —
гар» (1818).

...анний образ облеклись,
В одном Онегине слились.

X.

Восбужаясь героиней
Своих возлюбленных творцов,
Кларисой, Юлией, Дельфиной¹,
Татьяна в тишине лесов
Одна с опасной книгой бродит.
Она в ней ищет и находит
Свой тайный жар, свои мечты,
Плоды сердечной полноты,
Вздыхает и, себе присвоя
Чужой восторг, чужую грусть,
В забвении шепчет наизусть
Письмо для милого героя...
Но наш герой, кто б ни был он,
Уж верно был не Грандисон.

XI.

Свой слог на важный лад
настрою,

Бывало, пламенный творец
Являл нам своего героя
Как совершенства образец.
Он одарял предмет любимый,
Всегда несправедливо гонимый,
Душой чувствительной, умом
И привлекательным лицом.
Питая жар чистейшей страсти,
Всегда восторженный герой
Готов был жертвовать собой,
И при конце последней части
Всегда наказан был порок,
Добру достойный был венок.

¹ Дельфина — героиня одноимённого романа французской писательницы Сталь (1802).

² «Вампир» — повесть, неправильно приписанная лорду Байрону. ((Примечание Пушкина.))

³ «Мельмот-Скиталец» — роман английского писателя Мэтью Мэтью (1782—1824), вышедший в 1820 г.

⁴ «Вечный жид» — синоним вечного скитальца; герой многочисленных легенд, послуживших сюжетами многих произведений мировой литературы под заголовком «Агасфер» — имя легендарного Вечного Жида; по предположению исследователей, здесь имеется в виду роман английского писателя Мэтью Мэтью (1782—1824), вышедший в 1820 г.

⁵ Корсар — герой поэмы Байрона — Конрад, мрачный разбойник.

⁶ Сбогар — герой романа французского писателя Ш. Нодье «Жан Сбогар» (1818).

XII.

А нынче все умы в тумане,
Мораль на нас наводит сон.
Порок любезен — и в романе,
И там уж торжествует он.
Британской музы небылицы
Тревожат сон отроковицы,
И стал теперь её кумир
Или задумчивый Вампир²,
Или Мельмот³, бродяга

мрачный,
Иль Вечный жид⁴, или
Корсар⁵,
Или таинственный Сбогар⁶.
Лорд Байрон прихотью

удачной
Облёт в унылый романтизм
И безнадежный эгоизм.

XIII.

Друзья мои, что ж толку
в этом?

Быть может, волею небес,
Я перестану быть поэтом,
В меня вселится новый бес,
И, Фебовы презрев угрозы,
Унижусь до смиренной прозы;
Тогда роман на старый лад
Займёт весёлый мой закат.
Не муки тайные злодейства
Я грозно в нём изображу,
Но просто вам перескажу
Преданья русского семейства,
Любви пленительные сны,
Да нравы нашей старины.

XIV.

Перескажу простые речи
Отца или дяди-старика,
Детей условленные встречи
У старых лип, у ручейка;
Несчастной ревности мученья,
Разлуку, слёзы примиренья,
Поссорю вновь, и наконец
Я поведу их под венец...
Я вспомню речи неги страстной,
Слова тоскующей любви,
Которые в минувши дни
У ног любовницы прекрасной
Мне приходили на язык,
От коих я теперь отвык.

XV.

Татьяна, милая Татьяна!
С тобой теперь, я слёзы лью;
Ты в руки модного тирана
Уж отдала судьбу свою.
Погибнешь, милая; но прежде
Ты в ослепительной надежде
Блаженство тёмное зовёшь,
Ты негу жизни узнаёшь,
Ты пьёшь волшебный яд
желаний,
Тебя преследуют мечты:
Везде воображаешь ты
Приюты счастливых свиданий;
Везде, везде перед тобой
Твой искунитель роковой.

XVI.

Тоска любви Татьяну гонит,
И в сад идёт она грустить,
И вдруг недвижны очи клонит,
И лень ей далее ступить.
Приподнялася грудь, ланиты
Мгновенным пламенем

покрыты,

Дыханье замерло в устах,
И в слухе шум, и блеск в

очах...

Настанет ночь; луна обходит
Дозором дальний свод небес,
И соловей во мгле древес

Напевы звучные заводит.
Татьяна в темноте не спит
И тихо с няней говорит:

XVII.

«Не спится, няня: здесь так
душно!
Открой окно, да сядь ко мне».
— Что, Таня, что с тобой? —

«Мне скучно,
Поговорим о старине».
— О чём же, Таня? Я, бывало,
Хранила в памяти не мало
Старинных былей, небылиц
Про злых духов и про девиц;
А нынче всё мне тёмно, Таня:
Что знала, то забыла. Да,
Пришла худая череда!

Зашибло... — «Расскажи мне,
няня,

Про ваши старые года:
Была ты влюблена тогда?»

XVIII.

— И, полно, Таня! в эти лета
Мы не слыхали про любовь;
А то бы согнала со света
Меня покойница свекровь. —
«Да как же ты венчалась,
няня?»

— Так, видно, бог велел. Мой
Ваня

Моложе был меня, мой свет,
А было мне тринадцать лет.
Недели две ходила сваха
К моей родне, и наконец
Благословил меня отец.
Я горько плакала со страха,
Мне с плачем косу расплели,
Да с пеньем в церковь повели.

XIX.

И вот ввели в семью чужую...
Да ты не слушаешь меня... —
«Ах, няня, няня, я тоскую,
Мне тошно, милая моя:
Я плакать, я рыдать готова!»

Дитя моё, ты нездорова;
Господь помилуй и спаси!
Что ты хочешь, попроси...
Дай окроплю святой водою,
Ты вся горнишь... — «Я не

больна:
Я... знаешь, няня... влюблена».
— Дитя моё, господь
с тобою! —

И няня девушку с мольбой
Крестила дряхлою рукой.

XX.

«Я влюблена», шептала снова
Старушке с горестью она.

— Сердечный друг, ты
нездорова.

«Оставь меня: я влюблена».

И между тем луна сняла
И томным светом озаряла
Татьяны бледные красы,
И распушённые власы,
И капли слёз, и на скамейке
Пред героиней молодой,
С платком на голове седой,
Старушку в длинной

телогрейке;
И всё дремало в тишине
При вдохновительной луне.

XXI.

И сердцем далеко носилась
Татьяна, смотря на луну...
Вдруг мысль в уме её

родилась...
«Поди, оставь меня одну.

Дай, няня, мне перо, бумагу,
Да стол подвинь; я скоро лягу,
Прости». И вот она одна.

Всё тихо. Светит ей луна.
Облокотясь, Татьяна пишет,

И всё Евгений на уме,
И в необдуманном письме
Любовь невинной девы дышит.

Письмо готово, сложено...
Татьяна! для кого ж оно?

XXII.

Я знал красавиц недоступных,
Холодных, чистых как лед,
Неумолимых, неподкупных,
Непостижимых для ума;
Дивился я их спеси модной,
Их добродетели природной,
И, признаюсь, от них бежал,
И, мнится, с ужасом читал
Над их бровями надпись ала:
Оставь надежду навсегда.
Внушать любовь для них беда,
Пугать людей для них отрада.
Быть может на берегах Невы
Подобных дам видали вы.

XXIII.

Среди поклонников послушных
Других причудниц я видал,
Самолюбиво равнодушных
Для вздохов страстных и

похвал.

И что ж нашёл я с изумленьем?
Они, суровым поведением
Пугая робкую любовь,
Её привлечь умели вновь,
По крайней мере, сожаленьем.
По крайней мере, звук речей
Казался иногда нежней,
И с легковёрным ослепленьем
Опять любовник молодой
Бежал за милой суетой.

XXIV.

За что ж виновнее Татьяна?
За то ль, что в милой простоте
Она не ведает обмана
И верит избранной мечте?
За то ль, что любит без

искусства,

Послушная влеченью чувства,
Что так доверчива она,
Что от небес одарена
Воображением мятежным,
Умом и волею живой,
И своенравной головой,
И сердцем пламенным и

нежным?

и жели не простите ей
Вн легкомыслия страстей?..

XXV.

Кокетка судит хладнокровно,
Татьяна любит не шутя
И предаётся безусловно
Любви, как милое дитя.
Не говорит она: отложим —
Любви мы цену тем умножим,
Вернее в сети заведём
Сперва тщеславие колынем
Надеждой, там недоуменьем
Измучим сердце, а потом
Ревнивым оживим огнём;
А то, скучая наслажденьем,
Невольник хитрый из оков
Всечасно вырваться готов.

XXVI.

Ещё предвижу затрудненье:
Родной земли спасая честь,
Я должен буду, без сомненья,
Письмо Татьяны перевести.
Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала,
И выражалась с трудом
На языке своём родном, —
Итак, писала по-французски...
Что делать! повторяю вновь:
Доныне дамская любовь
Не изъяснялася по-русски,
Доныне гордый наш язык
К почтовой прозе не привык.

XXVII.

Я знаю: дам хотят заставить
Читать по-русски. Право,
Могут ли их себе представить
С Благонамеренным¹ в руках!
Я шлюсь на вас, мои поэты;

Не правда ли, милая
Которым... за...
Писали втайне эти стихи,
Которым сердце поворачивалось
Не все ли, русским языком
Владея слабо и с трудом,
Его так мило искажали,
И в их устах язык чужой
Не обратился ли в родной?

XXVIII.

Не дай мне бог сойтись на бале
Иль при разезде на крыльце
С семинаристом в жёлтой шале
Иль с академиком в чепце!
Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю.
Быть может, на беду мою,
Красавиц новых поколение,
Журналов вняв молящий глас,
К грамматике приучит нас,
Стихи введут в употребление,
Но я... какое дело мне?
Я верен буду старине.

XXIX.

Неправильный, небрежный
Неточный выговор речей
По-прежнему сердечный трепет
Произведут в груди моей;
Раскаяться во мне нет силы,
Мне галлицизмы будут милы,
Как прошлой юности грехи,
Как Богдановича² стихи.
Но полно. Мне пора заняться
Письмом красавицы моей;
Я слово дал, и что ж? ей-ей
Теперь готов уж отказаться.
Я знаю: нежного Парни³
Перо не в моде в наши дни.

Печень...
Когда б...
Я стал б...

Тебя тре...
Чтоб на в...
Перелож...
Иноплеме...
Где ты? ...
Передаю...
Но посред...
Отвыкнув...
Один, под...

Он бродит...
Не слыши...

Письмо Та...
Его я свя...
Читаю с та...
И начитат...
Кто ей вну...
И слов люб...
Кто ей вну...
Безумный...
И увлекате...
Я не могу...
Неполный...
С живой ка...

Или разыгр...
Перстами р...

Письмо Та...

Я к вам пи...
Что я могу...
Теперь, я зв...
Меня презр...
Но вы, к мо...
Хоть каплю...
Вы не оста...
Сначала я м...

«Пир»...
«Фредрик»...
немецкого комп...

¹ «Благонамеренный» — журнал, издававшийся в 1816—1826 гг. А. Е. Измайловым (1779—1831).

² И. Ф. Богданович (1743—1803) — автор шуточной поэмы «Душенька».

³ Парни (1753—1814) — французский поэт.

XXX.

Песен *Пиров*¹ и грусти томной,
Когда б ещё ты был со мной,
Я стал бы просьбою

нескромной

Тебя тревожить, милый мой:
Чтоб на волшебные напевы
Переложил ты страстной девы
Иноплеменные слова.

Где ты? приди: свои права
Передаю тебе с поклоном...
Но посреди печальных скал,
Отвыкнув сердцем от похвал,
Один, под финским

небосклоном,

Он бродит, и душа его
Не слышит горя моего.

XXXI.

Письмо Татьяны предо мною:
Его я свято берегу,

Читаю с тайною тоскою

И начитаться не могу.

Кто ей внушал и эту нежность,
И слов любезную небрежность?

Кто ей внушал умильный вздор,

Безумный сердца разговор

И увлекательный, и вредный?

Я не могу понять. Но вот

Неполный, слабый перевод,

С живой картины список

бледный.

Или разыгранный Фрейшиц²

Перстами робких учениц.

Письмо Татьяны к Онегину.

Я к вам пишу — чего же боле?

Что я могу ещё сказать?

Теперь, я знаю, в вашей воле

Меня презреньем наказать.

Но вы, к моей несчастной доле

Хоть каплю жалости храня,

Вы не оставите меня.

Сначала я молчать хотела;

Поверьте: моего стыла

Вы не узнали б никогда,

Когда б надежду я имела

Хоть редко, хоть в неделю раз

В деревне нашей видеть вас,

Чтоб только слышать ваши

речи

Вам слово молвить, и потом

Всё думать, думать об одном

И день и ночь до новой встречи.

Но, говорят, вы нелюдим;

В глуши, в деревне всё вам

скучно,

А мы... ничем мы не блесним,

Хоть вам и рады простодушно.

Зачем вы посетили нас?

В глуши забытого селенья

Я никогда не знала б вас,

Не знала б горького мученья.

Души неопытной волненья

Смирив со временем

(как знать?),

Но сердцу я нашла бы друга,

Была бы верная супруга

И добродетельная мать.

Другой!.. Нет, никому на

свете

Не отдала бы сердца я!

То в вышнем суждено совете...

То воля неба: я твоя;

Вся жизнь моя была залогом

Свиданья верного с тобой;

Я знаю, ты мне послан богом,

До гроба ты хранитель мой...

Ты в свиденьях мне являлся.

Незримый, ты мне был уж мил,

Твой чудный взгляд меня томил,

В душе твой голос раздавался

Давно... нет, это был не сон!

Ты чуть вошёл, я вмиг узнала,

Вся обомлела, запылала

И в мыслях молвила: вот он!

¹ «Пирей» — поэма Е. А. Баратынского (1800—1844), написанная в Финляндии.

² «Фрейшиц» («Волшебный стрелок») — популярная в то время опера немецкого композитора Вебера (1786—1826).

Не правда ль? я тебя слыхала:
Ты говорил со мной в тиши,
Когда я бедным помогала,
Или молитвой улаживала
Тоску волнуемой души?
И в это самое мгновенье
Не ты ли, милое виденье,
В прозрачной темноте

мелькнул,
Приникнул тихо к изголовью?
Не ты ль, с отрадой и любовью,
Слова надежды мне шепнул?
Кто ты, мой ангел ли

хранитель,
Или коварный искуситель:
Мои сомненья разреши.
Быть может, это всё пустое,
Обман неопытной души!
И суждено совсем иное...
Но так и быты! Судьбу мою
Отныне я тебе вручаю,
Перед тобою слёзы лью,
Твоей защиты умоляю...
Вообрази: я здесь одна,
Никто меня не понимает,
Рассудок мой изнемогает,
И молча гибнуть я должна.
Я жду тебя: единым взором
Надежды сердца оживи,
Иль сон тяжёлый перерви,
Увы, заслуженным укором!

Кончаю! Страшно

перечестъ...
Стыдом и страхом замираю...
Но мне порукой ваша честь,
И смело ей себя вверяю...

XXXII.

Татьяна то вздохнёт, то охнет;
Письмо дрожит в её руке;
Облатка розовая сохнет
На воспалённом языке.
К плечу головушкой

склонилась.
Сорочка лёгкая спустилась
С её прелестного плеча...
Но вот уж лунного луча

Сиянье гаснет. Там долина
Сквозь пар яснее. Там поток
Засеребрился; там рожок
Пастуший будит селянина.
Вот утро: встали все давно,
Моей Татьяне всё равно.

XXXIII.

Она зари не замечает,
Сидит с поникшею главой
И на письмо не напирает
Своей печати вырезной.
Но, дверь тихонько отпирая,
Уж ей Филиппевна седая
Приносит на подносе чай.
«Пора, дитя моё, вставай:
Да ты, красавица, готова!
О пташка ранняя моя!
Вечор уж как боялась я!
Да, слава богу, ты здорова!
Тоски ночной и следу нет.
Лицо твоё, как маков цвет».

XXXIV.

— Ах! няня, сделай
одолженье... —
«Изволь, родная, прикажи».
— Не думай... право...
подозренья...
Но видишь... ах! не откажи. —
«Мой друг, вот бог тебе
порука».

— Итак пошли тихонько внука
С запиской этой к О... к тому...
К соседу... да велеть ему —
Чтоб он не говорил ни слова,
Чтоб он не называл меня... —
«Кому же, милая моя?
Я нынче стала бестолкова.
Кругом соседей много есть:
Куда мне их и перечестъ».

XXXV.

— Как недогадлива ты,
няня! —
«Сердечный друг, уж я стара.
Стара: тупеет разум, Таня:
А то, бывало, я остра,
Бывало, слово барской воли...»

— Ах,
что ну...
ты види...
к Онеги...
не гнев...
ты знае...
да что

— Так,
пошли

но день
другой

бледна к...
Татьяна
приехал
«Скажи

ему вопр...
«Он что-т...
Татьяна,
— Сегодн...
Старушке...
Да, видно...
Татьяна п...
Как будто

Смеркало...
Шипел веч...
Китайский...
Под ним к...
разлитый...
По чашкам...
уже души...
и сливки...
Татьяна пр...
на стёкла...
Задумавши...
Прелестным...
на отумане...
Заветный ве

и между те...
и слёз был

— Ах, няня, няня! до того ли?
Что нужды мне в твоём уме?
Ты видишь, дело о письме
К Онегину. — «Ну, дело, дело.
Не гневайся, душа моя,
Ты знаешь, непонятна я...
Да что ж ты снова

побледнела?»

— Так, няня, право ничего.
Пошли же внука своего. —

XXXVI.

Но день протёк, и нет ответа.
Другой настал: всё нет, как

нет.

Бледна как тень, с утра одета,
Татьяна ждёт: когда ж ответ?
Приехал Ольгин обожатель.

«Скажите: где же ваш
приятель?»

Ему вопрос хозяйки был:

«Он что-то нас совсем забыл».

Татьяна, вспыхнув, задрожала.

— Сегодня быть он обещал, —

Старушке Ленский отвечал,

Да, видно, почта задержала. —

Татьяна потупила взор,

Как будто слыша злой укор.

XXXVII.

Смеркалось; на столе, блистая,

Шипел вечерний самовар,

Китайский чайник нагревая;

Под ним клубился лёгкий пар.

Разлитый Ольгиной рукою,

По чашкам тёмною струёю

Уже душистый чай бежал,

И сливки мальчик подавал;

Татьяна пред окном стояла,

На стёкла хладные дыша,

Задумавшись, моя душа,

Прелестным пальчиком писала

На отуманенном стекле

Заветный вензель О да Е.

XXXVIII.

И между тем душа в ней ныла

И слёз был полон томный взор.

Вдруг топот!.. кровь её застыла.
Вот ближе! скачут... и на двор
Евгений! «Ах!» — и легче тени
Татьяна прыг в другие сени,
С крыльца на двор, и прямо

в сад.

Летит, летит; взглянуть назад

Не смеет; мигом обежала

Куртины, мостики, лужок,

Аллею к озеру, лесок,

Кусты сирен переломала,

По цветникам летя к ручью

И задыхаясь, на скамью

XXXIX.

Упала...

«Здесь он! — здесь Евгений!

О боже! что подумал он!»

В ней сердце полное мучений

Хранит надежды тёмный сон;

Она дрожит и жаром пышет,

И ждёт: нейдёт ли! Но не

слышит.

В саду служанки, на грядках,

Сбирали ягоды в кустах

И хором по наказу пели

(Наказ, основанный на том,

Чтоб барской ягоды тайком

Уста лукавые не ели,

И пеньем были заняты:

Затея сельской остроты!).

Песня девушек.

Девицы, красавицы,

Душеньки, подруженьки,

Разыграйтесь, девицы,

Разгуляйтесь, милые!

Затяните песенку,

Песенку заветную.

Заманите молодца

К хороподу нашему.

Как заманим молодца,

Как завидим издали,

Разбежимтесь, милые,

Закидаем вишеньем,

Вишеньем, малиною.

Красною смородиной.

Не ходи подслушивать

Песенки заветные
Не ходи подсматривать
Игры наши девичьи.

XL.

Они поют, и, с небреженьем
Внимая звонкий голос их,
Ждала Татьяна с нетерпеньем,
Чтоб трепет сердца в ней затих,
Чтобы прошло данит пыланье.
Но в персях то же трепетанье,
И не проходит жар ланит,
Но ярче, ярче лишь горит...
Так бедный мотылёк и

блещет,
И бьётся радужным крылом,
Пленённый школьным
шалуном;
Так зайчик в озими трепещет,

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I. II. III. IV. V. VI.
VII.

Чем меньше женщину мы
любим,
Тем легче нравимся мы ей,
И тем её вернее губим
Средь обольстительных сетей.
Разврат, бывало,

хладнокровной
Наукой славился любовной,
Сам о себе везде трубя
И наслаждаясь не любя.
Но эта важная забава
Достойна старых обезьян
Хвалёных дедовских времен:
Ловласов обветшала слава
Со славой красных каблучков
И величавых париков.

VIII.

Кому не скучно лицемерить,
Различно повторять одно,

Увидя вдруг издалека
В кусты припавшего стрелка.

XLI.

Но наконец она вздохнула
И встала со скамьи своей;
Пошла, но только повернула
В аллею, прямо перед ней,
Блистая взорами, Евгений
Стоит подобно грозной тени,
И как огнём обожжена
Остановилась она.
Но следствия нежданной
встречи
Сегодня, милые друзья,
Пересказать не в силах я;
Мне должно после долгой речи
И погулять, и отдохнуть:
Докончу после как-нибудь.

La morale est dans la nature des choses.
Necker¹.

Стараться важно в том
уверить,
В чём все уверены давно,
Всё те же слышать возраженья,
Уничтожать предрассужденья,
Которых не было и нет
У девочки в тринадцать лет!
Кого не утомят угрозы,
Моления, клятвы, мнимый
страх,
Записки на шести листах,
Обманы, сплетни, кольца,
слёзы,

Надзоры тёток, матерей
И дружба тяжкая мужей!

IX.

Так точно думал мой Евгений.
Он в первой юности своей
Был жертвой бурных
заблуждений
И необузданных страстей.

¹ Нравственность в природе вещей (Неккер).

Привычкой жизни избалован,
Одним на время очарован,
Разочарованный другим,
Желаньем медленно томим,
Томим и ветреным успехом,
Внимая в шуме и в тиши
Роптанье вечное души,
Зевоту подавляя смехом:
Вот как убил он восемь лет,
Утратя жизни лучший цвет.

X.

В красавиц он уж не
влюблялся,
А волочился как-нибудь;
Откажут — мигом утешался,
Изменят — рад был отдохнуть.
Он их искал без упоенья,
А оставлял без сожаленья,
Чуть помня их любовь и злость.
Так точно равнодушный гость
На вист¹ вечерний приезжает,
Садится; кончилась игра:
Он уезжает со двора,
Спокойно дома засыпает,
И сам не знает поутру,
Куда поедет ввечеру.

XI.

Но, получив посланье Тани,
Онегин живо тронут был:
Язык девических мечтаний
В нём думы роем возмутил;
И вспомнил он Татьяны милой
И бледный цвет, и вид унылый;
И в сладостный, безгрешный сон
Душою погрузился он.
Быть может, чувствий пыл
старинный
Им на минуту овладел;
Но обмануть он не хотел
Доверчивость души невинной.
Теперь мы в сад перелетим,
Где встретилась Татьяна с ним.

¹ Вист — игра в карты.

XII.

Минуты две они молчали,
Но к ней Онегин подошёл.
И молвил: «Вы ко мне писали,
Не отпирайтесь. Я прочёл
Души доверчивой признанья,
Любви невинной излиянья;
Мне ваша искренность мила;
Она в волненье привела
Давно умолкнувшие чувства;
Но вас хвалить я не хочу;
Я за неё вам отплачу
Признаньем также без
искусства;
Примите исповедь мою:
Себя на суд вам отдаю.

XIII.

«Когда бы жизнь домашним
кругом
Я ограничить захотел;
Когда б мне быть отцом,
супругом
Приятный жребий повелел;
Когда б семейственной
картиной
Пленился я хоть миг единый, —
То верно б кроме вас одной
Невесты не искал иной.
Скажу без блёсток
мадригальных
Нашед мой прежний идеал,
Я верно б вас одну избрал
В подруги дней моих
печальных,
Всего прекрасного в залог,
И был бы счастлив... сколько
мог.

XIV.

«Но я не создан для
блаженства;
Ему чужда душа моя;
Напрасны ваши совершенства!
Их вовсе недостойн я.

Поверьте (совесть в том
порукой),
Супружество нам будет мукой.
Я, сколько ни любил бы вас,
Привыкнув, разлюблю тотчас;
Начнёте плакать: ваши слёзы
Не тронут сердца моего,
А будут лишь бесить его.
Судите ж вы, какие розы
Нам заготовит Гименей¹
И, может быть, на много дней.

XV.

«Что может быть на свете хуже
Семьи, где бедная жена
Грустит о недостойном муже,
И днём и вечером одна;
Где скучный муж, ей цену зная
(Судьбу однако ж проклиная),
Всегда нахмурен, молчалив,
Сердит и холодно-ревнив!
Таков я. И того ль искали
Вы чистой, пламенной душой,
Когда с такою простотой,
С таким умом ко мне писали?
Ужели жребий вам такой
Назначен строгою судьбой?»

XVI.

«Мечтам и годам нет возврата,
Не обновлю души моей...
Я вас люблю любовью брата
И, может быть, ещё нежней.
Послушайте ж меня без гнева!
Сменит не раз молодая дева
Мечтами лёгкие мечты;
Так деревцо свои листы
Меняет с каждою весною.
Так видно небом суждено.
Полюбите вы снова: но...
Учитесь властвовать собою:
Не всякий вас, как я, поймёт,
К беде неопытность ведёт».

¹ Гименей — бог брака в греческой мифологии.

XVII.

Так проповедовал Евгений.
Сквозь слёз не видя ничего,
Едва дыша, без возражений,
Татьяна слушала его.
Он подал руку ей. Печально
(Как говорится, *машинально*)
Татьяна, молча, оперлась,
Головкой томною склонясь;
Пошли домой вокруг огорода;
Явились вместе, и никто
Не вздумал им пенять на то:
Имеет сельская свобода
Свои счастливые права,
Как и надменная Москва.

XVIII.

Вы согласитесь, мой читатель,
Что очень мило поступил
С печальной Таней наш
приятель;

Не в первый раз он тут явил
Души прямое благородство,
Хотя людей недоброхотство
В нём не щадило ничего:
Враги его, друзья его
(Что, может быть, одно и то же)
Его честили так и сяк.
Врагов имеет в мире всяк,
Но от друзей спаси нас, боже!
Уж эти мне друзья, друзья!
Об них недаром вспомнил я.

XIX.

А что? Да так. Я усыпляю
Пустые, чёрные мечты;
Я только в скобках замечаю,
Что нет презренной клеветы,
На чердаке вралём рождённой
И светской чернью ободрённой
Что нет нелепицы такой,
Ни эпиграммы площадной,
Которой бы ваш друг
с улыбкой,

В кругу порядочных людей,
Без всякой злобы и затей,
Не повторил стократ ошибкой;
А впрочем он за вас горой:
Он вас так любит... как родной!

XX.

Гм! гм! Читатель благородный,
Здорова ль ваша вся родня?
Позвольте: может быть, угодно
Теперь узнать вам от меня,
Что значит именно *родные*.
Родные люди вот какие:
Мы их обязаны ласкать,
Любить, душевно уважать
И, по обычаю народа,
О рождестве их навещать
Или по почте поздравлять,
Чтоб остальное время года
Не думали о нас они...
Итак, дай бог им долги дни!

XXI.

Зато любовь красавиц нежных
Надёжней дружбы и родства:
Над нею и средь бурь
мятежных

Вы сохраняете права.
Конечно, так. Но вихорь моды,
Но своекравие природы,
Но мненья светского поток...
А милый пол, как пух, легок.
К тому ж и мнения супруга
Для добродетельной жены
Всегда почтенны быть должны;
Так ваша верная подруга
Бывает вмиг увлечена:
Любовью шутит сатана.

XXII.

Кого ж любить? Кому же
верить?

Кто не изменит нам один?
Кто все дела, все речи мерит
Услужливо на наш аршин?
Кто клеветы про нас не сеет?
Кто нас заботливо лелеет?
Кому порок наш не беда?

Кто не наскучит никогда?
Призрака суетный искатель,
Трудов напрасно не губя,
Любите самого себя,
Достопочтенный мой читатель!
Предмет достойный: ничего
Любезней, верно, нет его.

XXIII.

Что было следствием свиданья?
Увы, не трудно угадать!
Любви безумные страданья
Не перестали волновать
Младой души, печали жадной;
Нет, пуще страстью
безотрадной

Татьяна бедная горит;
Её постели сон бежит;
Здоровье, жизни цвет и
сладость,
Улыбка, девственный покой,
Пропало всё, что звук пустой,
И меркнет милой Тани

младость

Так одевает бури тень
Едва рождающийся день.

XXIV.

Увы, Татьяна увядает;
Бледнеет, гаснет и молчит!
Ничто её не занимает,
Её души не шевелит.
Качая важно головою,
Соседи шепчут меж собою:
Пора, пора бы замуж ей!..
Но полно. Надо мне скорей
Развеселить воображенье
Картиной счастливой любви.
Невольно, милые мои,
Меня стесняет сожаленье;
Простите мне: я так люблю
Татьяну милую мою!

XXV.

Час от часу пленённый боле
Красами Ольги молодой,
Владимир сладостной неволе
Предался полною душой.
Он вечно с ней. В её покое

Они сидят в потёмках двое;
Они в саду, рука с рукой,
Гуляют утренней порой;
И что ж? Любовью упоенный
В смятении нежного стыда,
Он только смеет иногда,
Улыбкой Ольги ободренный,
Развитым локоном играть,
Иль край одежды целовать.

XXVI.

Он иногда читает Оле
Нравоучительный роман,
В котором автор знает боле
Природу, чем Шатобриан¹.
А между тем две, три страницы
(Пустые бредни, небылицы,
Опасные для сердца дев)
Он пропускает, покраснев.
Уединясь от всех далёко,
Они над шахматной доской,
На стол облокотясь, порой
Сидят, задумавшись глубоко,
И Ленский пешкою ладью
Берёт в рассеянии свою.

XXVII.

Поедет ли домой: и дома
Он занят Ольгою своей.
Летучие листки альбома
Прилежно украшает ей:
То в них рисует сельски виды,
Надгробный камень, храм
Киприды²,
Или на лире голубка
Пером и красками слегка;
То на листках воспоминанья
Пониже подписи других
Он оставляет нежный стих,
Безмолвный памятник
мечтанья,
Мгновенной думы долгий след,
Всё тот же после многих лет.

XXVIII.

Конечно, мы не раз видали
Уездной барышни альбом,
Что все подружки измарали
С конца, с начала и кругом.
Сюда, на зло правописанью,
Стихи без меры, по преданию,
В знак дружбы верной

внесены,

Уменьшены, продолжены.
На первом листике встречаешь
Qu'écrirez-vous sur ces tablettes?
И подпись: *l. d. v. Annette*³,
А на последнем прочитаешь:
«Кто любит более тебя,
Пусть пишет далее меня».

XXIX.

Тут непременно вы найдёте
Два сердца, факел и цветки;
Тут верно клятвы вы прочтёте
В любви до гробовой доски;
Какой-нибудь *пиит* армейский
Тут подмахнул стишок
злодейский.

В такой альбом, мои друзья,
Признаться, рад писать и я,
Уверен будучи душою,
Что всякий мой усердный вздор
Заслужит благосклонный взор,
И что потом с улыбкой злою
Не станут важно разбирать,
Остро иль нет я мог соврать.

XXX.

Но вы, разрозненные томы
Из библиотеки чертей,
Великолепные альбомы,
Мученье модных рифмачей,
Вы, украшённые проворно
Толстого⁴ кистью чудотворной
Иль Баратынского пером,

¹ Шатобриан (1768—1848) — писатель, представитель дворянского романтизма во Франции.

² Киприда — так называлась Афродита (богиня любви), по острову Кипру.

³ «Что вы напишете на этих листках?» «Вся ваша Аннета».

⁴ Ф. Т. Толстой (1783—1873) — известный художник и гравёр.

Пускай сожжёт вас божий
гром!

Когда блистательная дама
Мне свой *in quarto* подаёт,
И дрожь и злость меня берёт,
И шевелится эпиграмма
Во глубине моей души,
А мадригалы им пиши!

XXXI.

Не мадригалы Ленский пишет
В альбоме Ольги молодой;
Его перо любовью дышит,
Не хладно блещет остротой;
Что ни заметит, ни услышит
Об Ольге, он про то и пишет:
И, полны истины живой,
Текут элегии рекой.
Так ты, Языков¹ вдохновенный,
В порывах сердца своего,
Поёшь, бог ведает, кого,
И свод элегий драгоценный
Представит некогда тебе
Всю повесть о твоей судьбе.

XXXII.

Но тише! Слышишь? Критик
строгий
Повелевает сбросить нам
Элегии венок убогий,
И нашей братье рифмачам
Кричит: «Да перестаньте
плакать
И всё одно и то же квакать,
Жалеть о *прежнем*, о *былом*:
Довольно, пойте о другом!»
— Ты прав, и верно нам
укажешь
Трубу, личину и кинжал,
И мыслей мёртвый капитал
Отвсюду воскресить
прикажешь;
Не так ли, друг? — «Ничуть.
Куда!
Пишите оды, господа,

XXXIII.

«Как их писали в мощны годы,
Как было встарь заведено...»
— Одни торжественные оды!
И, полно, друг; не всё ль
равно?

Припомни, что сказал сатирик!
*Чужого толка*² хитрый лирик
Ужели для тебя сносней
Унылых наших рифмачей? —
«Но всё в элегии ничтожно;
Пустая цель её жалка;
Меж тем цель оды высока
И благородна...» Тут бы можно
Поспорить нам, но я молчу:
Два века ссорить не хочу.

XXXIV.

Поклонник славы и свободы,
В волненьи бурных дум своих,
Владимир и писал бы оды,
Да Ольга не читала их.
Случалось ли поэтам слезным
Читать в глаза своим
любезным
Свои творенья? Говорят,
Что в мире выше нет наград.
И впрямь, блажен любовник
скромный,
Читающий мечты свои
Предмету песен и любви,
Красавице приятно-томной!
Блажен... хоть, может быть,
она
Совсем иным развлечена.

XXXV.

Но я плоды моих мечтаний
И гармонических затей
Читаю только старой няне,
Подруге юности моей,
Да после скучного обеда
Ко мне забредшего соседа,
Поймав неожиданно за полу,

¹ Н. М. Языков (1803—1846) — поэт.

² «Чужой толк» — сатирическое стихотворение поэта И. И. Дмитриева (1760—1837), написанное в 1795 г.

Душу тоскою и
Наш (но что кроме тоски),
Тоской и рифмами томим,
Грозя над Озером мчим,
Пугая стадо диких уток
Вняв певью сладкозвучных
струй,

Они слетают с берегов.

XXXVI. XXXVII.

А что ж Онегин? Кстати,
братья!

Терпенья вашего прошу:
Его вседневные занятия
Я вам подробно опишу.
Онегин жил анахоретом¹;
В седьмом часу вставал он
летом

И отправлялся налегке
К бегущей под горой реке;
Певцу Гюльнари² подражая,
Сей Геллеспонт³ переплывал,
Потом свой кофе выпивал,
Плохой журнал перебирая,
И одевался...

XXXVIII. XXXIX.

Прогулки, чтение, сон глубокой,
Лесная тень, журчанье струй,
Порой беляки черноокой
Младой и свежий попелуй,
Узде послушный конь ретивый,
Обед довольно прихотливый,
Бутылка светлого вина,
Уединенье, тишина:
Вот жизнь Онегина святая;
И нечувствительно он ей
Предался, красных летних дней
В беспечной неле не считая,
Забыв и город, и друзей,
И скуку праздничных затей.

XI.

Но наше северное лето,
Карикатура южных зим,

¹ Анахорет — отшельник, пустынный.

² Гюльнари — героиня поэмы Байрона «Корсар».

³ Геллеспонт — старинное название Дарданелльского пролива.

И вот уже трещат морозы
И серебрятся средь полей...
(Читатель ждёт уж рифмы
розы:

На, вот возьми её скорей!)
Опрятней модного паркета
Блестит речка, льдом одета,
Мальчишек радостный народ
Коньками звучно режет лёд;
На красных лапках гусь
тяжёлый.

XLII.

Задумав плыть по лону вод,
Ступает бережно на лёд,
Скользит и падает; весёлый

XLII.

И вот уже трещат морозы
И серебрятся средь полей...
(Читатель ждёт уж рифмы
розы:

На, вот возьми её скорей!)
Опрятней модного паркета
Блестит речка, льдом одета,
Мальчишек радостный народ
Коньками звучно режет лёд;
На красных лапках гусь
тяжёлый.

Задумав плыть по лону вод,
Ступает бережно на лёд,
Скользит и падает; весёлый

Мед
Зв
В г
Гул
Нез
Одн
Ска
Но
Неза
Того
Сиди
Чита
Не хо
Серд
Кой-а
И сла
Прям
Вдало
Со сна
И посл
Один,
Тупым
Он на
Играет
Настан
В
Пр
ся больш
Вал
ских ром
Кли
ского.
Илл
Пегас (кр
ного исто

Мелькает, вьётся первый снег,
Звездами падая на брег.

XLIII.

В глуши что делать в эту пору?
Гулять? Деревня той порой
Невольно докучает взору
Однообразной наготой¹.
Скакать верхом в степи

суровой?

Но конь, притупленной
подковой

Неверный зацепляя лёд,
Того и жди, что упадёт.
Сиди под кровлею пустынной,
Читай: вот Прадт², вот

W. Scott³.

Не хочешь? — Поверяй расход,
Сердись, иль пей, и вечер

длинный

Кой-как пройдёт, а завтра
то ж,

И славно зиму проведёшь.

XLIV.

Прямым Онегин Чильд
Гарольдом

Вдался в задумчивую лень:

Со сна садится в ванну со

льдом,

И после, дома целый день,

Один, в расчёты погружённый,

Тупым киём вооружённый,

Он на бильярде в два шара

Играет с самого утра.

Настанет вечер деревенский:

¹ В беловой рукописи вариант:

В глуши что делать в это время?

Гулять? — Но голы все места,

Как лысое Сатурна темя

Иль крепостная нищета.

² Прадт (1759—1837) — французский писатель-публицист, пользовавшийся большим успехом.

³ Вальтер Скотт (1771—1831) — шотландский писатель; автор исторических романов.

⁴ Клико, Моэ, Ай — наиболее известные сорта французского шампанского.

⁵ Иппокрена — волшебный источник, появившийся на горе Геликон, где Пегас (крылатый конь) ударил о землю копытом; всякий, пивший из волшебного источника, получал дар говорить стихами.

Бильярд оставлен, кий забыт,
Перед камином стол накрыт,
Евгений ждёт: вот едет Ленский
На тройке чалых лошадей:
Давай обедать поскорей!

XLV.

Вдовы Клико или Моэта⁴
Благословенное вино

В бутылке мёрзлой для поэта

На стол тотчас принесено.

Оно сверкает Иппокреной⁵;

Оно своей игрой и пеной

(Подобием того-сего) —

Меня пленяло: за него

Последний бедный лепт,

бывало,

Давал я. Помните ль, друзья?

Его волшебная струя

Рождала глупостей немало,

А сколько шуток и стихов,

И споров, и весёлых снов!

XLVI.

Но изменяет пеной шумной

Оно желудку моему,

И я Бордо благоразумный

Уж нынче предпочёл ему.

К Ай я больше не способен;

Ай любовнице подобен

Блестящей, ветреной, живой,

И своенравной, и пустой...

Но ты, Бордо, подобен другу,

Который в горе и в беде,

Товарищ навсегда, везде,

Готов нам оказать услугу,

Иль тихий разделить досуг.
Тя здравствует Бордо, наш
друг!

XLVII.

Огонь потух; едва золою
Подёрнут уголь золотой;
Едва заметно струёю
Внётся пар, и теплотой
Камин чуть дышит. Дым

из трубок
В трубу уходит. Светлый кубок
Ещё шипит среди стола.
Вечерняя находит мгла...
(Люблю я дружеские враки
И дружеский бокал вина
Порою той, что названа
Пора меж волка и собаки,
А почему, не вижу я.)
Теперь беседуют друзья:

XLVIII.

«Ну, что соседки? Что Татьяна?
Что Ольга резвая твоя?»
— Налей ещё мне полстакана...
Довольно, милый... Вся семья
Здорова; кланяться велели.
Ах, милый, как похорошели
У Ольги плечи, что за груди!
Что за душа!.. Когда-нибудь
Заедем к ним; ты их обяжешь.
А то, мой друг, суди ты сам:
Два раза заглянул, а там
Уж к ним и носу не покажешь.
Да вот... какой же я болван!
Ты к ним на той неделе зван. —

XLIX.

«Я?» — Да, Татьяны именины
В субботу. Оленька и мать
Велели звать, и нет причины
Тебе на зов не приезжать. —
«Но куча будет там народу
И всякого такого сброду...»
— И, никого, уверен я!

Кто будет там? своя семья.
Поедем, сделай одолженья!
Ну, что ж? — «Согласен». —
Как ты мил!

При сих словах он осушил
Стакан, соседке приношение,
Потом разговорился вновь
Про Ольгу: такова любовь!

L.

Он весел был. Чрез две недели
Назначен был счастливый срок.
И тайна брачные постели
И сладостной любви венок
Его восторгов ожидали.
Гимена хлопоты, печали,
Зевоты хладная чреда
Ему не снились никогда.
Меж тем как мы, враги Гимена,
В домашней жизни зрим один
Ряд утомительных картин,
Роман во вкусе Лафонтена¹...
Мой бедный Ленский, сердцем

он

Для оной жизни был рождён.

LI.

Он был любим... по крайней
мере
Так думал он, и был счастлив.
Стократ блажен, кто предан
вере,

Кто, хладный ум уgomонив,
Покоится в сердечной неге,
Как пьяный путник на ночлеге,
Или, нежней, как мотылёк,
В весенний влившийся цветок;
Но жалок тот, кто всё
предвидит,

Чья не кружится голова,
Кто все движенья, все слова
В их переводе ненавидит,
Чьё сердце опыт остудил
И забываться запретил!

¹ Август Лафонтен — автор множества семейственных романов. (Примечание Пушкина.)

О, не знай сих страшных снов
Ты, моя Светлана!

Жуковский.

I.

В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе
На третье в ночь. Проснувшись
рано,

В окно увидела Татьяна
Поутру побелевший двор,
Куртины, кровли и забор,
На стеклах лёгкие узоры,
Деревья в зимнем серебре,
Сорок весёлых на дворе
И мягко устланные горы
Зимы блистательным ковром.
Всё ярко, всё бело кругом.

II.

Зима!.. Крестьянин торжествуя
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетётся рысью как-нибудь;
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая;
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке.
Вот бегают дворовый мальчик,
В салазки жучку посадив,
Себя в коня преобразив;
Шалун уж заморозил пальчик:
Ему и больно, и смешно,
А мать грозит ему в окно...

III.

Но, может быть, такого рода
Картины вас не привлекут;
Всё это низкая природа;
Изящного не много тут.

Согретый вдохновенья богом,
Другой поэт роскошным слогом
Живописал нам первый снег
И все оттенки зимних нег;
Он вас пленит, я в том уверен,
Рисуя в пламенных стихах
Прогулки тайные в санях¹;
Но я бороться не намерен
Ни с ним покамест, ни с тобой,
Певец финляндки молодой!²

IV.

Татьяна (русская душою,
Сама не зная, почему)
С её холодною красою
Любила русскую зиму,
На солнце иней в день

морозный,
И сани, и зарёю поздней
Сиянье розовых снегов,
И мглу крещенских вечеров.
По старине торжествовали
В их доме эти вечера:
Служанки со всего двора
Про барышень своих гадали
И им сулили каждый год
Мужьёв военных и поход.

V.

Татьяна верила преданьям
Простонародной старины,
И снам, и карточным гаданьям,
И предсказаниям луны.
Её тревожили приметы;
Таинственно ей все предметы
Провозглашали что-нибудь,
Предчувствия теснили грудь.
Жеманный кот, на печке сидя,

¹ Пушкин имел в виду стихотворение II. Вяземского «Первый снег», написанное в 1819 г.

² Певец финляндки молодой — Е. Баратынский, автор «Финляндской по-
вести» в стихах «Эда».

Мурлыча, лапкой рыльце мыл;
То несомненный знак ей был,
Что едут гости. Вдруг увидя
Младой двурогий лик луны
На небе с левой стороны,

VI.

Она дрожала и бледнела.
Когда ж падучая звезда
По небу тёмному летела
И рассыпалась, — тогда
В смятении Таня торопилась,
Пока звезда ещё катилась,
Желанье сердца ей шепнуть.
Когда случилось где-нибудь
Ей встретить чёрного монаха,
Иль быстрый заяц меж полей
Перебегал дорогу ей,
Не зная, что начать со страха,
Предчувствий горестных полна,
Ждала несчастья уж она.

VII.

Что ж? Тайну прелесть
...находила

И в самом ужасе она:
Так нас природа сотворила,
К противоречию склонна.
Настали святки. То-то радость!
Гадает ветреная младость,
Которой ничего не жаль,
Перед которой жизни даль
Лежит светла, необозрима;
Гадает старость сквозь очки
У гробовой своей доски,
Всё потеряв невозвратно;
И всё равно: надежда им
Лжёт детским лепетом своим.

VIII.

Татьяна любопытным взором
На воск потопленный глядит:
Он чудно-вылитым узором
Ей что-то чудное гласит;
Из блюда, полного водою,
Выходят кольца чередою;
И вынулось колечко ей
Под песенку старинных дней:

«Там мужички-то все богаты,
Гребут лопатой серебро;
Кому поём, тому добро
И слава!» Но сулит утраты
Сей песни жалостный напев;
Милей кошурка сердцу дев.

IX.

Морозна ночь; всё небо ясно;
Светил небесных дивный хор
Течёт так тихо, так согласно...
Татьяна на широкий двор
В открытом платье выходит,
На месяц зеркало наводит;
Но в тёмном зеркале одна
Дрожит печальная луна...
Чу... снег хрустит... прохожий;

дева

К нему на цыпочках летит,
И голосок её звучит
Нежней свирельного напева:
Как ваше имя? Смотрит он
И отвечает: Агафон.

X.

Татьяна, по совету няни,
Сбираясь ночью ворожить,
Тихонько приказала в бане
На два прибора стол накрыть;
Но стало страшно вдруг

Татьяне...

И я — при мысли о Светлане
Мне стало страшно — так и
быть...

С Татьяной нам не ворожить.
Татьяна поясок шелковый
Сняла, разделась и в постель
Легла. Над нею вьётся Лель.
А под подушкою пуховой
Девичье зеркало лежит.
Утихло всё. Татьяна спит.

XI.

И снится чудный сон Татьяне.
Ей снится, будто бы она
Идёт по снеговой поляне,
Печальной мглой окружена;
В сугробах снежных перед нею

Шум
Кипу
Пото
Две

Дрожа
Поло
И пр
Недо
Оста

Как н
Татья
Не ви
С той
Но вд
И кто
Больш

Татьян
И лапу
Ей про
Дрожа
И бояз
Перебр
Пошла

Она, вз
Поспеш
Но от к
Не мож
Кряхтя,

Пред ни

В своей
Отягчен
Клоками

Осин, бер
Сняет лу
Дороги не
Метелью
Глубоко

Шумит, клубит волной своею
Кипучий, тёмный и седой
Поток, не скованный зимой;
Две жёрдочки, склеённые
льдиной,
Дрожащий, гибельный мосток,
Положены через поток:
И пред шумящею пучиной,
Недоумения полна,
Остановилась она.

XII.

Как на досадную разлуку,
Татьяна ропщет на ручей;
Не видит никого, кто руку
С той стороны подал бы ей;
Но вдруг сугроб зашевелился,
И кто ж из-под него явился?
Большой взъерошенный

медведь;

Татьяна ах! а он реветь,
И лапу с острыми когтями
Ей протянул: она скрепясь
Дрожащей ручкой оперлась
И боязливыми шагами
Перебралась через ручей;
Пошла — и что ж? Медведь
за ней!

XIII.

Она, взглянуть назад не смея,
Поспешный ускоряет шаг;
Но от косматого лакея
Не может убежать никак;
Кряхтя, валит медведь

несносный;

Пред ними лес; недвижны
сосны

В своей нахмуренной красе;
Отягчены их ветви все
Клоками снега; сквозь

вершины

Осин, берёз и лип нагих
Сияет луч светил ночных;
Дороги нет; кусты, стремнины
Метелью все занесены,
Глубоко в снег погружены.

XIV.

Татьяна в лес; медведь за нею;
Снег рыхлый по колени ей;
То длинный сук её за шею
Зацепит вдруг, то из ушей
Златые серьги вырвет силой,
То в хрупком снеге с ножки

милой

Увязнет мокрый башмачок;
То выронит она платок,
Поднять ей некогда; боится,
Медведя слышит за собой,
И даже трепетной рукой
Одежды край поднять

стыдится;

Она бежит, он всё вослед:
И сил уже бежать ей нет.

XV.

Упала в снег; медведь проворно
Её хватает и несёт;
Она бесчувственно-покорна,
Не шевельнётся, не дохнёт;
Он мчит её лесной дорогой;
Вдруг меж дерев шалаш

убогий;

Кругом всё глушь; отовсюду он
Пустынным снегом занесён,
И ярко светится окошко,
И в шалаше и крик и шум;
Медведь промолвил: *здесь мой*
кум:

Погрейся у него немножко!
И в сени прямо он идёт,
И на порог её кладёт.

XVI.

Опомнилась, глядит Татьяна:
Медведя нет; она в сенях;
За дверью крик и звон стакана,
Как на больших похоронах;
Не видя тут ни капли толку,
Глядит она тихонько в щёлку,
И что же видит?.. за столом
Сидят чудовища кругом:
Один в рогах с собачьей
мордой.

И ничего не говорит.
Хоть не являла книга эта
Ни сладких вымыслов поэта,
Ни мудрых истин; ни картин;
Но ни *Виргилий*¹, ни *Расин*²,
Ни *Скотт*, ни *Байрон*, ни

Сенека³,
Ни даже *Дамских Мод Журнал*⁴

Так никого не занимал:
То был, друзья, *Мартын*
Задека⁵,

Глава халдейских мудрецов,
Гадатель, толкователь снов.

XXIII.

Сие глубокое творенье
Завёз кочующий купец
Однажды к ним в уединенье
И для *Татьяны* наконец
Его с разрозненной *Мальвиной*⁶
Он уступил за три с полтиной,
В придачу взяв ещё за них
Собрание басен площадных,
Грамматику, две *Петриады*⁷,
Да *Мармонтеля*⁸ третий том.
Мартын Задека стал потом
Любимец *Тани*... Он отрады
Во всех печалях ей дарит
И безотлучно с нею спит.

XXIV.

Её тревожит сновиденье.
Не зная, как его понять,
Мечтанья страшного значенье
Татьяна хочет отыскать.
Татьяна в оглавлении кратком

Находит азбучным порядком
Слова: бор, буря, ведьма, ель,
метель

Еж, мрак, мосток, медведь,
И прочая. Её сомнений
Мартын Задека не решит;
Но сон зловещий ей сулит
Печальных много приключений.
Дней несколько она потом
Всё беспокоилась о том.

XXV.

Но вот багряною рукою
Заря от утренних долин
Выводит с солнцем за собою
Весёлый праздник именин.
С утра дом *Лариных* гостями
Весь полон; целыми семьями
Соседи съехались в возках,
В кибитках, в бричках и в
саях.

В передней толкотня, тревога;
В гостиной встреча новых лиц,
Лай мосек, чмоканье девиц,
Шум, хохот, давка у порога,
Поклоны, шарканье гостей,
Кормилиц крик и плач детей.

XXVI.

С своей супругою дородной
Приехал толстый *Пустяков*;
Гвоздин, хозяин превосходный,
Владелец нищих мужиков;
Скотинины, чета седая,
С детьми всех возрастов, считая
От тридцати до двух годов;
Уездный франтик *Петушков*,

¹ *Виргилий* (70—19 гг. до н. э.) — римский поэт, автор «Энеиды».

² *Расин* (1639—1699) — французский драматург, автор трагедии «Федра» и других.

³ *Сенека* (ум. в 65 г. н. э.) — римский философ и писатель.

⁴ «*Дамских Мод Журнал*» — вероятно, «Дамский журнал», издававшийся с 1823 г. писателем кн. Шаликовым.

⁵ *Мартын Задека* — имя, под которым выпускались толкователи снов.

⁶ «*Мальвина*» — роман писательницы Коттэн, переведённый на русский язык в 1816—1818 гг.

⁷ «*Петриада*» — героическая поэма в десяти песнях А. Грузинцева.

⁸ *Мармонтель* (1724—1799) — французский писатель, пользовавшийся большой популярностью; автор романа «Велисарий» и других произведений.

Мой брат двоюродный, Буянов,
В пуху, в картузе с козырьком
(Как вам, конечно, он знаком),
И отставной советник Флянов,
Тяжёлый сплетник, старый
плут,

Обжора, взяточник и шут.

XXVII.

С семьёй Панфила Харликова
Приехал и мосье Трике,
Остряк, недавно из Тамбова,
В очках и в рыжем парике.
Как истинный француз,

в кармане

Трике привёз куплет Татьяне
На голос, знаемый детьми:
*Réveillez-vous, belle endormie*¹.
Меж ветхих песен альманаха
Был напечатан сей куплет;
Трике, догадливый поэт,
Его на свет явил из праха,
И смело вместо *belle*² Nina
Поставил *belle Tatiana*.

XXVIII.

И вот из ближнего посада,
Созревших барышень кумир,
Уездных матушек отрада,
Приехал ротный командир;
Вошёл... Ах, новость, да какая!
Музыка будет полковая!
Полковник сам её послал.
Какая радость: будет бал!
Девчонки прыгают заране;
Но кушать подали. Четою
Идут за стол рука с рукой.
Теснятся барышни к Татьяне;
Мужчины против: и, крестясь,
Толпа жужжит за стол садясь.

XXIX.

На миг умолкли разговоры;
Уста жуют. Со всех сторон
Гремят тарелки и приборы,
Да рюмок раздаётся звон.

¹ Проснитесь, спящая красotka.
² Прекрасная.

Но вскоре гости понемногу
Подъемлют общую тревогу.
Никто не слушает, кричат,
Смеются, спорят и пишат.
Вдруг двери настежь. Ленский
входит

И с ним Онегин. «Ах, творец!» —
Кричит хозяйка: — «наконец!»
Теснятся гости, всяк отводит
Приборы, стулья поскорей;
Зовут, сажают двух друзей.

XXX.

Сажают прямо против Тани,
И, утренней луны бледней
И трепетней гонимой лани,
Она темнеющих очей
Не подымает: пышет бурно
В ней страстный жар; ей
душно, дурно;

Она приветствий двух друзей
Не слышит, слёзы из очей
Хотят уж капать; уж готова
Бедняжка в обморок упасть;
Но воля и рассудка власть
Превозмогли. Она два слова
Сквозь зубы молвила тишком
И усидела за столом.

XXXI.

Траги-нервических явлений,
Девичьих обмороков, слёз
Давно терпеть не мог Евгений:
Довольно их он перенёс.
Чудак, попав на пир огромный,
Уж был сердит. Но, девы
томной

Заметя трепетный порыв,
С досады взоры опустив,
Надулся он, и, негодуя,
Поклялся Ленского взбесить
И уж порядком отомстить.
Теперь, заране торжествуя,
Он стал чертить в душе своей
Карикатуры всех гостей.

Коне
Смят
Но ц
В то
(К н
Да в
Межд
Цимл
За ни

Подоб
Зизи,
Предм
Любви
Ты, от

Освобо
Бутылк
Шипит

Куплет
Трике

Хранит
Татьяна
К ней о

Запел ф

Его при
Певцу п
Поэт же

Её здоро
И ей куп

Пошли п
Татьяна
Когда же
Дошло, то

¹ Бостон
² Роберт
³ Омир

XXXII.

Конечно, не один Евгений
Смятенье Тани видеть мог;
Но целью взоров и суждений
В то время жирный был пирог
(К несчастью, пересолённый);
Да вот в бутылке засмолённой,
Между жарким и блан-манже,
Цимлянское несут уже;
За ним строй рюмок узких,
длинных,

Подобных талии твоей,
Зизи, кристалл души моей,
Предмет стихов моих невинных,
Любви приманчивый фиял,
Ты, от кого я пьян бывал!

XXXIII.

Освободясь от пробки влажной,
Бутылка хлопнула; вино
Шипит; и вот с осанкой
важной,

Куплетом мучимый давно,
Трике встаёт; пред ним
собрание

Хранит глубокое молчанье.
Татьяна чуть жива; Трике,
К ней обратясь с листком

в руке,
Запел фальшивя. Плески,
клики

Его приветствуют. Она
Певцу присесть принуждена;
Поэт же скромный, хоть

великий,
Её здоровье первый пьёт
И ей куплет передаёт.

XXXIV.

Пошли приветы, поздравленья;
Татьяна всех благодарит.
Когда же дело до Евгенья
Дошло, то девы томный вид,

Её смущение, усталость
В его душе родили жалость:
Он молча поклонился ей;
Но как-то взор его очей
Был чудно нежен. Оттого ли,
Что он и вправду тронут был,
Иль он, кокетствуя, шалил,
Невольно ль, иль из доброй
воли,
Но взор сей нежность изъявил:
Он сердце Тани оживил.

XXXV.

Гремят отдвинутые стулья;
Толпа в гостиную валит:
Так пчёл из лакомого улья
На ниву шумный рой летит.
Довольный праздничным

обедом,
Сосед сопит перед соседом;
Подсели дамы к камельку;
Девы шепчут в уголку;
Столы зелёные раскрыты:
Зовут задорных игроков
Бостон и ломбер¹ стариков,
И вист доныне знаменитый,
Однообразная семья,
Все жадной скуки сыновья.

XXXVI.

Уж восемь робертов² сыграли
Герои виста; восемь раз
Они места переменяли;
И чай несут. Люблю я час
Определять обедом, чаем
И ужином. Мы время знаем
В деревне без больших сует:
Желудок — верный наш брегет;
И, кстати, я замечу в скобках,
Что речь веду в моих строфах
Я столь же часто о пирах,
О разных кушаньях и пробках,
Как ты, божественный Омир³,
Ты, тридцати веков кумир!

¹ Бостон и ломбер — старинные карточные игры.

² Роберт, или, иначе, роббер — в карточной игре (висте) двойная партия.

³ Омир или Гомер (IX в. до н. э.) — знаменитый древнегреческий поэт.

Но чай несут: девицы чинно
Едва за блюдечки взялись,
Вдруг из-за двери в зале
длинной

Фагот и флейта раздались.
Обрадован музыки громом,
Оставя чашку чаю с ромом,
Парис окружных городков,
Подходит к Ольге Петушков,
К Татьяне Ленский; Харликову,
Невесту переспелых лет,
Берёт тамбовский мой поэт,
Умчал Буянов Пустякову,
И в залу высыпали все,
И бал блестит во всей красе.

XL.

В начале моего романа
(Смотрите первую тетрадь)
Хотелось вроде мне Альбана¹
Бал петербургский описать;
Но, развлечён пустым
мечтаньем,

Я занялся воспоминаньем
О ножках мне знакомых дам.
По вашим узеньким следам,
О ножки, полно заблуждаться!
С изменой юности моей
Пора мне сделаться умней,
В делах и в слоге поправляться,
И эту пятую тетрадь
От отступлений очищать.

XLI.

Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь
шумный:

Чета мелькает за четой.
К минуте мщенья приближаясь,
Онегин, втайне усмехаясь,
Подходит к Ольге. Быстро с ней

Вертится около гостей,
Потом на стул её сажает,
Заводит речь о том, о сём;
Спустя минуты две потом
Вновь с нею вальс он
продолжает;
Все в изумленьи. Ленский сам
Не верит собственным глазам.

XLII.

Мазурка раздалась. Бывало,
Когда гремел мазурки гром,
В огромной зале всё дрожало,
Паркет трещал под каблуком,
Тряслися, дребезжали рамы;
Теперь не то: и мы, как дамы,
Скользим по лаковым доскам.
Но в городах, по деревням,
Ещё мазурка сохранила
Первоначальные красы:
Припрыжки, каблуки, усы
Всё те же: их не изменила
Лихая мода, наш тиран,
Недуг новейших россиян.

XLIII. XLIV.

Буянов, братец мой задорный,
К герою нашему подвёл
Татьяну с Ольгою: проворно
Онегин с Ольгою пошёл;
Ведёт её, скользя небрежно,
И, наклонясь, ей шепчет

Какой-то пошлый мадригал²,
И руку жмёт — и запыхал
В её лице самолюбивом
Румянец ярче. Ленский мой
Всё видел: вспыхнул, сам
нежно
не свой;

В негодовании ревнивом
Поэт конца мазурки ждёт
И в котильон³ её зовёт.

¹ Альбани (1578—1660) — итальянский художник.

² Мадригал — небольшое шуточное любовное стихотворение.

³ Котильон — танец из нескольких фигур.

Но ей нельзя. Нельзя? Но
что же?

Да Ольга слово уж дала
Онегину. О боже, боже!
Что слышит он? Она могла...
Возможно ль? Чуть лишь из
пелёнок,
Кокетка, ветреный ребёнок!

Уж хитрость ведаёт она,
Уж изменять научена!
Не в силах Ленский снести
удара;
Проказы женские кляня,
Выходит, требует коня
И скачет. Пистолетов пара,
Две пули — больше ничего —
Вдруг разрешат судьбу его.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

La, sotto i giorni nubilosi e brevi,
Nasce una gente a cui'l morir non dolet.
Petr.

I.

Заметив, что Владимир
скрылся,
Онегин, скукой вновь гоним,
Близ Ольги в думу погрузился,
Довольный мщением своим.
За ним и Оленька зевала,
Глазами Ленского искала,
И бесконечный котильон
Её томил как тяжкий сон.
Но кончен он. Идут за ужин.
Постели стелют; для гостей
Ночлег отводят от сеней
До самой девичьей. Всем нужен
Покойный сон. Онегин мой
Один уехал спать домой.

II.

Всё успокоилось; в гостиной
Храпит тяжёлый Пустяков
С своей тяжёлой половиной.
Гвоздин, Буянов, Петушков
И Флянов, не совсем здоровый,
На стульях улеглись

в столовой,
А на полу мосье Трике,
В фуфайке, старом колпаке.
Девицы в комнатах Татьяны
И Ольги все объаты сном.

¹ Там, под облачным небом, где краток день, рождается племя, которому
не больно умирать (Петрарка).

Одна, печальна, под окном,
Озарена лучом Дианы,
Татьяна бедная не спит
И в поле тёмное глядит.

III.

Его неожиданным появлением,
Мгновенной нежностью очей
И странным с Ольгой
поведеньем
До глубины души своей
Она проникнута; не может
Никак понять его; тревожит
Её ревнивая тоска,
Как будто хладная рука
Ей сердце жмёт, как будто
бездна

Под ней чернеет и шумит...
«Погибну», — Таня говорит,
«Но гибель от него любезна.
Я не ропщу: зачем роптать?
Не может он мне счастья
дать». —

IV.

Вперёд, вперёд, моя история!
Лицо нас новое зовёт.
В пяти верстах
от Красногорья,
Деревни Ленского, живёт

И здравствует ещё доныне
В философической пустыне
Зарецкий, некогда буян,
Картёжной шайки атаман,
Глава повес, трибун

трактирный,
Теперь же добрый и простой
Отец семейства холостой,
Надёжный друг, помещик
мирный
И даже честный человек:
Так исправляется наш век!

V.

Бывало, льстивый голос света
В нём злую храбрость

выхвалял:

Он, правда, в туз из пистолета
В пяти саженьях попадал,
И то сказать, что и в сраженьи
Раз в настоящем упоеньи
Он отличился, смело в грязь
С коня калмыцкого свалясь,
Как зюзя пьяный, и французам
Достался в плен: драгой залог!
Новейший Регул¹, чести бог,
Готовый вновь предаться узам,
Чтоб каждым утром у Веры²
В долг осушать бутылки три.

VI.

Бывало, он трунил забавно,
Умел морочить дурака
И умного дурачить славно,
Иль явно, иль исподтишка,
Хоть и ему иные штуки
Не проходили без науки,
Хоть иногда и сам впросак
Он попадался, как простак.
Умел он весело поспорить,
Остро и тупо отвечать,
Порой расчётливо смолчать,
Порой расчётливо повздорить,

Друзей поссорить молодых
И на барьер поставить их,

VII.

Иль помириться их заставить,
Дабы позавтракать втроём,
И после тайно обесславить
Весёлой шуткою, враньём.
*Sed alia tempora!*³ Удалость
(Как сон любви, другая

шалость)

Проходит с юностью живой.
Как я сказал, Зарецкий мой,
Под сень черёмух и акаций
От бурь укрывшись, наконец,
Живёт, как истинный мудрец,
Капусту сажит, как Гораций⁴,
Разводит уток и гусей
И учит азбуке детей.
Он был не глуп; и мой Евгений,
Не уважая сердца в нём,
Любил и дух его суждений,
И здравый толк о том, о сём.
Он с удовольствием, бывало,
Видался с ним, и так нимало
Поутру не был удивлён,
Когда его увидел он.
Тот после первого привета,
Прервав начатый разговор,
Онегину, осклабя взор,
Вручил записку от поэта.
К окну Онегин подошёл
И про себя её прочёл.

IX.

То был приятный, благородный,
Короткий вызов, иль картель:
Учтиво, с ясностью холодной
Звал друга Ленский на дуэль.
Онегин с первого движенья,
К послу такого порученья

¹ *Régul* (III в. до н. э.) — римский полководец и консул.

² *Верй* — парижский ресторатор того времени.

³ Но времена иные.

⁴ *Гораций* (65—8 гг. до н. э.) — римский поэт.

Оборотясь, без лишних слов
Сказал, что он *всегда* готов.
Зарецкий встал без объяснений;
Остаться доле не хотел,
Имея дома много дел,
И тотчас вышел; но Евгений
Наедине с своей душой
Был недоволен сам собой.

X.

И поделом: в разборе строгом,
На тайный суд себя призвав,
Он обвинял себя во многом:
Во-первых, он уж был неправ,
Что над любовью робкой,

нежной.

Так подшутил вечер небрежно.
А во-вторых: пускай поэт
Дурачится, в осьмнадцать лет
Оно простительно. Евгений,
Всем сердцем юношу любя,
Был должен оказать себя
Не мячиком предрассуждений,
Не пылким мальчиком, бойцом,
Но мужем с честью и с умом.

XI.

Он мог бы чувства обнаружить,
А не щетиниться, как зверь;
Он должен был обезоружить
Младое сердце: «Но теперь
Уж поздно; время улетело...
К тому ж — он мыслит — в это

дело

Вмешался старый дуэлист;
Он зол, он сплетник, он речист...
Конечно: быть должно

презренье

Ценой его забавных слов,
Но шёпот, хохотня глупцов...»
И вот общественное мнение!
Пружина чести, наш кумир!
И вот на чём вертится мир!

XII.

Кипя враждой нетерпеливой,
Ответа дома ждёт поэт;
И вот сосед велеречивый
Привёз торжественно ответ.

Теперь ревнивцу то-то

праздник!

Он всё боялся, чтоб проказник
Не отшутился как-нибудь,
Уловку выдумав и грудь
Отворотив от пистолета.
Теперь сомненья решены:
Они на мельницу должны
Приехать завтра до рассвета,
Взвести друг на друга курок
И метить в ляжку иль в висок.

XIII.

Решась кокетку ненавидеть,
Кипящий Ленский не хотел
Пред поединком Ольгу видеть,
На солнце, на часы смотрел,
Махнул рукою напоследок —
И очутился у соседок.
Он думал Оленьку смутить,
Своим приездом поразить;
Не тут-то было: как и прежде,
Навстречу бедного певца
Прыгнула Оленька с крыльца,
Подобна ветреной надежде,
Резва, беспечна, весела,
Ну точно та же, как была.

XIV.

«Зачем вечер так рано
скрылись?» —

Был первый Оленькин вопрос.
Все чувства в Ленском
помутились

И молча он повесил нос.
Исчезла ревность и досада
Пред этой ясностью взгляда,
Пред этой нежной простотой,
Пред этой резвою душой!..
Он смотрит в сладком
умиленье;

Он видит: он ещё любим;
Уж он, раскаяньем томим,
Готов просить у ней прощенье,
Трепещет, не находит слов,
Он счастлив, он почти
здоров...

XV. XVI. XVII.

И вновь задумчивый, унылый
Пред милой Ольгою своей,
Владимир не имеет силы
Вчерашний день напомнить ей;
Он мыслит: «буду ей спаситель.
Не потеряю, чтоб развратитель
Огнём и вздохов и похвал
Младое сердце искушал;
Чтоб червь презренный,

ядовитый

Точил лилен стебелёк;
Чтобы двухутренний цветок
Увял ещё полураскрытый».
Всё это значило, друзья:
С приятелем стреляюсь я.

XVIII.

Когда б он знал, какая рана
Моей Татьяны сердце жгла!
Когда бы ведала Татьяна,
Когда бы знать она могла,
Что завтра Ленский и Евгений
Заспорят о могильной сени;
Ах, может быть, её любовь
Друзей соединила б вновь!
Но этой страсти и случайно
Ещё никто не открывал.
Онегин обо всём молчал;
Татьяна изнывала тайно;
Одна бы няня знать могла,
Да недогадлива была.

XIX.

Весь вечер Ленский был
рассеян,
То молчалив, то весел вновь;
Но тот, кто музою взлелеян,
Всегда таков: нахмуря бровь,
Садился он за клавикорды,
И брал на них одни аккорды;
То, к Ольге взоры устремив,
Шептал: не правда ль?
я счастлив.

Но поздно; время схвати.

Сжилось
В нём сердце полное тоской;
Прощаясь с девою молодой,
Оно как будто разрывалось.
Она глядит ему в лицо.

«Что с вами?» — Так. — И на
крыльцо.

XX.

Домой приехав, пистолеты
Он осмотрел, потом вложил
Опять их в ящик, и раздетый,
При свечке, Шиллера открыл;
Но мысль одна его объемлет;
В нём сердце грустное не
дремлет:

С неизъяснимою красой
Он видит Ольгу пред собой.
Владимир книгу закрывает,
Берёт перо: его стихи,
Полны любовной чепухи,
Звучат и льются. Их читает
Он вслух, в лирическом жару,
Как Дельвиг¹ пьяный на пиру.

XXI.

Стихи на случай сохранились;
Я их имею; вот они:
«Куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?
Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит,
В глубокой мгле таится он.
Нет нужды: прав судьбы закон.
Паду ли я, стрелой пронзённый,
Иль мимо пролетит она,
Всё благо: бдения и сна
Приходит час определённый;
Благословен и день забот,
Благословен и тьмы приход!

XXII.

«Блеснёт завтра луч денницы
И заиграет яркий день;
А я — быть может, я гробницы

¹ А. А. Дельвиг (1798—1831) — поэт, друг Пушкина.

Сойду
И нам
Поглот
Забудет
Придём
Слезу пр
И думат
Он мне
рассвет

Сердечни

Приди, т

Так он н

(Что ром

Хоть ром

Не вижу

И наконец

Склонясь

На модно

Тихонько

Но только

Он позабь

В безмолв

И будит Л

«Пора вста

Онегин вер

Но ошибал

Спал в это в

Уже речею

И встречен

Онегин спи

Уж солнце

И перелётна

Блестит и в

Ещё Евгений

Ещё над ни

Вот наконец

И полы заве

¹ Лёта — в

забытым.

² Вёснер — в

Сойду в таинственную сень,
И память юного поэта
Поглотит медленная Лета¹,
Забудет мир меня; но ты
Придешь ли, дева красоты,
Слезу пролить над ранней урной
И думать: он меня любил,
Он мне единой посвятил
Рассвет печальный жизни
бурной!..

Сердечный друг, желанный
друг,
Приди, приди: я твой супруг!»

XXIII.

Так он писал *темно и вяло*
(Что романтизмом мы зовём,
Хоть романтизма тут ни мало
Не вижу я, да что нам в том?)
И наконец перед зарёю,
Склонясь усталой головою,
На модном слове *идеал*
Тихонько Ленский задремал:
Но только сонным обаяньем
Он позабылся, уж сосед
В безмолвный входит кабинет
И будит Ленского воззваньем:
«Пора вставать: седьмой уж
час.
Онегин верно ждёт уж нас».

XXIV.

Но ошибался он: Евгений
Спал в это время мёртвым сном.
Уже редуют ночи тени
И встречен Веспер² петухом;
Онегин спит себе глубоко.
Уж солнце катится высоко
И перелётная метель
Блестит и вьётся; но постель
Ещё Евгений не покинул,
Ещё над ним летает сон.
Вот наконец проснулся он
И полы завеса раздвинул;

¹ *Лета* — в мифологии река забвения; «кануть в Лету» — значит быть забытым.

² *Веспер* — вечерняя звезда.

Глядит — и видит, что пора
Давно уж ехать со двора.

XXV.

Он поскорей звонит. Вбегает
К нему слуга француз Гильо,
Халат и туфли предлагает
И подаёт ему бельё.
Спешит Онегин одеваться,
Слуге велит приготовляться
С ним вместе ехать и с собой
Взять также ящик боевой.
Готовы санки беговые.
Он сел, на мельницу летит.
Примчались. Он слуге велит
Лепажу стволы роковые
Нести за ним, а лошадям
Отъехать в поле к двум дубкам.

XXVI.

Опёршись на плотину, Ленский
Давно нетерпеливо ждал;
Меж тем, механик деревенский,
Зарецкий жёрнов осуждал.
Идёт Онегин с извиненьем.
«Но где же, — молвил
с изумленьем
Зарецкий, — где ваш
секундант?»
В дуэлях классик и педант,
Любил методу он из чувства,
И человека растянуть
Он позволял — не как-нибудь,
Но в строгих правилах
искусства,
По всем преданьям старины
(Что похвалить мы в нём
должны).

XXVII.

«Мой секундант?» — сказал
Евгений; —
«Вот он: мой друг, *monsieur*
Guillot,

Я не предвижу возражений
На представление моё:
Хоть человек он неизвестный,
Но уж, конечно, малый
честный».

Зарецкий губу закусил.
Онегин Ленского спросил:
«Что ж, начинать?» — Начнём,
пожалуй, —
Сказал Владимир. И пошли
За мельницу. Пока вдали
Зарецкий наш и *честный малый*
Вступили в важный договор,
Враги стоят, потупя взор.

XXVIII.

Враги! Давно ли друг от друга
Их жажда крови отвела?
Давно ль они часы досуга,
Трапезу, мысли и дела
Делили дружно? Ныне злобно,
Врагам наследственным
подобно,
Как в страшном, непонятном
сне,

Они друг другу в тишине
Готовят гибель хладнокровно...
Не засмеяться ль им, пока
Не обагрилась их рука,
Не разойтись ль полюбовно?..
Но дико светская вражда
Бои́тся ложного стыда.

XXIX.

Вот пистолеты уж блеснули,
Гремит о шомпол молоток.
В гранёный ствол уходят пули
И щёлкнул в первый раз курок.
Вот порох струйкой сероватой
На полку сыплется. Зубчатый,
Надёжно ввинченный кремь
Взведён ещё. За ближний пень
Становится Гильо смущенный.
Плащи бросают два врага.
Зарецкий тридцать два шага
Отмерил с точностью отменной,
Друзей развёл по крайний след,
И каждый взял свой пистолет.

XXX.

«Теперь сходитесь».

Хладнокровно,
Ещё не целя, два врага
Походкой твёрдой, тихо, ровно
Четыре перешли шага,
Четыре смертные ступени.
Свой пистолет тогда Евгений,
Не преста́вая наступать,
Стал первый тихо подымать.
Вот пять шагов ещё ступили,
И Ленский, жмуря левый глаз,
Стал также целить — но как раз
Онегин выстрелил... Проби́ли
Часы урочные: поэт
Роняет молча пистолет,

XXXI.

На грудь кладёт тихонько руку
И падает. Туманный взор
Изображает смерть, не муку.
Так медленно по скату гор,
На солнце искрами блистая,
Спадает глыба снеговая.
Мгновенным холодом облит,
Онегин к юноше спешит,
Глядит, зовёт его... напрасно:
Его уж нет. Младой певец
Нашёл безвременный конец!
Дохнула буря, цвет прекрасный
Увял на утренней заре,
Потух огонь на алтаре!..

XXXII.

Недвижим он лежал, и странен
Был томный мир его чела.
Под грудь он был навывлет
ранен;

Дымясь из раны кровь текла.
Тому назад одно мгновенье
В сем сердце билось
вдохновенье.

Вражда, надежда и любовь,
Играла жизнь, кипела кровь:
Теперь, как в доме опустелом,
Всё в нём и тихо и темно;
Замолкло навсегда оно.

Закрты ставни, окны мелом
Забелены. Хозяйки нет.
А где, бог весть. Пропал и
след.

XXXIII.

Приятно дерзкой эпиграммой
Взбесить оплошного врага;
Приятно зреть, как он, упрямо
Склонив бодливые рога,
Невольно в зеркало глядится
И узнавать себя стыдится;
Приятней, если он, друзья,
Завоет сдуру: это я!
Ещё приятнее в молчаньи
Ему готовить честный гроб
И тихо целить в бледный лоб
На благородном расстояньи;
Но отослать его к отцам
Едва ль приятно будет вам.

XXXIV.

Что ж, если вашим пистолетом
Сражён приятель молодой,
Нескромным взглядом, иль
ответом,
Или безделицей иной
Вас оскорбивший за бутылкой,
Иль даже сам в досаде пылкой
Вас гордо вызвавший на бой,
Скажите: вашею душой
Какое чувство овладеет,
Когда недвижим на земле
Пред вами, с смертью на челе,
Он постепенно костенеет,
Когда он глух и молчалив
На ваш отчаянный призыв?

XXXV.

В тоске сердечных угрызений,
Рукою стиснув пистолет,
Глядит на Ленского Евгений.
«Ну, что ж? убит», решил сосед.
Убит!.. Сим страшным
восклищаньем
Сражён, Онегин с содроганьем
Отходит и людей зовёт.
Зарецкий бережно кладёт

На сани труп оледенелый;
Домой везёт он страшный клад.
Почуя мёртвого, храпят
И бьются кони, пеной белой
Стальные мочат удила
И полетели как стрела.

XXXVI.

Друзья мои, вам жаль поэта;
Во цвете радостных надежд,
Их не свершив ещё для света
Чуть из младенческих одежд,
Увял! Где жаркое волненье,
Где благородное стремленье!
И чувств и мыслей молодых,
Высоких, нежных, удалых?
Где бурные любви желанья,
И жажда знаний и труда,
И страх порока и стыда,
И вы, заветные мечтанья,
Вы, призрак жизни неземной,
Вы, сны поэзии святой!

XXXVII.

Быть может, он для блага
мира,
Иль хоть для славы был
рождён;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для нас
Погиб животворящий глас,
И за могильною чертою
К ней не домчится гимн
времён.
Благословение племён.

XXXVIII. XXXIX.

А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета:
В нём пыл души бы охладел.
Во многом он бы изменился.

Романом б с музами, женится,
В деревне, счастье и богат,
Носил бы стёганный халат;
Узнал бы жизнь на самом

деле,

Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел,
Хирел

И наконец в своей постеле
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и врачей.

XL.

Но что бы ни было, читатель,
Увы! любовник молодой,
Поэт, задумчивый мечтатель
Убит приятельской рукой!
Есть место: влево от селенья,
Где жил питомец вдохновенья,
Две сосны корнями срослись;
Под ними струйки извились
Ручья соседственной долины.
Там пахарь любит отдыхать,
И жницы в волны погружать
Приходят звонкие кувшины;
Там у ручья в тени густой
Поставлен памятник простой.

XLI.

Под ним (как начинает капать
Весенний дождь на злак полей)
Пастух, плетя свой пёстрый
лапоть,

Поёт про волжских рыбаков;
И горожанка молодая,
В деревне лето провождая,
Когда стремглав верхом она,
Несётся по полям одна,
Коня пред ним останавливает,
Ремянный повод натянув,
И флёр от шляпы отвернув,
Глазами беглыми читает
Простую надпись — и слеза
Туманит нежные глаза.

XLII.

И шагом едет в чистом поле,
В мечтанья погружаясь, она;

Душа в ней долго поизводе
Судьбою Ленского полна.
И мыслит: «что-то с Ольгой

стало?

В ней сердце долго ли страдало,
Иль скоро слёз прошла пора?
И где теперь её сестра?
И где ж беглец людей и света,
Красавиц модных модный враг,
Где этот пасмурный чудак,
Убийца юного поэта?»

Со временем отчёт я вам
Подробно обо всём отдам,

XLIII.

Но не теперь. Хоть я сердечно
Люблю героя моего,
Хоть возвращусь к нему,

конечно,

Но мне теперь не до него.
Лета к суровой прозе клонят,
Лета шалунию рифму гонят,
И я — со вздохом признаюсь —
За ней ленивей волочусь.
Перу старинной нет охоты
Марать летучие листы;
Другие, хладные мечты,
Другие, строгие заботы
И в шуме света и в тиши
Тревожат сон моей души.

XLIV.

Познал я глас иных желаний,
Познал я новую печаль;
Для первых нет мне упований,
А старой мне печали жаль.
Мечты, мечты! Где ваша

сладость?

Где, вечная к ней рифма,

младость?

Ужель и вправду наконец
Увял, увял её венец?
Ужель и впрямь и в самом деле,
Без элегических затей,
Весна моих промчалась дней
(Что я шутя твердил доселе)?
И ей ужель возврата нет?
Ужель мне скоро тридцать лет?

Так.

Мне
Но та

О юн
Благо
За гру
За шу
За все
Благо
Среди
Я насл
Довол
Пуска
От жиз

Гонимы
С окрест
Сбежали
На пото
Улыбкой
Сквозь с

Синей бл
Ещё проз
Как будт
Пчела за
Летит из
Долины со
Стада шу
Уж пел в

Так, полдень мой настал, и
 Мне в том сознаться, вижу я.
 Но так и быть: простимся
 дружно,
 О юность лёгкая моя!
 Благодарю за наслажденья,
 За грусть, за милые мученья,
 За шум, за бури, за пиры,
 За все, за все твои дары;
 Благодарю тебя. Тобою,
 Среди тревог и в тишине,
 Я наслаждался... и вполне;
 Довольно! С ясною душою
 Пускаюсь ныне в новый путь
 От жизни прошлой отдохнуть.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I.

Гонимы вешними лучами,
 С окрестных гор уже снега
 Сбежали мутными ручьями
 На потоплённые луга.
 Улыбкой ясною природа
 Сквозь сон встречает утро
 года;
 Синяя блещут небеса.
 Ещё прозрачные, леса
 Как будто пухом зеленеют.
 Пчела за данью полевой
 Летит из кельи восковой.
 Долины сохнут и пестреют;
 Стада шумят, и соловей
 Уж пел в безмолвии ночей.

Дай оглянусь. Простите ж,
 сени,
 Где дни мои текли в глуши,
 Исполнены страстей и лени
 И снов задумчивой души.
 А ты, младое вдохновенье,
 Волнуй моё воображенье,
 Дремоту сердца оживляй,
 В мой угол чаще прилетай,
 Не дай остыть душе поэта,
 Ожесточиться, очерстветь,
 И наконец окаменеть
 В мертвящем упоеньи света,
 В сем-омуте, где с вами я
 Купаюсь, милые друзья!

Москва, России дочь любима,
 Где равную тебе сыскать?

Дмитриев.

Как не любить родной Москвы?

Баратынский.

Гоненье на Москву! Что значит
 видеть свет!

Где же лучше?

— Где нас нет.

Грибоедов.

II.

Как грустно мне твоё явленье,
 Весна, весна! пора любви!
 Какое томное волненье
 В моей душе, в моей крови!
 С каким тяжёлым умилением
 Я наслаждаюсь дуновением
 В лицо мне веющей весны
 На лоне сельской тишины!
 Или мне чуждо наслажденье,
 И всё, что радует, живит,
 Всё, что ликует и блещит,
 Наводит скуку и томленье
 На душу мёртвую давно,
 И всё ей кажется темно?

III.

Или, не радуясь возврату
Погибших осенью листов,
Мы помним горькую утрату,
Внимая новый шум лесов;
Или с природой оживлённой
Сближаем думою смущённой
Мы увяданье наших лет,
Которым возрожденья нет?
Быть может, в мысли нам

приходит

Средь поэтического сна
Иная, старая весна
И в трепет сердце нам приводит
Мечтой о дальней стороне,
О чудной ночи, о луне...

IV.

Вот время: добрые ленивцы,
Эпикурейцы-мудрецы,
Вы, равнодушные счастливыцы,
Вы, школы Левшина¹ птенцы,
Вы, деревенские Приамы²,
И вы, чувствительные дамы,
Весна в деревню вас зовёт,
Пора тепла, цветов, работ,
Пора гуляний вдохновенных
И соблазнительных ночей.
В поля, друзья! скорей, скорей,
В каретах, тяжко нагружённых,
На долгих иль на почтовых
Тянитесь из застав градских.

V.

И вы, читатель благосклонный,
В своей коляске выписной,
Оставьте град неугомонный,
Где веселились вы зимой;
С моею музой своенравной
Пойдёмте слушать шум
дубравный
Над безымённою рекой,

В деревне, где Евгений мой,
Отшельник праздный и унылый,
Ещё недавно жил зимой
В соседстве Тани молодой,
Моей мечтательницы милой;
Но где его теперь уж нет...
Где грустный он оставил след.

VI.

Меж гор, лежащих полукругом,
Пойдём туда, где ручеёк
Виясь бежит зелёным лугом
К реке сквозь липовый лесок.
Там соловей, весны любовник,
Всю ночь поёт; цветёт

шиповник,

И слышен говор ключевой —
Там виден камень гробовой
В тени двух сосен устарелых.
Пришельцу надпись говорит:
«Владимир Ленский здесь
лежит,
Погибший рано смертью
смелых,
В такой-то год, таких-то лет.
Покойся, юноша-поэт!»

VII.

На ветви сосны преклоненной,
Бывало, ранний ветерок
Над этой урной смиренной
Качал таинственный венок.
Бывало, в поздние досуги
Сюда ходили две подруги,
И на могиле при луне,
Обнявшись, плакали оне.
Но ныне... памятник унылый
Забыт. К нему привычный след
Заглох. Венка на ветви нет;
Один, под ним, седой и хилый
Пастух по-прежнему поёт
И обувь бедную плетёт.

¹ В. А. Левшин (1746—1826) — автор многих сочинений по части хозяйственной. (Примечание Пушкина.)

² Приам — престарелый царь Трои в поэме Гомера «Илиада», обременённый многочисленным семейством.

Мой бедный Ленский! изнывая,
 Не долго плакала она.
 Увы! невеста молодая
 Своей печали неверна.
 Другой увлѣк её вниманье,
 Другой успел её страданье
 Любовной лестью усыпить,
 Улан умел её пленить,
 Улан любим её душою...
 И вот уж с ним пред алтарём
 Она стыдливо под венцом
 Стоит с поникшей головою,
 С огнём в потупленных очах,
 С улыбкой лёгкой на устах.

XI.

Мой бедный Ленский!
 ... за могилой
 В пределах вечности глухой
 Смутился ли, певец унылый,
 Измены вестью роковой,
 Или над Летою усыпленный
 Поэт, бесчувствием блаженный,
 Уж не смущается ничем
 И мир ему закрыт и нем?..
 Так! равнодушное забвенье
 За гробом ожидает нас.
 Врагов, друзей, любовниц глас
 Вдруг молкнет. Про одно
 ... именье
 Наследников сердитый хор
 Заводит непристойный спор.

XII.

И скоро звонкий голос Оли
 В семействе Лариных умолк.
 Улан, своей невольник доли,
 Был должен ехать с нею в полк.
 Слезами горько обливаясь,
 Старушка, с дочерью прощаясь,
 Казалось, чуть жива была,
 Но Таня плакать не могла;
 Лишь смертной бледностью
 ... покрылось
 Её печальное лицо.
 Когда все вышли на крыльцо,

И всё, прощаясь, суетилось
 Вокруг кареты молодых,
 Татьяна провожала их.

XIII.

И долго, будто сквозь тумана,
 Она глядела им вослед...
 И вот одна, одна Татьяна!
 Увы! подруга стольких лет,
 Её голубка молодая,
 Её наперсница родная,
 Судьбою вдаль занесена,
 С ней навсегда разлучена.
 Как тень она без цели бродит,
 То смотрит в опустелый сад...
 Нигде, ни в чём ей нет отрад,
 И облегченья не находит
 Она подавленным слезам —
 И сердце рвётся пополам.

XIV.

И в одиночестве жестоком
 Сильнее страсть её горит,
 И об Онегине далёком
 Ей сердце громче говорит.
 Она его не будет видеть;
 Она должна в нём ненавидеть
 Убийцу брата своего;
 Поэт погиб... но уж его
 Никто не помнит, уж другому
 Его невеста отдалась.
 Поэта память пронеслась
 Как дым по небу голубому,
 О нём: два сердца, может быть,
 Ещё грустят... На что
 грустить?..

XV.

Был вечер. Небо меркло. Воды
 Струились тихо. Жук жужжал.
 Уж расходились хоровады;
 Уж за рекой, дымясь, пылал
 Огонь рыбачий. В поле чистом,
 Луны при свете серебристом,
 В свои мечты погружена
 Татьяна долго шла одна.
 Шла, шла. И вдруг перед собою
 С холма господский видит дом,
 Селенье, рощу под холмом

И сад над светлою рекою.
Она глядит — и сердце в ней
Забилось чаще и сильнее.

XVI.

Её сомнения смущают:

«Пойду ль вперёд, пойду ль

назад?..

Его здесь нет. Меня не знают...
Взгляну на дом, на этот сад». —
И вот с холма Татьяна сходит,
Едва дыша; кругом обводит
Недоуменья полный взор...
И входит на пустынный двор.
К ней, лая, кинулись собаки.
На крик испуганный её
Ребят дворовая семья
Сбежалась шумно. Не без

драки

Мальчишки разогнали псов,
Взяв барышню под свой

покров.

XVII.

«Увидеть барский дом нельзя
ли?»

Спросила Таня. Поскорей
К Анисье дети побежали
У ней ключи взять от сеней;
Анисья тотчас к ней явилась,
И дверь пред ними отворилась,
И Таня входит в дом пустой,
Где жил недавно наш герой.
Она глядит: забытый в зале
Кий на бильярде отдыхал,
На смятом канапе лежал
Манежный хлыстик. Таня дале;
Старушка ей: «а вот камин»;
Здесь барин сиживал один.

XVIII.

«Здесь с ним обеживал зимою
Покойный Ленский, наш сосед.
Сюда пожалуйста, за мною.
Вот это барский кабинет;
Здесь почивал он, кофеи кушал,
Приказчика доклады слушал
И книжку поутру читал...
И старый барин здесь живал:
Со мной, бывало, в воскресенье

Здесь под окном, надев очки,
Играть изволил в дурачки.
Дай бог душе его спасенье,
А косточкам его покой
В могиле, в мать-земле сырой!»

XIX.

Татьяна взором умиленным
Вокруг себя на всё глядит,
И всё ей кажется бесценным,
Всё душу томную живит
Полумучительной отрадой:
И стол с померкшею лампадой,
И груда книг, и под окном
Кровать, покрытая ковром,
И вид в окно сквозь сумрак

лунный,

И этот бледный полусвет,
И лорда Байрона портрет,
И столбик с куклою чугуной
Под шляпой с пасмурным

челом,

С руками, сжатыми крестом.

XX.

Татьяна долго в келье модной
Как очарована стоит,
Но поздно. Ветер стал

холодный.

Темно в долине. Роща спит
Над отуманенной рекою;
Луна сокрылась за горою,
И пилигримке молодой.
Пора, давно пора домой.
И Таня, скрыв своё волненье,
Не без того, чтоб не вздохнуть,
Пускается в обратный путь.
Но прежде просит позволенья
Пустынный замок навещать,
Чтоб книжки здесь одной

читать.

XXI.

Татьяна с ключницей
простилась
За воротами. Через день
Уж утром, рано вновь явилась
Она в оставленную сень.
И в молчаливом кабинете,

Забыв
Остали
И долги
Потом
Сперва
Но пока
Ей стра
Татьяна
И ей от

Хотя м
Изданн
Однако
Он из о
Невца Г
Да с ним
В котор
И соврем
Изображ
С его бе
Себялюб
Мечтань
С его оз
Кипящим

Хранили
Отметку
Глаза вы
Устремле
Татьяна
Какою м
Бывал Он
В чём мо
На их пол
Черты его
Везде Оне
Себя нево
То кратким
То вопросом

И начина
Моя Татья
Теперь не

1 Невец

Забыв на время всё на свете,
Осталась наконец одна,
И долго плакала она.
Потом за книги принялася.
Сперва ей было не до них,
Но показался выбор их
Ей странен. Чтенью предалася
Татьяна жадною душой;
И ей открылся мир иной.

XXII.

Хотя мы знаем, что Евгений
Издавна чтение разлюбил,
Однако ж несколько творений
Он из опалы исключил;
Певца Гяура и Жуана¹,
Да с ним ещё два-три романа,
В которых отразился век
И современный человек
Изображён довольно верно
С его безнравственной душой.
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.

XXIII.

Хранили многие страницы
Отметку резкую ногтей;
Глаза внимательной девицы
Устремлены на них живей.
Татьяна видит с трепетаньем,
Какою мыслью, замечаньем
Бывал Онегин поражён,
В чём молча соглашался он.
На их полях она встречает
Черты его карандаша.
Везде Онегина душа
Себя невольно выражает
То кратким словом, то крестом,
То вопросительным крючком.

XXIV.

И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее — слава богу —

¹ Певец Гяура и Жуана — Байрон.

Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной:
Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный

лексикон?..

Уж не пародия ли он?..

XXV.

Ужель загадку разрешила?
Ужели слово найдено?
Часы бегут; она забыла,
Что дома ждут её давно,
Где собрались два соседа
И где об ней идёт беседа.
— Как быть? Татьяна

не дитя, —

Старушка молвила кряхтя, —
Ведь Оленька её моложе.
Пристроить девушку, ей-ей,
Пора, а что мне делать с ней?
Всем наотрез одно и то же:
Нейду. И всё грустит она,
Да бродит по лесам одна. —

XXVI.

«Не влюблена ль она?»

— В кого же?

Буянов сватался: отказ.
Ивану Петушкову — тоже,
Гусар Пыхтин гостил у нас;
Уж как он Танею прельщался,
Как мелким бесом рассыпался!
Я думала: пойдёт авось;
Куда! и снова дело врозь. —
«Что ж, матушка! за чем же
стало?

В Москву, на ярманку невест!
Там, слышно, много праздных
мест».

— Ох, мой отец! доходу
мало. —

«Довольно для одной зимы,
Не то уж дам хоть и взаймы».

XXVII.

Старушка очень полюбила
Совет разумный и благой;
Сочлась — и тут же положила
В Москву отправиться зимой —
И Таня слышит новость эту.
На суд взыскательному свету
Представить ясные черты
Провинциальной простоты,
И запоздалые наряды
И запоздалый склад речей;
Московских франтов и цирцей¹
Привлечь насмешливые
взгляды!..

О страх! нет, лучше и верней
В глуши лесов остаться ей.

XXVIII.

Вставая с первыми лучами,
Теперь она в поля спешит
И, умилёнными очами
Их озирая, говорит:
«Простите, мирные долины
И вы, знакомых гор вершины.
И вы, знакомые леса;
Прости, небесная краса,
Прости, весёлая природа!
Меняю милый, тихий свет
На шум блистательных сует!..
Прости ж и ты, моя свобода!
Куда, зачем стремлюся я?
Что мне сулит судьба моя?» —

XXIX.

Её прогулки длятся долге.
Теперь то холмик, то ручей
Останавливают поневоле
Татьяну прелестью своей.
Она, как с давними друзьями,
С своими рощами, лугами
Ещё беседовать спешит.
Но лето быстрое летит.

Настала осень золотая,
Природа трепетна, бледна,
Как жертва пышно убрана...
Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл — и вот сама
Идёт волшебница зима.

XXX.

Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов;
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов;
Брега с недвижною рекою
Сравняла пухлой пеленою;
Блеснул мороз. И рады мы
Проказам матушки зимы.
Не радо ей лишь сердце Тани.
Нейдёт она зиму встречать,
Морозной пылью подышать
И первым снегом с кровли бани
Умыть лицо, плеча и грудь:
Татьяне страшен зимний путь.

XXXI.

Отъезда день давно просрочен.
Проходит и последний срок.
Осмотрен, вновь обит, упрочен
Забвенью брошенный возок.
Обоз обычный, три кибитки
Везут домашние пожитки,
Кастриольки, стулья, сундуки,
Варенье в банках, тюфяки,
Перины, клетки с петухами,
Горшки, тазы ет сетега,
Ну, много всякого добра.
И вот в избе между слугами
Поднялся шум, прощальный
плач:

Ведут на двор осьмнадцать
кляч.

XXXII.

В возок боярский их впрягают,
Готовят завтрак повара,
Горой кибитки нагружают.

¹ Цирцея — в греческой мифологии коварная волшебница, обольстительница.

Браня
На кл
Сидит
Сбежа
Проща
Усели
Сколь
«Прос
Прости
Увижу
У Тани

Когда
Отдви
Со вре
Филосо
Лет чре
У нас
Шоссе
Соедин
Мосты
Шагнут
Раздви
Пророе
И завед
На каж

Теперь у
Мосты з
На стани
Заснуть
Трактиро
Высокопа
Для виду
И тщетн
Меж тем

Перед ме
российски
Изделье л
Благослав
И рвы оте

¹ Цикло
молнии для
² Автоме

Бранятся бабы, кучера.
На кляче тощей и косматой
Сидит фореитор бородатый.
Сбежалась челядь у ворот
Прощаться с барами. И вот
Уселись, и возок почтенный,
Скользя, ползёт за ворота.
«Простите, мирные места!
Прости, приют уединенный!
Увижу ль вас?..» И слёз ручей
У Тани льётся из очей.

XXXIII.

Когда благому просвещенью
Отдвинем более границ,
Со временем (по расчисленью
Философических таблиц,
Лет чрез пятьсот) дороги верно
У нас изменятся безмерно:
Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут.
Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дугой,
Раздвинем горы, под водой
Пророем дерзостные своды,
И заведёт крещёный мир
На каждой станции трактир.

XXXIV.

Теперь у нас дороги плохи,
Мосты забытые гниют,
На станциях клопы да блохи
Заснуть минуты не дают;
Трактиров нет. В избе холодной
Высокопарный, но голодный
Для виду преysкурant висит
И тщетный дразнит аппетит,
Меж тем как сельские

циклопы¹

Перед медлительным огнём
Российским лечат молотком
Изделье лёгкое Европы,
Благославляя колеи
И рвы отеческой земли.

¹ Циклопы — у древнегреческого поэта Гезиода — чудовища, ковавшие молнии для Зевса.

² Автомедон (шутл.) — возница, кучер.

XXXV.

Зато зимой порой холодной
Езда приятна и легка.
Как стих без мысли в песне
модной,

Дорога зимняя гладка.
Автомедоны² наши бойки,
Неутомимы наши тройки,
И вёрсты, теща праздный взор,
В глазах мелькают как забор.
К несчастью Ларина тащилась,
Боясь прогонов дорогих,
Не на почтовых, на своих,
И наша дева насладились
Дорожной скукою вполне:
Семь суток ехали оне.

XXXVI.

Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церковей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нём отозвалось!

XXXVII.

Вот, окружён своей дубравой,
Петровский замок. Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приёмный дар,

Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружён,
Глядел на грозный пламень он.

XXXVIII.

Прощай, свидетель падшей
 славы,
Петровский замок! Ну! не стой,
Пошёл! Уже столпы заставы
Белеют; вот уж по Тверской
Возок несётся чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.

XXXIX. XL.

В сей утомительной прогулке
Проходит час-другой, и вот
У Харитонья в переулке
Возок пред домом у ворот
Остановился. К старой тётке,
Четвёртый год больной
В чахотке,

Они приехали теперь.
Им настежь отворяет дверь
В очках, в изорванном кафтане,
С чулком в руке, седой калмык.
Встречает их в гостиной крик
Княжны, простёртой на диване.
Старушки с плачем обнялись,
И восклицанья полились.

XLI.

— Княжна, mon ange ! —
«Rachette!» — Алина! —
«Кто б мог подумать? Как
давно!
Надолго ль? Милая! Кузина!
Садись — как это мудрено!

1 Мой ангел!

Ей богу, сцена из романа...»
— А это дочь моя, Татьяна. —
«Ах, Таня! подойди ко мне —
Как будто брежу я во сне...
Кузина, помнишь Грандисона?»
— Как, Грандисон?... а,

Да, помню, помню. Где же он? —
«В Москве, живёт у Симеона;
Меня в сочельник навестил:
Недавно сына он женил.

XLII.

«А тот... но после всё
расскажем,
Не правда ль? Всей её родне
Мы Таню завтра же покажем.
Жаль, разъезжать нет мочи
мне:

Едва, едва таскаю ноги.
Но вы замучены с дороги;
Пойдёмте вместе отдохнуть...
Ох, силы нет... устала грудь...
Мне тяжела теперь и радость,
Не только грусть... душа моя,
Уж никуда не годна я...
Под старость жизнь такая
Богатость...»

И тут, совсем утомлена,
В слезах раскашлялась она.

XLIII.

Больной и ласки и веселье
Татьяну трогают; но ей
Нехорошо на новоселье,
Привыкшей к горнице своей.
Под занавескою шелковой
Не спится ей в постеле новой,
И ранний звон колоколов,
Предтеча утренних трудов,
Её с постели подымает.
Садится Таня у окна.
Редее сумрак; но она
Своих полей не различает:
Пред нею незнакомый двор,
Конюшня, кухня и забор.

XLIV.

И вот по родственным обедам
Развозят Таню каждый день —
Представить бабушкам

и дедам

Её рассеянную лень.

Родне, прибывшей издалеча,

Повсюду ласковая встреча,

И восклицанья и хлеб-соль.

«Как Таня выросла! Давно ль

Я, кажется, тебя крестила?

А я так на руки брала!

А я так за уши драла!

А я так пряником кормила!»

И хором бабушки твердят:

«Как наши годы-то летят!»

XLV.

Но в них не видно перемены;

Всё в них на старый образец:

У тётушки княжны Елены

Всё тот же тюлевый чепец;

Всё белится Лукерья Львовна,

Всё то же лжёт Любовь

Петровна,

Иван Петрович так же глуп,

Семён Петрович так же скуп,

У Пелагеи Николавны

Всё тот же друг мосье Финмуш,

И тот же шпиц, и тот же муж;

А он, всё клуба член исправный,

Всё так же смирен, так же глух

И так же ест и пьёт за двух.

XLVI.

Их дочери Таню обнимают.

Младые грации Москвы

Сначала молча озирают

Татьяну с ног до головы;

Её находят что-то странной,

Провинциальной и жеманной,

И что-то бледной и худой,

А впрочем очень недурной;

Потом, покорствуя природе,

Дружатся с ней, к себе ведут,

Целуют, нежно руку жмут,
Взбивают кудри ей по моде
И поверяют нараспев
Сердечны тайны, тайны дев.

XLVII.

Чужие и свои победы,

Надежды, шалости, мечты.

Текут невинные беседы

С прикрасой лёгкой клеветы.

Потом, в отплату лепетанья,

Её сердечного признанья

Умильно требуют оне.

Но Таня, точно как во сне,

Их речи слышит без участия,

Не понимает ничего,

И тайну сердца своего,

Заветный клад и слёз и счастья,

Хранит безмолвно между тем

И им не делится ни с кем.

XLVIII.

Татьяна вслушаться желает

В беседы, в общий разговор:

Но всех в гостиной занимает

Такой бессвязный, пошлый

вздор;

Всё в них так бледно,

равнодушно;

Они клеветают даже скучно;

В бесплодной сухости речей,

Расспросов, сплетен и вестей

Не вспыхнет мысли в целы

сутки,

Хоть невзначай, хоть наобум;

Не улыбнётся томный ум,

Не дрогнет сердце, хоть для

шутки.

И даже глупости смешной

В тебе не встретишь, свет

пустой!

XLXI.

Архивны юноши¹ толпою

На Таню чопорно глядят,

¹ Архивны юноши — представители дворянской молодёжи, служившие в Московском архиве государственной коллегии иностранных дел.

И про неё между собою
Неблагодарно говорят.
Один какой-то шут печальный
Её находит идеальной
И, прислонившись у дверей,
Элегию готовит ей.
У скучной тётки Таню встреть,
К ней как-то Вяземский¹

подсел

И душу ей занять успел.
И близ него её заметя,
Об ней, поправля свой парик,
Осведомляется старик.

L.

Но там, где Мельпомены²
Протяжный раздаётся вой,
Где машет мантией мишурной
Она пред хладною толпой,
Где Талия³ тихонько дремлет
И плескам дружеским

не внемлет,

Где Терпсихоре⁴ лишь одной
Дивится зритель молодой
(Что было также в прежни

леты,

Во время ваше и моё),
Не обратились на неё
Ни дам ревнивые лорнеты,
Ни трубки модных знатоков
Из лож и кресельных рядов.

LI.

Её привозят и в Собрание.
Там теснота, волненье, жар,
Музыки грохот, свеч блистанье,
Мельканье, вихорь быстрых

пар,

Красавиц лёгкие уборы,
Людьми пестреющие хоры,
Невест обширный полукруг,
Всё чувства поражает вдруг.
Здесь кажут франты записные

Свое нахальство, свой жилет
И невнимательный лорнет.
Сюда гусары отпускные
Спешат явиться, прогреметь,
Блеснуть, пленить и улететь.

LII.

У ночи много звёзд прелестных,
Красавиц много на Москве,
Но ярче всех подруг небесных
Луна в воздушной синеве.
Но та, которую не смею
Тревожить лирою моею,
Как величавая луна
Средь жён и лев блестит одна.
С какою гордостью небесной
Земли касается она!
Как негой грудь её полна!
Как томен взор её чудесный!..
Но полно, полно: перестань;
Ты заплатил безумству дань.

LIII.

Шум, хохот, беготня, поклоны,
Галоп, мазурка, вальс... Меж
Между двух тёток, у колонны,
Не замечаема никем,
Татьяна смётрит и не видит,
Волненье света ненавидит;
Ей душно здесь... она мечтой
Стремится к жизни полевой,
В деревню, к бедным поселянам,
В уединённый уголок,
Где льётся светлый ручеек,
К своим цветам, к своим
И в сумрак липовых аллей,
Туда, где он являлся ей.

LIV.

Так мысль её далече бродит:
Забут и свет и шумный бал.
А глаз меж тем с неё не сводит

¹ П. А. Вяземский (1792—1878) — поэт и литературный критик, близкий друг Пушкина.

² Мельпомена — муза трагедии, покровительница театра.

³ Талия — муза комедии и лирической поэзии.

⁴ Терпсихора — муза, покровительница танцев.

Какой-то важный генерал.
 Друг другу тётушки мигнули
 И локтем Таню враз толкнули,
 И каждая шепнула ей:
 — Взгляни налево поскорей. —
 «Налево? где? что там такое?»
 — Ну, что бы ни было, гляди...
 В той кучке, видишь? впереди,
 Там, где ещё в мундирах двое...
 Вот отошёл... вот боком
 стал... —
 «Кто, толстый этот генерал?»

LV.

Но здесь с победою поздравим
 Татьяну милую мою.

И в сторону свой путь
 направим,
 Чтоб не забыть, о ком пою...
 Да кстати, здесь о том два
 слова:

*Пою приятеля молодого
 И множество его причуд.
 Благослови мой долгий труд,
 О ты, эпическая муза!
 И верный посох мне вручив,
 Не дай блуждать мне вкось и
 вкривь.*

Довольно. С плеч долой обуза!
 Я классицизму отдал честь:
 Хоть поздно, а вступление есть.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Fare thee well, and if for ever
 Still for ever, fare thee well¹.

Byron.

I.

В те дни, когда в садах Лицея
 Я безмятежно расцветал,
 Читал охотно Апулея²,
 А Цицерона³ не читал,
 В те дни, в таинственных
 долинах,
 Весной, при кликах лебединых,
 Близ вод, сиявших в тишине,
 Являться Муза стала мне.
 Моя студенческая келья
 Вдруг озарилась: Муза в ней
 Открыла пир молодых затей,
 Воспела детские веселья,
 И славу нашей старины,
 И сердца трепетные сны.

II.

И свет её с улыбкой встретил;
 Успех нас первый окрылил;
 Старик Державин нас заметил
 И, в гроб сходя, благословил.

.

III.

И я, в закон себе вменяя
 Страстей единый произвол,
 С толпою чувства разделяя,
 Я Музу резвую привёл
 На шум пиров и буйных споров,
 Грозы полуночных дозоров;
 И к ним в безумные пиры
 Она несла свои дары
 И как вакханочка резвилась,
 За чашей пела для гостей,
 И молодёжь минувших дней

¹ Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай (*Байрон*).

² Апулэй — римский поэт II в. н. э., автор романа «Золотой осёл».

³ Цицерон (106—44 гг. до н. э.) — римский политический деятель.

За нею буйно волочилась, —
А я гордился меж друзей
Подругой ветреной моей.

IV.

Но я отстал от их союза
И вдаль бежал... она за мной.
Как часто ласковая Муза
Мне услаждала путь немой
Волшебством тайного рассказа!
Как часто, по скалам Кавказа,
Она Ленорой¹, при луне,
Со мной скакала на коне!
Как часто по берегам Тавриды
Она меня во мгле ночной
Водила слушать шум морской,
Немолчный шёпот Нереиды².
Глубокий, вечный хор валов,
Хвалебный гимн отцу миров.

V.

И позабыв столицы дальней
И блеск и шумные пиры,
В глуши Молдавии печальной
Она смиренные шатры
Племён бродящих посещала
И между ими одичала,
И позабыла речь богов
Для скудных, странных языков,
Для песен степи ей любезной...
Вдруг изменилось всё кругом:
И вот она в саду моём
Явилась барышней уездной,
С печальной думою в очах,
С французской книжкой
в руках.

VI.

И ныне Музу я впервые
На светский раут привожу;
На прелести её степные

С ревнивой робостью гляжу.
Сквозь тесный ряд

аристократов,
Военных франтов, дипломатов
И гордых дам она скользит;
Вот села тихо и глядит,
Любуясь шумной теснотою,
Мельканьем платьев и речей,
Явленьем медленным гостей
Перед хозяйкой молодою,
И тёмной рамою мужчин
Вкруг дам как около картин.

VII.

Ей нравится порядок стройный
Олигархических³ бесед,
И холод гордости спокойной,
И эта смесь чинов и лет.
Но это кто в толпе избранной
Стоит безмолвный и туманный?
Для всех он кажется чужим.
Мелькают лица перед ним,
Как ряд докучных привидений.
Что, сплин иль страждущая
спесь

В его лице? Зачем он здесь?
Кто он таков? Ужель Евгений?
Ужели он?.. Так, точно он.
— Давно ли к нам он занесён?

VIII.

Всё тот же ль он, иль
усмирился?
Иль корчит так же чудака?
Скажите, чем он возвратился?
Что нам представит он пока?
Чем ныне явится? —
Мельмотом⁴,

¹ *Ленора* — героиня знаменитой баллады немецкого поэта Бюргера (1747—1794), переведённой Жуковским.

² *Нереиды* — в греческой мифологии морские нимфы — дочери Нерей.

³ *Олигархия* — власть немногих лиц из аристократических родов; *олигархические беседы* — в данном случае беседы дворянской знати того времени.

⁴ *Мельмот* — см. примечание к строфе XII третьей главы.

Космополитом¹, патриотом²,
Гарольдом³, квакером⁴,
ханжой,
Иль маской щегольнёт иной,
Иль просто будет добрый

малой,
Как вы да я, как целый свет?
По крайней мере мой совет:
Отстать от моды обветшалою.
Довольно он морочил свет...
— Знаком он вам? — И да и
нет.

IX.

— Зачем же так
неблагодарно
Вы отзываетесь о нём?
За то ль, что мы неугомонно
Хлопочем, судим обо всём,
Что пылких душ

неосторожность
Самолюбивую ничтожность
Иль оскорбляет, иль смешит.
Что ум, любя простор, теснит,
Что слишком часто разговоры
Принять мы рады за дела,
Что глупость ветрена и зла,
Что важным людям важны
вздоры,

И что посредственность одна
Нам по плечу и не странна?

X.

Блажен, кто смолodu был
молod,
Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел;
Кто странным снам
не предавался,
Кто черни светской
не чуждался,

Кто в двадцать лет был франт
иль хват,

А в тридцать выгодно женат;
Кто в пятьдесят освободился
От частных и других долгов,
Кто славы, денег и чинов
Спокойно в очередь добился,
О ком твердили целый век:
N. N. прекрасный человек.

XI.

Но грустно думать, что
напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она;
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья
Истлели быстрой чередой,
Как листья осенью гнилой.
Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд,
Глядеть на жизнь,

как на обряд,
И вслед за чинною толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей.

XII.

Предметом став суждений
шумных,
Несносно (согласитесь в том)
Между людей благоразумных
Прослыть притворным

чудаком,
Или печальным сумасбродом,
Иль сатаническим уродом,
Иль даже Демоном моим.
Онегин (вновь займуся им),
Убив на поединке друга,
Дожив без цели, без трудов
До двадцати шести годов,
Томясь в бездействии досуга,

¹ Космополит (греч.) — человек, отвергающий любовь к своему народу, к своей родине. В наши дни космополитизм — идеологическое оружие реакционной буржуазии.

² Патриот — любящий своё отечество. В понимании передовых людей эпохи Пушкина, патриот, кроме того, враг деспотизма и всякого угнетения.

³ Гарольд (Чайльд-Гарольд) — см. примечание к строфе XXXVIII первой главы.

⁴ Квакеры — религиозная секта в Англии, основанная в XVII в.

Без службы, без жены,
без дел,
Ничем заняться не умел.

XIII.

Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест
(Весьма мучительное свойство,
Немногих добровольный
крест).

Оставил он своё селенье,
Лесов и нив уединенье,
Где окровавленная тень
Ему являлась каждый день,
И начал странствия без цели.
Доступный чувству одному;
И путешествия ему,
Как всё на свете, надоели;
Он возвратился и попал,
Как Чацкий, с корабля на бал.

XIV.

Но вот толпа заколебалась,
По зале шёпот пробежал...
К хозяйке дама приближалась,
За нею важный генерал.
Она была не тороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
Всё тихо, просто было в ней.
Она казалась верный снимок.
Du comme il faut¹... (Шишков,
прости:
Не знаю, как перевести.)

XV.

К ней дамы подвигались
ближе;
Старушки улыбались ей;
Мужчины кланялись ниже,
Ловили взор её очей;
Девицы проходили тише
Пред ней по зале: и всех выше

И нос и плечи подымал
Вошедший с нею генерал.
Никто б не мог её прекрасной
Назвать: но с головы до ног
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовётся vulgar². Не могу...

XVI.

Люблю я очень это слово,
Но не могу перевести;
Оно у нас покамест ново,
И вряд ли быть ему в чести.
Оно б годилось в эпиграмме...
Но обращаюсь к нашей даме.
Беспечной прелестью мила,
Она сидела у стола
С блестящей Ниной Воронскою,
Сей Клеопатрою Невы:
И верно б согласились вы,
Что Нина мраморной красою
Затмить соседку не могла,
Хоть ослепительна была.

XVII.

«Ужели», думает Евгений:
«Ужель она? Но точно... Нет...
Как! из глуши степных
селений...»

И неотвязчивый лорнет
Он обращает поминутно
На ту, чей вид напомнил смутно
Ему забытые черты.
«Скажи мне, князь, не знаешь
ты,

Кто там в малиновом берете
С послом испанским говорит?»
Князь на Онегина глядит.
— Ага! давно ж ты не был
в свете.

Постой, тебя представляю я. —
«Да кто ж она?» — Жена
моя. —

¹ Благопристойности (умения себя держать).

² Вульгарным, грубым.

XVIII.

«Так ты женат! не знал я ране!
Давно ли?» — Около двух
лет. —

«На ком?» — На Лариной. —
«Татьяне!»

— Ты ей знаком? «Я им
сосед».

— О, так пойдем же. — Князь
подходит

К своей жене и ей подводит
Родно и друга своего.

Княгиня смотрит на него...

И что ей душу ни смутило,

Как сильно ни была она

Удивлена, поражена,

Но ей ничто не изменило:

В ней сохранился тот же тон,

Был так же тих её поклон.

XIX.

Ей-ей! не то, чтоб содрогнулась,
Иль стала вдруг бледна,

красна...

У ней и бровь не шевельнулась;

Не сжала даже губ она.

Хоть он глядел нельзя

прилежней,

Но и следов Татьяны прежней

Не мог Онегин обрести.

С ней речь хотел он завести

И — и не мог. Она спросила,

Давно ль он здесь, откуда он

И не из их ли уж сторон?

Потом к супругу обратила

Усталый взгляд; скользнула

вон...

И недвижим остался он.

XX.

Ужель та самая Татьяна,

Которой он наедине,

В начале нашего романа,

В глухой, далёкой стороне,

В благом пылу нравоученья,

Читал когда-то наставленья,

Та, от которой он хранит
Письмо, где сердце говорит,
Где всё наруже, всё на воле,
Та девочка... иль это сон?..
Та девочка, которой он
Пренебрегал в смиренной доле,
Ужели с ним сейчас была
Так равнодушна, так смела?

XXI.

Он оставляет раут тесный,

Домой задумчив едет он;

Мечтой то грустной, то

прелестной

Его встревожен поздний сон.

Проснулся он; ему приносят

Письмо: князь N покорно просит

Его на вечер. «Боже! к ней!..

О буду, буду!» и скорей

Марает он ответ учтивый.

Что с ним? в каком он

странном сне,

Что шевельнулось в глубине

Души холодной и ленивой?

Досада? суетность? иль вновь

Забота юности — любовь?

XXII.

Онегин вновь часы считает,

Вновь не дожждётся дню конца.

Но десять бьёт; он выезжает,

Он полетел, он у крыльца,

Он стрепетом к княгине входит;

Татьяну он одну находит,

И вместе несколько минут

Они сидят. Слова нейдут

Из уст Онегина. Угрюмый,

Неловкий, он едва-едва

Ей отвечает. Голова

Его полна упрямой думой.

Упрямо смотрит он: она

Сидит спокойна и вольна.

XXIII.

Приходит муж. Он прерывает

Сей неприятный tête-à-tête¹;

С Онегиным он вспоминает

¹ Разговор наедине.

XXVI.
Тут был Проласов,
заслуживший

Известность низостью души,
Во всех альбомах притупивший,
St.-Priest¹, твои карандаши;
В дверях другой диктатор

бальный
Стоял картинкою журнальной,
Румян как вербный херувим,
Затянут, нем и недвижим.

И путешественник залётный,
Перекрахмаленный нахал,
В гостях улыбку возбуждал
Своей осанкою заботной.
И молча обмещённый взор
Ему был общий приговор.

XXVII.

Но мой Онегин вечер целый
Татьяной занят был одной,
Не этой девочкой несмелой,
Влюблённой, бедной и простой,
Но равнодушною княгиней,
Но неприступною богиней
Роскошной царственной Невы.
О люди! Все похожи вы
На прародительницу Еву:
Что вам дано, то не влечёт;
Вас непрестанно змий зовёт
К себе, к таинственному древу:
Запретный плод вам подавай,
А без того вам рай не рай.

XXVIII.

Как изменилася Татьяна!
Как твёрдо в роль свою вошла!
Как утеснительного сана
Приёмы скоро приняла!
Кто б смел искать девчонки
нежной

Кто б смел искать девчонки

С
В
В
И
УМ
К

Он
За
Он
Бо
Ил
Её
Пре
Ил

И ей поверить не посмел:
Привычке милой не дал ходу;
Свою постылую свободу
И потерять не захотел.
Ещё одно нас разлучило...
Несчастной жертвой Ленский
пал...

Ото всего, что сердцу мило,
Тогда я сердце оторвал;
Чужой для всех, ничем не
связан,

Я думал: вольность и покой
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан...
Нет, поминутно видеть вас,
Повсюду следовать за вами,
Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюблёнными глазами,
Внимать вам долго, понимать
Душой всё ваше совершенство,
Пред вами в муках замирать,
Бледнеть и гаснуть... вот
блаженство!

И я лишён того: для вас
Тащусь повсюду наудачу;
Мне дорог день, мне дорог час:
А я в напрасной скуке трачу
Судьбой отсчитанные дни.
И так уж тягостны они.
Я знаю: век уж мой измерен;
Но, чтоб продлилась жизнь

моя,

Я утром должен быть уверен,
Что с вами днём увижусь я...
Боюсь: в мольбе моей

смиреной

Увидит ваш суровый взор
Затеи хитрости презренной —
И слышу гневный ваш укор.
Когда б вы знали как ужасно
Томиться жаждою любви,
Пылать — и разумом всечасно
Смирять волнение в крови;
Желать обнять у вас колени,
И, зарыдав, у ваших ног
Излить мольбы, признанья,

пени,

Всё, всё, что выразить бы мог.
А между тем притворным
хладом
Вооружать и речь и взор,
Вести спокойный разговор,
Глядеть на вас весёлым
взглядом!..

Но так и быть: я сам себе
Противиться не в силах боле;
Всё решено: я в вашей воле,
И предаюсь моей судьбе.

XXXIII.

Ответа нет. Он вновь посланье:
Второму, третьему письму
Ответа нет. В одно собранье
Он едет; лишь вошёл... ему
Она навстречу. Как сурова!
Его не видит, с ним ни слова;
У! как теперь окружена
Крещенским холодом она!
Как удержать негодование
Уста упрямые хотят!
Вперил Онегин зоркий взгляд:
Где, где смятенье, состраданье?
Где пятна слёз?.. Их нет,

их нет!

На сем лице лишь гнева след...

XXXIV.

Да, может быть, боязни тайной,
Чтоб муж иль свет не угадал
Проказы слабости случайной...
Всего, что мой Онегин знал...
Надежды нет! Он уезжает,
Свое безумство проклиная —
И, в нём глубоко погружён,
От света вновь отрёкся он.
И в молчаливом кабинете
Ему припомнилась пора,
Когда жестокая хандра
За ним гналась в шумном
свете.

Поймала, за ворот взяла
И в тёмный угол заперла.

XXXV.

Стал вновь читать он без
разбора.

Прочёл он Гиббона¹, Руссо²,
Манзони³, Гердера⁴,
Шамфора⁵,
Madame de Staël⁶, Биша⁷,
Тиссо⁸,

Прочёл скептического Беля⁹,
Прочёл творенья Фонтенеля¹⁰,
Прочёл из наших кой-кого,
Не отвергая ничего:
И альманахи, и журналы,
Где поученья нам твердят,
Где нынче так меня бранят,
И где такие мадригалы
Себе встречал я иногда:
*E sempre bene*¹¹, господа.

XXXVI.

И что ж? Глаза его читали,
Но мысли были далеко;
Мечты, желания, печали
Теснились в душу глубоко.
Он меж печатными строками
Читал духовными глазами
Другие строки. В них-то он
Был совершенно углублён.
То были тайные преданья
Сердечной, тёмной старины,
Ни с чем не связанные сны,
Угрозы, толки, предсказанья,

Иль длинной сказки вздор
живой,
Иль письма девы молодой.

XXXVII.

И постепенно в усыпление
И чувств и дум впадает он,
А перед ним воображенье
Свой пёстрый мечет фараон.
То видит он: на талом снеге,
Как будто спящий на ночлеге,
Недвижим юноша лежит,
И слышит голос: что ж? убит.
То видит он врагов забвенных,
Клеветников, и трусов злых,
И рой изменниц молодых,
И круг товарищей презренных,
То сельский дом — и у окна
Сидит она и всё она!..

XXXVIII.

Он так привык теряться в этом,
Что чуть с ума не своротил,
Или не сделался поэтом.
Признаться: то-то б. одолжил!
А точно: силой магнетизма
Стихов российских механизма
Едва в то время не постиг
Мой бестолковый ученик.

¹ Гиббон (1737—1794). — английский историк, автор «Истории упадка и разрушения Римской империи».

² Руссо — см. примечание к строфе XXIV первой главы.

³ Манзони или Манцони (1784—1873) — глава итальянского романтизма, автор романа «Обручённые».

⁴ Гердер (1744—1803) — немецкий мыслитель и учёный.

⁵ Шамфор (1714—1794) — французский писатель, знаменитый своим острословием.

⁶ Мадам де Сталь (Madame de Staël) — см. примечание к строфе X третьей главы.

⁷ Биша (1771—1802) — французский врач, автор книг по анатомии и физиологии.

⁸ Тиссо (1728—1797) — швейцарский врач, автор популярных медицинских сочинений.

⁹ Бель (Baile, 1647—1706) — французский философ-атеист, выступивший с критикой христианства.

¹⁰ Фонтенель (1657—1757) — автор «Бесед о множественности миров» (1686) и других книг, направленных против чудес, суеверий и христианства вообще.

¹¹ Ну что ж, отлично.

Как походил он на поэта,
Когда в углу сидел один,
И перед ним пылал камин,
И он мурлыкал: *Benedetta*¹
Иль *Idol mio*² и ронял
В огонь то туфлю, то журнал.

XXXIX.

Дни мчались; в воздухе
нагретом
Уж разрешалась зима;
И он не сделался поэтом,
Не умер, не сошёл с ума.
Весна живет его: впервые
Свои покои запертые,
Где зимовал он, как сурок,
Двойные окна, камелёк
Он ясным утром оставляет,
Несётся вдоль Невы в санях.
На синих, иссечённых льдах
Играет солнце; грязно тает
На улицах разрытый снег.
Куда по нём свой быстрый бег

XL.

Стремит Онегин? Вы заранее
Уж угадали; точно так:
Примчался к ней, к своей
Татьяне

Мой неисправленный чудаки.
Идёт, на мертвеца похожий.
Нет ни одной души в прихожей.
Он в залу; дальше; никого.
Дверь отворил он. Что ж его
С такою силой поражает?
Княгиня, перед ним, одна,
Сидит, не убрана, бледна,
Письмо какое-то читает
И тихо слёзы льёт рекой,
Опершись на руку щекой.

XLI.

О, кто б немых её страданий
В сей быстрый миг не прочитал!

¹ Благословенная.

² Мой кумир.

Кто прежней Тани, бедной
Тани
Теперь в княгине б не узнал!
В тоске безумных сожалений
К её ногам упал Евгений;
Она вздрогнула и молчит;
И на Онегина глядит
Без удивления, без гнева...
Его больной, угасший взор,
Молящий вид, немой укор,
Ей внятно всё. Простая дева,
С мечтами, сердцем прежних
дней
Теперь опять воскресла в ней.

XLII.

Она его не подымает,
И, не сводя с него очей,
От жадных уст не отымает
Бесчувственной руки своей...
О чём теперь её мечтанье?
Проходит долгое молчанье,
И тихо наконец она:
«Довольно; встаньте. Я должна
Вам объясниться откровенно.
Онегин, помните ль тот час,
Когда в саду, в аллее нас
Судьба свела, и так смиренно
Урок ваш выслушала я?
Сегодня очередь моя.

XLIII.

«Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была,
И я любила вас; и что же?
Что в сердце вашем я нашла?
Какой ответ? одну суровость.
Не правда ль? Вам была
не новость
Смирненной девочки любовь?
И нынче — боже! — стынет
кровь,
Как только вспомню взгляд
холодный
И эту проповедь... Но вас

И не виню: в тот страшный час
Вы поступили благородно,
Вы были правы предо мной:
Я благодарна всей душой...

XLIV.

«Тогда — не правда ли? —
в пустыне,
Вдали от суетной молвы,
Я вам не нравилась... Что ж
ныне

Меня преследуете вы?
Зачем у вас я на примете?
Не потому ль, что в высшем
свете
Теперь являться я должна;
Что я богата и знатна,
Что муж в сраженьях изувечен,
Что нас за то ласкает двор?
Не потому ль, что мой позор
Теперь бы всеми был замечен,
И мог бы в обществе принести
Вам соблазнительную честь?

XLV.

«Я плачу... если вашей Тани
Вы не забыли до сих пор,
То знайте: колкость вашей
брани,
Холодный, строгий разговор,
Когда б в моей лишь было
власти,
Я предпочла б обидной страсти
И этим письмам и слезам.
К моим младенческим мечтам
Тогда имели вы хоть жалость,
Хоть уважение к летам...
А нынче! — что к моим ногам
Вас привело? какая малость!
Как с вашим сердцем и умом
Быть чувства мелкого рабом?

XLVI.

«А мне, Онегин, пышность эта,
Постылой жизни мишура,
Мои успехи в вихре света,
Мой модный дом и вечера,
Что в них? Сейчас отдать я
рада

Всю эту ветошь, маскарада
Весь этот блеск, и шум, и чад
За полку книг, за дикий сад,
За наше бедное жилище,
За те места, где в первый раз,
Онегин, видела я вас,
Да за смиренное кладбище,
Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей...

XLVII.

«А счастье было так возможно.
Так близко!.. Но судьба моя
Уж решена. Неосторожно,
Быть может, поступила я:
Меня с слезами заклиний
Молила мать; для бедной Тани
Все были жребии равны...
Я вышла замуж. Вы должны,
Я вас прошу, меня оставить;
Я знаю: в вашем сердце есть
И гордость и прямая честь.
Я вас люблю (к чему
лукавить?),

Но я другому отдана;
Я буду век ему верна».

XLVIII.

Она ушла. Стоит Евгений,
Как будто громом поражён.
В какую бурю ощущений
Теперь он сердцем погружён!
Но шпор внезапный звон
раздался,

И муж Татьянин показался,
И здесь героя моего,
В минуту, злую для него,
Читатель, мы теперь оставим,
Надолго... навсегда. За ним
Довольно мы путём одним
Бродили по свету. Поздравим
Друг друга с берегом. Ура!
Давно б (не правда ли?) пора!

XLIX.

Кто б ни был ты, о мой
читатель,
Друг, недруг, я хочу с тобой

Хотя крупицу мог найти.
За сим расстанемся, прости!

L.

Прости ж и ты, мой спутник
 странный,
И ты, мой верный идеал,
И ты, живой и постоянный,
Хоть малый труд. Я с вами знал
Всё, что завидно для поэта:
Забвенье жизни в бурях света,
Беседу сладкую друзей.
Промчалось много, много дней

С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин в смутном сне
Явились впервые мне —
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Ещё неясно различал.

LI.

Но те, которым в дружной
встрече

Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади¹ некогда сказал.
Без них Онегин дорисован.
А та, с которой образован
Татьяны милый идеал...
О, много, много рок отъял!
Блажен, кто праздник жизни
рано

Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочёл её романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.

ОТРЫВКИ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ ОНЕГИНА

Последняя глава «Евгения Онегина» издана особо, с следующим предисловием:

«Пропущенные строфы подавали неоднократно повод к порицанию и насмешкам (впрочем, весьма справедливым и остроумным). Автор чистосердечно признаётся, что он выпустил из своего романа целую главу, в коей описано было путешествие Онегина по России. От него зависело означать сию выпущенную главу точками или цифрой; но во избежание соблазна решился он лучше выставить вместо девятого номера осьмой над последней главою Евгения Онегина и пожертвовать одною из окончательных строф:

Пора: перо покоя просит;
Я девять песен написал;
На берег радостный выносит
Мою ладью девятый вал —
Хвала вам, девяти Каменам, и проч.».

П. А. Катенин² (к которому прекрасный поэтический талант не мешает быть и тонким критиком) заметил нам, что сие исключе-

¹ Саади или Саадди (1184—1263) — знаменитый персидский поэт.

² П. А. Катенин — см. примечание к строфе XVIII первой главы.

ние, может быть, и выгодное для читателей, вредит, однако ж плану целого сочинения; ибо чрез то переход от Татьяны, уездной барышни, к Татьяне, знатной даме, становится слишком неожиданным и необъяснённым. — Замечание, обличающее опытного художника. Автор сам чувствовал справедливость оного, но решился выпустить эту главу по причинам, важным для него, а не для публики. Некоторые отрывки были напечатаны; мы здесь их помещаем, присовокупив к ним ещё несколько строф.

Е. Онегин из Москвы едет в Нижний Новгород.

...перед ним
Макарьев суетно хлопочет,
Кипит обилием своим,
Сюда жемчуг привёз индеец,
Поддельны вины европейца,
Табун бракованных коней
Пригнал заводчик из степей,
Игрок привёз свои колоды
И горсть услужливых костей,
Помещик — спелых дочерей,
А дочки — прошлогодни моды.
Всяк суетится, лжёт за двух
И всюду меркантильный дух.
Тоска!..

Онегин посещает потом Тавриду.

Воображенью край священный:	Сияли груди ваших гор,
С Атридом ¹ спорил там	Долин, деревьев, сёл узор
Пилад ² ,	Разостлан был передо мною.
Там закололся Митридат ³ ,	А там, меж хижинок татар...
Там пел Мицкевич ⁴	Какой во мне проснулся жар!
вдохновенный	Какой волшебною тоскою
И, посреди прибрежных скал,	Стеснилась пламенная груди!
Свою Литву воспоминал.	Но, Муза! прошлое забудь.
Прекрасны вы, брега Тавриды,	Какие б чувства ни таились
Когда вас видишь с корабля	Тогда во мне — теперь их нет:
При свете утренней Киприды,	Они прошли иль изменились...
Как вас впервой увидел я;	Мир вам, тревоги прошлых лет!
Вы мне предстали в блеске	В ту пору мне казались нужны
брачном:	Пустыни, воли края жемчужны,
На небе синем и прозрачном	И моря шум, и груди скал,

¹ Атриды — сыновья Атрея, царя Микен, Агамемнон и Менелай.

² Пилад — племянник Агамемнона. Спор между Пиладом и Орестом, сыном Агамемнона, шёл о том, кому из них пожертвовать своей жизнью для друга.

³ Митридат — древний царь (132—63 гг. до н. э.). В борьбе с римлянами был разбит римским полководцем Помпеем и покончил жизнь самоубийством.

⁴ Адам Мицкевич (1798—1855) — великий польский поэт.

И гордой девы идеал,
И безымённые страдания...
Другие дни, другие сны;
Смирились вы, моей весны
Высокопарные мечтанья,
И в поэтический бокал
Воды я много подмешал.
Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи —
Да пруд под сенью ив густых,
Раздолье уток молодых;
Теперь мила мне балалайка
Да пьяный топот трепака
Перед порогом кабака.
Мой идеал теперь — хозяйка.
Мои желанья — покой,
Да щей горшок, да сам
большой.

Порой дождливою намедни
Я, завернув на скотный двор...
Тьфу! прозаические бредни,
Фламандской школы ¹ пёстрый

Таков ли был я, расцветая?
Скажи, Фонтан Бахчисарая!
Такие ль мысли мне на ум
Навёл твой бесконечный шум,
Когда безмолвно пред тобою
Зарему я воображал...
Средь пышных, опустелых зал,
Спустя три года, вслед за мною
Скитаясь в той же стороне
Онегин вспомнил обо мне.
Я жил тогда в Одессе
пыльной...

Там долго ясны небеса,
Там хлопотливо торг обильный
Свой подьѐмлет паруса,

² В. И. Туманский (1802—1860) — поэт, живший в Одессе одновременно с Пушкиным (в 1823 г.).

Там всё Европой дышит, веет,
Всё блещет югом и пестреет
Разнообразием живой.
Язык Италии златой
Звучит по улице весёлой,
Где ходит гордый славянин,
Француз, испанец, армянин,
И грек, и молдаван тяжёлый,
И сын египетской земли,
Корсар в отставке, Морали.

Один над морем — и потом
Очаровательным пером
Сады одесские прославил.
Всё хорошо, но дело в том,
Что степь нагая там кругом;
Кой-где недавный труд
заставил

Младые ветви в знойный день
Давать насильственную тень.
А где, бишь, мой рассказ
несвязный?

В Одессе пыльной, я сказал.
Я б мог сказать: в Одессе
грязной —

И тут бы право не солгал.
В году недель пять-шесть
Одесса,

По воле бурного Зевеса,
Потоплена, запружена,
В густой грязи погружена.
Все дома на аршин загрязнут.
Лишь на ходулях пешеход
По улице дерзает вброд;
Кареты, люди тонут, вязнут,
И в дрожках вол, рога склоня,
Сменяет хилого коня.

Но уж дробит каменя молот,
И скоро звонкой мостовой
Покроется спасённый город,
Как будто кованой бронёй.
Однако в сей Одессе влажной
Ещё есть недостаток важный;
Чего б вы думали? — воды.
Потребны тяжкие труды...
Что ж? это небольшое горе,
Особенно, когда вино
Без пошлины привезено.
Но солнце южное, но море...
Чего ж вам более, друзья?
Благословенные края!

Бывало, пушка зоревая
Лишь только грянет с корабля,
С крутого берега сбегаю,
Уж к морю отправляюсь я.
Потом за трубкой раскаленной,
Волной солёной оживленный,
Как мусульман в своём раю,
С восточной гущей кофе пью.
Иду гулять. Уж благосклонный
Открыт Casino¹; чашек звон
Там раздаётся; на балкон
Маркер выходит полусонный
С метлой в руках, и у крыльца
Уже сошлись два купца.
Глядишь и площадь запестрела.
Всё оживилось; здесь и там
Бегут за делом и без дела,
Однако больше по делам.
Дитя расчёта и отваги,
Идёт купец взглянуть на
флаги,

Проведать, шлют ли небеса
Ему знакомы паруса.
Какие новые товары
Вступили нынче в каратин?
Пришли ли бочки жданных вин?

И что чума? и где пожары?
И нет ли голода, войны,
Или подобной новизны?
Но мы, ребята без печали,
Среди заботливых купцов,
Мы только устриц ожидали
От цареградских берегов.
Что устрицы? пришли!

О радости!
Летит обжорливая младость
Глотать из раковин морских
Затворниц жирных и живых,
Слегка обрызгнутых лимоном.
Шум, споры — лёгкое вино
Из погребов принесено
На стол услужливым

Отоном²,
Часы летят, а грозный счёт
Меж тем невидимо растёт.

Но уж темнеет вечер синий,
Пора нам в Оперу скорей:
Там упоительный Россини³,
Европы баловень — Орфей⁴.
Не внемля критике суровой,
Он вечно тот же, вечно новый,
Он звуки льёт — они кипят,
Они текут, они горят,
Как поцелуй молодые,
Все в неге, в пламени любви,
Как зашипевшего Аи
Струя и брызги золотые...
Но, господа, позволено ль
С вином равнять do-re-mi-sol?

А только ль там очарований?
А разыскательный лорнет?
А закулисные свиданья?
А prima donna⁵? а балет?
А ложа, где красой блистая,
Негоцианка молодая,

¹ Casino (казинó) — кофейная, клуб и игóрный дом.

² Известный ресторатор в Одессе. (Примечание Пушкина.)

³ Россини (1792—1868) — итальянский композитор, автор оперы «Севильский цирюльник» и других.

⁴ Орфей — мифический греческий певец; в данном случае «Орфей» — опера немецкого композитора Глюка (1714—1787)

⁵ Prima donna (примадонна) — первая певица, поющая главные роли в опере.

Самолюбива и томна,
Толпой рабов окружена?
Она и внемлет и не внемлет
И каватине, и мольбам,
И шутке с лестью пополам...
А муж—в углу за нею дремлет,
Впросонках фора закричит,
Зевнёт — и снова захрапит.

Финал гремит; пустеет зала;
Шумя, торопится разъезд;
Толпа на площадь побежала
При блеске фонарей и звезд,

Сыны Авзонии¹ счастливой
Слегка поют мотив игривый,
Его невольно затвердив,
А мы ревём речитатив,
Но поздно. Тихо спит Одесса;
И бездыханна и тепла
Немая ночь. Луна взошла.
Прозрачно-лёгкая завеса
Объемлет небо. Всё молчит;
Лишь море Чёрное шумит...

Итак, я жил тогда в Одессе...

БОРИС ГОДУНОВ

(В сокращении)

КРЕМЛЕВСКИЕ ПАЛАТЫ

(1598 года, 20 февраля)

Князя Шуйский и Воротынский.

Воротынский².

Наряжены мы вместе город ведать,
Но, кажется, нам не за кем смотреть:
Москва пуста; вослед за патриархом
К монастырю пошёл и весь народ.
Как думаешь, чем кончится тревога?

Шуйский³.

Чем кончится? Узнать не мудрено:
Народ ещё повоюет да поплачет,
Борис ещё поморщится немного,
Что пьяница пред чаркою вина,
И, наконец, по милости своей
Принять венец смиренно согласится;
А там — а там он будет нами править
По-прежнему.

¹ Авзония — Италия. Так у древнего римского поэта Вергилия назывался весь полуостров Италии по имени одного из латинских народов (авзоны).

² Воротынский И. М. (ум. в 1627 г.) — родовитый боярин, потомок удельных князей.

³ Шуйский В. И. (1552—1612) — потомок владетельных князей, возглавлял боярскую партию, враждебную Годуновым; после свержения Дмитрия Самозванца был царём; в 1610 г. свергнут с престола и отвезён в Польшу как пленник, где и скончался в 1612 г.

Воротынский.

Но месяц уж протёк,
Как, затворясь в монастыре с сестрою,
Он, кажется, покинул всё мирское.
Ни патриарх, ни думные бояре
Склонить его доселе не могли;
Не внемлет он ни слёзным увещаньям,
Ни их мольбам, ни воплю всей Москвы,
Ни голосу Великого собора.
Его сестру напрасно умоляли
Благословить Бориса на державу;
Печальная монахиня-царица
Как он тверда, как он неумолима.
Знать сам Борис сей дух в неё вселил;
Что ежели правитель в самом деле
Державными заботами наскучил
И на престол безвластный не взойдёт?
Что скажешь ты?

Шуйский.

Скажу, что понапрасну
Лилася кровь царевича-младенца;
Что если так, Димитрий мог бы жить.

Воротынский.

Ужасное злодейство! Полно, точно ль
Царевича сгубил Борис?

Шуйский.

А кто же?

Кто подкупал напрасно Чепчугова?
Кто подослал обоих Битяговских
С Качаловым? Я в Углич послан был
Исследовать на месте это дело:
Наехал я на свежие следы;
Весь город был свидетель злодеянья;
Все граждане согласно показали;
И, возвратясь, я мог единым словом
Изобличить сокрытого злодея.

Воротынский.

Зачем же ты его не уничтожил?

Шуйский.

Он, признаюсь, тогда меня смутил
Спокойствием, бесстыдностью неожиданной,
Он мне в глаза смотрел, как будто правый:

Расспрашивал, в подробности входил —
И перед ним я повторил нелепость,
Которую мне сам он нашептал.

Воротынский.

Не чисто, князь.

Шуйский.

А что мне было делать?
Всё объявить Феодору? Но царь
На всё глядел очами Годунова,
Всему внимал ушами Годунова:
Пускай его б уверил я во всём,
Борис тотчас его бы разуверил,
А там меня ж сослали б в заточенье,
Да в добрый час, как дядю моего,
В глухой тюрьме тихонько б задавили.
Не хвастаюсь, а в случае, конечно,
Никая казнь меня не устрасит,
Я сам не трус, но также не глупец
И в петлю лезть не соглашуся даром.

Воротынский.

Ужасное злодейство! Слушай, верно,
Губителя раскаянье тревожит:
Конечно, кровь невинного младенца
Ему ступить мешает на престол.

Шуйский.

Перешагнёт; Борис не так-то робок!
Какая честь для нас, для всей Руси!
Вчерашний раб, татарин, зять Малюты¹.
Зять палача и сам в душе палач,
Возьмёт венец и бармы² Мономаха...

Воротынский.

Так; родом он незнатен; мы знатнее.

Шуйский.

Да, кажется.

Воротынский.

Ведь Шуйский, Воротынский...

Легко сказать, природные князья.

¹ Малюта Скуратов, Малюта (ум. в 1572 г.) — любимый опричник Ивана Грозного; на дочери его был женат Борис Годунов.

² Бармы — род наплечников в торжественной одежде московских князей и царей.

Ш у й с к и й.

Природные, и Рюриковой крови.

В о р о т ы н с к и й.

А слушай, князь, ведь мы б имели право
Наследовать Феодору.

Ш у й с к и й.

Да, боле,

Чем Годунов.

В о р о т ы н с к и й.

Ведь в самом деле!

Ш у й с к и й.

Что ж?

Когда Борис хитрить не перестанет,
Давай народ искусно волновать,
Пускай они оставят Годунова;
Своих князей у них довольно, пусть
Себе в цари любого изберут.

В о р о т ы н с к и й.

Не мало нас, наследников варяга,
Да трудно нам тягаться с Годуновым;
Народ отвык в нас видеть древнюю отрасль
Воинственных властителей своих.
Уже давно лишились мы уделов,
Давно царям подручниками служим,
А он умел и страхом, и любовью,
И славою народ очаровать:

Ш у й с к и й (глядит в окно).

Он смел, вот всё — а мы... Но полно.
Видишь,

Народ идёт, рассыпавшись, назад.
Пойдём скорей, узнаем, решено ли.

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

Н а р о д.

О д и н.

Неумолим! Он от себя прогнал
Святителей, бояр и патриарха.
Они пред ним напрасно пали ниц;
Его страшит сияние престола.

ник Ива-
их князей

Другой.

О боже мой, кто будет нами править?
О горе нам!

Третий.

Да вот верховный дьяк
Выходит нам сказать решение Думы.

Народ.

Молчать! молчать! дьяк думный говорит:
Шш — слушайте!

Щелкалов¹

(с Красного крыльца).

Собором положили
В последний раз отведать силу просьбы
Над скорбною правителя душой.
Завтра вновь святейший патриарх,
В Кремле отпев торжественно молебен,
Предшествуем хоругвями святыми,
С иконами Владимирской, Донской,
Воздвигнется; а с ним синклит, бояре,
Да сонм дворян, да выборные люди
И весь народ московский православный,
Мы все пойдём молить царицу вновь,
Да сжалится над сиротою Москвою
И на венец благословит Бориса.
Идите же вы с богом по домам,
Молитесь — да взыдет к небесам
Усердная молитва православных.

(Народ расходится.)

ДЕВИЧЬЕ ПОЛЕ
НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ

Народ.

Один.

Теперь они пошли к царице в келью.
Туда вошли Борис и патриарх
С толпой бояр.

Другой.

Что слышно?

¹ Щелкалов В. — верховный дьяк, управляющий Посольским приказом.

Третий.

Упрямится; однако есть надежда. Всё ещё

Баба (с ребёнком).

Агу! не плачь, не плачь; вот бука, бука
Тебя возьмёт! агу, агу!.. не плачь!

Один.

Нельзя ли нам пробраться за ограду?

Другой.

Нельзя. Куды! и в поле даже тесно,
Не только там. Легко ли? Вся Москва
Сперлася здесь: смотри: ограда, кровли,
Все ярусы соборной колокольни,
Главы церквей и самые кресты
Унизаны народом.

Первый.

Право, любо!

Один.

Что там за шум?

Другой.

Послушай! что за шум?

Народ завыл, там падают, что волны,
За рядом ряд... ещё... ещё... Ну, брат,
Дошло до нас; скорее! на колени!

Народ (на коленях. Вой и плач).

Ах, смилуйся, отец наш! властвуй нами!
Будь наш отец, наш царь!

Один (тихо).

О чём там плачут?

Другой.

А как нам знать? то ведают бояре,
Не нам чета.

Баба (с ребёнком).

Ну, что ж? как надо плакать,
Так и затих! вот я тебя! вот бука!
Плачь, баловень!

(Бросает его обзёмь. Ребёнок пищит.)

Ну, то-то же.

Один.

Все плачут,
Заплачем, брат, и мы.

Другой.

Я силюсь, брат.
Да не могу.

.

Второй.

...Что там ещё?

Первый.

Да кто их разберёт?

Народ.

Венец за ним! он царь! он согласился!
Борис наш царь! да здравствует Борис!

КРЕМЛЕВСКИЕ ПАЛАТЫ

Борис, патриарх, бояре.

Борис.

Ты, отче патриарх, вы все, бояре,
Обнажена моя душа пред вами:
Вы видели, что я приемлю власть
Великую со страхом и смиреньем.
Сколь тяжела обязанность моя!
Наследую могущим Иоаннам —
Наследую и ангелу-царю!..
О праведник! о мой отец державный!
Воззри с небес на слёзы верных слуг
И ниспошли тому, кого любил ты,
Кого ты здесь столь дивно возвеличил,
Священное на власть благословенье:
Да правлю я во славе свой народ
Да буду благ и праведен как ты.

От вас я жду содействия, бояре.
Служите мне, как вы ему служили,
Когда труды я ваши разделял,
Не избранный ещё народной волей.

Бояре.

Не изменим присяге, нами данной.

Борис.

Теперь пойдём, поклонимся гробам
Почиющих властителей России,

А там — сзывать весь наш народ на пир,
Всех, от вельмож до нищего слепца;
Всем вольный вход, все гости дорогие.
(Уходит, за ним и бояре.)

Воротынский
(останавливая Шуйского).

Ты угадал.

Шуйский.

А что?

Воротынский.
Да здесь, намедни,
Ты помнишь?

Шуйский.
Нет, не помню ничего.

Воротынский.
Когда народ ходил в Девичье поле,
Ты говорил...

Шуйский.
Теперь не время помнить,
Советую порой и забывать.
А впрочем я злословием притворным
Тогда желал тебя лишь испытать,
Верней узнать твой тайный образ мыслей;
Но вот — народ приветствует царя —
Отсутствие моё заметить могут —
Иду за ним.

Воротынский.
Лукавый царедворец!

НОЧЬ. КЕЛЬЯ В ЧУДОВОМ МОНАСТЫРЕ
(1603 года)

Отец Пимен, Григорий спящий.

Пимен
(пишет перед лампадой).

Ещё одно, последнее сказанье —
И летопись окончена моя,
Исполнен долг, завещанный от бога
Мне, грешному. Недаром многих лет
Свидетелем господь меня поставил

И книжному искусству вразумил;
Когда-нибудь монах трудолюбивый
Найдёт мой труд усердный, безымянный,
Засветит он, как я, свою лампаду —
И пыль веков от хартий отряхнув,
Правдивые сказанья перепишет,
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют.
На старости я сизнова живу,
Минувшее проходит предо мною —
Давно ль оно неслось событий полно,
Волнуясь, как море-окиян?
Теперь оно безмолвно и спокойно;
Не много лиц мне память сохранила,
Не много слов доходят до меня,
А прочее погребло невосвратно...
Но близок день, лампада догорает —
Ещё одно, последнее сказанье *(пишет)*.

Григорий

(пробуждается).

Всё тот же сон! возможно ль? в третий раз!
Проклятый сон!.. А всё перед лампадой
Старик сидит да пишет — и дремотой,
Знать, во всю ночь он не смыкал очей.
Как я люблю его спокойный вид,
Когда, душой в минувшем погружённый,
Он летопись свою ведёт; и часто
Я угадать хотел, о чём он пишет?
О тёмном ли владычестве татар?
О казнях ли свирепых Иоанна?
О бурном ли новгородском вече?
О славе ли отечества? напрасно.
Ни на челе высоком, ни во взорах
Нельзя прочесть его сокрытых дум;
Всё тот же вид смиренный, величавый,
Так точно дьяк, в приказах поседель,
Спокойно зрит на правых и виновных,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не ведая ни жалости, ни гнева.

Пимен.

Проснулся, брат?

Григорий.

Благослови меня,
Честный отец.

Пимен.

Благослови, господь,
Тебя и днесь, и присно, и вовеки.

Григорий.

Ты всё писал и сном не позабылся,
А мой покой бесовское мечтанье
Тревожило, и враг меня мутил.
Мне снилось, что лестница крутая
Меня вела на башню; с высоты
Мне виделась Москва, что муравейник;
Внизу народ на площади кипел
И на меня указывал со смехом,
И стыдно мне и страшно становилось —
И, падая стремглав, я пробуждался...
И три раза мне снился тот же сон.
Не чудно ли?

Пимен.

Младая кровь играет;
Смирять себя молитвой и постом,
И сны твои видений лёгких будут
Исполнены. Доныне — если я,
Невольною дремотой обессилен,
Не сотворю молитвы долгой к ночи —
Мой старый сон не тих и не безгрешен,
Мне чудятся то шумные пиры,
То ратный стан, то схватки боевые,
Безумные потехи юных лет!

Григорий.

Как весело провёл свою ты младость!
Ты воевал под башнями Казани,
Ты рать Литвы при Шуйском отражал,
Ты видел двор и роскошь Иоанна!
Счастлив! а я от отроческих лет
По келиям скитаюсь, бедный инок!
Зачем и мне не тешиться в боях,
Не пировать за царскою трапезой?
Успел бы я, как ты, на старость лет
От суеты, от мира отложиться,
Произнести монашества обет
И в тихую обитель затвориться.

Не сетуй, брат, что рано грешный свет
 Покинул ты, что мало искушений
 Послал тебе всевышний. Верь ты мне:
 Нас издали пленяет слава, роскошь
 И женская лукавая любовь.
 Я долго жил и многим насладился;
 Но с той поры лишь ведаю блаженство,
 Как в монастырь господь меня привёл.
 Подумай, сын, ты о царях великих.
 Кто выше их? Единый бог. Кто смеет
 Противу их? Никто. А что же? Часто
 Златый венец тяжёл им становился:
 Они его меняли на кlobук.
 Царь Иоанн искал успокоенья
 В подобии монашеских трудов.
 Его дворец, любимцев гордых полный,
 Монастыря вид новый принимал:
 Кромешники в тафьях и власяницах
 Послушными являлись чернецами,
 А грозный царь игуменом смиренным.
 Я видел здесь — вот в этой самой келье
 (В ней жил тогда Кирилл многострадальный,
 Муж праведный, Тогда уж и меня
 Сподобил бог уразуметь ничтожность
 Мирских сует), здесь видел я царя,
 Усталого от гневных дум и казней.
 Задумчив, тих сидел меж нами Грозный,
 Мы перед ним недвижимо стояли,
 И тихо он беседу с нами вёл.
 Он говорил игумену и братье:
 «Отцы мои, желанный день придёт,
 Предстану здесь алкающий спасенья.
 Ты, Никодим, ты, Сергей, ты, Кирилл,
 Вы все — сбег примите мой духовный:
 Прииду к вам, преступник окаянный,
 И схиму здесь честную восприму,
 К стопам твоим, святой отец, припадши».
 Так говорил державный государь,
 И сладко речь из уст его лилася,
 И плакал он. А мы в слезах молились,
 Да ниспошлет господь любовь и мир
 Его душе страдающей и бурной.
 А сын его Феодор? На престоле
 Он воздыхал о мирном житии
 Молчальника. Он царские чертоги
 Преобратил в молитвенную келью;

Там тяжкие, державные печали
Святой души его не возмущали.
Бог возлюбил смирение царя,
И Русь при нём во славе безмятежной
Утешлась — а в час его кончины
Свершилось неслыханное чудо:
К его одру, царю едину зримый,
Явился муж необычайно светел,
И начал с ним беседовать Феодор
И называть великим патриархом.
И все кругом объаты были страхом,
Уразумев небесные виденья,
Зане святой владыка пред царём
Во храмине тогда не находился.
Когда же он преставился, палаты
Исполнились святым благоуханьем,
И лик его как солнце просиял.—
Уж не видать такого нам царя.
О страшное, невиданное горе!
Прогневали мы бога, согрешили:
Владыкою себе цареубийцу
Мы нарекли

Григорий.

Давно, честный отец,
Хотелось мне тебя спросить о смерти
Димитрия царевича; в то время
Ты, говорят, был в Угличе.

Пимен.

Ох помню!

Привёл меня бог видеть злое дело,
Кровавый грех. Тогда я в дальний Углич
На некое был послан послушанье;
Пришёл я в ночь. Наутро в час обедни
Вдруг слышу звон, ударили в набат,
Крик, шум. Бегут на двор царицы. Я
Спешу туда ж — а там уже весь город.
Гляжу: лежит зарезанный царевич;
Царица мать в беспмятстве над ним.
Кормилица в отчаяньи рыдает,
А тут народ остервенясь волочит
Безбожную предательницу-мамку...
Вдруг между их, свиреп, от злости бледен,
Является Иуда-Битяговский.
«Вот, вот злодей!» раздался общий вопль,
И вмиг его не стало. Тут народ
Вслед бросился бежавшим трём убийцам;

Укрывшихся злодеев захватили
И привели пред тёплый труп младенца,
И чудо — вдруг мертвец затрепетал, —
«Покайтесь!» народ им завопил:
И в ужасе под топором злодеи
Покаялись — и назвали Бориса.

Григорий.

Каких был лет царевич убиенный?

Пимен.

Да лет семи; ему бы ныне было —
(Тому прошло уж десять лет... нет, больше:
Двенадцать лет) — он был бы твой ровесник
И царствовал; но бог судил иное.

Сей повестью плачевной заключу
Я летопись мою; с тех пор я мало
Вникал в дела мирские. Брат Григорий,
Ты грамотой свой разум просветил,
Тебе свой труд передаю. В часы,
Свободные от подвигов духовных,
Описывай, не мудрствуя лукаво,
Всё то, чему свидетель в жизни будешь:
Войну и мир, управу государей,
Угодников святые чудеса,
Пророчества и знаменья небесны —
А мне пора, пора уж отдохнуть
И погасить лампаду... Но звонят
К заутрене... благослови, господь;
Своих рабов!.. подай костыль, Григорий.

(Уходит.)

Григорий.

Борис, Борис! всё пред тобой трепещет,
Никто тебе не смеет и напомнить
О жребии несчастного младенца, —
А между тем отшельник в тёмной келье
Здесь на тебя донос ужасный пишет:
И не уйдёшь ты от суда мирского,
Как не уйдёшь от божьего суда.

ПАЛАТЫ ПАТРИАРХА

Патриарх, игумен Чудова монастыря.

Патриарх.

И он убежал, отец игумен?

Игумен.

Убежал, святой владыко. Вот уж тому третий день.

Патриарх.

Пострел, окаянный! Да какого он роду?

Игумен.

Из роду Отрепьевых, галицких боярских детей. Смолоду постригся неведомо где, жил в Суздале, в Ефимьевском монастыре, ушёл оттуда, шатался по разным обителям, наконец пришёл к моей чудовской братии, а я, видя, что он ещё млад и неразумен, отдал его под начал отцу Пимену, старцу кроткому и смиренному; и был он весьма грамотен: читал наши летописи, сочинял каноны святым; но, зная, грамота далася ему не от господа бога...

Патриарх.

Уж эти мне грамотеи! что ещё выдумал! *буду царём на Москве!* Ах, он сосуд дьявольский! Однако нечего царю и докладывать об этом; что тревожить отца-государя? Довольно будет объявить о побеге дьяку Смирнову али дьяку Ефимьеву; эдака ересь! *буду царём на Москве!*.. Поймать, поймать врагоугодника, да и сослать в Соловецкий на вечное покаяние. Ведь это ересь, отец игумен.

Игумен.

Ересь, святой владыко, сущая ересь.

ЦАРСКИЕ ПАЛАТЫ

Два стольника.

Первый.

Где государь?

Второй.

В своей опочивальне
Он заперся с каким-то колдуном.

Первый.

Так, вот его любимая беседа:
Худесники, гадатели, колдуны.
Всё ворожит, что красная невеста.
Желал бы знать, о чём гадает он?

Второй.

Вот он идет. Угодно ли спросить?

Первый.

Как он угрюм!

(Уходят.)

Царь (входит).

Достиг я высшей власти;
Шестой уж год я царствую спокойно.
Но счастья нет моей душе. Не так ли
Мы смолodu влюбляемся и алчем
Утех любви, но только утолим
Сердечный глад мгновенным обладаньем,
Уж, охладев, скушаем и томимся?..
Напрасно мне кудесники сулят
Дни долгие, дни власти безмятежной —
Ни власть, ни жизнь меня не веселят;
Предчувствую небесный гром и горе.
Мне счастья нет. Я думал свой народ
В довольствии, во славе успокоить,
Щедротами любовь его снискать —
Но отложил пустое попеченье:
Живая власть для черни ненавистна.
Они любить умеют только мёртвых —
Безумны мы, когда народный плеск
Иль ярый вопль тревожит сердце наше!
Бог насылал на землю нашу глад,
Народ завыл, в мученьях погибая;
Я отворил им житницы, я злато
Рассыпал им, я им сыскал работы —
Они ж меня, беснуясь, проклинали!
Пожарный огонь их дома истребил,
Я выстроил им новые жилища.
Они ж меня пожаром упрекали!
Вот черни суд: ищи ж её любви.
В семье моей я мнил найти отраду,
Я дочь мою мнил осчастливить браком —
Как буря, смерть уносит жениха...
И тут молва лукаво нарекает
Виновником дочернего вдовства —
Меня, меня, несчастного отца!..
Кто ни умрёт, я всех убийца тайный:
Я ускорил Феодора кончину,
Я отравил свою сестру царицу,
Монахиню смиренную... всё я!
Ах! Чувствую: ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто... едина разве совесть.
Так, здравая, она восторжествует

Над злобою, над тёмной клеветою.
Но если в ней единое пятно,
Единое, случайно завелось;
Тогда — беда! как язвой моровой
Душа сгорит, нальётся сердце ядом,
Как молотком стучит в ушах упрёк,
И всё тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах...
И рад бежать, да некуда... ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.

КОРЧМА НА ЛИТОВСКОЙ ГРАНИЦЕ

Мисаил в Варлаам, бродяги-чернецы; Григорий
Отрепьев мирянином, хозяйка.

Хозяйка.

Чем-то мне вас потчевать, старцы честные?

Варлаам.

Чем бог пошлёт, хозяйюшка. Нет ли вина?

Хозяйка.

Как не быть, отцы мои! Сейчас вынесу.

(Уходит.)

Мисаил.

Что ж ты закручинился, товарищ? Вот и граница Литовская, до которой так хотелось тебе добраться.

Григорий.

Пока не буду в Литве, до тех пор не буду спокоен.

Варлаам.

Что тебе Литва так слюбилась? Вот мы, отец Мисаил да я, грешный, как утекли из монастыря, так ни о чём и не думаем. Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли: всё нам равно, было бы вино... да вот и оно!..

Мисаил.

Складно сказано, отец Варлаам.

Хозяйка (входит).

Вот вам, отцы мои. Пейте на здоровье.

Мисаил.

Спасибо, родная, бог тебя благослови.
(Монахи пьют; Варлаам затягивает песню:
«Как во городе было во Казани»...)

Варлаам
(Григорию).

Что же ты не подтягиваешь, да и не потягиваешь?

Григорий.

Не хочу.

Мисаил.

Вольному воля...

Варлаам.

А пьяному рай, отец Мисаил! Выпьем же чарочку за шинка-
рочку... Однако, отец Мисаил, когда я пью, так трезвых не люб-
лю; ино дело пьянство, а иное чванство; хочешь жить как мы,
милости просим — нет, так убирайся, проваливай: скоморох попу
не товарищ.

Григорий.

Пей да про себя разумеи, отец Варлаам! Видишь, и я порой
складно говорить умею.

Варлаам.

А что мне про себя разумеи?

Мисаил.

Оставь его, отец Варлаам.

Варлаам.

Да что он за постник? Сам же к нам навязался в товарищи,
неведомо кто, неведомо откуда, — да ещё и спесивится; может
быть, кобылу нюхал...

(Пьёт и поёт: «Молодой чернец постригся».)

Григорий
(хозяйке).

Куда ведёт эта дорога?

Хозяйка.

В Литву, мой кормилец, к Луёвым горам.

Григорий

А далече ли до Луёвых гор?

Хозяйка.

Недалече, к вечеру можно бы туда поспеть, кабы не заставы
царские да сторожевые приставы¹.

¹ Пристав — в Московской Руси должностное лицо, приставленное к ка-
кому-нибудь делу для надзора.

Григорий.

Как, заставы! что это значит?

Хозяйка.

Кто-то бежал из Москвы, а велено всех задерживать да осматривать.

Григорий

(про себя)

Вот тебе, бабушка, Юрьев день.

Варлаам.

Эй, товарищ, да ты к хозяйке присуседился. Знать, не нужна тебе водка, а нужна молодка, дело, брат, дело! у всякого свой обычай; а у нас с отцом Мисаилом одна заботушка: пьем до донушка, выпьем, поворотим и в донушко поколотим.

Мисаил.

Складно сказано, отец Варлаам...

Григорий.

Да кого ж им надобно? Кто бежал из Москвы?

Хозяйка.

А господь его ведает, вор ли, разбойник — только здесь и добрым людям нынче прохода нет — а что из того будет? ничего; ни лысого беса не поймают: будто в Литву нет и другого пути, как столбовая дорога! Вот хоть отсюда свороти влево, да бором иди по тропинке до часовни, что на Чекаинском ручью, а там прямо через болото на Хлопино, а оттуда на Захарьево, а тут уж всякий мальчишка доведёт до Лубовых гор. От этих приставов только и толку, что притесняют прохожих, да обируют нас бедных. (Слышен шум.) Что там ещё? Ах, вот они, проклятые! дозором идут

Григорий.

Хозяйка! нет ли в избе другого угла?

Хозяйка.

Нету, родимый. Рада бы сама спрятаться. Только слава, что дозором ходят, а подавай им и вина, и хлеба, и пельменей — чтоб им издохнуть, окаянным! чтоб им...

(Входят приставы.)

П р и с т а в.

Здорово, хозяйка!

Х о з я й к а.

Добро пожаловать, гости дорогие, милости просим.

О д и н п р и с т а в

(*другому*).

Ба! да здесь попойка идёт; будет чем поживиться. (*Монахам.*) Вы что за люди?

В а р л а а м.

Мы божии старцы, иноки смиренные, ходим по селениям да собираем милостыню христианскую на монастырь.

П р и с т а в

(*Григорию*).

А ты?

М и с а и л.

Наш товарищ...

Г р и г о р и й.

Мирянин из пригорода; проводил старцев до рубежа, отселе иду восвояси.

М и с а и л.

Так ты раздумал...

Г р и г о р и й

(*тихо*).

Молчи.

П р и с т а в.

Хозяйка, выставь-ка ещё вина — а мы здесь со старцами попьём да побеседуем.

Д р у г о й п р и с т а в

(*тихо*).

Парень-то, кажется, гол, с него взять нечего; зато старцы...

П е р в ы й.

Молчи, сейчас до них доберёмся. — Что, отцы мои? какое промышляете?

В а р л а а м.

Плохо, сыне, плохо! ныне христиане стали скупы; деньгу любят, деньгу прячут. Мало богу дают. Прииде грех великий на языцы земнии. Все пустилися в торги, в мытарства; думают о мирском богатстве, не о спасении души. Ходишь, ходишь; молишь, молишь; иногда в три дни трёх полушек не вымолишь. Такой грех! Пройдёт неделя, другая, заглянешь в мошонку, а в ней так мало, что совестию в монастырь показаться; что делать? с горя и остальное пропьёшь; беда да и только. — Ох, плохо, знать пришли наши последние времена...

Х о з я й к а
(плачет).

Господь помилуй и спаси!

(В продолжение Варлаамовой речи первый пристав значительно всматривается в Мисаила.)

Первый пристав.

Алѣха! при тебе ли царский указ?

Второй.

При мне.

Первый.

Подай-ка сюда.

Мисаил.

Что ты на меня так пристально смотришь?

Первый пристав.

А вот что: из Москвы бежал некоторый злой еретик, Гришка Отрепьев, слышал ли ты это?

Мисаил.

Не слышал.

Пристав.

Не слышал? ладно. А того беглого еретика царь приказал изловить и повесить. Знаешь ли ты это?

Мисаил.

Не знаю.

Пристав
(Варлааму).

Умеешь ли ты читать?

Варлаам.
Смолоду знал, да разучился.

Пристав
(Мисаилу).

А ты?

Мисаил.
Не умудрил господь.

Пристав.
Так вот тебе царский указ.

Мисаил.
На что мне его?

Пристав.
Мне сдаётся, что этот беглый еретик, вор, мошенник —
ты.

Мисаил.
Я! помилуй! что ты?

Пристав.
Постой! держи двери. Вот мы сейчас и справимся.

Хозяйка.
Ах, они окаянные мучители! и старца-то в покое не оставят!

Пристав.
Кто здесь грамотный?

Григорий
(выступает вперёд).

Я грамотный.

Пристав.
Вот ва! А у кого же ты научился?

Григорий.
У нашего пономаря.

Пристав
(даёт ему указ)

Читай же вслух.

Григорий
(читает).

«Чудова монастыря недостойный чернец Григорий, из роду Огреневых, впал в ересь и дерзнул, наученный дьяволом, возмущать святую братию всякими соблазнами и беззакониями. А по справкам оказалось, отбежал он, окатынный Гришка, к границе Литовской...»

Пристав
(Мисаилу).

Как же не ты?

Григорий.

«И царь повелел изловить его...»

Пристав.

И повесить.

Григорий.

Тут не сказано повесить.

Пристав.

Врёшь: не всяко слово в строку пишется. Читай изловить и повесить.

Григорий.

«И повесить. А лет ему вору Гришке от роду... (смотря на Варлаама) за 50. А росту он среднего, лоб имеет плешивый, бороду седую, брюхо толстое...»

(Все глядят на Варлаама.)

Первый пристав.

Ребята! здесь Гришка! держите, вяжите его! Вот уже не думал, не гадал.

Варлаам
(вырывая бумагу).

Отстаньте, сукины дети! что я за Гришка? — как 50 лет, борода седая, брюхо толстое! нет, брат! молод ещё надо мною шутки шутить. Я давно не читывал и худо разбираю, а тут уж разберу, как дело до петли доходит. (Читает по складам.) «А лет е-му от ро-ду... 20». — Что, брат? где тут 50? видишь? 20.

Второй пристав.

Да, помнигся, двадцать. Так и нам было сказано.

Первый пристав

(Григорию).

Да ты, брат, видно забавник.

(Во время чтения Григорий стоит потупя голову,
с рукою за пазухой.)

Варлаам (продолжает).

«А ростом он мал, грудь широкая, одна рука короче
другой, глаза голубые, волосы рыжие, на щеке бородавка,
на лбу другая». Да это, друг, уж не ты ли?

(Григорий вдруг вынимает кинжал; все перед ним
расступаются, он бросается в окно.)

Приставы.

Держи! держи!

(Все бегут в беспорядке.)

МОСКВА. ДОМ ШУЙСКОГО.

Шуйский. Множество гостей. Ужин.

Шуйский.

Вина ещё.

(Встаёт, за ним и все.)

Ну, гости дорогие,
Последний ковш! Читай молитву, мальчик.

Мальчик.

Царю небес, везде и присно сущий,
Своих рабов молению вземли:
Помолимся о нашем государе,
Об избранном тобой, благочестивом,
Всех христиан царе самодержавном.
Храни его в палатах, в поле ратном,
И на путях, и на одре ночлега.
Подай ему победу на враги,
Да славится он от моря до моря.
Да здравием цветёт его семья,
Да осенят её драгие ветви
Весь мир земной — а к нам, своим рабам,
Да будет он, как прежде, благодатен,
И милостив и долготерпелив,
Да мудрости его неистощимой
Проистекут источники на нас;
И, царскую на то воздвигнув чашу,
Мы молимся тебе, царю небес.

Ш у й с к и й

(пьёт).

Да здравствует великий государы!
Простите же вы, гости дорогие;
Благодарю, что вы моей хлеб-солью
Не презрели. Простите, добрый сон.
(Гости уходят, он провожает их до дверей.)

П у ш к и н.

Насилу убрались; ну, князь Василий Иванович, я уж
думал, что нам не удастся и переговорить.

Ш у й с к и й

(слугам).

Вы что рот разинули? Всё бы вам господ подслушивать.
Сбирайте со стола да ступайте вон. — Что такое, Афона-
сий Михайлович?

П у ш к и н.

Чудеса да и только.
Племянник мой, Гаврила Пушкин, мне
Из Кракова гонца прислал сегодня.

Ш у й с к и й.

Ну?

П у ш к и н.

Странную племянник пишет новость.
Сын Грозного... постой.

(Идёт к дверям и осматривает.)

Державный отрок,
По манию Бориса убиенный...

Ш у й с к и й.

Да это уж не ново.

П у ш к и н.

Погоди:

Димитрий жив.

Ш у й с к и й.

Вот-на! какая весты!
Царевич жив! ну подлинно чудесно.
И только-то?

Послушай до конца,
Кто б ни был он, спасенный ли царевич,
Иль некий дух во образе его,
Иль смелый плут, бесстыдный самозванец,
Но только там Димитрий появился.

Ш у й с к и й.

Не может быть.

П у ш к и н.

Его сам Пушкин видел,
Как приезжал впервой он во дворец
И сквозь ряды литовских панов прямо
Шёл в тайную палату короля.

Ш у й с к и й.

Кто ж он такой? откуда он?

П у ш к и н.

Не знают.

Известно то, что он слугою был
У Вишневецкого, что на одре болезни
Открылся он духовному отцу,
Что гордый пан, его проведав тайну,
Ходил за ним, подняв его с одра
И с ним потом уехал к Сигизмунду.

Ш у й с к и й.

Что ж говорят об этом удалце?

П у ш к и н.

Да слышно, он умен, приветлив, ловок,
По нраву всем. Московских беглецов
Обворожил. Латинские попы
С ним заодно. Король его ласкает
И, говорят, помогу обещал.

Ш у й с к и й.

Всё это, брат, такая кутерьма,
Что голова кругом пойдёт неволью.
Сомненья нет, что это самозванец,
Но, признаюсь, опасность не мала.
Весть важная! и если до народа
Она дойдёт, то быть грозе великой.

Пушкин:

Такой грозе, что вряд царю Борису
Сдержат венец на умной голове.
И поделом ему! он правит нами,
Как царь Иван (не к ночи будь помянут).
Что пользы в том, что явных казней нет,
Что на колу кровавом, всенародно,
Мы не поём канонов¹ Иисусу,
Что нас не жгут на площади, а царь
Своим жезлом не подгребает углей?
Уверены ль мы в бедной жизни нашей?
Нас каждый день опала ожидает,
Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы.
А там — в глуши голодна смерть иль петля.
Знатнейшие меж нами роды — где?
Где Сицкие князья, где Шестуновы,
Романовы, отечества надежда?
Заточены, замучены в изгнании.
Дай срок: тебе такая ж будет участь.
Легко ль, скажи! мы дома, как Литвой,
Осаждены неверными рабами:
Всё языки, готовые продать,
Правительством подкупленные воры.
Зависим мы от первого холопа,
Которого захочем наказать.
Вот — Юрьев день² задумал уничтожить.
Не властны мы в поместьях своих.
Не смей согнать ленивца! Рад не рад,
Корми его; не смей переманить
Работника! — Не то, в Приказ холопий.
Ну, слыхано ль хоть при царе Иване
Такое зло? А легче ли народу?
Спроси его. Попробуй самозванец
Им посулить старинный Юрьев день,
Так и пойдёт потеха.

Шуйский.

Прав ты, Пушкин!
Но знаешь ли? Об этом обо всём
Мы помолчим до времени.

¹ Канон — здесь: церковные песни в похвалу какого-либо святого или праздника.

Юрьев день — право перехода крепостных крестьян от одного помещика к другому, осуществлявшееся осенью, в день памяти святого Георгия (Юрия), 26 ноября ст. стиля.

Пушкин.

Вестимо,
Знай про себя. Ты человек разумный:
Всегда с тобой беседовать я рад,
И если что меня подчас тревожит,
Не вытерплю, чтоб не сказать тебе.
К тому ж твой мёд да бархатное пиво
Сегодня так язык мне развязали...
Прощай же, князь.

Шуйский.

Прощай, брат, до свиданья.
(Провожает Пушкина.)

ЦАРСКИЕ ПАЛАТЫ

Царевич чертит географическую карту.
Царевна, мамка царевны.

Ксения

(целует портрет).

Милый мой жених, прекрасный королевич, не мне ты достался, не своей невесте — а тёмной могилке, на чужой стороне. Никогда не утешусь, вечно по тебе буду плакать.

Мамка.

И, царевна! девица плачет, что роса падёт; взойдёт солнце, росу высушит. Будет у тебя другой жених, и прекрасный и приветливый. Полюбишь его, дитя наше ненаглядное, забудешь своего королевича.

Ксения.

Нет, мамушка, я и мёртвому буду ему верна.

(Входит Борис.)

Царь.

Что, Ксения? что, милая моя?
В невестах уж печальная вдовица!
Всё плачешь ты о мёртвом женихе:
Дитя мое! судьба мне не судила
Виновником быть вашего блаженства.
Я, может быть, прогневал небеса,
Я счастье твоё не мог устроить.
Безвинная, зачем же ты страдаешь?
А ты, мой сын, чем занят? Это что?

Феодор.

Чертёж земли московской; наше царство
Из края в край. Вот видишь: тут Москва,
Тут Новгород, тут Астрахань. Вот море,
Вот пермские дремучие леса,
А вот Сибирь.

Царь.

А это что такое
Узором здесь виется?

Феодор.

Это Волга.

Царь.

Как хорошо! вот сладкий плод ученья!
Как с облаков ты можешь обозреть
Всё царство вдруг: границы, грады, реки.
Учись, мой сын: наука сокращает
Нам опыты быстротекущей жизни —
Когда-нибудь, и скоро, может быть,
Все области, которые ты ныне
Изобразил так хитро на бумаге,
Все под руку достанутся твою. —
Учись, мой сын, и легче и яснее
Державный труд ты будешь постигать.

(Входит Семён Годунов.)

Вот Годунов идёт ко мне с докладом.
(Ксении.) Душа моя, поди в свою светлицу;
Прости, мой друг, утешь тебя господь.

(Ксения с мамкою уходит.)

Что скажешь мне, Семён Никитич?

Семён Годунов.

Нынче

Ко мне, чем свет, дворецкий князь Василья
И Пушкина слуга пришли с доносом.

Царь.

Ну?

Семён Годунов.

Пушкина слуга донёс сперва,
Что поутру вчера к ним в дом приехал
Из Кракова гонец — и через час
Без грамоты отослан был обратно.

Царь.

Гоним схватить.

Семён Годунов.

Уж послано в догонию.

Царь.

О Шуйском что?

Семён Годунов.

Вечёр он угощал

Своих друзей, обоих Милославских,
Бутурлиных, Михайла Салтыкова,
Да Пушкина — да несколько других;
А разошлись уж поздно. Только Пушкин
Наедине с хозяином остался
И долго с ним беседовал ещё.

Царь.

Сейчас послать за Шуйским.

Семён Годунов.

Государы!

Он здесь уже.

Царь.

Позвать его сюда.

(Годунов уходит.)

Царь.

Сношения с Литвою! это что?..
Противен мне род Пушкиных мятежный,
А Шуйскому не должно доверять:
Уклончивый, но смелый и лукавый...

(Входит Шуйский.)

Мне нужно, князь, с тобою говорить.
Но кажется — ты сам пришёл за делом:
И выслушать хочу тебя сперва.

Шуйский:

Так, государь: мой долг тебе повествовать
Весть важную.

Царь.

Я слушаю тебя

Ш у й с к и й

(тихо указывая на Феодора.)

Но, государь...

Ц а р ь.

Царевич может знать,
Что ведает князь Шуйский. Говори.

Ш у й с к и й

Царь, из Литвы пришла нам весть...

Ц а р ь.

Не та ли,

Что Пушкину привёз вѣчѣр гонец.

Ш у й с к и й.

Всѣ знает он! — Я думал, государь,
Что ты ещё не ведаешь сей тайны.

Ц а р ь.

Нет нужды, князь: хочу сообразить
Известия; иначе не узнаем
Мы истины.

Ш у й с к и й.

Я знаю только то,
Что в Кракове явился самозванец,
И что король и паны за него.

Ц а р ь.

Что ж говорят? Кто этот самозванец?

Ш у й с к и й.

Не ведаю.

Ц а р ь.

Но... чем опасен он?

Ш у й с к и й.

Конечно, царь: сильна твоя держава,
Ты милостью, раденьем и щедротой
Усыновил сердца своих рабов.
Но знаешь сам: бессмысленная чернь
Изменчива, мятежна, суеверна,
Легко пустой надежде предана,
Мгновенному внушению послушна,
Для истины глуха и равнодушна,

А баснями питается она.
Ей нравится бесстыдная отвага.
Так если сей неведомый бродяга
Литовскую границу перейдёт,
К нему толпу безумцев привлечёт
Димитрия воскреснувшее имя.

Ц а р ь.

Димитрия!.. как? этого младенца!
Димитрия!.. Царевич, удались.

Ш у й с к и й.

Он покраснел: быть бурел..

Ф е о д о р.

Государь,

Дозволишь ли...

Ц а р ь.

Нельзя мой сын, поди.

(Феодор уходит).

Димитрия!

Ш у й с к и й.

Он ничего не знал.

Ц а р ь.

Послушай, князь: взять меры сей же час;
Чтоб от Литвы Россия оградилась
Заставами; чтоб ни одна душа
Не перешла за эту грань; чтоб заяц
Не прибежал из Польши к нам; чтоб ворон
Не прилетел из Кракова. Ступай.

Ш у й с к и й.

Иду.

Ц а р ь.

Постой. Не правда ль, эта вестъ
Затейлива? Слышал ли ты когда,
Чтоб мёртвые из гроба выходили
Допрашивать царей, царей законных,
Назначенных, избранных всенародно,
Увенчанных великим патриархом?
Смешно? а? что? что ж не смеёшься ты?

Ш у й с к и й.

Я, государь?..

Ц а р ь.

Послушай, князь Василий:
Как я узнал, что отрока сего...
Что отрок сей лишился как-то жизни,
Ты послан был на следствие; теперь
Тебя крестом и богом заклинаю,
По совести мне правду объяви:
Узнал ли ты убитого младенца
И не было ль подмена? Отвечай.

Ш у й с к и й.

Клянусь тебе...

Ц а р ь.

Нет, Шуйский, не клянись,
Но отвечай: то был царевич?

Ш у й с к и й.

Он.

Ц а р ь.

Подумай, князь. Я милость обещаю,
Прошедшей лжи опалою напрасной
Не накажу. Но если ты теперь
Со мной хитришь, то головою сына
Клянусь — тебя постигнет злая казнь:
Такая казнь, что царь Иван Васильич
От ужаса во гробе содрогнётся.

Ш у й с к и й.

Не казнь страшна; страшна твоя немилость.
Перед тобой дерзну ли я лукавить?
И мог ли я так слепо обмануться,
Что не узнал Дмитрия? Три дня
Я труп его в соборе посещал,
Всем Угличем туда сопровождаемый.
Вокруг его тринадцать тел лежало,
Растерзанных народом, и по ним
Уж тление приметно проступало,
Но детский лик царевича был ясен
И свеж и тих, как будто усыплённый;
Глубокая не запекалась язва,
Черты ж лица совсем не изменились.
Нет, государь, сомненья нет: Дмитрий
Во гробе спит.

Царь
(спокойно).

Довольно, удались.

(Шуйский уходит.)

Ух, тяжело!.. дай дух переведу...
Я чувствовал: вся кровь моя в лицо
Мне кинулась — и тяжело опускалась...
Так вот зачем тринадцать лет мне сряду
Всё снилось убитое дитя!
Да, да — вот что! теперь я понимаю.
Но кто же он, мой грозный супостат?
Кто на меня? Пустое имя, тень —
Ужели тень сорвёт с меня порфиру,
Иль звук лишит детей моих наследства?
Безумец я! чего ж я испугался?
На призрак сей подуи — и нет его.
Так решено: не окажу я страха, —
Но презирать не должно ничего...
Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!

[Действие переносится в Польшу, в Краков, в дом Вишневецкого, а затем в город Сѣмбор, в дом воеводы Мнишка. К Самозванцу стекаются поляки, русские, бежавшие из Москвы, приходит сын Курбского Андрея, — его ласкают Вишневецкий и Мнишек. В Самборе ночью у фонтана происходит объяснение у Самозванца с Мариной Мнишек — она даёт согласие быть его женой.

Далее рисуется картина перехода русской границы полками, руководимыми Самозванцем.

В Москве нарастает смятение в народе. Борис созывает думу, назначает воеводами Трубецкого Никиту, знатного боярина, и Басманова Петра Фёдоровича, вручает им войска, направленные на освобождение Чернигова, осаждённого Самозванцем (после смерти Бориса Годунова Басманов перешёл на сторону Самозванца, оставался верным ему, был убит вместе с ним). Патриарх предлагает в целях успокоения народа перенести мощи царевича Димитрия в Москву, Шуйский возражает и лукаво предлагает свою помощь в успокоении смятения среди народа.]

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД СОБОРОМ В МОСКВЕ

Народ.

Один.

Скоро ли царь выйдет из собора?

Другой.

Обедня кончилась; теперь идёт молебен.

Первый.

Что? уж проклинали того?

Другой.

Я стоял на паперти и слышал, как дьякон завопил:
Гришка Отрепьев — анафема!

Первый.

Пускай себе проклинаят; царевичу дела нет до
Отрепьева.

Другой.

А царевичу поют теперь вечную память.

Первый.

Вечную память живому! Вот ужо им будет, без-
божникам.

Третий.

Чу, шум. Не царь ли?

Четвёртый.

Нет; это юродивый.

*(Входит юродивый в железной шапке, обвешанный
веригами, окружённый мальчишками.)*

Мальчишки.

Николка, Николка — железный колпак!.. тррр...

Старуха.

Отвяжитесь, бесенята, от блаженного. Помолись,
Николка, за меня грешную.

Юродивый.

Дай, дай, дай копеечку.

Старуха.

Вот тебе копеечка; помяни же меня.

Юродивый

(садится на землю и поёт).

Месяц светит,
Котёнок плачет,
Юродивый, вставай,
Богу помолися!

(Мальчишки окружают его снова.)

Один из них.

Здравствуй, Николка; что же ты шапки не сни-
маешь? *(Щёлкает его по железной шапке.)* Эх она
звонит!

Юродивый.

А у меня копеечка есть.

М а л ь ч и ш к а.

Неправда! ну покажи.

(Вырывает копеечку и убегает.)

Ю р о д и в ы й

(плачет).

Взяли мою копеечку: обижают Николку!

Н а р о д.

Царь, царь идёт.

(Царь выходит из собора. Боярин впереди раздаёт нищим милостыню. Бояре.)

Ю р о д и в ы й.

Борис, Борис! Николку дети обижают.

Ц а р ь.

Подать ему милостыню. О чём он плачет?

Ю р о д и в ы й.

Николку маленькие дети обижают... Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича.

Б о я р е.

Поди прочь, дурак! схватите дурака!

Ц а р ь.

Оставьте его. Молись за меня, бедный Николка.

(Уходит.)

Ю р о д и в ы й

(ему вслед).

Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода — богородица не велит.

С Е В С К

С а м о з в а н е ц, окруженный своими.

С а м о з в а н е ц.

Где пленный?

Л я х.

Здесь.

С а м о з в а н е ц.

Позвать его ко мне.

(Входит русский пленник.)

Кто ты?

Пленник.

Рожнов, московский дворянин.

Самозванец.

Давно ли ты на службе?

Пленник.

С месяц будет.

Самозванец.

Не совестно, Рожнов, что на меня
Ты поднял меч?

Пленник.

Как быть, не наша воля.

Самозванец.

Сражался ты под Северским?

Пленник.

Я прибыл
Недели две по битве — из Москвы.

Самозванец.

Что Годунов?

Пленник

Он очень был встревожен
Потерею сражения и раной
Мстиславского, и Шуйского послал
Начальствовать над войском.

Самозванец.

А зачем
Он отозвал Басманова в Москву?

Пленник.

Царь наградил его заслуги честью
И золотом. Басманов в царской Думе
Теперь сидит.

Самозванец.

Он в войске был нужнее.
Ну что в Москве?

Пленник.

Всё слава богу, тихо.

Самозванец.

Что? Ждут меня?

Пленник.

Бог знает; о тебе
Там говорить не слишком нынче смеют.
Кому язык отрежут, а кому
И голову — такая, право, притча!
Что день, то казнь. Тюрьмы битком набиты.
На площади, где человека три
Сойдутся — глядь — лазутчик уж и вьётся.
А государь досужною порою
Доносчиков допрашивает сам.
Как раз беда; так лучше уж молчать.

Самозванец.

Завидна жизнь Борисовых людей!
Ну, войско что?

Пленник.

Что с ним? одето, сыто.

Довольно всем.

Самозванец.

Да много ли его?

Пленник.

Бог ведает.

Самозванец.

А будет тысяч тридцать?

Пленник.

Да наберёшь и тысяч пятьдесят.

*(Самозванец задумывается. Окружающие
смотрят друг на друга.)*

Самозванец.

Ну! обо мне как судят в вашем стане?

Пленник.

А говорят о милости твоей,
Что ты, дескать (будь не во гнев), и вор,
А молодец.

С а м о з в а н е ц

(смеясь).

Так это я на деле
Им докажу. Друзья, не станем ждать
Мы Шуйского; я поздравляю вас:
Назавтра бой.

(Уходит.)

В с е.

Да здравствует Димитрий!

Л я х.

Назавтра бой! их тысяч пятьдесят,
А нас всего едва ль пятнадцать тысяч.
С ума сошёл.

Д р у г о й.

Пустое, друг: поляк
Один пятьсот москалей вызвать может.

П л е н н и к.

Да, вызовешь. А как дойдёт до драки,
Так убежишь от одного, хвастун.

Л я х.

Когда б ты был при сабле, дерзкий пленник,
То я тебя (указывая на свою саблю) вот этим
бы смирил.

П л е н н и к.

Наш брат русак без сабли обойдётся:
Не хочет ли вот этого (показывая кулак),
безмозглый!

(Лях гордо смотрит на него и молча отходит.
Все смеются.)

Л Е С

Л ж е д и м и т р и й, П у ш к и н.
В отдалении лежит конь издыхающий.

Л ж е д и м и т р и й.

Мой бедный конь! как бодро поскакал
Сегодня он в последнее сражение,
И, раненый, как быстро нёс меня.
Мой бедный конь!

Пушкин
(про себя).

Ну вот о чём жалеет!
Об лошади! когда всё наше войско
Побито в прах!

Самозванец.

Послушай: может быть,
От раны он лишь только заморился
И отдохнёт.

Пушкин.
Куда! он издыхает.

Самозванец.

(идёт к своему коню).

Мой бедный конь!.. что делать? снять узду
Да отстегнуть подпругу. Пусть на воле
Издахнет он.

(Разнуздывает и рассёдлывает коня.
Входят несколько ляхов.)

Здорово господа!
Что ж Курбского не вижу между вами?
Я видел, как сегодня в гущу боя
Он врезался; тьмы сабель молодца,
Что зыбкие колосья, облепили;
Но меч его всех выше подымался,
А грозный клик все клики заглушал.
Где ж витязь мой?

Лях.

Он лёг на поле смерти.

Самозванец.

Честь храброму и мир его душе!
Как мало нас от битвы уцелело.
Изменники! злодеи-запорожцы,
Проклятые! вы, вы сгубили нас —
Не выдержать и трёх минут отпора!
Я их ужо! десятого повешу,
Разбойники!

Пушкин.

Кто там ни виноват,
Но всё-таки мы начисто разбиты,
Истреблены.

С а м о з в а н е ц.

А дело было наше;
Я было смял передовую рать —
Да немцы нас порядком отразили;
А молодцы! ей богу, молодцы.
Люблю за то — из них уж непременно
Составлю я почётную дружину.

П у ш к и н.

А где-то нам сегодня ночевать?

С а м о з в а н е ц.

Да здесь в лесу. Чем это не ночлег?
Чем свет, мы в путь; к обеду будем в Рыльске.
Спокойна ночь.

Пожится, кладёт седло под голову и засыпает.}}

П у ш к и н.

Приятный сон, царевич!
Разбитый в прах, спасаясь побегом,
Беспечен он, как глупое дитя:
Хранит его, конечно, провиденье;
И мы, друзья, не станем унывать.

МОСКВА. ЦАРСКИЕ ПАЛАТЫ

Б о р и с, Б а с м а н о в.

Ц а р ь.

Он побеждён, какая польза в том?
Мы тщетною победой увенчались.
Он вновь собрал рассеянное войско
И нам со стен Путивля угрожает.
Что делают меж тем герои наши?
Стоят у Кром, где кучка казаков
Смеются им из-под гнилой ограды,
Вот слава! нет, я ими недоволен,
Пошлю тебя начальствовать над ними;
Не род, а ум поставлю в воеводы;
Пускай их спесь о местничестве тужит;
Пора презреть мне ропот знатной черни
И гибельный обычай уничтожить.

Б а с м а н о в.

Ах, государь, стократ благословен
Тот будет день, когда разрядны книги
С раздорами, с гордыней родословной
Пожрёт огонь.

Ц а р ь.

День этот недалёк;
Лишь дай сперва смятение народа
Мне усмирить.

Б а с м а н о в.

Что на него смотреть;
Всегда народ к смятенью тайно склонен:
Так борзый конь грызёт свои бразды;
На власть отца так отрок негодует;
Но что ж? конём спокойно всадник правит,
И отроком отец повелевает.

Ц а р ь.

Конь иногда сбивает седока,
Сын у отца не вечно в полной воле.
Лишь строгостью мы можем неусыпной
Сдержать народ. Так думал Иоанн,
Смиритель бурь, разумный самодержец,
Так думал и его свирепый внук.
Нет, милости не чувствует народ:
Твори добро — не скажет он спасибо;
Грабь и казни — тебе не будет хуже.

(Входит боярин.)

Что?

Б о я р и н.

Привели гостей иноплеменных.

Ц а р ь.

Иду принять; Басманов, погоди;
Останься здесь: с тобой ещё мне нужно
Поговорить.

(Уходит.)

Б а с м а н о в.

Высокий дух державный.
Дай бог ему с Отрепьевым проклятым
Управиться, и много, много он
Ещё добра в России сотворит.
Мысль важная в уме его родилась.
Не надобно ей дать остыть. Какое
Мне поприще откроется, когда
Он сломит рог боярству родовому!
Соперников во брани я не знаю;

У царского престола стану первый...
И может быть... Но что за чудный шум?

*(Тревога. Бояре, придворные слуги...
в беспорядке бегут, встопычаясь и шепчась.)*

Один.

За лекарем!

Другой.

Скорее к патриарху!

Третий.

Царевича, царевича зовёт!

Четвёртый.

Духовника!

Басманов.

Что случилось такое?

Пятый.

Царь занемог.

Шестой.

Царь умирает.

Басманов.

Боже!

Пятый.

На троне он сидел и вдруг упал —
Кровь хлынула из уст и из ушей.

*(Царя выносят на стуле; всё царское семейство,
все бояре.)*

Царь.

Подите все — оставьте одного
Царевича со мною. *(Все удаляются.)* Умираю;
Обнимемся, прощай, мой сын: сей час
Ты царствовать начнёшь... о боже, боже!
Сейчас явлюсь перед тобой — и душу
Мне некогда очистить покаяньем.
Но чувствую — мой сын, ты мне дороже
Душевного спасенья... так и быть!
Я подданным рождён и умереть
Мне подданным во мраке б надлежало;
Но я достиг верховной власти... чем?

Не спрашивай. Довольно: ты невинен.
Ты царствовать теперь по праву станешь,
Я, я за всё один отвечу богу...
О милый сын, не обольщайся ложно,
Не ослепляй себя ты добровольно.
В дни бурные державу ты приемлешь:
Опасен он, сей чудный самозванец,
Он именем ужасным ополчен...
Я, с давних лет в правлении искущённый,
Мог удержать смятение и мятеж;
Передо мной они дрожали в страхе;
Возвысить глас измена не дерзала.
Но ты, молодой, неопытный властитель,
Как управлять ты будешь под грозой,
Тушить мятеж, опутывать измену?
Но бог велик! Он умудряет юность,
Он слабости дарует силу... слушай:
Советника, во-первых, избери
Надёжного, холодных, зрелых лет,
Любимого народом — а в боярах
Почтенного породой или славой —
Хоть Шуйского. Для войска нынче нужен
Искусный вождь: Басманова пошли
И с твёрдостью снеси боярский ропот.
Ты с малых лет сидел со мною в Думе,
Ты знаешь ход державного правленья;
Не изменяй теченья дел. Привычка —
Душа держав. Я ныне должен был
Восстановить опалы, казни — можешь
Их отменить; тебя благословят,
Как твоего благословляли дядю,
Когда престол он Грозного приял.
Со временем и понемногу снова
Затягивай державные бразды.
Теперь ослабь, из рук не выпуская...
Будь милостив, доступен к иноземцам,
Доверчиво их службу принимай.
Со строгостью храни устав церковный;
Будь молчалив; не должен царский голос
На воздухе теряться по-пустому;
Как звон святой, он должен лишь вещать
Велику скорбь или великий праздник.
О милый сын, ты вступишь в те лета,
Когда нам кровь волнует женский лик.
Храни, храни святую чистоту
Невинности и гордую стыдливость:
К ю чувствами в порочных наслажденьях
В молодые дни привыкнул утопать,

Тот, возмужав, угрюм и кровожаден,
И ум его безвременно темнеет.
В семье своей будь завсегда главою;
Мать почитай, но властвуй сам собою.
Ты муж и царь; люби свою сестру,
Ты ей один хранитель остаёшься.

Ф е о д о р.

(на коленях).

Нет, нет — живи и царствуй долговечно:
Народ и мы погибли без тебя.

Ц а р ь.

Всё кончено — глаза мои темнеют,
Я чувствую могильный хлад...

*(Входит патриарх, святители, за ними
все бояре. Царицу ведут под руки, царевна
рыдает.)*

Кто там?

А! схима... так! святое пострижение...
Ударил час, в монахи царь идёт —
И тёмный гроб моею будет кельей...
Повремени, владыко патриарх,
Я царь ещё: внимлите вы, бояре:
Се тот, кому приказываю царство;
Целуйте крест Феодору... Басманов,
Друзья мой... при гробе вас молю
Ему служить усердием и правдой!
Он так ещё и млад и непорочен.
Клянётесь ли?

Б о я р е.

Клянёмся.

Ц а р ь.

Я доволен.

Простите ж мне соблазны и грехи
И вольные и тайные обиды...
Святой отец, приближься, я готов.

*(Начинается обряд пострижения. Женщин
в обмороке выносят.)*

СТАВКА

Басманов вводит Пушкина.

Басманов.

Войди сюда и говори свободно.
Итак, тебя ко мне он посылает?

Пушкин.

Тебе свою он дружбу предлагает
И первый сан по нём в московском царстве.

Басманов.

Но я и так Феодором высоко
Уж вознесён. Начальствую над войском,
Он для меня презрел и чин разрядный,
И гнев бояр — я присягал ему.

Пушкин.

Ты присягал наследнику престола
Законному; но если жив другой,
Законнейший?..

Басманов.

Послушай, Пушкин, полно,
Пустого мне не говори: я знаю,
Кто он такой.

Пушкин.

Россия и Литва
Димитрием давно его признали,
Но, впрочем, я за это не стою.
Быть может, он Димитрий настоящий,
Быть может, он и самозванец. Только
Я ведаю, что рано или поздно
Ему Москву уступит сын Борисов.

Басманов.

Пока стою за юного царя,
Дотоле он престола не оставит;
Полков у нас довольно, слава богу!
Победою я их одушевлю,
А вы, кого против меня пошлёте?
Не казака ль Карелу? али Мнишка?
Да много ль вас, всего-то восемь тысяч.

Пушкин.

Ошибся ты: и тех не наберёшь —
Я сам скажу, что войско наше дрянь,
Что казаки лишь только сёла грабят.
Что поляки лишь хвастают да пьют,
А русские, да что и говорить...
Перед тобой не стану я лукавить;
Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет, не польскою помогой,

А мнением — да! мнением народным.
Дмитрия ты помнишь торжество
И мирные его завоеванья,
Когда везде без выстрела ему
Послушные сдавались города,
А воевод упрямых чернь вязала?
Ты видел сам, охотно ль ваши рати
Сражались с ним; когда же? при Борисе!
А нынче ль?... нет, Басманов, поздно спорить
И раздувать холодный пепел брани:
Со всем твоим умом и твёрдой волей
Не устоишь; не лучше ли тебе
Дать первому пример благоразумный,
Дмитрия царём провозгласить
И тем ему навеки удружить?
Как думаешь?

Б а с м а н о в.

Узнаете вы завтра.

П у ш к и н.

Решись.

Б а с м а н о в.

Прощай.

П у ш к и н.

Подумай же, Басманов.

(Уходит.)

Б а с м а н о в.

Он прав, он прав: везде измена зреет.
Что делать мне? Ужели буду ждать,
Чтоб и меня бунтовщики связали
И выдали Отрепьеву? Не лучше ль
Предупредить разрыв потока бурный,
И самому... Но изменить присяге!
Но заслужить бесчестье в род и род!
Доверенность молодого венценосца
Предательством ужасным заплатить...
Опальному изгнаннику легко
Обдумывать мятеж и заговор,
Но мне ли, мне ль, любимцу государя...
Но смерть... но власть... но бедствия народны...

(Задумывается.)

Сюда! кто там? (Свищет.) Коня! трубите сбор.

Пушкин идёт, окружённый народом.

Н а р о д.

Царевич нам боярина послал.
Послушаем, что скажет нам боярин.
Сюда! сюда!

Пушкин

(на амвоне).

Московские граждане,
Вам кланяться царевич приказал.

(Кланяется.)

Вы знаете, как промысел небесный
Царевича от рук убийцы спас;
Он шёл казнить злодея своего,
Но божий суд уж поразил Бориса.
Димитрию Россия покорилась;
Басманов сам с раскаяньем усердным
Свои полки привёл ему к присяге.
Димитрий к вам идёт с любовью, с миром.
В угоду ли семейству Годуновых
Подымете вы руку на царя
Законного, на внука Мономаха?

Н а р о д.

Вестимо, нет.

Пушкин.

Московские граждане!
Мир ведает, сколь много вы терпели
Под властью жестокого прищельца:
Опалу, казнь, бесчестие, налоги,
И труд, и глад — всё испытали вы.
Димитрий же вас жаловать намерен,
Бояр, дворян, людей приказных, ратных,
Гостей, купцов — и весь честной народ.
Вы ль станете упрямяться безумно
И милостей кичливо убегать?
Но он идёт на царственный престол
Своих отцов — в сопровожденьи грозном.
Не гневайте ж царя и бойтесь бога.
Целуйте крест законному владыке;
Смиритесь, немедленно пошлите
К Димитрию во стан митрополита,
Бояр, дьяков и выборных людей,
Да бьют челом отцу и государю.
(Сходит. Шум народный.)

Н а р о д . . .

Что толковать? Боярин правду молвил.
Да здравствует Димитрий, наш отец.

М у ж и к н а а м в о н е .

Народ, народ! в Кремль! в царские палаты!
Ступай! вязать Борисова щенка!

Н а р о д

(несётся толпою).

Вязаты! топить! Да здравствует Димитрий!
Да гибнет род Бориса Годунова!

КРЕМЛЬ, ДОМ БОРИСОВ. СТРАЖА У КРЫЛЬЦА

Ф е о д о р п о д о к н о м .

Н и щ и й .

Дайте милостыню, Христа ради!

С т р а ж а .

Поди прочь, не велено говорить с заключёнными.

Ф е о д о р .

Поди, старик, я беднее тебя, ты на воле.

(Ксения под покрывалом подходит также к окну.)

О д и н и з н а р о д а .

Брат да сестра! бедные дети, что пташки в клетке.

Д р у г о й .

Есть о ком жалеть? Проклятое племя!

П е р в ы й .

Отец был злодей, а детки невинны.

Д р у г о й .

Яблоко от яблони недалеко падает.

К с е н и я .

Братец, братец, кажется, к нам бояре идут.

Ф е о д о р .

Это Голицын, Мосальский. Другие мне незнакомы.

К с е н и я .

Ах, братец, сердце замирает.

(Голицын, Мосальский, Молчанов и Шереметевы. За ними трое стрельцов.)

Н а р о д.

Расступитесь, расступитесь. Бояре идут.

(Они входят в дом.)

О д н и и з н а р о д а.

Зачем они пришли?

Д р у г о й.

А верно, приводить к присяге Феодора Годунова.

Т р е т и й.

В самом деле? — слышишь, какой в доме шум! Тревога! дерутся!

Н а р о д.

Слышишь? визг! — это женский голос. Взойдем! — Двери заперты — крики замолкли.

(Отворяются двери. Мосальский является на крыльце.)

М о с а л ь с к и й.

Народ! Мария Годунова и сын её Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мёртвые трупы. (Народ в ужасе молчит.) Что ж вы молчите? кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!

Н а р о д б е з м о л в с т в у е т.

К О Н Е Ц.

СОЧИНЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА¹

В. Г. Белинский

VIII

...Прежде всего в «Онегине» мы видим поэтически воспроизведённую картину русского общества, взятого в одном из интереснейших моментов его развития. С этой точки зрения «Евгений Онегин» есть поэма историческая в полном смысле слова, хотя в числе её героев нет ни одного исторического лица. Историческое достоинство этой поэмы тем выше, что она была на Руси и первым, и блистательным опытом в этом роде. В ней Пушкин является не просто поэтом только, но и представителем впервые пробудившегося общественного самосознания: заслуга безмерная!

¹ Отрывки из статей VIII и IX, посвящённых разбору романа «Евгений Онегин». Печатались в 1843—1846 гг.

В этой решимости молодого поэта представить нравственную физиономию наиболее оевропеившегося в России сословия нельзя не видеть доказательства, что он был и глубоко сознавал себя национальным поэтом. Он понял, что время эпических поэм давно-давно прошло и что для изображения современного общества, в котором проза жизни так глубоко проникла самую поэзию жизни, нужен роман, а не эпическая поэма. Он взял эту жизнь, как она есть, не отвлекая от неё только одних поэтических её мгновений; взял её со всем холодом, со всей её прозою и пошлостью. И такая смелость была бы менее удивительною, если бы роман затеян был в прозе; но писать подобный роман в стихах в такое время, когда на русском языке не было ни одного порядочного романа и в прозе, — такая смелость, оправданная огромным успехом, была несомненным свидетельством гениальности поэта...

Большая часть публики совершенно отрицала в Онегине душу и сердце, видела в нём человека холодного, сухого и эгоиста по натуре. Нельзя ошибочнее и кривее понять человека! Этого мало: многие добродушно верили и верят, что сам поэт хотел изобразить Онегина холодным эгоистом. Это уже значит — имея глаза, ничего не видеть. Светская жизнь не убила в Онегине чувства, а только охолодила к бесплодным страстям и мелочным развлечениям...

Онегин — не Мельмот, не Чайльд-Гарольд, не демон, не пародия, не модная причуда, не гений, не великий человек, а просто — «добрый малый, как вы да я, как целый свет». Поэт справедливо называет «обветшалую модою» везде находить или везде искать всё гениев да необыкновенных людей. Повторяем: Онегин — добрый малый, но при этом недюжинный человек. Он не годится в гении, не лезет в великие люди, но бездеятельность и пошлость жизни душат его; он даже не знает, что ему надо, что ему хочется; но он знает, и очень хорошо знает, что ему не надо, что ему не хочется того, чем так довольна, так счастлива самолюбивая посредственность. И за то-то эта самолюбивая посредственность не только провозгласила его «безнравственным», но и отняла у него страсть сердца, теплоту души, доступность всему доброму и прекрасному. Вспомните, как воспитан Онегин, и согласитесь, что натура его была слишком хороша, если её не убило совсем такое воспитание. Блестящий юноша, он был увлечён светом, подобно многим; но скоро наскучил им и оставил его, как это делают слишком немногие. В душе его тлелась искра надежды — воскреснуть и освежиться в тиши уединения, на лоне природы; но он скоро увидел, что перемена мест не изменяет сущности тех, которых неотразимых и не от нашей воли зависящих обстоятельств.

Два дня ему казались новы
Уединённые поля,
Прохлада сумрачной дубровы,

Журчанье тихого ручья;
На третий — рощи, холм и поле
Его не занимали боле;

Потом уж наводили сон;
Потом увидел ясно он,
Что и в деревне скука та же,
Хоть нет ни улиц, ни дворцов,

Ни карт, ни балов, ни стихов.
Хандра ждала его на страже,
И бегала за ним она,
Как тень иль верная жена.

Мы доказали, что Онегин — не холодный, не сухой, не бездушный человек, но мы до сих пор избегали слова *эгоист*, и так как избыток чувства, потребность изящного не исключают эгоизма, то мы скажем теперь, что Онегин — *страдающий эгоист*... Его можно назвать *эгоистом поневоле*; в его эгоизме должно видеть то, что древние называли *fatum*¹. Благая, благотворная, плодотворная деятельность! Зачем не предался ей Онегин? Зачем не искал он в ней своего удовлетворения? Зачем? зачем? — Затем, милостивые государи, что пустым людям легче спрашивать, нежели дельным отвечать.

Один среди своих владений,
Чтоб только время проводить,
Сперва задумал наш Евгений
Порядок новый учредить.
В своей глуши мудрец пустынный,
Ярем он барщины старинной
Оброком лёгким заменил;
И раб судьбу благословил.
Зато в углу своём надулся,
Увидя в этом страшный вред,
Его расчётливый сосед;
Другой лукаво улыбулся,
И в голос все решили так,
Что он опаснейший чужак.

Сначала все к нему езжали;
Но так как с заднего крыльца
Обыкновенно подавали
Ему донского жеребца,
Лишь только вдоль большой дороги
Заслышат их домашни дроги:
Поступком оскорбясь таким,
Все дружбу прекратили с ним.
«Сосед наш неуч, сумасбродит;
Он фармазон, он пьёт одно
Стаканом красное вино;
Он дамам к ручке не подходит;
Все да, да нет, не скажет да-с
Иль нет-с». Таков был общий глас.

Что-нибудь делать можно только в обществе, на основании общественных потребностей, указываемых самой действительностью, а не теорией; но что бы стал делать Онегин в сообществе с такими прекрасными соседями, в кругу таких милых ближних? Облегчить участь мужика, конечно, много значило для мужика; но со стороны Онегина тут ещё не много было сделано. Есть люди, которым, если удастся что-нибудь сделать порядочно, они с самодовольствием рассказывают об этом всему миру и таким образом бывают приятно заняты на целую жизнь. Онегину был не из таких людей: важное и великое для многих — для него было не бог знает чем.

Случай свёл Онегина с Ленским; через Ленского Онегин познакомился с семейством Лариных. Возвращаясь от них домой после первого визита, Онегин зеваает; из его разговора с Ленским мы узнаём, что он Татьяну принял за невесту своего приятеля и, узнав о своей ошибке, удивляется его выбору, говоря, что если бы он сам был поэтом, то выбрал бы Татьяну. Этому равнодушному, охлаждённому человеку стоило одного или двух невнимательных

¹ *Fatum* — фатум, судьба, рок, которому будто бы подчинена участь человека.

тельных взглядов, чтобы понять разницу между обеими сестрами, — тогда как пламенному, восторженному Ленскому и в голову не входило, что его возлюбленная была совсем не идеальное и поэтическое создание, а просто хорошенькая и простенькая девочка, которая совсем не стоила того, чтобы за неё рисковать убить приятеля или самому быть убитым. Между тем как Онегин зевал *по привычке*, говоря его собственным выражением, и нисколько не заботясь о семействе Лариных, — в этом семействе его приезд завязал страшную внутреннюю драму. Большая часть публики было крайне удивлено, как Онегин, получив письмо Татьяны, мог не влюбиться в неё, — и ещё более, как тот же самый Онегин, который так холодно отвергал чистую, наизусть известную прекрасной девушки, потом страстно влюбился в великую светскую даму? В самом деле, есть чему удивляться. Не берёмся решить вопроса, но поговорим о нём. Впрочем, признавая в этом факте возможность психологического вопроса, мы тем не менее нисколько не находим удивительным самого факта. Во-первых, вопрос, почему влюбился или почему не влюбился, или почему в то время не влюбился, — такой вопрос мы считаем много слишком диктаторским. Сердце имеет свои законы — правда; но не такие, из которых легко было бы составить полнейший систематический кодекс. Сродство натур, нравственная симпатия, сходство понятий могут и даже должны играть большую роль в любви разумных существ; но кто в любви отвергает элемент чисто непосредственный, влечение инстинктуальное, невольное, прихоть сердца, в оправдание несколько тривиальной, но чрезвычайно выразительной русской пословицы: «полюбится сатана лучше ясного сокола», — кто отвергает это, тот не понимает любви. Если бы выбор в любви решался только волей и разумом, тогда любовь не была бы чувством и страстью. Присутствие элемента непосредственности видно и в самой разумной любви, потому что из нескольких равно достойных лиц выбирается только одно, и выбор этот основывается на невольном влечении сердца. Но бывает и так, что люди, кажется, созданные одни для другого, остаются равнодушны друг к другу, и каждый из них обращает своё чувство на существо нисколько себе не под-пару. Поэтому Онегин имел полное право, без всякого опасения подпасть под уголовный суд критики, не полюбить Татьяны-девушки и полюбить Татьяну-женщину. В том и другом случае он поступал равно ни нравственно, ни безнравственно. Этого вполне достаточно для его оправдания, но мы к этому прибавим и ещё кое-что. Онегин был так умен, тонок и опытен, так хорошо понимал людей и их сердце, что не мог не понять из письма Татьяны, что эта бедная девушка одарена страстным сердцем, алчущим духовной пищи, что её душа младенчески чиста, что её страсть действительно простодушна и что она нисколько не похожа на тех кокеток, которые так надоели ему с их чувствами то лёгкими, то поддельными. Он был живо тронут письмом Татьяны:

Смык девических мечтаний
В нём думы роем возмущил;
И вспомнил он Татьяны милой
И бледный цвет и вид унылый;
И в сладостный, безгрешный сон

Душою погрузился он:
Быть может, чувствий пыл старинный
Им на минуту овладел;
Но обмануть он не хотел
Доверчивость души невинной.

В письме своём к Татьяне (в VIII главе) он говорит, что заметя в ней искру нежности, он не хотел её поверить (т. е. заставить себя не поверить), не дал хода милой привычке и не хотел расстаться с своей постылой свободой. Но если он оценил одну сторону любви Татьяны, в то же самое время он так же ясно видел и другую её сторону. Во-первых, обольститься такой младенчески прекрасной любовью и увлечься ею до желанья отвечать на неё — значило бы для Онегина решиться на женитьбу. Но если его могла ещё интересовать поэзия страсти, то поэзия брака не только не интересовала его, но была для него противна. Поэт, выразивший в Онегине много своего собственного, так изъясняется на этот счёт, говоря о Ленском:

Гимена хлопоты, печали,
Зевоты хладная чреда
Ему не снились никогда.
Меж тем как мы, враги Гимена,
В домашней жизни зрим один
Ряд утомительных картин,
Роман во вкусе Лафонтена.

Если не брак, то мечтательная любовь, если не хуже что-нибудь; но он так хорошо постиг Татьяну, что даже и не подумал о последнем, не унижая себя в собственных своих глазах. Но в обоих случаях эта любовь не много представляла ему обольстительного. Как! он, перегоревший в страстях, изведавший жизнь и людей, ещё кипевший какими-то самому ему неясными стремлениями, — он, которого могло занять и наполнить только что-нибудь такое, что могло бы выдержать его собственную проницательность, — он увлёкся бы младенческой любовью девочки-мечтательницы, которая смотрела на жизнь так, как он уже не мог смотреть... И что же сулила бы ему в будущем эта любовь? Что бы нашёл он потом в Татьяне? Или прихотливое дитя, которое плакало бы оттого, что он не может, подобно ей, детски смотреть на жизнь и детски играть в любовь, — а это, согласитесь, очень скучно; или существо, которое, увлёкшись его превосходством, до того подчинилось бы ему, не понимая его, что не имело бы ни своего чувства, ни своего смысла, ни своей воли, ни своего характера. Последнее спокойнее, но зато ещё скучнее. И это поэзия и блаженство любви!..

Разлучённый с Татьяною смертью Ленского, Онегин лишился всего, что хотя сколько-нибудь связывало его с людьми.

Убив на поединке друга,
Дожив без цели, без трудов
До двадцати шести годов,
Томясь в бездействии досуга,
Без службы, без жены, без дел,

Ничем заняться не умел.
Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест
(Весьма мучительное свойство,
Немногих добровольный крест).

Между прочим, был он и на Кавказе и смотрел на бледной
рой теней, толпившийся около целебных струй Машука:

Питая горьки размышленья,
Среди печальной их семьи,
Онегин взором сожаленья
Глядел на дымные струи
И мыслил, грустью отуманен:
«Зачем я пулей в грудь не ранен,
Зачем не хилый я старик,

Как этот бедный откупщик?
Зачем, как тульский заседатель,
Я не лежу в параличе?
Зачем не чувствую в плече
Хоть ревматизма? Ах, создатель!
Я молод, жизнь во мне крепка
Чего мне ждать? тоска, тоска!..»

Какая жизнь! Вот оно, то страданье, о котором так много
пишут и в стихах, и в прозе, на которое столь многие жалуются,
как будто в самом деле знают его; вот оно, страданье истинное,
без котурна¹, без ходуль, без драпировки, без фраз, — страданье,
которое часто не отнимает ни сна, ни аппетита, ни здоровья, но
которое тем ужаснее!.. Спать ночью, зевать днём, видеть, что все
из чего-то хлопочут, чем-то заняты, один — деньгами, другой —
женитьбою, третий — болезнию, четвёртый — нуждою и крова-
вым потом работы, — видеть вокруг себя и веселье, и печаль,
и смех, и слёзы, видеть всё это и чувствовать себя чуждым всему
этому, подобно Вечному Жиду², который среди волнующейся
вокруг него жизни сознаёт себя чуждым жизни и мечтает о
смерти как о величайшем для него блаженстве: это страданье не
всем понятное, но оттого не меньше страшное... Молодость, здо-
ровье, богатство, соединённые с умом, сердцем: чего бы, кажется,
больше для жизни и счастья? Так думает тупая чернь и называет
подобное страдание модной причудой. И чем естественнее, про-
ще страданье Онегина, чем дальше оно от всякой эффективности,
тем оно менее могло быть понято и оценено большинством пуб-
лики. В двадцать шесть лет так много пережить, не вкусив
жизни, так изнемогать, устать, ничего не сделав, дойти до такого
безусловного отрицания, не перейдя ни через какие убеждения:
это смерть!.. Но Онегину не суждено было умереть, не отведав из-
бав жизни: страсть сильная и глубокая не замедлила возбу-
дить дремавшие в тоске силы его духа...

Что случилось с Онегиным потом? Воскресла ли его страсть для
нового, более сообразного с человеческим достоинством, страда-
ния? Или убила она все силы души его и безотрадная тоска его
обратилась в мёртвую, холодную апатию? — Не знаем, да и на
что нам знать это, когда мы знаем, что силы этой богатой натуры
остались без приложения, жизнь без смысла, а роман без конца?..

XI

...Татьяна — существо исключительное, натура глубокая, лю-
бящая, страстная. Любовь для неё могла быть или величайшим

¹ Котурн — обувь, употреблявшаяся древнегреческими и римскими актё-
рами, чтобы казаться выше ростом

² Вечный Жид — герой одноимённого романа французского романиста
Габриэля Сю, обречённый на вечные скитания.

блаженством, или величайшим бедствием жизни, без всякой примирительной середины. При счастии взаимности любовь такой женщины — ровное светлое пламя; в противном случае — упрямое пламя, которому сила воли, может быть, не позволит прорваться наружу, но которое тем разрушительнее и жгучее, чем больше оно сдавлено внутри. Счастливая жена, Татьяна спокойна, но, тем не менее, страстно и глубоко любила бы своего мужа, вполне пожертвовала бы собою детям, вся отдалась бы своим материнским обязанностям, но не по рассудку, а опять по страсти, и в этой жертве, в строгом выполнении своих обязанностей нашла бы своё величайшее наслаждение, своё верховное блаженство. И всё это без фраз, без рассуждений, с этим спокойствием, с этим внешним бесстрашием, с этой наружною холодностью, которые составляют достоинство и величие глубоких и сильных натур...

...Татьяна осталась естественно-простою в самой искусственности и уродливости формы, которую сообщила ей окружающая её действительность.

С одной стороны —

Татьяна верила преданьям
Простонародной старины,
И снам, и карточным гаданьям,
И предсказаниям луны.

Её тревожили приметы:
Таинственно ей все предметы
Провозглашали что-нибудь.
Предчувствия теснили грудь.

С другой стороны, Татьяна любила бродить по полям —

С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках.

Это дивное соединение грубых, вульгарных предрассудков со страстью к французским книжкам и с уважением к глубокому творению *Мартына Задеки* возможно только в русской женщине. Весь внутренний мир Татьяны заключался в жажде любви; ничто другое не говорило её душе; ум её спал и только разве тяжкое горе жизни могло потом разбудить его, — да и то для того, чтоб сдержать страсть и подчинить её расчёту благоразумной морали... Девические дни её ничем не были заняты; в них не было своей череды труда и досуга, не было тех регулярных занятий и развлечений, свойственных образованной жизни, которые держат в равновесии нравственные силы человека. Дикое растение, вполне предоставленное самому себе, Татьяна создала себе свою собственную жизнь, в пустоте которой тем мятежнее горел пожирающий её внутренний огонь, что её ум ничем не был занят.

Давно её воображенье,
Сгорая негой и тоской,
Алкало пищи роковой;
Давно сердечное томленье
Теснило ей младую грудь;
Душа ждала... кого-нибудь,
И дождалась. Открылись очи;
Она сказала: это он!
Увы! теперь и дни и ночи,

И жаркий одинокий сон —
Всё полно им; всё дева милой
Без умолку волшебной силой
Твердит о нём

Теперь с каким она вниманьем
Читает сладостный роман,
С каким живым очарованьем
Пьёт обольстительный обман!

Составившей силою мечтанья
Одушевлённые созданья,
Любовник Юлии Вольмар,
Малек-Адель и де-Линар,
И Вертер, мученик мятежной,
И бесподобный Грандисон,
Который нам наводит сон, —
Все для мечтательницы нежной
В единый образ облеклись,
В одном Онегине слились.
Воображаясь героиней

Своих возлюбленных творцов,
Кларисой, Юлией, Дельфиной,
Татьяна в тишине лесов
Одна с опасной книгой бродит
Она в ней ищет и находит
Свой тайный жар, свои мечты,
Плоды сердечной полноты,
Вздыхает и, себе присвоя
Чужой восторг, чужую грусть,
В забвении шепчет наизусть
Письмо для милого героя...

Здесь не книга родила страсть, но страсть всё-таки не могла не проявиться немножко по-книжному. Зачем было воображать Онегина Вольмаром, Малек-Аделем, де-Линаром и Вертером (Малек-Адель и Вертер: не всё ли это равно, что Еруслан Лазаревич и корсар Байрона?)? Затем, что для Татьяны не существовал настоящий Онегин, которого она не могла ни понимать, ни знать; следовательно, ей необходимо было придать ему какое-нибудь значение, напрокат взятое из книги, а не из жизни, потому что жизни Татьяна тоже не могла ни понимать, ни знать. Зачем было ей воображать себя Кларисой, Юлией, Дельфиной? Затем, что она и саму себя так же мало понимала и знала, как и Онегина. Повторяем: создание страстное, глубоко чувствующее и в то же время неразвитое, наглухо запертое в тёмной пустоте своего интеллектуального существования, Татьяна, как личность, является нам подобною не изящной греческой статуе, в которой всё внутреннее так прозрачно и выпукло отразилось во внешней красоте, но подобною египетской статуе, неподвижной, тяжёлой и связанной. Без книги она была бы совершенно немым существом, и её пылающий и сохнувший язык не обрёл бы ни одного живого, страстного слова, которым бы могла она облегчить себя от давящей полноты чувства. И хотя непосредственным источником её страсти к Онегину была её страстная натура, её переполнившаяся жажда сочувствия, — всё же началась она несколько идеально. Татьяна не могла полюбить Ленского и ещё менее могла полюбить кого-нибудь из известных ей мужчин: она так хорошо их знала, и они так мало представляли пищи её экзальтированному¹, аскетическому² воображению... И вдруг является Онегин.

Он весь окружён тайною: его аристократизм, его светскость, неоспоримое превосходство над всем этим спокойным и пошлым миром, среди которого он явился таким метеором, его равнодушные ко всему, странность жизни — всё это произвело таинственные слухи, которые не могли не действовать на фантазию Татьяны, не могли не расположить, не подготовить её к решительному эффекту первого свидания с Онегиным. И она увидела его, и он предстал пред ней молодой, красивый, ловкий, блестящий, равнодушный, скучающий, загадочный, непостижимый, весь — неразрешимая тайна для её неразвитого ума, весь —

¹ Экзальтированный — возбуждённый.

² Аскетический — здесь в смысле: строгий, лишённый страстей.

существование для её дикой фантазии. Есть существа, у которых фантазия имеет гораздо более влияния на сердце, нежели как думают об этом. Татьяна была из таких существ...

...Пропускаем всю четвертую главу, в которой главное для нас — объяснение Онегина с Татьяной — в ответ на её письмо. Как подействовало на неё это объяснение — понятно: все надежды бедной девушки рушились, и она ещё глубже затворилась в себе для внешнего мира. Но разрушенная надежда не погасила в ней пожирающего её пламени: оно начало гореть тем упорнее и напряжённее, чем глуше и безвыходнее. Несчастье даёт новую энергию страсти у натур с экзальтированным воображением. Им даже нравится исключительность их положения; они любят свою горе, лелеют своё страдание, дорожат им, может быть ещё больше, нежели сколько дорожили бы они своим счастьем, если бы оно выпало на их долю... И притом, в глухом лесу нашего общества, где бы и скоро ли бы встретила Татьяна другое существо, которое, подобно Онегину, могло бы поразить её воображение и обратить огонь её души на другой предмет? Вообще несчастная, неразделённая любовь, которая упорно переживает надежду, есть явление довольно болезненное, причина которого, по слишком редким и, вероятно, чисто физиологическим причинам, едва ли не скрывается в экзальтации фантазии, слишком развитой на счёт других способностей души. Но как бы то ни было, а страдания, происходящие от фантазии, падают тяжело на сердце и терзают его иногда ещё сильнее, нежели страдания, корень которых в самом сердце. Картина глухих, никем не разделённых страданий Татьяны изображена в пятой главе с удивительною истинною и простотою. Посещение Татьяной опустелого дома Онегина (в седьмой главе) и чувства, пробуждённые в ней этим оставленным жилищем, на всех предметах которого лежал такой резкий отпечаток духа и характера оставившего его хозяина, — принадлежит к лучшим местам поэмы и драгоценнейшим сокровищам русской поэзии.

Татьяна не раз повторила это посещение, —

И в молчаливом кабинете,
Забыв на время всё на свете,
Осталась, наконец, одна.
И долго плакала она.
Потом за книги принялась.
Сперва ей было не до них;
Но показался выбор их
Ей странен. Чтенью предалась
Татьяна жадною душой:
И ей открылся мир иной...

И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее, слава богу,
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной.

.....

Ужель загадку разрешила,
Ужели слово найдено?

Итак, в Татьяне, наконец, совершился акт сознания: ум её проснулся. Она поняла, наконец, что есть для человека интересы, есть страдания и скорби, кроме интереса страданий и скорби любви. Но поняла ли она, в чём именно состоят эти другие инте-

рессы и страдания, и; если поняла, послужило ли это ей к облегчению её собственных страданий? Конечно, поняла, но только умом, головою, потому что есть идеи, которые надо пережить и душою и телом, чтобы понять их вполне, и которых нельзя изучить в книге. И потому книжное знакомство с этим новым миром скорбей, если и было для Татьяны откровением, это откровение произвело на неё тяжёлое, безотрадное и бесплодное впечатление: оно испугало её, ужаснуло и заставило смотреть на страсти, как на гибель жизни, убедило её в необходимости покориться действительности, как она есть, и если жить жизнью сердца, то про себя, в глубине своей души, в тиши уединения, во мраке ночи, посвящённой тоске и рыданиям. Посещение дома Онегина и чтение его книг приготовили Татьяну к перерождению из деревенской девочки в светскую даму, которое так удивило и поразило Онегина...

Итак, в лице Онегина, Ленского и Татьяны Пушкин изобразил русское общество в одном из фазисов его образования, его развития, и с какою истиною, с какою верностью, как полно и художественно изобразил он его! Мы не говорим о множестве вставочных портретов и силуэтов, вошедших в его поэму и довершающих собою картину русского общества — высшего и среднего; не говорим о картинах сельских балов и столичных раутов; всё это так известно нашей публике и так давно оценено ею по достоинству... Заметим одно: личность поэта, так полно и ярко отразившаяся в этой поэме, везде является такою прекрасною, такою гуманною, во в то же время по преимуществу артистической. Везде вы видите в нём человека, душой и телом принадлежащего к основному принципу, составляющему сущность изображаемого им класса: короче, везде видите русского помещика... Он нападает в этом классе на всё, что противоречит гуманности; но принцип класса для него — вечная истина... И потому в самой сатире его так много любви, самое отрицание его так часто похоже на одобрение и на любовование... Вспомните описание семейства Лариных во второй главе, и особенно портрет самого Ларина... Это было причиною, что в «Онегине» многое устарело теперь. Но без этого, может быть, и не вышло бы из «Онегина» такой полной и подробной поэмы русской жизни, такого определённого факта для отрицания мысли, в самом же этом обществе так быстро развивающейся.

«Онегин» писан был в продолжение нескольких лет, — и потому сам поэт поэмы рос вместе с ним, и каждая новая глава поэмы была интереснее и зрелее. Но последние две главы резко отделяются от первых шести: они явно принадлежат уже к высшей, зрелой эпохе художественного развития поэта. О красоте отдельных мест нельзя наговориться довольно; притом же их так много! К лучшим принадлежат: ночная сцена между Татьяной и Ленским, дуэль Онегина с Ленским и весь конец шестой главы. В последних двух главах мы не знаем, что хвалить особенно, потому что в них всё превосходно; но первая половина седьмой главы (описание весны, воспоминание о Ленском, посещение Татьяной дома

(«Онегина») как-то особенно выдаётся из всего глубиной грустного чувства и дивно прекрасными стихами... Отступления, сделанные поэтом от рассказа, обращения его к самому себе исполнены необыкновенной грации, задушевности, чувства, ума, остроты; личность поэта в них является такой любящей, такой гуманной. В своей поэме он умел коснуться так многого, намекнуть о столь многом, что принадлежит исключительно к миру русской пригородной жизни и в высшей степени народным произведением. Удивительно ли, что эта поэма была принята с таким восторгом публикою и имела такое огромное влияние и на современную, и на последующую русскую литературу? А её влияние на права общества? Она была актом сознания для русского общества, почти первым, но зато каким великим шагом вперёд!.. Этот шаг был богатырским размахом, и после него стояние на одном месте сделалось уже невозможным... Пусть идёт время и приводит с собою новые потребности, новые идеи, пусть растёт русское общество и обгоняет «Онегина»; как бы далеко оно ни ушло, но всегда будет оно любить эту поэму, всегда будет она танавливать на ней исполненный любви и благодарности взор...

* 1814-1841 *

(1832)

Нет, я не Байрон, я другой,
Ещё неизвестный избранник, —
Как он, гонимый миром
 странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум не много совершит;

В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто
Толпе мой расскажет думы?
Я — или бог — или никто!

СМЕРТЬ ПОЭТА

(1837)

Отмщение, государь, отмщение!
Паду к ногам твоим:
Будь справедлив и накажи убийцу,
Чтоб казнь его в позднейшие века
Твой правый суд потомству возвестила.
Чтоб видели злоден в ней пример.
(Из трагедии.)

Погиб поэт! — Невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один как прежде... и убит!..
Убит! к чему теперь рыдания,
Пустых похвал ненужный хор,
И жалкий лепет оправданья? —
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар,

И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?..
Что ж? Веселитесь... — Он мучений
Последних вынести не мог:
Угас как светоч дивный гений,
Увял торжественный венок.

Его убийца хладнокровно
Навёл удар... спасенья нет:
Пустое сердце бьётся ровно,
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво?.. из далёка,
Подобный сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..

И он убит — и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милой,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сражённый, как и он, безжалостной рукой.

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей? —
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?..

И прежний сняв венок — они венец терновой,
Увитый лаврами, надели на него;
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;
Отразлены его последние мгновенья
Коварным шёпотом насмешливых невежд,
И умер он — с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.

Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять;
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать. —

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастья обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!..
Но есть, есть божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждёт;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперёд.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей чёрной кровью
Поэта праведную кровь!

ПОЭТ

(1838)

Отделкой золотой блистает мой кинжал:
Клинок надёжный, без порока;
Булат его хранит таинственный закал,
Наследье бранного Востока.
Наезднику в горах служил он много лет,
Не зная платы за услугу,
Не по одной груди провёл он страшный след
И не одну прорвал кольчугу.
Забавы он делил послушнее раба,
Звенел в ответ речам обидным;
В те дни была б ему богатая резьба
Нарядом чуждым и постыдным.
Он взят за Тереком отважным казаком
На хладном трупе господику,
И долго он лежал заброшенный потом
В походной лавке армянина.
Теперь родных ножен, избитых на войне,
Лишён героя спутник бедный,
Игрушкой золотой он блещет на стене —
Увы, бесславный и безвредный!
Никто привычною, заботливой рукой
Его не чистит, не ласкает,
И надписи его, молясь перед зарёй,
Никто с усердьем не читает...
В наш век изнеженный не так ли ты, поэт,
Своё утратил назначенье,

На злато променяв ту власть, которой свет
Внимал в немом благоговенье?
Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы,
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.
Твой стих, как божий дух, носился над толпой
И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных.
Но скучен нам простой и гордый твой язык,
Нас тешат блёстки и обманы;
Как ветхая краса, наш ветхий мир привык
Морщины прятать под румяны...
Проснёшься ль ты опять, осмеянный пророк!
Иль никогда, на голос мщенья,
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?..

ДУМА

(1838)

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познания и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом.
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы:
Перед опасностью позорно-малодушны,
И перед властью — презренные рабы.
Как тощий плод, до времени созрелый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между цветов, пришлец осиротелый,
И час их красоты — его паденья час!
Мы иссушили ум наукою бесплодной,
Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
Неверием осмеянных страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,
Но юных сил мы тем не сберегли:
Из каждой радости, бояся пресыщенья,
Мы лучший сок навеки извлекли.

Мечты поэзии, создания искусства
Восторгом сладостным наш ум не шевелят;
Мы жадно бережём в груди остаток чувства —
Зарытый скупостью и бесполезный клад.
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.
И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат;
И к гробу мы спешим без счастья и без славы,
Глядя насмешливо назад.

Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодovитой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.

ПЕРВОЕ ЯНВАРЯ

(1840)

Как часто, пёстрою толпою окружён,
Когда передо мной, как будто бы сквозь сон,
При шуме музыки и пляски,
При диком шёпоте затверженных речей,
Мелькают образы бездушные людей,
Приличьем стянутые маски;

Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки, —
Наружно погружась в их блеск и суету,
Ласкаю я в душе старинную мечту,
Погибших лет святые звуки.

И если как-нибудь на миг удастся мне
Забиться, — памятью к недавней старине
Лечу я вольной, вольной птицей,
И вижу я себя ребёнком; и кругом
Родные всё места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей;

Зелёной сетью трав подёрнут спящий пруд,
А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями.
В аллею тёмную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и жёлтые листы
Шумят под робкими шагами.

И странная тоска теснит уж грудь мою:
Я думаю об ней, я плачу и люблю,
Люблю мечты моей создание
С глазами полными лазурного огня,
С улыбкой розовой, как молодого дня
За рошей первое сиянье.

Так, царства дивного всеильный господин —
Я долгие часы просиживал один,
И память их жива поныне
Под бурей тягостных сомнений и страстей,
Как свежий островок безвредно средь морей
Цветёт на влажной их пустыне.

Когда ж, опомнившись, обман я узнаю,
И шум толпы людской спугнёт мечту мою,
На праздник нёзваную гостью, —
О, как мне хочется смутить весёлость их,
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!..

МЦЫРИ¹

(1840)

Вкушая, вкусих мало мёда, и се аз умираю.
1-я Книга Царств².

1

Немного лет тому назад
Там, где сливаясь шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод;

Но не курится уж под ним
Кадильниц³ благовонный дым,
Не слышно пенье в поздний час

Молящих иноков за нас,
Теперь один старик седой,
Развалин страж полуживой,
Людьми и смертью забыт,
Сметает пыль с могильных плит.

¹ Мцъри — на грузинском языке значит «неслужащий монах», нечто вроде «послушника». (Примечание Лермонтова.) Послушник — человек, живущий в монастыре и готовящийся принять монашество.

² «Вкушая, вкусих мало мёда и се аз умираю» (церк.-слав.) — «вкушая, вкусил мало мёда, и вот я умираю». 1-я Книга Царств — часть Библии.

³ Кадильница — металлический сосуд для курения фимиама.

Которых надпись говорит
О славе прошлой — и о том,
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь в такой-то год
Вручил России свой народ.

И божья благодать сошла
На Грузию! — она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасаясь врагов
За гранью дружеских штыков.

2

Однажды русский генерал
Из гор к Тифлису проезжал.
Ребёнка пленного он вёз.
Тот занемог. Не перенёс
Трудов далёкого пути.
Он был, казалось, лет шести;
Как серна гор, пуглив и дик,
И слаб и гибок, как тростник.
Но в нём мучительный недуг
Развил тогда могучий дух
Его отцов. Без жалоб он
Томился — даже слабый стон
Из детских губ не вылетал,
Он знаком пищу отвергал
И тихо, гордо умирал.
Из жалости один монах
Больного призрел, и в стенах
Хранительных остался он,
Искусством дружеским спасён.
Но чужд ребяческих утех,
Сначала бегал он от всех,
Бродил безмолвен, одинок,
Смотрел, вздыхая, на восток,
Томим неясною тоской
По стороне своей родной.
Но после к плену он привык,
Стал понимать чужой язык,
Был окрещён святым отцом
И, с шумным светом незнаком,
Уже хотел во цвете лет
Изречь монашеский обет.
Как вдруг однажды он исчез

Осенней ночью. Тёмный лес
Тянулся по горам кругом.
Три дня все поиски по нём
Напрасны были, но потом
Его в степи без чувств нашли
И вновь в обитель принесли;
Он страшно бледен был и худ
И слаб, как будто долгий труд,
Болезнь иль голод испытал.
Он на допрос не отвечал
И с каждым днём приметно
влял;

И близок стал его конец.
Тогда пришёл к нему чернец
С увещеваньем и мольбой,
И гордо выслушав, больной
Привстал, собрав остаток сил,
И долго так он говорил:

«Ты слушать исповедь мою
Сюда пришёл, благодарю.
Всё лучше перед кем-нибудь
Словами облегчить мне грудь.
Но людям я не делал зла,
И потому мои дела
Немного пользы вам узнать,
А душу можно ль рассказать?
Я мало жил и жил в плену.
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог.
Я знал одной лишь думы

власть —
Одну — но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и
битв,

Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.
Я эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской,
Её пред небом и землёй
Я ныне громко признаю
И о прощенье не молю. —

«Старик! я слышал много раз,
 Что ты меня от смерти спас —
 Зачем?.. Утрюм и одинок,
 Грозой оторванный листок,
 Я вырос в сумрачных стенах,
 Душой дитя, судьбой монах.
 Я никому не мог сказать
 Священных слов: отец и мать.
 Конечно, ты хотел, старик,
 Чтоб я в обители¹ отыск
 От этих сладостных имён.
 Напрасно: звук их был рождён
 Со мной. Я видел у других
 Отчизну, дом, друзей, родных,
 А у себя не находил
 Не только милых душ — могил!
 Тогда, пустых не тратя слёз,
 В душе я клятву произнёс:
 Хотя на миг когда-нибудь
 Мою пылающую грудь
 Прижать с тоской к груди

другой,

Хоть незнакомой, но родной...

Увы, теперь мечтанья те
 Погибли в полной красоте,
 И я, как жил, в земле чужой
 Умру рабом и сиротой.

5

«Меня могила не страшит:
 Там, говорят, страданье спит
 В холодной, вечной тишине,
 Но с жизнью жаль расстаться

мне.

Я молод, молод... Знал ли ты
 Разгульной юности мечты?
 Или не знал, или забыл,
 Как ненавидел и любил;
 Как сердце билось живей
 При виде солнца и полей
 С высокой башни угловой,
 Где воздух свеж и где порой
 В глубокой скважине стены,
 Дитя неведомой страны.

¹ Обитель — здесь: монастырь.

Прижавшись, гол...
 Сидит, испуганный...
 Пускай теперь презр...
 Тебе постыл; ты...
 И от желаний ты оты...
 Что за нужда? Ты и...
 Тебе есть в мире что...
 Ты жил — я также...

6

«Ты хочешь знать, что...
 На поле? — Пыльные...
 Холмы, покрытые венцом
 Дерев, разросшихся крутом,
 Шумящих свежеею толпою
 Как братья в пляске круговом.
 Я видел груды тёмных скал,
 Когда поток их разделял,
 И думы их я угадал,
 Мне было свыше то дано!
 Простёрты в воздухе давно
 Объяты каменные их
 И жаждут встречи каждый

миг;

Но дни бегут, бегут года,
 Им не сойтись никогда.
 Я видел горные хребты,
 Причудливые, как мечты,
 Когда в час утренней зари
 Курились, как алтари,
 Их выси в небе голубом,
 И облачко за облачком,
 Покинув тайный свой почлег,
 К востоку направляло бег,
 Как будто белый караван
 Залётных птиц из дальних

стран!

Вдали я видел сквозь туман
 В снегах, горящих, как алмаз,
 Седой незыблемый Кавказ;
 И было сердцу моему
 Легко, не знаю почему.
 Мне тайный голос говорил,
 Что некогда и я там жил,
 И стало в памяти моей
 Прошедшее ясней, ясней.

«И
 Уш
 В те
 Мне
 Дом
 И да
 Я п
 При
 Про
 Сил
 И б
 Кни

Всё
 Вдру
 А мо
 В св
 Явля
 Коль
 И го
 И мо
 Лучи
 И зв
 Над
 В уш
 Он п
 К не
 Играт
 И вз
 Когда
 Воли
 И всп
 И пр
 Расск
 Как
 Когда

«Ты х
 На во
 Без эт
 Была
 Бесси

1 На

«И вспомнил я отцовский дом.
Ущелье наше и кругом
В тени рассыпанный аул:
Мне слышался вечерний гул
Домой бегущих табунов
И дальний лай знакомых псов.
Я помнил смуглых стариков,
При свете лунных вечеров
Против отцовского крыльца
Сидевших с важностью лица.
И блеск оправленных ножен
Кинжалов длинных... и как

сон

Всё это смутной чередой
Вдруг пробежало предо мной.
А мой отец! Он как живой
В своей одежде боевой
Являлся мне, и помнил я
Кольчуги звон, и блеск ружья,
И гордый, непреклонный взор,
И молодых моих сестёр:
Лучи их сладостных очей
И звук их песен и речей
Над колыбелию моей...
В ущелье там бежал поток,
Он шумен был, но неглубок;
К нему, на золотой песок,
Играть я в полдень уходил
И взором ласточек следил,
Когда они, перед дождём,
Волны касались крылом.
И вспомнил я наш мирный дом
И пред вечерним очагом
Рассказы долгие о том,
Как жили люди прежних дней,
Когда был мир ещё пышней.

8

«Ты хочешь знать, что делал я
На воле? Жил, и жизнь моя
Без этих трёх блаженных дней
Была б печальней и мрачней
Бессильной старости твоей.

1 Ниц — касаясь лицом земли, ничком.

Давно давно задумал я
Взглянуть на пустыни полн,
Узнать, прекрасна ли земля,
Узнать, для воли или тюрьмы
На этот свет родимся мы.
И в час ночной, ужасный час,
Когда гроза пугала вас,
Когда столнясь, при алтаре,
Вы ниц¹ лежали на земле,
Я убежал. О, а как брат
Обняв с бурей был бы рад.
Глазами тучи я следил,
Рукою молнию ловил.
Скажи мне, что среди этих стен
Могли бы дать вы мне взамен
Той дружбы краткой, но

живой

Меж бурным сердцем и

грозой?

9

«Бежал я долго, где, куда?
Не знаю! Ни одна звезда
Не озаряла трудный путь.
Мне было весело вдохнуть
В мою измученную грудь
Ночную свежесть тех лесов
И только! Много я часов
Бежал, и наконец, устав,
Прилѣг между высоких трав;
Прислушался: погони нет.
Гроза утихла. Бледный свет
Тянулся длинной полосой
Меж тёмным небом и

землёй,

И различал я, как узор,
На ней зубцы далёких гор;
Недвижим, молча я лежал.
Порой в ущельи шакал
Кричал и плакал, как дитя,
И, гладкой чешуёй блестя,
Змея скользила меж камней.
Но страх не сжал души моей,
Я сам, как зверь, был чужд
людей
И полз и прятался, как змей.

«Внизу глубоко подо мной
Поток, усиленный грозой,
Шумел, и шум его глухой
Сердитых сотне голосов
Подобился. Хотя без слов,
Мне внятен был тот разговор,
Немолчный ропот, вечный спор
С упрямой грудой камней;
То вдруг стихал он, то сильнее
Он раздавался в тишине;
И вот в туманной вышине
Запели птички и восток
Озолотился; ветерок
Сырые шевельнул листья,
Дохнули сонные цветы,
И, как они, навстречу дню
Я поднял голову мою...
Я осмотрелся; не таю,
Мне стало страшно: на краю
Грозящей бездны я лежал,
Где выл, крутясь, сердитый

вал;

Туда вели ступени скал,
Но лишь злой дух по ним
шагал,
Когда, низверженный с небес,
В подземной пропасти исчез.

11

«Кругом меня цвёл божий сад.
Растений радужный наряд
Хранил следы небесных слёз,
И кудри виноградных лоз
Вились, красуясь меж дерёв
Прозрачной зеленью листов;
И грозды полные на них,
Серёг подобье дорогих,
Висели пышно, и порой
К ним птиц летал пугливый

рой.

И снова я к земле припал,
И снова вслушиваться стал
К волшебным странным

голосам;

Они шептались по кустам,
Как будто речь свою вели
О тайнах неба и земли.

И все природы
Сливались тут. Не
В торжественный
Лишь человека гор
Всё, что я чувств
Те думы, им уж
Но я б желал их
Чтоб жить, хоть

В то утро был небес
Так чист, что ангела
Прилежный взор сле

Он так прозрачно был глаз
Так полон ровной
Я в нём глазами и
Тонул, пока полднев
Мои мечты не разогнал,
И жаждой я томиться стал

12

«Тогда к потоку с высоты,
Держась за гибкие кусты,
С плиты на плиту я, как
Спускаться начал. Из-под
Сорвавшись, камень ниспада
Катился вниз — за ним бразда
Дымилась, прах вился столбом;
Гудя и прыгая, потом
Он поглощаем был волной;
И я висел над глубиной,
Но юность вольная сильна,
И смерть казалась не страшна!
Лишь только я с крутых высот
Спустился, свежесть горных вод
Повеяла навстречу мне,
И жадно я припал к волне.
Вдруг голос — лёгкий шум

шагов...

Мгновенно скрывшись меж
кустов,

Невольным трепетом объят,
Я поднял боязливый взгляд
И жадно вслушиваться стал.
И ближе, ближе всё звучал
Грузинки голос молодой,
Так безыскусственно живой,
Так сладко вольный, будто он

лишь звуки дружеских востан
Произносить был приучён.
Простая песня то была,
Но в мысль она мне залезла,
И мне, лишь сумрак настаёт,
Незримый дух её поёт.

13

«Держа кувшин над головой,
Грузинка узкою тропой
Сходила к берегу. Порой
Она скользила меж камней,
Смеясь неловкости своей.
И беден был её наряд;
И шла она легко, назад
Изгибы длинные чадры
Откинув. Летние жары
Покрыли тенью золотой
Лицо и грудь её, и зной
Дышал от уст её и щёк.
И мрак очей был так глубок,
Так полон тайнами любви,
Что думы пыльные мои
Смутились. — Помню только я
Кувшина звон, — когда струя
Вливалась медленно в него,
И шорох... больше ничего.
Когда же я очнулся вновь
И отлила от сердца кровь,
Она была уж далеко;
И шла, хоть тише, — но легко,
Стройна под ношею своей,
Как тополь, царь её полей! —
Недалеко в прохладной мгле,
Казалось, приросли к скале
Две сакли дружною четой:
Над плоской кровлею одной
Дымок струился голубой.
Я вижу, будто бы теперь,
Как стперлась тихонько

дверь...

И затворилась опять!..
Тебе, я знаю, не понять
Мою тоску, мою печаль,
И если б мог, — мне было б

жалко!

Воспоминанья тех минут
Во мне, со мной пускай умрут.

«Трудами ночи излурён
Я лёг в тени. Отрадный сон
Сомкнул глаза невольно мне...
И снова видел я во сне
Грузинки образ молодой.
И странной, сладкою тогой
Опять моя заняла грудь.
Я долго силился вздохнуть
И пробудился. — Уж луна
Вверху сияла — и оде
Лишь тучка кралась за нею,
Как за добычею своей.
Объятья жадные раскрыл.
Мир тёмный был и молчалив.
Лишь серебристой бахромой
Вершины цепи снеговой
Вдали сверкали предо мной,
Да в берега плескал поток.
В знакомой сакле огонёк
То трепетал, то снова гас...
На небесах в полночный час
Так гаснет яркая звезда!
Хотелось мне... но я туда
Взойти не смел. Я цель одну,
Пройти в родимую страну,
Имел в душе — и превозмог
Страданье голода как мог;
И вот дорогою прямой
Пустился, робкий и немой.
Но скоро в глубине лесной
Из виду горы потерял
И тут с пути сбиваться стал.

15

«Напрасно в бешенстве порой
Я рвал отчаянной рукой
Терновник, спутанный плющом.
Всё лес был, вечный лес кругом,
Страшней и гуще каждый час;
И миллионом чёрных глаз
Смотрела ночи темнота
Сквозь ветви каждого куста.
Моя кружилась голова;
Я стал влезать на деревья,
Но даже на краю небес
Всё тот же был зубчатый лес. —

Тогда на землю я упал,
И в иступлении рыдал,
И грыз сырую грудь земли,
И слёзы, слёзы потекли
В неё горючею росой...
Но, верь мне, помощи людской
Я не желал... я был чужой
Для них навек, как зверь

степной;

И если б хоть минутный крик
Мне изменил—клянусь, старик,
Я б вырвал слабый мой язык!

16

«Ты помнишь, в детские года
Слезы не знал я никогда;
Но тут я плакал без стыда.
Кто видеть мог? — Лишь

тёмный лес

Да месяц, плывший средь небес!
Озарена его лучом,
Покрыта мохом и песком,
Непроницаемой стеной
Окружена, передо мной
Была поляна. Вдруг по ней
Мелькнула тень; и двух огней
Промчались искры... и потом
Какой-то зверь одним

прыжком

Из чаши выскочил и лёг,
Играя, навзничь на песок.
То был пустыни вечный гость,
Могучий барс. Сырую кость
Он грыз и весело визжал;
То взор кровавый устремлял,
Мотая ласково хвостом,
На полный месяц, и на нём
Шерсть отливалась серебром.
Я ждал, схватив рогатый сук,
Минуту битвы — сердце

вдруг

Зажглося жажлою борьбы
И крови... да! рука судьбы
Меня вела иным путём...
Но нынче я уверен в том,
Что быть бы мог в краю

отцов

Не из последних удалцов.

17

«Я ждал. И вот в тени ночной
Врага почуял он, и вой
Протяжный, жалобный, как

стон,

Раздался вдруг... и начал он
Сердито лапой рыть песок,
Встал на дыбы, потом прилёг,
И первый бешеный скачок
Мне страшной смертью грозил.
Но я его предупредил.
Удар мой верев был и скор.
Надёжный сук мой как толчок
Широкий лоб его рассек...
Он застонал, как человек,
И опрокинулся. — Но вновь,
Хотя лила из раны кровь
Густой широкою волной,
Бой закипел — смертельный

бой!

18

«Ко мне он кинулся на грудь,
Но в горло я успел воткнуть
И там два раза повернуть
Моё оружие... он завыл,
Рванулся из последних сил,
И мы, сплетясь как пара змей,
Обнявшись крепче двух друзей,
Упали разом — и во мгле
Бой продолжался на земле.
И я был страшен в этот миг.
Как барс пустынный, зол и

дик,

Я пламенел, визжал, как он;
Как будто сам я был рождён
В семействе барсов и волков,
Под свежим пологом лесов.
Казалось, что слова людей
Забыл я — и в груди моей
Родился тот ужасный крик,
Как будто с детства мой язык
К иному звуку не привык...
Но враг мой стал изнемогать,
Метаться, медленней дышать,
Славил меня в последний раз...
Зрачки его недвижных глаз

11.

2

Ал.

op

И бой!

удь,
вуть

h

ил,
а змей,
друзей,
е
мле.
т миг.
ол и
дик,
ак он;
ождён
волков,
лесов.
юдей
моей
крик,
мой язык
ивык...
знемога
дышать
дней ра
х глаз

мой крик,
мой язык
выск...
внемогать,
дышать,
дней раз...
х глаз

281

«И как его, палил меня
Огонь безжалостного дня.
Напрасно прятал я в траву
Мою усталую главу;
Иссохший лист её венцом
Терновым над моим челом
Свивался, и в лицо огнём
Сама земля дышала мне.
Сверкая, быстро в вышине
Кружились искры — с белых

скал

Струился пар. Мир божий спал
В оцепенении глухом
Отчаянья тяжёлым сном.
Хотя бы крикнул коростель,
Иль стрекозы живая трель
Послышалась! Или ручья
Ребячий лепёт!.. — Лишь змея,
Сухим бурьяном шелестя,
Сверкая жёлтою спиной,
Как будто надписью златой
Покрытый донизу клинок,
Браздя рассыпчатый песок,
Скользила бережно — потом
Играя, нежась на нём,
Тройным свивалась кольцом;
То будто вдруг обожжена
Металась, прыгала она
И в дальних пряталась

кустах...

«И было всё на небесах
Светло и тихо — сквозь пары
Вдали чернели две горы.
Наш монастырь из-за одной
Сверкал зубчатою стеной.
Внизу Арагва и Кура,
Обвив каймой из серебра
Подошвы свежих островов,
По корням шепчущих кустов
Бежали дружно и легко...
До них мне было далеко!
Хотел я встать: передо мной
Всё закружилось с быстротой!
Хотел кричать: язык сухой
Беззвучен и недвижим был.

Я умирал. Меня томила
Предсмертный бред:

казалось мне,

Что я лежу на влажном
Глубокой речки — и был
Кругом таинственная мгла.
И, жажду вечную поя,
Как лёд, холодная струя.
Журча, вливалась мне в рот...
И я боялся лишь заснуть, —
Так было сладко, любо мне...
А надо мною в вышине
Волна теснилась к волне.
И солнце сквозь хрусталь златой
Сияло сладостней луны,
И рыбок пёстрые стада
В лучах играли иногда.
И помню я одну из них:
Она приветливей других
Ко мне ласкалась, чешуёй
Была покрыта золотой
Её спина. — Она вилась
Над головой моей не раз,
И взор её зелёных глаз
Был грустно нежен и глубок...
И — надивиться я не мог! —
Гё серебристый голосок
Мне речи странные шептал,
И пел, и снова замолкал.

Он говорил: «Дитя моё,
Останься здесь со мной:
В воде привольное житьё,
И холод и покой.
Я созову моих сестёр!
Мы пляской круговой
Развеселим туманный взор
И дух усталый твой
Усни! постель твоя мягка,
Прозрачен твой покров.
Пройдут года, пройдут века
Под говор чудных снов.

О милый мой, не утаю,
Что я тебя люблю,
Люблю как вольную струю,
Люблю как жизнь мою.

И долго
И мило
Свивался
С словами
Тут я за
В глазах
Бессильно

«Так я и
Ты остал
Я кончил
Или не в
Меня пе
Мой труп
Не будет
И повест
Не призо
Вниманье
На имя

«Прощай
Ты чувст
Знай, это

Таясь, ж
Но ныне
И он про
И возвра
Кто всем
Даёт стра
Но что м

В святом
Мой дух
Увы! — за

И долго, долго слушал я;
И мнилось, звучаая струя
Сливалась тихий ропот свой
С словами рыбки золотой.
Тут я забылся. Божий свет
В глазах угас. Безумный бред
Бессилью тела уступил...

24

«Так я найдён и поднят был...
Ты остальное знаешь сам.
Я кончил, верь моим словам
Или не верь, мне всё равно.
Меня печалит лишь одно:
Мой труп холодный и немой
Не будет тлеть в земле родной,
И повесть горьких мук моих
Не призовет меж стен глухих
Внимание скорбное ничьё
На имя тёмное моё.

25

«Прощай, отец... дай руку мне:
Ты чувствуешь, моя в огне...
Знай, этот пламень с юных
дней,

Таясь, жил в груди моей;
Но ныне пищи нет ему,
И он прожёт свою тюрьму
И возвратится вновь к тому,
Кто всем законной чередой
Даёт страданье и покой...
Но что мне в том? — Пускай в
раю,

В святом, заоблачном краю
Мой дух найдёт себе приют...
Увы! — за несколько минут

Между крутых и тёмных скал,
Где я в ребячестве играл,
Я б рай и вечность променял...

26

«Когда я стану умирать,
И, верь, тебе недолго

ждать —

Ты перенести меня вели
В наш сад, в то место, где

цвели

Акаций белых два куста...
Трава меж ними так густа!
И свежий воздух так душист,
И так прозрачно золотист
Играющий на солнце лист!
Там положить вели меня.
Сияньем голубого дня
Упыюся я в последний раз.
Оттуда виден и Кавказ!
Быть может, он с своих высот
Привет прощальный мне

пришлёт,

Пришлёт с прохладным
ветерком..

И близ меня перед концом
Родной опять раздастся звук!
И стану думать я, что друг
Иль брат, склонившись надо мной,

Отёр внимательной рукой
С лица кончины хладный пот,
И что вполголоса поёт
Он мне про милую страну...
И с этой мыслью я засну,
И никого не прокляну!»

СОСНА

(1841)

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна,
И дремлет качаясь, и снегом сыпучим
Одета как ризой она.
И снится ей всё, что в пустыне далёкой
В том красе, где солнца восход,
Одна и грустна на утёсе горючем
Прекрасная пальма растёт.

(1841)

Почевала тучка золотая
На груди утёса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;

Но остался влажный след в морщине
Старого утёса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко
И тихонько плачет он в пустыне.

(1841)

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чём?

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть! —

Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь,
Чтоб всю ночь, весь день, мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Тёмный дуб склонялся и шумел.

(1841)

Дубовый листок оторвался от ветки родимой
И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;
Засох и увял он от холода, зноя и горя;
И вот наконец докатился до Чёрного моря.

У Чёрного моря чинара стоит молодая;
С ней шепчется ветер, зелёные ветви лаская;
На ветвях зелёных качаются райские птицы:
Поют они песни про славу морской царь-девицы.

И странник прижалеся у корня чинары высокой;
Приюта на время он молит с тоскою глубокой, —
И так говорит он: «Я бедный листочек дубовый,
До срока созрел я и вырос в отчизне суровой.

Один и без цели по свету ношуся давно я,
Засох я без тени, увял я без сна и покоя.
Прими же прищельца меж листьев своих изумрудных,
Немало я знаю рассказов мудрёных и чудных».

— На что мне тебя? — отвечает молодая чинара,
Ты пылен и жёлт, — и сынам моим свежим не пара.
Ты много видал, — да к чему мне твои небылицы?
Мой слух утомили давно уж и райские птицы...

Иди себе дальше, о странник! тебя я не знаю!
Я солнцем любима; цвету для него и блистаю;
По небу я ветви раскинула здесь на просторе,
И корни мои умывает холодное море.

ПРОРОК

(1841)

С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведение пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено камни.

Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром божьей пищи;

Завет предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная;
И звёзды слушают меня,
Лучами радостно играя.

Когда же через шумный град
Я пробираюсь торопливо,
То старцы детям говорят
С улыбкою самолюбивой:

«Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами:
Глупец, хотел уверить нас,
Что бог гласит его устами!

Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм и худ и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!»

РОДИНА

(1841)

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит её рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни тёмной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Но я люблю — за что, не знаю сам —
Её степей холодное молчанье,
Её лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек её, подобные морям...
Просёлочным путём люблю скакать в телеге,
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о почлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;

Люблю дымок спалённой жнивы,
В степи ночующий обоз,
И на холме сред жёлтой нивы
Чету белеющих берёз,
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (1840)

Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь; оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям дела нет до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий. А жаль, что это так, особенно у нас. Наша публика так ещё молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце её не находит правоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии; она просто дурно воспитана. Она ещё не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места; что современная образованность изобрела орудие более острое, почти невидимое, и тем не менее смертельное, которое, под одеждою лести, наносит неотразимый и верный удар. Наша публика похожа на провинциала, который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает своё правительство в пользу взаимной, нежнейшей дружбы.

Эта книга испытала на себе ещё недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как «Герой нашего времени»; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых... Старая и жалкая шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена, что всё в ней обновляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли избегнет упрека в покушении на оскорбление личности!

«Герой нашего времени», милостивые государи мои, точно, портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не оттого ли, что в нём больше правды, нежели бы вы того желали?..

Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините: Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте, однако, после этого, чтобы автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает и, к его и вашему несчастью, слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как её излечить — это уж бог знает!

Мы ехали на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моя и тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии. Большая часть из них, к счастью для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастью для меня, остался цел.

Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда мы въехали в Койшаурскую Долину. Осетин-извозчик неутомимо гонял лошадей, чтоб успеть до ночи взобраться на Койшаурскую Гору, и во всё горло распевал песни. Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зелёным плющом и увенчанные кронами чинар, жёлтые обрывы, исчерченные промоинами, а там, высоко-высоко, золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безымянной речкой, шумно вырывающейся из чёрного, полного мглой ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает как змея своею чешуёю.

Подъехав к подошве Койшаурской Горы, мы остановились возле духана. Тут толпилось шумно десятка два грузин и горцев; поблизости караван верблюдов остановился для ночлега. Я должен был нанять быков, чтоб втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что была уже осень и гололедица, а эта гора имеет около двух вёрст длины.

Нечего делать, я нанял шесть быков и нескольких осетин. Один из них взвалил себе на плечи мой чемодан, другие стали помогать быкам почти одним криком.

За моею тележкой четвёрка быков тащила другую как ни в чём не бывало, несмотря на то, что она была доверху накладена. Это обстоятельство меня удивило. За нею шёл её хозяин, покуривая из маленькой кабардинской трубочки, обделанной в серебро. На нём был офицерский сюртук без эполет и черкесская мохнатая шапка. Он казался лет пятидесяти; смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с закавказским солнцем, и преждевременно поседевшие усы не соответствовали его твёрдой походке и бодрому виду. Я подошёл к нему и поклонился; он молча отвечал мне на поклон и пустил огромный клуб дыма.

«Мы с вами попутчики, кажется?»

Он молча опять поклонился.

«Вы верно едете в Ставрополь?»

— Так-с точно... с казёнными вещами.

«Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжёлую тележку четыре быка тащат шутя, а мою пустую шесть скотов едва подвигают с помощью этих осетин?»

Он лукаво улыбнулся и значительно взглянул на меня.

— Вы верно недавно на Кавказе?

«С год», отвечал я.

Он улыбнулся вторично.

«А что ж?»

— Да так-с! Ужасные бестии эти азиаты! Вы думаете, они помогают, что кричат? А чёрт их разберёт, что они кричат? Быки-то их понимают; запрягите хоть двадцать, так коли они крикнут по-своему, быки всё ни с места... Ужасные плуты! А что с них возьмёшь?.. Любят деньги драть с проезжающих... Избаловали маженишков! увидите, они ещё с вас возьмут на водку. Уж я их знаю, меня не проведут!

«А вы давно здесь служите?»

— Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче¹, — отвечает он приосанившись. — Когда он приехал на Лию, я был подпоручиком, — прибавил он, — и при нём получил два чина за дела против горцев.

«А теперь вы?..»

— Теперь считаюсь в третьем линейном батальоне. А вы, смею спросить?..

Я сказал ему.

Разговор этим кончился, и мы продолжали молча идти друг подле друга. На вершине горы нашли мы снег. Солнце закатилось, и ночь последовала за днём без промежутка, как это обыкновенно бывает на юге; но, благодаря отливу снегов, мы легко могли различать дорогу, которая всё ещё шла в гору, хотя уже не так круто. Я велел положить чемодан свой в тележку, заменить быков лошадьми и в последний раз оглянулся вниз на долину, но густой туман, нахлынувший волнами из ущелий, покрывал её совершенно, и ни единый звук не долетал уже оттуда до нашего слуха. Осетины шумно обступили меня и требовали за водку; но штабс-капитан так грозно на них прикрикнул, что они вмиг разбежались.

«Ведь этакой народ!» сказал он: «и хлеба по-русски назвать не умеет, а выучил: «офицер, дай на водку!» Уж татары по мне лучше: те хоть непьющие...»

До станции оставалось ещё с версту. Крутом было тихо, так тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полётом. Налево чернело глубокое ущелье; за ним и впереди нас тёмно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, ещё сохранявшем последний отблеск зари. На тёмном небе начинали мелькать звёзды, и странно, мне показалось, что они гораздо выше, чем у нас на севере. По обеим сторонам дороги торчали голые, чёрные камни; кой-где из-под снега выглядывали кустарники, но ни один сухой листок не шевелился, и весело было слышать среди этого мёртвого сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякиванье русского колокольчика.

¹ Ермолове.

«Завтра будет славная погода!» сказал я. Штабс-капитан не отвечал ни слова и указал мне пальцем на высокую гору, нависавшую прямо против нас.

«Что ж это?» спросил я.

— Гуд-Гора.

«Ну так что ж?»

— Посмотрите, как курится.

И в самом деле, Гуд-Гора курилась; по бокам её поднимались струйки облаков, а на вершине лежала чёрная дыма, чёрная, что на тёмном небе она казалась пятном.

Уж мы различали почтовую станцию, кровли сарайчиков, саклей, и перед нами мелькали приветные огоньки. Вдруг пошел сырой, холодный ветер, ущелье загудело, и начался дождь. Едва успел я накинуть бурку, как позвали снег. Я с недоговением посмотрел на штабс-капитана...

— Нам придётся здесь ночевать, — сказал он с досадой. — В такую метель через горы не переедешь. Что? Были ли обещания на Крестовой? — спросил он извозчика.

«Не было, господин», отвечал осетин-извозчик: «а значит и денег, много».

За неимением комнаты для проезжающих на станции нам предложили ночлег в дымной сакле. Я пригласил своего спутника выпить вместе стакан чая, ибо со мной был чугунный чайник — единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу.

Сакля была прилеплена одним боком к скале; три сколоченные мокрые ступени вели к её двери. Ощупью вошёл я и наткнулся на корову (хлев у этих людей заменяет лакейскую). Я не знал, куда деваться: тут блеют овцы, там ворчит собака. К счастью, в стороне блеснул тусклый свет и помог мне найти другое отверстие наподобие двери. Тут открылась картина довольно занимательная: широкая сакля, которой крыша опиралась на два заколоченные столба, была полна народа. Посредине трещал огонёк, разложенный на земле, и дым, выталкиваемый обратно ветром из отверстия в крыше, расстилался вокруг такой густой пеленой, что я долго не мог осмотреться; у огня сидели две старухи, многодетство детей и один худощавый грузин, все в лохмотьях. Нечего было делать, мы приютились у огня, закурили трубки, и скотный чайник зашипел приветливо.

«Жалкие люди!» сказал я штабс-капитану, указывая на наших грязных хозяев, которые молча на нас смотрели в каком-то ошолобенении.

— Преглупый народ! — отвечал он. — Поверите ли? ничего не умеют, не способны ни к какому образованию! Уж по крайней мере наши кабардинцы или чеченцы, хотя разбойники, голые, зато отчаянные башки, а у этих и к оружию никакой охоты нет: порядочного кинжала ни на одном не увидишь. Уж подлинно осетины!

«А вы долго были в Чечне?»

— Да, я лет десять стоял там в крепости с рогою, у Каменного Брода,— знаете?

«Слыхал».

— Вот, батюшка, надоели нам эти головорезы; ну иче, слава богу, смирнее, а бывало, на сто шагов отойдешь за вай, ужас где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит: чуть зазевался, того и гляди — либо аркан на шее, либо пуля в затылке. А молодой!

«А, чай, много с вами бывало приключений?» сказал я, подстрекаемый любопытством.

— Как не бывать! Бывало...

Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался. Мне страх хотелось вытянуть из него какую-нибудь историю, — желание, свойственное всем путешествующим и записывающим людям. Между тем чай поспел; я вытащил из чемодана два походные стаканчика, налил и поставил один перед ним. Он отхлебнул и сказал как будто про себя: «да, бывало». Это восклицание подало мне большие надежды. Я знаю, старые кавказцы любят поговорить, порассказать; им так редко удаётся: другой лет пять стоит где-нибудь в захолустье с рогом, и целые пять лет ему никто не скажет *здравствуйте* (кого же что фельдфебель говорит *здравия желаю*). А поболтать было бы о чём: кругом народ дикий, любопытный; каждый день опасность: случаи бывают чудные, и тут поневоле пожалеешь о том, что у нас так мало записывают.

«Не хотите ли подбавить рому?» сказал я моему собеседнику: «у меня есть белый из Тифлиса: теперь холодно».

— Нет-с, благодарствуйте, не пью.

«Что так?»

— Да так. Я дал себе заклятье. Когда я был ещё подпоручиком, раз, знаете, мы подгуляли между собою, а ночью сделалась тревога, вот мы и вышли перед фронт навеселе, да уж и досталось нам, как Алексей Петрович узнал: не дай господи, как он рассердился! чуть-чуть не отдал под суд. Оно и точно, другой раз целый год живёшь, никого не видишь, да как тут ещё водка — пропадающий человек!

Услышав это, я почти потерял надежду.

— Да вот хоть черкесы,— продолжал он: — как напыются бузы¹ на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка. Я раз насилу ноги унёс, а ещё у мирного князя был в гостях.

«Как же это случилось?»

— Вот (он набил трубку, затянулся и начал рассказывать), — вот и просите видеть, я тогда стоял в крепости за Тереком с рогой — этому скоро пять лет. Раз, осенью, пришёл транспорт с конным; в транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти. Он явился ко мне в полном форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, бе-

¹ Бузы — вино из проса.

деревянный, на нём мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. «Вы верно», спросил я его, «переведены сюда из России?» — Точно так, господин штабс-капитан, — отвечал он. — Я взял его за руку и сказал: «Очень рад. Вам будет немножко скучно... ну да мы с вами будем жить по-приятельски. Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч, и пожалуйста — к чему эта полная форма? приходите ко мне всегда в фуражке». Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости.

«А как его звали?» спросил я Максима Максимыча.

— Его звали... Григорьем Александровичем Печорин. Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странный. Ведь, например, в дождик, в холод, целый день на охоте; все иззябнут, устанут, — а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнёт, уверяет, что простудился; ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет: а при мне ходил на кабана один на один; бывало, по целым часам слова не добьёшься, зато уж иногда как начнёт рассказывать, так животики надорвёшь со смеха... Да-с, с большими странностями, и должно быть богатый человек: сколько у него было разных дорогих вещей!..

«А долго он с вами жил?» спросил я опять.

— Да с год. Ну да уж зато памятен мне этот год; наделал он мне хлопот, не тем будь помянут! Ведь есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи!

«Необыкновенные?» воскликнул я с видом любопытства, подливая ему чая.

— А вот я вам расскажу. Вёрст шесть от крепости жил один мирной князь. Сынишка его, мальчик лет пятнадцати, повадился к нам ездить: всякий день, бывало, то за тем, то за другим. И уж точно избаловали мы его с Григорьем Александровичем. А уж какой был головорез, проворный на что хочешь: шапку ли поднять на всём скаку, из ружья ли стрелять. Одно было в нём нехорошо: ужасно падок был на деньги. Раз, для смеха, Григорий Александрович обещался ему дать червонец, коли он ему украдёт лучшего козла из отцовского стада; и что ж вы думаете? на другую же ночь приташил его за рога. А бывало, мы его вздумаем дразнить, так глаза кровью и нальются, и сейчас закипжал. «Эй, Азамат, не сносить тебе головы», говорил я ему: «яман будет твоя башка!»

— Раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу: он отдавал старшую дочь замуж, а мы были с ним кунаки¹: так нельзя же, знаете, отказаться, хоть он и татарин. Отправились. В ауле множество собак встретило нас громким лаем. Женщины, увидя нас, прятались; те, которых мы могли рассмотреть в лицо, были далеко не красавицы. «Я имел гораздо лучшее мнение о

¹ Кунак — приятель.

черкешенках», сказал мне Григорий Александрович. — Подождите! — отвечал я, усмехаясь. У меня было своё на уме.

— У князя в сакле собралось уже множество народа. У азиатов, знаете, обычай всех встречных и поперечных приглашать на свадьбу. Нас приняли со всеми почестями и повели в кунацкую. Я, однако ж, не позабыл подметить, где поставили наших лошадей, знаете, для непредвидимого случая.

«Как же у них празднуют свадьбу?» спросил я штабс-капитана.

— Да обыкновенно. Сначала мулла прочитает им что-то из Корана¹; потом дарят молодых и всех их родственников; едят, пьют бузу; потом начинается джигитовка, и всегда один какой-нибудь оборвыш, засаленный, на скверной, хромой лошадёнке, ломается, паясничает, смешит честную компанию; потом, когда смеркнется, в кунацкой начинается, по нашему сказать, бал. Бедный старичишка бренчит на трёхструнной... забыл как по-ихнему... ну, да вроде нашей балалайки. Девки и молодые ребята становятся в две шеренги, одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходит одна девка и один мужчина на середину и начинают говорить друг другу стихи нараспев, что попало, а остальные подхватывают хором. Мы с Печориным сидели на почётном месте, и вот к нему подошла меньшая дочь хозяина, девушка лет шестнадцати, и пропела ему... как бы сказать?... вроде комплимента. «А что ж такое она пропела, не помните ли?»

— Да, кажется, вот так: «Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафганы на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нём золотые. Он как тополь между ними; только не расти, не цвести ему в нашем саду». Печорин встал, поклонился ей, приложил руку ко лбу и сердцу и просил меня отвечать ей; я хорошо знаю по-ихнему и перевёл его ответ.

— Когда она от нас отошла, тогда я шепнул Григорью Александровичу: «Ну, что, какова?»

— Прелесть! — отвечал он: — а как её зовут? — «Её зовут Бэлөю», отвечал я.

— И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза чёрные, как у горной серны, так и заглядывали к вам в душу. Печорин в задумчивости не сводил с неё глаз, и она частенько исподлобья на него посматривала. Только не один Печорин любовался хорошенькой княжной: из угла комнаты на неё смотрели другие два глаза, неподвижные, огненные. Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомого Казбича. Он, знаете, был не то, чтоб мирной, не то, чтоб не мирной. Подозрений на него было много, хоть он ни в какой шалости не был замечен. Бывало, он приводил к нам в крепость баранов и продавал дёшево, только никогда не торговался: что запросит, давай — хоть зарежь, не уступит.

¹ Коран — книга, излагающая учение Магомета.

Говорили про него, что он любит таскаться за Кубань¹, и, правду сказать, рожа у него была самая рьяная, маленький, сухой, широкоплечий... А уж ловок-то, ловок-то, как бес! Бешмет² всегда изорванный, в заплатках, а орнаменты из серебра. А лошадь его славилась в целой Кабарде³, — и лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаром завидовали все наездники и не раз пытались её украсть, но не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь: ворванная, и смоль, ноги — струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы, а как лап! скачи хоть на 50 вёрст, а уж выезжена — как собака бегает за хозяином, голос даже его знала! Бывало, он её издалека и привязывает. Уж такая разбойничья лошадь!..

— В этот вечер Казбич был угрюмее, чем когда-нибудь, и заметил, что у него под бешметом надета кольчуга. «Недаром иль нѣм эта кольчуга», подумал я: «уж он верно что-нибудь задумывает».

— Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. Ночь уж ложилась на горы, и туман начинал бродить по ущельям.

— Мне вздумалось завернуть под навес, где стояли наши лошади, посмотреть, есть ли у них корм, и притом остережиться, никогда не мешает: у меня же была лошадь славная, и уж один кабардинец на неё умильно поглядывал, приговаривая: *якши тхе, чек якши!*

— Пробираюсь вдоль забора и вдруг слышу голоса; один голос я тотчас узнал: это был повеса Азамат, сын нашего хозяина. Другой говорил реже и тише. «О чём они тут толкуют?» подумал я: «уж не о моей ли лошадке?» Вот присел я у забора и стал прислушиваться, стараясь не пропустить ни одного слова. Иногда шум песен и говор голосов, вылетая из сакли, заглушали любопытный для меня разговор.

— «Славная у тебя лошадь!» говорил Азамат, «если б я был хозяин в доме и имел табун в триста кобыл, то отдал бы половину за твоего скакуна, Казбич!»

— А, Казбич! — подумал я и вспомнил кольчугу.

— «Да», отвечал Казбич после некоторого молчания, «в целой Кабарде не найдёшь такой. Раз, — это было за Терек⁴, я ездил с абреками отбивать русские табуны; нам не повезло, вилось, и мы рассыпались кто куда. За мной неслись четыре казака; уж я слышал за собою крики гяуров⁵, и передо мною был густой лес. Прилёг я на седло, поручил себя аллаху⁶, и в первый раз в жизни оскорбил коня ударом плети. Как птица нырнул я между ветвями; острые колючки рвали мою одежду, сухие сучья

¹ Абрѣк — у кавказских горцев — удалец; в другом смысле — разбойник.

² Бешмет — у восточных народов — полукафтан с рукавами.

³ Кабарда — область на Северном Кавказе.

⁴ Гяур — турецкое слово, соответствующее русскому слову собака. Так матометане звали иноверцев, главным образом христиан.

⁵ Аллах — арабское название бога.

карагача¹ били меня по лицу. Конь мой прыгал через пни, разрывал кусты грудью. Лучше было бы мне его бросить у опушки и скрыться в лесу пешком, да жаль было с ним расставаться, — и пророк вознаградил меня. Несколько пуль провизжало над моею головою; я уж слышал, как спешившиеся казаки бежали по следам... Вдруг передо мною рывина глубокая; скакун мой призадумался — и прыгнул. Задние его копыта оборвались с противоположного берега, и он повис на передних ногах. Я бросил поводья и полетел в овраг; это спасло моего коня: он выскочил. Казаки всё это видели, только ни один не спустился меня искать: они верно думали, что я убится до смерти, и я слышал, как они бросились ловить моего коня. Сердце моё облилось кровью; пополз я по оврагу, — смотрю: лес кончился, несколько казаков выезжают из него на поляну, и вот выскакивает прямо к ним мой Карагёз²; все кинулись за ним с криком; долго, долго они за ним гонялись, особенно один раз два чуть-чуть не накинул ему на шею аркана; я задрожал, опустил глаза и начал молиться. Через несколько мгновений поднимаю их — и вижу: мой Карагёз летит, развезая хвост, вольный как ветер, а гяуры далеко один за другим тянутся по степи на измученных конях. Валлах! это правда, истинная правда! До поздней ночи я сидел в своём овраге. Вдруг, что ж ты думаешь, Азамат? во мраке слышу, бегают по берегу оврага конь, фыркает, ржёт и бьёт копытами о землю; я узнал голос моего Карагёза: это был он, мой товарищ!.. С тех пор мы не разлучались».

— И слышно было, как он трепал рукою по гладкой шее своего скакуна, давая ему разные нежные названия.

— «Если б у меня был табун в тысячу кобыл», сказал Азамат, «то отдал бы тебе его весь за твоего Карагёза».

— «Пок, не хочу», отвечал равнодушно Казбич.

— «Послушай, Казбич», говорил, ласкаясь к нему, Азамат: «ты добрый человек, ты храбрый джигит, а мой отец боится русских и не пускает меня в горы; отдай мне свою лошадь, и я сделаю всё, что ты хочешь, украду для тебя у отца лучшую его вилтовку или шашку, что только пожелаешь, — а шашка его настоящая гурда³; приложи лезвием к руке, сама в тело вопьётся, а кольчуга — такая, как твоя, нипочём».

— Казбич молчал.

— «В первый раз, как я увидел твоего коня», продолжал Азамат: «когда он под тобой крутился и прыгал, раздувая ноздри, и кремни брызгами летели из-под копыт его, в моей душе сделалось что-то непонятное, и с тех пор всё мне опостытело: на дуэли моих скакунов моего отца смотрел я с презрением, стыдно было мне на них показаться, и тоска овладела мной; и, тоскуя, пролеживал я на утёсе целые дни, и ежеминутно мыслям моим являлся

¹ Карагач — дерево, особая порода вяза.

² Карагёз — черноглазый.

³ Гурда — старинная шашка, высоко ценившаяся на Кавказе.

верной скакун твой с своей стройной поступью, с своим гладким, прямым, как стрела, хребтом; он смотрел мне в глаза своими бойкими глазами, как будто хотел слово вымолвить. Я умру, Казбич, если ты мне не продашь его!» сказал Азамат дрожащим голосом.

— Мне слышалось, что он заплакал: а надо вам сказать, что Азамат был преупрямый мальчишка, и ничем, бывало, у него слёз не выбьешь, даже когда он был и помоложе.

— В ответ на его слёзы слышалось что-то вроде смеха.

— «Послушай!» сказал твёрдым голосом Азамат: «видишь, я на всё решаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Как она пляшет! как поёт! а вышивает золотом — чудо! Не бывало такой жены и у турецкого падишаха¹... Хочешь? дождись меня завтра ночью там, в ущелье, где бежит поток: я пойду с нею мимо в соседний аул, — и она твоя. Неужели не стоит Бэла твоего скакуна?»

— Долго, долго молчал Казбич; наконец, вместо ответа, он затянул старинную песню вполголоса²:

Много красавиц в аулах у нас,
Звёзды сияют во мраке их глаз,
Сладко любить их — завидная доля;
Но веселей молодецкая воля.

Золото купит четыре жены,
Конь же лихой не имеет цены:
Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет.

— Напрасно упрашивал его Азамат согласиться и плакал, и льстил ему, и клялся; наконец Казбич нетерпеливо прервал его:

— «Поди прочь, безумный мальчишка! Где тебе ездить на моём коне? На первых трёх шагах он тебя сбросит, и ты разобьёшь себе затылок о камни».

— «Меня!» крикнул Азамат в бешенстве, и железо детского кинжала зазвенело об кольчугу. Сильная рука оттолкнула его прочь, и он ударился об плетень так, что плетень зашатался. «Будет потеха!» подумал я, кинулся в конюшню, взнуздал лошадей наших и вывел их на задний двор. Через две минуты уж в сакле был ужасный гвалт. Вот что случилось: Азамат вбежал туда в разорванном бешмете, говоря, что Казбич хотел его зарезать. Все выскочили, схватились за ружья — и пошла потеха! Крик, шум, выстрелы; только Казбич уж был верхом и вертелся среди толпы по улице как бес, отмахиваясь шашкой. «Плохое дело в чужом пиру похмелье», сказал я Григорью Александровичу, поймав его за руку: «не лучше ли нам поскорее убраться?»

— «Да погодите, чем кончится».

— Да уж верно кончится худо; у этих азиатов всё так: натянулись бузы, и пошла резня! — Мы сели верхом и ускакали домой.

¹ Падишах — титул турецкого султана и некоторых других властителей восточных стран.

² Я прошу прощения у читателей в том, что переложил в стихи песню Казбича, передавную мне, разумеется, прозой; но привычка — вторая натура. (Примечание Лермонтова.)

«А что Казбич?» спросил я нетерпеливо у штабс-капитана.

— Да что этому народу делается! — отвечал он, допивая стакан чая: — ведь ускользнул!

«И не ранен?» спросил я.

— А бог его знает! Живущи, разбойники! Видал я-с иных в деле, например: ведь весь исколот, как решето, штыками, а всё махает шашкой. — Штабс-капитан после некоторого молчания продолжал, топнув ногою о землю:

— Никогда себе не прощу одного: чёрт меня дёрнул, приехав в крепость, пересказать Григорью Александровичу всё, что я слышал, сидя за забором; он посмеялся, — такой хитрый! — а сам задумал кое-что.

«А что такое? Расскажите, пожалуйста».

— Ну уж нечего делаты! начал рассказывать, так надо продолжать.

— Дня через четыре приезжает Азамат в крепость. По обыкновению, он зашёл к Григорью Александровичу, который его всегда кормил лакомствами. Я был тут. Зашёл разговор о лошадях, и Печорин начал расхваливать лошадь Казбича: уж такая-то она резвая, красивая, словно серна — ну, просто, по его словам, этакой и в целом мире нет.

— Засверкали глазёнки у татарчонка, а Печорин будто не замечает; я заговариваю о другом, а он, смотришь, тотчас собьёт разговор на лошадь Казбича. Эта история продолжалась всякий раз, как приезжал Азамат. Недели три спустя, стал я замечать, что Азамат бледнеет и сохнет, как бывает от любви в романах-с. Что за диво?..

— Вот видите, я уж после узнал всю эту шутку: Григорий Александрович до того его задразнил, что хогь в воду. Раз он ему и скажи: «Вижу, Азамат, что тебе больно понравилась эта лошадь, а не видать тебе её как своего затылка! Ну, скажи, что бы ты дал тому, кто тебе её подарил бы?..»

— «Всё, что он захочет», отвечал Азамат.

«В таком случае я тебе её достану, только с условием... По-клянись, что ты его исполнишь...».

— «Клянусь... Клянись и ты!»

— «Хорошо! Клянусь, ты будешь владеть конём; только за него ты должен отдать мне сестру Бэлу; Карагёз будет её калымом¹. Надеюсь, что торг для тебя будет выгоден».

— Азамат молчал.

— «Не хочешь? Ну, как хочешь! Я думал, что ты мужчина, а ты ещё ребёнок: рано тебе ездить верхом...»

— Азамат вспыхнул. «А мой отец?» сказал он.

— «Разве он никогда не уезжает?»

— «Правда...»

¹ Калым — выкуп, который у восточных народов платил жених за невесту. В СССР калым запрещён законом.

— «Согласен?..»

«Согласен», прошептал Азамат, бледный как сметана, — где же?»

— «В первый раз, как Казбич придет сюда, он освистает десять десятков баранов: остальное — моё дело. Смотрите, Азамат!»

— Вот они и сладили это дело... по правде сказать, нехорошее дело! Я после и говорил это Печорину, да только он мне отвечал, что дикая черкешенка должна быть счастлива, имея такого много мужа, как он, потому что по-ихнему он всё-таки её муж, и что Казбич — разбойник, которого надо бы наказывать. Сами подумайте, что же я мог отвечать против этого?.. Но в то время я ничего не знал об их заговоре. Вот раз приехал Казбич и спрашивает, не нужно ли баранов и мёда: я велел ему привести на другой день. «Азамат!» сказал Григорий Александрович: «зазвучит Карагёз в моих руках; если нынче ночью Бэла не будет здесь, то не видать тебе коня...»

— «Хорошо!» сказал Азамат и поскакал в аул. Вечером Григорий Александрович вооружился и выехал из крепости: как они сладили это дело, не знаю, только ночью они оба возвратились, и часовой видел, что поперёк седла Азамата лежала женщина, у которой руки и ноги были связаны, а голова окутана чадром.

«А лошадь?» спросил я у штабс-капитана.

— Сейчас, сейчас. На другой день утром рано приехал Казбич и пригнал десяток баранов на продажу. Привязав лошадь у забора, он вошёл ко мне; я попотчевал его чаем, потому что хотя разбойник он, а всё-таки был моим кунаком.

— Стали мы болтать о том, о сём... Вдруг смотрю, Казбич вздрогнул, переменился в лице — и к окну; но окно, к несчастью, выходило на задворье. — «Что с тобой?» спросил я.

— «Моя лошадь!.. лошадь!» — сказал он, весь дрожа.

— Точно, я услышал топот копыт: «это верно какой-нибудь казак приехал...»

— «Нет! Урус яман, яман!» — заревел он и опрометью бросился вон, как дикий барс. В два прыжка он был уже на дворе: у ворот крепости часовой загородил ему путь ружьём; он перескочил через ружьё и кинулся бежать по дороге... Вдали была пыль — Азамат скакал на лихом Карагёзе; на бегу Казбич выхватил из чехла ружьё и выстрелил. С минуту он остался недвижим, пока не убедился, что дал промах; потом завизжал, ударил ружьё о камень, разбил его вдребезги, повалился на землю и зарыдал, как ребёнок... Вот кругом него собрался народ из крепости — он никого не замечал; постояли, потолковали и пошли назад; я велел возле него положить деньги за баранов — он их не тронул, лежал себе ничком, как мёртвый. Поверите ли, он так пролежал до поздней ночи и целую ночь... Только на следующее утро пришёл в крепость и стал просить, чтоб ему назвали похитителя. Часовой, который видел, как Азамат отвязал коня

и усекал на нём, не почёл за нужное скрывать. При этом имени глаза Казбича засверкали, и он отправился в аул, где жил отец Азамата.

«Что ж отец?»

— Да в том-то и штука, что его Казбич не нашёл: он куда-то уезжал дней на шесть, а то удалось ли бы Азамату увести отца?

— А когда отец возвратился, то ни дочери, ни сына не было. Такой хитрец: ведь смекнул, что не сносить ему головы, если б он попался. Так с тех пор и пропал: верно, пристал к какой-нибудь шайке абреков, да и сложил буйную голову за Тегисом или за Кубанью: туда и дорога!..

— Признаюсь, и на мою долю порядочно досталось. Я только проведал, что черкешенка у Григорья Александровича, надев эполеты, шпагу и пошёл к нему.

— Он лежал в первой комнате на постели, подложив одну руку под затылок, а в другой держа погасшую трубку; дверь во вторую комнату была заперта на замок, и ключа в замке не было. Я всё это тотчас заметил... Я начал кашлять и постукивать сапожками о порог, — только он притворялся, будто не слышит.

«Господни прапорщик!» сказал я как можно строже. Раз вы не видите, что я к вам пришёл?»

— «Ах, здравствуйте, Максим Максимыч! Не хотите ли трубку?» — отвечал он, не приподнимаясь.

— «Извините! Я не Максим Максимыч: я штабс-капитан».

— «Всё равно. Не хотите ли чаю? Если б вы знали, как мучит меня забота!»

— «Я всё знаю», отвечал я, подошед к кровати.

— «Тем лучше: я не в духе рассказывать».

— «Господни прапорщик, вы сделали проступок, за который и я могу отвечать...»

— «И полноте! что за беда? Ведь у нас давно всё поумнело».

— «Что за шутки? Пожалуйте вашу шпагу!»

— «Митька, шпагу!..»

— Митька принёс шпагу. Исполнив долг свой, сел я к нему на кровать и сказал: «Послушай, Григорий Александрович, признайся, что нехорошо».

— «Что нехорошо?»

— «Да то, что ты увёз Бэлу... Уж эта мне бестия Азамат! Ну, признайся», сказал я ему.

— «Да когда она мне правится?..»

— Ну что прикажете отвечать на это?.. Я стал в туник. Однако же после некоторого молчания я ему сказал, что если отец станет её требовать, то надо будет одать.

— «Вовсе не надо!»

— «Да он узнает, что она здесь?»

— «А как он узнаёт?»

— Я опять стал в туник. «Послушайте, Максим Максимыч», сказал Печорин, приподнявшись: «ведь вы добрый человек,—

...и отдал им то, что было у него. Он же зарежет и
да и сказано, не надо только охотою портить: оставь
ня, а у себя мою шпату...»

«Да покажите мне её», сказал я.

«Она за этой дверью; только я сам нынче напрасно...»
её видеть: сидит в углу, закутавшись в покрывало, не говорит и
не смотрит: пуглива, как дикая серна. Я нанял нашу духанщи-
цу¹, она знает по-татарски, будет ходить за нею и приучит её к
мысли, что она моя, потому что она никому не будет принад-
лежать, кроме меня», прибавил он, ударив кулаком по столу. Я
в этом согласился... Что прикажете делать? Есть люди, с кото-
рыми непременно должно соглашаться.

«А что?» спросил я у Максима Максимыча: «в самом ли деле
он приучил её к себе, или она зачахла в неволе, с тоски по ро-
дине?»

— Помилуйте, отчего же с тоски по родине? Из крепости вы-
плы были те же горы, что из аула, — а этим дикарям больше ни-
чего не надобно. Да притом Григорий Александрович каждый
день дарил ей что-нибудь: в первые дни она молча, гордо отта-
кивала подарки, которые тогда доставались духанщице и воз-
буждали её красноречие. Ах, подарки! чего не сделает женщина
за цветную тряпичку!.. Ну, да это в сторону... Долго бился с нею
Григорий Александрович; между тем учился по-татарски, и она
начала понимать по-нашему. Мало-помалу она приучалась на-
него смотреть, сначала исподлобья, искоса, и всё грустила, на-
певая свои песни вполголоса, так что, бывало, и мне становилось
грустно, когда слушал её из соседней комнаты. Никогда не за-
буду одной сцены: шёл я мимо и заглянул в окно; Бэла сидела
на лежанке, повесив голову на грудь, а Григорий Александрович
стоял перед нею. «Послушай, моя пери²», говорил он: «ведь ты
знаешь, что рано или поздно ты должна быть моею — отчего же
только мучишь меня? разве ты любишь какого-нибудь чеченца?
Если так, я тебя сейчас отпущу домой». — Она вздрогнула едва
приметно и покачала головой. — «Или», продолжал он: «я те-
бе совершенно ненавистен?» — Она вздохнула. — «Или твоя ве-
ра запрещает полюбить меня?» — Она побледнела и молчала. —
«Поверь мне, аллах для всех племён один и тот же, и если он
мне позволяет любить тебя, отчего же запрещает тебе любить
мне взаимностью?» — Она посмотрела ему пристально в лицо
как будто поражённая этой новой мыслью; в глазах её вырази-
лись недоверчивость и желание убедиться. Что за глаза! они так
и сверкали, будто два угля.

— «Послушай, милая, добрая Бэла!» продолжал Печорин
«ты видишь, как я тебя люблю; я всё готов отдать, чтобы тебя
развеселить; я хочу, чтобы ты была счастлива; а если ты спо-
...

¹ Духанщица — содержательница харчевни; духан — харчевня, постоялый
дом в Закавказье.

² Пери — по религиозным понятиям древних народов, духи (или ангелы)

будешь грустить, то я умру. Скажи, ты будешь веселее?» — Она призадумалась, не спуская с него чёрных глаз своих, потом улыбнулась ласково и кивнула головой в знак согласия. Он взял её руку и стал её уговаривать, чтоб она его поцеловала; она слабо защищалась и только повторяла: «поджалуста, поджалуста, не нада, не нада». Он стал настаивать, она задрожала, заплакала. — Я твоя пленница, — говорила она. — твоя раба; конечно, ты можешь меня принудить, — и опять слёзы.

— Григорий Александрович ударил себя в лоб кулаком и выскочил в другую комнату. Я зашёл к нему: он сложил руки прохаживался утрюмый взад и вперёд. «Что, батюшка?» — сказал я ему. — Дьявол, а не женщина! — отвечал он: — только я дам моё честное слово, что она будет моя... — Я покачал головою. — «Хотите пари?» сказал он: — через неделю!» — Извольте! — Мы ударили по рукам и разошлись.

— На другой день он тотчас же отправил нарочного в Кисляр за разными покупками; привезено было множество разных персидских материй, всех не перечестъ.

— «Как вы думаете, Максим Максимыч!» сказал он мне, показывая подарки: «устойт ли азиатская красавица против такой батареи?» — Вы черкешенок не знаете, — отвечал я: — это совсем не то, что грузинки или закавказские татарки, — совсем не то. У них свои правила, они иначе воспитаны. — Григорий Александрович улыбнулся и стал насвистывать марш.

[illegible]

Штабс-капитан замолчал.

Штабс-капитан замолчал.
— Да, признаюсь, — сказал он потом, тербя усы: — мне стало досадно, что никогда ни одна женщина меня так не любила.

«Продолжительно ли было их счастье?» спросил я.
Да, она нам призналась, что с того дня, как А. и С. Н. порина, он часто ей грезился во сне и что ни один мужик никогда не производил на неё такого впечатления. Да, они были счастливы!

«Как это скучно!» воскликнул я невольно. В самом деле, я ожидал трагической развязки, и вдруг так неожиданно обманула моя надежда!.. «Да неужели», продолжал я, «отец не догадывается, что она у вас в крепости?»

— То есть, кажется, он подозревал. Спусти несколько дней, узнали мы, что старик убит. Вот как это случилось...

Внимание моё пробудилось снова.

— Надо вам сказать, что Казбич вообразил, будто Азамат согласия отца украл у него лошадь, по крайней мере я так полагаю. Вот он раз и дожидается у дороги, верёвки три за аутым старик возвращался из напрасных поисков за дочерью; уздени отстали, — это было в сумерки, — он ехал задумчиво шагом, и вдруг Казбич, будто кошка, нырнул из-за куста, прыг сзади на лошадь, ударом книжала свалил его наземь, схватил поводья — и был таков; некоторые уздени всё это видели с пригорка, они бросились догонять, только не догнали.

«Он вознаградил себя за потерю коня и отомстил», — сказал я, чтоб вызвать мнение моего собеседника.

— Конечно, по-ихнему, — сказал штабс-капитан, — он был совершенно прав.

Меня невольно поразила способность русского человека привыкаться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить; не знаю, достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его гибкость и присутствие этого ясного здравого смысла, который прощает зло везде, где видит его необходимость или невозможность его уничтожения.

Между тем чай был выпит; давно запряжённые кони продрогли на снегу; месяц бледнел на западе и готов уж был погрузиться в чёрные свои тучи, висящие на дальних вершинах, как кисти разодранного занавеса. Мы вышли из сакли. Вопреки предсказанию моего спутника, погода прояснилась и обещала нам тихое утро; хороводы звёзд чудными узорами сплетались на лёгком небосклоне и одна за другою гасли по мере того, как бледноватый отблеск востока разливался по тёмно-лиловому своду, озаряя постепенно крутые отлогости гор, покрытые девственными снегами. Направо и налево чернели мрачные, таинственные пропасти, и туманы, клубясь и извиваясь, как змеи, сползали туда по морщинам соседних скал, будто чувствуя и пугаясь приближения дня.

¹ Узбеки — высший класс у черкесских племён, соответствовавший русскому дворянству.

Тихо было всё на небе и на земле, как в сердце человека в минуту утренней молитвы; только изредка набегал прохладный ветер с востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеем. Мы тронулись в путь; с трудом пять худых кляч тащили наши повозки по извилистой дороге на Гуд-Гору; мы шли пешком сзади, подкладывая камни под колёса, когда лошади выбивались из сил; казалось, дорога вела на небо, потому что, сколько глаз мог разглядеть, она всё поднималась и, наконец, пропадала в облаке, которое ещё с вечера отдыхало на вершине Гуд-Горы, как коршун, ожидающий добычу; снег хрустел под ногами нашими; воздух становился так редок, что было больно дышать; кровь поминутно прилиwała в голову, но со всем тем какой-то отрадное чувство распространилось по всем моим жилам, и мне было как-то весело, что я так высоко над миром: чувство детское, не спорю, но, удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми: всё приобретённое отпадает от души, и она делается вновь такою, какой была некогда и верно будет когда-нибудь опять. Тот, кому случалось, как мне, бродить по горам пустынным и долго-долго вглядываться в их причудливые образы и жадно глотать животворящий воздух, разлитой в их ущельях, гот, конечно, поймёт моё желание передать, рассказать, нарисовать эти волшебные картины. Вот, наконец, мы взобрались на Гуд-Гору, остановились и оглянулись: на ней висело серое облако, и его холодное дыхание грозило близкой бурей; но на востоке всё было так ясно и золотисто, что мы, то есть я и штабс-капитан, совершенно о нём забыли... Да, и штабс-капитан: в сердцах простых чувство красоты и величия природы сильнее, живее во сто крат, чем в нас, восторженных рассказчиках на словах и на бумаге.

«Вы, я думаю, привыкли к этим великолепным картинам?» сказал я ему.

— Да-с, и к свисту пули можно привыкнуть, то есть привыкнуть скрывать невольное биение сердца.

«Я слышал, напротив, что для иных старых воинов эта музыка даже приятна».

— Разумеется, если хотите, оно и приятно: только всё же потому, что сердце бьётся сильнее. Посмотрите, — прибавил он, указывая на восток, — что за край!

И точно, такую панораму вряд ли где ещё удастся мне видеть: под нами лежала Койшаурская Долина, пересекаемая Арагвой и другой речкой, как двумя серебряными нитями; голубоватый туман скользил по ней, убегая в соседние теснины от тёплых лучей утра; направо и налево гребни гор, один выше другого, пересекались, тянулись, покрытые снегами, кустарником; вдали те же горы, но хоть бы две скалы похожие одна на другую, — и все эти снега горели румяным блеском, так весело, так ярко, что, кажется, тут бы и остаться жить навеки; солнце чуть показалось из-за тёмно-синей горы, которую только привычные

...раздвинуть от грозовой тучи, но над солнцем была
...туча, на которую мой товарищ обратил особенное
...«М говорил вам», воскликнул он, «что нынче будет по-
...наде торопиться, а то, пожалуй, она застанет нас на Кре-
...Грозой! Грозайтесь!» закричал он ямщикам.

Подложили цепи под колёса вместо тормозов, чтоб они не рас-
хатызались, взяли лошадей под уздцы и начали спускаться; на-
...был утёс, налево пропасть такая, что целая деревушка
осетин, живущих на дне её, казалась гнездом ласточки; я
...тотнулся, подумав, что часто здесь, в глухую ночь, по этой до-
роге, где две повозки не могут разъехаться, какой-нибудь курь-
ёр раз десять в год проезжает, не вылезая из своего тряпко-
экипажа. Один из наших извозчиков был русский, ярославский
мужик, другой осетин; осетин вёл коренную под уздцы со всеми
возможными предосторожностями, отпрягши заранее уносных,
а наш беспечный русак даже не слез с облучка! Когда я ему за-
метил, что он мог бы побеспокоиться в пользу хотя моего чело-
века, за которым я вовсе не желал лазить в эту бездну, он отве-
чал мне: «И, барин! Бог даст, не хуже их доедем; ведь нам не
впервые». — и он был прав: мы точно могли бы не доехать, од-
нако ж всё-таки доехали, и если б все люди побольше рассуж-
дали, то убедились бы, что жизнь не стоит того, чтоб об ней так
много заботиться...

Но, может быть, вы хотите знать окончание истории Бэлы? —
Во-первых, я пишу не повесть, а путевые записки; Следова-
тельно, не могу заставить штабс-капитана рассказывать прежде, не-
жели он начал рассказывать в самом деле. Итак, погодите, или,
если хотите, переверните несколько страниц, только я вам этого
не советую, потому что переезд через Крестовую гору (или как
называет её учёный Гамба, le Mont St.-Christophe) достоин ва-
шего любопытства. Итак, мы спускались с Гуд-Горы в Чертову
долину... Вот романтическое название! Вы уже видите гнездо
злого духа между неприступными утёсами, — не тут-то было: на-
звание Чертовой долины происходит от слова «черта», а не
«чёрт», ибо здесь когда-то была граница Грузии. Эта долина бы-
ла завалена снеговыми сугробами, напоминавшими довольно
живо Саратов, Тамбов и прочие милые места нашего отечества.

«Вот и Крестовая!» сказал мне штабс-капитан, когда мы
съехали в Чертову долину, указывая на холм, покрытый пеленою
снега: на его вершине чернелся каменный крест, и мимо его бе-
ла едва-едва заметная дорога, по которой проезжают только то-
гда, когда боковая завалена снегом; наши извозчики объявили,
что обвалов ещё не было и, сберегая лошадей, повезли нас кру-
гом. При повороте встретили мы человек пять осетин; они при-
ложили нам свои услуги и, уцепясь за колёса, с криком при-
тащили и поддерживали наши тележки. И точно, дорога
опасная; направо висели над нашими головами груды снега, го-
товые, кажется, при первом порыве ветра оборваться в ущелье.

укая дорога частью была покрыта снегом, который в иных местах проваливался под ногами, в других превращался в лёд от действия солнечных лучей и ночных морозов, так что с трудом мы сами пробирались; лошади падали; — налево зияла глубокая расселина, где катился поток, то скрываясь под ледяной корою, то с пеною прыгая по чёрным камням. — В два часа едва могли мы обогнуть Крестовую гору, — две версты в два часа! Между тем тучи спустились, повалил град, снег; ветер, врываясь в ущелье, ревел, свистал как Соловей Разбойник, и скоро каменный крест скрылся в тумане, которого волны, одна другой гуще и теснее, набегали с востока... Кстати, об этом кресте существует странное, но всеобщее предание, будто его поставил император Пётр I, проезжая через Кавказ; но, во-первых, Пётр был только в Дагестане, и, во-вторых, на кресте было написано крупными буквами, что он поставлен по приказанию г. Ермолова, а именно в 1824 году. Но предание, несмотря на надпись, так укоренилось, что, право, не знаешь, чему верить, тем более что мы не привыкли верить надписям.

Нам должно было спускаться ещё вёрст пять по обледеневшим скалам и топкому снегу, чтоб достигнуть станции Коби. Лошади измучились, мы продрогли; метель гудела сильнее и сильнее, точно наша родимая, северная; только её дикие напевы были печальнее, заунывнее. «И ты, изгнанница», думал я, «плачешь о своих широких, раздольных степях! Там есть где развернуть холодные крылья, а здесь тебе душно и тесно, как орлу, который с криком бьётся о решётку железной своей клетки».

— Плохо! — говорил штабс-капитан: — посмотрите, кругом ничего не видно, только туман да снег; того и гляди, что свалимся в пропасть или засядем в трущобу, а там пониже, чай, Байдара так разыгралась, что и не переедешь. Уж эта мне Азия! что люди, что речки — никак нельзя положиться! — Извозчики с криком и бранью колотили лошадей, которые фыркали, упирались и не хотели ни за что в свете тронуться с места, несмотря на красноречие кнутов. «Ваше благородие», сказал наконец один: «ведь мы нынче до Коби не доедем; не прикажете ли, покамест можно, своротить налево? Вон там что-то на косогоре чернеется, — верно, сакли: там всегда-с проезжающие останавливаются в году; они говорят, что проведут, если дадите на водку», прибавил он, указывая на осетина.

— Знаю, братец, знаю без тебя, — сказал штабс-капитан: — уж эти бестии! рады придраться, чтоб сорвать на водку. «Признайтесь, однако», сказал я, «что без них нам было бы хуже».

— Всё так, всё так, — пробормотал он: — уж эти мне проводники! чутьём слышат, где можно пользоваться, будто без них и нельзя найти дороги.

Вот мы свернули налево, и кое-как, после многих хлопот добрались до скудного приюта, состоявшего из двух саклей, сло-

женых из плит и булыжника и обведённых такою же стеною. Овердлинные хозяева приняли нас радушно. Я после узнал, что правительство им платит и кормит их с условием, чтобы они принимали путешественников, застигнутых бурей. — «Всё к лучшему!» сказал я, присев у огня, «теперь вы мне доскажете вашу историю про Бэлу; я уверен, что этим не кончилось».

— А почему ж вы так уверены? — отвечал мне штабс-капитан, примигивая с хитрой улыбкою.

«Оттого, что это не в порядке вещей: что началось и должно закончиться».

— Ведь вы угадали...

«Очень рад».

— Хорошо вам радоваться, а мне так правду грустно, как вспомню. Славная была девочка, эта Бэла! Я к ней, наконец, так привык, как к дочери, и она меня любила. Надо вам сказать, что у меня нет семейства: об отце и матери я лет 12 уж не имею известия, а завестись женой не догадался раньше, — так теперь уж, знаете, и не к лицу; я и рад был, что нашёл кого баловать. Она, бывало, нам поёт песни иль пляшет лезгинку... А уж как плясала! Видал я наших губернских барышень, а раз был-с я в Москве в благородном собрании, лет 20 тому назад, — только куда им! совсем не то!.. Григорий Александрович наряжал её как куколку, холил и лелеял, и она у нас так похорошела, что чудо; с лица и с рук сошёл загар, румянец разыгрался на щеках... Уж какая, бывало, весёлая, и всё надо мной, проказница, подшучивала... Бог ей прости!..

«А что, когда вы ей объявили о смерти отца?»

— Мы долго от неё это скрывали, пока она не привыкла к своему положению; а когда сказали, так она дня два поплакала, а потом забыла.

— Месяца четыре всё шло как нельзя лучше... Григорий Александрович, я уж, кажется, говорил, страстно любил охоту; бывало, так его в лес и подмывает за кабанами или козами, — а тут хоть бы вышел за крепостной вал. Вот, однако ж, смотрю, он стал снова задумываться, ходит по комнате, загнув руки назад; потом раз, не сказав никому, отправился стрелять, — целое утро пропадал; раз и другой, всё чаще и чаще... Нехорошо, подумал я: верно между ними чёрная кошка проскочила!

— Одно утро захожу к ним, — как теперь перед глазами: Бэла сидела на кровати в чёрном шёлковом бешмете, бледненькая, такая печальная, что я испугался.

— А где Печорин? — спросил я.

«На охоте».

— Сегодня ушёл? — Она молчала, как будто ей трудно было выговорить.

«Нет, ещё вчера», наконец сказала она, тяжело вздохнув.

— Уж не случилось ли с ним чего?

«Я вчера целый день думала, думала», отвечала она сквозь

«... — Лили! — думал я: и о тебе, душечка, не забуду! —
нищая кровь!»

— «Подойти-ка сюда», сказал я часовому: «осмот-
ри людей мне этого молодца. — получишь рубль за работу». —
«Послушай, ваше высокоблагородие: только он не стоит на
«Принимай!» сказал я смеясь. — «Эй, любезный!» —
сказал, махая ему рукой: «подожди маленько, что ты и тут
как волчок?» — Казбич остановился в самом деле и стал
швыряться: верно думал, что с ним заведут переговоры. —
«Так! Мой гренадер приложился... бац!... чирок! — только по-
рох на полке вспыхнул, Казбич толкнул помеху, и она да-
нон в сторону. Он пригнулся на стременах, крикнул что-то
ему, погрозил нагайкой — и был таков.

— «Как тебе не стыдно!» сказал я часовому.

«Ваше высокоблагородие! умирать отправился», отвечал
«такой проклятый народ, сразу не убьёшь».

— Четверть часа спустя Печорин вернулся с охоты: Бэла
бросилась ему на шею, и ни одной жалобы, ни одного упрека
долгого отсутствия... Даже я уж на него рассердился. «Почему
те», говорил я: «ведь вот сейчас тут был за речкою Казбич, и
по нём стреляли: ну, долго ли вам на него наткнуться? Эти
ны народ истительный: вы думаете, что он не догадывается, что
вы частично помогли Азамату? А я бьюсь об заклад, что ныче
знал Бэлу. Я знаю, что год тому назад, она ему больно нрав-
лась — он мне сам говорил, — и если б надеялся собрать пор-
очный казем, то верно бы посватался...» Тут Печорин задумал-
ся: — «Да», отвечал он, «надо быть осторожнее... Бэла, с
нешнего дня ты не должна более ходить на крепостной вал».

— Вечером я имел с ним длинное объяснение: мне было
сдавно, что он переменялся к этой бедной девочке; кроме того, что
он половину дня проводил на охоте, его обращение стало хо-
но, ласкал он её редко, и она заметно начинала сохнуть, лица
её вытянулось, большие глаза потускнели. Бывало, спросишь
о чём ты вздохнула, Бэла? ты печальна? «Нет!» Тебе чего
будь хочется? «Нет!» Ты тоскуешь по родным? «У меня нет
них». Стучалось, по целым дням, кроме «да» да «нет», о
ничего больше не добьёшься.

— Вот об этом-то я и стал ему говорить: «Послушайте, Ма-
ксим Максимич», отвечал он, «у меня несчастный характер: вос-
питание ли меня сделало таким, бог ли так меня создал, не знаю,
знаю только то, что если я причиною несчастья других, то и сам
не менее несчастлив. Разумеется, это им плохое утешение —
только дело в том, что это так. В первой моей молодости, с той
минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться
бессовно всеми удовольствиями, которые можно достать за день-
ги, и, разумеется, удовольствия эти мне опротивели. Потом пус-
тился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело;
встречаясь в светских красавиц, и был любим, — но их любовь

то-
тал
я в
пот
ча,
ло
лив
чеч
жу
вни
что
в с
вал
сла
бов
ств
дру
ско
мн
что
же
кой
ко
те
Ка
ба
ни
сле
ны
ня
25-
жи
ко
то
ест
ра
сп
ко
это
ко
от
ут
Вп

только раздражала моё воображение и самолюбие, а сердце стало пусто... Я стал читать, учиться — науки также надоели, я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди — невежды, а слава — удача, и чтоб добиться её, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно... Вскоре перевели меня на Кавказ: это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живёт под чеченскими пулями — напрасно: через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал больше внимания на комаров — и мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял почти последнюю надежду. Когда я увидел Бэду в своём доме, когда в первый раз, держа её на коленях, целовал её чёрные локоны, я, глупец, подумал, что она ангел, посланный мне сострадательной судьбою... Я опять ошибся: любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой. Если вы хотите, я её ещё люблю, я ей благодарен за несколько минут довольно сладких, я за неё отдам жизнь, только мне с нею скучно... Глупец я или злодей, не знаю; но то верно, что я так же очень достоин сожаления, может быть больше, нежели она: во мне душа испорчена светом, воображение беспорочное, сердце ненасытное; мне всё мало; к печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день от дня; мне осталось одно средство: путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь, — только не в Европу, избави боже! — поеду в Америку, в Аравию, в Индию, — авось где-нибудь умру на дороге! По крайней мере, я уверен, что это последнее утешение не скоро истощится, с помощью бурь и дурных дорог». — Так он говорил долго, и его слова врезались у меня в памяти, потому что в первый раз я слышал такие вещи от 25-летнего человека, и, бог даст, в последний... Что за диво! Скажите-ка, пожалуйста, — продолжал штабс-капитан, обращаясь ко мне, — вы вот, кажется, бывали в столице, и недавно: неужто тамошняя молодёжь вся такова?

Я отвечал, что много есть людей, говорящих то же самое; что есть, вероятно, и такие, которые говорят правду; что, впрочем, разочарование, как все моды, начав с высших слоёв общества, спустилось к низшим, которые его донашивают, и что нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастье, как порок. — Штабс-капитан не понял этих тонкостей, покачал головою и улыбнулся лукаво:

— А все, чай, французы ввели моду скучать?

— Нет, англичане.

— Ага, вот что!.. — отвечал он, — да ведь они всегда были отъявленные пьяницы!..

Я невольно вспомнил об одной московской барыне, которая утверждала, что Байрон был больше ничего, как пьяница. — Впрочем, замечание штабс-капитана было извинительнее: чтоб

...держиваться от них, он, конечно, старается уберечь
все в мире несчастья происходят от пьянства.

Между тем он продолжал свой рассказ таким образом:
— Казбич не являлся снова. Только не знаю почему, не
выбить из головы мысль, что он недаром приезжал и
что-нибудь худое.

— Вот раз уговаривает меня Печорин ехать с ним
на; я долго отнекивался: ну, что мне был за дикорос? —
Однако ж утащил-таки он меня с собою. — Мы с
пять солдат и уехали рано утром. До десяти часов
камышам и по лесу, — нет зверя. «Эй, не воротать
рил я: «к чему упрямитесь?» Уж, видно, такой
ный день! Только Григорий Александрович, несмотря
усталость, не хотел воротиться без добычи... Такой
ловок: что задумает, подавай: видно, в детстве был
избалован... Наконец в полдень отыскали проклятого
паф! паф!.. не тут-то было: ушёл в камыши... такой уж
счастный день!.. Вот мы, отдохнув маленько, отправились

— Мы ехали рядом, молча, распустив поводья, и были
почти у самой крепости; только кустарник закрывал её от нас —
Вдруг выстрел... Мы взглянули друг на друга: нас поразило оди-
наковое подозрение... Опрометью поскакали мы на выстрел, —
смотрим: на валу солдаты собрались в кучку и указывают в поле,
а там лежит стремглав всадник и держит что-то белое на седле. —
Григорий Александрович взвизгнул не хуже любого чеченца,
ружьё из чехла — и туда; я за ним.

— К счастью, по причине неудачной охоты, наши кони не бы-
ли измучены: они рвались из-под седла, и с каждым мгновением
мы были всё ближе и ближе... И наконец я узнал Казбича, толь-
ко не мог разобрать, что такое он держал перед собою. Я тогда
поравнялся с Печориным и кричу ему: «это Казбич...» Он по-
смотрел на меня, кивнул головою и ударил коня плетью.

— Вот, наконец, мы были уж от него на ружейный выстрел;
измучена ли была у Казбича лошадь, или хуже наших, только,
несмотря на все его старания, она не больно подавалась вперёд.
Я думаю, в эту минуту он вспомнил своего Карагёза...

— Смотрю: Печорин на скаку приложился из ружья... «Не
стреляйте!» — кричу я ему: «берегите заряд; мы и так его до-
ним». — Уж эта молодёжь! вечно нехоти горячиться... Но
стрел раздался, и пуля перебила заднюю ногу лошади; она
ряча сделала ещё прыжков десять, споткнулась и упала на
лени. Казбич соскочил, и тогда мы увидели, что он держал на
руках своих женщину, окутанную чадрою... Это была Бэла... бед-
ная Бэла! — Он что-то пам закричал по-своему и занёс над нею
кинжал... Медлить было нечего: я выстрелил в свою очередь,
наудачу; верно, пуля попала ему в плечо, потому что вдруг он
опустил руку... Когда дым рассеялся, на земле лежала раненая
лошадь, а возле неё Бэла; а Казбич, бросив ружьё, по кустар-

никам, точно кошка, карабкался на угёс; хотелось мне его снять оттуда — да не было заряда готового! Мы соскочили с лошадей и кинулись к Бэле. Бедняжка, она лежала неподвижно, и кровь лилась из раны ручьями... Такой злодей: хоть бы в сердце ударил — ну, так уж и быть, одним разом всё бы кончил, а то в спину... самый разбойничий удар! — Она была без памяти. Мы изорвали чадру и перевязали рану как можно туже; напрасно Печорин целовал её холодные губы — ничто не могло привести её в себя.

— Печорин сел верхом; я поднял её с земли и кое-как посадил к нему на седло; он обхватил её рукой, и мы поехали назад. После нескольких минут молчания Григорий Александрович сказал мне: «Послушайте, Максим Максимыч, мы этак её не довезём живую». — Правда! — сказал я, и мы пустили лошадей во весь дух. — Нас у ворот крепости ожидала толпа народа; осторожно перенесли мы раненую к Печорину и послали за лекарем. Он был хотя пьян, но пришёл; осмотрел рану и объявил, что она больше дня жить не может, только он ошибся...

«Выздоровела?» спросил я у штабс-капитана, схватив его за руку и невольно обрадовавшись.

— Нет, — отвечал он: а ошибся лекарь тем, что она ещё два дня прожила.

«Да объясните мне, каким образом её похитил Казбич?»

— А вот как: несмотря на запрещение Печорина, она вышла из крепости к речке. Было, знаете, очень жарко: она села на камень и опустила ноги в воду. Вот Казбич подкрался, — цап-цап её, зажал рот и потащил в кусты, а там вскочил на коля, да и тягу! Она между тем успела закричать; часовые всполошились, выстрелили, да мимо, а мы тут и подоспели.

«Да зачем Казбич её хотел увезти?»

— Помилуйте! да эти черкесы известный воровской народ: что плохо лежит, не могут не стянуть: другое и ненужно, а всё украдёт... уж в этом прошу их извинить! Да притом она ему давно-таки нравилась.

«И Бэла умерла?»

— Умерла; только долго мучилась, и мы уж с нею измучились порядком. Около десяти часов вечера она пришла в себя; мы сидели у постели; только что она открыла глаза, начала звать Печорина. — Я здесь, подле тебя, моя джанечка (то есть, по-нашему, душенька), — отвечал он, взяв её за руку. — «Я умираю!» сказала она. — Мы начали её утешать, говорили, что лекарь обещал её вылечить непременно; она покачала головкой и отвернулась к стене: ей не хотелось умирать!..

— Ночью она начала бредить; голова её горела, по всему телу иногда пробегала дрожь лихорадки; она говорила несвязные речи об отце, брате; ей хотелось в горы, домой... Потом она также говорила о Печорине, давала ему разные нежные названия или упрекала его в том, что он разлюбил свою джанечку...

— Он слушал её молча, опустив голову на руки; но только я во всё время не заметил ни одной слезы на ресницах его: в самом ли деле он не мог плакать или владел собою — не знаю; что до меня, то я ничего жальче этого не выдывал.

— К утру бред прошёл, с час она лежала неподвижная, бледная, и в такой слабости, что едва можно было заметить, что она дышит; потом ей стало лучше, и она начала говорить, только как вы думаете, о чём? Этакая мысль придёт ведь только умирающему! Начала печалиться о том, что она не христианка, и что на том свете душа её никогда не встретится с душою Григорья Александровича, и что иная женщина будет в раю его подругой. Мне пришло на мысль окрестить её перед смертию; я ей это предложил; она посмотрела на меня в нерешительности и долго не могла слова вымолвить; наконец, отвечала, что она умрёт в той вере, в какой родилась. — Так прошёл целый день. Как она переменилась в этот день! Бледные щёки впали, глаза сделались большие, большие, губы горели. Она чувствовала внутренний жар, как будто в груди у неё лежало раскалённое железо.

— Настала другая ночь; мы не смыкали глаз, не отходили от её постели. Она ужасно мучилась, стонала, и только что боль начинала утихать, она старалась уверить Григорья Александровича, что ей лучше, уговаривала его идти спать, целовала его руку, не выпускала её из своих. — Перед утром стала она чувствовать тоску смерти, начала метаться, сбивала перевязку, и кровь потекла снова. — Когда перевязали рану, она на минуту успокоилась и начала просить Печорина, чтоб он её поцеловал. Он стал на колени возле кровати, приподнял её голову с подушки и прижал свои губы к её холодеющим губам; она крепко обвила его шею дрожащими руками, будто в этом поцелуе хотела передать ему свою душу... Нет, она хорошо сделала, что умерла! Ну, что бы с ней случилось, если б Григорий Александрович её покинул? А это бы случилось, рано или поздно...

— Половину следующего дня она была тиха, молчалива и послушна, как ни мучил её наш лекарь припарками и микстурой. «Помилуйте!» говорил я ему: «ведь вы сами сказали, что она умрёт непременно, так зачем тут все ваши препараты?» — Всё-таки лучше, Максим Максимыч, — отвечал он, — чтоб совесть была покойна. — Хороша совесть!

— После полудня она начала томиться жаждой. Мы отворили окна — но на дворе было жарче, чем в комнате; поставили леду около кровати — ничего не помогало. Я знал, что эта невыносимая жажда — признак приближения конца, и сказал это Печорину.

— «Воды, воды!..» говорила она хриплым голосом, приподнявшись с постели.

— Он сделался бледен как полотно, схватил стакан, налил и подал ей. Я закрыл глаза руками и стал читать молитву, не помню, какую... Да, батюшка, видал я много, как люди умирают

в гошн
не то!
тью ни
отец...
кое, что

—
через т
ко!.. Я
ной ва
слова,
бенног
Наконе
кой на
его, на
роз пр
гроб.

—
меня б
кесски
рович

—
стью, у
ла; кр
и бузи
всё-так
«А

—
никогд
будет
чили в
чались
вратил
чем, д

Тут
но узн
заглуц

Я
Чер
прояси
вёл ра

«А

—
вом фл
красно
и прев
да вря

4 Те

в госпиталях и на поле сражения, только это всё не то, совсем не то!.. Ещё, признаться, меня вот что печалит: она перед смертью ни разу не вспомнила обо мне; а, кажется, я её любил, как отец... Ну, да бог её простит!.. И вправду молвить: что ж я такое, чтоб обо мне вспоминать перед смертью?

— Только что она испила воды, как ей стало легче, а минуты через три она скончалась. Приложили зеркало к губам — гладко!.. Я вывел Печорина вон из комнаты, и мы пошли на крепостной вал; долго мы ходили взад и вперёд рядом, не говоря ни слова, загнув руки на спину; его лицо ничего не выражало особенного, и мне стало досадно: я бы на его месте умер с горя. — Наконец он сел на землю, в тени, и начал что-то чертить палочкой на песке. Я, знаете, больше для приличия, хотел утешить его, начал говорить; он поднял голову и засмеялся... У меня мороз пробежал по коже от этого смеха... Я пошёл заказывать гроб.

— Признаться, я частью для развлечения занялся этим. У меня был кусок термаламы¹, я обил ею гроб и украсил его черкесскими серебряными галунами, которых Григорий Александрович накупил для неё же.

— На другой день рано утром мы её похоронили, за крепостью, у реки, возле того места, где она в последний раз сидела; кругом её могилки теперь разрослись кусты белой акации и бузины. Я хотел было поставить крест, да, знаете, неловко: всё-таки она была не христианка...

«А что Печорин?» спросил я.

— Печорин был долго нездоров, исхудал, бедняжка; только никогда с этих пор мы не говорили о Бэле: я видел, что это ему будет неприятно, так зачем же? — Месяца три спустя его назначили в е...й полк, и он уехал в Грузию. Мы с тех пор не встречались... Да, помнится, кто-то недавно мне говорил, что он возвратился в Россию, но в приказах по корпусу не было. — Впрочем, до нашего брата вести поздно доходят.

Тут он пустился в длинную диссертацию о том, как неприятно узнавать новости годом позже — вероятно, для того, чтобы заглушить печальные воспоминания.

Я не перебивал его и не слушал.

Через час явилась возможность ехать; метель утихла, небо прояснилось, и мы отправились. Дорогой невольно я опять завёл разговор о Бэле и о Печорине.

«А не слыхали ли вы, что сделалось с Казбичем?» спросил я.

— С Казбичем? А, право, не знаю... Слышал я, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то Казбич, удалец, который в красном бешмете разъезжает шажком под нашими выстрелами и превежливо раскланивается, когда пуля прожужжит близко: да вряд ли это тот самый!..

¹ Термалама — пёстрая восточная шёлковая ткань.

В Коби мы расстались с Максимом Максимычем, и в
на почтовых, а он, по причине тяжёлой поклажи, не мог
следовать. Мы не надеялись никогда более встретиться, но
встретились и, если хотите, я расскажу: это целая история.
Знайте, однако ж, что Максим Максимыч человек до
уважения?.. Если вы сознаетесь в этом, то я вполне буду
награждён за свой, может быть, слишком длинный рассказ.

II

МАКСИМ МАКСИМЫЧ

Расставшись с Максим Максимычем, я живо проскакал
рекское и Дарьяльское ущелия, завтракал в Казбеке, чаи пил в
Ларсе, а к ужину поспешил во Владикавказ. Избавляю вас от
описания гор, от возгласов, которые ничего не выражают, от
тин, которые ничего не изображают, особенно для тех, кто
там не были, и от статистических замечаний, которых решитель-
но никто читать не станет.

Я остановился в гостинице, где останавливаются все проез-
жие и где между тем некому велеть зажарить фазана и сварить
шей, ибо три инвалида, которым она поручена, так глупы или
так пьяны, что от них никакого толку нельзя добиться.

Мне объявили, что я должен прожить тут ещё три дня, ибо
«оказия» из Екатеринограда ещё не пришла и, следовательно,
отправиться обратно не может. Что за оказия!.. Но дурной ка-
ламбур не утешение для русского человека, и я, для развлече-
ния, вздумал записывать рассказ Максима Максимыча о Бэле,
не воображая, что он будет первым звеном длинной цепи пове-
стей: видите, как иногда маловажный случай имеет жестокие
последствия!.. А вы, может быть, не знаете, что такое «оказия».
Это — прикрытие, состоящее из полроты пехоты и пушки, с ко-
торым ходят обозы через Кабарду из Владикавказа в Екатер-
иноград.

Первый день я провёл очень скучно; на другой рано утром
въезжает во двор повозка... А! Максим Максимыч!.. Мы встре-
тились, как старые приятели. Я предложил ему свою комнату.
Он не церемонился, даже ударил меня по плечу и скривил рот
на манер улыбки. Такой чудак!..

Максим Максимыч имел глубокие сведения в поваренном ис-
кусстве: он удивительно хорошо зажарил фазана, удачно подал
его огуречным рассолом, и я должен признаться, что без него
пришлось бы остаться на сухоядении. Бутылка кахетинского
помогла нам забыть о скромном числе блюд, которых было всего
одно, и, закулив трубки, мы уселись — я у окна, он у затоп-
ленной печи, потому что день был сырой и холодный. Мы мол-
чали. О чём было нам говорить?.. Он уже рассказал мне о себе
всё, что было занимательного, а мне было нечего рассказывать.
Я смотрел в окно. Множество низеньких домиков, разбросанных
по берегу Терека, который разбегается шире и шире, мелькали

за дерев, а дальше синелись зубчатою стеною горы и из-за них выглядывал Казбек в своей белой кардинальской шапке. Я с ними мысленно прощался: мне стало их жалко...

Так сидели мы долго. Солнце пряталось за холодные вершины, и беловатый туман начинал расходиться в долинах, когда из улицы раздался звон дорожного колокольчика и крик извозчиков. Несколько повозок с грязными армянами въехало на двор гостиницы и за ними пустая дорожная коляска; её лёгкий ход, удобное устройство и щегольской вид имели какой-то заграничный отпечаток. За нею шёл человек с большими усами, в венгерке, довольно хорошо одетый для лакея; в его званьи нельзя было ошибиться, видя ухарскую замашку, с которой он вытряхивал золу из трубки и покрикивал на ямщика. Он явно был балованный слуга ленивого барина, — нечто вроде русского Фигаро. — Скажи, любезный, — закричал я ему в окно, — что это — оказия пришла, что ли? — Он посмотрел довольно дерзко, поправил галстук и отвернулся; шедший возле него армянин, улыбаясь, отвечал за него, что точно пришла оказия и завтра утром отправится обратно. — «Слава богу!» сказал Максим Максимыч, подошедший к окну в это время. «Экая чудная коляска!» прибавил он: «верно какой-нибудь чиновник едет на следствие в Тифлис. Видно, не знает наших горок! Нет, шутишь, любезный: они не свой брат, растрясут хоть английскую! — А кто бы это таксе был — подойдёмте-ка узнать...» Мы вышли в коридор. В конце коридора была отворена дверь в боковую комнату. Лакей с извозчиком перетаскивали в неё чемоданы.

«Послушай, братец», спросил у него штабс-капитан: «чья эта чудесная коляска?.. а?.. Прекрасная коляска!..» Лакей, не оборачиваясь, бормотал что-то про себя, развязывая чемодан. Максим Максимыч рассердился; он тронул неучтивца по плечу и сказал: «я тебе говорю, любезный...»

— Чья коляска?.. Моего господина...

«А кто твой господин?»

— Печорин...

«Что ты? Что ты? Печорин?.. Ах, боже мой! да не служил ли он на Кавказе?..» воскликнул Максим Максимыч, дёрнув меня за рукав. У него в глазах сверкала радость.

— Служил, кажется — да я у них недавно.

«Ну так!.. так!.. Григорий Александрович?.. Так ведь его зовут?.. Мы с твоим барином были приятели», прибавил он, ударив дружески по плечу лакея, так что заставил его пошатнуться...

— Позвольте, сударь: вы мне мешаете, — сказал тот нахмурившись.

«Экой ты, братец!.. Да знаешь ли? мы с твоим барином были друзья закадычные, жили вместе.. Да где ж он сам остался?..»

Слуга объявил, что Печорин остался ужинать и почевать у полковника Н...

«Да не зайдёт ли он вечером сюда?» сказал Максим Макси-

«Или ты, любезный, не пойдёшь ли к нему, за...
Если пойдёшь, так скажи, что здесь Максим Максимыч...
скажи... уж он знает... Я тебе дам восьмигривенный на з...

Лакей сделал презрительную мину, слыша такое...
обещание, однако уверил Максима Максимыча, что он...
его поручение.

— Ведь сейчас прибежит!.. — сказал мне Максим Максимыч
с торжествующим видом: — пойду за ворота его дожидаться.
Эх, жалко, что я незнаком с Н...

Максим Максимыч сел за воротами на скамейку, а я ушёл
свою комнату. Признаюсь, я также с некоторым нетерпением
ждал появления этого Печорина; хотя, по рассказу штабс-ка
тана, я составил себе о нём не очень выгодное понятие. Однако
некоторые черты в его характере показались мне замечатель
ными. Через час инвалид принёс кипящий самовар и чайник. —
«Максим Максимыч, не хотите ли чаю?» закричал я ему в окно.

— Благодарствуйте; что-то не хочется.

«Эй, выпейте! Смотрите, ведь уж поздно, холодно».

— Ничего; благодарствуйте...

«Ну, как угодно!» Я стал пить чай один; минут через десять
входит мой старик: — А ведь вы правы: всё лучше выпить чай
ку, — да я всё ждал... Уж человек его давно к нему пошёл, да
видно что-нибудь задержало.

Он наскоро выхлебнул чашку, отказался от второй и ушёл
опять за ворота в каком-то беспокойстве: явно было, что стари
ка огорчало небрежение Печорина, и тем более, что он мне не
давно говорил о своей с ним дружбе, и ещё час тому назад был
уверен, что он прибежит, как только услышит его имя.

Уже было поздно и темно, когда я снова отворил окно и стал
звать Максима Максимыча, говоря, что пора спать; он что-то
пробормотал сквозь зубы; я повторил приглашение, — он ниче
го не отвечал.

Я лёг на диван, завернувшись в шинель и оставив свечу на
лежанке, скоро задремал и проспал бы покойно, если б, уже
очень поздно, Максим Максимыч, войдя в комнату, не разбудил
меня. Он бросил трубку на стол, стал ходить по комнате, шевел
ять в печи, наконец лёг, но долго кашлял, плевал, ворочался.

— Не клопы ли вас кусают? — спросил я.

«Да, клопы...» отвечал он, тяжело вздохнув.

На другой день утром я проснулся рано; но Максим Макси
мыч предупредил меня. Я нашёл его у ворот сидящего на ска
мейке. «Мне надо сходить к коменданту» сказал он, «так, пожа
луйста, если Печорин придёт, пришлите за мной...»

Я обещался. Он побежал, как будто члены его получили вновь
юношескую силу и гибкость.

Утро было свежее, но прекрасное. Золотые облака громозди
лись на горах, как новый ряд воздушных гор; перед воротами
расстилалась широкая площадь; за нею базар кипел народом,

потому
плечам
прогна
доброг
Не
тот, ко
доведя
пость.
Нав
час ста
несколь
курив
рону во
Он б
плечи д
труднос
ное ни р
ный бар
пуговиц
личавше
чатки к
тической
худобой
нива, но
знак нек
венные
овсе не
стился н
го в спи
изобрази
бальзак
утомител
ему боле
улыбке б
нежность
писно об
только по
щин, пере
раздо яв
Несмотря
ние, — пр
ный хвост
что у него
лизны и к
слов,
Бальза
О. Бальзака

потому что было воскресенье; босые мальчишки-осетины, неся за плечами котомки с сотовым мёдом, вертелись вокруг меня; я их прогнал: мне было не до них, я начинал разделять беспокойство доброго штабс-капитана.

Не прошло десяти минут, как на конце площади показался тот, которого мы ожидали. Он шёл с полковником Н..., который, доведя его до гостиницы, простился с ним и поворотил в крепость. Я тотчас же послал инвалида за Максимом Максимычем.

Навстречу Печорина вышел его лакей и доложил, что сейчас станут закладывать; подал ему ящик с сигарами и, получив несколько приказаний, отправился хлопотать. Его господин, закулив сигару, зевнул раза два и сел на скамью по другую сторону ворот. Теперь я должен нарисовать вам его портрет.

Он был среднего роста; стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов, не побеждённое ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными; пыльный бархатный сюртучок его, застёгнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно чистое бельё, изобличавшее привычки порядочного человека; его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке, и когда он снял одну перчатку, то я был удивлён худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками, — верный признак некоторой скрытности характера. Впрочем, это мои собственные замечания, основанные на моих же наблюдениях, и я вовсе не хочу вас заставить веровать в них слепо. Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся, как будто у него в спине не было ни одной косточки; положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость; он сидел, как сидит Бальзакова 30-летняя кокетка¹ на своих пуховых креслах после утомительного бала. С первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более 23 лет, хотя после я готов был дать ему 30. В его улыбке было что-то детское. Его кожа имела какую-то женскую нежность; белокурые волосы, выющиеся от природы, так живописно обрисовывали его бледный, благородный лоб, на котором, только по долгом наблюдении, можно было заметить следы морщин, пересекавших одна другую и, вероятно, обозначавшихся гораздо явственнее в минуты гнева или душевного беспокойства. Несмотря на светлый цвет волос, усы его и брови были чёрные, — признак породы в человеке, так, как чёрная грива и чёрный хвост у белой лошади. Чтоб докончить портрет, я скажу, что у него был немного вздёрнутый нос, зубы ослепительной белизны и карие глаза; о глазах я должен сказать ещё несколько слов.

¹ Бальзакова 30-летняя кокетка — выражение, связанное с романом О. Бальзака «Женщина 30 лет».

Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! — Вам не кажется, что такая странность у некоторых людей?.. Это может быть оттого, что у них нет права, или глубокой постоянной грусти. Из-за этой грусти их ресницы они сняли каким-то фосфорическим блеском, они можно так выразиться. То не было отражение действительности или играющего воображения; то был блеск, как на поверхности гладкой стали, ослепительный, но холодный; в нем не было ни радости, ни печали, ни прощательный и тяжёлый — он производил себе неприятное впечатление нескромного восторга. Он казался дерзким, если бы не был столь равнодушным. Все эти замечания пришли мне на ум, может быть, только потому, что я знал некоторые подробности его жизни, и, может быть, из другого вид его производил бы совершенно разное впечатление; но так как вы о нём не услышите ни от кого, кроме меня, то поневоле должны довольствоваться этим изображением. Скажу в заключение, что он был вообще недурён и имел одну из тех оригинальных физиономий, которые особенно нравятся женщинам светским.

Лошадки были уже заложены: колокольчик по временам звенел над другою, и лакей уже два раза подходил к Печорину с докладом, что всё готово, а Максим Максимыч ещё не являлся. Печорин был погружён в задумчивость, глядя на скалы Кавказа, и, кажется, вовсе не торопился в дорогу. Я подошёл к нему: «Если вы захотите ещё немного подождать», сказал я, «то будете иметь удовольствие увидеться с старым приятелем...»

— Ах, точно! — быстро отвечал он: — мне вчера говорили, где же он? — Я обернулся к площади и увидел Максима Максимыча, бегущего что было мочи... Через несколько минут он был уже возле нас; он едва мог дышать; пот градом катился с лица его; мокрые клочки седых волос, вырвавшись из-под шапки, прилепились ко лбу его; колени его дрожали... он хотел кинуться навстречу Печорину, но тот довольно холодно, хотя с приветливою улыбкой, протянул ему руку. Штабс-капитан на минуту остановился, но потом жадно схватил его руку обеими руками: он едва мог говорить.

— Как я рад, дорогой Максим Максимыч! Ну, как вы поживаете? — сказал Печорин.

«А... ты?.. а вы?..» пробормотал со слезами на глазах старик: «сколько лет?.. сколько дней... да куда это?..»

— Еду в Персию — и дальше...

«Неужто сейчас?.. Да подождите, дражайший!.. Неужто сейчас расстанемся?.. Сколько времени не видались...»

— Мне пора, Максим Максимыч, — был ответ.

«Боже мой, боже мой! да куда это так спешите?.. Мне столько бы хотелось вам сказать... столько расспросить... Ну, что?.. оставайтесь?.. как?.. что поделывали?..»

— Скушал! — отвечал Печорин улыбаясь...

«А помните наше житьё-бытьё в крепости?.. Славная страна для охоты!.. Ведь вы были страстный охотник стрелять... А Бэла?..»

Печорин чуть-чуть побледнел и отвернулся...

— Да, помню! — сказал он, почти тотчас принуждённо зевнув...

Максим Максимыч стал его упрашивать остаться с ним ещё часа два. «Мы славно пообедаем», говорил он: «у меня есть два фазана; а кахетинское здесь прекрасное... разумеется, не то, что в Грузии, однако лучшего сорта. Мы поговорим... вы мне расскажете про своё житьё в Петербурге... А...»

— Право, мне нечего рассказывать, дорогой Максим Максимыч... Однако прощайте, мне пора... я спешу... Благодарю, что не забыли... — прибавил он, взяв его за руку.

Старик нахмурил брови... Он был печален и сердит, хотя старался скрыть это. «Забыты!» — проворчал он: «я-то не забыл ничего... Ну, да бог с вами!.. Не так я думал с вами встретиться...»

— Ну полно, полно! — сказал Печорин, обняв его дружески: — неужели я не тот же?.. Что делать?.. всякому своя дорога... Удастся ли ещё встретиться — бог знает!.. Говоря это, он уже сидел в коляске, и ямщик уже начал подбирать вожжи.

«Постой, постой!» — закричал вдруг Максим Максимыч, ухватясь за дверцы коляски: «совсем было забыл... У меня остались ваши бумаги, Григорий Александрович... я их таскаю с собой... думал найти вас в Грузии, а вот где бог дал свидеться... Что мне с ними делать?..»

— Что хотите! — отвечал Печорин. — Прощайте...

«Так вы в Персию?.. а когда вернётесь?..» — кричал вслед Максим Максимыч...

Коляска была уже далеко; но Печорин сделал знак рукой, который можно было перевести следующим образом: вряд ли! да и незачем?..

Давно уже не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колёс по кремнистой дороге, — а бедный старик стоял на том же месте в глубокой задумчивости.

«Да», сказал он наконец, стараясь принять равнодушный вид, хотя слеза досады по временам сверкала на его ресницах: «конечно, мы были приятели, — ну, да что приятели в нынешнем веке!.. Что ему во мне? Я не богат, не чиновен, да и по летам совсем ему не пара... Вишь, каким он франтом сделался, как побывал опять в Петербурге... Что за коляска!.. сколько поклажи! и лакей такой гордый!..» Эти слова были произнесены с иронической улыбкой. «Скажите, продолжал он, обратясь ко мне, «ну, что вы об этом думаете?.. ну, какой бес несёт его теперь в Персию?.. Смешно, ей-богу, смешно!.. Да я всегда знал, что он ветреный человек, на которого нельзя надеяться. А, право, жаль, что он дурно кончит... да и нельзя иначе!.. Уж я всегда

... что нет проку в том, кто старых друзей
... чтобы снять своё волнение, и
... свою свою поэзию, показывая, будто о ней
... тогда как глаза его похищено наполнились слезами.

— Максим Максимыч, — сказал я, подошедши к
что это за бумаги оставил Печорин?

«А бог его знает! какие-то записки...»

— Что вы из них сделаете?

«Что? Я велю наделать патронов».

— Отдайте их лучше мне.

Он посмотрел на меня с удивлением, проворчал что-то, вынул
зубы и начал рыться в чемодане; вот он вынул одну тетрадь и
бросил её с презрением на землю; потом другая, третья и четвер-
тая имели ту же участь; в его досаде было что-то дикое; это
стало смешно и жалко...

— Вот они все. — сказал он: — поздравляю вас с находкой.

«И я могу делать с ними всё, что хочу?»

— Мотъ в газетак печатайте. Какое мне дело!.. Что, я раз-
друг его какой или родственник?.. Правда, мы жили долго в
одной кровлей... Да мало ли с кем я не жил?..

Я схватил бумаги и поскорее унёс их, боясь, чтоб штабс-ка-
питан не раскаялся. Скоро пришли нам объявить, что через час
троенется сказия: я велел закладывать. Штабс-капитан вошёл в
комнату в то время, когда я уже надевал шапку; он, казалось,
не готовился к отъезду: у него был какой-то принуждённый, хо-
лодный вид.

«А вы, Максим Максимыч, разве не едете?»

— Нет-с.

«А что так?»

— Да я ещё коменданта не видал, а мне надо сдать кой-ка-
кие казённые вещи...

«Да ведь вы же были у него?»

— Был, конечно, — сказал он, заминаясь... — да его дома не
было... а я не дождался.

Я понял его: бедный старик в первый раз отроду, может
быть, бросил дела службы для собственной надобности, говоря
языком бумажным, — и как же он был награждён!

— Очень жаль, — сказал я ему, — очень жаль, Максим Мак-
симыч, что нам до срока надо расстаться.

«Где нам, необразованным старикам, за вами гоняться!.. Вы
молодёжь светская, гордая: ещё пока здесь, под черкесскими пу-
лями, так вы туда-сюда... а после встретишься, так стыдитесь
и руку протянуть нашему брату».

— Я не заслужил этих упреков, Максим Максимыч.

«Да я, знаете, так, к слову говорю; а впрочем, желаю вам
всякого счастья и весёлой дороги».

Мы простились довольно сухо. Добрый Максим Максимыч
сделался упрямым, сварливым штабс-капитаном! И отчего? От

того, что Печорин в рассеянности, или от другой причины, протянул ему руку, когда тот хотел кинуться ему на шею! Грустно видеть, когда юноша теряет лучшие свои надежды и мечты, когда перед ним отдёргивается розовый флёр, сквозь который он смотрел на дела и чувства человеческие, хотя есть надежда, что он заменит старые заблуждения новыми, не менее проходящими, но зато не менее сладкими... Но чем их заменить в лета Максима Максимыча? Поневоле сердце очерствеет и душа закроется...

Я уехал один.

ЖУРНАЛ ПЕЧОРИНА

Предисловие

Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало: оно давало мне право печатать эти записки, и я воспользовался случаем поставить своё имя над чужим произведением. Дай бог, чтоб читатели меня не наказали за такой невинный подлог!

Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. Добро бы я был ещё его другом: коварная нескромность истинного друга понятна каждому; но я видел его только раз в моей жизни на большой дороге; следовательно, не могу питать к нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь под личиною дружбы, ожидает только смерти или несчастья любимого предмета, чтоб разразиться над его головою градом упреков, советов, насмешек и сожалений.

Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она — следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление.

Исповедь Руссо имеет уже тот недостаток, что он читал её своим друзьям.

Итак, одно желание пользы заставило меня напечатать отрывки из журнала, доставшегося мне случайно. Хотя я переменял все собственные имена, но те, о которых в нём говорится, вероятно себя узнают, и, может быть, они найдут оправдания поступкам, в которых до сей поры обвиняли человека, уже не имеющего отныне ничего общего с здешним миром: мы почти всегда извиняем то, что понимаем.

Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе. В моих руках осталась ещё толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-ни-

...и она явится на суд света; но теперь я не смогу...
...эту ответственность по многим важным причинам.

Может быть, некоторые читатели захотят узнать мой...
о характере Печорина. Мой ответ — заглавие этой книги. — Да,
это злая ирония!» — скажут они. — Не знаю.

I

ТАМАНЬ

Тамань — самый скверный городишко из всех приморских го-
родов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да ещё два раза
меня хотели утопить. Я приехал на перекладной тележке поздно
ночью. Ямщик остановил усталую тройку у ворот единственного
каменного дома, что при въезде. Часовой, черноморский казак,
услышав звон колокольчика, закричал спросонья диким голосом:
«кто идёт?» Вышел урядник и десятник. Я им объяснил, что я
офицер, еду в действующий отряд по казённой надобности и
стал требовать казённую квартиру. Десятник нас повёл по го-
роду. К которой избе ни подъедем — занята. Было холодно, я
три ночи не спал, измучился и начал сердиться. «Веди меня ку-
да-нибудь, разбойник! хоть к чёрту, только к месту!» закричал
я. — Есть ещё одна фатера, — отвечал десятник, почёсывая за-
тылок: только вашему благородию не понравится: там нечи-
сто! — Не поняв точного значения последнего слова, я зател ему
идти вперёд, и после долгого странствования по грязным пере-
улкам, где по сторонам я видел одни только ветхие заборы, мы
подъехали к небольшой хате, на самом берегу моря.

Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены
моего нового жилища; на дворе, обведённом оградой из булыж-
ника, стояла избочась другая лачужка, менее и древнее первой.
Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен её, и зли-
зу с непрерывным ропотом плескались тёмно-синие волны. Лу-
на тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию, и я
мог различить при свете её, далеко от берега, два корабля, кото-
рых чёрные снасти, подобно паутине, неподвижно висели над
на бледной черте небосклона. «Суда в пристани есть — подума-
я: — завтра отправлюсь в Геленджик».

При мне исправлял должность денщика линейный казак.
Велев ему выложить чемодан и отпустить извозчика, я стал звать
хозяина — молчат; стучу — молчат... что это? Наконец из сеней
выполз мальчик лет четырнадцати.

«Где хозяин?» — Не-ма́. — «Как? Совсем нету?» — Совсем. —
«А хозяйка?» — Побигла в слободку. — «Кто же мне отопрёт
дверь?» сказал я, ударив в неё ногою. Дверь сама отворилась;
из хаты повеяло сыростью. Я засветил серную спичку и поднёс её
к носу мальчика: она озарила два белые глаза. Он был слепой, со-
вершенно слепой от природы. Он стоял передо мною неподвиж-
но, и я начал рассматривать черты его лица.

Признаюсь, я имею сильное предубеждение против всех слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых и пр. Я замечал, что всегда есть какое-то странное отношение между наружностью человека и его душою: как будто, с потерей члена, душа теряет какое-нибудь чувство.

Итак я начал рассматривать лицо слепого: но что прикажете прочесть на лице, у которого нет глаз?.. Долго я глядел на него с невольным сожалением, как вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его, и, не знаю отчего, она произвела на меня самое неприятное впечатление. В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так слеп, как оно кажется; напрасно я старался уверить себя, что белмы подделать невозможно, да и с какой целью? Но что делать? я часто склонен к предубеждениям...

«Ты хозяйский сын?» спросил я его наконец. — Ни. — «Кто же ты?» — Сирота убогий. — «А у хозяйки есть дети?» — Ни; была дочь, да утикла¹ за море с татаринцом. — «С каким татаринцом?» — А бис² его знает! Крымский татарин, лодочник из Керчи.

Я вошёл в хату: две лавки и стол, да огромный сундук возле печи составляли всю её мебель. На стене ни одного образа — дурной знак! В разбитое стекло врывался морской ветер. Я вытащил из чемодана восковой огарок и, засветив его, стал раскладывать вещи, поставил в угол шашку и ружьё, пистолеты положил на стол, разостлал бурку на лавке, казак свою на другой; через десять минут он захрапел, но я не мог заснуть; передо мной во мраке всё вертелся мальчик с белыми глазами.

Так прошло около часа. Месяц светил в окно, и луч его играл по земляному полу хаты. Вдруг на яркой полосе, пересекающей пол, промелькнула тень. Я привстал и взглянул в окно: кто-то вторично пробежал мимо его и скрылся бог знает куда. Я не мог полагать, чтоб это существо сбежало по отвесу берега; однако иначе ему некуда было деваться. Я встал, накинул бешмет, опоясал кинжал и тихо-тихо вышел из хаты; навстречу мне — слепой мальчик. Я притаился у забора, и он верной, но осторожной поступью прошёл мимо меня. Под мышкой он нёс какой-то узел, и, повернув к пристани, стал спускаться по узкой и крутой тропинке. «В тот день немые возопиют и слепые прозрят», подумал я, следуя за ним, в таком расстоянии, чтоб не терять его из виду.

Между тем луна начала одеваться тучами, и на море поднялся туман; едва сквозь него светился фонарь на корме ближнего корабля; у берега сверкала пена валунов, ежеминутно грозящих его потопить. Я, с трудом спускаясь, пробирался по крутизне, и вот вижу: слепой приостановился, потом повернул назад направо; он шёл так близко от воды, что, казалось, сейчас

¹ Утикла́ (укр.) — сбежала.

² Бис (укр.) — бес.

его схватит и унесёт; но, видно, это была не судья по устремлённости, с которой он стоял на камнях и набегал рывками. Наконец он остановился, будто прижавшись к чему-то, присел на землю и положил возле себя. Я наблюдал за его движениями, спрятавшись за выступ скалы на берегу. Спустились несколько минут с противоположного берега, и он показалась острая фигура; она подошла к скале, и он сел возле него. Ветер по временам приносил мне их разговор.

«Что, слепой?» сказал женский голос: «буря сильна; далеко будет». — Янко не боится бури, отвечал тот. — «Туман густеет», возразила опять женский голос с выражением печали.

— В тумане лучше пробраться мимо сторожевых судов, — был ответ. «А если он утонет?» — Ну что ж? в воскресенье ты пойдёшь в церковь без новой ленты.

Последовало молчание; меня однако поразило одно: слепой говорил со мною малороссийским наречием, а теперь изъяснялся чисто по-русски.

— Видишь, я прав, — сказал опять слепой, ударив в ладоши: — Янко не боится ни моря, ни ветров, ни тумана, ни береговых сторожей; прислушайся-ка: это не вода плещет, меня не обманешь, — это его длинные вёсла.

Женщина вскочила и стала всматриваться в даль с видом беспокойства.

«Ты бредишь, слепой», сказала она: «я ничего не вижу».

Признаюсь, сколько я ни старался различить вдалеке что-нибудь наподобие лодки, но безуспешно. Так прошло минут десять; и вот показалась между горами волн чёрная точка: она то увеличивалась, то уменьшалась. Медленно поднимаясь на хребты волн, быстро спускаясь с них, приближалась к берегу лодка. Отважен был пловец, решившийся в такую ночь пуститься через пролив на расстояние двадцати вёрст, и важная должна быть причина, его к тому побудившая! Думая так, я, с невольным биением сердца, глядел на бедную лодку; но она, как утка, ныряла, и потом, быстро взмахнув вёслами, будто крыльями, выскакивала из пропастей среди брызгов пены; и вот, я думал, она ударится с размаха об берег и разлетится вдребезги, но она ловко повернулась боком и вскочила в маленькую бухту невредима. Из неё вышел человек среднего роста, в татарской бараньей шапке; он махнул рукою, и все трое принялись вытаскивать что-то из лодки; груз был так велик, что я до сих пор не понимаю, как она не потонула. Взяв на плечи каждый по узлу, они пустились вдоль по берегу, и скоро я потерял их из вида. Надо было вернуться домой; но, признаюсь, все эти странности меня тревожили, и я насилу дождался утра.

Казак мой был очень удивлён, когда, проснувшись, увидел меня совсем одетого; я ему однако ж не сказал причины. Полюбовавшись несколько времени из окна на голубое небо, усеянное разорванными облачками, на дальний берег Крыма, который тя-

нел
белес
чтоб

Но,
Суда,
печеск
быть,
менда
дит. М

«Да
больш
Здесь
мнези
мы ост
Да и в
зар, за

«Да

«Ка

ли не д
Я в

рился
мои во
делать
подкла
я, взяв
Вдруг
никуда
услыш
за что
твёрдо

Я з
вдаль;
и одно
напом
холодн
прошл
на пес
свежий
ный, т
ваюсь
будто
ла дев
щая р
стальн
собой,

...и тогда он и боялся, и нечасто уходил, но в рани...
...материя бились, и отправился в город...
...и тогда он боялся, и нечасто уходил, но в рани...

Но увы! комендант ничего не мог сказать мне решительно. Ужас, стоявшие в пристани, были все — или сторожевые, или купеческие, которые еще даже не начинали нагружаться. «Может быть, там через три, четыре придет почтовое судно», сказал комендант. «И тогда — мы увидим». Я вернулся домой угрюм и с ранами. Меня в дверях встретил казак мой с испуганным лицом.

— Плохо, ваше благородие! — сказал он мне.

«Та, брат, бог знает, когда мы отсюда уедем!» Тут он ещё больше встревожился, и, наклонясь ко мне, сказал шёпотом: — Здесь нечисто! Я встретил сегодня черноморского урядника; он мне никак — был прошлого года в отряде; как я ему сказал, где мы остановились, а он мне: здесь, брат, нечисто, люди недобрые!.. Да и в самом деле, что это за слепой! ходит везде один, и на базар, за хлебом, и за водой... уж видно здесь к этому привыкли.

«Да что ж? по крайней мере, показалась ли хозяйка?»

— Сегодня без нас пришла старуха и с ней дочь.

«Какая дочь? у неё нет дочери». — А бог её знает кто она, коли не дочь; да вот старуха сидит теперь в своей хате.

Я вошёл в лачужку. Печь была жарко натоплена, и в ней варились овощи, довольно роскошный для бедняков. Старуха на все мои вопросы отвечала, что она глуха, не слышит. Что было с ней делать? Я обратился к слепому, который сидел перед печью и подкладывал в огонь хворост. «Ну-ка, слепой чертёнок», сказал я, взяв его за ухо: «говори, куда ты ночью таскался с узлом, а?» Вдруг мой слепец заплакал, закричал, заохал: «куды я ходил? никуды не ходил... с узлом? яким язлом?» Старуха на этот раз услышала и стала ворчать: «вот выдумывают, да ещё на убогого! за что вы его? что он вам сделал?» Мне это надоело, и я вышел, твёрдо решившись достать ключ этой загадки.

Я завернулся в бурку и сел у забора на камень, поглядывая вдаль; предо мною тянулось ночью бурною взволнованное море, и однообразный шум его, подобный ропоту засыпающего города, напомнил мне старые годы, перенёс мои мысли на север, в нашу холодную столицу. Волнуемый воспоминаниями, я забылся... Так прошло около часа, может быть, и более. Вдруг что-то похожее на песню поразило мой слух. Точно, это была песня, и женский, свежий голосок, — но откуда?.. Прислушиваюсь — напев, странный, то протяжный и печальный, то быстрый и живой. Оглядываюсь — никого нет кругом; прислушиваюсь снова — звуки как будто падают с неба. Я поднял глаза: на крыше хаты моей стояла девушка в полосатом платье с распущенными косами, настоящая русалка. Защитив глаза ладонью от лучей солнца, она пристально вематривалась вдаль, то смеялась и рассуждала сама с собой, то запевала снова песню.

И запомнил эту песню от слова до слова:

Как по вольной волюшке —
По зелёну морю,
Ходят все кораблики
Белопарусники.
Промеж тех корабликов
Моя лодочка,
Лодочка неспящая,
Двухвесельная.
Буря ль разыграется —
Старые кораблики

Приподымут крылышки,
По морю разменутся
Стану морю кланяться
Я низехонько:
«Уж не тронь ты, злое море,
Мою лодочку:
Везёт моя лодочка
Вещи драгоценные,
Правит ею в тёмну ночь
Буйная головушка»

Мне невольно пришло на мысль, что ночью я слышал тот же голос; я на минуту задумался, и когда снова посмотрел на крышу, девушки там не было. Вдруг она пробежала мимо меня, напевая что-то другое, и, прищёлкивая пальцами, вбежала к старухе, и тут начался между ними спор. Старуха сердилась, она громко хохотала. И вот вижу, бежит опять вприпрыжку молодина¹; поравнявшись со мной, она остановилась и пристально посмотрела мне в глаза, как будто удивлённая моим присутствием; потом небрежно обернулась и тихо пошла к пристани. Этим не кончилось; целый день она вертелась около моей квартиры: пенье и прыганье не прекращалось ни на минуту. Странное существо! На лице её не было никаких признаков безумия; напротив, глаза её с бойкой пронизательностью останавливались на мне, и эти глаза, казалось, были одарены какой-то магнетической властью, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса. Но только я начинал говорить, она убегала, коварно улыбаясь.

Решительно, я никогда подобной женщины не видывал. Она была далеко не красавица, но я имею свои предубеждения также и насчёт красоты. В ней было много породы... порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело; это открытие принадлежит юной Франции. Она, то есть порода, а не юная Франция, большей частью изобличается в поступи, в руках и ногах, особенно нос много значит. Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей певунье казалось не более 18 лет. Необыкновенная гибкость её стана, особенное, ей только свойственное наклонение головы, длинные русые волосы, какой-то золотистый отлив её слегка загорелой кожи на шее и плечах и, особенно, правильный нос, — всё это было для меня обворожительно. Хотя в её косвенных взглядах я читал что-то дикое и подозрительное, хотя в её улыбке было что-то неопределённое, но такова сила предубеждений: правильный нос свёл меня с ума; я вообразил, что нашёл гётеву Миньону², это причудливое создание его немецкого воображения; — и точно, между ними было много сходства; те же быстрые переходы от величайшего беспокойства к полной неподвижности, те же загадочные речи, те же прыжки, странные песни...

¹ Унди́на — в немецких сказках то же, что русалка в русских сказках.

² Ми́ньона — романтический образ девушки из романа Гёте «Вильгельм Мейстер».

Ночью, остановив её в дверях, я завёл с нею следующий разговор:

«Скажи-ка мне, красавица», спросил я: «что ты делала сегодня на кровле?» — А смогрела, откуда ветер дует. — «Зачем тебе?» — Откуда ветер, оттуда и счастье. — «Что же? разве ты песнею зазывала счастье?» — Где поётся, там и счастливаются. — «А как неравно напоёшь себе горе?» — Ну что ж? где не будет лучше, там будет хуже, а от худа до добра опять недалеко. — «Кто же тебя выучил этой песне?» — Никто не выучил, вздумается — запою; кому услышать, тот услышит; а кому не должно слышать, тот не поймёт. — «А как тебя зовут, моя певунья?» — Кто крестил, тот знает. — «А кто крестил?» — Почему я знаю. — «Экая скрытная! А вот я кое-что про тебя узнал» (она не изменилась в лице, не пошевелила губами, как будто не об ней дело). «Я узнал, что ты вчера ночью ходила на берег». И тут я очень важно пересказал ей всё, что видел, думая смутить её; нимало! Она захохотала во всё горло. — Много видели, да мало знаете; а что знаете, так держите под замочком. — «А если б я, например, вздумал донести коменданту?» и тут я сделал очень серьёзную, даже строгую мину. Она вдруг прыгнула, запела и скрылась, как птичка, выпугнутая из кустарника. Последние слова мои были вовсе не у места; я тогда не подозревал их важности, но впоследствии имел случай в них раскаяться.

Только что смеркалось, я велел казаку нагреть чайник по-походному, засветил свечу и сел у стола, покуривая из дорожной трубки. Уж я доканчивал второй стакан чая, как вдруг дверь скрипнула, лёгкий шорох платья и шагов послышался за мной; я вздрогнул и обернулся, — то была она, моя ундица! Она села против меня тихо и безмолвно и устремила на меня глаза свои, и, не знаю почему, но этот взор показался мне чудно-нежен; он мне напомнил один из тех взглядов, которые в старые годы так самовластно играли моей жизнью. Она, казалось, ждала вопроса, но я молчал, полный неизъяснимого смущения. Лицо её было покрыто тусклой бледностью, изобличавшей волнение душевное; рука её без цели бродила по столу, и я заметил в ней лёгкий трепет; грудь её то высоко подымалась, то, казалось, она удерживала дыхание. Эта комедия начинала мне надоедать, и я готов был прервать молчание самым прозаическим образом, то есть предложить ей стакан чая, как вдруг она вскочила, обвила руками мою шею, и влажный, огненный поцелуй прозвучал на губах моих. В глазах у меня потемнело, голова закружилась, и я сжал её в моих объятиях со всею силой юношеской страсти, но она, как змея, скользнула между моими руками, шепнув мне на ухо: «нынче ночью, как все уснут, выходи на берег», и стрелою выскочила из комнаты. В сенях она опрокинула чайник и свечу, стоявшую на полу. «Экий бес-девка!» закричал казак, расположившийся на соломе и мечтавший согреться остатками чая. Только тут я опомнился.

Часа через два, когда всё на пристани умоли
своего князя. «Если я выстрелю из пистолета»,
«то беги на берег». Он выпучил глаза и машинально
«слушаю, ваше благородие». Я заткнул за пояс пистолет.
Она дожидаясь меня на краю спуска; ее одежде
доее нежелез лёткая, небольшой платок опоясывал ее талию.

«Идите за мной!» сказал она, взяв меня за руку, и мы
спускаться. Не понимаю, как я не сломил себе шеи; мы
повернули направо и пошли по той же дороге, где накануне я
следовал за пленным. Мессяц ещё не вставал, и только две звёзды
дочки, как два спасительные маяка, сверкали на тёмно синем
своде. Тяжёлые волны мерно и ровно катились одна за другой,
едва приподнимая одинокую лодку, причаленную к берегу. «Вой-
дём в лодку», сказал моя спутница. Я колебался — я не охотник
до сентиментальных прогулок по морю; но отступить было не
время. Она прыгнула в лодку, я за ней, и не успел ещё опом-
ниться, как заметил, что мы плывём. «Что это значит?» сказал я
сердито. — Это значит, отвечала она, сажая меня на скамью и
обвинив мой стан руками: это значит, что я тебя люблю. И щека её
прижалась к моей, и я почувствовал на лице моём её пламенное
дыхание. Вдруг что-то шумно упало в воду: я хват за пояс — пи-
столета нет. О, тут ужасное подозрение закралось мне в душу,
кровь хлынула мне в голову! Оглядываюсь — мы от берега около
пятидесяти сажен, а я не умею плавать! Хочу оттолкнуть её от
себя — она как кошка вцепилась в мою одежду, и вдруг сильный
толчок едва не сбросил меня в море. Лодка закачалась, но я
справился, и между нами началась отчаянная борьба; бешенство
придавало мне силы, но я скоро заметил, что уступаю моему про-
тивнику в ловкости... «Чего ты хочешь?» закричал я, крепко сжав
её маленькие руки; пальцы её хрустели, но она не вскрикнула: её
змеинная натура выдержала эту пытку.

— Ты видел, отвечала она: ты донесёшь — и сверхъестествен-
ным усилием повалила меня на борт; мы оба по пояс свесились
из лодки; её волосы касались воды; минута была решительная.
Я упёрся коленкою в дно, схватил её одной рукой за косу, другой за гор-
ло, она выпустила мою одежду, и я мгновенно сбросил её в воду.
Было уже довольно темно; голова её мелькнула раза два сре-
ди морской пены, и больше я ничего не видал...

На дне лодки я нашёл половину старого весла, и кое-как,
после долгих усилий, причалил к пристани. Пробираясь берегом
к своей хате, я невольно всматривался в ту сторону, где накануне
слепой дожидаясь ночного пловца; луна уже катилась по небу,
и мне показалось, что кто-то в белом сидел на берегу: я подкрал-
ся, подстрекаемый любопытством, и прилёг в траве над обры-
вом берега; высунув немного голову, я мог хорошо видеть с утё-
са всё, что внизу делалось, и не очень удивился, а почти обрадо-
вался, узнав мою русалку. Она выжимала морскую пену из длин-
ных волос своих; мокрая рубашка обрисовывала гибкий стан её

... Скорее, чем я успела влезть в лодку, быстро прибли-
... как накануне, вышел человек в татарской
... он был го-казацки, и за ремённым поясом
... большой нож. «Янко», сказала она: «всё пропало!» По-
... продолжался, но так тихо, что я ничего не мог
... — А где же слепой? — сказал наконец Янко, возвы-
... «Я его послала», был ответ. Через несколько минут
... слепой, таща на спине мешок, который положил в лодку.

«Послушай, слепой!» сказал Янко: «ты береги то место... зна-
... там богатые товары... скажи (имени я не расслышал), что
... больше не слуга, дела пошли худо, он меня больше не уви-
... искать работы в другом месте, а ему
... такого удальца не найти. Да скажи, кабы он получше платил
... так и Янко бы его не покинул; а мне везде дорога, где
... ветер дует и море шумит!» После некоторого молчания
... продолжал: «Она поседет со мной; ей нельзя здесь оста-
... старухе скажи, что, дескать, пора умирать, зажилась,
... Нас же больше не увидит».

— А я? — сказал слепой жалобным голосом.

«На что мне тебя?» был ответ.

Между тем моя ундица вскочила в лодку и махнула товарищу
рукою; он что-то положил слепому в руку, промолвив: «На, купи
себе пряников». — Только? — сказал слепой. — «Ну, вот тебе
ещё» — и упавшая монета зазвенела, ударяясь о камень. Слепой
её не поднял. Янко сел в лодку; ветер дул от берега; они подняли
маленький парус и быстро понеслись. Долго при свете месяца
мелькал белый парус между тёмных волн; слепой всё сидел на
берегу, и вот мне послышалось что-то похожее на рыдание: сле-
пой мальчик точно плакал, и долго, долго... Мне стало грустно.
И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контра-
бандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встре-
вожил их спокойствие, и как камень едва сам не пошёл ко дну!

Я возвратился домой. В сенях трещала догоревшая свеча в
деревянной тарелке, и казак мой, вопреки приказанию, спал креп-
ким сном, держа ружьё обеими руками. Я его оставил в покое,
взял свечу и пошёл в хату. Увы! Моя шкатулка, шашка с сереб-
ряной оправой, дагестанский кинжал, подарок приятеля, — всё
исчезло. Тут-то я догадался, какие вещи тащил проклятый сле-
пой. Разбудив казака довольно невежливым толчком, я побранил
его, посердился, а делать было нечего! И не смешно ли было бы
жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а вось-
мнадцатилетняя девушка чуть-чуть не утопила? Слава богу, по-
утру явилась возможность ехать, и я оставил Тамань. Что ста-
лось со старухой и с бедным слепым — не знаю. Да и какое дело
мне до радостей и бедствий человеческих, мне, страствующему
офицеру, да ещё с подорожной по казённой надобности!..

Конец первой части.

11-го мая

Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука¹: во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нище в пять часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окно, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с трёх сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту² синее, как «последняя туча рассеянной бури»; на север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона; на восток смотреть веселее: внизу передо мною пестреет чистенький, новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноречивая толпа, — а там, дальше амфитеатром громоздятся горы всё синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом... Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребёнка; солнце ярко, небо синее — чего бы, кажется, больше? Зачем тут страсти, желания, сожаления?... Однако пора. Пойду к Елисаветинскому источнику: там, говорят, утром собирается всё водяное общество.

Спустясь в середину города, я пошёл бульваром, где встретил несколько печальных групп, медленно поднимающихся в гору; то были большею частью семейства степных помещиков: об этом можно было тотчас догадаться по истёртым, старомодным сюртукам мужей и по изысканным нарядам жён и дочерей: видно, у них вся водяная молодёжь была уже на перече́те, потому что они на меня посмотрели с нежным любопытством: петербургский покрой сюртука ввёл их в заблуждение, но, скоро узнав армейские эполеты, они с негодованием отвернулись.

Жёны местных властей, так сказать хозяйки вод, были благосклоннее; у них есть лорнеты, они менее обращают внимания на мундир, они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум. Эти дамы очень милы, и долго милы! Всякий год их обожатели сменяются новыми, и в этом-то, может быть, секрет их неутомимой любезности. Подымаясь по узкой тропинке к Елисавете-

¹ Машук — гора, у подножия которой расположен Пятигорск.

² Бешту (или Бештау) — одна из гор в окрестностях Пятигорска.

...к тому же, я заметил одну мужскую статских и военных, которые, как я узнал после, составляют особенный класс людей между членистыми движениями воды. Они пьют — однако не воду, гуляют мало, волочатся только мимоходом: они играют и жалуются на скуку. Они франты: опуская свой оплетённый стакан в колодезь кислосерной воды, они принимают академические позы; статские носят светло-голубые галстуки, военные выпускают из-за воротника брыжжи¹. Они исповедывают глубокое презрение к провинциальным домам и вздыхают о столичных аристократических гостиницах, куда их не пускают.

Наконец, вот и колодезь... На площадке близ него построен домик с красной кровлей над ванной, а подальше галерея, где гуляют во время дождя. Несколько раненых офицеров сидело на лавке, подобранных костыли, — бледные, грустные. Несколько дам скорыми шагами ходило взад и вперёд по площадке, ожидая действия вод. Между ними были два-три хорошенёкие личика. Под виноградными аллеями, покрывающими скат Машука, мелькала порою пёстрая шляпка любительницы уединения вдвоём, потому что всегда возле такой шляпки я замечал или военную фуражку, или безобразную круглую шляпу. На крутой скале, где построен навильон, называемый Золовой арфой², торчали любители видов и наводили телескоп на Эльборус; между ними были два гвернера с своими воспитанниками, приехавшими лечиться от золотухи.

Я остановился, запыхавшись, на краю горы и, прислонясь к углу домика, стал рассматривать живописную окрестность, как вдруг слышу за собой знакомый голос:

— Печорин! давно ли здесь?

Оборачиваюсь: Грушинский! Мы обнялись. Я познакомился с ним в действующем отряде. Он был ранен пулей в ногу и поехал на воды с неделю прежде меня.

Грушинский — юнкер. Он только год в службе, носит, по особенному роду франтовства, толстую солдатскую шинель. У него георгиевский солдатский крестик. Он хорошо сложен, смугл и черноволос; ему на вид можно дать 25 лет, хотя ему едва ли 21 год. Он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правую опирается на костыль. Говорит он скоро и вычурно: он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто прекрасное не трогает, и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект — их наслаждение; они нравятся романтическим провинциалкам до безумия. Под старость они делаются либо

¹ Брыжжи — собранные в складки оборки или манжеты.

² Зол — в древнегреческих сказаниях бог ветров и повелитель бурь. Зол — в арфа, по преданию, музыкальный инструмент, состоящий из терзанных ящика с натянутыми струнами, которые при движении воздуха издают гармонические звуки.

...ри, ни помещиками, либо гвардейцами, — ни...

В их душе часто много добрых свойств, но ни на Грушницкого страсть была декламировать: он говорил словами, как скоро разговор выходил из круга обыкновенных; спорить с ним я никогда не мог. Он не принимал возражения, он вас не слушает. Только что вы начинаете, он начинает длинную тираду, по-видимому, не связанную с тем, что вы сказали, но которая в самом деле является продолжением его собственной речи.

Он довольно остёр: эпиграммы его часто бывают метки и злы: он никогда не убьёт человека, но знает людей и их слабых струны, потому что знает жизнь одним собою. Его цель — сделаться героем романа; он часто старался уверить других в том, что он существует, нечто новое для мира, обречённое каким-то тайным страданием, в котором сам почти в этом уверился. Оттого-то он так гордо носит свою толстую солдатскую шинель. — Я его понял, и он за это меня любит, хотя мы наружно в самых дружеских отношениях. Грушницкий слывет отличным храбрецом; я его видел в деле: он бьёт шашкой, кричит и бросается вперёд, зажмуря глаза. Это не русская храбрость!..

Я его тоже не люблю: я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнёмся на узкой дороге, и одному из нас не сдобровать.

Приезд его на Кавказ — также следствие его романтического фанатизма: я уверен, что накануне отъезда из отцовской деревни он говорил с мрачным видом какой-нибудь хорошенькой соседке, что он едет не так, просто, служить, но что ищет смерти, и что... Тут он, верно закрыв глаза рукою, продолжает так: «Но вы (или ты) этого не должны знать! Ваша чистая душа содрогается! Да к чему? Что я для вас? Поймёте ли вы меня?» и т.д. и т.д. далее.

Он мне сам говорил, что причина, побудившая его вступить в К. полк, останется вечною тайною между ним и небесами.

Впрочем, в те минуты, когда сбрасывает трагическую маску, Грушницкий довольно мил и забавен. Мне любопытно видеть его с женщинами: тут-то он, я думаю, старается!

Мы встретились старыми приятелями. Я начал его расспрашивать об образе жизни на водах и о примечательных лицах.

— Мы ведём жизнь довольно прозаическую, — сказал он, вздохнув, — пьющие утром воду — вялы, как все больные, а пьющие вино повечеру — несносны, как все здоровые. Женские общества есть; только от них небольшое утешение: они играют в вист, одеваются дурно и ужасно говорят по-французски. Нынешний год из Москвы одна только княгиня Лиговская с дочерью; но я с ними незнаком. Моя солдатская шинель — как печать отвержения. Участие, которое она возбуждает, тяжело, как милостыня.

В эту минуту прошли к колодезю мимо нас две дамы: одна пожилая, другая молоденькая, стройная. Их лица за шляпками я не

... А что, у неё зубы белые? Это очень важно!
она не улыбнулась на твою пышную фразу.

— Ты говоришь о хорошенькой женщине, как об англославянке, — сказал Грушницкий с негодованием.

— Mon cher, — отвечал я ему, стараясь говорить по-французски: — *je méprise les femmes pour ne pas les aimer, car ainsi la vie serait un mélodrame trop ridicule*¹.

Я повернулся и пошёл от него прочь. С галереи, украшенной виноградным аллеем, по известным скалам и аллеям, в которых находились кустарники. Становилось жарко, и я пошёл к галереям, проходя мимо кислосерного источника, я остановился у галереи, чтобы вздохнуть под её тенью, и это должно было быть свидетелем довольно любопытной сцены. Действительно, находились вот в каком положении: княгиня с матерью сидела на лавке в крытой галерее, и оба были заняты, кажется, серьёзным разговором, княжна, вероятно, допивая свой стакан, прохаживалась задумчиво у колодца. Грушницкий стоял у самого колодца; больше на площадке никого не было.

Я подошёл ближе и спрятался за угол галереи. В эту минуту Грушницкий уронил свой стакан на песок и усиливался нагнуть, чтобы его поднять: больная нога ему мешала. Бедняжка! как ухитрялся, опираясь на костыль, и всё напрасно. Выражение лица его в самом деле изображало страдание.

Княжна Мери видела всё это лучше меня.

Легче птички она к нему подскочила, нагнулась, подняла стакан и подала ему с телодвижением, исполненным невыразимой прелести; потом ужасно покраснела, оглянулась на галерею, убедившись, что её маменька ничего не видела, кажется, тоже успокоилась. Когда Грушницкий открыл рот, чтобы поблагодарить её, она была уже далеко. Через минуту она вышла из галереи с матерью и франтом, но, проходя мимо Грушницкого, приняла вид такой чинный и важный, — даже не обернулась. Она не заметила его страстного взгляда, которым он долго её смотрел, пока, спустившись с горы, она не скрылась за липками в вара... Но вот её шляпка мелькнула через улицу; она вошла в ворота одного из лучших домов Пятигорска. За нею шла княгиня и у ворот раскланялась с Раевичем.

Только тогда бедный страстный юнкер заметил своё состояние.

— Ты видел? — сказал он, крепко пожимая мне руку: — это просто ангел!

— Отчего? — спросил я с видом чистейшего простодушия.

— Разве ты не видал?

— Нет, видел: она подняла твой стакан. Если б был тут сторож, то он сделал бы то же самое, и ещё поспешнее, надеясь, что...

¹ «Мой дорогой, я презираю женщин, для того чтобы их не любить, иначе жизнь была бы слишком смешной мелодрамой».

лучить на водку. Впрочем, очень понятно, что ей стало тебя жалко: ты сделал такую ужасную гримасу, когда ступил на простреленную ногу...

— И ты не был несколько тронут, глядя на неё в эту минуту, когда душа сияла на лице её?

— Нет.

Я лгал; но мне хотелось его побесить. У меня врождённая страсть противоречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдаёт меня крещенским холодом, и, я думаю, частые сношения с вялым флегматиком¹ сделали бы из меня страстного мечтателя. Признаюсь ещё, чувство неприятное, но знакомое промечтателя. Пришло в это мгновение по моему сердцу: это чувство было — зависть; я говорю смело «зависть», потому что привык себе во всём признаваться; и вряд ли найдётся молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, прикованную его праздное внимание и вдруг явно при нём отличившуюся другою, ей равно незнакомою, — вряд ли, говорю, найдётся такой молодой человек (разумеется, живший в большом свете и привыкший баловать своё самолюбие), который бы не был этим поражен неприятно.

Молча с Грушницким спустились мы с горы и прошли по бульвару, мимо окон дома, где скрылась наша красавица. Она сидела у окна. Грушницкий, дёрнув меня за руку, бросил на неё один из тех мутно-нежных взглядов, которые так мало действуют на женщин. Я навёл на неё лорнет и — заметил, что она от его взгляда улыбнулась, а что мой дерзкий лорнет рассердил её не на шутку. И как, в самом деле, смеет кавказский армеец наводить стёклышко на московскую княжну?..

13-го мая

Нынче поутру зашёл ко мне доктор; его имя Вернер, но он русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец.

Вернер — человек замечательный по многим причинам. Он скептик и материалист, как все почти медики, а вместе с этим и поэт, и не на шутку, — поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь свою не написал двух стихов. Он изучал все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы труда, но никогда не умел он воспользоваться своим знанием: так иногда отличный анатомик не умеет вылечить от лихорадки! Обыкновенно Вернер исподтишка насмехался над своими больными; но я раз видел, как он плакал над умирающим солдатом... Он был беден, мечтал о миллионах, а для денег не сделал бы ничего: он мне раз говорил, что скорее сделает одолжение врагу, чем

¹ Флегматик — человек вялого характера.

траву, потому что это значило бы продавать свою бланку. Тогда как ненависть только усилится соразмерностью души противника. У него был злой язык; под выстрелы анграммы не один добряк прослыл пошлым дураком, а инки, завистливые водяные медики, распустили слух, что рисует карикатуры на своих больных, — большие таланты почти все ему отказали. Его приятели, то есть все истинно дочные люди, служившие на Кавказе, напрасно старались новить его упавший кредит.

Его наружность была из тех, которые с первого взгляда жауют неприятно, но которые правятся впоследствии, когда выучится читать в неправильных чертах отпечаток души иной и высокой. Бывали примеры, что женщины влюблялись в таких людей до безумия и не променяли бы их безобразия на соту самых свежих и розовых эндимнонов¹; надобно отнестись с ведливостью женщинам: они имеют инстинкт красоты души оттого-то, может быть, люди, подобные Вернеру, так скоро любят женщин.

Вернер был мал ростом и худ и слаб, как ребёнок; одна была у него короче другой, как у Байрона; в сравнении с товарищем, голова его казалась огромна: он стриг волосы под ребёнка, и неровности его черепа, обнажённые таким образом, поразили бы френолога² странным сплетением противоположных наклонностей. Его маленькие чёрные глаза, всегда беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде заметны были вкус и опрятность; его худощавые, жилистые и маленькие руки красовались в светло-жёлтых перчатках. Его сюртук, галстук и жилет были постоянно чёрного цвета. Молодёжь прозвала его Мефистофелем³, он показывал, будто сердился за это прозвание, но в самом деле оно льстило его самолюбию. Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к дружбе несгибаем: из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признаётся; — рабом я быть не могу, а велевать в этом случае — труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать; да притом у меня есть лавка и деньги! Вот как мы сделались приятелями: я встретил Вернера в С... среди многочисленного и шумного круга молодёжи; разговор принял под конец вечера философско-метафизическое направление⁴; толковали об убеждениях: каждый был убежден в разных разностях.

¹ Эндимион — прекрасный юноша, любимец Селены, погружённый ею в вечный сон на горе Иатм.

² Френология — ненаучная теория, утверждавшая, что различные умственные способности связаны с особой формой черепа.

³ Мефистофель — заимствованное из древних немецких сказаний название злого духа. Мефистофель — образ скептика из произведения Гёте «Фауст».

⁴ Метафизика — учение философов-идеалистов о сверхчувственном или недоступном человечеству опыту и чувству; в данном случае у Лермонтова — насмешливое название туманного и очень отвлечённого изложения мыслей.

— Что до меня касается, то я убежден только в одном. — сказал доктор.

— В чём это? — спросил я, желая узнать мнение человека, который до сих пор молчал.

— В том, — отвечал он: — что, рано или поздно, в какое-нибудь красное утро, я умру.

— Я богаче вас! — сказал я: — у меня, кроме этого, есть ещё убеждения. — именно то, что я в один прекрасный вечер имел несчастье родиться.

Все танки, что мы говорим вздор, а, право, и в них никто ничего умнее этого не сказал. С той минуты мы откровенно стали друг друга. Мы часто сходились вместе и толковали о самых различных предметах очень серьёзно, пока не замечали, что мы взаимно друг друга морочим. Тогда, посмотрев значительным друг другу в глаза, как делали римские авгуры¹, по словам Цицерона, мы начинали хохотать и, нахохотавшись, расходились довольные своим вечером.

Я лежал на диване, устремив глаза в потолок и заложив руку под затылок, когда Вернер вошёл в мою комнату. Он лёг в кресла, поставил трость в угол, зевнул и объявил, что на улице становится жарко. Я отвечал, что меня беспокоят мухи, — и мы оба замолчали.

— Заметьте, любезный доктор, — сказал я, — что без дураков было бы на свете очень скучно... Посмотрите, вот нас двое умных людей; мы знаем заранее, что обо всём можно спорить до бесконечности, и потому не спорим; мы знаем почти все сокровенные мысли друг друга: одно слово — для нас целая история; видим зерно каждого нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печальное нам смешно, смешное грустно, а вообще, по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя. Итак, размена чувств и мыслей между нами не может быть: мы знаем о себе о другом всё, что хотим знать, и знать больше не хотим; остаётся одно средство: рассказывать новости. Скажите же мне какую-нибудь новость.

Утомлённый долгой речью, я закрыл глаза и зевнул.

Он отвечал подумавши:

— В вашей галиматее², однако ж, есть идея.

— Две! — отвечал я.

— Скажите мне одну, я вам скажу другую.

— Хорошо, начинайте! — сказал я, продолжая рассматривать потолок и внутренне улыбаясь.

— Вам хочется знать какие-нибудь подробности насчет кого-нибудь из приехавших на воды, и я уже дотлаивалась, о ком вы это заботитесь, потому что об вас там уже спрашивали.

¹ Римские авгуры — жрецы, предсказывавшие будущее по волею и знаменам, внутренностям жертвенных животных и т. п.

² Галиматее — нелепость, вздор.

...котор! решительно нам нельзя расставаться
в душе друг у друга.

— Теперь другая...

— Другая идея вот: мне хотелось нас заставить, романи-
чно-нибудь; во-первых, потому, что слушать можно утомля-
во-вторых, нельзя преговориться; в-третьих, можно уга-
тайну; в-четвертых, потому, что такие умные люди, как вы, очень
любят слушателей, чем рассказчиков. Тогда я думаю, что вы
сказала княгиня Лиговская обо мне?

— Вы очень уверены, что это княгиня...?

— Совершенно убеждён.

— Почему?

— Потому что княжна спрашивала о Грушницком...

— У вас большой дар соображения. Княжна сказала, что
уверена, что этот молодой человек в солдаты не пойдёт, а
лован в солдаты за дуэль...

— Надеюсь, вы её оставили в этом приятном заблужде-

— Разумеется.

— Завлека есть. — закричал я в восхищении: — об этом
этой комедии мы похлопочем. Явно судьба заботится о нас, и
мне не было скучно.

— Я предчувствую. — сказал доктор, — что бедный Груш-
ний будет вашей жертвой.

— Дальше, доктор...

— Княгиня сказала, что ваше лицо ей знакомо. Я думаю,
что, верно, она вас встречала в Петербурге, где-нибудь в театре.
Я сказал ваше имя. Оно было ей известно. Кажется, ваша
кня там наделала много шума... Княгиня стала рассказывать
ваших похождениях, прибавляя, вероятно, к светским описаниям
свои замечания... Дочка слушала с любопытством. В её вообра-
жении вы сделались героем романа в новом вкусе... Я не при-
решил княгине, хотя знал, что она говорит вздор.

— Достойный друг! — сказал я, протянув ему руку. Доктор
пожал её с чувством и продолжал:

— Если хотите, я вас представляю...

— Помилуйте! — сказал я, всплеснув руками: — разве героев
представляют? Они не иначе знакомятся, как спасая от глупой
смерти свою любезную...

— И вы в самом деле хотите излочиться за княжну?

— Напротив, совсем напротив!.. Доктор, наконец я торжес-
тую: вы меня не понимаете!.. Это меня, впрочем, огорчает. Я
тор, — продолжал я после минуты молчания: — я никогда сам
открываю моих тайн, а ужасно люблю, чтоб их отгадывали, по-
тому что таким образом я всегда могу при случае от них отпе-
реться. Однако ж, вы мне должны описать маменьку с дочкой.
Что она за люди?

— Во-первых, княгиня — женщина сорока пяти лет, — отвечал
Вернер: — у неё прекрасный желудок, но кровь испорчена: на

щеках красные пятна. Последнюю половину своей жизни она провела в Москве и тут на покое растолстела. Она любит соблазнительные анекдоты и сама говорит иногда неприличные вещи, когда дочери нет в комнате. Она мне объявила, что дочь её невинна как голубь. Какое мне дело?.. Я хотел ей отвечать, чтоб она была спокойна, что я никому этого не скажу! Княгиня лечится от ревматизма, а дочь бог знает от чего; я велел обнимать по два стакана в день кислосерной воды и купаться два раза в неделю в разводной ванне. Княгиня, кажется, не привыкла повелевать: она питает уважение к уму и знаниям. Делки, которая читала Байрона по-английски и знает алгебру: в Москве, видишь, барышни пустились в учёность, и хорошо делают — право! Наши мужчины так не любезны вообще, что с ними кокетничать довольно быть для умной женщины бесполезно. Княгиня очень любит молодых людей; княжна смотрит на них с некоторым презрением: — московская привычка! Они в Москве только и питаются, что сорокалетними остряками.

— А вы были в Москве, доктор?

— Да, я имел там некоторую практику.

— Продолжайте.

— Да я, кажется, всё сказал... Да! вот ещё: княжна, кажется, любит рассуждать о чувствах, страстях и проч... Она была одну зиму в Петербурге, и он ей не понравился, особенно общество её, верно, холодно приняли.

— Вы никого у них не видали сегодня?

— Напротив; был один адъютант¹, один натянутый гвардеец и какая-то дама из новоприезжих, родственница княгини по мужу, очень хорошенькая, но очень, кажется, больная... Не встретили ли вы её у колодца? — она среднего роста, блондинка, с привильными чертами, цвет лица чахоточный, а на правой щеке чёрная родинка: её лицо меня поразило своею выразительностью.

— Родинка! — пробормотал я сквозь зубы. — Неужели?

Доктор посмотрел на меня и сказал торжественно, положив мне руку на сердце:

— Она вам знакома!..

Моё сердце, точно, билось сильнее обыкновенного.

— Теперь ваша очередь торжествовать! — сказал я: — только я на вас надеюсь: вы мне не измените! Я её не видал ещё, но уверен, узнаю в вашем портрете одну женщину, которую любит встарину... Не говорите ей обо мне ни слова; если она спросит, отнеситесь обо мне дурно.

— Пожалуй! — сказал Вернер, пожав плечами.

Когда он ушёл, то ужасная грусть стеснила моё сердце. Судьба ли нас свела опять на Кавказе, или она нарочно сюда приехала, зная, что меня встретит?.. и как мы встретимся?.. и по-

¹ Адъютант — офицер для исполнения различных поручений при начальнике крупной части.

...и что?.. Мои предчувствия меня никогда не
...и сердце человека, над которым прошедшее приоб
...и власть, как надо мною. Всякое напоминание о ми
...и радости болезненно ударяет в мою душу и н
...и всё те же звуки... Я глупо создан: ничего не з
...иного!

После обеда, часов в шесть, я пошёл на бульвар. Там
...и сидели на скамье, окружённые
...и перерыв. Я поместился
...и на другой лавке, остановил двух
...и начал им что-то рассказывать: — Видно, б
...и потому что они начали хохотать, как сумасшедшие. Т
...и привлекло ко мне некоторых из окружающих. М
...и все её покинули и присоединились к
...и. Я не умолкал: мои анекдоты были умны до глупости и
...и над проходящими мимо оригиналами были злы до
...и. Я продолжал увеселять публику до захождения
...и. Несколько раз княжна под ручку с матерью проходила
...и меня, сопровождаемая каким-то хрым старичком; н
...и её взгляд, упавая на меня, выражал досаду, ста
...и выразить равнодушие...

— Что он вам рассказывал? — спросила она у одного из мо
...и людей, возвратившихся к ней из вежливости: — верно,
...и занимательную историю — свои подвиги в сражениях?..
Она сказала это довольно громко и вероятно с намерением коль
...и меня. «А-га! — подумал я, — вы не на шутку сердитесь, ми
...и княжна; погодите, то ли ещё будет!»

Грушницкий следил за нею, как хищный зверь, и не спускал
...и с глаз. Бьюсь об заклад, что завтра он будет просить, чтоб его
...и представил княгине. Она будет очень рада, потому
...и что ей скучно.

16-го мая

В продолжение двух дней мои дела ужасно подвинулись.
Княжна меня решительно ненавидит; мне уже пересказывали
...и три элиграммы на мой счёт, довольно колкие, но вместе с
...и очень лестные. Ей ужасно странно, что я, который привык к
...и хорошему обществу, который так короток с её петербургскими
...и кузинами¹ и тётушками, не стараюсь познакомиться с нею. Мы
...и встречаемся каждый день у колодца, на бульваре; я употребляю
...и все свои силы на то, чтобы отвлекать её обожателей, блестящих
...и адъютантов, бледных москвичей и других, — и мне почти всегда
...и удаётся. Я всегда ненавидел гостей у себя: теперь у меня каждый
...и день этот дом, обедают, ужинают, играют — и, увы! моё шам
...и панское торжествует над силою магнетических её глазок!

¹ Кузина — двоюродная сестра.

до
не ск
рубл
взы
обеда
лоша
говор
Княж
метил
ются,
Гр
за сп
едва
и сказ
борчи
улыбк
—
сказа
—
—
шее об
—
бывае
—
как-то
Друго
—
умееш
ская
лает п
Гр
—
—
лена.
Он
О с
земной
—
ся:— в
—
—
позна
б я им
ло! —
щины
—
Грешн.

— Когда я её встретил в магазине Челахова; она торговала персидскими коврами. Княжна уранивала свою мамочку и бабушку: этот ковер так украсил бы её кабинет!.. Я дал сорочку рублём личинку и перекунил его; за это я был вознаграждён взглядом, где блистало самое восхитительное бешенство. Около обеда я велел нарочно провести мимо её окон мою черкесскую лошадь, покрытую этим ковром. Вернер был у них в это время и говорил мне, что эффект этой сцены был самый драматический. Княжна хочет проповедовать против меня ополчение; я даже заметил, что уж два адъютанта при ней со мною очень сухо кланяются, однако всякий день у меня обедают.

Грушницкий принял таинственный вид: ходит, закинув руки за спину, и никого не узнаёт; нога его вдруг выздоровела: он едва хромает. Он нашёл случай вступить в разговор с княгиней и сказать какой-то комплимент княжне; она, видно, не очень разборчива, ибо с тех пор отвечает на его поклон самой милой улыбкой.

— Ты решительно не хочешь познакомиться с Лиговскими? — сказал он мне вчера.

— Решительно.

— Помилуй! самый приятный дом на водах! Всё здешнее лучшее общество...

— Мой друг, мне и нездешнее ужасно надоело. А ты у них бываешь?

— Нет ещё; я говорил раза два с княжной, и более. Знаешь, как-то напрашиваться в дом целовко, хотя здесь это и водится... Другое дело, если бы я носил эполеты...

— Помилуй! да этак ты гораздо интересней! Ты просто не умеешь пользоваться своим выгодным положением... Да солдатская шинель в глазах всякой чувствительной барышни тебя делает героем и страдальцем.

Грушницкий самодовольно улыбнулся.

— Какой вздор! — сказал он.

— Я уверен, — продолжал я, — что княжна в тебя уж влюблена.

Он покраснел до ушей и надулся.

О самолюбие! ты рычаг, которым Архимед¹ хотел приподнять земной шар!

— У тебя всё шутки! — сказал он, показывая, будто сердится: — во-первых, она меня ещё так мало знает...

— Женщины любят только тех, которых не знают.

— Да я вовсе не имею претензий ей нравиться: я просто хочу познакомиться с приятным домом, и было бы очень смешно, если б я имел какие-нибудь надежды... Вот вы, например, другое дело! — вы, победители петербургские: только посмотрите, так женщины тают... А знаешь ли, Печорин, что княжна о тебе говорила?

¹ Архимед (287—212 гг. до н. э.) — великий математик и физик древней Греции.

— Как? Она тебе уже говорила обо мне?..

— Не ругайся, однако. Я как то ветушил с ней... случайно; третье слово её было: «кто ты?», у которого такой неприятный тяжёлый взгляд? он был... Вот тогда...» Она покраснела и не хотела назвать дня, вполнени свою милую выходку. — Вам не нужно сказывать дня, — отвечал я ей: — он вечно будет мне памятен... Мой друг, Печорин! я тебя не поздравляю: ты у неё на дурном замечании... А, право, жалко потому что Мери очень мила!

Надобно заметить, что Грушницкий из тех людей, которые, говоря о женщине, с которой они едва знакомы, называют её *моя Мери, моя Sophie*¹, если она имела счастье им понравиться.

Я принял серьёзный вид и отвечал ему:

— Да, она недурна... Только берегись, Грушницкий! Русские барышни большею частью питаются только платонической любовью², не примешивая к ней мысли о замужестве; а платоническая любовь самая беспокойная. Княжна, кажется, из тех женщин, которые хотят, чтоб их забавляли; если две минуты сряду ей будет возле тебя скучно, ты погиб невооруженно: твоё молчание должно возбудить её любопытство, твой разговор — никогда не удовлетворять его вполне; ты должен её тревожить ежеминутно; она десять раз публично для тебя пренебрежёт мнением и назовёт это жертвой, и, чтоб вознаградить тебя за это, станет тебя мучить, — а потом просто скажет, что она тебя терпеть не может. Если ты над нею не приобретёшь власти, то даже её первый поцелуй не даст тебе права на второй; она с тобой накокетничается вдоволь, а года через два выйдет замуж за уроды, из покорности к маменьке, и станет тебя уверять, что она несчастна, что она одного только человека и любила, то есть тебя, но что небо не хотело соединить её с ним, потому что на нём была солдатская шинель, хотя под этой толстой серой шинелью билось сердце страстное и благородное...

Грушницкий ударил по столу кулаком и стал ходить взад и вперёд по комнате.

Я внутренно хохотал и даже раза два улыбнулся, но он, к счастью, этого не заметил. Явно, что он влюблён, потому что стал ещё доверчивее прежнего; у него даже появилось серебряное кольцо с червью, здешней работы: оно мне показалось подозрительным. Я стал его рассматривать и что же?.. мелкими буквами имя *Мери* было вырезано на внутренней стороне, и рядом — число того дня, когда она подняла знаменитый стакан. Я утаил своё открытие; я не хочу вынуждать у него признаний; я хочу, чтобы он сам выбрал меня в свои верные, — и тут-то я буду наслаждаться...

¹ София.

² Платоническая любовь — идеальная любовь, чуждая всякой чувственности.

Сегодня я встал поздно; прихожу к колодезю —
Становилось жарко: белые мохнатые тучки бегали по
снеговых гор, обещая грозу: голова Машука дымилась, как
гашенный факел; кругом его виднись и ползали, как змеи, серые
кочки облаков, задержанные в своём стремлении и будто за-
пившиеся за колючий его кустарник. Воздух был напоён электриа-
чеством. Я углубился в виноградную аллею, ведущую в грот;
мне было грустно. Я думал о той молодой женщине с родинкой
на щеке, про которую говорил мне доктор... Зачем она здесь?
И она ли? И почему я думаю, что это она? И почему я даже так
в этом уверен? Мало ли женщин с родинками на щеках? Размыш-
ля таким образом, я подошёл к самому гроту. Смотрю: в про-
хладной тени его свода, на каменной скамье, сидит женщина
в соломенной шляпке, окутанная чёрной шалью, опустив голову
на грудь; шляпка закрывала её лицо. Я хотел уже вернуться,
чтоб не нарушать её мечтаний, когда она на меня взглянула.

— Вера! — вскрикнул я невольно.

Она вздрогнула и побледнела.

— Я знала, что вы здесь, — сказала она.

Я сел возле неё и взял её руку. Давно забытый трепет про-
бежал по моим жилам при звуке этого милого голоса; она по-
смотрела мне в глаза своими глубокими и спокойными глаза-
ми: — в них выражалась недоверчивость и что-то похожее на упрёк.

— Мы давно не видались, — сказал я.

— Давно, и переменились оба во многом!

— Стало быть, уж ты меня не любишь?..

— Я замужем!.. — сказала она.

— Опять? Однако несколько лет тому назад эта причина так-
же существовала, но между тем...

Она выдернула свою руку из моей, и щёки её запылали.

— Может быть, ты любишь своего второго мужа?..

Она не отвечала и отвернулась.

— Или он очень ревнив?

Молчание.

— Что ж? Он молод, хорош, особенно верно богат, и ты
боишься... — Я взглянул на неё и испугался: её лицо выражало
глубокое отчаяние, на глазах сверкали слёзы.

— Скажи мне, — наконец прошептала она: — тебе очень весе-
ло меня мучить? Я бы тебя должна ненавидеть. С тех пор как мы
знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий... —
Её голос задрожал; она склонилась ко мне и опустила голову на
грудь мою.

«Может быть, — подумал я: — ты оттого-то именно меня и лю-
била: радости забываются, а печали никогда...»

Я её крепко обнял, и так мы оставались долго. Наконец, губы

¹ Грот — естественная пещера в горе.

они сблизились и сблизились в жаркий, упорный по-
и были холодны, как лёд, голова горела. Тут между
ся один из тех разговоров, которые на бумаге не им
хотеть даже запомнить; и
и доминирует значение слов, как в итальянск

Она решительно не хочет, чтоб я познакомился с её мужем,
том хроническим старичком, которого я видел мельком на бульваре,
она вышла за него для сына. Он богат и страдает ревматизмом.
Я не позволил себе над ним ни одной насмешки: она его уважает,
как отца — и будет обманывать, как мужа... Странная вещь сер-
дце человеческое вообще, и женское в особенности!

Муж Веры, Семён Васильевич Г...в, дальний родственник кня-
гини Лиговской. Он живёт с нею рядом; Вера часто бывает
у княгини; я ей дал слово познакомиться с Лиговскими и вод-
диться за княжной, чтоб отвлечь от неё внимание. Таким образом,
мои планы нимало не расстроились, и мне будет весело...

Весело!.. Да, я уже прошёл тот период жизни душевной, когда
ищут только счастья, когда сердце чувствует необходимость лю-
бить сильно и страстно кого-нибудь: теперь я только хочу быть
любимым, и то очень немногими; даже мне кажется, одной посто-
янной привязанности мне было бы довольно: жалкая привычка
сердца!..

Одно мне всегда было странно: я никогда не делался рабом
любимой женщины, напротив, я всегда приобретал над их волей
и сердцем непобедимую власть, вовсе об этом не стараясь. Отчего
это? оттого ли, что я никогда ничем очень не дорожу и что они
ежеминутно боялись выпустить меня из рук? или это — магнети-
ческое влияние сильного организма? или мне просто не удавалось
встретить женщину с упорным характером?

Надо признаться, что я, точно, не люблю женщин с характе-
ром: их ли это дело!...

Правда, теперь вспомнил: один раз, один только раз я любил
женщину с твёрдой волей, которую никогда не мог победить...
Мы расстались врагами, — и то, может быть, если б я её встретил
пятью годами позже, мы расстались бы иначе...

Вера больна, очень больна, хотя в этом и не признаётся; я
боюсь, чтобы не было у неё чахотки или той болезни, которую на-
зывают *fièvre lente*¹ — болезнь не русская вовсе, и ей на нашем
языке нет названия.

Гроза застала нас в гроте и удержала лишние полчаса. Она
не заставляла меня клясться в верности, не спрашивала, любил ли
я других с тех пор, как мы расстались... Она вверилась мне снова
с прежней беспечностью, — и я её не обману: она единственная
женщина в мире, которую я не в силах был бы обмануть. Я знаю,
мы скоро разлучимся опять и, может быть, навеки: оба пойдём
разными путями до гроба; но воспоминание о ней останется непри-

¹ Изнурительная лихорадка.

костно
риг, х
На

её шл
болез
обраде
твори
её про
смешн
но ещё
за гор

Воз
скакат
го ветр
взоры
тов, ко
горест
мысль,
тела по
забыл
виде го
са на у

Я д
чушего
верно,
говорил
кабард
этой бл
ного га
шапке
черевик
черкеск
нельзя
кусство
шадей:
одному
ствием
часов п
моя бы
ска в не
riquepi
скаясь
сенью в
громады
в один
ками, я

¹ Нога
² Пика

рит, хотя говорит противное.

Наконец мы расстались: я долго следил за верой, как она не скрылась за кустарниками и скалами. Садистически жестоко, как после первого расставания. О, как я обрадовался этому чувству! Уж не молодость ли с своими творческими бурями хочет вернуться ко мне опять, или это только её прощальный взгляд, последний подарок, — на память?.. Смешно подумать, что на вид я ещё мальчик: лицо хотя бледное, но ещё свежо; члены гибки и стройны; густые кудри вьются, глаза за горят, кровь кипит...

Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь. Я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве, против пустого ветра; с жадностью глотаю я благовонный воздух и устремляю взоры в синюю даль, стараясь уловить туманные очерки предметов, которые ежеминутно становятся всё яснее и яснее. Какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни томilo мысль, всё в минуту рассеется; на душе станет легко, усталость тела победит тревогу ума. Нет женского взора, которого бы я не забыл при виде кудрявых гор, озарённых южным солнцем, при виде голубого неба или внимая шуму потока, падающего с утёса на утёс.

Я думаю, казаки, зевающие на своих вышках, видя меня скачущего без нужды и цели, долго мучились этою загадкой, ибо, верно, по одежде приняли меня за черкеса. Мне в самом деле говорили, что в черкесском костюме верхом я больше похож на кабардинца, чем многие кабардинцы. И точно, что касается до этой благородной боевой одежды, я совершенный денди; ни одного галуна лишнего; оружие ценное в простой отделке, мех на шапке не слишком длинный, не слишком короткий; ноговицы и черевики¹ пригнаны со всевозможной точностью; бешмет белый, черкеска тёмно-бурая. Я долго изучал горскую посадку: ничем нельзя так польстить моему самолюбию, как признавая моё искусство в верховой езде на кавказский лад. Я держу четырёх лошадей: одну для себя, трёх для приятелей, чтоб не скучно было одному таскаться по полям; они берут моих лошадей с удовольствием — и никогда со мной не ездят вместе. Было уже шесть часов пополудни, когда вспомнил я, что пора обедать; лошадь моя была измучена; я выехал на дорогу, ведущую из Пятигорска в немецкую колонию, куда часто водяное общество ездит еп^{ри}quepique². Дорога идёт извиваясь между кустарниками, опускаясь в небольшие овраги, где протекают шумные ручьи под сенью высоких трав; кругом амфитеатром возвышаются синие громады Бешту, Змеиной, Железной и Лысой горы. Спускаясь в один из таких оврагов, называемых на здешнем наречии балками, я остановился, чтоб напоить лошадь; в это время показались

¹ Ноговицы — суконные или кожаные гамачи. Черевьки — ботинки.

² Пикник — увеселительная прогулка за город, устраиваемая группой лиц.

даже на дороге шумная и блестящая кавалькада¹; дамы в чёр-
ных амазонках², кавалеры в костюмах, солдаты в
красных куртках с амманоуэвскими; впереди ехал Грушницкий
с княжной Мери.

До сих пор она ещё верит нападениям черкесов среди белого
дня; вероятно, поэтому Грушницкий сверх солдатской шинели во-
всю надел и пару пистолетов: он было довольно смелым в
этом черкесском облачении. Высокий куст закрывал меня от них,
но сквозь листья его я мог видеть всё и отгадать по выражениям
их лиц, что разговор был сентиментальный. Наконец они прибли-
зились к спуску; Грушницкий взял за повод лошадь княжны, и
тогда я услышал конец их разговора:

— И вы целую жизнь хотите остаться на Кавказе? — говори-
ла княжна.

— Что для меня Россия, — отвечал её кавалер: — страна, где
тысячи людей, потому что они богаче меня, будут смотреть на
меня с презрением, тогда как здесь, — здесь эта толстая шинель
не помешала моему знакомству с вами...

— Напротив... — сказала княжна, покраснев.

Лицо Грушницкого изобразило удовольствие. Он продолжал:

— Здесь моя жизнь протечёт шумно, незаметно и быстро, под
пулями дикарей, и если бы бог мне каждый год посылал один
светлый женский взгляд, один, подобный тому...

В это время они поравнялись со мной; я ударил плетью по
лошади и выехал из-за куста...

— Mon dieu, un circassien!..³ — вскрикнула княжна в ужасе.

Чтоб её совершенно разуверить, я отвечал по-французски,
слегка наклонясь:

— Ne craignez rien, madame, — je ne suis pas plus dangereux
que votre cavalier⁴.

Она смутилась, — но отчего? от своей ошибки, или оттого, что
мой ответ ей показался дерзким? — Я желал бы, чтоб последнее
моё предположение было справедливо. Грушницкий бросил на
меня недовольный взгляд.

Поздно вечером, то есть часов в одиннадцать, я пошёл гулять
по липовой аллее бульвара. Город спал, только в некоторых ок-
нах мелькали огни. С трёх сторон чернели гребни утёсов, отра-
ли Машука, на вершине которого лежало зловещее облачко; ме-
сяц подымался на востоке; вдали серебряной бахромой сверкали
снеговые горы. Оклики часовых перемежались с шумом горячих
ключей, спущенных на ночь. Порою звучный топот коня разда-
вался по улице, сопровождаемый скрипом нагайской арбы⁵ и
заунывным татарским припевом. Я сел на скамью и задумался...

¹ Кавалькада — здесь: группа всадников, едущих на прогулку.

² Амазонка — здесь: длинное женское платье для верховой езды.

³ Боже мой, черкес.

⁴ Не бойтесь ничего, сударыня, — я не более опасен, чем ваш кавалер.

⁵ Арба — двухколёсная телега.

и чувствовал необходимость излить свои мысли в дружеском разговоре... но с кем?.. «Что делает теперь Вера?» думал я... Я бы дорого дал, чтоб в эту минуту пожать её руку.

Вдруг слышу быстрые и неровные шаги... Верно, Грушницкий... Так и есть!

— Откуда?

— От княгини Лиговской, — сказал он очень важно. — Как Мери поёт!..

— Знаешь ли что? — сказал я ему: — я пари держу, что она не знает, что ты юнкер; она думает, что ты разжалованный...

— Может быть! Какое мне дело!.. — сказал он рассеянно.

— Нет, я только так это говорю...

— А знаешь ли, что ты нынче её ужасно рассердил? Она нашла, что это неслыханная дерзость; я насилу мог её уверить, что ты так хорошо воспитан и так хорошо знаешь свет, что не мог иметь намерения её оскорбить; она говорит, что у тебя наглый взгляд, что ты, верно, о себе самого высокого мнения.

— Она не ошибается... А ты не хочешь ли за неё вступиться?

— Мне жаль, что я не имею ещё этого права...

«Ого! — подумал я: — у него, видно, есть уже надежды...»

— Впрочем, для тебя же хуже, — продолжал Грушницкий: — теперь тебе трудно познакомиться с ними — а жаль! это один из самых приятных домов, какие я только знаю...

Я внутренно улыбнулся.

— Самый приятный дом для меня теперь мой, — сказал я, зевая, и встал, чтоб идти.

— Однако признайся, ты раскаиваешься?..

— Какой вздор! если я захочу, то завтра же буду вечером у княгини...

— Посмотрим...

— Даже, чтоб тебе сделать удовольствие, стану волочиться за княжной...

— Да, если она захочет говорить с тобой...

— Я подожду только той минуты, когда твой разговор ей наскучит... Прощай!..

— А я пойду шататься, — я ни за что теперь не засну... Послушай, пойдём лучше в ресторан, там игра... мне нужны нынче сильные ощущения...

— Желаю тебе проиграться.

Я пошёл домой.

21-го мая

Прошла почти неделя, а я ещё не познакомился с Лиговскими. Жду удобного случая. Грушницкий, как тень, следует за княжной везде; их разговоры бесконечны: когда же он ей наскучит?.. Мать не обращает на это внимания, потому что он не жечних. Вот логика матерей! Я подметил два, три нежных взгляда, — надо этому положить конец.

Басра у колодца в первый раз явилась Вера... Они
... не выхотят из дома. Мн
... опустили стаканы, и наклонясь, она мне сказала
... не хочется познакомиться с Лиговской².
там можем видаться...

Упрёк!.. скучно! но я его заслужил...

Кстати: завтра бая по подписке в зале ресторации, и я буду танцевать с княжной мазурку.

22-го мая

Зала ресторации превратилась в залу благородного собрания. В десять часов все съехались. Княгиня с дочерью явились из последних; многие дамы посмотрели на неё с завистью и недоброжелательством, потому что княжна Мери одевается со вкусом. Те, которые почитают себя здешними аристократками, утаив зависть, примкнулись к ней. Как быть? Где есть общество женщин, там сейчас явится высший и низший круг. Под окном, в толпе народа, стоял Грушницкий, прижав лицо к стеклу и не спуская глаз с своей богини; она, проходя мимо, едва приметно кивнула ему головой. Он просиял, как солнце... Танцы начались польским; потом заиграли вальс. Шпоры зазвенели, фалды поднялись и закружились.

Я стоял сзади одной толстой дамы, осенённой розовыми перьями; пышность её платья напоминала времена фижм¹, а пестрота её негладкой кожи — счастливую эпоху мушек из чёрной тафты. Самая большая бородавка на её шее прикрыта была фермуаром². Она говорила своему кавалеру, драгунскому капитану:

— Эта княжна Лиговская пренесносная девчонка! Вообразите, толкнула меня и не извинилась, да ещё обернулась и посмотрела на меня в лорнет... *C'est impayable!*...³ И чем она гордится? Уж её надо бы проучить...

— За этим дело не станет! — отвечал услужливый капитан и отправился в другую комнату.

Я тотчас подошёл к княжне, приглашая её вальсировать, пользуясь свободой здешних обычаев, позволяющих танцевать с незнакомыми дамами.

Она едва могла принудить себя не улыбнуться и скрыть своё торжество; ей удалось, однако, довольно скоро принять совершенно равнодушный и даже строгий вид. Она небрежно опустила руку на моё плечо, наклонила слегка головку набок, и мы пустились. Я не знаю талии более сладострастной и гибкой! Её свежее дыхание касалось моего лица; иногда локон, отделившийся в вихре вальса от своих товарищей, скользил по горячей щеке моей... Я сделал три тура (она вальсирует удивительно хорошо).

¹ *Фижмы* — широкие юбки; поддерживались при помощи пластинок из китового уса; были в моде в XVII—XVIII вв.

² *Фермуар* — богато украшенное ожерелье из драгоценных камней с застёжкой.

³ Это возмутительно.

...и губки сдвинулись, и он вынул из кармана платок, вынул из него перчатку, и перчатку сунул в рот.

— Я вам вовсе незнаком, я имел честь познакомиться с вами только в том, что вы меня нашли.

— И вы хотите уверить в этом мнение? — отвечала княжна с гримаской, которая, впрочем, очень шла к её прекрасной фигуре.

— Если я имел дерзость вас чем-нибудь оскорбить, то прошу вас простить мою дерзость просить у вас прощения. И право, я бы очень желал доказать вам, что вы насчёт меня ошибались...

— Вам это будет довольно трудно...

— Отчего же?

— Оттого, что вы у нас не бываете, а эти балы, вероятно, не часто будут повторяться.

«Это значит, — подумал я, — что их двери для меня навеки закрыты».

— Знаете, княжна, — сказал я с некоторой досадой: — никогда не должно отвергать кающегося преступника: с отчаяния он может сделаться ещё вдвое преступнее... и тогда...

Шумок и шушуканье нас окружающих заставили меня обернуться и прервать мою фразу. В нескольких шагах от меня стояла группа мужчин, и в их числе драгунский капитан, изъявивший враждебные намерения против милой княжны; он особенно был чем-то очень доволен, потирал руки, хохотал и перемигивался с товарищами. Вдруг из среды их отделился господин во фраке, с длинными усами и красной рожей и направил неверные шаги свои прямо к княжне: он был пьян. Остановясь против смущавшейся княжны и заложив руки за спину, он уставил на неё мутно-серые глаза и произнёс хриплым дискантом...

— Промете... ну, да что тут!.. просто, ангажирую¹ вас на мазурку...

— Что вам угодно? — произнесла она дрожащим голосом, бросая кругом умоляющий взгляд. Увы! её мать была далеко, и возле никого из знакомых ей кавалеров не было; один адъютант, кажется, всё это видел, да спрятался за толпой, чтоб не быть замешану² в историю.

— Что же? — сказал пьяный господин, мигнув драгунскому капитану, который ободрял его знаками: — разве вам не угодно?.. И-таки счастливо имею честь вас ангажировать роуг тазиге...³ Вы, может, думаете, что я пьян? Это ничего! Гораздо свободнее, могу вас уверить...

¹ Прометей... ангажирую — разрешите... приглашаю.

² Замешану (старый оборот речи) — замешанным.

³ На мазурку.

Я видел, что она готова упасть в обморок от страха и негодования.

— Клянусь, к моему несчастию, вышло это дело не так, как я хотел, — сказал я, пристально в глаза, попросив у неё прощения, — потому, признавая я, что княжна давно уж обещалась танцевать мазурку со мною.

— Ну, этого делать!.. в другой раз! — сказала она, засмеявшись, и удалилась к своим пристыженным товарищам, которые тотчас усадили его в другую комнату.

Я был вознаграждён глубоким, чудесным взглядом.

Княжна подошла к своей матери и рассказала ей все; та отыскала меня в толпе и благодарила. Она объявила мне, что знала мою мать и была дружна с полдюжиной моих тётушек.

— Я не знаю, как случилось, что мы до сих пор с вами незнакомы, — прибавила она. — Но признайтесь, вы этому одни виновны; вы дичитесь всех так, что ни на что не похоже. Я надеюсь, что воздух моей гостиной разгонит ваши силы¹... Не правда ли?

Я сказал ей одну из тех фраз, которые у всякого должны быть заготовлены на подобный случай.

Кадрили тянулись ужасно долго.

Наконец, с хор загрела мазурка: мы с княжной уселись.

Я не намекал ни разу ни о пьяном господине, ни о прежнем моём поведении, ни о Грушницком. Впечатление, произведённое на неё неприятною сценою, мало-помалу рассеялось; личико её расцвело; она шутила очень мило; её разговор был остёр, без притязания на остроту, жив и свободен; её замечания иногда глубоки... Я дал ей почувствовать очень запутанной фразой, что она мне давно нравится. Она наклонила головку и слегка покраснела.

— Вы странный человек! — сказала она потом, подняв на меня свои бархатные глаза и принуждённо засмеявшись.

— Я не хотел с вами знакомиться, — продолжал я, — потому что вас окружает слишком густая толпа поклонников, и я боюсь в ней исчезнуть совершенно.

— Вы напрасно боялись! они все прескучные...

— Все! неужели все?

Она посмотрела на меня пристально, стараясь будто припомнить что-то, потом опять слегка покраснела и, наконец, произнесла решительно: *все!*

— Даже мой друг Грушницкий?

— А он ваш друг? — сказала она, показывая некоторое сомнение.

— Да.

— Он, конечно, не входит в разряд скучных...

— Но в разряд несчастных, — сказал я смеясь.

— Конечно! А вам смешно? Я б желала, чтобы вы были на его месте...

¹ Силин — хандра, тоска.

— Что ж? я был сам некогда юнкером и, право, это самое лучшее время моей жизни!

— А разве ей юнкер?.. — сказала она быстро и потом прибавила: — а я думала...

— Что вы думали?..

— Ничего!.. Кто эта дама?

Тут разговор переменял направление и к этому уж более не возвращался.

Вот мазурка кончилась, и мы расстались — до свидания. Дамы разъехались... Я пошёл ужинать и встретил Вернера.

— А-га! — сказал он: — так-то вы! А ещё хотели не иначе знакомиться с княжной, как спасти её от верной смерти.

— Я сделал лучше, — отвечал я ему: — спас её от обморока на бале...

— Как это? Расскажите!

— Нет, отгадайте, — о вы, отгадывающий всё на свете!

23-го мая

Около семи часов вечера я гулял на бульваре. Грушницкий, увидев меня издали, подошёл ко мне: какой-то смешной восторг блистал в его глазах. Он крепко пожал мне руку и сказал трагическим голосом:

— Благодарю тебя, Печорин... Ты понимаешь меня?..

— Нет, но во всяком случае не стоит благодарности, — отвечал я, не имея точно на совести никакого благодеяния.

— Как? а вчера? ты разве забыл?.. Мери мне всё рассказала...

— А что? разве у вас уж нынче всё общее? — и благодарность?..

— Послушай, — сказал Грушницкий очень важно: — пожалуйста, не подшучивай над моей любовью, если хочешь остаться моим приятелем... Видишь: я её люблю до безумия... и я думаю, я надеюсь, она также меня любит... У меня есть до тебя просьба: ты будешь нынче у них вечером; обещай мне замечать всё; я знаю, ты опытен в этих вещах, ты лучше меня знаешь женщин... Женщины! женщины! кто их поймёт? Их улыбки противоречат их взорам, их слова обещают и манят, а звук их голоса отталкивает... То они в минуту постигают и угадывают самую потаённую нашу мысль, то не понимают самых ясных намёков... Вот хоть княжна: вчера её глаза пылали страстью, останавливаясь на мне, нынче они тусклы и холодны...

— Это, может быть, следствие действия вод, — отвечал я.

— Ты во всём видишь худую сторону... — матерьялист! — прибавил он презрительно. — Впрочем, переменю материю... — довольный плохим каламбуром, он развеселился.

В девятом часу мы вместе пошли к княгине.

Проходя мимо окон Веры, я увидел её у окна. Мы кинули друг другу беглый взгляд. Она вскоре после нас вошла в гостиную Лиговских. Княгиня меня ей представила, как своей родственни-

...или чай, гостей было много; разговор был оживлен. Я раба понравиться княгине, шутил, заставлял её смеяться от души; княжне также не раз хотелось пошутить, она удерживалась, чтоб не выйти из принятой роли: она знает, что томность к ней идёт — и, может быть, не ошибается. Грушницкий, кажется, очень рад, что моя весёлость её развлекает.

После чая все пошли в залу.

— Довольна ль ты моим послушанием, Вера? — спросил, проходя мимо её.

Она мне кинула взгляд, исполненный любви и благодарности. Я привык к этим взглядам; но некогда они составляли для меня блаженство. Княгиня усадила дочь за фортепьяно; все присутствующие спеть что-нибудь, — я молчал и, пользуясь суматохой, отбежал к окну с Верой, которая мне хотела сказать что-то очень важное для нас обоих... Вышло — вздор...

Между тем княжне моё равнодушие было досадно, как я мог догадаться по одному сердитому, блестящему взгляду... О, я действительно понимаю этот разговор, немой, но выразительный, как язык, но сильный!..

Она запела: её голос недурён, но поёт она плохо, вероятно, я не слушал. Зато Грушницкий, облокотясь на рояль, против неё пожирал её глазами и поминутно говорил вполголоса: *charmant, délicieux!*¹

— Послушай, — говорила мне Вера: — я не хочу, чтоб ты раскисился с моим мужем, но ты должен непременно понравиться княгине; тебе это легко: ты можешь всё, что хочешь. Мы зато только будем видеться...

— Только?..

Она покраснела и продолжала:

— Ты знаешь, что я твоя раба; я никогда не умела тебе противиться... и я буду за это наказана: ты меня разлюбишь! Но крайней мере я хочу сберечь свою репутацию... не для себя, а для этого знаешь очень хорошо!.. О, я прошу тебя: не мучь меня своим прежним пустыми сомнениями и притворной холодностью. Я, может быть, скоро умру, я чувствую, что слабею со дня на день, и, несмотря на это, я не могу думать о будущей жизни, я думаю только о тебе... Вы, мужчины, не понимаете наслаждений, вы не знаете пожатия руки... а я, клянусь тебе, я, прислушиваясь к твоим словам, чувствую такое глубокое, странное блаженство, что самые жаркие поцелуи не могут заменить его.

Между тем княжна Мери перестала петь. Ропот похвал раздался вокруг неё; я подошёл к ней после всех и сказал ей что-то насчёт её голоса довольно небрежно.

Она сделала гримаску, выдвинув нижнюю губу, и приселал очень насмешливо.

¹ Очаровательно! Восхитительно!

— Мне это тем более лестно, — сказала она: — что вы меня вовсе не слушали: но вы, может быть, не любите музыки?..

— Напротив... после обеда особенно.

— Грушницкий прав, говоря, что у вас самые прозаические вкусы... и я вижу, что вы любите музыку в гастрономическом отношении...

— Вы ошибаетесь опять: я вовсе не гастрон, у меня прескверный желудок. Но музыка после обеда усыпляет, а спать после обеда здорово: следовательно, я люблю музыку в медицинском отношении. Вечером же она, напротив, слишком раздражает мои нервы: мне делается или слишком грустно, или слишком весело. То и другое утомительно, когда нет положительной причины грустить или радоваться, и притом грусть в обществе смешна, а слишком большая весёлость неприлична...

Она не дослушала, отошла прочь, села возле Грушницкого, и между ними начался какой-то сентиментальный разговор: кажется, княжна отвечала на его мудрые фразы довольно рассеянно и неудачно, хотя старалась показать, что слушает его со вниманием, потому что он иногда смотрел на неё с удивлением, стараясь угадать причину внутреннего волнения, изображавшегося иногда в её беспокойном взгляде.

Но я всё отгадал, милая княжна, берегитесь! Вы хотите мне отплатить тою же монетою, кольнуть моё самолюбие, — вам не удастся! и если вы мне объявите войну, то я буду беспощаден. В продолжение вечера я несколько раз нарочно старался вмешаться в их разговор, но она довольно сухо встречала мои замечания, и я с притворною досадой, наконец, удалился. Княжна торжествовала; Грушницкий тоже. Торжествуйте, друзья мои, торопитесь... вам недолго торжествовать! Как быть? У меня есть предчувствие... Знакомясь с женщиной, я всегда безошибочно отгадывал, будет ли она меня любить или нет...

Остальную часть вечера я провёл возле Веры и досыта наговорился о старине... За что она меня так любит, право, не знаю! — Тем более, что это одна женщина, которая меня полюбила совершенно, со всеми моими мелкими слабостями, дурными страстями... Неужели зло так привлекательно?..

Мы вышли вместе с Грушницким; на улице он взял меня под руку и после долгого молчания сказал:

— Ну, что?

«Ты глуп», хотел я ему ответить, но удержался и только пожал плечами.

29-го мая

Все эти дни я ни разу не отступил от своей системы. Книжки начинают нравиться мой разговор; я рассказал ей некоторые из странных случаев моей жизни, и она начинает видеть во мне человека необыкновенного. Я смеюсь над всем на свете, особенно над чувствами: это начинает её пугать. Она при мне не смеет

гаскаться с Грушницким в сентиментальные прения и уже несколько раз отвечала на его выходки насмешливой улыбкой; но всякий раз, как Грушницкий подходит к ней, принимаю смиренный вид и оставляю их вдвоём; в первый раз была она этому рада, или старалась показать; во второй рассердилась на меня; в третий — на Грушницкого.

— У вас очень мало самолюбия! — сказала она мне вчера. — Отчего вы думаете, что мне веселее с Грушницким?

Я отвечал, что жертвую счастию приятеля своим удовольствием...

— И моим, — прибавила она.

Я пристально посмотрел на неё и принял серьёзный вид. Потом целый день не говорил с ней ни слова... Вечером она была задумчива, нынче поутру у колодца ещё задумчивее. Когда я подошёл к ней, она рассеянно слушала Грушницкого, который, кажется, восхищался природой; но только что завидела меня, она стала хохотать (очень некстати), показывая, будто меня не замечает. Я отошёл подальше и украдкой стал наблюдать за ней: она отвернулась от своего собеседника и зевнула два раза. Решительно, Грушницкий ей надоел. — Ещё два дня не буду с ней говорить.

3-го июня

Я часто себя спрашиваю: зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь? К чему это женское кокетство? — Вера меня любит больше, чем княжна Мери будет любить когда-нибудь; если б она мне казалась непобедимой красавицей, то, может быть, я бы завлёкся трудностью предприятия...

Но ничуть не бывало! Следовательно, это не та беспокойная потребность любви, которая нас мучит в первые годы молодости, бросает нас от одной женщины к другой, пока мы найдём такую, которая нас терпеть не может: тут начинается наше постоянство — истинная, бесконечная страсть, которую математически можно выразить линией, падающей из точки в пространство: секрет этой бесконечности — только в невозможности достигнуть цели, то есть конца.

Из чего же я хлопочу? — Из зависти к Грушницкому? Бедняжка! он вовсе её не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего, чтоб иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в отчаянии будет спрашивать, чему он должен верить?

— Мой друг, со мной было то же самое! и ты видишь, однако, я обедаю, ужинаю и сплю преспокойно и, надеюсь, сумею умереть без крика и слёз!

А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок, которого лучший

аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет! Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую всё, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше неспособен безумствовать под влиянием страсти: честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое моё удовольствие — подчинять моей воле всё, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха — не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, — не самая ли это сладкая лища нашей гордости? А что такое счастье? Насыщенная гордость. Если бы я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; если б все меня любили, я в себе нашёл бы бесконечные источники любви. Зло порождает зло; первое страдание даёт понятие об удовольствии мучить другого; идея зла не может войти в голову человека без того, чтоб он не захотел приложить её к действительности: идеи — создания организеские, сказал кто-то: их рождение даёт уже им форму, и эта форма есть действие; тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара¹.

Страсти не что иное, как идеи при первом своём развитии: они принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться: многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря. Но это спокойствие часто признак великой, хотя скрытой силы; полнота и глубина чувств и мыслей не допускает бешеных порывов; душа, страдая и наслаждаясь, даёт во всё себе строгий отчёт и убеждается в том, что так должно; она знает, что без гроз постоянный зной солнца её иссушит; она проникается своей собственной жизнью, — лелеет и наказывает себя, как любимого ребёнка. Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие божие.

Перечитывая эту страницу, я замечаю, что далеко отвлёкся от своего предмета... Но что за нужда?... Ведь этот журнал пишу я для себя, и, следовательно, всё, что я в него ни брошу, будет со временем для меня драгоценным воспоминанием.

Пришёл Грушницкий и бросился мне на шею: он произведён в офицеры. Мы выпили шампанского. Доктор Вернер вошёл вслед за ним.

¹ Апоплексический удар (апоплексия) — поражение участка мозга от кровоизлияния.

— Я вас не поздравляю, — сказал он Грушницкому.

— Отчего?

— Оттого, что солдатская шинель к вам очень и знакома, а армейский пехотный мушкетёр к вам незнаком. Из ваших рассказов, не придаст вам ничего интересного. Из ваших рассказов, пор были исключением, а теперь подвиги ваши — исключение.

— Толкуйте, толкуйте, доктор! Вы мне не можете сказать. Он не знает, — прибавил Грушницкий. — Сколько надежд придали мне эти звезды. О доктор, ваши звёздочки — путеводительные звезды. Я совершенно счастлив.

— Ты идёшь с нами гулять к провалу?

— Я? Ни за что не покажусь княжне, пока не надену мундир.

— Прикажешь ей объявить о твоей радости?

— Нет, пожалуйста, не говори. Я хочу её видеть.

— Скажи мне, однако, как твои дела с нею?

Он смутился и задумался: ему хотелось похвастаться, — и было совестно, а вместе с этим было стыдно признаться в истине.

— Как ты думаешь, любит ли она тебя?..

— Любит ли? Помилуй, Печорин, какие у тебя понятия. Можно так скоро?.. Да если даже она и любит, то порядочная женщина этого не скажет...

— Хорошо! И, вероятно, по-твоему порядочный человек тоже молчать о своей страсти?..

— Эх, братец! на всё есть манера; многое не говорится и гадается...

— Это правда... Только любовь, которую мы читаем в романах, ни к чему женщину не обязывает, тогда как слова... В романе Грушницкий, она тебя надувает...

— Она?.. — отвечал он, подняв глаза к небу и самодовольно улыбнувшись: — мне жаль тебя, Печорин!..

Он ушёл.

Вечером многочисленное общество отправилось к провалу.

По мнению здешних учёных, этот провал не что иное, как старый кратер; он находится на отлогости Машука, в верстах от города. К нему ведёт узкая тропинка между кустарников. Взбираясь на гору, я подал руку княжне, и она её не покидала в продолжение целой прогулки.

Разговор наш начался злословием: я стал перебирать присутствующих и отсутствующих наших знакомых, сначала выходящие, а после дурные стороны. Жёлчь моя изволновалась. Я начал шутя — и кончил искренней злостью. Сперва это её забавляло, а потом испугало.

— Вы опасный человек! — сказала она мне: — я бы лучше желала понасться в лесу под нож убийцы, чем вам на язычок... Я вас

прошу не шутя: когда вам вздумается обо мне говорить дурно, возьмите лучше нож и зарежьте меня, — я думаю, это вам не будет очень трудно.

— Разве я похож на убийцу?..

— Вы хуже...

Я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко-тронутый вид:

— Да, такова была моя участь с самого детства! Все читали на моём лице признаки дурных свойств, которых не было; но их предполагали — и они родились. Я был скромн — меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен. Я был угрюм, — другие дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их, — меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, — меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекала в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца: они там и умерли. Я говорил правду — мне не верили, я начал обманывать. Узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние, — не то отчаяние, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бесильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой: одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла, я её отрезал и бросил, — тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей её половины; но вы теперь во мне разбудили воспоминание о ней, и я вам прочёл её эпитафию¹. Многим все вообще эпитафии кажутся смешными, но мне нет, особенно когда вспомню о том, что под ними покоится. Впрочем, я не прошу вас разделять моё мнение: если моя выходка вам кажется смешна — пожалуйста, смейтесь: предупреждаю вас, что это меня не огорчит нимало.

В эту минуту я встретил её глаза: в них бежали слёзы; рука её, опираясь на мою, дрожала; щёки пылали: ей было жаль меня! Сострадание — чувство, которому покоряются так легко все женщины, впустило свои когти в её неопытное сердце. Во всё время прогулки она была рассеянна, ни с кем не кокетничала, — а это великий признак!

Мы пришли к провалу; дамы оставили своих кавалеров, но она не покидала руки моей. Остроты здешних деиди её не смешили; крутизна обрыва, у которого она стояла, её не пугала, тогда как другие барышни пищали и закрывали глаза.

¹ Эпитафия — надгробная надпись.

На возвратном пути я не возобновлял нашего печального разговора, но на пустые мои вопросы и шутки она отвечала коротко и рассеянно.

— Любили ли вы? — спросил я её, наконец.

Она посмотрела на меня пристально, покачала головой — и опять впала в задумчивость: явно было, что ей хотелось что-то сказать, но она не знала, с чего начать; её грудь волновалась... Как быть! кисейный рукав — слабая защита, и электрическая искра пробегала из моей руки в её руку; все почти страсти начинаются так, и мы часто себя очень обманываем, думая, что нас женщины любят за наши физические или нравственные достоинства; конечно, они готовят, располагают её сердце к принятию священного огня, а всё-таки первое прикосновение решает дело.

— Не правда ли, я была очень любезна сегодня? — сказала мне княжна с принуждённой улыбкой, когда мы возвратились с гулянья.

Мы расстались.

Она недовольна собой; она себя обвиняет в холодности... О, это первое, главное торжество! Завтра она захочет вознаградить меня. Я всё это уж знаю наизусть — вот что скучно!

4-го июня

Нынче я видел Веру. Она замучила меня своею ревностью. Княжна вздумала, кажется, ей поверять свои сердечные тайны: надо признаться, удачный выбор!

— Я отгадываю, к чему всё это клонится, — говорила мне Вера: — лучше скажи мне просто теперь, что ты её любишь.

— Но если я её не люблю?

— То зачем же её преследовать, тревожить, волновать её воображение?... О, я тебя хорошо знаю! Послушай, если ты хочешь, чтоб я тебе верила, то приезжай через неделю в Кисловодск; послезавтра мы переезжаем туда. Княгиня остаётся здесь дольше. Найми квартиру рядом; мы будем жить в большом доме близ источника, в мезонине; внизу княгиня Лиговская, а рядом есть дом того же хозяина, который ещё не занят. Приедешь?..

Я обещал — и тот же день послал занять эту квартиру.

Грушницкий пришёл ко мне в шесть часов вечера и объявил, что завтра будет готов его мундир, как раз к балу.

— Наконец, я буду танцевать с нею целый вечер... Вот и говорюсь! — прибавил он.

— Когда же бал?

— Да завтра! Разве ты не знаешь? Большой праздник, и здешнее начальство взялось его устроить...

— Пойдём на бульвар...

— Ни за что, в этой гадкой шинели...

— Как, ты её разлюбил?

Я ушёл один и, встретив княжну Мери, позвал её на мазурку.

Она казалась удивлена и обрадована.

— Я думала, что вы танцуете только по необходимости, как прошлый раз, — сказала она, очень мило улыбаясь...

Она, кажется, вовсе не замечает отсутствия Грушинского.

— Вы будете завтра приятно удивлены, — сказал я ей.

— Чем?..

— Это секрет... на бале вы сами догадаетесь...

5-го июня

За полчаса до бала явился ко мне Грушинский в полном сиянии армейского пехотного мундира. К третьей пуговице была пристёгнута бронзовая цепочка, на которой висел двойной лорнет; эполеты неимоверной величины были загнуты кверху, в виде крылышек амура; сапоги его скрипели; в левой руке держал он коричневые лайковые перчатки и фуражку, а правою взбивал ежeminутно в мелкие кудри завитой хохол. Самодовольствие и вместе некоторая неуверенность изображались на его лице; его праздничная наружность, его гордая походка заставили бы меня расхохотаться, если б это было согласно с моими намерениями.

Он бросил фуражку с перчатками на стол и начал обтягивать фалды и поправляться перед зеркалом; чёрный огромный платок, навёрнутый на высочайший подгалстушник, которого щетина поддерживала его подбородок, высовывался на полвершка из-за воротника; ему показалось мало; он вытащил его кверху до ушей; от этой трудной работы — ибо воротник мундира был очень узок и беспокоен — лицо его налилось кровью.

— Ты, говорят, эти дни ужасно волочился за моей княжной, — сказал он довольно небрежно и не глядя на меня.

— Где нам дуракам чай пить! — отвечал я ему, повторяя любимую поговорку одного из самых ловких повес прошлого времени, воспетого некогда Пушкиным.

— Скажи-ка, хорошо на мне сидит мундир?.. Ох, проклятый!.. как под мышками режет!.. Нет ли у тебя духов?

— Помилуй, чего тебе ещё? от тебя и так уже несёт розовой помадой...

— Ничего. Дай-ка сюда...

Он налил себе полсклянки за галстук, в носовой платок, на рукава.

— Ты будешь танцевать? — спросил он.

— Не думаю.

— Я боюсь, что мне с княжной придётся начинать мазурку — я не знаю почти ни одной фигуры...

— А ты звал её на мазурку?

— Нет ещё...

— Смотри, чтоб тебя не предупредили...

— В самом деле! — сказал он, ударив себя по лбу. — Прощай... Пойду дожидаться её у подъезда. — Он схватил фуражку и побежал.

...и и отирали. На дню...
...собрании, или трактира, как угодно, чтобы...
...светились, звуки полковой музыки...
...ветер. Я шел медленно; мне было грустно. Неужели...
...единственное назначение на земле — разрушать чужие...
...ды? С тех пор, как я живу и действую, судьба как то...
...водила меня к развязке чужих драм, как будто без меня...
...не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние! Я был необходим...
...лицо пятого акта; невольно я разыгрывал какую-то роль...
...или предателя. Какую цель имела на это судьба? Уж не...
...ли я ею в сочинители мешанских трагедий и семейных романов...
...или в сотрудники постановщику повестей, например для «Библио...
...теки для чтения»¹?. Почему знать?.. Мало ли людей, на всю...
...жизнь, думают кончить её как Александр Великий² или лорд Бай...
...рон, а между тем целый век остаются титулярными советниками.

Войдя в залу, я спрятался в толпе мужчин и начал делать свои наблюдения. Грушницкий стоял возле княжны и что-то говорил с большим жаром; она его рассеянно слушала, смотрела по сторонам, приложив все к губкам; на лице её изображалось нетерпение, глаза её искали кругом кого-то; я тихонько подошёл сзади, чтобы подслушать их разговор.

— Вы меня мучите, княжна! — говорил Грушницкий: — вы ужасно переменились с тех пор, как я вас не видал...

— Вы также переменились, — отвечала она, бросив на него быстрый взгляд, в котором он не умел разобрать тайной насмешки.

— Я? я переменялся?.. О, никогда! Вы знаете, что это невозможно! Кто видел вас однажды, тот навеки унесёт с собою ваш божественный образ...

— Перестаньте...

— Отчего же вы теперь не хотите слушать того, чему ещё недавно, и так часто, внимали благосклонно?..

— Потому что я не люблю повторений, — отвечала она смеясь.

— О, я горько ошибся!.. Я думал, безумный, что по крайней мере эти эполеты дадут мне право надеяться... Нет, лучше бы мне век остался в этой презренной солдатской шинели, которой, может быть, я был обязан вашим вниманием...

— В самом деле, вам шинель гораздо более к лицу...

В это время я подошёл и поклонился княжне; она немножко покраснела и быстро проговорила:

— Не правда ли, м-сьё Печорин, что серая шинель гораздо больше идёт к м-сьё Грушницкому?..

— Я с вами не согласен, — отвечал я, — в мундире он ещё молодее.

¹ «Библиотека для чтения» — популярный в 30-х годах XIX в. журнал.

² Александр Великий (Македонский) — древний царь и полководец-завоеватель (356—323 гг. до н. э.).

Грушницкий не вынес этого удара. Как все мальчики, он имеет претензию быть стариком; он думает, что на его лице глубокие следы страстей заменяют отпечаток лет. Он на меня бросил бешеный взгляд, топнул ногою и отошёл прочь.

— А признайтесь, — сказал я княжне, — что хотя он всегда был очень смешон, но ещё не так он вам казался интересен, в серой шинели?

Она потупила глаза и не отвечала.

Грушницкий целый вечер преследовал княжну, танцевал или с нею, или *vis-à-vis*¹; он пожирал её глазами, вздыхал и надоедал ей мольбами и упрёками. После третьей картели она его уж ненавидела.

— Я этого не ожидал от тебя, — сказал он, подойдя ко мне и взяв меня за руку.

— Чего?

— Ты с нею танцуешь мазурку? — спросил он торжественным голосом. — Она мне призналась...

— Ну так что ж? а разве это секрет?

— Разумеется... Я должен был этого ожидать от девчонки... от кокетки... Уж я отомщу!

— Пеняй на свою шинель или на свои эполеты, а зачем же обвинять её? Чем она виновата, что ты ей больше не нравишься?..

— Зачем же подавать надежды?

— Зачем же ты надеялся? Желать и добиваться чего-нибудь — понимаю, а кто ж надеется?

— Ты выиграл пари, только не совсем, — сказал он, злобно улыбаясь.

Мазурка началась. Грушницкий выбирал одну только княжну, другие кавалеры поминутно её выбирали; это явно был заговор против меня; — тем лучше: ей хочется говорить со мной, ей мешают — ей захочется вдвое более.

Я раза два пожал ей руку; во второй раз она её выдернула, не говоря ни слова.

— Я дурно буду спать эту ночь, — сказала она мне, когда мазурка кончилась.

— Этому виноват Грушницкий.

— О, нет! — и лицо её стало так задумчиво, так грустно, что я дал себе слово в этот вечер непременно поцеловать её руку.

Стали разъезжаться. Сажая княжну в карету, я быстро прижал её маленькую ручку к губам своим. Было темно, и никто не мог этого видеть.

Я возвратился в залу очень доволен собою.

За большим столом ужинала молодёжь и между ними Грушницкий. Когда я вошёл, все замолчали: видно, говорили обо мне. Многие с прошедшего бала на меня дуются, особенно драгунский капитан, — а теперь, кажется, решительно составляется ко-

¹ Друг против друга.

такой такой пражский малька под командой Грушицкого...
него такой гордый и храбрый вид...

Очень рад: я люблю врагов. Хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда на страже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерение, разрушать заговоры, притворяться обманутым, и вдруг одним толчком опрокинуть всё огромное и многотрудное здание из хитростей и замыслов — вот что я называю жизнью.

В продолжение ужина Грушицкий шептался и переминивался с драгунским капитаном...

7-го июня

В одиннадцать часов утра — час, в который княгиня Лиговская обыкновенно потеет в Ермоловской ванне, — я шёл мимо её дома. Княжна сидела задумчиво у окна; увидев меня, вскочила.

Я вошёл в переднюю; людей никого не было, и я без доклада, пользуясь свободой здешних нравов, пробрался в гостиную.

Тусклая бледность покрывала милое лицо княжны. Она стояла у фортепьяно, опершись одной рукой на спинку кресел, эта рука чуть-чуть дрожала; я тихо подошёл к ней и сказал:

— Вы на меня сердитесь?..

Она подняла на меня томный, глубокий взор и покачала головой: её губы хотели проговорить что-то и не могли; глаза наполнились слезами; она опустилась в кресла и закрыла лицо руками.

— Что с вами? — сказал я, взяв её за руку.

— Вы меня не уважаете!.. О! Оставьте меня!..

Я сделал несколько шагов... Она выпрямилась на креслах, глаза её засверкали...

Я остановился, взявшись за ручку двери, и сказал:

— Простите меня, княжна! Я поступил, как безумец... этого в другой раз не случится: я приму свои меры... Зачем вам знать то, что происходило до сих пор в душе моей? Вы этого никогда не узнаете, и тем лучше для вас. Прощайте.

Уходя, мне кажется, я слышал, что она плакала.

Я до вечера бродил пешком по окрестностям Машука, утомился ужасно и, пришедши домой, бросился на постель в совершенном изнеможении:

Ко мне зашёл Вернер.

— Правда ли, — спросил он, — что вы женитесь на княжне Лиговской?

— А что?

— Весь город говорит: все мои больные заняты этой важной новостью, а уж эти больные такой народ: всё знают!

«Это шутки Грушицкого!» — подумал я.

— Чтоб вам доказать, доктор, ложность этих слухов, объявляю вам по секрету, что завтра я пересезжаю в Кисловодск...

— И княгиня также?

— Нет; она остаётся ещё на неделю здесь...

— Так вы не женитесь?..

— Доктор, доктор! посмотрите на меня: женихи и дохожу на жениха или на что-нибудь подобное?

— Я этого не говорю... Но вы знаете, есть случаи... — продолжил он, хитро улыбаясь, — в которых благоразумный человек обязан жениться, и есть маменьки, которые по крайней мере не предупреждают этих случаев... Итак, я вам советую, как приятель, быть осторожнее. Здесь на водах преобладают женщины: сколько я видел прекрасных молодых людей, достойных лучшей участи и уезжавших отсюда прямо под венец... Даже, помните ли, меня хотели женить! Именно одна уездная маменька, у которой дочь была очень бледна. Я имел несчастье сказать ей, что и её лица возвратится после свадьбы: тогда она со слезами благодарности предложила мне руку своей дочери и всё своё состояние — пятьдесят душ, кажется. Но я отвечал, что я к этому неспособен...

Вернер ушёл в полной уверенности, что он меня предостерег.

Из слов его я заметил, что про меня и княжну уже распространились в городе разные дурные слухи: это Грушницкому даром не пройдёт!

.....

12-го июня

Сегодняшний вечер был обилён происшествиями. Верстах в трёх от Кисловодска¹, в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая *Кольцом*; это — ворота, образованные природой; они поднимаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний, пламенный взгляд. Многочисленная кавалькада отправилась туда посмотреть на закат солнца сквозь каменное окошко. Никто из них, по правде сказать, не думал о солнце. Я ехал возле княжны; возвращаясь домой, надо было переезжать Подкумок вброд. Горные речки самые мелкие опасны особенно тем, что дно их — созерщенный калейдоскоп: каждый день от напора волн оно изменяется — где был вчера камень, там нынче яма. Я взял по узды лошадь княжны и свёл её в воду, которая не была выше колен. Мы тихонько стал подвигаться наискось против течения. Известно, что, переезжая быстрые речки, не должно смотреть на воду, ибо тотчас голова закружится. Я забыл об этом предупредить княжну Мери.

Мы были уже на середине, в самой быстрине, когда она вдруг на седле качнулась.

— Мне дурно! — проговорила она слабым голосом.

Я быстро наклонился к ней, обвил рукою её гибкую талию.

— Смотрите вверх! — шепнул я ей: — это ничего, только не бойтесь: я с вами.

¹ В выпущенных записях Печорин рассказывает о том, что Вера, затем он и, наконец, Лиговские переехали в Кисловодск.

на стене; думая, она хотела все
и еще крепче обнять ее нежно, и она
схватилась её щеки; с ней она была

— Что вы со мною делаете?.. Боже мой!..

Её щеки были горячими, и она
хотелась её нежной щеки; она вздрогнула.
то, что она была... Я не мог...
рег, то все пустынью рысью. Княжна удержала св
остался возле неё: видно было, что её беспокоило
но я поклялся не говорить ни слова — из любопыт
телось видеть, как она выпутается из этого затруд
нения.

— Или вы меня презираете, или очень любите! — си
включен, потому что... — Милостивый...
это... — Это было бы так низко, так низко, что од
желе... О, нет... не правда ли. — прибавила она
всё доверчивости: — не правда ли, во мне нет ничего такого,
что бы исключало уважение? Ваш дерзкий посту
должна. Я должна вам его простить, потому что...
Отвечайте, говорите же, я хочу слышать ваш голос!.. — В
следних словах было такое женское нетерпение, что я немо
улыбнулся: и счастье, начинало смеркаться... Я ничего
отвечал.

— Вы молчите? — продолжала она — вы, может быть,
тите, чтоб я первая вам сказала, что я вас люблю?..

Я молчал...

— Хотите ли этого? — продолжала она, быстро обратив
мне... В решительности её взора и голоса было что-то страш

— Зачем? — отвечал я, пожав плечами.

Она ударила хлыстом лошадь и пустилась во весь дух
узкой опасной дороге; это произошло так скоро, что я едва
её догнать. и то, когда уж она присоединилась к остальным
шеству. До самого дома она говорила и смеялась помно
В её движениях было что-то лихорадочное; на меня не
нула ни разу. Все заметили эту необыкновенную весёлость. И
княгиня внутренне радовалась, глядя на свою дочку; а у дочк
просто нервический припадок: она проведёт ночь без сна и будет
плакать. Эта мысль мне доставляет необъятное наслаждени
есть минуты, когда я понимаю Вампира... А ещё слышу добрым
малым и добиваюсь этого названия.

Слезши с лошадей, дамы вошли к княгине; я был в
и поскакал в горы развеять мысли, толпившиеся в голове
Росистый вечер дышал упоительной прохладой. Луна под
лась из-за тёмных вершин. Каждый шаг моей некованой ко
глухо раздавался в молчании ущелий; у водопада я напои
коня, жадно вдохнул в себя раза два свежий воздух
ночи и пустился в обратный путь. Я ехал через слободку. Она

начинали угасать в окнах; часовые на валу крепости и казаки на окрестных пикетах протяжно перекликались...

В одном из домов слободки, построенном на краю оврага, заметил я чрезвычайное освещение; по временам раздавался нестройный говор и крики, изобличавшие военную пирушку. Я слез и подкрался к окну; неплотно притворенный ставень позволил мне видеть пирующих и расслушать их слова. Говорили обо мне.

Драгунский капитан, разгорячённый вином, ударил по столу кулаком; требуя внимания.

— Господа! — сказал он, — это ни на что не похоже. Печорина надо проучить. Эти петербургские слётки всегда зазнаются, пока их не ударишь по носу! Он думает, что он только один и жил в свете, оттого, что носит всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги. И что за надменная улыбка! А я уверен, между тем, что он трус, — да, трус!

— Я думаю то же, — сказал Грушницкий. — Он любит отшучиваться. Я раз ему таких вещей наговорил, что другой бы меня изрубил на месте, а Печорин всё обратил в смешную сторону. Я, разумеется, его не вызвал, потому что это было его дело; да не хотел и связываться...

— Грушницкий на него зол за то, что он отбил у него княжну, — сказал кто-то.

— Вот ещё что вздумали! Я, правда, немножко волочился за княжной, да и тотчас отстал, потому что не хочу жениться, а компрометировать девушку не в моих правилах.

— Да, я вас уверяю, что он первейший трус, то есть Печорин, а не Грушницкий, — а Грушницкий молодец, и притом он мой истинный друг! — сказал опять драгунский капитан. — Господа! никто здесь его не защищает? Никто? Тем лучше! Хотите испытать его храбрость? Это вас позабавит...

— Хотим; только как?

— А вот слушайте: Грушницкий на него особенно сердит — ему первая роль! Он придерётся к какой-нибудь глупости и вызовет Печорина на дуэль.. Погодите! вот в этом-то и штука... Вызовет на дуэль: хорошо! Всё это — вызов, приготовления, условия, — будет как можно торжественнее и ужаснее; я за это берусь; я буду твоим секундантом, мой бедный друг! Хорошо! Только вот где закорючка! в пистолеты мы не положим пуль. Уж я вам отвечаю, что Печорин струсит — на шести шагах их поставлю, чёрт возьми!.. Согласны ли, господа?

— Славно придумано!.. Согласны!.. Почему же нет?.. — раздалось со всех сторон.

— А ты, Грушницкий?

Я с трепетом ждал ответа Грушницкого; холодная злость овладела мною при мысли, что если б не случай, то я мог бы сделаться посмешищем этих дураков. Если бы Грушницкий не согласился, я бросился б ему на шею. Но после некоторого молча-

...стал на своего места, протянул руку...
очень важно:

— Хорошо, я согласен!

Трудно описать восторг всей честной компании.

Я вернулся домой, волнуемый двумя различными чувствами. Первое было грусть. «За что они все меня ненавидят?» — думал я. «За что? Обидел ли я кого-нибудь? Нет. Неужели я принадлежу к числу тех людей, которых один вид уже порождает доброжелательство?» И я чувствовал, что ядовитая злость медленно, помалу наполняла мою душу. «Берегитесь, господин Гаринский, — говорил я, прохаживаясь взад и вперед по комнате — со мной этак не шутят. Вы дорого можете заплатить за оскорбление ваших глупых товарищей. Я вам не игрушка!»

Я не спал всю ночь. К утру я был жёлт, как померанец¹.

Полуночью я встретил княжну у колодца.

— Вы больны? — сказала она, пристально посмотрев на меня.

— Я не спал ночь.

— И я тоже... я вас обвиняла... может быть, напрасно? Объяснитесь, я могу вам простить всё...

— Всё ли?..

— Всё... только говорите правду... только скорее. Видите, я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше поведение. Может быть, вы боитесь препятствий со стороны моих родителей. Это ничего: когда они узнают (её голос задрожал), я их упрощу. Или ваше собственное положение... но знайте, что я всем могу пожертвовать для того, которого люблю... О, отвечайте мне, — сжальтесь... Вы меня презираете, не правда ли?

Она схватила меня за руку.

Княгиня шла впереди нас с мужем Веры и ничего не видела, но нас могли видеть гуляющие больные, самые любопытные сплетники из всех любопытных, и я быстро освободил свою руку от её страстного пожатия.

— Я вам скажу всю истину, — отвечал я княжне: — не буду оправдываться, ни объяснять своих поступков: я вас не люблю.

Её губы слегка побледнели...

— Оставьте меня, — сказала она едва внятно.

Я пожал плечами, повернулся и ушёл.

14-го июня

Я иногда себя презираю... — не оттого ли я презираю и других?.. Я стал неспособен к благородным порывам; я боюсь показаться смешным самому себе. Другой бы на моём месте предложил княжне *son coeur et fortune*²; но надо мною слово жадность имеет какую-то волшебную власть: как бы страстно я ни любил женщину, если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться — прости, любви! моё сердце презирает.

¹ Померанец — горький апельсин.

² Своё сердце и своё состояние.

мает
жерт
став
доро
буду
страх
безот
Когда
матер
тогда
отвра
предс
оно с

15-го

Вч
рации
лику
бат, х
ставле
благор
рубля

Все
даже
взяла

Ны

балкон

«Се

лестни

нётся.

дала б

премен

В в

лась в

стульев

тут на

Фокусн

посвое

Гру

ныне

припом

В не

На д

тучи ле

щий вет

у окон

рота, пр

мною. Я

щается в камень, и ничто его не разогреет снова. Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту... но свободы моей не продам. Отчего я так дорожу ею? что мне в ней?.. куда я себя готовлю? чего я жду от будущего?.. Право, ровно ничего. Это какой-то врождённый страх, неизъяснимое предчувствие... Ведь есть люди, которые безотчётно боятся пауков, тараканов, мышей... Признаться ли? Когда я был ещё ребёнком, одна старуха гадала про меня моей матери; она предсказала мне *смерть от злой жены*; это меня тогда глубоко поразило: в душе моей родилось непреодолимое отвращение к женитьбе... Между тем что-то мне говорит, что её предсказание сбудется: по крайней мере буду стараться, чтоб оно сбылось как можно позже.

15-го июня

Вчера приехал сюда фокусник *Анфельбаум*. На дверях ресторации явилась длинная афишка, извещающая почтеннейшую публику о том, что вышеименованный удивительный фокусник, акробат, химик и оптик, будет иметь честь дать великодушное представление сегодняшнего числа в восемь часов вечера, в зале благородного собрания (иначе — в ресторации); билеты по два рубля с полтиной.

Все собираются идти смотреть удивительного фокусника; даже княгиня Лиговская, несмотря на то, что дочь её больна, взяла для себя билет.

Нынче после обеда я шёл мимо окон Веры; она сидела на балконе одна: к ногам моим упала записка:

«Сегодня в десятом часу вечера приходи ко мне по большой лестнице: муж мой уехал в *Пятигорск* и завтра утром только вернётся. Моих людей и горничных не будет в доме: я им всем раздала билеты, также и людям княгини. — Я жду тебя: приходи непременно». «Ага! — подумал я: — наконец-таки вышло по-моему».

В восемь часов пошёл я смотреть фокусника. Публика собралась в исходе девятого; представление началось. В задних рядах стульев узнал я лакеев и горничных Веры и княгини. Все были тут наперечёт. Грушницкий сидел в первом ряду с лорнетом. Фокусник обращался к нему всякий раз, когда ему нужен был носовой платок, часы, кольцо и проч.

Грушницкий мне не кланяется уже несколько времени, а нынче раза два посмотрел на меня довольно дерзко. Всё это ему припомнится, когда нам придётся расплачиваться.

В исходе десятого я встал и вышел.

На дворе было темно, хоть глаз выколи. Тяжёлые, холодные тучи лежали на вершинах окрестных гор; лишь изредка умирающий ветер шумел вершинами тополей, окружающих ресторацию; у окон её толпился народ. Я спустился с горы и, повернув в ворота, прибавил шагу. Вдруг мне показалось, что кто-то идёт за мною. Я остановился и осмотрелся. В темноте ничего нельзя было

Однако я из осторожности обошёл, будто бы боясь шума. Проходя мимо окон княжны, я услышал, как в коридоре человек, завернутый в шинель, пробежал мимо. Это меня встревожило: однако я подкрался к крыльцу и не взвешивая на тёмную лестницу. Дверь отворилась: ручка схватила мою руку...

— Никто тебя не видел? — сказала шёпотом Вера, прижавшись ко мне.

— Никто!

— Теперь ты веришь ли, что я тебя люблю? О, я долго билась, долго мучилась... но ты из меня делаешь всё, что хочешь.

Её сердце билось сильно, руки были холодны, как лёд. И слышались упрёки ревности, жалобы, — она требовала от меня, и ей во всём признался, говоря, что она с покорностью примет мою измену, потому что хочет единственно моего счастья. Я ему не совсем верил, но успокоил её клятвами, обещая всё проч.

— Так ты не женишься на Мери? не любишь её?.. А она знает... знаешь ли, она влюблена в тебя до безумия, бедная...

Около двух часов по полуночи я отворил окно и, связавшись за колонну. У княжны ещё горел огонь. Что-то меня толкнуло к этому окну. Занавес был не совсем задёрнут, и я мог бросить любопытный взгляд во внутренность комнаты. Мери сидела на своей постели, скрестив на коленях руки; её густые волосы были собраны под ночным чепчиком, обшитым кружевами; большой пунцовый платок покрывал её белые плечики, и маленькие ножки прятались в пёстрых персидских туфлях. Она сидела неподвижно, опустив голову на грудь; перед нею на столике была раскрыта книга, но глаза её, неподвижные и полные неизменной грусти, казалось, в сотый раз пробежали одну и ту же страницу, тогда как мысли её были далеко...

В эту минуту кто-то шевельнулся за кустом. Я спрыгнул с балкона на дёрн. Невидимая рука схватила меня за плечо.

— Ага! — сказал грубый голос, — попался!.. будешь у нас княжнам ходить ночью!..

— Держи его крепче! — закричал другой, выскочивший из за угла.

Это был Грушницкий и драгунский капитан.

Я ударил последнего по голове кулаком, сшиб его с ног и бросился в кусты. Все тропинки сада, покрывающего склоном против наших домов, были мне известны.

— Воры! караул!.. — кричали они; раздался ружейный выстрел: дымящийся пыж¹ упал почти к моим ногам.

¹ Пыж — кусок войлока, кожи, пробки или картона, отделяющий в патроне заряд пороха от пули или дроби.

Чер
Едва
чатся

—

—

—

Они

искали

крепост

кесов в

гие, вер

зон пок

ре деся

16-го ш

Нын

нападе

зана, п

тил муж

взял ме

ужасно

ночью!

именно

двери,

десять

вторичн

должен

я не мог

ну в мо

— Д

то: — ви

— Я

только,

одни чет

сказывае

ся в до

здесь, а

чтоб под

Приз

пят свои

но непри

ослеплен

— Во

лись, пзя

только те

нец — уж

Через минуту я был уже в своей комнате, разделся и лёг. Едва мой лакей запер дверь на замок, как ко мне начали стучаться Грушницкий и капитан.

— Печорин! вы спите? здесь вы?.. — кричал капитан.

— Сплю, — отвечал я сердито.

— Вставайте! — воры... черкесы...

— У меня насморк, — отвечал я: — боюсь простудиться.

Они ушли. Напрасно я им откликнулся: они б ещё час про-
искали меня в саду. Тревога между тем сделалась ужасна. Из
крепости прискакал казак. Всё зашевелилось; стали искать чер-
кесов во всех кустах — и, разумеется, ничего не нашли. Но мно-
гие, вероятно, остались в твёрдом убеждении, что если б гарни-
зон показал более храбрости и поспешности, то по крайней ме-
ре десятка два хищников остались бы на месте.

16-го июня

Нынче поутру у колодца только и было толков, что о ночном
нападении черкесов. Выпивши положенное число стаканов нар-
зана, пройдясь раз десять по длинной липовой аллее, я встре-
тил мужа Веры, который только что приехал из Пятигорска. Он
взял меня под руку, и мы пошли в ресторацию завтракать; он
ужасно беспокоился о жене. — Как она перепугалась нынче
ночью! — говорил он: — ведь надобно ж, что б это случилось
именно тогда, как я в отсутствии. Мы уселись завтракать возле
двери, ведущей в угловую комнату, где находилось человек
десять молодёжи, в числе которой был и Грушницкий. Судьба
вторично доставила мне случай подслушать разговор, который
должен был решить его участь. Он меня не видел, и следственно
я не мог подозревать умысла; но это только увеличивало его ви-
ну в моих глазах.

— Да неужто в самом деле это были черкесы? — сказал кто-
то: — видел ли их кто-нибудь?

— Я вам расскажу всю историю, — отвечал Грушницкий. —
только, пожалуйста, не выдавайте меня; вот как это было: вчера
один человек, которого я вам не назову, приходит ко мне и рас-
сказывает, что видел в десятом часу вечера, как кто-то прокрал-
ся в дом к Лиговским. Надо вам заметить, что княгиня была
здесь, а княжна дома. Вот мы с ним и отправились под окна,
чтоб подстеречь счастливца.

Признаюсь, я испугался, хотя мой собеседник очень был за-
нят своим завтраком: он мог услышать вещи для себя доволь-
но неприятные, если б неравно Грушницкий отгадал истину; но
ослеплённый ревностью, он и не подозревал её.

— Вот видите ли, — продолжал Грушницкий, — мы отправ-
лись, взявши с собой ружьё, заряжённое холостым патроном,
только так, чтобы поугатать. До двух часов ждали в саду. Нако-
нец — уж бог знает откуда он явился, только не из окна, потому

...а должно быть он вышел в ...
...наконец, говорю я, видим мы, сходит
...Ну! уж признаюсь, мо-
...только он вырвался и, как заяц, бросился в
кусты; тут я по нем выстрелил.

...решительности.

— Вы не верите? — продолжал он: — даю вам честное, бла-
...и в доказательство я

— Скажи, скажи, кто ж он? — раздалось со всех сторон.

— Печория, — отвечал Грушницкий.

В эту минуту он поднял глаза — я стоял в дверях против не-
...и внятно:

— Мне очень жаль, что я вошёл после того, как вы уже дали
...самой отвратительной клеветы.

Грушницкий вскочил с своего места и хотел разгорячиться.

— Просту вас, — продолжал я тем же тоном: — прошу вас
...от ваших слов; вы очень хорошо знаете,
...я не думаю, чтобы равнодушные женщины к
...заслуживало такое ужасное
...Подумайте хорошенько: поддерживая ваше мнение, вы
...на имя благородного человека и рискуете жизнью.

Грушницкий стоял передо мною, опустив глаза, в сильном
волнении.

Но борьба совести с самолюбием была непродолжительна.
Драгунский капитан, сидевший возле него, толкнул его локтем:
...и быстро отвечал мне, не подымая глаз:

— Милостивый государь, когда я что говорю, так я это ду-
...и готов повторить... Я не боюсь ваших угроз и готов на всё.

— Последнее вы уж доказали, — отвечал я ему холодно и,
...вышел из комнаты.

— Что вам угодно? — спросил капитан.

— Вы приятель Грушницкого и, вероятно, будете его секун-
дантом?

Капитан поклонился очень важно.

— Вы отгадали, — отвечал он: — я даже обязан быть его се-
кундантом, потому что обида, нанесённая ему, относится и ко мне:
я был с ним вчера ночью, — прибавил он, выпрямляя свой суту-
ловатый стан.

— А! так это вас ударил я так неловко по голове?..

Он пожелтел, посинел; скрытая злоба изобразилась на лице
его.

— Я буду иметь честь прислать к вам нынче моего секун-
данта, — прибавил я, раскланявшись очень вежливо и показы-
вая вид, будто не обращаю внимания на его бешенство.

На крыльце ресторана я встретил мужа Веры. Кажется, он меня дожидался.

Он схватил мою руку с чувством, похожим на восторг.

— Благородный молодой человек! — сказал он с слезами на глазах. — Я всё слышал. Жкий мерзавец! неслыханно!.. Принимай их после этого в порядочный дом. Слава богу, у меня нет дочерей! Но вас награжит та, для которой вы рискуете жизнью. Будьте уверены в моей скромности до поры до времени, — продолжал он. — Я сам был молод и служил в военной службе: знаю, что в эти дела не должно вмешиваться. Прощайте.

Бедняжка! радуется, что у него нет дочерей.

Я пошёл прямо к Вернеру, застал его дома и рассказал ему всё — отношения мои к Вере и княжне и разговор, подслушанный мною, из которого я узнал намерение этих господ подурнить меня, заставив стреляться холостыми зарядами. Но теперь дело выходило из границ шутки: они, вероятно, не ожидали такой развязки.

Доктор согласился быть моим секундантом: я дал ему несколько наставлений насчёт условий поединка; он должен был настоять на том, чтобы дело обошлось как можно секретнее, потому что, хотя я когда угодно готов подвергать себя смерти, но нимало не расположен испортить навсегда свою будущность в здешнем мире.

После этого я пошёл домой. Через час доктор вернулся из своей экспедиции.

— Против вас, точно, есть заговор, — сказал он. — Я нашёл у Грушницкого драгунского капитана и ещё одного господина, которого фамилии не помню. Я на минуту остановился в передней, чтобы снять калоши. У них был ужасный шум и спор... — Ни за что не соглашусь! — говорил Грушницкий: — он меня оскорбил публично: тогда было совсем другое. — Какое тебе дело? — отвечал капитан: — я всё беру на себя. Я был секундантом на пяти дуэлях и уж знаю, как это устроить. Я всё приуменьшал. Пожалуйста, только мне не мешай. Пострадать не худо. А зачем подвергать себя опасности, если можно избавиться?... — В эту минуту я вошёл. Они вдруг замолчали. Переговоры наши продолжались довольно долго; наконец мы решили дело вот как: верстах в пяти отсюда есть глухое ущелье; они туда поедут завтра в четыре часа утра, а мы выедем полчаса после них; стреляться будете на шести шагах — этого требовал сам Грушницкий. Убитого — на счёт черкесов. Теперь вот какие у меня подозрения: они, то есть секунданты, должно быть, несколько переменили свой прежний план и хотят зарядить пулею один пистолет Грушницкого. Это немножко похоже на убийство, но в военное время, и особенно в азиатской войне, хитрости позволяют, только Грушницкий, кажется, поблагороднее своих товарищей. Как вы думаете, должны ли мы показать им, что догадались?

— Ни за что на свете, доктор! Будьте спокойны, я поддамся.

— Что же вы хотите делать?

— Это моя тайна.

— Смотрите, не попадитесь... ведь на шести шагах...

— Доктор, я вас жду завтра в четыре часа...
готовы... Прощайте.

Я до вечера просидел дома, запершись в своей комнате. Не ходил лакей звать меня к княгине. — Я решил сказать...

Два часа ночи... не спится... А наде бы заснуть, но рука не дрожала. Впрочем, на шести шагах промахнуться трудно. А! Господин Грушницкий! ваша мистификация! вам не удается... Мы поменяемся ролями: теперь мне придется стискивать на вашем бледном лице признаки тайного страха. Зачем же вы назначили эти роковые шесть шагов? Вы думаете, что я в споре подставляю свой лоб... но мы бросим жребий!.. и тогда... тогда... что если его счастье перетянет? если моя звезда, наконец, мне изменит?.. И немудрено: она так долго служила верой моим прихвостям...

Что ж? умереть, так умереть! потеря для мира небольшая, да и мне самому порядочно уж скучно. Я — как человек, зеваящий на бале, который не едет спать только потому, что ещё нет его кареты. Но карета готова... прощайте!..

Пробегаю в памяти всё моё прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные... Но я не угадал этого назначения, я увлёкся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел твёрд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений — лучший цвет жизни. И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы! Как орудие казни, я упал на голову обречённых жертв, часто без злобы, всегда без сожаления... Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил: я любил для себя, для собственного удовольствия; я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радость и страдания — и никогда не мог насытиться. Так томимый голодом в изнеможении засыпает и видит перед собою роскошные кушанья и шипучие вина; он пожирает с восторгом воздушные дары воображения, и ему кажется легче; но только проснулся — мечта исчезает... остаётся удвоенный голод и отчаяние!

И, может быть, я завтра умру!.. и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни считают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле... Одни

¹ Мистификация — шуточный обман.

скажу
тое бу
бёнъ
досвди

Вот
мич у
горы д
Холодн
должат
тиями.

Пер
реть: э
и тепер

Как
Ни оди

Я п
единку.

беспоко
сел и
столе: т
усилием

Нако
зеркало
следы м
ричнесто
лен собо

Веле
гружая
ные и д
свеж и
что душ

Возв
тузы, ар
маленьк
вовсе не
новепног

— О
вы сто р
душием?
здоровет

тесь смот
вам ещё
до вышес
сколько
сильствен

Эта м

Арха

скажут: он был добрый малый — друг. И то и другое будет ложно. После этого стоит ли трудиться? и всё же ждёшь — из любопытства: ожидаешь чего-то нового. Снова и снова! Досадно!

Вот уже полтора месяца, как я в кротости М. Максимовича ушёл на охоту... я один: сижу у огня, глядя в тёмные горы до подошвы; солнце сквозь туман падает на долины. Холодно; ветер свищет и колеблет ставни. «Кучно!» — пишу, должен заводить свой журнал, прерванный столькими странными сомнениями.

Перечитываю последнюю страничку: «Смерть» — Я не могу читать; это было невозможно: я ещё не осудил жизни. Долгий и теперь чувствую, что мне ещё долго жить.

Как всё прошедшее ясно и резко отделилось в моей памяти! Ни одной черты, ни одного оттенка не стёрло время!

Я помню, что в продолжение ночи, предшествующей этой единке, я не спал ни минуты. Писать я не мог долго: беспокойство мною овладело. С час я ходил по комнате; потом сел и открыл роман Вальтера Скотта, лежавший у меня на столе: то были «Шотландские Пуритане»; я читал с необычайным усилием, потом забылся, увлечённый волшебным вымыслом.

Наконец, рассвело. Нервы мои успокоились. Я посмотрелся в зеркало; тусклая бледность покрывала лицо моё, хранившее следы мучительной бессонницы; но глаза, хотя окружённые фиричевою тенью, блистали гордо и неумолимо. Я остался доволен собою.

Велев седлать лошадей, я оделся и сбежал к купальне. Погружаясь в холодный кипяток нарзана, я чувствовал, как телесные и душевные силы мои возвращались. Я вышел из ванны свеж и бодр, как будто собирался на бал. После этого говорите, что душа не зависит от тела!..

Возвратясь, я нашёл у себя доктора. На нём были серые рейтузы, архалук¹ и черкесская шапка. Я расхохотался, увидев эту маленькую фигурку под огромной косматой шапкой; у него лицо вовсе не воинственное, а в этот раз оно было ещё длиннее обыкновенного.

— Отчего вы так печальны, доктор? — сказал я ему. — Разве вы сто раз не провожали людей на тот свет с величайшим равнодушием? Вообразите, что у меня жёлтая горячка; я могу выздороветь, могу и умереть; то и другое в порядке вещей; старайтесь смотреть на меня, как на пациента, одержимого болезнью, вам ещё неизвестной, — и тогда ваше любопытство возбудится до высшей степени; вы можете надо мною сделать столько сколько важных физиологических наблюдений. Смерть, как вы знаете, единственной смерти не есть ли настоящая болезнь?

Эта мысль поразила доктора, и он рассмеялся.

¹ Архалук — короткий татарский кафтан.

Мы ехали верхом: Вернер уцепился за поводья обеими руками, и мы вместе с ним проскочили мимо крепости, по дороге, которая вела нас в ущелье, по которому вилась дорога, под скалами, в которых приходилось и ежеминутно пересекаться шумным потоком, через который нужно было переправляться вброд, к великому стыду этого доктора, потому что лошадь его каждый раз в воде останавливалась.

И вот уже утро более голубого и светлого! Солнце сияло над зелеными вершинами, и слышны были первые звуки утренней умиротворяющей грохотной ночи навели на все чувства какое-то сладкое томление; в ущелье не проникал еще радостный луч майского дня, он золотил только верхи утёсов, висящих с обеих сторон над нами; густолиственные кусты, растущие в их трещинах и расщелинах, при малейшем дыхании ветра осыпали нас более сильным дождём. Я помню — в этот раз, больше чем когда-нибудь прежде, я любил природу. Как любопытно всматривался я в каждую росинку, трепещущую на широком листке виноградном и отражавшую миллионы радужных лучей! как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль! Там путь всё становился уже, утёсы синее и страшнее, и, наконец, они, казалось, сложились непроницаемой стеной. Мы ехали молча.

— Написали ли вы своё завещание? — вдруг спросил Вернер.

— Нет.

— А если будете убиты?

— Наследники отыщутся сами.

— Неужели у вас нет друзей, которым бы вы хотели послать своё последнее прощанье?

Я покачал головой.

— Неужели нет на свете женщины, которой вы хотели бы оставить что-нибудь на память?..

— Хотите ли, доктор, — отвечал я ему, — чтоб я раскрыл вам мою душу?.. Видите ли, я выжил из тех лет, когда умирают, проносясь мимо своей любезной и завещая другу клочок напомаженных или ненапомаженных волос. Думая о близкой и возможной смерти, я думаю об одном себе; иные не делают и этого. — Друзья, которые завтра меня забудут или, хуже, взведут на мой счёт беззастенчивые какие-нибудь небылицы; женщины, которые, обнимая другого, будут смеяться надо мною, чтобы не возбудить в нём ревности и усопшему, — Бог с ними! Из жизненной бури я вынес только несколько идей — и ни одного чувства. Я давно уж живу не сердцем, а головою. Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живёт в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его; первый, быть может, через час простится с вами и миром навеки, а второй... второй?.. Посмотрите, доктор, видите ли вы на скале направо чернеются три фигуры? Это, кажется, наши противники?..

Мы пустились рысью.

У подошвы скалы в кустах были привязаны три лошади; их своих привязали тут же, а сами по узкой тропинке взобрались на площадку, где ожидал нас Грушинский с драгунским капитаном и другим своим секундантом, которого звали Иваном Игнатьевичем; фамилии его я никогда не слышал.

— Мы давно уж вас ожидаем, — сказал драгунский капитан с иронической улыбкой.

Я вынул часы и показал ему.

Он извинился, говоря, что его часы уходят.

Несколько минут продолжалось затруднительное молчание; наконец доктор прервал его, обратясь к Грушинскому:

— Мне кажется, — сказал он, — что, показав оба готовность драться и заплатив этим долг условиям чести, вы бы могли, господа, объясниться и кончить это дело полюбовно.

— Я готов, — сказал я.

Капитан мигнул Грушинскому, и этот, думая, что я трушу, принял гордый вид, хотя до сей минуты тусклая бледность покрывала его щёки. С тех пор, как мы приехали, он в первый раз поднял на меня глаза; но во взгляде его было какое-то беспокойство, изобличавшее внутреннюю борьбу.

— Объясните ваши условия, — сказал он: — и всё, что я могу для вас сделать, то будьте уверены...

— Вот мои условия: вы нынче же публично откажетесь от своей клеветы и будете просить у меня извинения...

— Милостивый государь, я удивляюсь, как вы смеете мне предлагать такие вещи?

— Что ж я вам мог предложить, кроме этого?..

— Мы будем стреляться.

Я пожал плечами.

— Пожалуй; только подумайте, что один из нас непременно будет убит.

— Я желаю, чтобы это были вы...

— А я так уверен в противном...

Он смутился, покраснел, потом принуждённо захохотал.

Капитан взял его под руку и отвёл в сторону; они долго шептались. Я приехал в довольно миролюбивом расположении духа, но всё это начинало меня бесить.

Ко мне подошёл доктор.

— Послушайте, — сказал он с явным беспокойством: — вы, верно, забыли про их заговор?.. Я не умею зарядить пистолета, но в этом случае... Вы странный человек! Скажите им, что вы знаете их намерение, и они не посмеют... Что за охота! подстрелят вас, как птицу...

— Пожалуйста, не беспокойтесь, доктор, и погодите... Я всё так устрою, что на их стороне не будет никакой выгоды. Дайте им пошептаться...

— Господа, это становится скучно! — сказал я им громко: — драться так драться; вы имели время вчера наговориться...

лосом.

— Позвольте! — сказал он — если вы действительно хотите, чтобы мы будем драться на смерть, то вы должны сделать все возможное, чтоб это осталось тайною и чтоб секунданты несли ответственность. Согласны ли вы?

— Совершенно согласны.

— Итак, вот что я придумал. Видите ли, на вершине этой отвесной скалы, направо, узенькую площадку? Отступая от края, идет сажень тридцать, если не больше; внизу острейшая канва. Каждый из нас станет на самом краю площадки. Таким образом даже легкая рана будет смертельна; это должно быть сделано с вашим желанием, потому что вы сами назначили место боя. Тот, кто будет ранен, полетит непременно вниз и разобьется вдребезги; пулю доктор вывет, и тогда можно будет счесть легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачным прыжком. Мы бросим жребий, кому первому стрелять. Объявляю вам в заключение, что иначе я не буду драться.

— Пожалуй! — сказал капитан, посмотрев выразительно на Грушницкого, который кивнул головой в знак согласия. Лицо его ежеминутно менялось. Я его поставил в затруднительное положение. Стреляясь при обыкновенных условиях, он мог целить мне в ногу, легко меня ранить и удовлетворить таким образом свою месть, не отягощая слишком своей совести, но теперь он должен выстрелить на воздух, или сделаться убийцей, или наконец оставить свой подлый замысел и подвергнуться одинаковой со мною опасности. В эту минуту я не желал бы быть на его месте. Он отвел капитана в сторону и стал говорить ему что-то с большим жаром; я видел, как посиневшие губы его дрожали, но капитан от него отвернулся с презрительной улыбкой. — Ты дурак! — сказал он Грушницкому довольно громко: — ничего не понимаешь!.. Отправимтесь же, господа!

Узкая тропинка вела между кустами на крутизну; обломки скал составляли шаткие ступени этой природной лестницы; цепляясь за кусты, мы стали карабкаться. Грушницкий шёл впереди, за ним его секунданты, а потом мы с доктором.

— Я вам удивляюсь, — сказал доктор, пожав мне крепко руку. — Дайте пощупать пульс!.. Ого! лихорадочный!.. но на лице ничего не заметно... только глаза у вас блестят ярче обыкновенного.

Вдруг мелкие камни с шумом покатились нам под ноги. Что это? Грушницкий споткнулся: ветка, за которую он уцепился, изломилась, и он скатился бы вниз на спину, если б его секунданты не поддержали.

— Берегитесь! — закричал я ему: — не падайте заранее: это дурная примета. Вспомните Юлия Цезаря!

Вот
один по
том, гер
осечисте
замыкан
доконств
щадки и
там вина
скал, сбр
Площ
почти пр
шесть ша
неприятел
если он не
Я реш
испытать
и тогда в
характера
ное право
не заключ
— Бро
Доктор
кверху.
— Рец
которого
— Орё
Монета
— Вы
первому!
махнусь —
Он пок
я глядел н
сится к ног
ком подло
лить на во
могло это
единка.
— Пора
теперь не с
Посмотрите
сам...
— Ни з
руку: — вы
вам дело? М
Он посм
— О, это
Капитан
Грушницком

Вот мы наобрались на вершину выдвинутой скалы, покрытой мелким песком, будто нарочно для нас. Груши терялись в золотом тумане утра, темнели вдали многочисленные стада, и Эльбрус на юге вставал белым громадом, замыкая цепь ледяных вершин, между которых уж бродили докнистые облака, набежавшие с востока. Я подошёл к краю площадки и посмотрел вниз, голова чуть-чуть у меня не закружилась: там внизу казалось темно и холодно, как в гробе; мшистые зубки скал, сброшенных грозой и временем, обжидали своей добычей.

Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольник. От выдвинутого угла отмерили шесть шагов и решили, что тот, кому придётся первому встретить неприятельский огонь, станет на самом углу спиной к пропасти; если он не будет убит, то противники поменяются местами.

Я решился предоставить все выгоды Грушницкому; я хотел испытать его; в душе его могла проснуться искра великодушия, и тогда всё устроилось бы к лучшему; но самолюбие и слабость характера должны были торжествовать... Я хотел дать себе последнее право не щадить его, если бы судьба меня помиловала. Кто не заключал таких условий с своею совестью?

— Бросьте жребий, доктор! — сказал капитан.

Доктор вынул из кармана серебряную монету и поднял её вверх.

— Решётка! — закричал Грушницкий поспешно, как человек, которого вдруг разбудил дружеский толчок.

— Орёл! — сказал я.

Монета взвилась и упала звеня; все бросились к ней.

— Вы счастливы, — сказал я Грушницкому: — вам стрелять первому! Но помните, что если вы меня не убьёте, то я не промахнусь — даю вам честное слово.

Он покраснел: ему было стыдно убить человека безоружного; я глядел на него пристально; с минуту мне казалось, что он бросится к ногам моим, умоляя о прощении; но как признаться в таком подлом умысле?.. Ему оставалось одно средство — выстрелить на воздух; я был уверен, что он выстрелит на воздух! Одно могло этому помешать: мысль, что я потребую вторичного поединка.

— Пора! — шепнул мне доктор, дёргая за рукав: — если вы теперь не скажете, что мы знаем их намерения, то всё пропало. Посмотрите, он уже заряжает... если вы ничего не скажете, то я сам...

— Ни за что на свете, доктор! — отвечал я, удерживая его за руку: — вы всё испортите; вы мне дали слово не мешать... Какое вам дело? Может быть, я хочу быть убит...

Он посмотрел на меня с удивлением.

— О, это другое!.. только на меня на том свете не жалуйтесь... Капитан между тем зарядил свои пистолеты, подал один Грушницкому, с улыбкой шепнув ему что-то; другой мне.

И стал на углу площадки, крепко упершись
в неё и наклоняясь немного наперёд, чтобы, в случае
не опрокинуться назад.

Грушницкий стал против меня и, по движению
поднимать пистолет. Котени его дрожали. Он велел
и лоб. Непонятное безделье закинуло в груди.

Вдруг он опустил дуло пистолета и, поблуждав,
повернулся к своему секунданту.

— Не могу, — сказал он глухим голосом.

— Трус! — отвечал капитан.

Выстрел раздался. Пуля оцарапала мне колено. Я
сделал несколько шагов вперёд, чтоб поскорей удалиться от

— Ну, брат Грушницкий, жаль, что промахнулся! — сказал
капитан: — теперь твоя очередь, становись! Обними меня
мы уж не увидимся! — Они обнялись; капитан едва мог
жаться от смеха. — Не бойся! — прибавил он, хитро взглянув
Грушницкого: — всё вздор на свете!.. Натура — дурная,
индейка, а жизнь — копейка!

После этой трагической фразы, сказанной с приличною
нотой, он отошёл на своё место; Иван Игнатьич со слезами
нял также Грушницкого, и вот он остался один против меня. Я
сих пор стараюсь объяснить себе, какого рода чувство кипело
да в груди моей: то было и досада оскорблённого самолюбия,
презрение, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этот человек
теперь с такою уверенностью, с такой спокойной дерзостью
меня глядевший, две минуты тому назад, не подвергая себя
какой опасности, хотел меня убить как собаку, ибо, раненый
ногу немного сильнее, я бы непременно свалился с утёса.

Я несколько минут смотрел ему пристально в лицо, стараясь
замечать хоть лёгкий след раскаяния. Но мне показалось,
он удерживал улыбку.

— Я вам советую перед смертью помолиться богу, — сказал
я ему тогда.

— Не заботьтесь о моей душе больше, чем о своей собствен-
ной. Об одном вас прошу: стреляйте скорее.

— И вы не отказываетесь от своей клеветы? не просите
меня прощения?.. Подумайте хорошенько: не говорит ли вам
кто-нибудь совесть?

— Господин Печорин! — закричал драгунский капитан: —
здесь не для того, чтоб исповедывать, позвольте вам заметить.
Кончимте скорее, неравно кто-нибудь проедет по ущелью —
нас увидят.

— Хорошо. Доктор, подойдите ко мне.

Доктор подошёл. Бедный доктор! он был бледнее, чем Груш-
ницкий десять минут тому назад.

Следующие слова я произнёс нарочно с расстановкой, громко
и внятно, как произносят смертный приговор.

— Доктор, эти господа, вероятно второпях, забыли положить

...ую в мой пистолет: прошу вас зарядить его снова — и хоро-
шенько!

— Не может быть! — кричал капитан: — не может быть! я за-
рядил оба пистолета; разве что из вашего пуля выкатилась... Это
не моя вина!.. — А вы не имсете права переряжать... никакого
права... это совершенно против правил; я не позволю...

— Хорошо! — сказал я капитану: — если так, то мы будем с
вами стреляться на тех же условиях...

Он замялся.

Грушницкий стоял, опустив голову на грудь, смущённый и
мрачный.

— Оставь их! — сказал он наконец капитану, который хотел
вырвать пистолет мой из рук доктора. — Ведь ты сам знаешь, что
они правы.

Напрасно капитан делал ему разные знаки. — Грушницкий
не хотел и смотреть.

Между тем доктор зарядил пистолет и подал мне. Увидев это,
капитан плюнул и топнул ногой.

— Дурак же ты, братец! — сказал он: — пошлый дурак!.. Уж
положился на меня, так слушайся во всём... Поделом же тебе!
околей себе, как муха... Он отвернулся и, отходя, пробормо-
тал: — А всё-таки это совершенно противу правил.

— Грушницкий! — сказал я: — ещё есть время; откажись от
своей клеветы, и я тебе прощу всё. Тебе не удалось меня поду-
рачить и моё самолюбие удовлетворено; — вспомни, мы были ког-
да-то друзьями...

Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали.

— Стреляйте, — отвечал он: — я себя презираю, а вас нена-
вижу. Если вы меня не убьёте, я вас зарежу ночью из-за угла.
Нам на земле вдвоём нет места.

Я выстрелил...

Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было.
Только прах лёгким столбом ещё вился на краю обрыва.

Все в один голос вскрикнули.

— *Finita la comedia* ¹ — сказал я доктору.

Он не отвечал и с ужасом отвернулся.

Я пожал плечами и раскланялся с секундантами Грушниц-
кого.

Спускаясь по тропинке вниз, я заметил между расселинами
скал окровавленный труп Грушницкого. Я невольно закрыл
глаза...

Отвязав лошадь, я шагом пустился домой. У меня на сердце
был камень. Солнце казалось мне тускло, лучи его меня не грели.

Не доезжая слободки, я повернул направо по ущелью. Вид
человека был бы мне тягостен: я хотел быть один. Бросив по-
воду и опустив голову на грудь, я ехал долго, наконец очутился

¹ Комедия кончена.

и месте, мне пора было ехать. Я не могла
отыскивать дорогу. Я не могла найти
заводску, измученного коня.

Лакей мой сказал мне, что записки Б. и
записки: одну от него, другую от Б.

Я распечатал первую; она была следствием

«Всё устроено как можно лучше. Это не
браженное, пуля из груди вышута. Б. устроил
ною его смерти несчастный случай. Только
тому, вероятно, известна ваша ссора. Но
ничего не сказал. Доказательств против
и вы можете спать спокойно... если вы хотите. П.

Я долго не решался открыть вторую записку. Что
мне писать?.. Тяжёлое предчувствие волновало меня.

Вот оно, это письмо, которого каждое слово
залось в моей памяти.

«...Я должна тебе объяснить причину моего
отъезда; она тебе покажется малозажна. Потому
сается до одной меня.

Нынче поутру мой муж вошёл ко мне и рассказывал
твою ссору с Грушницким. Видно, я очень переживала
лице, потому что он долго и пристально смотрел мне в
я едва не упала без памяти при мысли, что ты нынче дол
драться и что я этому причиной; мне казалось, что я с
с ума... Но теперь, когда я могу рассуждать, я уверена, что
ты останешься жив: невозможно, чтобы ты умер без меня
невозможно! Мой муж долго ходил по комнате: я не знаю
что он мне говорил, не помню, что я ему отвечала... Веро
я ему сказала, что я тебя люблю... Помню только, что
конец нашего разговора он оскорбил меня ужасным словом
и вышел. Я слышала, как он велел закладывать карету.
Вот уж три часа, как я сижу у окна и жду твоего
врата... Но ты жив, ты не можешь умереть!.. Карета
готова... Прощай, прощай... Я погибла, — но что за нужда
если б я могла быть уверена, что ты всегда меня будешь
помнить, — не говорю уж любить, — нет, только помнить.
Прощай; идут... я должна спрятать письмо...

Не правда ли, ты не любишь Мери? Ты не женишься на
ней? — Послушай, ты должен мне принести эту жертву:
для тебя потеряла всё на свете...»

Я как безумный выскочил на крыльцо, прыгнул на своего
Черкеса, которого водили по двору, и пустился во весь дух по до
роге в Пятигорск. Я беспощадно погонял измученного коня, ко
торый, храпя и весь в пене, мчал меня по каменистой дороге.

Солнце уже спряталось в чёрной туче, отдылавшейся на гробовых горах, в ущелье стало темно и сыро. Подкумок, пробиваясь по камням, ревел глухо и однообразно. Я скакал, задыхаясь от нетерпенья. Мысль не заставить уже её в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце. Одну минуту, ещё одну минуту видеть её, проститься, пожать её руку... Я молился, проклинал, плакал, смеялся... Нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. При возможности потерять её навеки Вера стала для меня дороже всего на свете — дороже жизни, чести, счастья! Бог знает, какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей... И между тем я всё скакал, погоняя беспощадно. — И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит; он раза два уж споткнулся на ровном месте... Оставалось пять вёрст до Ессентуков — казачьей станицы, где я мог пересестись на другую лошадь.

Всё было бы спасено, если б у моего коня достало сил ещё на десять минут... Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, на крутом повороте, он грянулся о землю. Я проворно соскочил, хочу поднять его, дёргаю за повод — напрасно: едва слышный стон вырвался сквозь стиснутые его зубы; через несколько минут он издох; я остался в степи один, потеряв последнюю надежду; попробовал идти пешком — ноги мои подкосились; изнурённый тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и, как ребёнок, заплакал.

И долго я лежал неподвижно и плакал горько, не стараясь удерживать слёз и рыданий; я думал, грудь моя разорвётся; вся моя твёрдость, всё моё хладнокровие — исчезли как дым; душа обессилела, рассудок замолк, и, если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся.

Когда ночная роса и горный ветер освежил мою горящую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно. Чего мне ещё надобно? — её видеть? — зачем? не всё ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться. Мне, однако, приятно, что я могу плакать! Впрочем, может быть, этому причиной расстроенные нервы, ночь, проведённая без сна, две минуты против дула пистолета и пустой желудок.

Всё к лучшему! Это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне счастливую диверсию¹. Плакать здорово, и потом, вероятно, если б я не проехался верхом и не был принуждён на обратном пути пройти пятнадцать вёрст, то и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих.

Я возвратился в Кисловодск в пять часов утра, бросился на постель и заснул сном Наполеона после Ватерлоо².

¹ Диверсия — передвижение войск с целью отвлечь внимание противника, здесь: отвлечение от душевных страданий.

² Ватерлоо — деревня недалеко от Брюсселя, где в июне 1815 г. была решена решающая победа над Наполеоном.

...тяжёлым сном...
...ее...
...на дворе у нас...
...тихо, в доме княгини было темно.

Видел доктор, но у него был нахмурен; он, против обыкновения, не протянул мне руки.

— Откуда вы, доктор?

— От княгини Лиговской; дочь её больна — расслаблена, перевоз... Да не в этом дело, а вот что: начальство догадывается, и хотя ничего нельзя доказать положительно, однако я вам советую быть осторожнее. Княгиня мне говорила нынче, что она знает, что вы стрелялись за её дочь. Ей всё этот старичок рассказывал... как бишь, его? Он был свидетелем вашей стычки с Грушницким в ресторации. Я пришёл вас предупредить. — Прощайте. Может быть, мы больше не увидимся: вас ушлют куда-нибудь.

Он на пороге остановился: ему хотелось пожать мне руку... и если б я показал ему малейшее на это желание, то он бросился бы мне на шею; но я остался холоден, как камень, — и он вышел.

Вот люди! все они таковы: знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства, — а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость ответственности. Все они таковы, даже самые добрые, самые умные!..

На другой день утром, получив приказание от высшего начальства отправиться в крепость N, я зашёл к княгине проститься.

Она была удивлена, когда на вопрос её: имею ли я ей сказать что-нибудь особенно важное? я отвечал, что желаю ей быть счастливой и проч.

— А мне нужно с вами поговорить очень серьёзно.

Я сел молча.

Явно было, что она не знала, с чего начать: лицо её побагровело, пухлые её пальцы стучали по столу; наконец, она начала так, прерывистым голосом:

— Послушайте, м-сьё Печорин, я думаю, что вы благородный человек.

Я поклонился.

— Я даже в этом уверена, — продолжала она, — хотя ваше поведение несколько сомнительно; но у вас могут быть причины, которых я не знаю, и их-то вы должны теперь мне поверить. Вы защитили дочь мою от клеветы, стрелялись за неё, — следовательно, рисковали жизнью... Не отвечайте, я знаю, что вы в этом не признаётесь, потому что Грушницкий убит (она перекрестилась). Бог ему простит — и, надеюсь, вам также!.. Это до меня не касается... я не смею осуждать вас, потому что дочь моя, хотя невинно, но была этому причиной. Она мне всё сказала... я думаю, всё: вы

изысканная
гния тяжёлая
простая
но я уверена
быть, думаю
тесно: я хочу
незавидно
любит до
Я богата,
дите, я не
гаюсь на
дочь... одна
Она за
— Кня
звольте мне
— Ник
волнении.
— Как
Она за
и вышла.
Прошло
ли спокойн
искры любви
Вот две
с тех пор, к
Дойдя до
дал ей руку
Я стоял
полненные
нибудь пох
лись улыбка
так худы и
— Княж
ся?.. Вы дол
На её ще
Я продол
— Следо
Она отве
и мне показ
— Боже
Это стан
ногам её.
— Итак,
голосом и с
могу на вас
скоро бы рас
меня объясни
что она в за

...переменилась ей в любви... она вам призналась в своей (тут кня-
гиня тяжело вздохнула). Но она больна, и я уверена, что это не
простая болезнь! Печаль тайная её убивает; она не признаётся,
но я уверена, что вы этому причиной... Послушайте: вы, может
быть, думаете, что я ищу чинов, огромного богатства, — разуверь-
тесь: я хочу только счастья дочери. Ваше теперешнее положение
незавидно, но оно может поправиться: вы имеете состояние; вас
любит дочь моя, она воспитана так, что составит счастье мужа.
Я богата, она у меня одна... Говорите, что вас удерживает?.. Ви-
дите, я не должна бы была вам всего этого говорить, но я пола-
гаюсь на ваше сердце, на вашу честь; — вспомните, у меня одна
дочь... одна...

Она заплакала.

— Княгиня, — сказал я, — мне невозможно отвечать вам; по-
звольте мне поговорить с вашей дочерью, наедине...

— Никогда! — воскликнула она, встав со стула в сильном
волнении.

— Как хотите, — отвечал я, приговариваясь уйти.

Она задумалась, сделала мне знак рукою, чтоб я подождал,
и вышла.

Прошло минут пять; сердце моё сильно билось, но мысли бы-
ли спокойны, голова холодна; как я ни искал в груди моей хоть
искры любви к милой Мери, но старания мои были напрасны.

Вот дверь отворилась, и вошла она. Боже! как переменилась
с тех пор, как я не видал её, — а давно ли?

Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась; я вскочил, по-
дал ей руку и довёл её до кресел.

Я стоял против неё. Мы долго молчали; её большие глаза, ис-
полненные неизъяснимой грусти, казалось, искали в моих что-
нибудь похожее на надежду, её бледные губы напрасно стара-
лись улыбнуться; её нежные руки, сложенные на коленях, были
так худы и прозрачны, что мне стало жаль её.

— Княжна, — сказал я: — вы знаете, что я над вами смеял-
ся?.. Вы должны презирать меня.

На её щеках показался болезненный румянец.

Я продолжал:

— Следственно, вы меня любить не можете...

Она отвернулась, облокотилась на стол, закрыла глаза рукою,
и мне показалось, что в них блеснули слёзы.

— Боже мой! — произнесла она едва внятно.

Это становилось невыносимо: ещё минута — и я бы упал к
ногам её.

— Итак, вы сами видите, — сказал я, сколько мог, твёрдым
голосом и с принуждённой усмешкою: — вы сами видите, что я не
могу на вас жениться. Если бы вы даже этого теперь хотели, то
скоро бы раскаялись. Мой разговор с вашей матушкой принудил
меня объясниться с вами так откровенно и так грубо; я надеюсь,
что она в заблуждении: вам легко её разуверить. Вы видите, я

в ваших глазах самую жалкую и гадкую роль, и даже
признаюсь; вот всё, что я могу для вас сделать. Какое бы
дурное мнение обо мне ни имели, я ему покорюсь... Видите ли,
я перед вами низок... Не правда ли, если даже вы меня и любили,
то с этой минуты презираете?..

Она обернулась ко мне бледная, как мрамор, только глаза её
чудесно сверкали.

— Я вас ненавижу... — сказала она.

Я поблагодарил, поклонился почтительно и вышел.

Через час курьерская тройка мчала меня из Кисловодска. За
несколько вёрст от Ессентуков я узнал близ дороги труп моего
лихого коня; седло было снято — вероятно, проезжим казаком,
и, вместо седла, на спине его сидели два ворона. Я вздохнул и от-
вернулся...

И теперь, здесь, в этой скучной крепости, я часто, пробегая
мыслию прошедшее, спрашиваю себя: отчего я не хотел ступить
на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие ра-
дости и спокойствие душевное?.. Нет, я бы не ужился с этой
долею! Я, как матрос, рождённый и выросший на палубе разбой-
ничьего брига¹: его душа сжилась с бурями и битвами, и, выбро-
шенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая
роща, как ни свети ему мирное солнце; он ходит себе целый день
по прибрежному песку, прислушивается к однообразному ропоту
набегающих волн и всматривается в туманную даль: не мелькнёт
ли там на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых
тучек, желанный парус, сначала подобный крылу морской чайки,
но мало-помалу отделяющийся от пены валунов и ровным бегом
приближающийся к пустынной пристани...

В. Г. Белинский

«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

Сочинение М. Лермонтова

(Отрывок)

...«Герой нашего времени» — вот основная мысль романа. В са-
мом деле, после этого весь роман может почтяться злою иронии-
ей, потому что большая часть читателей наверное воскликнет:
«Хорош же герой!» — А чем же он дурён? — смеем вас спросить.

Зачем же так неблагоприятно
Вы отзываетесь о нём?
За то ль, что мы неутомимо
Хлопочем, судим обо всём,
Что пылких дум неосторожность,
Себялюбивую ничтожность
Иль оскорбляет, иль смешит,

Что ум, любя простор, теснит,
Что слишком часто разговоры
Принять мы рады за дела,
Что глупость ветрена и зла,
Что важным людям важны вздоры,
И что посредственность одна
Нам по плечу и не странна?

¹ Бриг — двухмачтовое парусное судно.

...это то же самое. ...обвинять ...за то, что ...он бы и рад иметь его, да не даётся оно ему. И притом, разве Печорин рад своему безверию? разве он гордится им? разве он не страдал от него? разве он не готов ценою жизни и слезы купить эту веру, для которой еще не настал час его?.. Вы говорите, что он — эгоист? — Но разве он не презирает и не ненавидит себя за это? разве сердце его не жаждет любви чистой и бескорыстной? Нет, это не эгоизм; эгоизм не страдает, не обвиняет себя, но доволен собою, рад себе. Эгоизм не знает мучения: страдание есть удел одной любви. Душа Печорина — не каменная почва, но засохшая от зноя пламенной жизни земля: пусть взрыхлит её страдание и оросит благодатный дождь, — и она произрастит из себя пышные, роскошные цветы небесной любви... Этому человеку стало больно и грустно, что его все не любят, — и кто же эти «все»? — пустые, ничтожные люди, которые не могут простить ему его превосходства над ними. А его готовность задушить в себе ложный стыд, голос светской чести и оскорблённого самолюбия, когда он за признание в клевете готов был простить Грушницкому, — человеку, сейчас только выстрелившему в него пулю и бесстыдно ожидавшему от него холостого выстрела? А его слёзы и рыдания в пустынной степи, у тела издохшего коня? — нет, всё это не эгоизм! Но его — скажет вы — холодная расчётливость, систематическая рассчитанность, с которою он обольщает бедную девушку, не любя её, и только для того, чтобы посмеяться над нею и чем-нибудь занять свою праздность? — Так, но мы и не думаем оправдывать его в таких поступках, ни выставлять его образцом и высоким идеалом чистейшей нравственности: мы только хотим сказать, что в человеке должно видеть человека и что идеалы нравственности существуют в одних классических трагедиях и морально-сентиментальных романах прошлого века. Судя о человеке, должно брать в рассмотрение обстоятельства его развития и сферу жизни, в которую он поставлен судьбою. В идеях Печорина много ложного, в ощущениях его есть искажение; но всё это выкупается его богатою натурою. Его, во многих отношениях, дурное настоящее обещает прекрасное будущее. Вы восхищаетесь быстрым движением парохода, видите в нём великое торжество духа над природою — и хотите потом отрицать в нём всякое достоинство, когда он сокрушает, как зерно жёрнов, неосторожных, попавших под его колёса: не значит ли это противоречить самим себе? Опасность от парохода есть результат его чрезмерной быстроты; следовательно, порок его выходит из его достоинства. Быстрые люди, которые отвратительны при всей безукоризненности своего поведения, потому что она в них есть следствие безжизненности и слабости духа. Порок возмутителен и в великих людях; но наказанный, он приводит в умиление вашу душу. Это наказание только тогда есть торжество нравственного духа, когда оно является не извне, но есть результат самого порока, отрица-

не собственной личности индивидуума в оправдание вечных за-
сезн оскорблённой нравственности. Автор разбираемого нами
романа, описывая паружность Печорина, когда он с ним встре-
тился на большой дороге, вот что говорит о его глазах.

«Они не смеялись, когда он смеялся! — Вам не случалось за-
мечать такой странности у некоторых людей?.. Это признак — или
злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущен-
ных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если
можно так выразиться. То не было отражение жара душевного
или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску
гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его — непро-
должительный, но проинцательный и тяжёлый — оставлял по себе
неприятное впечатление нескромного вопроса и мог казаться
дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен». Согласи-
тесь, что как эти глаза, так и вся сцена свидания Печорина с
Максимом Максимычем показывает, что если это порок, то со-
всем не торжествующий, и надо быть рождённым для добра,
чтоб так жестоко быть наказану за зло!.. Торжество нравствен-
ного духа гораздо поразительнее совершается над благород-
ными натурами, чем над злодеями...

А между тем этот роман совсем не злая ирония, хотя и очень
легко может быть принят за иронию; это один из тех романов,

В которых отразился век,
И современный человек
Изображён довольно верно
С его безнравственной душой,

Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.

«Хорош же современный человек!» — воскликнул один нраво-
описательный «сочинитель», разбирая, или, лучше сказать, ругая
седьмую главу «Евгения Онегина». Здесь мы почитаем кстати
заметить, что всякий современный человек, в смысле представи-
теля своего века, как бы он ни был дурён, не может быть дурён,
потому что нет дурных веков, и ни один век не хуже и не лучше
другого, потому что он есть необходимый момент в развитии
человечества или общества.

Пушкин спрашивал самого себя о своём Онегине:

Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще

Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лекси-
кон?..

Уж не пародия ли он?

И этим самым вопросом он разрешил загадку и нашёл слово.
Онегин не подражанье, а отражение, но сделавшееся не в фан-
тазии поэта, а в современном обществе, которое он изображал в
лице героя своего поэтического романа. Сближение с Европою
должно было особенным образом отразиться в нашем общест-
ве, — и Пушкин гениальным инстинктом великого художника

уловил это отражение в лице Онегина. Но Онегин для нас уже прошедшее, и прошедшее невозвратно.

Если бы он явился в наше время, вы имели бы право спросить вместе с поэтом:

Всё тот же ль он, иль усмирился,
Иль корчит так же чудака?
Скажите, чем он возвратился?
Что нам представит он пока?
Чем ныне явится? — Мельмотом,

Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой,
Иль маской щегольнёт иной,
Иль просто будет добрый малый,
Как вы да я, как целый свет?

Печорин Лермонтова есть лучший ответ на все эти вопросы. Это Онегин нашего времени, *герой нашего времени*. Несходство их между собою гораздо меньше расстояния между Онегою и Печорою. Иногда в самом имени, которое истинный поэт даёт своему герою, есть разумная необходимость, хотя, может быть, и не видимая самим поэтом...

Со стороны художественного выполнения нечего и сравнивать Онегина с Печориным. Но как выше Онегин Печорина в художественном отношении, так Печорин выше Онегина по идее. Впрочем, это преимущество принадлежит нашему времени, а не Лермонтову.

Что такое Онегин? — Лучшею характеристикой и истолкованием этого лица может служить французский эпиграф к поэме: «*Pétri de vanité il avait encore plus de cette espèce d'orgueil qui fait avouer avec la même indifférence les bonnes comme les mauvaises actions, suite d'un sentiment de supériorité peut-être imaginaire*»¹. Мы думаем, что это превосходство в Онегине несколько не было воображаемым, потому что он «вчуже чувства уважал» и что в «его сердце была и гордость и прямая честь». Он является в романе человеком, которого убили воспитание и светская жизнь, которому всё пригляделось, всё приелось, всё прилюбилилось, — и которого вся жизнь состояла в том,

Что он равно зевал
Средь модных и старинных зал.

Не таков Печорин. Этот человек не равнодушно, не апатически несёт своё страдание: бешено гоняется он за жизнью, ища её повсюду; горько обвиняет он себя в своих заблуждениях. В нём немолчно раздаются внутренние вопросы, тревожат его, мучат, и он в рефлексии ищет их разрешения: подсматривает каждое движение своего сердца, рассматривает каждую мысль свою. Он сделал из себя самый любопытный предмет своих наблюдений, стараясь быть как можно искреннее в своей исповеди, не только откровенно признаётся в своих истинных недостатках, но ещё

¹ Исполненный тщеславия, он отличался еще той особенной гордостью, которая заставляет с одинаковым безразличием сознаваться как в добрых, так и в дурных поступках, — следствие чувства превосходства, быть может, воображаемого.

и достоинство романа и Мертонтов. Искренне охватывают
современные общественные вопросы, высказываемые в поэтиче-
ских произведениях: это вопль старания, но вопль, который об-
двигает страдание...

Это же единство ощущения, а не идеи, связывает и...
В «Онегине» все части органически сочленены, ибо в нем
рамке романа своего Пушкин исчерпал всю свою идею, и потому
в нём ни одной части нельзя ни изменить, ни заметить. «Герои на-
шего времени» представляет собою несколько рамок, вложенных
в одну большую раму, которая состоит в названии романа и един-
стве героя. Части этого романа расположены согласно с внутрен-
ней необходимостью; но как они суть только отдельные эпизоды
из жизни хотя одного и того же человека, то и могли бы быть за-
менены другими, ибо, вместо приключения в крепости с Бэлой
или в Тамани, могли бы быть подобные же и в других местах, и
с другими лицами, хотя при одном и том же герое. Но тем не
менее основная мысль автора даёт им единство, и общность их
впечатления поразительна, не говоря уже о том, что «Бэла»,
«Максим Максимыч» и «Тамань», отдельно взятые, суть в выс-
шей степени художественные произведения. И какие типические,
какие дивно художественные лица — Бэлы, Азамата, Казбича,
Максима Максимыча, девушки в «Тамани»! Какие поэтические
подробности, какой на всём поэтический колорит!

Но «Княжна Мери», и как отдельно взятая повесть, менее всех
других художественна. Из лиц один Грушницкий есть истинно
художественное создание. Драгунский капитан бесподобен, хотя
и являясь в тени, как лицо меньшей важности. Но всех слабее
обрисованы лица женские, потому что на них-то особенно отрази-
лась субъективность взгляда автора. Лицо Веры особенно неуло-
вимо и неопределённо. Это скорее сатира на женщину, чем жен-
щина. Только что начинаете вы ею интересоваться и очаро-
вываться, как автор тотчас же и разрушает ваше участие и очаро-
вание какою-нибудь совершенно произвольною выходкою.
Отношения её к Печорину похожи на загадку. То она кажется
вам женщиною глубокою, способною к безграничной любви и
преданности, к героическому самоотвержению; то видите в ней одну
слабость, и больше ничего. Особенно ощутителен в ней недостаток
женственной гордости и чувства своего женственного достоин-
ства, которые не мешают женщине любить горячо и беззаветно,
но которые едва ли когда допустят истинно глубокую женщину
сносить тиранство любви. Она любит Печорина, а в другой раз
выходит замуж, и ещё за старика, следовательно по расчёту, по
какому бы то ни было; изменив для Печорина одному мужу, из-
меняет и другому, и скорее по слабости, чем по увлечению чув-
ства. Она обожает в Печорине его высшую природу, и в её обо-
жении есть что-то рабское. Вследствие всего этого она не воз-
буждает к себе сильного участия со стороны автора и, подобно
тени, проскользает в его воображении. Княжна Мери изображена

...это девушка печальная, но и не пустая. Но даже и в этом смысле, в детском смысле этого слова: ей было мало обольщения, в котором влакло бы её чувство, непременно так, чтобы ей было несчастье и ходил в толстой и серой солдатской шинели. Печорину очень легко было обольстить её: стоило только казаться непонятным и таинственным и быть дерзким. В её направлении есть нечто общее с Грушницким, хотя она и несравненно выше его. Она допустила обмануть себя; но когда увидела себя обманутою, она, как женщина, глубоко почувствовала своё оскорбление и пала его жертвою, безответною, безмолвно страдающею, но без унижения, — и сцена её последнего свидания с Печориным возбуждает к ней сильное участие и обливает её образ блеском поэзии. Но, несмотря на это, и в ней есть что-то как будто бы недосказанное, чему опять причиною то, что её тяжбу с Печориным судило не третье лицо, каким бы должен был явиться автор.

Однако при всём этом недостатке художественности, вся повесть насквозь проникнута поэзиею, исполнена высочайшего интереса. Каждое слово в ней так глубоко знаменательно, самые парадоксы так поучительны, каждое положение так интересно, так живо обрисовано! Слог повести — то блеск молнии, то удар меча, то рассыпающийся по бархату жемчуг! Основная идея так близка сердцу всякого, кто мыслит и чувствует, что всякий из таких, как бы ни противоположно было его положение положениям, в ней представленным, увидит в ней исповедь собственно его сердца...

Николай Васильевич
Толстой

1809—1852.

МЕРТВЫЕ ДУШИ¹

(1835—1852)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, словом, все те, которых называют господами средней руки. В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод. Въезд его не произвёл в городе совершенно никакого шума и не был сопровождён ничем особенным; только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нём. «Вишь ты», сказал один другому: «вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если бы случилось, в Москву или не доедет?» — «Доедет», отвечал другой. — «А в Казань-то, я думаю не доедет?» — «В Казань не доедет», отвечал другой. — Этим разговор и кончился. Да ещё, когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых² панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушеньями на моду, из-под которого видна была манишка, застёгнутая тульской булавкою с бронзовым пистолетом. Молодой человек оборотился назад, посмотрел экипаж, придерживал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошёл своей дорогой.

¹ Печатается в сокращении.

² Канифасовые — парусиновые.

х, живым и вертявым до такой степени, что было рассмотреть, какое у него было лицо. Он вынул с салфеткой в руке, весь длинный и в длинном тонком сюртуке со свинкою чуть не на самом запястье, пошел волосами и повёл проворно господина вверх по всей лестнице. Покой был известного рода, ибо гостиница была тоже известного рода, то есть именно такая, как бывают гостиницы в губерньских городах, где за два рубля в сутки проезжающие получают покойную комнату с тараканами, выглядывающими, как чертослав, из всех углов, и дверью в соседнее помещение, всегда заставленную комодом, где устранивается сосед, молчаливый и спокойный человек, но чрезвычайно любопытный, интересующийся знать о всех подробностях проезжающего. — Наружный фасад гостиницы отвечал её внутренности: она была очень длинна, в два этажа; нижний не был вычекатурен и оставался в темно-красных кирпичиках, ещё более потемневших от лихих погодных перемен и грязноватых уже самих по себе; верхний был покрашен вечною желтою краскою; внизу были лавочки с хомутами, верёвками и баранками. В угольной из этих лавочек, или, лучше, в окне, помещался сбитенщик с самоваром из красной меди и лицом так же красным, как самовар, так что издали можно было подумать, что на окне стояло два самовара, если бы один самовар не был с чёрною, как смоль, бороною.

Пока приезжий господин осматривал свою комнату, внесены были его пожитки: прежде всего чемодан из белой кожи, несколько поистасканный, показывавший, что был не в первый раз в дороге. Чемодан внесли кучер Селифан, низенький человек в тулупчике, и лакей Петрушка, малый лет тридцати, в просторном подержанном сюртуке, как видно, с барского плеча, малый немного суровый на взгляд, с очень крупными губами и носом. Вслед за чемоданом внесён был небольшой ларчик, красного дерева, с штучными выкладками из карельской берёзы, сапожные колодки и завернутая в синюю бумагу жареная курица. Когда всё это было внесено, кучер Селифан отправился на конюшню возиться около лошадей, а лакей Петрушка стал устраниваться в маленькой передней, очень тёмной конурке, куда уже успел притащить свою шинель и вместе с нею какой-то свой собственный запах, который был сообщён и принесённому вслед за тем мешку с разным лакейским туалетом. В этой конурке он приладил к стене узенькую трёхногую кровать, накрыв её небольшим подобием тюфяка, убитым и плоским, как блин, и, может быть, так же замаслившимся, как блин, который удалось ему вытребовать у хозяина гостиницы.

¹ Демикотанный — из плотной бумажной ткани.

Покамест слуги управлялись и возились, господин отира-
лся в общую залу. Какие бывают эти общие залы — всякий
проезжающий знает очень хорошо: те же стены, выкрашенные
масляной краской, потемневшие вверху от трубочного дыма и
залосненные снизу спицами разных проезжающих, а ещё более
туземными купеческими, ибо купцы по торговым дням прихо-
дили сюда сам-шест и сам-сём испивать свою известную пару
чая, тот же закопчённый потолок, та же копчёная люстра со
множеством висячих стёклышек; которые прыгали и звенели
всякий раз, когда половой бегал по истёртым клеёнкам, пома-
хивая бойко подносом, на котором сидела такая же бездна чай-
ных чашек, как птиц на морском берегу, те же картины во всю
стену, писанные масляными красками, словом, всё то же, что и
везде; только и разницы, что на одной картине изображена была
нимфа с такими огромными грудями, каких читатель, верно, ни-
когда не видывал. Подобная игра природы, впрочем, случается
на разных исторических картинах, неизвестно, в какое время,
откуда и кем привезённых к нам в Россию, иной раз даже на-
шими вельможами, любителями искусства, накупившими их в
Италии, по совету вёзших их курьеров. Господин скинул с себя
картуз и размотал с шеи шерстяную, радужных цветов косынку,
какую женатым prepares своими руками супруга, снабжая
приличными наставлениями, как закутываться, а холостым, на-
верное не могу сказать, кто делает, бог их знает, я никогда не
носил таких косынок. Размотавши косынку, господин велел по-
дать себе обед. Покамест ему подавались разные обычные в
трактирах блюда, как-то: щи с слоёным пирожком, нарочно
сберегаемым для проезжающих в течение нескольких недель,
мозги с горошком, сосиски с капустой, пулярка жареная, огурец
солёный и вечный слоёный сладкий пирожок, всегда готовый
к услугам; покамест ему всё это подавалось и разогретое и про-
сто холодное, он заставил слугу, или полового, рассказывать
всякий вздор о том, кто содержал прежде трактир и кто теперь,
и много ли даёт дохода, и большой ли подлец их хозяин, на что
половой по обыкновению отвечал: «о, большой, сударь, мошен-
ник». Как в просвещённой Европе, так и в просвещённой России
есть теперь весьма много почтенных людей, которые без того не
могут покушать в трактире, чтоб не поговорить с слугою, а иногда
даже забавно пошутить над ним. Впрочем, приезжий делал не
всё пустые вопросы: он с чрезвычайною точностью расспросил,
кто в городе губернатор, кто председатель палаты, кто прокурор,
словом — не пропустил ни одного значительного чиновника, по-
ещё с большею точностию, если даже не с участием, расспросил
обо всех значительных помещиках, сколько кто имеет душ кре-
стьян, как далеко живёт от города, какого даже характера и как
часто приезжает в город; расспросил внимательно о состоянии
края: не было ли каких болезней в их губернии, повальных горя-
чек, убийственных каких-нибудь лихорадок, оспы и тому подоб-

ее, чем одно простое любопытство. В...
...имел что-то солидное и высмаркивался...
громко. Неизвестно, как он это делал, но только нос...
...труба. Это, по... совершенно невинное...
...однако ж... уважения со стороны трактирного...
...так что он всякий раз, когда слышал этот звук, встряхи-
вал волосами, выпрямлялся почтительнее и, нагнувшись с вы-
инив свою голову, спрашивал: не нужно ли чего? После обеда
господин выкушал чашку кофею и сел на диван, подложивши
себе за спину подушку, которую в русских трактирах вместо
эластической шерсти набивают чем-то чрезвычайно похожим на
кирпич и булыжник. Тут начал он зевать и приказал отвести
себя в свой номер, где, прилегши, заснул два часа. Отдохнувши,
он написал на лоскутке бумажки, по просьбе трактирного служи-
чии, имя и фамилию для сообщения, куда следует, в полицию. На
бумажке половой, спускаясь с лестницы, прочитал по складам
следующее: «Коллежский советник Павел Иванович Чичиков,
помещик, по своим надобностям». Когда половой всё ещё разби-
рал по складам записку, сам Павел Иванович Чичиков отправил-
ся посмотреть город, которым был, как казалось, удовлетворён,
ибо нашёл, что город никак не уступал другим губернским го-
родам; сильно была в глаза жёлтая краска на каменных домах
и скромно темнела серая на деревянных. Дома были в один, два
и полтора этажа с вечным мезонином, очень красивым, по мне-
нию губернских архитекторов. Местами эти дома казались за-
терянными среди широкой, как поле, улицы и нескончаемых де-
ревянных заборов; местами сбивались в кучу и здесь было за-
метно более движения народа и живости. Попадались почти
смытые дождём вывески с кренделями и сапогами, кое-где с на-
рисованными синими брюками и подписью какого-то Аршавского
портного; где магазин с картузами, фуражками и надписью:
«Иностранец Василий Фёдоров»; где нарисован был билиарт с
двумя игроками во фраках, в какие одеваются у нас на театрах
гости, входящие в последнем акте на сцену. Игроки были изоб-
ражены с прицелившимися киями, несколько вывороченными
назад руками и косыми ногами, только что сделавшими на воз-
духе антраша. Под всем этим было написано: «И вот заведение».
Кое-где просто на улице стояли столы с орехами, мылом и пря-
никами, похожими на мыло; где харчевня с нарисованною тол-
стою рыбою и воткнутою в неё вилкою. Чаше же всего заметно
было потемневших двуглавых государственных орлов, которые
теперь уже заменены лаконическою надписью: «Питейный дом».
Мостовая везде была плоховата. Он заглянул и в городской сад,
который состоял из тоненьких дерев, дурно принявшихся, с под-
порками внизу, в виде треугольников, очень красиво выкрашен-
ных зелёною масляною краскою. Впрочем, хотя эти деревца были
не выше тростника, о них было сказано в газетах при описании

из...
гражд...
ков...
этом...
петал...
призна...
подроб...
бится...
отправ...
дорого...
шедши...
на про...
ружно...
с узелк...
чтобы...
прямо...
тирным...
лет под...
свече и...
замечат...
цебу, в...
лова, пр...
он проч...
афиша...
потом п...
чего-ниб...
опрятно...
дывать...
порцией...
сном во...
обширно...
Весь...
правился...
чением...
кову, был...
ривали да...
шой добр...
отправило...
седателя...
над казён...
мнить все...
жий оказ...
явился да...
ной управ...
в городе...
теями он...
намекну...

...что город наш украсился, олагодаря поначению
...анского правителя, садом, состоящим из тенистых, широ-
...ветвистых дерев, дающих прохладу в знойный день, и что при-
...было очень умигательно глядеть, как сердца граждан тре-
...тали в избытке благодарности и струили потоки слёз в знак
...ризнательности к господину градоначальнику. Расспросивши
...подробно будочника, куда можно пройти ближе, если понадо-
...бится, к собору, к присутственным местам, к губернатору, он
...справился взглянуть на реку, протекавшую посредине города,
...дорогою оторвал прибитую к столбу афишу с тем, чтобы, при-
...шедши домой, прочитать её хорошенько, посмотрел пристально
...на проходившую по деревянному тротуару даму недурной на-
...ружности, за которой следовал мальчик в военной ливрее,
...с узелком в руке, и, ещё раз окинувши всё глазами, как бы с тем,
...чтобы хорошо припомнить положение места, отправился домой
...прямо в свой номер, поддерживаемый слегка на лестнице трак-
...тирным слугою. Накушавшись чаю, он уселся перед столом, ве-
...дел подать себе свечу, вынул из кармана афишу, подиёс её к
...свече и стал читать, прищуря немного правый глаз. Впрочем,
...замечательного немного было в афишке: давалась драма г. Ко-
...цебу, в которой Ролла играл г. Поплёвин, Кору — девица Зяб-
...лова, прочие лица были и того менее замечательны, однако же
...он прочёл их всех, добрался даже до цены партера и узнал, что
...афиша была напечатана в типографии губернского правления,
...потом переверотил на другую сторону — узнать, нет ли и там
...чего-нибудь, но, не найдши ничего, протёр глаза, свернул
...опрятно и положил в свой ларчик, куда имел обыкновение скла-
...дывать всё, что ни попадалось. День, кажется, был заключён
...порцией холодной телятины, бутылкою кислых щей и крепким
...сном во всю насосную завёртку, как выражаются в иных местах
...обширного русского государства.

Весь следующий день посвящён был визитам; приезжий от-
...правился делать визиты всем городским сановникам. Был с по-
...чтением у губернатора, который, как оказалось, подобно Чичи-
...кову, был ни толст, ни тонок собой, имел на шее Анну, и погово-
...ривали даже, что был представлен к звезде; впрочем, был боль-
...шой добряк и даже сам вышивал иногда по тюлю. Потом
...справился к вице-губернатору, потом был у прокурора, у пред-
...седателя палаты, у полицеймейстера, у откупщика, у начальника
...над казёнными фабриками... жаль, что несколько трудно упо-
...мянуть всех сильных мира сего; но довольно сказать, что приез-
...жий оказал необыкновенную деятельность насчёт визитов: он
...явился даже засвидетельствовать почтение инспектору лечеб-
...ной управы и городскому архитектору. И потом ещё долго сидел
...в бричке, придумывая, кому бы ещё отдать визит, да уж больше
...в городе не нашлось чиновников. В разговорах с сими власти-
...телями он очень искусно умел польстить каждому. Губернатору
...кажекнул как-то вскользь, что в его губернию въезжаешь, как

... с бархатные, в ...
размачают мудрых сановников, до ...
лицеменстеру сказал что-то очень лестное насчет то ...
дочников; а в разговорах с вице-губернатором и пр ...
... аты, которые были ещё только статские советники, сказал
даже ошибкою два раза ваше превосходительство, что очень им
понравилось. Следствием этого было то, что губернатор сделал
ему приглашение пожаловать к нему того же дня на домашнюю
вечеринку, прочие чиновники тоже, с своей стороны, кто на обед,
кто на бостончик, кто на чашку чаю.

О себе приезжий, как казалось, избегал много говорить, если
же говорил, то какими-то общими местами, с заметною скром-
ностью, и разговор его в таких случаях принимал несколько кни-
жные обороты: что он незначащий червь мира сего и недостойн
того, чтобы много о нём заботились, что испытал много на веку
своём, претерпел на службе за правду, имел много неприятелей,
покушавшихся даже на жизнь его, и что теперь, желая успо-
коиться, ищет избрать наконец место для жительства, и что, при-
бывши в этот город, пошёл за непременный долг засвидетельст-
вовать своё почтение первым его сановникам. Вот всё, что узнали
в городе об этом новом лице, которое очень скоро не преминуло
показать себя на губернаторской вечеринке. Приготовление к
этой вечеринке заняло с лишком два часа времени, и здесь в
приезде оказалась такая внимательность к туалету, какой
даже не везде видывано. После небольшого послеобеденного сна
он приказал подать умыться, и чрезвычайно долго тёр мылом
обе щеки, подперши их изнутри языком; потом, взявши с плеча
трактирного слуги полотенце, вытер им со всех сторон полное
своё лицо, начав из-за ушей и фыркнув прежде раза два в самое
лицо трактирного слуги. Потом надел перед зеркалом манишку,
выщипнул вылезшие из носа два волоска и непосредственно за-
тем очутился во фраке брусничного цвета с искрой. Таким обра-
зом одевшись, покатился он в собственном экипаже по беско-
нечно широком улицам, озарённым тощим освещением из кое-
где мелькавших окон. Впрочем, губернаторский дом был так
освещён, хоть бы и для бала; коляски с фонарями, перед подъ-
ездом два жандарма, форейторские крики вдали, — словом, всё
как нужно. Вошедши в зал, Чичиков должен был на минуту за-
жмурить глаза, потому что блеск от свечей, ламп и дамских
платьев был страшный. Всё было залито светом. Чёрные фрак
мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся
мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского
лета, когда старая ключница рубит и делит его на сверкающие
обломки перед открытым окном; дети все глядят, собравшись
вокруг, следя любопытно за движениями жёстких рук её, поды-
мающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые лёгким
воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь под-
слеповатостью старухи и солнцем, беспокоящим глаза её, обсу-

...куски, где вразбиту, где густыми кучами. На-
...богатый летом, и без того на всяком шагу расстав-
...лакомые блюда, они влетели вовсе не с тем, чтобы
...во чтобы только показать себя, пройтись взад и вперёд по
...сахарной куче, потереть одна о другую задние или передние
...лапки, или почесать ими у себя под крылышками, или, протянув-
...обе передние лапки, потереть ими у себя над головою, по-
...вернуться и опять улечься и опять прилететь с новыми докуч-
...ными эскадронами.

Не успел Чичиков осмотреться, как уже был схвачен под руку
губернатором, который представил его тут же губернаторше.
Приезжий гость и тут не уронил себя: он сказал какой-то ком-
плимент, весьма приличный для человека средних лет, имеющего
чин не слишком большой и не слишком малый. Когда установив-
шиеся пары танцующих притиснули всех к стене, он, заложивши
руки назад, глядел на них минуты две очень внимательно.
Многие дамы были хорошо одеты и по моде, другие оделись во
что бог послал в губернский город. Мужчины здесь, как и везде,
были двух родов: одни тоненькие, которые всё увивались около
дам; некоторые из них были такого рода, что с трудом можно
было отличить их от петербургских, имели так же весьма чисто,
обдуманно и со вкусом зачёсанные бакенбарды, или просто бла-
говидные, весьма гладко выбритые овалы лиц, так же небрежно
подседали к дамам, так же говорили по-французски и смешили
дам так же, как и в Петербурге. Другой род мужчин составляли
толстые или такие же, как Чичиков, то есть не так чтобы слиш-
ком толстые, однако ж и не тонкие. Эти, напротив того, косились
и пятились от дам и посматривали только по сторонам, не рас-
ставляя ли где губернаторский слуга зелёного стола для виста.
Лица у них были полные и круглые, на иных даже были боро-
давки, кое-кто был и рябоват, волос они на голове не носили ни
хохлами, ни буклями, ни на манер «чёрт меня побери», как гово-
рят французы: волосы у них были или низко подстрижены, или
прилизаны, а черты лица больше закруглённые и крепкие. Это
были почётные чиновники в городе. Увы! толстые умеют лучше
на этом свете обделывать дела свои, нежели тоненькие. Тоненькие
служат больше по особенным поручениям, или только числятся, и
виляют туда и сюда; их существование как-то слишком легко,
воздушно и совсем ненадёжно. Толстые же никогда не зани-
мают косвенных мест, а всё прямые, и уж если сядут где, то
сядут надёжно и крепко, так что скорей место затрещит и
угнётся под ними, а уж они не слетят. Наружного блеска они
не любят; на них фрак не так ловко скроен, как у тоненьких,
зато в шкатулках благодать божия. У тоненького в три года
не остаётся ни одной души, не заложенной в ломбард; у тол-
стого спокойно, глядь, и явился-где-нибудь в конце города дом,
купленный на имя жены, потом в другом конце другой дом, по-
том близ города деревенька, потом и село со всеми угодьями.

осведомился о них, отозвавши тут же нескольких
людей, среди которых и конюшечника. Несколько вопросов,
поставленных в тесте не только любознательности,
осведомленности; но прежде всего расспросил он, сколько
из них душ крестьян, и в каком положении нахо-
дятся их имения, а потом уже осведомился, как имя и отчество.
В короткое время он совершенно успел очаровать их. Поми-
ну Манитов, ещё вовсе человек не пожилой, имевший глаза
стекляне, как сахар, и шутивший их всякий раз, когда смеялся,
был от него без памяти. Он очень долго жал ему руку и просил
реально сделать ему честь своим приездом в деревню, к ко-
торой, по его словам, было только пятнадцать вёрст от город-
ской заставы. На что Чичиков с весьма вежливым наклоном
головы и искренним пожатием руки отвечал, что он не только
с большою охотою готов это исполнить, но даже почтёт за свя-
теннейший долг. Собакевич тоже сказал несколько лакониче-
ски «и ко мне прошу», шаркнувши ногою, обутою в сапог та-
кого исполинского размера, которому вряд ли где можно найти
соответствующую ногу, особливо в нынешнее время, когда и на Руси
начинают уже выводиться богатыри.

На другой день Чичиков отправился на обед и вечер к поли-
цеймейстеру, где с трёх часов после обеда засели, в вист и
играли до двух часов ночи. Там между прочим он познакомился
с помещиком Ноздрёвым, человеком лет тридцати, разбитным
нашим, который ему после трёх-четырёх слов начал говорить
«ты». С полицеймейстером и прокурором Ноздрёв тоже был на ты
и обращался по-дружески; но когда сели играть в большую
игру, полицеймейстер и прокурор чрезвычайно внимательно
рассматривали его взятки и следили почти за всякою картою,
с которой он ходил. На другой день Чичиков провёл вечер у
председателя палаты... Потом был на вечере у вице-губерна-
тора, на большом обеде у откупщика, на небольшом обеде у
прокурора, который, впрочем, стоил большого; на закуске
после обедни, данной городским главою, которая тоже стоила
много. Словом, ни одного часа не приходилось ему оставаться
дома, и в гостиницу приезжал он с тем только, чтобы заснуть.
Приезжий во всём как-то умел найтись и показал в себе
какого-то светского человека. О чём бы разговор ни был, он
всегда умел поддержать его: шла ли речь о лошадином за-
воде. — он говорил и о лошадином заводе; говорили ли о хоро-
ших собаках, — и здесь он сообщал очень дельные замечания;
касались ли касательно следствия, произведённого казённою
палатою, — он показал, что ему неизвестны и судейские
делушки; было ли рассуждение о билиартной игре, — и в би-
лиартной игре не давал он промаха; говорили ли о добродете-
ли, — и о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со сле-
зами на глазах; об выделке горячего вина, — и в горячем вине
он был прок; о таможенных надсмотрщиках и чиновниках, — и

о них он судил так, как будто бы сам был и
смотрщиком. — Но замечательно, что он все это делал
какою-то степенностью, умел хорошо держать себя
громко, ни тихо, а совершенно так, как следует. Словом, в по-
вороти, был очень порядочный человек. Все окружающие
довольны приездом нового лица. Губернатор был доволен, что
он благонамеренный человек, прокурор, что он доб-
рый человек; жангармский полковник Говард, что он доб-
рый человек; председатель палаты, что он порядочный и доб-
рый человек; полицеймейстер, что он почтенный и доб-
рый человек; жена полицеймейстера, что он любезнейший и доб-
нейший человек. Даже сам Собакевич, который только что вернулся
о ком-нибудь с хорошей стороны, приехавши довольно поздно из
города и уже совершенно раздевшись и лёжа на кровати, возле
худощавой жены своей, сказал ей: «Я, душенька, был у губерна-
тора на вечере, и у полицеймейстера обедал, и познакомился с
коллежским советником Павлом Ивановичем Чичиковым, пре-
приятный человек!» На что супруга отвечала: «Гм!» и толкнула
его ногою.

Такое мнение, весьма лестное для гостя, составилось о нём
в городе, и оно держалось до тех пор, покамест одно странное
свойство гостя и предприятие, или, как говорят в провинциях,
пассаж, о котором читатель скоро узнает, не привело в совершен-
ное недоумение почти всего города.

ГЛАВА II

...Деревня Маниловка немногих могла заманить своим ме-
стоположением. Дом господский стоял одиночкой на юру, то
есть на возвышении, открытом всем ветрам, каким только возду-
шается подуть; покатость горы, на которой он стоял, была одета
подстриженным дёрном. На ней были разбросаны по-английски
две-три клумбы с кустами сиреней и жёлтых акаций; пять-шесть
берёз небольшими купами кое-где возносили свои мелколистные
жиденькие вершины. Под двумя из них была беседка с плоским
зелёным куполом, деревянными голубыми колоннами и надписью:
«Храм уединённого размышления», пониже пруд, покрытый зе-
ленью, что, впрочем, не в диковинку в английских садах русских
помещиков. У подошвы этого возвышения, и частью по самому
скату, темнели вдоль и поперёк серенькие бревенчатые избы, ко-
торые герой наш, неизвестно по каким причинам, в ту же минуту
принялся считать и насчитал более двухсот; нигде между ними
растущего дерева или какой-нибудь зелени; везде глядело
только одно бревно. Вид оживляли две бабы, которые, картинно
подобравши платья и подтыкавшись со всех сторон, брели по ко-
лени в пруде, влача за два деревянных клыча изорванный бре-
вень, где видны были два запутавшиеся рака и блестя попав-
шаяся плотва; бабы, казалось, были между собою в ссоре и за-

...то перебраивались. Поодаль в стороне темнел каким-то
сизо-синеватым цветом сосновый лес. Даже самая погода вес-
ми кстаги прислужилась: день был не то ясный, не то мрачный, а
какого-то светло-серого цвета, какой бывает только на старых
мундирах гарнизонных солдат, этого, впрочем, мирного войска,
но отчасти нетрезвого по воскресным дням. Для пополнения кар-
тины не было недостатка в петухе, предвозвестнике переменчивой
погоды, который, несмотря на то, что голова продолблена была
до самого мозга носами других петухов по известным делам
волокитства, горланил очень громко и даже похлопывал крыль-
ями, обдёрганными, как старые рогожки. Подъезжая ко двору,
Чичиков заметил на крыльце самого хозяина, который стоял
в зелёном шалоновом сюртуке, приставив руку ко лбу в ви-
де зонтика над глазами, чтобы рассмотреть получше подъез-
жавший экипаж. По мере того как бричка близилась к крыль-
цу, глаза его делались веселее, и улыбка раздвигалась более
и более.

«Павел Иванович!» вскричал он наконец, когда Чичиков вы-
лезал из брички. «Насилу вы-таки нас вспомнили!»

Оба приятеля очень крепко поцеловались, и Манилов увёл
своего гостя в комнату. Хотя время, в продолжение которого они
будут проходить сени, переднюю и столовую, несколько коротко-
вато, но попробуем, не успеем ли как-нибудь им воспользоваться
и сказать кое-что о хозяине дома. Но тут автор должен признаться,
что подобное предприятие очень трудно. Гораздо легче изо-
бражать характеры большого размера: там просто бросай крас-
ки со всей руки на полотно, чёрные палящие глаза, нависшие бро-
ви, перерезанный морщиной лоб, перекинутый через плечо чёр-
ный или алый, как огонь, плащ, и портрет готов; но вот эти все
господа, которых много на свете, которые с вида очень похожи
между собою, а между тем, как приглядишься, увидишь много
самых неуволвимых особенностей, — эти господа страшно трудны
для портретов. Тут придётся сильно напрягать внимание, пока за-
ставишь перед собою выступить все тонкие, почти невидимые чер-
ты, и вообще далеко придётся углублять уже изощрённый в на-
уке выпытывания взгляд.

Один бог разве мог сказать, какой был характер Манилова.
Есть род людей, известных под именем: люди так себе, ни то,
ни сё, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан, по словам посло-
вицы. Может быть, к ним следует примкнуть и Манилова. На
взгляд он был человек видный; черты лица его были не лишены
приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было
передано сахару; в приёмах и оборотах его было что-то
заеживающее расположения и знакомства. Он улыбался
заманчиво, был белокур, с голубыми глазами. В первую ми-
нуту разговора с ним не можешь не сказать: какой при-
ятный и добрый человек! В следующую затем минуту ни-

его не скажешь, а в третью скажешь: чёрт знает, что такое! и отойдешь подальше; если ж не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную. От него не дождешься никакого живого или хоть даже заносчивого слова, какое можешь услышать почти от всякого, если коснёшься задирающего его предмета. У всякого есть свой задор: у одного задор обратился на борзых собак; другому кажется, что он сильный любитель музыки и удивительно чувствует все глубокие места в ней; третий мастер лихо пообедать; четвёртый сыграть роль хоть одним вершком повыше той, которая ему назначена; пятый, с желанием более ограниченным, спит и грезит о том, как бы пройтись на гуляньи с флигель-адъютантом, напоказ своим приятелям, знакомым и даже незнакомым; шестой уже одарён такой рукою, которая чувствует желание сверхъестественное заломить угол какому-нибудь бубновому тузу или двойке, тогда как рука седьмого так и лезет произвести где-нибудь порядок, подобраться поближе к личности станционного смотрителя или ямщиков — словом, у всякого своё, но у Манилова ничего не было. Дома он говорил очень мало и большею частью размышлял и думал, но о чём он думал, тоже разве богу было известно. — Хозяйством нельзя сказать, чтобы он занимался, он даже никогда не ездил на поля, хозяйство шло как-то само собою. Когда приказчик говорил: «хорошо бы, барин, то и то сделать»; «да, недурно», отвечал он обыкновенно, куря трубку, которую курить сделал привычку, когда ещё служил в армии, где считался скромнейшим, деликатнейшим и образованнейшим офицером, «да, именно недурно», повторял он. Когда приходил к нему мужик и, почесавши рукою затылок, говорил: «Барин, позволь отлучиться на работу, подать заработать»; «ступай», говорил он, куря трубку, и ему даже в голову не приходило, что мужик шёл пьянствовать. Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или через пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. — При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими, и лицо принимало самое довольное выражение; впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на 14 странице, которую он постоянно читал уже два года. В доме его чего-нибудь вечно недоставало: в гостиной стояла прекрасная мебель, обтянутая щегольскою шёлковою материей, которая, верно, стоила весьма недёшево; но на два кресла её не достало, и кресла стояли обтянуты просто рогожею; впрочем, хозяин в продолжение нескольких лет всякий раз предостерегал своего гостя словами: не садитесь — на эти кресла, они ещё не готовы. В иной комнате и вовсе не было мебели, хотя и было

говорено в первые дни после женитьбы: «душенька, нужно будет завтра похлопотать, чтобы в эту комнату хоть на время поставить мебель». Вечеру подавался на стол очень щегольской подсвечник из тёмной бронзы, с тремя античными грациями, с перламутрным щегольским щитом, и рядом с ним ставился какой-то просто медный инвалид, хромой, свернувшийся на сторону и весь в сале, хотя этого не замечал ни хозяин, ни хозяйка, ни слуги.

Жена его... впрочем, они были совершенно довольны друг другом. Несмотря на то, что минуло более восьми лет их супружеству, из них всё ещё каждый приносил другому или кусочек яблока, или конфетку, или орешек, и говорил трогательно-нежным голосом, выражавшим совершенную любовь: «разинь, душенька, свой ротик, я тебе положу этот кусочек». — Само собою разумеется, что ротик раскрывался при этом случае очень грациозно. Ко дню рождения приготавлиемы были сюрпризы: какой-нибудь бисерный чехольчик на зубочистку. Он весьма часто, сидя на диване, вдруг совершенно неизвестно из каких причин один, оставивши свою трубку, а другая работа, если только она держалась на ту пору в руках, они напечатлевали друг другу такой томный и длинный поцелуй, что в продолжении его можно было легко выкурить маленькую соломенную сигарку. Словом, они были то, что говорится счастливы. Конечно, можно бы заметить, что в доме есть много других занятий, кроме продолжительных поцелуев и сюрпризов, и много бы можно сделать разных запросов. Зачем, например, глупо и без толку готовится на кухне? зачем довольно пусто в кладовой? зачем воровка ключница? зачем нечистоплотны и пьяницы слуги? зачем вся дворня спит немилосердным образом и повесничает всё остальное время? Но всё это предметы низкие, а Манилова воспитана хорошо. А хорошее воспитание, как известно, получается в пансионах. А в пансионах, как известно, три главные предмета составляют основу человеческих добродетелей: французский язык, необходимый для счастья семейственной жизни; фортепьяно, для доставления приятных минут супругу, и наконец собственно хозяйственная часть: вязание кошельков и других сюрпризов. Впрочем, бывают разные усовершенствования и изменения в методах, особенно в нынешнее время; всё это более зависит от благоразумия и способностей самих содержательниц пансиона. В других пансионах бывает таким образом, что прежде фортепьяно, потом французский язык, а там уже хозяйственная часть. А иногда бывает и так, что прежде хозяйственная часть, то есть вязание сюрпризов, потом французский язык, а там уже фортепьяно. Разные бывают методы. Не мешает сделать ещё замечание, что Манилова... но, признаюсь, о дамах я очень боюсь говорить, да притом мне пора возвратиться к нашим героям, которые стояли уже несколько минут перед дверями гостиной, взаимно упрашивая друг друга пройти вперёд.

«Сделайте милость, не беспокойтесь так для меня, я пропущу», говорил Чичиков.

«Нет, Павел Иванович, нет, вы гость», говорил Манилов, показывая ему рукою на дверь.

«Не затрудняйтесь, пожалуйста, не затрудняйтесь. Пожалуйста, проходите», говорил Чичиков.

«Нет, уж извините, не допущу пройти позади такому приятному, образованному гостю».

«Почему ж образованному?.. пожалуйста, проходите».

«Ну, да уж извольте проходить вы».

«Да отчего ж?»

«Ну, да уж оттого!» сказал с приятною улыбкою Манилов.

Наконец оба приятеля вошли в дверь боком и несколько притиснули друг друга.

«Позвольте мне вам представить жену мою», сказал Манилов. — «Душенька! Павел Иванович!»

Чичиков, точно, увидел даму, которую он совершенно было не заметил, раскланиваясь в дверях с Маниловым. Она была недурна; одета к лицу. На ней хорошо сидел матерчатый шелковый капот бледного цвета; тонкая небольшая кисть руки её что-то бросила поспешно на стол и сжала батистовый платок с вышитыми уголками. Она поднялась с дивана, на котором сидела. Чичиков не без удовольствия подошёл к её ручке. Манилова проговорила, несколько даже картавя, что он очень обрадовал их своим приездом, и что муж её, не проходило дня, чтобы не вспоминал о нём.

«Да», промолвил Манилов: «уж она бывало всё спрашивает меня: «Да что же твой приятель не едет?» «Погоди, душенька, приедет». А вот вы наконец и удостоили нас своим посещением. Уж такое, право, доставили наслаждение, майский день, именины сердца...»

Чичиков, услышавши, что дело уже дошло до именин сердца, несколько даже смутился и отвечал скромно, что ни громкого имени не имеет, ни даже ранга заметного.

«Вы всё имеете», прервал Манилов с тою же приятною улыбкою: «всё имеете, даже ещё более».

«Как вам показался наш город?», промолвила Манилова. «Приятно ли провели там время?»

«Очень хороший город, прекрасный город», отвечал Чичиков: «и время провёл очень приятно: общество самое обходительное».

«А как вы нашли нашего губернатора?» сказала Манилова.

«Не правда ли, что препотеннейший и прелюбезнейший человек?» прибавил Манилов.

«Совершенная правда», сказал Чичиков: «препотеннейший человек. И как он вошёл в свою должность, как понимает её! Нужно желать побольше таких людей».

«Как он может этак, знаете, принять всякого, наблюсти деликатность в своих поступках», присовокупил Манилов с улыбкою, и от удовольствия почти зажмурил глаза, как кот, у которого слегка пощекотали за ушами пальцем.

«Очень обходительный и приятный человек», продолжал Чичиков: «и какой искусник! я даже никак не мог предполагать этого. Как хорошо вышивает разные домашние узоры. Он мне показывал своей работы кошёлёк: редкая дама может так искусно вышить».

«А вице-губернатор, не правда ли, какой милый человек?» сказал Манилов, опять несколько прищурил глаза.

«Очень, очень достойный человек», отвечал Чичиков.

«Ну, позвольте, а как вам показался полицеймейстер? Не правда ли, что очень приятный человек?»

«Чрезвычайно приятный, и какой умный, какой начитанный человек! Мы у него проиграли в вист вместе с прокурором и председателем палаты до самых поздних петухов. Очень, очень достойный человек».

«Ну, а какого вы мнения о жене полицеймейстера?» прибавила Манилова. «Не правда ли, прелюбезная женщина?»

«О, это одна из достойнейших женщин, каких только я знаю», отвечал Чичиков.

За сим не пропустили председателя палаты, почтмейстера и таким образом перебрали почти всех чиновников города, которые все оказались самыми достойными людьми.

«Вы всегда в деревне проводите время?» сделал наконец в свою очередь вопрос Чичиков.

«Больше в деревне», отвечал Манилов. «Иногда, впрочем, приезжаем в город для того только, чтобы увидиться с образованными людьми. Одичаешь, знаете, если будешь всё время жить взаперти».

«Правда, правда», сказал Чичиков.

«Конечно», продолжал Манилов: «другое дело, если бы соседство было хорошее, если бы, например, такой человек, с которым бы в некотором роде можно было поговорить о любезности, о хорошем обращении, следить какую-нибудь этакую науку, чтобы этак расшевелило душу, дало бы, так сказать, паренье этакое...» Здесь он ещё что-то хотел выразить, но, заметивши, что несколько зарпортовался, ковырнул только рукою в воздухе и продолжал: «тогда, конечно, деревня и уединение имели бы очень много приятностей. Но решительно нет никого... Вот только иногда почитаешь «Сын Отечества».

Чичиков согласился с этим совершенно, прибавивши, что ничего не может быть приятнее, как жить в уединении, наслаждаться зрелищем природы и почитать иногда какую-нибудь книгу...

«Но знаете ли», прибавил Манилов: «всё, если нет друга, с которым бы можно поделиться...»

«...это справедливо, это совершенно справедливо!» прервал Чичиков, «что все сокровища тогда в мире! Не имей денег, имей сердцаных людей для обращения, — сказал один мудрец».

«И знаете, Павел Иванович!» сказал Манилов, явя в лице своём выражение не только сладкое, но даже приторное, подобное той микстуре, которую ловкий светский доктор засластил немилосердно, воображая ею обрадовать пациента. «Тогда чувствуешь какое-то, в некотором роде, духовное наслаждение... Вот как, например, теперь, когда случай мне доставил счастье, можно сказать, образцовое, говорить с вами и наслаждаться приятным вашим разговором...»

«Помилуйте, что ж за приятный разговор?.. Ничтожный человек, и больше ничего», отвечал Чичиков.

«О! Павел Иванович, позвольте мне быть откровенным: я бы с радостью отдал половину всего моего состояния, чтобы иметь часть тех достоинств, которые имеете вы!..»

«Напротив, я бы почёл с своей стороны за величайшее...»

Неизвестно, до чего бы дошло взаимное изливание чувств обоих приятелей, если бы вошедший слуга не доложил, что кушанье готово.

«Прошу покорнейше», сказал Манилов.

«Вы извините, если у нас нет такого обеда, какой на паркетах и в столицах; у нас просто, по русскому обычаю, щи, но от чистого сердца. Покорнейше прошу».

Тут они ещё несколько времени поспорили о том, кому первому войти, и наконец Чичиков вошёл боком в столовую.

В столовой уже стояли два мальчика, сыновья Манилова, которые были в тех летах, когда сажают уже детей за стол, но ещё на высоких стульях. При них стоял учитель, поклонившийся вежливо и с улыбкою. Хозяйка села за свою суповую чашку; гость был посажен между хозяином и хозяйкою, слуга завязал детям на шею салфетки.

«Какие миленькие дети», сказал Чичиков, посмотрев на них: «а который год?»

«Старшему осьмой, а меньшему вчера только минуло шесть», сказала Манилова.

«Фемистоклюс!» сказал Манилов, обратившись к старшему, который старался освободить свой подбородок, завязанный ленточкою в салфетку. Чичиков поднял несколько бровь, услышав такое отчасти греческое имя, которому неизвестно почему Манилов дал окончание на юс, но постарался тот же час привести лицо в обыкновенное положение.

«Фемистоклюс, скажи мне, какой лучший город во Франции? Здесь учитель обратил всё внимание на Фемистоклюса и, как залось, хотел ему вскочить в глаза, но наконец совершенно успокоился и кивнул головою, когда Фемистоклюс сказал:

«Париж».

«А у нас какой лучший город?» спросил опять Манилов.

учитель опять настранил внимание.
«Петербург», отвечал Фемистоклюс.

«А ещё какой?»

«Москва», отвечал Фемистоклюс.

«Умница, душенька!» сказал на это Чичиков.

«Скажите однако ж...» продолжал он, обратившись тут же с некоторым видом изумления к Маниловым. «Я должен вам сказать, что в этом ребёнке будут большие способности».

«О, вы ещё не знаете его», отвечал Манилов: «у него чрезвычайно много остроумия. Вот меньшой, Алкид, тот не так быстр, а этот сейчас, если что-нибудь встретит, букашку, козявку, так уж у него вдруг глазёнки и забегают; побежит за ней следом и тотчас обратит внимание. Я его прочу по дипломатической части. Фемистоклюс!» продолжал он, снова обратясь к нему, «хочешь быть посланником?»

«Хочу», отвечал Фемистоклюс, жуя хлеб и болтая головой направо и налево.

В это время стоявший позади лакей утёр посланнику нос, и очень хорошо сделал, иначе бы канула в суп препорядочная посторонняя капля. Разговор начался за столом об удовольствии спокойной жизни, прерываемый замечаниями хозяйки о городском театре и об актёрах. Учитель очень внимательно глядел на разговаривающих и как только замечал, что они были готовы усмехнуться, в ту же минуту открывал рот и смеялся с усердием. Вероятно, он был человек признательный и хотел заплатить этим хозяину за хорошее обращение. Один раз, впрочем, лицо его приняло суровый вид, и он строго застучал вилок по столу, устремив глаза на сидевших насупротив его детей. Это было у него, потому что Фемистоклюс укусил за ухо Алкида, и Алкид, зажмурив глаза и открыв рот, готов был зарыдать самым жалким образом, но, почувствовав, что за это легко можно было лишиться блюда, привёл рот в прежнее положение и начал со слезами грызть баранью кость, от которой у него обе щеки лоснились жиром. Хозяйка очень часто обращалась к Чичикову с словами: «Вы ничего не кушаете, вы очень мало взяли». На что Чичиков отвечал всякий раз: «Покорнейше благодарю, я сыт, приятный разговор лучше всякого блюда».

Уже встали из-за стола. Манилов был доволен чрезвычайно и, поддерживая рукою спину своего гостя, готовился таким образом препроводить его в гостиную, как вдруг гость объявил с весьма значительным видом, что он намерен с ним поговорить об одном очень нужном деле.

«В таком случае позвольте мне вас попросить в мой кабинет», сказал Манилов и повёл в небольшую комнату, обращённую окном на синевший лес. «Вот мой уголок», сказал Манилов. «Приятная комнатка», сказал Чичиков, окинувши её глазами. Комнатка была, точно, не без приятности: стены были выкрашены какой-то голубенькой краской вроде серенькой,

четыре стула, одно кресло, стол, на котором лежала книжка с заложенною закладкою, о которой мы уже имели случай упомянуть, несколько писанных бумаг, но больше всего было трубку. Он был в разных видах: в картузах и в табачнице, и наконец наспынан был просто кучею на столе. На обоих окнах тоже помещены были горки выбитой из трубки золы, расставленные не без старания очень красивыми рядками. Заметно было, что это иногда доставляло хозяину препровождение времени.

«Позвольте вас попросить расположиться в этих креслах», сказал Манилов. «Здесь вам будет попокойнее».

«Позвольте, я сяду на стуле».

«Позвольте вам этого не позволить», — сказал Манилов с улыбкою. «Это кресло у меня уж ассигновано для гостя: ради, или не ради, но должны сесть».

Чичиков сел.

«Позвольте мне вас попотчевать трубкою».

«Нет, не курю», отвечал Чичиков ласково и как бы с видом сожаления.

«Отчего?» сказал Манилов тоже ласково и с видом сожаления.

«Не сделал привычки, боюсь; говорят, трубка сушит».

«Позвольте мне вам заметить, что это предубеждение. Я полагаю даже, что курить трубку гораздо здоровее, нежели нюхать табак. В нашем полку был поручик, прекраснейший и образованнейший человек, который не выпускал изо рта трубки не только за столом, но даже, с позволения сказать, во всех прочих местах. И вот ему теперь уже сорок с лишком лет, но благодаря бога до сих пор так здоров, как нельзя лучше».

Чичиков заметил, что это точно случается, и что в натуре находится много вещей, неизъяснимых даже для обширного ума.

«Но позвольте прежде одну просьбу...» проговорил он голо-
сом, в котором отдалось какое-то странное или почти странное выражение, и вслед за тем неизвестно отчего оглянулся назад. Манилов тоже неизвестно отчего оглянулся назад. «Как давно вы изволили подавать ревизскую сказку¹?»

«Да уж давно; а лучше сказать — не припомню».

«Как с того времени много у вас умерло крестьян?»

«А не могу знать, об этом, я полагаю, нужно спросить приказчика. Эй, человек, позови приказчика, он должен быть сегодня здесь».

Приказчик явился. Это был человек лет под сорок, бривший бороду, ходивший в сюртуке и, по-видимому, проводивший очень покойную жизнь, потому что лицо его глядело какою-то пухлою полнотою, а желтоватый цвет кожи и маленькие глаза показывали, что он был крепостным крестьянином.

¹ Ревизская сказка — перепись крепостных крестьян в помещичьих имениях.

«... что он знал слишком хорошо, что такое пуховики и пери-
... было видеть то-то, с, что он совершил своё поприще,
... знает его все подробности приключений. Был прежде про-
... мальчишкой в доме, потом женился на какой-то
... -кличке, барынином фаворитке, сделался сам
... а там и приказчиком. А сделавшись приказчиком,
... разумеется, как все приказчики: возмужал и сумел с
... которые на деревне были побогаче, похлопотал на тылах по-
... притружившись в девятый час у утра, поладил самовара и
... ».

«Поступай, любезный! сколько у нас умерло крестьян с тех
... подавали ревизию?»

«Да как сколько? Многие умирали с тех пор», сказал при-
... и при этом кинул, заслонив рот сложенной рукою наподо-
... дитка.

«Да, признаюсь, я сам так думал», подхватил Манилов:
«... очень многие умирали!» Тут он оборотился к Чичикову и
... ещё: «точно, очень многие».

«А как, например, числом?» спросил Чичиков.

«Да, сколько числом?» подхватил Манилов.

«Да как сказать числом? Ведь неизвестно, сколько умерло,
... никто не считал».

«Да, именно», сказал Манилов, обратясь к Чичикову: «я тоже
... предполагал, большая смертность; совсем неизвестно, сколько
... умерло».

«Ты, пожалуйста, их перечти», сказал Чичиков: «и сделай
... подробный реестрик всех поимённо».

«Да, всех поимённо», сказал Манилов.

Приказчик сказал: «слушаю!» и ушёл.

«А для каких причин вам это нужно?» спросил по уходе при-
... Манилов.

Этот вопрос, казалось, затруднил гостя, в лице его показав-
... какое-то напряжённое выражение, от которого он даже по-
... краснел, напряжение что-то выразить, не совсем покорное сло-
... И в самом деле, Манилов наконец услышал такие страшные
... необыкновенные вещи, каких ещё никогда не слышал челове-
... ческие уши.

«Вы спрашиваете, для каких причин? причины вот какие: я
... хотел бы купить крестьян...» сказал Чичиков, закинулся и не кон-
... речи.

«Но позвольте спросить вас», сказал Манилов; «как желаете
... купить крестьян, с землёю, или просто на вывод, то есть без
... земли?»

«Нет, я не то, чтобы совершенно крестьян», сказал Чичиков:
«я желаю иметь мёртвых...»

«Как-о? извините... я несколько туг на ухо, мне послышалось
... страшное слово...»

«Я полагаю приобрести мертвых, которые, впрочем, дадутся бы по ревизии, как живые», сказал Чичиков.

Манилов выронил тут же чубук с трубкою на пол, и как разинул рот, так и остался с разинутым ртом в продолжение нескольких минут. Оба приятеля, рассуждавшие о приятностях дружеской жизни, остались недвижимы, вперея друг в друга глаза, как те портреты, которые вешались в старину один против другого по обеим сторонам зеркала. Наконец Манилов поднял трубку с чубуком и поглядел снизу ему в лицо, стараясь рассмотреть, не видно ли какой усмешки на губах его, не пошутил ли он, но ничего не было видно такого, напротив, лицо даже казалось степеннее обыкновенного; потом подумал, не спятил ли гость как-нибудь невзначай с ума, и со страхом посмотрел на него пристально; но глаза гостя были совершенно ясны, не было в них дикого, беспокойного огня, какой бегают в глазах сумасшедшего человека, всё было прилично и в порядке. Как ни придумывал Манилов, как ему быть и что ему сделать, но ничего другого не мог придумать, как только выпустить изо рта оставшийся дым очень тонкою струёю.

«Итак, я бы желал знать, можете ли вы мне таковых, не живых в действительности, но живых относительно законной формы, передать, уступить или как вам заблагорассудится лучше?»

Но Манилов так сконфузился и смешался, что только смотрел на него.

«Мне кажется, вы затрудняетесь?..» заметил Чичиков.

«Я?.. нет, я не то», сказал Манилов: «но я не могу постичь... извините... я, конечно, не мог получить такого блестящего образования, какое, так сказать, видно во всяком вашем движении; не имею высокого искусства выражаться... Может быть, здесь... в этом, вами сейчас выраженном изъяснении... скрыто другое... Может быть, вы изволили выразиться так для красоты слога?»

«Нет», подхватил Чичиков; «нет, я разумею предмет таков, как есть, то есть те души, которые точно уже умерли».

Манилов совершенно растерялся. Он чувствовал, что ему нужно что-то сделать, предложить вопрос, а какой вопрос — чёрт его знает. Кончил он наконец тем, что выпустил опять дым, но только уже не ртом, а через носовые ноздри.

«Итак, если нет препятствий, то с богом, можно бы приступить к совершению купчей крепости», сказал Чичиков.

«Как, на мёртвые души купчую?»

«А, нет!» сказал Чичиков. «Мы напишем, что они живы, так, как стоит действительно в ревизской сказке. Я привык ни в чём не отступать от гражданских законов, хотя за это и потерпел из службе, но уж извините: обязанность для меня дело священное, закон — я немею перед законом».

Последние слова понравились Манилову, но в толк самого дела он всё-таки никак не вник и вместо ответа принялся наса- сыпать свой чубук так сильно, что тот начал наконец хрипеть, как фagот. Казалось, как будто он хотел вытянуть из него мне- ние относительно такого неслыханного обстоятельства; но чубук хрипел и больше ничего.

«Может быть, вы имеете какие-нибудь сомнения?»

«О! помилуйте, ничуть. Я не насчёт того говорю, чтобы имел какое-нибудь, то есть критическое предосуждение о вас. Но по- зволяете доложить, не будет ли это предприятие, или, чтоб ещё более, так сказать, выразиться негоция¹, так не будет ли эта не- гоция не соответствующею гражданским постановлениям и даль- нейшим видам России?»

Здесь Манилов, сделавши некоторое движение головою, по- смотрел очень значительно в лицо Чичикова, показав во всех чертах лица своего и в сжатых губах такое глубокое выражение, какого, может быть, и не видано было на человеческом лице, раз- ве только у какого-нибудь слишком умного министра, да и то в минуту самого головокружного дела.

Но Чичиков сказал просто, что подобное предприятие, или негоция, никак не будет не соответствующею гражданским по- ставлениям и дальнейшим видам России, а через минуту потом прибавил, что казна получит даже выгоду, ибо получит законные пошлины.

«Так вы полагаете?..»

«Я полагаю, что это будет хорошо».

«А если хорошо, это другое дело: я против этого ничего», ска- зал Манилов и совершенно успокоился.

«Теперь остаётся условиться в цене...»

«Как в цене?» сказал опять Манилов и остановился. «Не- ужели вы полагаете, что я стану брать деньги за души, которые в некотором роде окончили своё существование? Если уж вам пришло этакое, так сказать, фантастическое желание, то с своей стороны я передаю их вам безынтересно и купчую беру на себя».

Великий упрёк был бы историку предлагаемых событий, если бы он упустил сказать, что удовольствие одолело гостя после та- ких слов, произнесённых Маниловым. Как он ни был степенен и рассудителен, но тут чуть не произвёл даже скачок по образцу козла, что, как известно, производится только в самых сильных порывах радости. Он поворотился так сильно в креслах, что лоп- нула шерстяная материя, обтягивавшая подушку; сам Манилов посмотрел на него в некотором недоумении. Побуждённый при- знательностью, он наговорил тут же столько благодарностей, что тот смешался, весь покраснел, производил головою отрицатель- ный жест, и наконец уже выразился, что это сущее ничего, что

¹ Негоция — торговая сделка.

...и, а другие и в некоторых...

«Очень, не дрянью», сказал Чичиков, потому что...
был исполнен очень глубокими...
сердечным излиянием; не без чувства и...
наконец следующие слова

«Если б вы знали, какую услугу, оказали...
дряню человеку без племени и роду! Да, и...
что не потерял я? Как барка какая-нибудь, с...
вода. Каких тонений, каких преследований не испытал, что...
горя не вкусил, — а за что? за то, что соблюдал...
был чист на своей совести, что подавал руку и...
мощной и сироте-горемыке?..» Тут даже он отёр платком...
тившуюся слезу.

Манилов был совершенно растроган. Оба приятеля долго
жали друг другу руки и долго смотрели молча один другому в
глаза, в которых видны были навернувшиеся слёзы. Манилов же,
как не хотел выпустить руки нашего героя и продолжал жать её
так горячо, что тот уже не знал, как её выручить. Наконец, вы-
дернувши её потихоньку, он сказал, что не худо бы купную со-
вершить поскорее и хорошо бы, если бы он сам понаведася в
город. Потом взял шляпу и стал откланиваться.

«Как? вы уж хотите ехать?» сказал Манилов, вдруг оцну-
вшись и почти испугавшись.

В это время вошла в кабинет Манилова.

«Лизанька», сказал Манилов с несколько жалостливым ви-
дом: «Павел Иванович оставляет нас!»

«Потому что мы надоели Павлу Ивановичу», отвечала Мани-
лова.

«Сударыня! здесь», сказал Чичиков: «здесь, вот где», тут он
положил руку на сердце, «да, здесь пребудет приятность времени,
проведённого с вами! и поверьте, не было бы для меня большего
благенства, как жить с вами, если не в одном доме, то по край-
ней мере в самом ближайшем соседстве».

«А знаете, Павел Иванович», сказал Манилов, которому очень
поправилась такая мысль, «как было бы в самом деле хорошо,
если бы жить этак вместе, под одною кровлею или под тенью ка-
кого-нибудь вяза пофилософствовать о чём-нибудь, углубиться!»

«О, это была бы райская жизнь!» сказал Чичиков, встав-
нувши. «Прощайте, сударыня!» продолжал он, подходя к руке
Маниловой. «Прощайте, почтеннейший друг! Не позабудьте
просьбы!»

«О, будьте уверены!» отвечал Манилов. «Я с вами расстаюсь
не долее как на два дни».

Все вышли в столовую.

«Прощайте, миленькие малютки!» сказал Чичиков, увидевши
Акиндию и Фемистоклюса, которые занимались каким-то деревян-

...у которого уже не было ни руки, ни носа. «Простите, мои крошки. Вы извините меня, что я не привёз вам того, что вы хотели. Но теперь как приведу, непременно приведу. Тебе саблю? Или хочешь саблю?»

«Хочу», отвечал Фемистоклюс.

«А тебе барабан; не правда ли, тебе барабан?» продолжал он, выходя к Алкиду.

«Барабан», отвечал шёпотом и потупив голову Алкид.

«Хорошо, я тебе привезу барабан. Такой барабан тебе будет: туррр, ру...тра та та та та та... Прощай». Тут поцеловал он его в щеку и вышел. Алкид и его супруге с небольшим смехом, с какою-то гордостью обращаются к родителям, давая им знать о том, что они делают их детей.

«Право, останьтесь, Павел Иванович!» кричал Манилов, и уже все вышли на крыльцо. «Посмотрите, какие тучки!»

«Это маленькие тучки», отвечал Чичиков.

«Да знаете ли вы дорогу к Собакевичу?»

«Об этом хочу спросить вас».

«Позвольте, я сейчас расскажу вашему кучеру». Тут Манилов с такою же любезностью рассказал дело кучеру и сказал ему даже один раз «вы».

Кучер, услышав, что нужно пропустить два повозки и ехать на третий, сказал: «потрафим, ваше благородие». И действительно, сопровождаемый долго поклонами и маханьем шляп, выходящими из карет, выехал на цыпочках хозяев.

Манилов долго стоял на крыльце, провожая глазами удаляющуюся бричку, и когда она уже совершенно стала из виду, всё ещё стоял, куря трубку. Наконец, вошёл он в комнату, сел на стул и предался размышлению, душевно радуясь, что достиг своего небольшого удовольствия. Потом мысленно перенёсся незаметно к другим предметам и наконец задал себе вопрос: куда. Он думал о благополучии дружелюбной жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом через эту реку начал строить в воображении огромный дом с таким высоким бастионом, что можно было бы видеть даже Москву, и там пить водку и курить табак. Потом, что они вместе с Чичиковым приехали в Москву, чтобы возбудить в хороших каретах, где обитали все важные люди, и что будто бы государи, унаследовавшие от отца и дедушки, жаловали их генералами, и далее начал думать, что такое это уже он и сам никак не мог разобрать. Странно, но Чичикова прервала вдруг все его размышления. Чичиков, который особенно не старался себе, в это время сидел на стуле, и так же, как и Манилов, куря трубку, что тянулось до самого улова.

...ан ищет дорогу и привозит его в деревню...
Купив у неё «мёртвые души», Чичиков едет дальше. На постоялом дворе, где он остановился передохнуть, Чичиков встречается с Ноздрёвым, который уговаривает его заехать к нему.

Неосторожная попытка Чичикова приобрести у Ноздрёва «мёртвые души» разжигает любопытство последнего. Между хозяином и гостем возникает ссора, готовая перейти в драку. Только случайность помешала Чичикову благополучно выбраться от Ноздрёва.]

ГЛАВА V

...Деревня показалась ему довольно велика: два леса, берёзовый и сосновый, как два крыла — одно темнее, другое светлее, были у неё справа и слева: посреди виднелся деревянный дом с мезонином, красной крышей и тёмно-серыми или, лучше, дикими стенами, — дом вроде тех, какие у нас строят для военных поселений и немецких колонистов. Было заметно, что при постройке его зодчий¹ беспрестанно боролся со вкусом хозяина. Зодчий был педант² и хотел симметрии, хозяин — удобства, и как видно, вследствие того, заколотил на одной стороне все отвечающие окна и повертел на место их одно маленькое, вероятно, понадобившееся для тёмного чулана. Фронтон³ тоже никак не пришёлся посреди дома, как ни бился архитектор, потому что хозяин приказал одну колонну сбоку выкинуть, и оттого очутилось не четыре колонны, как было назначено, а только три. Двор окружён был крепкою и непомерно толстою деревянною решёткой. Помещик, казалось, хлопотал много о прочности. На конюшине сарай и кухни были употреблены полновесные и толстые брёвна, определённые на вековое стояние. Деревенские избы мужиков тоже срублены были на диво: не было кирпичных стен⁴, резных узоров и прочих затей, но всё было пригнано плотно и как следует. Даже колодец был обделан в такой крепкий дуб, какой идёт только на мельницы да на корабли. Словом, всё, на что ни глядел он, было упористо, без пошатки, в каком-то крепком и неуклюжем порядке. Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшие из окна почти в одно время два лица: женское, в чепце, узкое, длинное, как огурец, и мужское — круглое, широкое, как молдаванские тыквы, называемые горлянками, из которых деляют на Руси балалайки, двухструнные, лёгкие балалайки, красу и потеху ухватливого двадцатилетнего парня, мигача и шёголя, и подмигивающего, и посвистывающего на белорудых и белошейных девиц, собравшихся послушать его тихострунного треньканья. Выглянувши, оба лица в ту же минуту спрятались

¹ Зодчий — архитектор, строитель.

² Педант — человек, следующий раз принятым формам и склонный к мелочам; буквоед, формалист в науке.

³ Фронтон — часть стены, ограниченная сверху двумя скатами крыши и имеет форму равнобедренного треугольника.

⁴ Кирпичные стены — гладко вытесанные стены.

На крыльцо вышел лакей в серой куртке с голубым стоячим воротником и ввёл Чичикова в сени, куда вышел уже сам хозяин. Увидев гостя, он сказал отрывисто: «прошу!» и повёл его во внутренние жилья.

Когда Чичиков взглянул искоса на Собакевича, он ему на этот раз показался весьма похожим на средней величины медведя. Для довершения сходства фрак на нём был совершенно медвежьего цвета, рукава длинные, панталоны длинные, ступнями ступал он и вкривь и вкось и наступал беспрестанно на чужие ноги. Цвет лица имел калёный, горячий, какой бывает на медном пятаке. Известно, что есть много на свете таких лиц, над отделкою которых натура недолго мудрила, не употребляла никаких мелких инструментов, как-то: напильников, буравчиков и прочего, но просто рубила со всего плеча,хватила топором раз — вышел нос,хватила в другой — вышли губы, большим сверлом ковырнула глаза и, не обскобливши,пустила на свет,сказавши: «живёт!» Такой же самый крепкий и на диво стаченный образ был у Собакевича: держал он его более вниз, чем вверх, шеей не ворочал вовсе и, в силу такого неповорота, редко глядел на того, с которым говорил, но всегда или на угол печки, или на дверь. Чичиков ещё раз взглянул на него искоса, когда проходили они столовую: медведь! совершенный медведь! Нужно же такое странное сближение: его даже звали Михайлом Семёновичем. Зная привычку его наступать на ноги, он очень осторожно передвигал своими и давал ему дорогу вперёд. Хозяин, казалось, сам чувствовал за собою этот грех и тот же час спросил: «не побеспокоил ли я вас?» Но Чичиков поблагодарил, сказав, что ещё не произошло никакого беспокойства.

Вошед в гостиную, Собакевич показал на кресла, сказавши опять: «Прошу!» Садясь, Чичиков взглянул на стены и на висевшие на них картины. На картинах всё были молодцы, всё греческие полководцы, гравированные во весь рост: Маврокордато в красных панталонах и мундире, с очками на носу, Колокотрони, Миаули, Канари¹. Все эти герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу. Между крепкими греками, неизвестно каким образом и для чего, поместился Багратион², тощий, худенький, с маленькими знаменами и пушками внизу и в самых узеньких рамках. Потом опять следовала героиня греческая Бобеллина³, которой одна нога касалась больше всего туловища тех щёголей, которые наполняют залась больше всего туловища тех щёголей, которые наполняют пышные гостиные. Хозяин, будучи сам человек здоровый и крепкий, казалось, хотел, чтобы и комнату его украшали тоже люди крепкие и здоровые. Возле Бобеллины, у самого окна, висела

¹ Маврокордато, Колокотрони, Миаули, Канари — участники борьбы с турками за независимость Греции в 1821 г.

² Багратион — русский генерал, герой войны 1812 г.; умер от раны, полученной во время Бородинской битвы.

³ Бобеллина — участница борьбы за независимость Греции.

успели помолчать двух минут, как дверь в гостиную
и вошла хозяйка, дама весьма высокая, в чепце с де-
крашенными домашнею краскою. Вошла она прямо
лову прямо, как палма.

«Это моя Феодулия Ивановна!» сказал Собакевич.

Чичиков подошёл к ручке Феодулии Ивановны, которая
почти впахнула ему в губы, причём он имел случай заметить, что
руки были вымыты огуречным рассолом.

«Душенька, рекомендую тебе», продолжал Собакевич: «Парень
Иванович Чичиков! У губернатора и полтмейстера имел честь по-
знакомиться».

Феодулия Ивановна попросила садиться, сказавши тогда:
«Прошу!» и сделав движение головою, подобно антрисам, пред-
ставляющим королев. Затем она уселась на диване, накрывшись
своим мериносовым платком и уже не двинула более ни гла-
зом, ни бровью, ни носом.

Чичиков опять поднял глаза вверх и опять увидел Иванова с
толстыми ляжками и нескончаемыми усами, Бобелину и дрозда
в клетке.

Почти в течение целых пяти минут все хранили молчание; раз-
давался только стук, производимый носом дрозда о дерево дере-
вянной клетки, на дне которой удил он хлебные зёрнышки. Чичи-
ков ещё раз окинул комнату и всё, что в ней ни было — всё было
прочно, неуклюже в высочайшей степени и имело какое-то стран-
ное сходство с самим хозяином дома: в углу гостиной стояло
пузатое ореховое бюро на пренелепых четырёх ногах: совершено
медведь. Стол, креслы, стулья — всё было самого тяжёлого
и беспокойного свойства, словом, каждый предмет, каждый стул,
казалось, говорил: «и я тоже Собакевич!» или: «и я тоже очень
похож на Собакевича!»

«Мы об вас вспоминали у председателя палаты, у Ивана Гри-
горьевича», сказал, наконец, Чичиков, видя, что никто не распе-
лагается начинать разговора: «в прошедший четверг. Очень
приятно провели там время».

«Да, я не был тогда у председателя», отвечал Собакевич.

«А прекрасный человек!»

«Кто такой?» — сказал Собакевич, глядя на угол печи.

«Председатель».

«Ну, может быть, это вам так показалось: он только что ра-
сон, а такой дурак, какого свет не производил».

Чичиков немного озадачился таким отчасти резким опреде-
лением, но потом, поправившись, продолжал: «Конечно, всякий че-
ловек не без слабостей, но зато губернатор, какой превосходный
человек!»

«Губернатор превосходный человек?»

«Да, не правда ли?»

«Первый разбойник в мире!»

«Как, губернатор разбойник?» — сказал Чичиков и совершенно не мог понять, как губернатор мог попасть в разбойники. «Признаюсь, этого я бы никак не подумал», продолжал он.

«Но позвольте, однако же, заметить: поступки его совершенно не такие; напротив, скорее даже мягкости в нём много». Тут он привёл в доказательство даже кошельки, вышитые его собственными руками, и отозвался с похвалою об ласковом выражении лица его.

«И лицо разбойничье!» — сказал Собакевич. «Дайте ему только нож, да выпустите его на большую дорогу, — зарежет, за копейку зарежет! Он да ещё вице-губернатор — это Гога и Магога!»

«Нет, он с ними не в ладах», подумал про себя Чичиков.

«А вот заговорю я с ним о полицеймейстере? он, кажется, друг его». — «Впрочем, что до меня», сказал он: «мне, признаюсь, более всех нравится полицеймейстер. Какой-то этакой характер прямой, открытый; в лице видно что-то простосердечное».

«Мошенник!» — сказал Собакевич очень хладнокровно: «продаст, обманет ещё и пообедает с вами! Я их знаю всех: это все мошенники, весь город там такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все хриstopродавцы. Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья».

После таких похвальных, хотя несколько кратких биографий, Чичиков увидел, что о других чиновниках нечего упоминать, и вспомнил, что Собакевич не любил ни о ком хорошо отзываться.

«Что ж, душенька, пойдём обедать», сказала Собакевичу его супруга.

«Прошу!» — сказал Собакевич. Засим подошедши к столу, где была закуска, гость и хозяин выпили, как следует, по рюмке водки, закусили, как закусывает вся пространная Россия по городам и деревням, то есть всякими солёностями и иными возбуждающими благодатями, и потекли все в столовую: впереди их, как плавный гусь, понеслась хозяйка. Небольшой стол был накрыт на четыре прибора. На четвёртое место явилась очень скоро, — трудно сказать утвердительно, кто такая, дама или девица родственница, домоводка, или просто проживающая в доме, — что-то без чепца, около тридцати лет, в пёстром платке. Есть лица, которые существуют на свете не как предмет, а как посторонние крапинки или пятнышки на предмете. Сидят они на том же месте, одинаково держат голову, их почти готов принять за мебель и думаешь, что отроду ещё не выходило слово из таких уст; а где-нибудь в девичьей или в кладовой окажется просто: ого-го!

Гога и Магога — имена легендарного паря и его народа, внушавших ужас своей свирепостью

«Ии, моя душа, сегодня очень хороши!» — сказал Собакевич, проглатывая шей и отваливши себе с блюда огромный кусок из известного блюда, которое подаётся к щам и состоит из бараньего желудка, начинённого гречневой кашей, мозгом и ножками. «Эдакой няни», — продолжал он, обратившись к Чичикову, — «вы не будете есть в городе, там вам чёрт знает что подадут!»

«У губернатора, однако ж, недурён стол», сказал Чичиков.

«Да знаете ли, из чего всё это готовится? вы есть не станете, когда узнаете».

«Не знаю как готовится, об этом я не могу судить, но свиные котлеты и разварная рыба были превосходны».

«Это вам так показалось. Ведь я знаю, что они на рынке покупают. Купит вон тот каналья повар, что выучился у француза, кота, обдерёт его и подаёт на стол вместо зайца».

«Фу! какую ты неприятность говоришь», сказала супруга Собакевича.

«А что ж, душенька! так у них делается: я не виноват, так у них у всех делается. Всё, что ни есть ненужного, что Акулька у нас бросает, с позволения сказать, в помойную лохань, они его в суп! да в суп! туда его!»

«Ты за столом всегда эдакое расскажешь», возразила опять супруга Собакевича.

«Что ж душа моя», сказал Собакевич: «если б я сам это делал, но я тебе прямо в глаза скажу, что я гадостей не стану есть. Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму её в рот, и устрицы тоже не возьму; я знаю, на что устрица похожа. Возьмите барана», продолжал он, обращаясь к Чичикову: «это бараний бок с кашей. Это не те фрикасе, что делаются на барских кухнях из баранины, какая суток по четыре на рынке валяется. Это всё выдумали доктора немцы да французы; я бы их перевешал за это. Выдумали диету — лечить голодом! что у них немецкая жидкостная натура, так они воображают, что и с русским желудком сладят! Нет, это всё не то, это всё выдумки, это всё...» Здесь Собакевич даже сердито покачал головою. «Толкуют просвещение, просвещение, а это просвещение — фук! Сказал бы и другое слово, да вот только что за столом неприлично. У меня не так. У меня, когда свинина — всю свинью давай на стол, баранина — всего барана тащи, гусь — всего гуся! Лучше я съем двух блюд да съем в меру, как душа требует». Собакевич подтвердил это делом: он опрокинул половину бараньего бока к себе на тарелку, съел всё, обгрыз, обсосал до последней косточки.

«Да», подумал Чичиков, — «у этого губа не дура».

«У меня не так», говорил Собакевич, вытирая салфеткою руки: «у меня не так, как у какого-нибудь Плюшкина: 800 душ имеет, а живёт и обедает хуже моего пастуха».

«Кто такой этот Плюшкин?» — спросил Чичиков.

«Мошенник», отвечал Собакевич. «Такой скряга, какого во-

образить трудно. В тюрьме колодники лучше живут, чем он: всех людей переморил голодом».

«Вирайду!» — подхватил с участием Чичиков: «и вы говорите, что у него, точно, люди умирают в большом количестве?»

«Как мухи мрут».

«Неужели как мухи? А позвольте спросить: как далеко живёт он от вас?»

«В пяти верстах».

«В пяти верстах!» — воскликнул Чичиков и даже почувствовал небольшое сердечное биение. «Но если выехать из ваших ворот, это будет направо или налево?»

«Я вам даже не советую и дороги знать к этой собаке!» — сказал Собакевич. «Извинительней сходить в какое-нибудь непристойное место, чем к нему».

«Нет, я спросил не для каких-либо... а потому только, что интересуюсь познанием всякого рода мест», отвечал на это Чичиков.

За бараньим боком последовали ватрушки, из которых каждая была гораздо больше тарелки, потом индюк ростом в телёнка, набитый всяким добром: яйцами, рисом, печёнками и нивесть чем, что всё ложилось комом в желудке. Этим обед и кончился; но, когда встали из-за стола, Чичиков почувствовал в себе тяжести на целый пуд больше. Пошли в гостиную, где уже очутилось на блюде варенье, — ни груша, ни слива, ни иная ягода, — до которого, впрочем, не дотронулись ни гость, ни хозяин. Хозяйка вышла с тем, чтобы накласть его и на другие блюдечки. Воспользовавшись её отсутствием, Чичиков обратился к Собакевичу, который, лёжа в креслах, только побряхтывал после такого сытного обеда и издавал ртом какие-то невнятные звуки, крестясь и закрывая поминутно его рукою. Чичиков обратился к нему с такими словами:

«Я хотел было поговорить с вами об одном дельце».

«Вот ещё варенье», сказала хозяйка, возвращаясь с блюдечком: «редька, варенная в меду!»

«А вот мы его после!» — сказал Собакевич. «Ты ступай теперь в свою комнату, мы с Павлом Ивановичем скинем фраки, малечко приотдохнём!»

Хозяйка уже изъявила было готовность послать за пуховиками и подушками, но хозяин сказал: «Ничего, мы отдохнём в креслах», и хозяйка ушла.

Собакевич слегка приагнул голову приготовляясь слышать, в чём было дельце.

Чичиков начал как-то очень отдалённо, коснулся вообще всего русского государства, и отозвался с большою похвалою об его пространстве, сказал, что даже самая древняя римская монархия не была так велика, и иностранцы справедливо удивляются... Собакевич всё слушал, наклонивши голову. И что по существующим положениям этого государства, в славе которому нет равного,

новой ревизской сказки, напечатанной с живыми, образом не обременить присутствующие места множеством лишних и бесполезных справок и не увеличить сложность, и без того уже весьма сложного, государственного механизма... Собакевич всё слушал, наклонивши голову, и что, однако же, при всей справедливости этой меры, она бывает отчасти тягостна для многих владельцев, обязывая их вносить плату так, как бы за живой предмет, и что он, чувствуя уважение личное к нему, готов бы даже отчасти принять на себя эту действительно тяжёлую обязанность. Насчёт главного предмета Чичиков выразился очень осторожно: никак не назвал души умершими, а только — несуществующими.

Собакевич слушал всё по-прежнему, нагнувши голову, и хоть бы что-нибудь, похожее на выражение, показалось на лице его. Казалось, в этом теле совсем не было души, или она у него была, но вовсе не там, где следует, а как у бессмертного кощея, где-то за горами и закрыта такою толстою скорлупою, что всё, что ни ворочалось на дне её, не производило решительно никакого потрясения на поверхности.

«Итак?..» сказал Чичиков, ожидая, не без некоторого волнения, ответа.

«Вам нужно мёртвых душ?» спросил Собакевич очень просто, без малейшего удивления, как бы речь шла о хлебе.

«Да», отвечал Чичиков и опять смягчил выражение, прибавивши: «несуществующих».

«Найдутся; почему не быть...» сказал Собакевич.

«А если найдутся, то вам, без сомнения... будет приятно от них избавиться?»

«Извольте, я готов продать», сказал Собакевич уже несколько приподнявши голову и смекнувши, что покупатель, верно, должен иметь здесь какую-нибудь выгоду.

«Чёрт возьми!» подумал Чичиков про себя: «этот уж продаёт ещё прежде чем я заикнулся!» и проговорил вслух: «А, например, как же цена? хотя, впрочем, конечно, это такой предмет... что о цене даже странно...»

«Да чтобы не запрашивать с вас лишнего, по сту рублей за штуку!» сказал Собакевич.

«По сту!» вскричал Чичиков, разинув рот и поглядевши ему в самые глаза, не зная, сам ли он ослышался, или язык Собакевича, по своей тяжёлой натуре не так поворотившись, брякнул, вместо одного, другое слово.

«Что ж, разве это для вас дорого?» произнёс Собакевич и потом прибавил: «А какая бы, однако ж, ваша цена?»

«Моя цена! Мы, верно, как-нибудь ошиблись или не понимаем друг друга, позабыли, в чём состоит предмет. Я полагаю с своей стороны, положив руку на сердце: по восьми гривен за душу — это самая красная цена!»

«Изв...
«Но по...
«Протал по...
«Но по...
«Или-то самы...
«Стами зву...
«Воры по эт...
«Не могу».
«Стыдно...
«Рите настоя...
«Не могу...
«гу: чего уж...
«ворил Чичик...
«Да чего...
«рого! Другой...
«души: а у ме...
«так иной ка...
«например, ка...
«не делал, ка...
«работа, что н...
«ком покроет!...
«Чичиков о...
«вако же, дави...
«ся, в самую о...
«А Пробка...
«где сыщете та...
«в гвардии — е...
«ростом!»
«Чичиков о...
«Собакевича, к...
«чей, что толь...
«Милушкин...
«доме. Максим...
«сапоги; что с...
«А Еремей Сор...
«Москве торгов...
«Ведь вот како...
«Плюшкин».
«Но позвол...
«ким обильным...
«не было: «заче...
«ку теперь нет...
«теперь хоть за...
«Да, конечно...
«цель и припом...

«...хватали — по восьми гривенок!»

«...по моему суждению, как я думаю, больше нельзя»

«...и прощай не ланги».

«...согласитесь сами, ведь это тоже и не люди».

«Так вы думаете, сыщете такого дурака, который бы вам

по двугривенному ревизскую душу?»

«Но позвольте: зачем вы их называете ревизскими, ведь ду-
ше давно уже умерли, остался один неосязаемый чув-
ственный звук. Впрочем, чтобы не входить в дальнейшие разго-
воры по этой части, по полтора рубли, извольте, дам, а больше
не могу».

«Странно вам и говорить такую сумму! вы торгуйтесь, гово-
рите настоящую цену!»

«Не могу, Михаил Семёнович, поверьте моей совести, не мо-
гу этого уж невозможно сделать, того невозможно сделать», го-
ворил Чичиков, однако ж по полтинке ещё прибавил.

«Да чего вы скупитесь?» — сказал Собакевич: «право, недо-
рога! Другой мошенник, обманет вас, продаст вам дрянь, а не
души: а у меня, что ядрёный орех, все на отбор: не мастеровой,
так иной какой-нибудь здоровый мужик. Вы рассмотрите: вот,
например, каретник Михеев! ведь больше никаких экипажей и
не делал, как только рессорные. И не то, как бывает московская
работа, что на один час: прочность такая... сам и обобьёт, и ла-
ком покроет!»

Чичиков открыл рот с тем, чтобы заметить, что Михеева, од-
нако же, давно нет на свете; но Собакевич вошёл, как говорит-
ся, в самую силу речи: откуда взялась рысь и дар слова.

«А Пробка Степан, плотник? я голову прозакладую, если вы
где сыщете такого мужика. Ведь что за силища была! Служи он
в гвардии — ему бы бог знает что дали, трёх аршин с вершком
ростом!»

Чичиков опять хотел заметить, что и Пробки нет на свете; но
Собакевича, как видно, понесло: полились такие потоки ре-
чей, что только нужно было слушать.

«Милушкин, кирпичник! мог поставить печь в каком угодно
доме. Максим Телятников, сапожник: что шилом кольнёт, то и
сапоги; что сапоги, то и спасибо, и хоть бы в рот хмельного.
А Еремей Сорокоплёхин! да этот мужик один станет за всех, в
Москве торговал, одного оброку приносил по пятисот рублей.
Ведь вот какой народ! Это не то, что вам продаст какой-нибудь
Плюшкин».

«Но позвольте», сказал, наконец, Чичиков, изумлённый та-
ким обильным наводнением речей, которым, казалось, и конца
не было: «зачем вы исчисляете все их качества? Ведь в них гол-
да, тегерь нет никакого, ведь это всё народ мёртвый. Мёртвым
то тегерь нет никакого, говорит пословица».

«Да, конечно, мёртвые», сказал Собакевич, как бы одумав-

«Да, конечно, мёртвые», сказал Собакевич, как бы одумав-

...то сказать: что из этих людей, кото-
...жизни? Что это за люди? — мухи, а не
...еже они существуют, а это ведь мечта».

«Ну, нет, не мечта! Я вам доложу, каков был Михеев, так вы
...людей не сминете: машиница такая, что в эту комнату не
...нет это не мечта! А в плечинах у него была такая ся-
...какой нет у лошади, хотел бы я знать, где бы в другом
...нашли такую мечту!» Последние слова он уже сказал, об-
...к висевшим на стене портретам Багратиона и Коло-
...как обыкновенно случается с разговаривающими, ког-
...один из них, вдруг, неизвестно почему, обратится не к то-
...лицу, к которому относятся слова, а к какому-нибудь нечаян-
...пришедшему третьему, даже вовсе незнакомому, от которого
...нет, что не услышит ни ответа, ни мнения, ни подтверждения,
...из которого. однако ж, так устремит взгляд, как будто при-
...зывает его в посредники: и несколько смешавшийся в первую
...минуту незнакомец не знает, отвечать ли ему на то дело, о ко-
...тором ничего не слышал, или так постоять, соблюдши надле-
...жащее приличие, и потом уже уйти прочь.

«Нет, больше двух рублей я не могу дать», сказал Чичиков.

«Извольте, чтоб не претендовали на меня, что дорого запра-
...шиваю и не хочу сделать вам никакого одолжения, извольте —
...по семидесяти пяти рублей за душу, только ассигнациями, пра-
...во, только для знакомства!»

«Что он в самом деле», подумал про себя Чичиков: «за ду-
...рака, что ли, принимает меня?» и прибавил потом вслух: «Мне
...странно, право: кажется, между нами, происходит какое-то те-
...атральное представление. или комедия: иначе я не могу себе
...объяснить... Вы, кажется, человек довольно умный, владеете
...сведениями образованности. Ведь предмет просто — фу-фу!
...Что ж он стоит? Кому нужен?»

«Да, вот, вы же покупаете; стало быть нужен».

Здесь Чичиков закусил губу и не нашёлся, что отвечать. Он
...стал было говорить про какие-то обстоятельства фамильные и
...семейственные, но Собакевич отвечал просто:

«Мне не нужно знать, какие у вас отношения: я в дела фа-
...мильные не мешаюсь, — это ваше дело. Вам понадобились ду-
...ши, я и продаю вам, и будете рассказывать, что не купили».

«Два рублика», сказал Чичиков.

«Эк, право! Затвердела сорока Якова — одно про всякого,
...как говорит пословица: как палалили на два, так и не хотим
...с них и съехать. Вы давайте настоящую цену!»

«Ну, уж чёрт его побери!» подумал про себя Чичиков: «е-
...полтиние ему прибавлю, собаке, на орехи!» — «Извольте, по пол-
...тиние прибавлю».

«Ну, извольте, и я вам скажу тоже мой последнее слово:
...пятьдесят рублей! Право, убыток себе, дешевле нигде не купи-
...те такого хорошего народа!»

«Экой кулак!» сказал про себя Чичиков и потом продолжал вслух с некоторою досадою: «Да что в самом деле?.. Как будто точно серьёзное дело! Да я в другом месте нипочём возьму. Ещё мне всякий с охотой сбудет их, чтобы только поскорей избавиться. Дурак разве станет держать их при себе и платить за них подати!»

«Но знаете ли, что такого рода покупки, — я это говорю между нами, по дружбе — не всегда позволительны, и расскажи я или кто иной — такому человеку не будет никакой доверенности относительно контрактов или вступления в какие-нибудь выгодные обязательства».

«Вишь, куда метит, подлец!» подумал Чичиков и тут же произнёс с самым хладнокровным видом: «Как вы себе хотите, я покупаю не для какой-либо надобности, как вы думаете, а так... по склонности собственных мыслей. Два с полтиною не хотите — прощайте!»

«Его не собьёшь, не податлив!» подумал Собакевич. «Ну, бог с вами, давайте по тридцати и берите их себе!»

«Нет, я вижу, вы не хотите продать; прощайте!»

«Позвольте, позвольте!» сказал Собакевич, не выпуская его руки и наступив ему на ногу, ибо герой наш позабыл побережиться, в наказание за что должен был зашипеть и подскочить на одной ноге.

«Прошу прощенья! Я, кажется, вас побеспокоил. Пожалуйста, садитесь сюда! Прошу!» Здесь он усадил его в кресла с некоторою даже ловкостью, как такой медведь, который уже побывал в руках, умеет и перевёртываться, и делать разные штуки на вопросы: «А покажи, Миша, как бабы парятся?» или «А как, Миша, малые ребята горох крадут?»

«Право, я напрасно время трачу; мне нужно спешить».

«Посидите одну минуточку, я вам сейчас скажу одно приятное для вас слово». Тут Собакевич, подсел поближе и сказал ему тихо на ухо, как будто секрет: «Хотите — угол?»

«То есть двадцать пять рублей! Ни, ни, ни! Даже четверти угла не дам, копейки не прибавлю».

Собакевич замолчал. Чичиков тоже замолчал. Минуты две длилось молчание. Багратион с орлиным носом глядел со стены чрезвычайно внимательно на эту покупку.

«Какая ж будет ваша последняя цена?» сказал, наконец, Собакевич.

«Два с полтиною».

«Право, у вас душа человеческая всё равно, что пареная репа. Уж хоть по три рубли дайте!»

«Не могу».

«Ну, нечего с вами делать, извольте! Убыток, да уж прав такой собачий: не могу не доставить удовольствия ближнему. Ведь, я чай, нужно и купчую совершить, чтоб всё было в порядке».

«Разумеется».

«Ну, вот то-то же, нужно будет ехать в город».

Так совершилось дело. Оба решили, чтобы завтра же быть в городе и управиться с купчей крепостью¹. Чичиков попросил снисочек крестьян. Собакевич согласился охотно и тут же, пойдя к бюро, собственноручно принялся выписывать всех нетопко поимённо, но даже с означением похвальных качеств.

А Чичиков, от нечего делать, занялся, находясь позади, рассматриваньем всего просторного его оклада. Как взглянул на его спину, широкую, как у вятских приземистых лошадей, на ноги его, походившие на чугунные тумбы, которые ставят на тротуарах, не мог не воскликнуть внутренне: «Эк наградила тебя бог! Вот уж точно, как говорят, пеладно скроен, да крепко сшит!.. Родился ли ты уж так медведем, или омедведила тебя захолустная жизнь, хлебные посевы, возня с мужиками, и через них сделался то, что называется человек-кулак? Но не думаю, ты всё был бы тот же; хотя бы даже воспитали тебя по моде, пустили бы в ход и жил бы ты в Петербурге, а не в захолустьи. Вся разница в том, что теперь ты упишешь полбараньего бока с кашей, закусивши ватрушкою в тарелку, а тогда бы ты ел какие-нибудь котлетки с трюфелями. Да вот теперь тебя под властью мужики: ты с ними в ладу и, конечно, их не обидишь, потому что они твои — тебе же будет хуже; а тогда бы у тебя были чиновники, которых бы ты сильно пощёлкивал, смекнувши, что ведь они не твои же крепостные, или грабил бы ты казну! Нет, кто уж кулак, тому не разогнуться в ладони. А разогни кулаку один или два пальца — выйдет ещё хуже. Попробуй он слегка верхушек какой-нибудь науки, даст он знать потом, занявши место повиднее, всем тем, которые в самом деле узнали какую-нибудь науку! Да ещё, пожалуй, скажет потом: «Дай-ка себя покажу!» Да такое выдумает мудрое поствление, что многим придётся солоно... Эх, если бы все кулаки!..»

«Готова записка!» сказал Собакевич, оборотившись.

«Готова? Пожалуйста её сюда!» Он пробежал её глазами и подивился аккуратности и точности: не только было обстоятельно прописано ремесло, звание, лета и семейное состояние, даже на полях находились особенные отметки насчёт поведения, трезвости, — словом, любо было глядеть.

«Теперь пожалуйста же задаточек!» сказал Собакевич.

«К чему же вам задаточек? Вы получите в городе за одним разом все деньги».

«Всё, знаете, так уж водится», возразил Собакевич.

«Не знаю, как вам дать, я не взял с собою денег. Да, вот десять рублей есть».

¹ Купчая крепость — в дореволюционной России документ, утверждавший в суде законное свидетельство на купленное недвижимое имущество; в эпоху крепостного права по купчей продавали и крестьян.

«Что ж десять! Дайте по крайней мере хоть пятьдесят!» Собакевич стал было отговариваться, что нет; но Собакевич так утвердительно, что у него есть деньги, что он вынул ещё бумажку, сказавши: «Пожалуй, вот вам ещё пятнадцать, итого пять. Пожалуйста только расписочку».

«Да на что ж вам расписка?»
«Всё, знаете, лучше расписочку. Неровен час... всё может случиться».

«Хорошо, дайте же сюда деньги!»
«На что ж деньги? у меня вот они в руке! Как только напишу расписку, в ту же минуту их возьмёте».

«Да позвольте, как же мне писать расписку? Прежде нужно иметь деньги».

Собакевич выпустил из рук бумажки Собакевичу, который, прищипавшись к столу и накрывши их пальцами левой руки, дружно написал на лоскутке бумаги, что задаток двадцать пять руб. государственными ассигнациями за проданные ревизские ду. получил сполна. Написавши записку, он пересмотрел ещё ассигнации.

«Бумажка-то старенькая!» произнёс он, рассматривая одну из них на свете: «немножко разорвана; ну да между приятелями нечего на это глядеть».

«Кулак, кулак!» подумал про себя Чичиков: «да ещё и бестия придачу!»

«А женского пола не хотите?»

«Нет, благодарю».

«А я бы недорого и взял. Для знакомства по рублику за записку».

«Нет, в женском поле не нуждаюсь».

«Ну, когда не нуждаетесь, так нечего и говорить. На вкусы закона: *кто любит попу, а кто попадю*, говорит пословица».

«Ещё я хотел вас попросить, чтобы эта сделка осталась между нами», говорил Чичиков, прощаясь.

«Да уж само собою разумеется. Третьего сюда нечего мешать: по искренности происходит между короткими друзьями, то должно остаться во взаимной их дружбе. Прощайте! Благодарю, посетили; прошу и впредь не забывать: коли выберется свободный часик, приезжайте пообедать, время провести. Может быть, опять случится услужить чем-нибудь друг другу».

«Да, как бы не так!» думал про себя Чичиков, садясь в бричку. «По два с полтиною содрал за мёртвую душу, чёртов кулак!»

Он был недоволен поведением Собакевича. Всё-таки, как бы ни было, человек знакомый, и у губернатора, и у полицмейстера видался, а поступил, как бы совершенно чужой: за дрянный день!

«Да, вот деера видался! Когда бричка выехала со двора, он оглянулся назад и увидел, что Собакевич всё ещё стоял на крыльце и, как казавшийся, приглядывался, желая знать, куда гость поедет».

«Подлец, до сих пор ещё стоит!» проговорил он сквозь зубы

«Да, вот деера видался! Когда бричка выехала со двора, он оглянулся назад и увидел, что Собакевич всё ещё стоял на крыльце и, как казавшийся, приглядывался, желая знать, куда гость поедет».

«Подлец, до сих пор ещё стоит!» проговорил он сквозь зубы

«Да, вот деера видался! Когда бричка выехала со двора, он оглянулся назад и увидел, что Собакевич всё ещё стоял на крыльце и, как казавшийся, приглядывался, желая знать, куда гость поедет».

«Подлец, до сих пор ещё стоит!» проговорил он сквозь зубы

...отъехал Селифану, пороготивши к крестьянским избам, отъехать таким образом, чтобы нельзя было видеть экипаж со стороны господского двора. Ему хотелось заехать к Плюшкину, у которого, по словам Собакевича, люди умирали как мухи, но не хотелось, чтобы Собакевич знал про это. Когда бричка уже была на конце деревни, он подозвал к себе первого мужика, который, найдя где-то на дороге претолстого бремено, тащил его на плечах подобно неустоимому муравью, к себе в избу.

«Эй, борода! а как проехать отсюда к Плюшкину, так, чтобы не мимо господского дома?»

Мужик, казалось, затруднился сим вопросом.

«Что ж не знаешь?»

«Нет, барин, не знаю».

«Эх, ты! А и сенин братец-то? Спрягу Плюшкина не знаешь. — ты же его сам везешь?»

«А! заплатанчик, заплатанчик! — кричал мужик. Было ему прибавлено и сущее удовольствие, что заплатанчик очень удачное; но неупотребительное слово, а потому мы его пропустим. Видно, что оно выражено было очень метко, потому что мужик давно уже пропах из виду, и много успел проехать, а он всё ещё усмехался, сидя в бричке. Видно, что заплатанчик — русский народ! И если наградит кого словом, то в род и потомство, утешит он его с собою и в старость, и в Петербург, и на край света. И как уж заронит в матрину и облагораживает своё прозвище, хоть заставь его выводить его за наёмную плату от древнерусского рода, ничто не поможет: карканет само за себя прозвище по всё своё воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица. Произнесённое метко, всё равно что писанное, не вырубливается топором. А уж куда бывает метко всё то, что вышло из глубины Руси, где нет ни немецких, ни чухонских, ни всяких иных племён, а всё сам-самородок, живой и бойкий русский ум, что не лезет за словом в карман, не высиживает его, как наседка цыплят, а влепливает сразу, как шпорт на вечную носку, и нечего прибавлять уже потом, как у тебя нос или губы — одной чертой обрисован ты с ног до головы!»

Как несметное множество церквей, монастырей, с куполами, главами, крестами рассыпано на святой благочестивой Руси, так несметное множество племён, поколений, народов толпится и цестреет и мечется по лицу земли. И всякий народ, носящий в себе залог сил, полный творческих способностей души, своей яркой особенностями и других даров бора, своеобразно отличился каждым своим собственным словом, которым, выражая какой ни есть предмет, отражает в выражении его часть собственного своего характера. Сердцеведением и мудрым познанием жизни отзывается слово британца; лёгким щёголем блеснёт и разлетится недолговечное слово француза; затейливо придумает своё, не всякому доступное слово немец; сибиряк — своим воротником; монголы — своим

стунное, умно-худощавое слово немец, но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово.)

ГЛАВА VI

Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту: всё равно, была ли то деревушка, бедный уездный городишко, село ли, слободка, любопытного много открывал в нём детский любопытный взгляд. Всякое строение, всё, что носило только на себе напечатленье какой-нибудь заметной особенности, всё останавливало меня и поражало. Каменный ли казённый дом, известной архитектуры, с половиною фальшивых окон, один-одишёшенек торчавший среди бревенчатой тёсаной кучи одноэтажных мещанских, обывательских домиков, круглый ли, правильный купол, весь обитый листовым белым железом, вознесённый над выбеленною, как снег, новою церковью, рынок ли, фронт ли уездный, погавшийся среди города, ничто не ускользало от свежего толкого вниманья, и, высунувши нос из походной телеги своей, я глядел и на невиданный дотоле покрой какого-нибудь сюртука, и на деревянные ящики с гвоздями, с серой, желтевшей вдали, с изюмом и мылом, мелькавшие из дверей овощной лавки вместе с банками высохших московских конфет, глядел и на шедшего в сторону пехотного офицера, занесённого бог знает из какой губернии на уездную скуку, и на купца, мелькнувшего в сибирке¹ на беговых дрожках, и уносился мысленно за ними в бедную жизнь их. Уездный чиновник пройди мимо — я уже и задумывался: куда он идёт, на вечер ли к какому-нибудь своему брату, или прямо к себе домой, чтобы, посидевши с полчаса на крыльце, пока не совсем ещё сгустились сумерки, сесть за ранний ужин с матушкой, с женой, с сестрой жены и всей семьёй, и о чём будет ведён разговор у них в то время, когда дворовая девка в монистах² или мальчик в толстой куртке принесёт уже после супа сальную свечу в долговечном домашнем подсвечнике. Подъезжая к деревне какого-нибудь помещика, я любопытно смотрел на высокую узкую деревянную колокольню или широкую, тёмную деревянную старую церковь. Заманчиво мелькали мне издали, сквозь древесную зелень, красная крыша и белые трубы помещичьего дома, и я ждал нетерпеливо, пока разойдутся на обе стороны заступавшие его сады, и он покажется весь с своею, тогда, увы! — вовсе не пошлою наружностью, и по нём старался я угадать, кто таков сам помещик, толст ли он, и сыновья ли у него, или целых шестеро дочерей, с звонким девическим смехом, играми и вечною красавицей меньшею сестрицей,

¹ Сибирка — короткий кафтан с перехватом и сборами, с невысоким стоячим воротником.

² Монисто — ожерелье из бус или монет.

и черноглазы ли они, и весельчак ли он сам, или хмурен, как сен-арски. Стоя в сентябрь в последних числах, глядит в календарь, да говорит про-ётку и, как в скучную для юности рожь и пшеницу.

Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне, и равнодушно гляжу на её пошлую наружность; моему охлаждённому взору неприятно, мне не смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы живое движение в лице, смех и немолчные речи, теперь скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои движные уста. О моя юность! о моя свежесть!

Покамест Чичиков думал и внутренне посмеивался над своим званием, отпущенным мужиками Плюшкину, он не заметил, как въехал в средину обширного села со множеством изб и улиц. Скоро, однако же, дал заметить ему это препорядочный толчок произведённый бревенчатою мостовою, пред которою городская каменная была ничто. Эти брёвна, как фортепьянные клавиши, подымались то вверх, то вниз, и неберегшийся ездок приобретал или шишку на затылок, или синее пятно на лоб, или же случалось, что своими собственными зубами откусить пребольно хвостик собственного же языка. Какую-то особенную ветхость заметил он на всех деревенских строениях: бревна на избах было темно и старинны, многие крыши сквозили как решето; на иных оставался только конёк вверх, да жерди по сторонам в виде рёбр. Кажется, хозяева снесли с них драньё и тес, рассуждая, и конечно справедливо, что в дождь избы не кроют, а в ведро и сама не каплет. Бабы же в ней незачем, когда есть простор и в кабаке, и на большой дороге, словом, где хочешь. Окна в избёнках были без стёкол, иные были заткнуты тряпкой или зипуном; балкончики под крышами с перилами, неизвестно для каких причин, сделанные в иных русских избах, покосились и почернели даже не живописно. Из-за изб тянулись во многих местах рядами огромные кладки хлеба, застоявшиеся, как видно, долго; цветом походили они на старый, плохо выжженный кирпич, на верхушке их росла всякая дрянь, и даже прицепился сбоку кустарник. Хлеб, как видно, был господский. Из-за хлебных кладей и ветхих избных крыш возносились и мелькали на чистом воздухе, то справа, то слева, по мере того, как бричка делала повороты, две сельские церкви, одна возле другой: опустевшая деревянная и каменная с жёлтенькими стенами, испятнанная, истрескавшаяся. Частями стал выказываться господский дом и, наконец, глянул весь в том месте, где цепь изб прервалась, и на место их остался пустырь огород или капустник, обнесённый низкою, местами изломанною городьбою¹. Каким-то дряхлым инвалидом глядел сей странный замок, длинный, длинный непомерно. Местами был он в один этаж, местами в два; на тёмной крыше, не везде надёжно защищавшей его старость, торчали два бельведера² один против другого, оба уже пошатнувшиеся, лишённые когда-то покрывавшей

¹ Городьба — ограда, изгородь.

² Бельведёр — башенка над крышей дома.

Стены дома оцеливали местами нагую штукатурную
метку и, как видно, много потерпели от всяких непогод, дождей,
зимней и осенних перемен. Из окон только два были открыты,
прочие были заставлены ставнями или даже забиты досками. Эти
два окна с своей стороны были тоже подслеповаты; на одном из
них темнел наклеенный треугольник из синей сахарной бумаги.
Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходявший
из села и потом пропадавший в поле, заросший и заглохлый, ка-
залось, один освежал эту обширную деревню и один был вполне
живописен в своём картинном опустении. Зелёными облаками и
неправильными, трепетоллистыми куполами лежали на небесном
горизонте соединённые вершины разросшихся на свободе дерев.
Белый колоссальный ствол берёзы, лишённый верхушки, отлом-
ленной бурею или грозой, подымался из этой зелёной гущи и
округлился на воздухе, как правильная мраморная, сверкающая
колонна; косою, остроконечный излом его, которым он оканчи-
вался кверху вместо капителя¹, темнел на снежной белизне его,
как шапка или чёрная птица. Хмель, глушивший внизу кусты бу-
зины, рябины и лесного орешника и пробежавший потом по вер-
хушке всего частокола, взбегал, наконец, вверх и обвивал до по-
ловины сломленную берёзу. Достигнув середины её, он оттуда
спешивался вниз и начинал уже цплять вершины других дерев
и не капая, висел на воздухе, завязавши кольцами свои тонкие цепкие
в кабаке, и крючья, легко колеблемые воздухом. Местами расходились зелё-
нках были бёлые чащи, озарённые сощцем, и показывали неосвещённое меж-
ду них углубление, зиявшее как тёмная пасть, оно было всё оки-
нуто тенью, и чуть-чуть мелькали в чёрной глубине его: бежав-
ами огромная, дуплистый дряхлый ствол ивы, седой чапыжник², густой ще-
тиною вытыкавший из-за ивы, иссохшие от страшной глушины,
перепутавшиеся и скресгившиеся листья и сучья, и, наконец, мо-
лодая ветвь клёна, протянувшая сбоку свои зелёные лапы-листы,
под один из которых, забравшись, бог весть каким образом, солн-
це превращало его вдруг в прозрачный и огненный, чудно сияв-
ший в этой густой темноте. В стороне, у самого края сада, не-
сколько высокорослых не вровень другим осин подымали огром-
ные вороньи гнёзда на трепетные свои вершины. У иных из них
отдёрнутые и не вполне отделённые ветви висели вниз вместе с
иссохшими листьями. Словом, всё было как-то пустынно-хорошо,
как не выдумать ни природе, ни искусству, но как бывает только
тогда, когда они соединятся вместе, когда по нагромождённому,
часто без толку, труду человека пройдёт окончательным резцом
своим природа, облегчит тяжёлые массы, уничтожит грубоощу-
тельную правильность и нищенские прорехи, сквозь которые
проглядывает нескрытый, нагой план, и даст чудную теплоту все-
му, что создано в хладе размеренной чистоты и опрятности.

¹ Капитэль — верхняя часть колонны.

² Чапыжник — частый, густой кустарник.

Сделав один или два поворота, герой наш очутился, наконец, перед самым домом, который показался теперь ещё печальнее. Зелёная плесень уже покрыла ветхое дерево на ограде и воротах. Толпа строений: людских¹, амбаров, погребов, видимо ветшавших, наполняла двор; возле них направо и налево видны были ворота в другие дворы. Всё говорило, что здесь когда-то хозяйство текло в обширном размере, и всё глядело ныне пасмурно. Ничего не заметно было оживляющего картину — ни отворявшихся дверей, ни выходивших откуда-нибудь людей, никаких живых хлопот и забот дома! Только одни главные ворота были растворены, и то потому, что въехал мужик с нагружённою телегою, покрытою рогожею, показавшийся как бы нарочно для оживления сего вымершего места: в другое время и они были заперты наглухо, ибо в железной петле висел замок-исполни. У одного из строений Чичиков скоро заметил какую-то фигуру, которая начала вздорить с мужиком, приехавшим на телеге. Долго он не мог распознать, какого пола была фигура: баба или мужик. Платье на ней было совершенно неопределённое, похожее очень на женский капот, на голове колпак, какой носят деревенские дворовые бабы, только один голос показался ему несколько сильным для женщины. «Ой, баба!» подумал он про себя и тут же прибавил: «Ой, нет!» «Конечно, баба!» наконец сказал он, рассмотрев попристальнее. Фигура с своей стороны глядела на него тоже пристально. Казалось, гость был для неё в диковинку, потому что она обсмотрела не только его, но и Семифана, и лошадей, начиная с хвоста и до морды. По висевшим у неё за поясом ключам и по тому, как она бранила мужика довольно поносными словами, Чичиков заключил, что это верно ключница.

«Послушай, матушка», сказал он, выходя из брички, «что барин?..»

«Нет дома», прервала ключница, не дожидаясь окончания вопроса, и потом, спустя минуту, прибавила: «а что вам нужно?»

«Есть дело».

«Идите в комнаты!» сказала ключница, отворотившись и показав ему спину, запачканную мукою, с большой прорехою пониже.

Он вступил в тёмные, широкие сени, от которых подуло холодом, как из погреба. Из сеней он попал в комнату, тоже тёмную, чуть-чуть озарённую светом, выходившим из-под широкой щели, находившейся внизу двери. Отворивши эту дверь, он, наконец, очутился в свету и был поражён представшим беспорядком. Казалось, как будто в доме происходило мытьё полов, и сюда на время нагромодили всю мебель. На одном столе стоял даже сломанный стул и, рядом с ним, часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину. Тут же стоял прислонённый боком к стене шкаф с старинным серебром, графинчиками

¹ Людская — помещение для прислуги.

и китайским фарфором. На бюро, выложенном перламутрою мозаикой¹, которая местами уже выпала и оставила после себя одни жёлтенькие желобки, наполненные клеем, лежало множество всякой всячины: куча исписанных мелко бумажек, накрытых марморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплётё с красным обрезом, лимон весь высохший, ростом не более лесного ореха, отломленная ручка кресел, рюмка с какою-то жидкостью и тремя мухами, накрытая письмом, кусочек сургучика, кусочек где-то поднятой тряпки, два пера, запачканные чернилами, высохшие, как в чахотке, зубочистка, совершенно пожелтевшая, которою хозяин, может быть,ковырял в зубах своих ещё до нашествия на Москву французов.

По стенам навешано было весьма тесно и бестолково несколько картин: длинный, пожелтевший гравюр² какого-то сражения, с огромными барабанами, кричащими солдатами в треугольных шляпах и тонущими конями, без стекла, вставленный в раму красного дерева с тоненькими бронзовыми полосками и бронзовыми же кружками по углам. В ряд с ними занимала полстены огромная почерневшая картина, писанная масляными красками, изображавшая цветы, фрукты, разрезанный арбуз, кабанью морду и висевшую головою вниз утку. С середины потолка висела люстра: в холстяном мешке, от пыли сделавшаяся похожею на шёлковый кокон, в котором сидит червяк. В углу комнаты была навалена на полу куча того, что поглубе и что недостойно лежать на столах. Что именно находилось в куче, решить было трудно, ибо пыли на ней было в таком изобилии, что руки всякого касавшегося становились похожими на перчатки; заметнее прочего высывался оттуда отломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога. Никак бы нельзя было сказать, чтобы в комнате сей обитало живое существо, если бы не возвещал его пребывание старый, поношенный колпак, лежавший на столе. Пока он рассматривал всё странное убранство, отворилась боковая дверь, и вошла та же самая ключница, которую встретил он на дворе. Но тут увидел он, что это был скорее ключник, чем ключница. Но ключница по крайней мере не бреет бороды, а этот, напротив того, брил, и, казалось, довольно редко, потому что весь подбородок с нижней частью щеки походил у него на скребницу из железной проволоки, какою чистят на коношине лошадей. Чичиков, давши вопросительное выражение лицу своему, ожидал с нетерпением, что хочет сказать ему ключник. Ключник тоже с своей стороны ожидал, что хочет ему сказать Чичиков. Наконец, последний, удивлённый таким странным недоумением, решился спросить:

«Что ж барин? У себя, что ли?»

«Здесь хозяин», сказал ключник.

«Где же?» повторил Чичиков.

¹ Мозаика — изображение из подобранных в одно целое мелких цветных кусочков камня, стекла, дерева, перламутра.

² То есть гравюра.

«Что, батюшка, слепы-то, что ли?» сказал ключник. «Эх, а вить хозяин-то я!»

Здесь герой наш поневоле отступил назад и поглядел на него пристально. Ему случилось видеть немало всякого рода людей; даже таких, каких нам с читателем, может быть, никогда не придётся увидеть; но такого он ещё не видывал. Лицо его не представляло ничего особенного; оно было почти такое же, как у многих худощавых стариков, один подбородок только выступал очень далеко вперёд, так что он должен был всякий раз закрывать его платком, чтобы не заплевать; маленькие глазки ещё не потухнули и бегали из-под высоко выросших бровей, как мыши, когда, высунувши из тёмных нор остренькие морды, насторожа уши и моргая усом, они высматривают, не затаился ли где кот или шалун мальчишка, и нюхают подозрительно самый воздух. Гораздо замечательнее был чаряд его: никакими средствами и стараньями нельзя было докопаться, из чего состряпан был его халат: рукава и верхние полы до того засалились и залоснились, что походили на юфть¹, какая идёт на сапоги; сзади вместо двух болталось четыре полы, из которых охотоймиза дёкла хлопчатая бумага. Наше у него тоже было помызано что-то такое, которого нельзя было разобрать: чулок ли, водвяжка ли, или набрюшник, только никак не галстук. Словом, если бы Чичиков встретил его, так принаряженного, где-нибудь у городских дверей, то, вероятно, дал бы ему медный грош. Ибо, к чести героя нашего, нужно сказать, что сердце у него было сострадательно и он не мог никак удержаться, чтобы не подать бедному человеку медного гроша. Не пред ним стоял нищий, пред ним стоял помещик. У этого помещика была тысяча с лишком душ, и попробовал бы кто найти у кого другого столько хлеба, зерном, мукою и просто в кладях, у кого бы кладовые, амбары и сушилы² загромождены были таким множеством холстов, сукон, овчин, выделанных и сыромятных, высушенными рыбами и всякой овощью или губиной³. Заглянул бы кто-нибудь к нему на рабочий двор, где наготовлено было на запас всякого дерева и посуды, никогда не употреблявшейся, — ему бы показалось, уж не попал ли он как-нибудь в Москву, на щепной двор, куда ежедневно отправляются расторопные тёщи и свекрухи, с кухарками позади, делать свои хозяйственные запасы, и где горами белеет всякое дерево — шитое, точёное, лаженое и плетёное; бочки, пересеки⁴, ушаты, лагуны⁵, жбаны с рыльцами и без рылец, побратимы⁶, лукошки, мыкольники⁷, куда бабы кладут свои мочки⁸ и прочий дрязг, коробья из

¹ Юфть — сорт кожи.

² Сушѣло — верхний этаж над амбарами.

³ Губина — всё съедобное.

⁴ Пересѣк — бочка, разделённая надвое.

⁵ Лагун — бочка.

⁶ Побратимы — деревянные шарообразные сосуды.

⁷ Мыкольники — деревянные короба для веретён.

⁸ Мочки — вычесанные пучки льна, приготовленные для пряжи.

тонкой гнутой осины, бураки¹ из плетёной берёстки и много всего, что идёт на потребу богатой и бедной Руси. На что бы, казалось, нужна была Плюшкину такая гибель подобных изделий? во всю жизнь не пришлось бы их употребить даже на два таких имения, какие были у него, — но ему и этого казалось мало. Не довольствуясь сим, он ходил ещё каждый день по улицам своей деревни, заглядывал под мостики, под перекладыны, и всё, что ни попадалось ему: старая подошва, бабья тряпка, железный гвоздь, глиняный черепок, — всё тащил к себе и складывал в ту кучу, которую Чичиков заметил в углу комнаты. «Вон, уж рыболов пошёл на охоту!» говорили мужики, когда видели его, идущего на добычу. И в самом деле, после него незачем было мести улицу: случилось проезжавшему офицеру потерять шпору, шпора эта мигом отправилась в известную кучу; если баба, как-нибудь зазевавшись у колодца, позабывала ведро, он утаскивал и ведро. Впрочем, когда приметивший мужик уличал его тут же, он не спорил и отдавал похищенную вещь; но если только она попадала в кучу, тогда всё кончено: он божился, что вещь его, куплена им тогда-то, у того-то или досталась от деда. В комнате своей он подымал с пола всё, что ни видел: сургучик, лоскуток бумажки, перышко, и всё это катал в бюро или на окошко.

А ведь было время, когда он только был бережливым хозяином! Был женат и семейнин, и сосед заезжал к нему сытно пообедать, слушать и учиться у него хозяйству и мудрой скупости. Всё текло живо и совершалось размеренным ходом: двигались мельницы, валяльни, работали суконные фабрики, столярные станки, прядильни; везде во всё входил зоркий взгляд хозяина и, как трудолюбивый паук, бегал, хлопотливо, но расторопно, по всем концам своей хозяйственной паутины. Слишком сильные чувства не отражались в чертах лица его, но в глазах был виден ум; опытностью и познанием света была проникнута речь его, и гостю было приятно его слушать; приветливая и говорливая хозяйка славилась хлебосольством; навстречу выходили две миловидные девочки, обе белокурые и свежие, как розы, выбегал сын, разбитной мальчишка, и целовался со всеми, мало обращая внимания на то, рад ли, или не рад был этому гость. В доме были открыты все окна, антресоли² были заняты квартирою учителя-француза, который славно брился и был большой стрелок: приносил всегда к обеду тетёрок или уток, а иногда и одни воробьиные яйца, из которых заказывал себе яичницу, потому что больше в целом доме никто её не ел. На антресолях жила также его компаньонка³, наставница двух девиц. Сам хозяин являлся к столу в триотка³, наставница двух девиц. Сам хозяин являлся к столу в сюртуке, хотя несколько поношенном, но опрятном, локти были

¹ Бурак — берестовый сосуд с деревянной крышкой и дном.

² Антресоли — помещение с низкими потолками, надстроенное над верхним этажом дома.

³ Компатриотка — соотечественница.

в порядке: нигде никакой заплаты. Но добрая хозяйка умерла; часть ключей, а с ними мелких забот, перешла к нему. Плюшкин стал беспокойнее и, как все вдовцы, подозрительнее и скупее. На старшую дочь Александру Степановну он не мог во всем положить, да и был прав, потому что Александра Степановна скоро убежала с штабс-ротмистром, бог весть какого кавалерийского полка, и обвенчалась с ним где-то наскоро, в деревенской церкви, зная, что отец не любит офицеров по странному предубеждению, будто бы все военные картёжники и мотишки. Отец послал её на дорогу проклятие, а преследовать не заботился. В доме стало ещё пустее. Во владельце стала заметнее обнаруживаться скупость, сверкнувшая в жёстких волосах его седина, верная подруга её, помогла ей ещё более развиться; учитель-француз был отпущен, потому что сыну пришла пора на службу; мадам была прогнана, потому что оказалась не безгрешною в похищении Александры Степановны; сын, будучи отправлен в губернский город с тем, чтобы узнать в палате, по мнению отца, службу существенную, определился вместо того в полк и написал к отцу уже по своём определении, прося денег на обмундировку; весьма естественно, что он получил на это то, что называется в простонародии шиш. Наконец, последняя дочь, оставшаяся с ним в доме, умерла, и старик очутился один сторожем, хранителем и владельцем своих богатств. Одинокая жизнь дава сытную пищу скупости, которая, как известно, имеет волчий голод и чем более пожирает, тем становится ненасытнее; человеческие чувства, которые и без того не были в нём глубоки, мелели ежеминутно, и каждый день что-нибудь утрачивалось в этой изношенной развалине. Случись же под такую минуту, как будто нарочно в подтверждение его мнения о военных, что сын его проигрался в карты, он послал ему от души своё отцовское проклятие и никогда уже не интересовался знать, существует ли он на свете, или нет. С каждым годом при-творялись окна в его доме, наконец, остались только два, из которых одно, как уже видел читатель, было заклеено бумагою; с каждым годом уходили из вида более и более главные части хозяйства, и мелкий взгляд его обращался к бумажкам и пёрышкам, которые он собирал в своей комнате; неуступчивее становился он к покупателям, которые приезжали забирать у него хозяйственные произведения, покупщики торговались, торговались и, наконец, бросили его вовсе, сказавши, что это бес, а не человек; сено и хлеб гнили, клади и стоги обращались в чистый навоз, хоть разводи на них капусту, мука в подвалах превратилась в камень, и нужно было её рубить, к сукнам, к холстам и домашним материалам страшно было притронуться: они обращались в пыль. Он уже позабыл сам, сколько у него было чего, и помнил только, в каком месте стоял у него в шкафу графинчик с остатками какой-нибудь настойки, на котором он сам сделал наметку, чтобы никто воровским образом её не выпил, да где лежало пёрышко или сургучик. А между тем в хозяйстве доход собирался по-прежнему: столько

же оброк
хов обло
должна б
и всё ста
в какую-
как-то пр
ли чего-н
мистром
бы. Плю
внучку по
нег ничег
с двумя
потому ч
только бы
их внучк
другого
будто он
шительно

Итак,

Должно
где всё л
зительне
щик, кут
гающий,
останови
какой в
ких, тем
дома с б
окружён
езжих г
убранны
Полгубе
не являе
когда т
поддель
ху темн
ночное
в непро
мишурн
Уже
Чичикон
дом сам
го не м
своего
что, нас

же оброку должен был принести мужик, таким же приносом орехов обложена была всякая баба, столько же поставов холста должна была наткать ткачиха — всё это сваливалось в кладовые, и всё становилось гниль и прореха, и сам он обратился, наконец, в какую-то прореху на человечестве. Александра Степановна как-то приезжала раза два с маленьким сынком, пытаюсь, нельзя ли чего-нибудь получить; видно, походная жизнь с штабс-ротмистром не была так привлекательна, какою казалась до свадьбы. Плюшкин, однако же, её простил и даже дал маленькому внучку поиграть какую-то пуговицу, лежавшую на столе, но денег ничего не дал. В другой раз Александра Степановна приехала с двумя малютками и привезла ему кулич к чаю и новый халат, потому что у батюшки был такой халат, на который глядеть не только было совестно, но даже стыдно. Плюшкин приласкал обоих внучков и, посадивши их к себе одного на правое колено, а другого на левое, покачал их совершенно таким образом, как будто они ехали на лошадях, кулич и халат взял, но дочери решительно ничего не дал; с тем и уехала Александра Степановна.

Итак, вот какого рода помещик стоял перед Чичиковым! Должно сказать, что подобное явление редко попадает на Руси, где всё любит скорее развернуться, нежели съёжиться, и тем разительнее бывает оно, что тут же в соседстве подвернётся помещик, кутящий во всю ширину русской удалы и барства, прожигающий, как говорится, насквозь жизнь. Небывалый проезжий остановится с изумлением при виде его жилища, недоумевая, какой владетельный принц очутился внезапно среди маленьких, тёмных владельцев: дворцами глядят его белые каменные дома с бесчисленным множеством труб, бельведеров, флюгеров¹, окружённые стадом флигелей и всякими помещеньями для приезжих гостей. Чего нет у него? Театры, балы; всю ночь сияет убранный огнями и площадками, оглашённый громом музыки сад. Полгубернии разодето и весело гуляет под деревьями, и никому не является дикое и грозящее в сем насильственном освещении, когда театрально выскакивает из древесной гущи озарённая поддельным светом ветвь, лишённая своей яркой зелени, а вверху темнее, и суровее, и в двадцать раз грознее является через то ночное небо, и, далеко трепеща листьями в вышине, уходит глубже в непробудный мрак, негодуют суровые вершины дерев на сей мишурный блеск, осветивший снизу их корни.

Уже несколько минут стоял Плюшкин, не говоря ни слова, а Чичиков всё ещё не мог начать разговора, развлечённый как видом самого хозяина, так и всего того, что было в его комнате. Долго не мог он придумать, в каких бы словах изъяснить причину своего посещения. Он уже хотел было выразиться в таком духе, что, наслышась о добродетели и редких свойствах души его, по-

¹ Флюгер — флажок на шесте, установленном на открытом месте (например, на крыше). Флюгер указывает направление ветра.

что должом принести лично дань уважения, но спохватился и почувствовал, что это слишком. Искоса бросив ещё один взгляд на всё, что было в комнате, он почувствовал, что слова добродетельности и редкие свойства души можно с успехом заменить словами: экономия и порядок; и потому преобразивши таким образом речь, он сказал, что, наслышась об экономии его и редком управлении имениями, он почёл за долг познакомиться и принести лично своё почтение. Конечно, можно бы было привести иную, лучшую причину, но ничего иного не взбрело тогда на ум.

На это Плюшкин что-то пробормотал сквозь губы, ибо зубов не было, что именно, неизвестно, но, вероятно, смысл был таков: «А побрал бы тебя чёрт с твоим почтением!» Но так как гостеприимство у нас в таком ходу, что и скряга не в силах преступить его законов, то он прибавил тут же несколько внятнее: «Прошу покорнейше садиться!»

«Я давненько не вижу гостей», сказал он: «да, признаться сказать, в них мало вижу проку. Завели преисприличный обычай ездить друг к другу, а в хозяйстве-то упущения... да и лошадей их корми сеном! Я давно уж отобедал, а кухня у меня низкая, прескверная, и труба-то совсем развалилась, начнёшь топить, ещё пожару наделаешь».

«Вон оно как!» подумал про себя Чичиков, «хорошо же, что я у Собакевича перехватил ватрушку да томоть бараньего бока».

«И такой скверный анекдот, что сена хоть бы клочок в целом хозяйстве!» продолжал Плюшкин. «Да и в самом деле, как прибережёшь его? землишка маленькая, мужик ленив, работать не любит, думает, как бы в кабаке... того и гляди, пойдёшь на старости лет по миру!»

«Мне, однако же, сказывали», скромно заметил Чичиков: «что у вас более тысячи душ».

«А кто это сказывал! А вы бы, батюшка, наплевали в глаза тому, который это сказывал! Он пересмешник, видно, хотел пошутить над вами. Вот, бают, тысяча душ, а подит-ка сосчитай, а и ничего не начтёшь! Последние три года проклятая горячка выморила у меня здоровенный куш мужиков».

«Скажите! и много выморила?» воскликнул Чичиков с участием.

«Да, снесли многих».

«А позвольте узнать, сколько числом?»

«Душ восемьдесят».

«Нет?»

«Не стану лгать, батюшка».

«Позвольте ещё спросить: ведь эти души, я полагаю, вы считаете со дня подачи последней ревизии?»

«Это бы ещё слава богу», сказал Плюшкин: «да лих-то, что с того времени до ста двадцати наберётся».

«Вправду? Целых сто двадцать?» — воскликнул Чичиков и даже разинул несколько рот от изумления.

«Стар
зал Плюшкин
воскликнул
подобное
и сказал,
«Да вед
Плюшкин.
да взялся,
ку целует,
уши берег
держивает
театральна
нует!»
Чичиков
сем не так
ми, а дело
всяких об
обязанност
несчастны
милу Плю
и наконец
службе?»
«Нет»,
ской».
«По ст
как будто
самим в у
«Для у
«Ах, б
не замеча
картинно
крившись
риванья.
тели вы
шло и ми
деревянн
се не бы
Он даже
зять себя
«Как
за всякий
выдавать
«Да м
пость, ка
«Да, в
опять ку
Чичиков

«Стар я, батюшка, чтобы лгать: седьмой десяток живу!» сказал Плюшкин. Он, казалось, обиделся таким, почти радостным, восклицанием. Чичиков заметил, что в самом деле неприлично подобное безучастие к чужому горю, и потому вздохнул тут же и сказал, что соболезнает.

«Да ведь соболезнование в карман не положишь», сказал Плюшкин. «Вот возле меня живёт капитан, чёрт знает его, откуда взялся, говорит — родственник: дядюшка, дядюшка! и в руку целует, а как начнёт соболезновать, вой такой подымет, что уши береги. С лица весь красный: пеннику¹, чай, насмерть придерживается. Верно, спустил денежки, служа в офицерах, или театральная актриса выманила, так вот он теперь и соболезнает!»

Чичиков постарался объяснить, что его соболезнование совсем не такого рода, как капитанское, и что он не пустыми словами, а делом готов доказать его, и не откладывая дела далее, без всяких обиняков, тут же изъявил готовность принять на себя обязанность платить подати за всех крестьян, умерших такими несчастными случаями. Предложение, казалось, совершенно изумило Плюшкина. Он, вытаращив глаза, долго смотрел на него и наконец спросил: «Да вы, батюшка, не служили ли в военной службе?»

«Нет», отвечал Чичиков довольно лукаво: «служил по статской».

«По статской?» повторил Плюшкин и стал жевать губами, как будто что-нибудь кушал. «Да ведь как же? Ведь это вам-то самим в убыток?»

«Для удовольствия вашего готов и на убыток».

«Ах, батюшка! ах, благодетель мой!» вскрикнул Плюшкин, не замечая от радости, что у него из носа выглянул весьма некартинно табак, на образец густого кофея, и полы халата, раскрывшись, показали платье, не весьма приличное для рассматриванья. «Вот утешили старика! Ах, господи ты мой! ах, святители вы мои!..» Далее Плюшкин и говорить не мог. Но не прошло и минуты, как эта радость, так мгновенно показавшаяся на деревянном лице его, так же мгновенно и пропала, будто её вовсе не бывало, и лицо его вновь приняло заботливое выражение. Он даже утёрся платком и, свернувши его в комоч, стал им водить себя по верхней губе.

«Как же, с позволения вашего, чтобы не рассердить вас, вы за всякий год берётесь платить за них, что ли? и деньги будете выдавать мне или в казну?»

«Да мы вот как сделаем: мы совершим на них купчую крепость, как бы они были живые и как бы вы их мне продали».

«Да, купчую крепость...» сказал Плюшкин, задумался и стал опять кушать губами. «Ведь вот купчую крепость — всё издерж-

¹ Пенник — водка.

ки Приказные¹ такие бессовестные! Прежде бывало полтиной мети отделаешься, да мешком муки, а теперь пошли целую подводу круп, да и красную бумажку прибавь, такое сребролюбие! Я не знаю, как священники-то не обращают на это внимание, сказал бы какое-нибудь поучение, ведь что ни говори, а против слова-то божия не устоишь».

«Ну ты, я думаю, устоишь!» подумал про себя Чичиков и произнёс тут же, что, из уважения к нему, он готов принять даже издержки по купчей на свой счёт.

Услыша, что даже издержки по купчей он принимает на себя, Плюшкин заключил, что гость должен быть совершенно глуп и только прикидывается, будто служил по статской, а верно был в офицерах и волочился за актёрками. При всём том, он, однако ж, не мог скрыть своей радости и пожелал всяких утешений не только ему, но даже и деткам его, не спросив, были ли они у него, или нет. Подошед к окну, постучал он пальцем в стекло и закричал: «Эй, Прошка!» Через минуту было слышно что, кто-то вбежал впопыхах в сени, долго возился там и стучал сапогами, наконец, дверь отворилась, и вошёл Прошка, мальчик лет тринадцати, в таких больших сапогах, что ступая едва не вынул из них ноги. Почему у Прошки были такие большие сапоги, это можно узнать сейчас же: у Плюшкина для всей дворни, сколько ни было её в доме, были одни только сапоги, которые должны были всегда находиться в сенях. Всякий призываемый в барские покои обыкновенно отплясывал через весь двор босиком, но, входя в сени, надевал сапоги и таким уже образом являлся в комнату. Выходя из комнаты, он оставлял сапоги опять в сенях и отправлялся вновь на собственной подошве. Если бы кто взглянул на это из окошка в осеннее время и особенно когда по утрам начинаются маленькие заморозки, то бы увидел, что вся дворня делала такие высокие скачки, какие вряд ли удастся выделывать на театрах самому бойкому танцовщику.

«Вот посмотрите, батюшка, какая рожа!» сказал Плюшкин Чичикову, указывая пальцем на лицо Прошки. «Глуп ведь как дерево, а попробуй что-нибудь положить, мигом украдёт! Ну, чего ты пришёл, дурак, скажи, чего?» Тут он произвёл небольшое молчание, на которое Прошка отвечал тоже молчанием. «Поставь самовар, слышишь, да вот возьми ключ, да отдай Мавре, чтобы пошла в кладовую: там на полке есть сухарь из кулича, который привезла Александра Степановна, чтобы подали его к чаю!.. постой, куда же ты? дурачина! эхва, дурачина!.. Бес у тебя в ногах что ли чешется?.. ты выслушай прежде: сухарь-то сверху, чай, испортился, так пусть соскоблит его ножом, да крох не бросает, а снесёт в курятник. Да смотри ты, неходи, брат, в кладовую, не то я тебя, знаешь! берёзовым-то веником, чтобы для вкуса-то! вот у тебя теперь славный аппетит, так что-

¹ Приказный — канцелярский служащий.

бы ещё был получше! Вот попробуй-ка пойти в кладовую, а я тем временем из окна стану глядеть. Им ни в чём нельзя доверять», продолжал он, обратившись к Чичикову, после того как Прошка убрался вместе со своими сапогами. Вслед за тем он начал и на Чичикова посматривать подозрительно. Черты такого необыкновенного великодушия стали ему казаться невероятными, и он подумал про себя: «Ведь чёрт его знает, может быть, он просто хвастун, как все эти мотишки; наврёт, наврёт, чтобы поговорить да напиться чаю, а потом и уедет!» И потому из предосторожности, и вместе желая несколько поиспытать его, сказал он, что недурно бы совершить купчую поскорее, потому что де в человеке неуверен: сегодня жив, а завтра и бог весть.

Чичиков изъявил готовность совершить её хоть сию же минуту и потребовал только списочка всем крестьянам.

Это успокоило Плюшкина. Заметно было, что он придумывал что-то сделать, и точно, взявши ключи, приблизился к шкапу и, отперши дверцу, рылся долго между стаканами и чашками и, наконец, произнёс: «Ведь вот не сыщешь, а у меня был славный ликёрчик, если только не выпили! Народ — такие воры! А вот разве не это ли он?» Чичиков увидел в руках его графинчик, который был весь в пыли, как в фуфайке. «Ещё покойница делала», продолжал Плюшкин: «мошенница-ключница совсем было его забросила и даже не закупорила, каналья! Козявки и всякая дрянь было напичкались туда, но я весь сор-то повынул и теперь вот чистенькой, я вам чалью рюмочку».

Но Чичиков постарался отказаться от такого ликёрчика, сказавши, что он уже и пил и ел.

«Пили уже и ели!» сказал Плюшкин. «Да, конечно, хорошего общества человека хоть где узнаешь: он и не ест, а сыт; а как эдакий какой-нибудь воришка, да его сколько ни корми... Ведь вот капитан приедет: «Дядюшка», говорит, «дайте чего-нибудь поесть!» А я ему такой же дядюшка, как он мне дедушка. У себя дома есть, верно, нечего, так вот он и шатается! Да, ведь вам нужен реестрик всех этих тунеядцев? Как же, я, как знал, всех их списал на особую бумажку, чтобы при первой подаче ревизии всех их вычеркнуть». Плюшкин надел очки и стал рыться в бумагах. Развязывая всякие связки, он попотчевал своего гостя такою пылью, что тот чихнул. Наконец, вытащил бумажку, всю испанную кругом. Крестьянские имена усыпали её тесно, как мошки. Были там всякие: и Парамонов, и Пименов, и Пантелеймонов, и даже выглянул какой-то Григорий Доезжай-не-доедешь; всех было сто двадцать с лишком. Чичиков улыбнулся при виде такой многочисленности. Спрятав её в карман, он заметил Плюшкину, что ему нужно будет для совершения крепости приехать в город.

«В город? Да как же?.. а дом-то как оставить? Ведь у меня народ или вор, или мошенник: в день так оберут, что и кафтана не на чем будет повесить».

«Так не имее ли кого-нибудь знакомого?»

«Да кого же знакомого? Все мои знакомые перемыли или раззнакомились. Ах, батюшка! как не иметь, имею!» вскрикнул он. «Ведь знаком сам председатель, сжил даже в старые годы ко мне, как не знать! однокорытниками были, вместе по заборам лазили! как не знакомый? уж такой знакомый! так уж не к нему ли написать?»

«И конечно к нему».

«Как же, уж такой знакомый! в школе были приятели».

И на этом деревянном лице вдруг скользнул какой-то тёплый луч, выразилось не чувство, а какое-то бледное отражение чувства, явление, подобное неожиданному появлению на поверхности вод утопающего, производшему радостный крик в толпе, обступившей берег. Но напрасно обрадовавшиеся братья и сестры кидают с берега верёвку и ждут, не мелькнёт ли вновь спина, или утомлённые бореньем руки — появление было последнее. Глухо всё, и ещё страшнее и пустынее становится после того затихнувшая поверхность безответной стихии. Так и лицо Плюшкина вслед за мгновенно скользнувшим на нём чувством стало ещё бесчувственней и ещё пошлее.

«Лежала на столе четвёрка чистой бумаги», сказал он: «да не знаю, куда запропастилась; люди у меня такие негодные!» Тут стал он заглядывать и под стол, и на стол, шарил везде и, наконец, закричал: «Мавра! а Мавра!» На зов явилась женщина с тарелкой в руках, на которой лежал сухарь, уже знакомый читателю. И между ними произошёл такой разговор:

«Куда ты дела, разбойница, бумагу?»

«Ей-богу, барин, не видывала, опричь небольшого лоскутка, которым изволили прикрыть рюмку».

«А вот я по глазам вижу, что подтибрила».

«Да на что ж бы я подтибрила? Ведь мне проку с ней никакого; я грамоте не знаю».

«Врёшь, ты снесла пономарёнку: он маракует, так ты ему и снесла».

«Да пономарёнок, если захочет, так достанет себе бумаги. Не видал он вашего лоскутка!»

«Вот погоди-ка: на страшном суде черти припекут тебя за это железными рогатками! Вот посмотришь, как припекут!»

«Да за что же припекут, коли я не брала и в руки четвёртки? Уж скорее в другой какой бабьей слабости, а воровством меня ещё никто не попрекал».

«А вот черти-то тебя и припекут! скажут: «А вот тебе, мошенница, за то, что барина-то обманывала!», да горячими-то тебя и припекут!»

«А я скажу: не за что! ей-богу, не за что, не брала я... Да вон она лежит на столе. Всегда понапраслиной попрекаете!»

Плюшкин увидел, точно, четвёртку и на минуту остановился, пожевал губами и произнёс: «Ну, что ж ты расходишься так:

...кая занозистая! Ей скажи только одно слово, а она уж в ответ
десяток! Поди-ка принеси огоньку запечатать письмо. Да стой,
ты схватишь сальную свечу, сало дело топкое: сгорит — да и
нет, только убыток, а ты принеси-ка мне лучинку!»

Мавра ушла, а Плюшкин, севши в кресла и взявши в руку
перо, долго ещё ворочал на все стороны четвертку, придумывая:
нельзя ли отделить от неё ещё осьмушку, но, наконец, убедился,
что никак нельзя; всунул перо в чернильницу с какою-то заплес-
невшею жидкостью и множеством мух на дне и стал писать, вы-
ставляя буквы, похожие на музыкальные ноты, придерживая по-
минутно прыть руки, которая раскакивалась по всей бумаге,
лепя скупно строка на строку, и не без сожаления подумывал о
том, что всё ещё останется много чистого пробела.

И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти
человек! мог так измениться! И похоже это на правду? Всё по-
хоже на правду, всё может статься с человеком. Нынешний же
пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему
его же портрет в старости. Забирайте же с собою в путь, выходя
из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество,
забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте
их на дороге, не поднимете потом! Грозна, страшна грядущая
впереди старость, и ничего не огдаёт назад и обратно! Могила
милосерднее её, на могиле напишется: здесь погребён человек!
но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бес-
человечной старости.

«А не знаете ли вы какого-нибудь вашего приятеля?» сказал
Плюшкин, складывая письмо, «которому бы понадобились бег-
лые души».

«А у вас есть и беглые?» быстро спросил Чичиков, очнувшись.

«В том-то и дело, что есть. Зять делал исправки: говорит,
будто и след простыл, но ведь он человек военный: мастер при-
топывать шпорой, а если бы похлопотать по судам...»

«А сколько их будет числом?»

«Да десятков до семи тоже наберётся».

«Нет?»

«А ей-богу так! Ведь у меня что год, то бегут. Народ-то боль-
но прожорлив, от праздности завёл привычку трескать, а у ме-
ня есть и самому нечего... А уж я бы за них, что ни дай, взял бы.
Так посоветуйте вашему приятелю-то: отыщись ведь только де-
сяток, так вот уж у него славная денёга. Ведь ревизская душа
стоит в пятистах рублях».

«Нет, этого мы приятелю и понюхать не дадим», сказал про
себя Чичиков и потом объяснил, что такого приятеля никак не
найдётся, что одни издержки по этому делу будут стоить более:
ибо от судов нужно отрезать полы собственного кафтана, да уxo-
дить подалее; но что если он уже действительно так стиснут, то,
будучи подвигнут участием, он готов дать... но что это такая без-
делица, о которой даже не стоит и говорить.

«А сколько бы вы дали?» спросил Плюшкин... и руки его задрожали, как ртуть.

«Я бы дал по двадцати пяти копеек за душу».

«А как вы покупаете, на чистые?»

«Да, сейчас деньги».

«Только, батюшка, ради нищеты-то моей, уже дали бы по сорока копеек».

«Почтеннейший!» сказал Чичиков: «не только по сорока копеек, по пятисот рублей заплатил бы! с удовольствием заплатил бы, потому что вижу, почтенный, добрый старик терпит по причине собственного добродушия».

«А ей-богу, так! ей-богу, правда!» сказал Плюшкин, свесив голову вниз и сокрушительно покачав её, «всё от добродушия».

«Ну, видите ли, я вдруг постигнул ваш характер. Итак, почему ж не дать бы мне пятисот рублей за душу, но... состоянья нет; по пяти копеек, извольте, готов прибавить, чтобы каждая душа обошлась таким образом в тридцать копеек».

«Ну, батюшка, воля ваша, хоть по две копеечки пристегните».

«По две копеечки пристегну, извольте. Сколько их у вас? Вы, кажется, говорили семьдесят?»

«Нет. Всего наберётся семьдесят восемь».

«Семьдесят восемь, семьдесят восемь, по тридцати копеек за душу, это будет...» здесь Чичиков нащупал одну секунду, не более, подумал и сказал вдруг: «это будет двадцать четыре рубля девятью шестью копейками!» — он был в арифметике силен. Тут же заставил он Плюшкина написать расписку и выдал ему деньги, которые тот принял в обе руки и понёс их в бюро с такою же осторожностью, как будто бы нёс какую-нибудь жидкость, ежеминутно боясь расхлестать её. Подошедши к бюро, он переглядел их ещё раз и уложил тоже чрезвычайно осторожно в один из ящиков, где, верно, им суждено быть погребёнными до тех пор, покамест отец Карп и отец Поликарп, два священника его деревни, не погребут его самого, к неописанной радости зятя и дочери, а может быть, и капитана, приписавшегося ему в родню. Спрятавши деньги, Плюшкин сел в кресла и уже, казалось, больше не мог найти материи, о чём говорить.

«А что, вы уж собираетесь ехать?» сказал он, заметив небольшое движение, какое сделал Чичиков для того только, чтобы достать из кармана платок.

Этот вопрос напомнил ему, что в самом деле незачем более мешкать. «Да, мне пора!» произнёс он, взявшись за шляпу.

«А чайку?»

«Нет, уж чайку пусть лучше когда-нибудь в другое время».

«Как же, а я приказал самовар. Я, признаться сказать, не охотник до чаю: напиток дорогой, да и цена на сахар поднялась немилосердная. Прощка! не нужно самовара! Сухарь отнеси Мавре, слышишь: пусть его положит на то же место, или нет, подай его сюда, я уж снесу его сам. Прощайте, батюшка, да

за.
благословит вас бог, а письмо-то председателю вы отдайте. Да! пусть прочтёт, он мой старый знакомый! Как же! были с ним отнокорытниками!»

Засим это странное явление, этот съёжившийся старикишка проводил его со двора, после чего велел ворота тот же час запереть, потом обошёл кладовые, с тем чтобы осмотреть, на своих ли местах сторожа, которые стояли на всех углах, колотя деревянными лопатками в пустой бочонок, наместо чугунной доски; после того заглянул в кухню, где под видом того, чтобы попробовать, хорошо ли едят люди, наелся препорядочно щей с кашею и, выбравивши всех до последнего за воровство и дурное поведение, возвратился в свою комнату. Оставшись один, он даже подумал о том, как бы и чем возблагодарить гостя за такое, в самом деле, беспримерное великодушие. «Я ему подарю», подумал он про себя, «карманные часы: они ведь хорошие, серебряные часы, а не то чтобы какие-нибудь томпаковые¹ или бронзовые, немножко поцарапаны, да ведь он себе переправит; он человек ещё молодой, так ему нужны карманные часы, чтобы понравиться своей невесте! Или нет», прибавил он, после некоторого размышления, «лучше я оставляю их ему после моей смерти, в духовной, чтобы вспоминал обо мне».

Но герой наш и без часов был в самом весёлом расположении духа. Такое неожиданное приобретение было сущий подарок. В самом деле, что ни говори, не только одни мёртвые души, но ещё и беглые, и всего двести с лишком человек! Конечно, ещё подъезжая к деревне Плюшкина, он уже предчувствовал, что будет кое-какая нажива, но такой прибыточной никак не ожидал. Всю дорогу он был весел необыкновенно, посвистывал, наигрывал губами, приставивши ко рту кулак, как будто играл на трубе, и, наконец, затянул какую-то песню, до такой степени необыкновенную, что сам Селифан слушал, слушал и потом, покачивая слегка головой, сказал: «вишь ты, как барин поёт!» Были уже густые сумерки, когда подъехали они к городу. Тень со свежом перемешалась совершенно и, казалось, самые предметы перемешались тоже. Пёстрый шлагбаум принял какой-то неопределённый цвет; усы у стоявшего на часах солдата казались на лбу и гораздо выше глаз, а носа как будто не было вовсе. Гром и прыжки дали заметить, что бричка въехала на мостовую. Фонари ещё не зажигались, кое-где только начинались освещаться окна домов, а в переулках и закоулках происходили сцены и разговоры, неразлучные с этим временем во всех городах, где много солдат, извозчиков, работников и особенного рода сумасшествя, в виде дам в красных шальях и башмаках без чулок, которые, как летучие мыши, шныряют по перекрёсткам. Чичиков не замечал их и даже не заметил многих тоненьких чиновников с тросточками, которые, вероятно, сделавши прогулку за городом, возвращались домой. Изредка доходили до слуха его ка-

¹ Томпак — сплав из меди и цинка.

кис-то, казалось, женские восклицания: «врѣшь, пьяница! я ни- когда не позволяла ему такого грубиянства!» или: «ты не дерись, невежа, а ступай в часть¹, там я тебе докажу!..» Словом, те слова, которые вдруг обдадут как варом какого-нибудь замечтавшегося двадцатилетнего юношу, когда, возвращаясь из театра, несёт он в голове испанскую улицу, ночь, чудный женский образ с гитарой и чудными кудрями. Чего нет, и что не грезится в голове его? он в небесах и к Шиллеру заехал в гости² — и вдруг раздаются над ним, как гром, роковые слова, и видит он, что вновь очутился на земле, и даже на Сенной площади, и даже близ кабака, и вновь пошла по-будничному щеголять перед ним жизнь.

Наконец бричка, сделавши порядочный скачок, опустилась как будто в яму, в ворота гостиницы, и Чичиков был встречен Петрушкою, который одною рукою придерживал полу своего сюртука, ибо не любил, чтобы расходились полы, а другою стал помогать ему вылезать из брички. Половой тоже выбежал, со свечою в руке и салфеткою на плече. Обрадовался ли Петрушка приезду барина, неизвестно, по крайней мере они перемигнулись с Селифаном, и обыкновенно суровая его наружность, на этот раз, как будто несколько прояснилась.

«Долго изволили погулять», сказал половой, освещая лестницу.

«Да», сказал Чичиков, когда взошёл на лестницу. «Ну, а ты что?»

«Слава богу», отвечал половой кланяясь. «Вчера приехал поручик, какой-то военный, занял шестнадцатый номер».

«Поручик?»

«Неизвестно какой, из Рязани, гнѣдые лошади».

«Хорошо, хорошо, води себя и вперѣд хорошо!» сказал Чичиков и вошёл в свою комнату. Проходя переднюю, он покрутил носом и сказал Петрушке: «Ты бы по крайней мере хоть окна отпер!»

«Да я их отпирал», сказал Петрушка, да и соврал. Впрочем, барин и сам знал, что он соврал, но уж не хотел ничего возражать. После сделанной поездки он чувствовал сильную усталость. Потребовавши самый лёгкий ужин, состоявший только в поросѣнке, он тот же час разделся и, забравшись под одеяло, заснул сильно, крепко, заснул чудным образом, как спят одни только те счастливы, которые не ведают ни гемороя, ни блох, ни слишком сильных умственных способностей.

ГЛАВА VII

...Чичиков проснулся, потянул руки и ноги, и почувствовал, что выпался хорошо. Полежав минуты две на спине, он щёлкнул

¹ Часть — полицейский участок.

² К Шиллеру заехал в гости, т. е. в данном случае размечтался и стал фантазировать.

рукою и вспомнил с просиявшим лицом, что у него теперь без малого четыреста душ. Тут же вскочил он с постели, не посмотрел даже на своё лицо, которое любил искренно и в котором, как кажется, привлекательнее всего находил подбородок, ибо весьма часто хвалился им пред кем-нибудь из приятелей, особливо если это происходило во время бритья. «Вот посмотри», говорил он обыкновенно, поглаживая его рукою: «какой у меня подбородок: совсем круглый!» Но теперь он не взглянул ни на подбородок, ни на лицо, а прямо, так, как был, надел сафьяновые сапоги с резными выкладками всяких цветов, какими бойко торгует город Торжок, благодаря халатным побуждениям русской природы, и по-шотландски в одной короткой рубашке, позабыв свою степенность и приличные средние лета, произвёл по комнате два прыжка, прищёпнув себя весьма ловко пяткой ноги. Потом в ту же минуту приступил к делу: перед шкатулкой потер руки с таким же удовольствием, как потирает их выехавший на следствие неподкупный земский суд, подходящий к закуске, и тот же час вынул из неё бумаги. Ему хотелось поскорее кончить всё, не откладывая в долгий ящик. Сам решился он сочинить крепости, наказы и переписать, чтобы не платить ничего подьячим. Форменный порядок был ему совершенно известен: бойко выставил он большими буквами: тысяча восемьсот такого-то года, потом вслед за тем мелкими: я, помещик такой-то, и всё, что следует. В два часа готово было всё. Когда взглянул он потом на эти листики, на мужиков, которые, точно, были когда-то мужиками, работали, пахали, пьянствовали, извозничали, обманывали бар, а может быть, и просто были хорошими мужиками, то какое-то странное, непонятное ему самому чувство овладело им. Каждая из записочек как будто имела какой-то особенный характер, и чрез то, как будто бы, самые мужики получали свой собственный характер. Мужики, принадлежавшие Коробочке, все почти были с придатками и прозвищами. Записка Плюшкина отличалась краткостью в слог: часто были выставлены только начальные слова имён и отчеств, и потом две точки. Реестр Собакевича поражал необыкновенною полнотою и обстоятельностью: ни одно из похвальных качеств мужика не было пропущено: об одном сказано «хороший столяр», к другому приписано было «смыслит и хмельного не берёт». Означено было также обстоятельство, кто отец и кто мать, и какого оба были поведения; у одного только какого-то Федотова было написано: «отец неизвестно кто, а родился от дворовой Капитолины, но хорошего нрава и не вор». Все сии подробности придавали какой-то особенный вид свежести: казалось, как будто мужики ещё вчера были живы. Смотря долго на имена их, он умилился духом и, вздохнувши, произнёс: «Батюшки мои, сколько вас здесь напичкано! что вы, сердечные мои, поделывали на веку своём? как перебивались?» И глаза его невольно остановились на одной фамилии, это был известный Пётр Савельев

Ис уважай-Корыто, принадлежавший когда-то помещице Коро-
бочке. Он опять не утерпел, чтоб не сказать: «Эх, какой длинный, Коро-
во всю строку разъехался. Мастер ли ты был или просто му-
жик, и какою смертью тебя прибрало? в кабаке ли, или среди му-
дороги переехал тебя сонного неуклюжий обоз? Пробка Степан,
плотник, трезвости примерной. А! вот он, Степан Пробка, вот тот
богатырь, что в гвардию годился бы! Чай, все губернии исходил
с топором за поясом и сапогами на плечах, съедал на грош хле-
ба, да на два сушёной рыбы, а в мошле, чай, притаскивал всякий
раз домой целковиков по сту, а может и государственную заши-
вал в холстяные штаны или затыкал в сапог, — где тебя прибра-
ло? Взмогнулся ли ты для большого прибытку под церковный
купол, а может быть, и на крест потащился и, поскользнувшись
оттуда с перекладины, шлёпнулся оземь, и только какой-нибудь
стоявший возле тебя дядя Михей, почесав рукою в затылке, при-
молвил: «Эх, Ваня, угораздило тебя!», а там, подвязавшись ве-
рёвкой, полез на твоё место. Максим Телятников, сапожник. Хе,
сапожник! пьян, как сапожник, говорит пословица. Знаю, знаю
тебя, голубчик: если хочешь, всю историю твою расскажу: учил-
ся ты у немца, который кормил вас всех вместе, бил по спине
ремнём за неаккуратность и не выпускал на улицу повесничать,
и был ты чудо, а не сапожник, и не нахвалился тобою немец, го-
воря с женой или с камрадом. А как кончилось твоё ученье: «А
вот теперь я заведу свой домком», сказал ты, «да не так, как
немец, что из копейки тянется, а вдруг разбогатею». И вот, дав-
ши барину порядочный оброк, завёл ты лавчонку, набрав зака-
зов кучу, и пошёл работать. Достал где-то втридеша гнилуш-
ки кожи и выиграл, точно, вдвое на всяком сапоге, да через не-
дели две перелопались твои сапоги, и выбрали тебя подлей-
шим образом. И вот лавчонка твоя запустела, и ты пошёл попи-
вать, да валяться по улицам, приговаривая: «Нет, плохо на све-
те! нет житья русскому человеку, всё немцы мешают». Это что
за мужик: Елизавета Воробей? Фу ты пропасть: баба! она как
сюда затесалась? Подлец Собакевич, и здесь надул!» Чичиков
был прав: это была, точно, баба. Как она забралась туда, неиз-
вестно, но так искусно была прописана, что издали можно было
принять её за мужика, и даже имя оканчивалось на букву ь, то
есть не Елизавета, а Елизаветь. Однако же он это не принял в
уважение и тут же её вычеркнул. «Григорий Доезжай-не-до-
едешь! Ты что был за человек? Извозом ли промышлял и, завед-
ши тройку и рогожную кибитку, отрёкся навеки от дому, от род-
ной берлоги, и пошёл тащиться с купцами на ярмарку. На доро-
ге ли ты отдал душу богу, или уходили тебя твои же приятели
за какую-нибудь толстую и краснощёкую солдатку, или пригля-
делись лесному бродяге ремённые твои рукавицы и тройка при-
земистых, но крепких коньков, или, может, и сам, лёжа на пола-
тях, думал, думал, да ни с того, ни с другого заворотил в кабак,
а потом прямо в прорубь, и поминай как звали. Эх, русский на-

родец! и
чики?» и
мечены б
в вас тол
ши быстр
то, по св
тюрьмам
землю? Е
локита —
дворовый
в руки, а
беспашпо
на очной
нувши те
«Такого-т
«Зачем т
на оброк
порт?» —
нова! Ты
свой?» —
ж ты вр
какого кр
«я не да
подержан
Давал он
та». — «Ч
скрепивш
пашпорт
статься
«А солда
ши тебе
шил? и у
«Никак
никогда
тебя?» —
«Ах, ты
головою
да сведи
чаешь ты
дружелю
лодки, и
войне бы
производ
Царевоко
опять: пр
реезжае
новое об
ще: там

родец! не любит умирать своею смертью! А вы что, мои голубчики?» продолжал он, переводя глаза на бумажку, где были помечены беглые души Плюшкина: «вы хоть и в живых ещё, а что в вас толку! то же, что и мёртвые, и где-то носят вас теперь ваши быстрые ноги? Плохо ли вам было у Плюшкина, или, просто, по своей охоте гуляете по лесам да дерёте проезжих? По тюрьмам ли сидите, или пристали к другим господам и пашете землю? Еремей Карякин, Никита Волокита, сын его Антон Волокита — эти, и по прозвищу видно, что хорошие бегуны. Попов, дворовый человек, должен быть грамотей: ножа, я чай, не взял в руки, а проворовался благородным образом. Но вот уж тебя беспашпортного поймал капитан-исправник. Ты стоишь бодро на очной ставке. «Чей ты?» — говорит капитан-исправник, вернувши тебе при сей верной оказии кое-какое крепкое словцо. — «Такого-то и такого-то помещика», — отвечаешь ты бойко. — «Зачем ты здесь?» — говорит капитан-исправник. — «Отпущен на оброк», — отвечаешь ты без запинки. — «Где твой паспорт?» — «У хозяина, мещанина Пименова». — «Позвать Пименова! Ты Пименов?» — «Я Пименов». — «Давал он тебе паспорт свой?» — «Нет, не давал он мне никакого паспорта». — «Что ж ты врёшь?» — говорит капитан-исправник с прибавкою кое-какого крепкого словца. — «Так точно», отвечаешь ты бойко, — «я не давал ему, потому что пришёл домой поздно, а отдал на подержание Антипу Прохорову, звонарю». — «Позвать звонаря! Давал он тебе паспорт?» — «Нет, не получал я от него паспорта». — «Что ж ты опять врёшь?» — говорит капитан-исправник, скрепивши речь кое-каким крепким словцом. — «Где ж твой паспорт?» — «Он у меня был», говоришь ты проворно, «да, статься может, видно, как-нибудь дорогой пообронил его». — «А солдатскую шинель», говорит капитан-исправник, загвоздивши тебе опять в придачу кое-какое крепкое словцо: «зачем стащил? и у священника тоже сундук с медными деньгами?» — «Никак нет», говоришь ты, не сдвинувшись: «в воровском деле никогда ещё не оказывался». — «А почему же шинель нашли у тебя?» — «Не могу знать: верно, кто-нибудь другой принёс её». — «Ах, ты бестия, бестия!» говорит капитан-исправник, покачивая головою и взявшись под бока. «А набейте ему на ноги колодки, да сведите в тюрьму». — «Извольте! я с удовольствием», отвечаешь ты. И вот, вынувши из кармана табакерку, ты потчевашь дружелюбно каких-то двух инвалидов, набивающих на тебя колодки, и расспрашивашь их, давно ли они в отставке и в какой войне бывали. И вот ты себе живёшь в тюрьме, покамест в суде производится твоё дело. И пишет суд: препроводить тебя из Царевококшайска в тюрьму такого-то города, а тот суд пишет опять: препроводить тебя в какой-нибудь Весьегонск, и ты переезжаешь себе из тюрьмы в тюрьму, и говоришь, осматривая новое обиталище: «Нет, вот весьегонская тюрьма будет почище: там хоть и в бабки, так есть место, да и общества больше!»

Абакум Фыров! ты, брат, что? где, в каких местах шатаешься? Занесло ли тебя на Волгу, и влюбил ты вольную жизнь, при- ставши к бурлакам?» Тут Чичиков остановился и слегка задумался. Над чем он задумался? Задумался ли он над участью Абакума Фырова, или задумался так, сам собою, как задумыва- ется всякий русский, каких бы ни был лет, чина и состояния, ког- да замыслит об разгуле широкой жизни. И в самом деле, где те- ряившись с купцами. Цветы и ленты на шляпе, вся веселится бурлацкая ватага, прощаясь с любовницами и жёнами, высоки- ми, стройными, в монистах и лентах; хороводы, песни, кипит вся площадь, а носильщики между тем при криках, бранях и пону- каньях, зацепляя крючком по девяти пудов себе на спину, с шу- мом сыплют горох и пшеницу в глубокие суда, валят кули с ов- сом и крупой, и далече виднеются по всей площади кучи нава- ленных в пирамиду, как ядра, мешков, и громадно выглядывает весь хлебный арсенал, пока не перегрузится весь в глубокие су- да-суряки и не понесётся гусем вместе с весенними льдами бес- конечный флот. Там-то вы работаетесь, бурлаки! и дружно, как прежде гуляли и бесились, приметесь за труд и пот, таща лямку под одну бесконечную, как Русь, песню.

«Эхе, хе! двенадцать часов!» сказал наконец Чичиков, взгля- нув на часы. «Что ж я так измучился? Да ещё пусть бы дело де- лал, а то ни с того, ни с сего, сначала загородил околёсину, а потом задумался. Экой же дарюк в самом деле!» Сказавши это, он переменял свой шотландский костюм на европейский, стянул покрепче пряжкой свой полный живот, вспрыснул себя одеко- лонем, взял в руки тёплый картуз и с бумагами под мышкой от- правился в гражданскую палату совершать купчую. Он спешил не потому, что боялся опоздать, опоздать он не боялся, ибо председатель был человек знакомый и мог продлить и укоротить по его желанию присутствие, подобно древнему Зевесу Го- мера, длившему дни и насылавшему быстрые ночи, когда нужно было прекратить брань любезных ему героев или дать им сред- ство додраться, но он сам в себе чувствовал желание скорее как можно привести дела к концу; до тех пор ему казалось всё не- спокойно и неловко; всё-таки приходила мысль: что души не сов- сем настоящие и что в подобных случаях такую обузу всегда нужно поскорее с плеч. Не успел он выйти на улицу, размышляя обо всём этом и в то же время таща на плечах медведя, крытого коричневым сукном, как на самом повороте в переулок столкнулся с господином тоже в медведях, крытых коричневым сукном, и в тёплом картузе с ушами. Господин вскрикнул, это был Манилов. Они заключили тут же друг друга в объятия и минут пять остава- лись на улице в таком положении. Поцелуи с обеих сторон так были сильны, что у обоих весь день почти болели передние зубы. У Манилова от радости остались только нос да губы на лице, гла- за совершенно исчезли. С четверть часа держал он обеими рука-

ми руку
и при
речь бы
приличе
рот, ещё
из-под
вою лен
«Эт
«Му
«А!»
чистоте
нужно
но сдел
«Ну
«Вы
«Же
«Ах,
трудней
«Дл
Чич
шёл в
ность
вместе.
пеньке,
его рук
пустит
совести
сколько
шли на
большо
ятно, д
ностей;
менном
солдат
заборы
царапа
уединён
окон вт
вы жре
ятно, в
шли, а
бегнуть
рял ша
ясь не
весьма
рах, ни
Фе
судн.

ми руку Чичикова и нагрел её страшно. В оборотах самых топких и приятных он рассказал, как летел обнять Павла Ивановича; речь была заключена таким комплиментом, какой разве только приличен одной девице, с которой идут танцевать. Чичиков открыл рот, ещё не зная сам, как благодарить, как вдруг Манилов вынул из-под шубы бумагу, свёрнутую в трубочку и связанную розовою ленточкой, и подал очень ловко двумя пальцами.

«Это что?»

«Мужички».

«А!» Он тут же развернул её, пробежал глазами и подивился чистоте и красоте почерка: «славно написано», сказал он, «не нужно и переписывать. Ещё и каёмка вокруг! кто это так искусно сделал каёмку?»

«Ну, уж не спрашивайте», сказал Манилов.

«Вы?»

«Жена».

«Ах, боже мой! мне, право, совестно, что нанёс столько затруднений».

«Для Павла Ивановича не существует затруднений».

Чичиков поклонился с признательностью. Узнавши, что он шёл в палату за совершением кунчей, Манилов изъявил готовность ему сопутствовать. Приятели взялись под руку и пошли вместе. При всяком и большом возвышении, или горке, или ступеньке, Манилов поддерживал Чичикова и почти приподнимал его рукою, присовокупляя с приятною улыбкою, что он не допустит никак Павла Ивановича зашибить свои ножки. Чичиков не совестился, не зная, как благодарить, ибо чувствовал, что не сколько был тяжелемок. В подобных взаимных услугах они дошли наконец до площади, где находились присутственные места: большой трёхэтажный каменный дом, весь белый, как мел, вероятно, для изображения чистоты душ помещавшихся в нём должностей; прочие здания на площади не отвечали огромности каменному дому. Это были: караульная будка, у которой стоял солдат с ружьём, две-три извозничьи биржи и, наконец, длинные заборы с известными заборными надписями и рисунками, нацарапанными углем и мелом; более не находилось ничего на сей уединённой, или, как у нас выражаются, красивой площади. Из окон второго и третьего этажа высывались неподкупные головы жрецов Фемиды¹ и в ту ж минуту прятались опять, — вероятно, в то время входил в комнату начальник. Приятели не возмужали, а взбежали по лестнице, потому что Чичиков, стараясь избежать поддерживанья под руки со стороны Манилова, ускорял шаг, а Манилов тоже, с своей стороны, летел вперёд, стараясь не позволить Чичикову устать, и потому оба запыхались весьма сильно, когда вступили в тёмный коридор. Ни в коридорах, ни в комнатах взор их не был поражён чистотою. Тогда ещё

¹ Феміда — в греческой мифологии богиня правосудия; жрецы Фемиды — судьи.

не заботились о ней: и то, что было грязно, так и оставалось грязным, не принимая привлекательной наружности. Фемида просто, какова есть, в пеглиже и халате принимала гостей. Следовало бы описать канцелярские комнаты, которыми проходили наши герои, но автор питает сильную робость ко всем присутственным местам. Если и случалось ему проходить их даже в блистательном и облагороженном виде с лакированными полами и столами, он старался пробежать как можно скорее, смиренно опустив и потупив глаза в землю, а потому совершенно не знает, как там всё благоденствует и процветает. Герои наши видели много бумаг и черновой и белой, наклонившиеся головы, широкие затылки, фраки, сюртуки губернского покроя и даже просто какую-то светло-серую куртку, отделившуюся весьма резко, которая, своротив голову набок и положив её почти на самую бумагу, выписывала бойко и замашисто какой-нибудь протокол об оттягании земли... да слышались урывками короткие выражения, произносимые хриплым голосом: «Одолжите, Федосей Федосеевич, дельце за № 368!» «Вы всегда куда-нибудь затащите пробку с казённой чернильницы!» Иногда голос более величавый, без сомнения, одного из начальников, раздавался повелительно: «На, перепиши! а не то снимут сапоги и просидишь ты у меня шесть суток не евши». Шум от перьев был большой и походил на то, как будто бы несколько телег с хвостом проезжали лес, заваленный на четверть аршина иссохшими листьями.

Чичиков и Манилов подошли к первому столу, где сидели два чиновника ещё юных лет, и спросили: «Позвольте узнать, где здесь дела по крепостям?»

«А что вам нужно?» сказали оба чиновника, оборотившись.

«А мне нужно подать просьбу».

«А вы что купили такое?»

«Я бы хотел прежде знать, где крепостной стол, здесь или в другом месте?»

«Да скажите прежде, что купили и в какую цену, так мы вам тогда и скажем где, а так нельзя знать».

Чичиков тотчас увидел, что чиновники были просто любопытны, подобно всем молодым чиновникам, и хотели придать более весу и значения себе и своим занятиям.

«Послушайте, любезные», сказал он: «я очень хорошо знаю, что все дела по крепостям, в какую бы ни было цену, находятся в одном месте, а потому прошу вас показать нам стол, а если вы не знаете, что у вас делается, так мы спросим у других». Чиновники на это ничего не отвечали, один из них только тыкнул пальцем в угол комнаты, где сидел за столом какой-то старик, перемечавший какие-то бумаги. Чичиков и Манилов прошли промеж столами прямо к нему. Старик занимался очень внимательно.

«Позвольте узнать», сказал Чичиков с поклоном: «здесь дела по крепостям?»

Старик поднял глаза и произнёс с расстановкою: «Здесь нет дел по крепостям».

«А где же?»

«Это в крепостной экспедиции».

«А где же крепостная экспедиция?»

«Это у Ивана Антоновича».

«А где же Иван Антонович?»

Старик тыкнул пальцем в другой угол комнаты. Чичиков и Манилов отправились к Ивану Антоновичу. Иван Антонович уже запустил один глаз назад и оглянул их искоса, но в ту же минуту погрузился ещё внимательнее в писание.

«Позвольте узнать», сказал Чичиков с поклоном: «здесь крепостной стол?»

Иван Антонович как будто бы и не слышал и углубился совершенно в бумаги, не отвечая ничего. Видно было вдруг, что это был уже человек благоразумных лет, не то что молодой болтун и вертопляс. Иван Антонович, казалось, имел уже далеко за сорок лет; волос на нём был чёрный, густой; вся середина лица выступала в него вперёд и пошла в нос, словом, это было то лицо, которое называют в общежитии кувшинным рылом.

«Позвольте узнать, здесь крепостная экспедиция?» сказал Чичиков.

«Здесь», сказал Иван Антонович, поворотил своё кувшинное рыло и приложился опять писать.

«А у меня дело вот какое: куплены мною у разных владельцев здешнего уезда крестьяне на вывод: купчая есть, остаётся совершить».

«А продавцы налицо?»

«Некоторые здесь, а от других доверенность».

«А просьбу принесли?»

«Принёс и просьбу. Я бы хотел... мне нужно поторопиться... так нельзя ли, например, кончить дело сегодня?»

«Да, сегодня! сегодня нельзя», сказал Иван Антонович. «Нужно навести ещё справки, нет ли ещё запрещений».

«Впрочем, что до того, чтоб ускорить дело, так Иван Григорьевич, председатель, мне большой друг...»

«Да ведь Иван Григорьевич не один; бывают и другие», сказал сурово Иван Антонович.

Чичиков понял заковыку, которую завернул Иван Антонович, и сказал: «Другие тоже не будут в обиде, я сам служил, дело знаю...»

«Идите к Ивану Григорьевичу», сказал Иван Антонович голосом несколько поласковее: «пусть он даст приказ, кому следует, а за нами дело не постоит».

Чичиков, вынув из кармана бумажку, положил её перед Иваном Антоновичем, которую тот совершенно не заметил, и накрыл тотчас её книгою. Чичиков хотел было указать ему её, но Иван Антонович движением головы дал знать, что не нужно показывать.

«Вот, он вас проведёт в присутствие!» сказал Иван Антонович, кивнув головою, и один из священнодействующих, тут же находившихся, приносивший с таким усердием жертвы Фемиде, что оба рукава лопнули на локтях и давно лезла оттуда подкладка, за что и получил в своё время коллежского регистратора, прислужился нашим приятелям, как некогда *Виргилий* прислужился *Данту*¹, и провёл их в комнату присутствия, где стояли одни только широкие кресла и в них перед столом за зеркалом и двумя толстыми книгами сидел один, как солнце, председатель. В этом месте новый *Виргилий* почувствовал такое благоговение, что никак не осмелился занести туда ногу и поворотил назад, показав свою спину, вытертую, как рогожка, с прилипнувшим где-то куриным пером. Вошедши в залу присутствия, они увидели, что председатель был не один, подле него сидел *Собакевич*, совершенно заслонённый зеркалом. Приход гостей произвёл восклицание, правительственные кресла были отодвинуты с шумом. *Собакевич* тоже привстал со стула и стал виден со всех сторон с длинными своими руками. Председатель принял *Чичикова* в объятия, и комната присутствия огласилась поцелуями; спросили друг друга о здоровье; оказалось, что у обоих побаливает поясница, что тут же было отнесено к сидячей жизни. Председатель, казалось, уже был уведомлён *Собакевичем* о покупке, потому что принялся поздравлять, что сначала несколько было смешало нашего героя, особенно когда он увидел, что и *Собакевич* и *Манилов*, оба продавцы, с которыми дело было улажено келейно, теперь стояли вместе лицом друг к другу. Однако же он поблагодарил председателя и, обратившись тут же к *Собакевичу*, спросил:

«А ваше как здоровье?»

«Слава богу, не пожалуюсь», сказал *Собакевич*.

И точно, не на что было жаловаться: скорее железо могло простудиться и кашлять, чем этот на диво сформированный помещик.

«Да вы всегда славились здоровьем», сказал председатель: «и покойный ваш батюшка был также крепкий человек».

«Да, на медведя один хаживал», отвечал *Собакевич*.

«Мне кажется, однако ж», сказал председатель: «вы бы тоже повалили медведя, если бы захотели выйти против него».

«Нет, не повалою», отвечал *Собакевич*: «покойник был меня крепче», и, вздохнувши, продолжал: «Нет, теперь не те люди, вот хоть и моя жизнь, что за жизнь? так как-то себе...»

«Чем же ваша жизнь не красна?» сказал председатель.

«Нехорошо, нехорошо», сказал *Собакевич*, покачав головою. «Вы посудите, *Иван Григорьевич*: пятый десяток живу, ни разу не был болен; хоть горло заболело, вередили чирей выскочил...

¹ *Виргиллий* (*Вергиллий*) — знаменитый римский поэт; *Данте* — величайший древнеитальянский поэт, автор «Божественной комедии».

Нет, не к добру! когда-нибудь придётся поплатиться за это». Тут Собакевич погрузился в меланхолию.

«Эк его!» подумали в одно время и Чичиков и председатель, «на что вздумал пенять!»

«К вам у меня есть письмецо», сказал Чичиков, вынув из кармана письмо Плюшкина.

«От кого?» сказал председатель и, распечатавши, воскликнул: «А! от Плюшкина. Он ещё до сих пор прозябает на свете! Вот судьба, ведь какой был умнейший, богатейший человек! а теперь...»

«Собака», сказал Собакевич: «мошенник, всех людей переморил голодом».

«Извольте, извольте», сказал председатель, прочитав письмо: «я готов быть поверенным. Когда вы хотите совершить купчую, теперь или после?»

«Теперь», сказал Чичиков; «я буду просить даже вас, если можно, сегодня, потому что мне завтра хотелось бы выехать из города: я принёс и крепости и просьбу».

«Всё это хорошо, только уж как хотите, мы вас не выпустим так рано. Крепости будут совершены сегодня, а вы всё-таки с нами поживите. Вот я сейчас отдам приказ», сказал он и отворил дверь в канцелярскую комнату, всю наполненную чиновниками, которые уподобились трудолюбивым пчёлам, рассыпавшимся по сотам, если только соты можно уподобить канцелярским делам: «Иван Антонович здесь?»

«Здесь», отозвался голос изнутри.

«Позовите его сюда!»

Уже известный читателям Иван Антонович кувшинное рыло показался в зале присутствия и почтительно поклонился.

«Вот возьмите, Иван Антонович, все эти крепости...»

«Да не позабудьте, Иван Григорьевич», подхватил Собакевич: «нужно будет свидетелей, хотя по два с каждой стороны. Пошлите теперь же к прокурору, он человек праздный и, верно, сидит дома, за него всё делает стряпчий Золотуха, первейший хапуга в мире. Инспектор врачебной управы, он также человек праздный, и, верно, дома, если не поехал куда-нибудь играть в карты, да ещё тут много есть, кто поближе, Трухачевский, Бегушкин, они все даром бременят землю!»

«Именно, именно!» сказал председатель и тот же час отрядил за ними всеми канцелярского.

«Ещё я попрошу вас», сказал Чичиков: «пошлите за поверенным одной помещицы, с которой я тоже совершил сделку, сыном протопопа отца Кирила; он служит у вас же».

«Как же, пошлём и за ним!» сказал председатель: «всё будет сделано, а чиновным вы никому не давайте ничего, об этом я вас прошу. Приятели мои не должны платить». Сказавши это, он тут же дал какое-то приказание Ивану Антоновичу, как видно, ему не понравившееся. Крепости произвели, кажется, хорошее дей-

стве на председателя, особенно, когда он увидел, что всех покупателей было почти на сто тысяч рублей. Несколько минут он смотрел в глаза Чичикову с выражением большого удовольствия и наконец сказал: «Так вот как! Этаким-то образом, Павел Иванович! так вот вы приобрели».

«Приобрёл», отвечал Чичиков.

«Благое дело, право, благое дело!»

«Да я вижу сам, что более благого дела не мог бы предпринять. Как бы то ни было, цель человека всё ещё не определена, если он не стал наконец твёрдой стопой на прочное основание, а не на какую-нибудь вольнодумную химеру юности». Тут он весьма кстати выбранил за либерализм, и поделом, всех молодых людей. Но замечательно, что в словах его была всё какая-то неувёрность, как будто бы тут же сказал он сам себе: «Эх, брат, врешь ты, да ещё и сильно!» Он даже не взглянул на Собакевича и Манилова из боязни встретить что-нибудь на их лицах. Но напрасно боялся он: лицо Собакевича не шевельнулось, а Манилов, обворожённый фразой, от удовольствия только потряхивал одобрительно головою, погружаясь в такое положение, в каком находится любитель музыки, когда певица перещеголяла самую скрипку и пискнула такую тонкую ноту, какая невмочь и птичьему горлу.

«Да, что ж вы не скажете Ивану Григорьевичу», отозвался Собакевич: «что такое именно вы приобрели; а вы, Иван Григорьевич, что вы не спросите, какое приобретение они сделали? Ведь какой народ! просто золото. Ведь я им продал и каретника Михеева».

«Нет, будто и Михеева продали?» сказал председатель. «Я знаю каретника Михеева: славный мастер; он мне дрожки переделал. Только позвольте, как же... Ведь вы мне сказывали, что он умер...»

«Кто, Михеев умер?» сказал Собакевич, ничуть не смешавшись. «Это его брат умер, а он преживёхонький и стал здоровее прежнего. На днях такую бричку наладил, что и в Москве не сделать. Ему, по-настоящему, только на одного государя и работать».

«Да, Михеев славный мастер», сказал председатель: «и я дивлюсь даже, как вы могли с ним расстаться».

«Да будто один Михеев! А Пробка Степан, плотник, Милушкин, кирпичник, Телятников Максим, сапожник,—ведь все пошли, всех продал». А когда председатель спросил, зачем же они пошли, будучи людьми необходимыми для дому и мастеровыми, Собакевич отвечал, махнув рукой: «А! так просто нашла дурь: дай, говорю, продам, да и продал сдуру!» Засим он повесил голову так, как будто сам раскаивался в этом деле, и прибавил: «Вот и седой человек, а до сих пор не набрался ума».

«Но, позвольте, Павел Иванович», сказал председатель: «как же вы покупаете крестьян без земли? разве на вывод?»

«На вывод».

«Ну, на вывод другое дело. А в какие места?»

«В места... в Херсонскую губернию».

«О, там отличные земли, не заселено только», сказал председатель и отозвался с большою похвалой насчёт рослости тамошних трав.

«А земли в достаточном количестве?»

«В достаточном, столько, сколько нужно для купленных крестьян».

«Река или пруд?»

«Река. Впрочем, и пруд есть». Сказав это, Чичиков взглянул ненароком на Собакевича, и хотя Собакевич был по-прежнему неподвижен, но ему казалось, будто бы было написано на лице его: «Ой, врешь ты! вряд ли есть река и пруд, да и вся земля!»

Пока продолжались разговоры, начали мало-помалу появляться свидетели: знакомый читателю прокурор-моргун, инспектор врачебной управы, Грухачевский, Бегушкин и прочие, по словам Собакевича, даром бременящие землю. Многие из них были совсем незнакомы Чичикову; недостававшие и лишние набраны были тут же из палатских чиновников. Привели также не только сына протопопа отца Кирилла, но даже и самого протопопа. Каждый из свидетелей поместил себя со всеми своими достоинствами и чинами, кто оборотным шрифтом, кто косяками, кто, просто, чуть не вверх ногами, помещая такие буквы, каких даже и не видно было в русском алфавите. Известный Иван Антонович упревался весьма проворно, крепости были записаны, помечены, занесены в книгу и куда следует, с принятием полупроцентовых и за припечатку в Ведомостях, и Чичикову пришлось заплатить самую малость. Даже председатель дал приказание из пошлинных денег взять с него только половину, а другая неизвестно каким образом отнесена была на счёт какого-то другого просителя.

«Итак», сказал председатель, когда всё было кончено: «остается теперь только вспрыснуть покупочку».

«Я готов», сказал Чичиков. «От вас зависит только назначить время. Был бы грех с моей стороны, если бы для эдакого приятного общества да не раскупорить другую-третью бутылочку шипучего».

«Нет, вы не так приняли дело: шипучего мы сами поставим», сказал председатель: «это наша обязанность, наш долг. Вы у нас гость: нам должно угощать. Знаете ли что, господа! Покамест что, а мы вот как сделаем: отправимтесь-ка все, так, как есть, к полицмейстеру; он у нас чудотворец: ему стоит только мигнуть, проходя мимо рыбного ряда или погреба, так мы, знаете ли, как закусим! да при этой okazji и в вистишку».

От такого предложения никто не мог отказаться. Свидетели уже при одном наименовании рыбного ряда почувствовали аппетит; взялись все тот же час за картузы и шапки, и присутствие кончилось. Когда проходили они канцелярию, Иван Антонович

куштинное рыло, учтиво поклонившись, сказал потихоньку Чичикову: «Крестьян накупили на сто тысяч, а за труды дали только одну беленькую¹».

«Да ведь какие крестьяне», отвечал ему на это тоже шёпотом Чичиков, «препустой и преничтожный народ, и половины не стоит». Иван Антонович понял, что посетитель был характера твёрдого и больше не даст.

«А почём купили душу у Плюшкина?» шепнул ему на другое ухо Собакевич.

«А Воробья зачем приписали?» сказал ему в ответ на это Чичиков.

«Какого Воробья?» сказал Собакевич.

«Да бабу, Елизавету Воробья, ещё и букву ъ поставили на конце».

«Нет, никакого Воробья я не приписывал», сказал Собакевич и отошёл к другим гостям.

Гости добрались наконец гурьбой к дому полицеймейстера. Полицеймейстер, точно, был чудотворен: как только услышал он, в чём дело, в ту же минуту кликнул квартального, бойкого малюго в лакированных ботфоргах, и, кажется, всего два слова шепнул ему на ухо, да прибавил только: «понимаешь!», а уж там в другой комнате в продолжение того времени как гости резались в вист, появилась на столе белуга, осетры, сёмга, икра паюсная, икра свежепросольная, селёдки, севрюжки, сыры, копчёные языки и балыки, это всё было со стороны рыбного ряда. Потом появились прибавления с хозяйской стороны, изделия кухни: пирог с головизною, куда вошли хрящ и щёки девятипудового осетра, другой пирог с груздями, пряженцы, масляницы, взваренцы. Полицеймейстер был некоторым образом отец и благодетель в городе. Он был среди граждан совершенно как в родной семье, а в лавки и в гостиный двор наведывался, как в собственную кладовую. Вообще он сидел, как говорится, на своём месте и должность свою постигнул в совершенстве. Трудно было даже и решить, он ли был создан для места или место для него. Дело было так поведено умно, что он получал вдвое больше доходов противу всех своих предшественников, а между тем заслужил любовь всего города. Купцы первые его очень любили, именно за то, что не горд; и точно, он крестил у них детей, кумился с ними и хогь драг подчас с них сильно, но как-то чрезвычайно ловко: и по плечу потреплет, и засмеётся, и чаем напойт, пообещается и сам прийти поиграть в шашки, расспросит обо всём: как делишки, что и как. Если узнает, что детёныш как-нибудь прихворнул, и лекарство присоветует, словом, молодец! Поседет на дрожках, даст порядок, а между тем и словцо промолвит тому-другому: «Что, Михеич! нужно бы нам с тобою доиграть когда-нибудь в горку». — «Да, Алексей Иванович», отвечал тот, снимая шапку: «нужно бы». — «Ну, брат, Илья Парамоныч, приходи ко мне по»

¹ Бёленькая — так в просторечии называлась ассигнация в 25 рублей.

глядеть рысака: в обгон с твоим пойдёт, да и своего заложит в беговые; попробуем». Купец, который на рысак был помещан, улыбался на это с особенною, как говорится, охотою и, поглаживая бороду, говорил: «Попробуем, Алексей Иванович!» Даже все сидельцы, обыкновенно в это время снявши шапки, с удовольствием посматривали друг на друга и как будто бы хотели сказать: «Алексей Иванович хороший человек!» Словом, он успел приобрести совершенную народность, и мнение купцов было такое, что Алексей Иванович «хоть оно и возьмёт, но зато уж никак тебя не выдаст».

Заметив, что закуска была готова, полицеймейстер предложил гостям окончить вист после завтрака, и все пошли в ту комнату, откуда нёсшийся запах давно начинал приятным образом щекотать ноздри гостей и куда уже Собакевич давно заглядывал в дверь, наметив издали осетра, лежащего в сторонке на большом блюде. Гости, выпивши по рюмке водки тёмного оливкового цвета, какой бывает только на сибирских прозрачных камнях, из которых режут на Руси печати, приступили со всех сторон с вилками к столу и стали обнаруживать, как говорится, каждый свой характер и склонности, налегая кто на икру, кто на сёмгу, кто на сыр. Собакевич, оставив без всякого внимания все эти мелочи, пристроился к осетру и, покамест те пили, разговаривали и ели, он в четверть часа с небольшим доехал его всего, так что когда полицеймейстер вспомнил было о нём и, сказавши: «а каково вам, господа, покажется вот это произведение природы?», подошёл было к нему с вилокю вместе с другими, то увидел, что от произведения природы оставался всего один хвост; а Собакевич пришипился так, как будто и не он, и, подошедши к тарелке, которая была подалее прочих, тыкал вилокю в какую-то сушёную, маленькую рыбку. Отделавши осетра, Собакевич сел в кресла и уж более не ел, не пил, а только жмурил и хлопал глазами. Полицеймейстер, кажется, не любил жалеть вина; тостам не было числа. Первый тост был выпит, как читатели, может быть, и сами догадаются, за здоровье нового херсонского помещика, потом за благоденствие крестьян его и счастливое их переселение, потом за здоровье будущей жены его красавицы, что сорвало приятную улыбку с уст нашего героя. Приступили к нему со всех сторон и стали упрашивать убедительно остаться хоть на две недели в городе: «Нет, Павел Иванович! как вы себе хотите, это выходит избу только выхолаживать: на порог да и назад! нет, вы проведите время с нами! Вот мы вас женим: не правда ли, Иван Григорьевич, женим его?»

«Женим, женим!» подхватил председатель. «Уж как ни упирайтесь руками и ногами, мы вас женим! Нет, батюшка, попали сюда, так не жалуйтесь. Мы шутить не любим».

«Что ж? зачем упираться руками и ногами», сказал, усмехнувшись, Чичиков: «женитьба ещё не такая вещь, чтобы того, была бы невеста».

«Будет и невеста, как не быть, всё будет, всё, что хотите!..»
«А коли будет...»

«Браво, остаётся!» закричали все: «виват, ура, Павел Иванович! ура!» И все подошли к нему чокаться с бокалами в руках. Чичиков перечекался со всеми. «Нет, нет, ещё!» говорили те, которые были позадорнее, и вновь перечекались; потом полезли в третий раз чокаться, перечекались и в третий раз. В непродолжительное время всем сделалось весело необыкновенно. Председатель, который был премилый чиловек, когда развеселялся, обнимал несколько раз Чичикова, произнеся в излиянии сердечном: «Душа ты моя! маменька моя!» и даже, щёлкнув пальцами, пошёл приплясывать вокруг него, припевая известную песню: «Ах ты такой и эдакой камаринский мужик». После шампанского раскупорили венгерское, которое придало ещё более духу и развеселило общество. Об висте решительно позабыли; спорили, кричали, говорили обо всём: об политике, об военном даже деле, излагали вольные мысли, за которые в другое время сами бы высекли своих детей. Решили тут же множество самых затруднительных вопросов. Чичиков никогда не чувствовал себя в таком весёлом расположении, воображал себя уже настоящим херсонским помещиком, говорил об разных улучшениях: о трехпольном хозяйстве, о счастье и блаженстве двух душ, и стал читать Собакевичу послание в стихах Вертера к Шарлотте, на которое тот хлопал только глазами, сидя в креслах, ибо после осетра чувствовал большой позыв ко сну. Чичиков смекнул и сам, что начал уже слишком развязываться, попросил экипажа и воспользовался прокурорскими дрожками. Прокурорский кучер, как оказалось в дороге, был малый опытный, потому что правил одной только рукой, а другою, засунув назад, придерживал ею барина. Таким образом уже на прокурорских дрожках доехал он к себе в гостиницу, где долго ещё у него вертелся на языке всякий вздор: белокурая невеста с румянцем и ямочкой на правой щеке, херсонские деревни, капиталы. Селифану даже были даны кое-какие хозяйственные приказания собрать всех вновь переселившихся мужиков, чтобы сделать всем лично поголовную перекличку. Селифан молча слушал очень долго и потом вышел из комнаты, сказавши Петрушке: «ступай раздевать барина!» Петрушка принялся снимать с него сапоги и чуть не стащил вместе с ними на пол и самого барина. Но наконец сапоги были сняты, барин разделся как следует и, поворочавшись несколько времени на постели, которая скрипела немилосердно, заснул решительно херсонским помещиком. А Петрушка между тем вынес на коридор панталоны и фрак брусничного цвета с искрой, который, растопыривши на деревянную вешалку, начал бить хлыстом и щёткой, напустивши пыли на весь коридор. Готовясь уже снять их, он взглянул с галереи вниз и увидел Селифана, возвращавшегося из конюшни. Они встретились взглядами и чутьём поняли друг друга: барин-де завалился спать, можно и заглянуть кое-куда. Тот же час, отнеся

в комнату фрак и панталоны, Петрушка сошёл вниз, и оба пошли вместе, не говоря друг другу ничего о цели путешествия и балагурия дорогою совершенно о постороннем. Прогулку сделали они недалёкую: именно перешли только на другую сторону улицы, к дому, бывшему насупротив гостиницы, и вошли в низенькую, стеклянную, закоптившуюся дверь, приводившую почти в подвал, где уже сидело за деревянными столами много всяких: и бривших и не бривших бороды, и в нагольных тулупах, и просто в рубахе, а кое-кто и во фризовой шинели. Что делали там Петрушка с Селифаном, бог их ведает, но вышли они оттуда через час, взявшись за руки, сохраняя совершенное молчание, оказывая друг другу большое внимание и предостерегая взаимно от всяких углов. Рука в руку, не выпуская друг друга, они целые четверть часа взбирались на лестницу, наконец одолели её и вошли. Петрушка остановился с минуту перед низенькою своею кроватью, придумывая, как бы лечь приличнее, и лёг совершенно поперёк, так что ноги его упирались в пол. Селифан лёг и сам на той же кровати, поместив голову у Петрушки на брюхе и позабыв о том, что ему следовало спать вовсе не здесь, а может быть, в людской, если не в конюшне близ лошадей. Оба заснули в ту же минуту, поднявши храп неслыханной густоты, на который барин из другой комнаты отвечал тонким носовым свистом. Скоро вслед за ними всё утомонилось, и гостиница объялась непробудным сном; только в одном окошечке виден ещё был свет, где жил какой-то приехавший из Рязани поручик, большой, по-видимому, охотник до сапогов, потому что заказал уже четыре пары и беспрестанно примеривал пятую. Несколько раз подходил он к постели с тем, чтобы их скинуть и лечь, но никак не мог: сапоги, точно были хорошо сшиты, и долго ещё поднимал он ногу и обсматривал бойко и на диво стачанный каблук.

ГЛАВА VIII

...Жители города и без того, как уже мы видели в первой главе, душевно полюбили Чичикова, а теперь после таких слухов полюбили ещё душевнее. Впрочем, если сказать правду, они все были народ добрый, жили между собою в ладу, обращались совершенно по-приятельски, и беседы их носили печать какого-то особенного простодушия и короткости: «любезный друг, Илья Ильич!.. послушай, брат, Антипатор Захарьевич!.. Ты заврался, мамочка, Иван Григорьевич». К почтмейстеру, которого звали Иван Андреевич, всегда прибавляли: шпрехен зи дейч, Иван Андреич? словом, всё было очень семейственно. Многие были не без образования: председатель палаты знал наизусть Людмилу Жуковского, которая ещё была тогда непростышею новостью, и мастерски читал многие места, особенно: «Бор заснул, долина спит», и слово «чу!» так, что в самом деле виделось, как будто долина спит; для большего сходства, он даже в это время зажму-

ривал глаза. Почтмейстер вдавался более в философию и читал весьма прилежно, даже по почтам, Юнговы «Ночи» и «Ключ к таинствам природы» Эккартсгаузена, из которых делал весьма длинные выписки по целым листам, но в чём состояли эти выписки и какого рода они были, это никому не было известно. Впрочем, он был остряк, цветист в словах и любил, как сам выражался, уснащать речь. А уснащивал он речь множеством разных частиц, как-то: «сударь ты мой, эдакой какой-нибудь, знаете, понимаете, можете себе представить, относительно, так сказать, некоторым образом», и прочими, которые сыпал он мешками; уснащивал он речь тоже довольно удачно подмаргиванием, прищуриванием одного глаза, что всё придавало весьма едкое выражение многим его сатирическим намёкам. Прочие тоже были, более или менее, люди просвещённые: кто читал Карамзина, кто «Московские Ведомости», кто даже и совсем ничего не читал. Кто был то, что называют тюрюк, то есть человек, которого нужно было подымать пинком на что-нибудь; кто был просто байбак, лежавший, как говорится, весь век на боку, которого даже напрасно было подымать: не встанет ни в каком случае. Насчёт благовидности, уже известно, все они были люди надёжные, чахоточного между ними никого не было. Все были такого рода, которым жёны в нежных разговорах, проходящих в уединении, давали названия: кубышки, толстунчика, пузантика, чернушки, кики, жужу и проч. Но вообще они были паред добрый, полны гостеприимства, и человек, вкусивший с ними хлеба-соли или просидевший вечер за вистом, уже становился чем-то близким, тем более Чичиков с своими обворожительными качествами и приёмами, знавший в самом деле великую тайну нравиться. Они так полюбили его, что он не видел средств, как вырваться из города, только и слышал он: ну недельку, ещё одну недельку поживите с нами, Павел Иванович! словом, он был носим, как говорится, на руках. Но несравненно замечательнее было впечатление (совершенный предмет изумления!), которое произвёл Чичиков на дам. Чтоб это сколько-нибудь изъяснить, следовало бы сказать многое о самих дамах, об их обществе, описать, как говорится, живыми красками их душевные качества; но для автора это очень трудно. С одной стороны, останавливает его неограниченное почтение к супругам сановников, а с другой стороны... с другой стороны, просто трудно. Дамы города N были... нет, никаким образом не могу: чувствуется, точно, робость. В дамах города N больше всего замечательно было то... Даже странно, совсем не подымается перо, точно будто свинец какой-нибудь сидит в нём...

...Всё было устремлено на приготовление к балу; ибо, точно, было много побудительных и задирающих причин. Зато, может быть, от самого создания света не было употреблено столько времени на туалет. Целый час был посвящён только на одно рассматривание лица в зеркале. Пробовалось сообщить ему множество разных выражений: то важное и степенное, то почтительное, по

с не
шес
ных
Чич
прия
что
оди
что
себя
одев
всё
он Р
нико
VELO
со ст
Г
Всё,
в ру
«а н
земс
к на
вич!
нови
Вот
Ива
его
...
неож
зыва
и да
из по
небо
чем
толь
рора
что
бров
ског
симо
без
реш
мест
пред
нуло
наш
в сп
ская
шёл

с некоторою улыбкою, то просто почтительное без улыбки; отпущено было в зеркало несколько поклонов в сопровождении неясных звуков, отчасти похожих на французские, хотя по-французски Чичиков не знал вовсе. Он сделал даже самому себе множество приятных сюрпризов, подмигнул бровью и губами и сделал кое-что даже языком; словом, мало ли чего не делаешь, оставшись один, чувствуя притом, что хорош, да к тому же будучи уверен, что никто не заглядывает в щёлку. Наконец он слегка трепнул себя по подбородку, сказавши: ах ты мордашка эдакой! и стал одеваться. Самое довольное расположение сопровождало его во всё время одевания: надевая подтяжки или повязывая галстук, он расшаркивался и кланялся с особенною ловкостью, и хотя никогда не танцевал, но сделал антраша. Это антраша произвело маленькое невинное следствие: задрожал комод, и упала со стола щётка.

Появление его на бале произвело необыкновенное действие. Всё, что ни было, обратилось к нему навстречу, кто с картами в руках, кто на самом интересном пункте разговора, произнёсши: «а нижний земский суд отвечает на это...», но что такое отвечает земский суд, уж это он бросил в сторону и спешил с приветствием к нашему герою. «Павел Иванович! Ах, боже мой, Павел Иванович! Любезнейший Павел Иванович! Почтеннейший Павел Иванович! Душа моя Павел Иванович! Вот вы где, Павел Иванович! Вот он, наш Павел Иванович! Позвольте прижать вас, Павел Иванович! Давайте-ка его сюда, вот я его поцелую покрепче, моего дорогого Павла Ивановича!..»

...А между тем герою нашему готовилась пренеприятнейшая неожиданность: в то время, когда блондинка зевала, а он рассказывал ей кое-какие в разные времена случившиеся историйки и даже коснулся было греческого философа Диогена, показался и даже коснулся было греческого философа Диогена, показался из последней комнаты Ноздрёв. Из буфета ли он вырвался, или из небольшой зелёной гостиной, где производилась игра посильнее, чем в обыкновенный вист, своей ли волею, или вытолкали его, только он явился весёлый, радостный, ухвативши под руку прокурора, которого, вероятно, уже таскал несколько времени, потому что бедный прокурор поворачивал на все стороны свои густые брови, как бы придумывая средство выбраться из этого дружеского подручного путешествия. В самом деле, оно было невыносимо. Ноздрёв, захлебнув куражу в двух чашках чаю, конечно, не без рома, врал немилосердно. Завидев ещё издали его, Чичиков решил даже на пожертвование, то есть оставить своё завидное место и сколько можно поспешнее удалиться; ничего хорошего не предвещала ему эта встреча. Но как на беду, в это время подвернулся губернатор, изъявивший необыкновенную радость, что нашёл Павла Ивановича, и остановил его, прося быть суднёю в споре его с двумя дамами насчёт того, продолжительна ли женская любовь, или нет; а между тем Ноздрёв уже увидал его и шёл прямо навстречу.

«А, херсонский помещик, херсонский помещик!» кричал он, подходя и заливаясь смехом, от которого дрожали его свежие, румяные, как весенняя роза, щёки, «что? много наторговал мёртвых? Ведь вы не знаете, ваше превосходительство», горланил он тут же, обратившись к губернатору: «он торгует мёртвыми душами! Ей-богу! Послушай, Чичиков! ведь ты, я тебе говорю по дружбе, вот мы все здесь твои друзья, вот и его превосходительство здесь,— я бы тебя повесил, ей-богу, повесил!»

Чичиков просто не знал, где сидел.

«Поверите ли, ваше превосходительство», продолжал Ноздрёв: «Как сказал он мне: продай мёртвых душ, я так и лопнул со смеха. Приезжаю сюда, мне говорят, что накупил на три миллиона крестьян на вывод: каких на вывод! да он торговал у меня мёртвых. Послушай, Чичиков, да ты скотина, ей-богу, скотина, вот и его превосходительство здесь, не правда ли, прокурор?»

Но прокурор, и Чичиков, и сам губернатор пришли в такое замешательство, что не нашлись совершенно, что отвечать, а между тем Ноздрёв, нимало не обращая внимания, нёс полутрезвую речь: «Уж ты, брат, ты, ты... я не отойду от тебя, пока не узнаю, зачем ты покупал мёртвые души. Послушай, Чичиков, ведь тебе, право, стыдно, у тебя, ты сам знаешь, нет лучшего друга, как я. Вот и его превосходительство здесь, не правда ли, прокурор? Вы не поверите, ваше превосходительство, как мы друг к другу привязаны, то есть, просто если бы вы сказали, вот я тут стою, а вы бы сказали: «Ноздрёв! скажи по совести, кто тебе дороже, отец родной, или Чичиков? скажу: Чичиков, ей-богу... Позволь, душа, я тебе влеплю один безе. Уж вы позвольте, ваше превосходительство, поцеловать мне его. Да, Чичиков, уж ты не противься, одну безешку позволь напечатлеть тебе в белоснежную щёку твою!» Ноздрёв был так оттолкнут со своими безе, что чуть не полетел на землю: от него все отступились и не слушали больше; но всё же слова его о покупке мёртвых душ были произнесены во всю глотку и сопровождаемы таким громким смехом, что привлекли внимание даже тех, которые находились в самых дальних углах комнаты.

ГЛАВА IX

Поутру, ранее даже того времени, которое назначено в городе N для визитов, из дверей оранжевого деревянного дома с мезонином и голубыми колоннами выпорхнула дама в клетчатом щегольском клоке, сопровождаемая лакеем в шинели с несколькими воротниками и золотым галуном на круглой лощёной шляпе. Дама вспорхнула в тот же час с необыкновенною поспешностью по откинутым ступенькам в стоявшую у подъезда коляску. Лакей тут же захлопнул даму дверцами, закидал ступеньками и, ухватясь за ремни сзади коляски, закричал кучеру: «пошёл!» Дама везла только что услышанную новость и чувствовала побуждение непреодолимое скорее сообщить её. Всякую минуту выглядывала

она из окна и видела, к несказанной досаде, что всё ещё остаётся по дороге. Бсякий дом казался ей длиннее обыкновенного; белая каменная богадельня с узенькими окнами тянулась нестерпимо долго, так что она наконец не вытерпела не сказать: «Проклятое строение, и конца нет!» Кучер уже два раза получал приказание: «поскорее, поскорее, Андриюшка! ты сегодня несносно долго едешь!» Наконец цель была достигнута. Коляска остановилась перед деревянным же одноэтажным домом тёмно-серого цвета, с белыми деревянными барельефчиками над окнами, с высокою деревянною решёткою перед самыми окнами и узеньким палисадником, за решёткою которого находившиеся тоненькие деревца побелели от никогда не сходявшей с них городской пыли. В окнах мелькали горшки с цветами, попугай, качавшийся в клетке уцепясь носом за кольцо, и две собачонки, спавшие перед солнцем. В этом доме жила искренняя приятельница приехавшей дамы. Автор чрезвычайно затрудняется, как назвать ему обеих дам таким образом, чтобы опять не рассердились на него, как серживались встарь. Назвать выдуманною фамилиею опасно. Какое ни придумаешь имя, уж непременно найдётся в каком-нибудь углу нашего государства, благо велико, кто-нибудь носящий его, и непременно рассердится не на живот, а на смерть, станет говорить, что автор нарочно приезжал секретно с тем, чтобы выведать всё, что он такое сам и в каком тулупчике ходит, и к какой Аграфене Ивановне наведывается и что любит покушать. Назови же по чинам, боже сохрани, и того опасней. Теперь у нас все чины и сословия так раздражены, что всё, что ни есть в печатной книге, уже кажется им личностью: таково уж, видно, расположение в воздухе. Достаточно сказать только, что есть в одном городе глупый человек, это уже и личность: вдруг выскачит господин почтенной наружности и закричит: ведь я тоже человек, стало быть, я тоже глуп, словом, вмиг смекнёт, в чём дело. А потому, для избежания всего этого; будем называть даму, к которой приехала гостья, так, как она называлась почти единогласно в городе N, именно дамою приятною во всех отношениях. Это название она приобрела законным образом, ибо, точно, ничего не пожалела, чтобы сделаться любезною в последней степени. Хотя, конечно, сквозь любезность прокрадывалась ух какая юркая прыть женского характера! и хотя подчас в каждом приятном слове её торчала ух какая булавка! а уж не приведи бог, что кипело в сердце против той, которая бы пролезла как-нибудь и чем-нибудь в первые. Но всё это было облечено самою тонкою светскостью, какая только бывает в губернском городе. Всякое движение производила она со вкусом, даже любила стихи, даже иногда мечтательно умела держать голову, и все соглашались, что она, точно, дама приятная во всех отношениях. Другая же дама, то есть приехавшая, не имела такой многосторонности в характере, и потому будем называть её: просто приятная дама. Приезд гостьи разбудил собачонку, спавших на

солнце: мохнатую Адель, беспрестанно путавшуюся в собственной шерсти, и кобелька Попури на тоненьких ножках. Тот и другая с лаем понесли кольцами хвосты свои в переднюю, где гостья освобождалась от своего клокa и очутилась в платье модного узора и цвета и в длинных хвостах на шее; жасмины понесли по всей комнате. Едва только во всех отношениях приятная дама узнала о приезде просто приятной дамы, как уже выбежала в переднюю. Дамы ухватились за руки, поцеловались и вскрикнули, как вскрикивают институтки, встретившиеся вскоре после выпуска, когда маменьки ещё не успели объяснить им, что отец у одной бедней и ниже чином, нежели у другой. Поцелуй совершился звонко, потому что собачонки залаяли снова, за что были хлопнуты платком, и обе дамы отправились в гостиную, разумеется, голубую, с диваном, овальным столом и даже ширмочками, обвитыми плющом; вслед за ними побежали ворча мохнатая Адель и высокий Попури на тоненьких ножках. «Сюда, сюда, вот в этот уголок!» говорит хозяйка, усаживая гостью в угол дивана. «Вот так! вот так! вот вам и подушка!» Сказавши это, она запихнула её за спину подушку, на которой был вышит шерстью рыцарь таким образом, как их всегда вышивают по канве: нос вышел лестницею, а зубы четвероугольником. «Как же я рада, что вы... Я слышу, кто-то подъехал, да думаю себе, кто бы мог так рано. Параша говорит: вице-губернаторша, а я говорю: ну вот опять приехала дура надоедать, и уж хотела сказать, что меня нет дома».

Гостья уже хотела было приступить к делу и сообщить новость. Но восклицание, которое издала в это время дама приятная во всех отношениях, вдруг дало другое направление разговору.

«Какой весёленький ситец!» воскликнула во всех отношениях приятная дама, глядя на платье просто приятной дамы.

«Да, очень весёленький. Прасковья Фёдоровна, однако же, находит, что лучше, если бы клеточки были помельче, и чтобы не коричневые были крапинки, а голубые. Сестре её прислали материйку: это такое очарование, которого, просто, нельзя выразить словами; вообразите себе: полосочки узенькие, узенькие, какие только может представить воображение человеческое, фон голубой и через полоску всё глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки... Словом, бесподобно! Можно сказать решительно, что ничего ещё не было подобного на свете».

«Милая, это пестро».

«Ах, нет, не пестро!»

«Ах, пестро!»

Нужно заметить, что во всех отношениях приятная дама была отчасти материалистка, склонная к отрицанию и сомнению, и отвергала весьма многое в жизни.

Здесь просто приятная дама объяснила, что это отнюдь не пестро, и вскрикнула... «Да, поздравляю вас: оборок более не носят».

«Как не посят?»

«На место их фестончики!»

«Ах, это нехорошо, фестончики!»

«Фестончики, всё фестончики: пелеринка из фестончиков, на рукавах фестончики, эполетцы из фестончиков, внизу фестончики, везде фестончики».

«Нехорошо, Софья Ивановна, если всё фестончики».

«Мило, Анна Григорьевна, до невероятности, шьётся в два рубчика: широкие проймы и сверху... Но вот, вот когда вы изумитесь, вот уж когда скажете, что... Ну, изумляйтесь: вообразите, лифчики пошли ещё длиннее, впереди мыском и передняя косточка совсем выходит из границ; юбка вся собирается вокруг, как, бывало, в старину фижмы, даже сзади немножко подкладывают ваты, чтобы была совершенная бельфам».

«Ну уж это, просто: признаюсь!» сказала дама приятная во всех отношениях, сделавши движение головою с чувством достоинства.

«Именно это уж точно, признаюсь», отвечала просто приятная дама.

«Уж как вы хотите, я ни за что не стану подражать этому».

«Я сама тоже... Право, как вообразишь, до чего иногда доходит мода... ни на что не похоже! я выпросила у сестры выкройку нарочно для смеху: Меланья моя принялась шить».

«Так у вас разве есть выкройка?» вскрикнула во всех отношениях приятная дама не без заметного сердечного движения.

«Как же, сестра привезла».

«Душа моя, дайте её мне ради всего святого».

«Ах, я уж дала слово Прасковье Фёдоровне. Разве после неё».

«Кто же станет носить после Прасковьи Фёдоровны? Это уж слишком странно будет с вашей стороны, если вы чужих предпочтёте своим».

«Да ведь она тоже мне двоюродная тётка».

«Она вам тётка ещё бог знает какая: с мужниной стороны... Нет, Софья Ивановна, я и слышать не хочу, это выходит: вы мне хотите нанести такое оскорбление... видно, я вам наскучила уже, видно, вы хотите прекратить со мною всякое знакомство».

Бедная Софья Ивановна не знала совершенно, что ей делать. Она чувствовала сама, между каких сильных огней себя поставила. Вот тебе и похвасталась! Она бы готова была исколоть за это иголками глупый язык свой.

«Ну что ж наш прелестник?» сказала между тем дама приятная во всех отношениях.

«Ах, боже мой! что же я так сижу перед вами! вот хорошо! Ведь вы не знаете, Анна Григорьевна, с чем я приехала к вам?» Тут дыхание госты спёрлось, слова как ястребы готовы были пуститься в погоню одно за другим, и только нужно было до та-

кой степени быть бесчеловечной, какова была искренняя приятельница, чтобы решиться остановить её.

«Как вы ни выхваляйте и ни превозносите его», говорила она с живостью, более нежели обыкновенною: «а я скажу прямо, и ему в глаза скажу, что он негодный человек, негодный, негодный, негодный».

«Да послушайте только, что я вам открою...»

«Распустили слухи, что он хорош, а он совсем не хорош, совсем не хорош, и нос у него... самый неприятный нос».

«Позвольте же, позвольте же только рассказать вам... душенька, Анна Григорьевна, позвольте рассказать! Ведь это история, понимаете ли: история, сконансель истоар», говорила голосом. Не мешает заметить, что в разговор обеих дам вмешивалось очень много иностранных слов и целиком иногда длинные французские фразы. Но как ни исполнен автор благоговения к тем спасительным пользам, которые приносит французский язык России, как ни исполнен благоговения к похвальному обычаю нашего высшего общества, изъясняющегося на нём во все часы дня, конечно, из глубокого чувства любви к отчизне, но при всём том никак не решается внести фразу какого бы ни было чуждого языка в сию русскую свою поэму. Итак, станем продолжать по-русски.

«Какая же история?»

«Ах, жизнь моя, Анна Григорьевна, если бы вы могли только представить то положение, в котором я находилась, вообразите: приходит ко мне сегодня протопопша, протопопша, отца Кирилы жена, и что бы вы думали: наш-то смиренник, приезжий-то наш, каков, а?»

«Как, неужели он и протопопше строил куры?»

«Ах, Анна Григорьевна, пусть бы ещё куры, это бы ещё ничего; слушайте только, что рассказала протопопша: приехала, говорит, к ней помещица Коробочка, перепуганная и бледная, как смерть, и рассказывает, и как рассказывает, послушайте только, совершенный роман: вдруг в глухую полночь, когда всё уже спало в доме, раздаётся в ворота стук, ужаснейший, какой только можно себе представить; кричат: отворите, отворите, не то будут выломаны ворота!.. каково вам это покажется? Каков же после этого прелестник?»

«Да что Коробочка, разве молода и хороша собою?»

«Ничуть, старуха».

«Ах, прелести! Так он за старуху принялся. Ну, хорош же после этого вкус наших дам, нашли в кого влюбиться».

«Да, ведь нет, Анна Григорьевна, совсем не то, что вы полагаете. Вообразите себе только то, что является вооружённый с ног до головы вроде Ринальда Ринальдина и требует: продайте, говорит, все души, которые умерли. Коробочка отвечает очень резонно, говорит: я не могу продать, потому что они мёртвые. Нет,

говорит, они не мёртвые, это моё, говорит, дело знать, мёртвые ли они, или нет, они не мёртвые, не мёртвые, кричит, не мёртвые, словом, скандалязоу наделал ужасного: вся деревня сбежалась, ребёнки плачут, всё кричит, никто никого не понимает, ну, просто оррёр, оррёр, оррёр!.. Но вы себе представить не можете, Анна Григорьевна, как я перетревожилась, когда слышала всё это. «Голубушка барыня», говорит мне Машка: «посмотрите в зеркало: вы бледны». Не до зеркала, говорю, мне: я должна ехать рассказать Анне Григорьевне. В ту ж минуту приказываю заложить коляску; кучер Андрюшка спрашивает меня, куда ехать, а я ничего не могу и говорить, гляжу просто ему в глаза как дура: я думаю, что он подумал, что я сумасшедшая. Ах, Анна Григорьевна, если бы вы только могли себе представить, как я перетревожилась!»

«Это, однако же, странно», сказала во всех отношениях приятная дама: «что бы такое могли значить эти мёртвые души? Я, признаюсь, тут ровно ничего не понимаю. Вот уже во второй раз я всё слышу про эти мёртвые души; а муж мой ещё говорит, что Ноздрёв врёт: что-нибудь, верно же, есть».

«Но представьте же, Анна Григорьевна, каково моё было положение, когда я услышала это. «И теперь», говорит Коробочка: «я не знаю», говорит, «что мне делать. Заставил», говорит, «подписать меня какую-то фальшивую бумагу, бросил пятнадцать рублей ассигнациями, я», говорит, «неопытная, беспомощная вдова, я ничего не знаю...» Так вот происшествия! Но только если бы вы могли сколько-нибудь себе представить, как я вся перетревожилась».

«Но только, воля ваша, здесь не мёртвые души, здесь скрывается что-то другое».

«Я, признаюсь, тоже», произнесла не без удивления просто приятная дама и почувствовала тут же сильное желание узнать, что бы такое могло здесь скрываться. Она даже произнесла с расстановкой: «а что ж, вы полагаете, здесь скрывается?»

«Ну, а как вы думаете?»

«Как я думаю?.. Я, признаюсь, совершенно потрясена».

«Но, однако же, я бы всё хотела знать, какие ваши насчёт этого мысли?»

Но приятная дама ничего не нашлась сказать. Она умела только тревожиться, но, чтобы составить какое-нибудь смелливое предположение, для этого никак её не ставало, и оттого, более нежели всякая другая, она имела потребность в нежной дружбе и советах.

«Ну, слушайте же, что такое эти мёртвые души», сказала дама приятная во всех отношениях, и гостя при таких словах вся обратилась в слух: ушки её вытянулись сами собою, она приподнялась, почти не сидя и не держась на диване, и, несмотря на то, что была отчасти тяжеловата, сделалась вдруг тонее, стала похожа на лёгкий пух, который вот так и полетит на воздух от дуновения.

Так русский барин, собачей и ёра-охотник, подъезжая к лесу, из которого вот-вот выскочит оттопанный досзжачими заяц, обращается весь с своим конём и поднятым арапником в один застывший миг, в порох, к которому вот-вот поднесут огонь. Весь впился он очами в мутный воздух и уж настигнет зверя, уж допечёт его неотбойный, как ни воздымайся против него вся мятущая снеговая степь, пускающая серебряные звёзды ему в уста, в усы, в очи, в брови и в бобровую его шапку.

«Мёртвые души...» произнесла во всех отношениях приятная дама.

«Что, что?» подхватила гостя вся в волнении.

«Мёртвые души!..»

«Ах, говорите ради бога!»

«Это просто выдуманно только для прикрытия, а дело вот в чём: он хочет увести губернаторскую дочку».

Это заключение, точно, было никак неожиданно и во всех отношениях необыкновенно. Приятная дама, услышав это, так и окаменела на месте, побледнела, побледнела как смерть и, точно, перетревожилась не на шутку. «Ах, боже мой!» вскрикнула она, всплеснув руками: «уж я бы никак не могла предполагать».

«А я, признаюсь, как только вы открыли рот, я уже смекнула, в чём дело», отвечала дама приятная во всех отношениях.

«Но каково же после этого, Анна Григорьевна, институтское воспитание! ведь вот невинность!»

«Какая невинность! Я слышала, как она говорила такие речи, что, признаюсь, у меня не станет духа произнести их».

«Знаете, Анна Григорьевна, ведь это просто раздирает сердце, когда видишь, до чего достигла наконец безнравственность».

«А мужчины от неё без ума. А по мне, так я, признаюсь, ничего не нахожу в ней...»

«Манерна нестерпимо».

«Ах, жизнь моя, Анна Григорьевна; она статуя, и хоть бы какое-нибудь выражение в лице».

«Ах, как манерна! ах, как манерна! Боже, как манерна! Кто выучил её, я не знаю, но я ещё не видывала женщины, в которой бы было столько жеманства».

«Душенька! она статуя и бледна как смерть».

«Ах, не говорите, Софья Ивановна: румянится безбожно».

«Ах, что это вы, Анна Григорьевна: она мел, мел, чистейший мел».

«Милая, я сидела возле неё: румянец в палец толщиной и отваливается, как штукатурка, кусками. Мать выучила, сама кокетка, а дочка ещё превзойдёт матушку».

«Ну позвольте, ну положите сами клятву, какую хотите, я готова сей же час лишиться детей, мужа, всего имения, если у ней есть хоть одна капелька, хоть частица, хоть тень какого-нибудь румянца!»

«Ах, что вы это говорите, Софья Ивановна!» сказала дама приятная во всех отношениях и всплеснула руками.

«Ах, какие же вы, право, Анна Григорьевна! я с изумлением на вас гляжу!» сказала приятная дама и всплеснула тоже руками.

Да не покажется читателю странным, что обе дамы были несогласны между собой в том, что видели почти в одно и то же время. Есть, точно, на свете много таких вещей, которые имеют уже такое свойство: если на них взглянет одна дама, они выйдут совершенно белые, а взглянет другая, выйдут красные, красные, как брусника.

«Ну, вот вам ещё доказательство, что она бледна», продолжала приятная дама: «я помню, как теперь, что я сижу возле Манилова и говорю ему: посмотрите, какая она бледная! Право, нужно быть до такой степени бестолковыми, как наши мужчины, чтобы восхищаться ею. А наш-то прелестник... Ах, как он мне показался противным! Вы не можете себе представить, Анна Григорьевна, до какой степени он мне показался противным».

«Да, однако же нашлись некоторые дамы, которые были равнодушны к нему».

«Я, Анна Григорьевна? Вот уж никогда вы не можете сказать этого, никогда, никогда!»

«Да я не говорю об вас, как будто кроме вас никого нет».

«Никогда, никогда, Анна Григорьевна! Позвольте мне вам заметить, что я очень хорошо себя знаю, а разве со стороны каких-нибудь иных дам, которые играют роль недоступных».

«Уж извините, Софья Ивановна! Уж позвольте вам сказать, что за мной подобных скандалозностей никогда ещё не водилось. За кем другим разве, а уж за мной нет, уж позвольте мне вам это заметить».

«Отчего же вы обиделись? ведь там были и другие дамы, были даже такие, которые первые захватили стул у дверей, чтобы сидеть к нему поближе».

Ну, уж после таких слов, произнесённых приятною дамою, должна была неминуемо последовать буря, но, к величайшему изумлению, обе дамы вдруг приутихли, и совершенно ничего не последовало. Во всех отношениях приятная дама вспомнила, что выкройка для модного платья ещё не находится в её руках, а просто приятная дама смекнула, что она ещё не успела вывести ни каких подробностей насчёт открытия, сделанного её искреннею приятельницею, и потому мир последовал очень скоро. Впрочем, обе дамы, нельзя сказать чтобы имели в своей натуре потребность наносить неприятность, и вообще в характерах их ничего не было злого, а так нечувствительно в разговоре рождалось само собою маленькое желание кольнуть друг друга; просто, одна другой из небольшого наслаждения при случае всунет иное живое словцо: вот, мол, тебе! на, возьми, съешь! Разного рода бывают потребности в сердцах как мужского, так и женского пола.

«Я не могу, однако же, понять только того», сказала просто

приятная дама: «как Чичиков, будучи человек заезжий, мог решиться на такой отважный пассаж. Не может быть, чтобы тут не было участников».

«А вы думаете, нет их?»

«А кто же бы, полагаете, мог помогать ему?»

«Ну да хоть и Ноздрёв».

«Неужели Ноздрёв?»

«А что ж? ведь его на это станет. Вы знаете, он родного отца готов продать или, ещё лучше, проиграть в карты».

«Ах, боже мой, какие интересные новости я узнаю от вас! Я бы никак не могла предполагать, чтобы и Ноздрёв был замешан в эту историю!»

«А я всегда предполагала».

«Как подумаешь, право, чего не происходит на свете; ну можно ли было предполагать, когда, помните, Чичиков только что приехал к нам в город, что он произведёт такой странный марш в свете? Ах, Анна Григорьевна, если бы вы знали, как я перетревожилась! если бы не ваша благосклонность и дружба... вот уже, точно, на краю гибели... куда ж? Машка моя видит, что я бледна как смерть: душечка барыня, говорит мне: вы бледны как смерть. Машка, говорю: мне не до того теперь. Так вот какой случай! Так и Ноздрёв здесь, прошу покорно!..»

...Сделавши своё дело относительно губернаторши, дамы надели было на мужскую партию, пытались склонить их на свою сторону и утверждая, что мёртвые души выдумка и употреблена только для того, чтобы отвлечь всякое подозрение и успешнее произвести похищение. Многие даже из мужчин были соращены и пристали к их партии, несмотря на то, что подвергнулись сильным нареканиям от своих же товарищей, обругавших их бабами и юбками, именами, как известно, очень обидными для мужского пола.

Но как ни вооружались и ни противились мужчины, а в их партии совсем не было такого порядка, как в женской. Всё у них было как-то чёрство, неотёсанно, неладно, негоже, нестройно, нехорошо, в голове кутерьма, сутолока, сбивчивость, неопрятность в мыслях — одним словом, так и вызначилась во всём пустая природа мужчины, природа грубая, тяжёлая, неспособная ни к домостроительству, ни к сердечным убеждениям, маловерная, ленивая, исполненная непрерывных сомнений и вечной боязни. Они говорили, что всё это вздор, что похищение губернаторской дочки более дело гусарское, нежели гражданское, что Чичиков не сделает этого, что бабы врут, что баба, что мешок, что положат, то несёт, что главный предмет, на который нужно обратить внимание, есть мёртвые души, которые, впрочем, чёрт его знает, что значат, но в них заключено, однако ж, весьма скверное, нехорошее. Почему казалось мужчинам, что в них заключалось скверное и нехорошее, сию минуту узнаем: в губернию назначен был новый генерал-губернатор, событие, как известно, приводящее чиновников в тре-

важное состояние: пойдут переборки, распеканья, взбуктовыванья и всякие должностные похлёбки, которыми угощает начальник своих подчинённых! Ну что, думали чиновники, если он узнает только просто, что в городе их вот-де какие глупые слухи, да за это одно может вскипятить не на жизнь, а на самую смерть. Инспектор врачебной управы вдруг побледнел: ему представилось бог знает что; под словом *мёртвые души* не разумеются ли больные, умершие в значительном количестве в лазаретах и в других местах от повальной горячки, против которой не было взято надлежащих мер, и что Чичиков не есть ли подосланный чиновник из канцелярии генерал-губернатора для производства тайного следствия. Он сообщил об этом председателю. Председатель отвечал, что это вздор, и потом вдруг побледнел сам, задав себе вопрос: а что если души, купленные Чичиковым, в самом деле мёртвые? а он допустил совершить на них крепость, да ещё сам сыграл роль поверенного Плюшкина, и дойдёт это до сведения генерал-губернатора, что тогда? Он об этом больше ничего, как только сказал тому и другому, и вдруг побледнели и тот и другой; страх прилипчивее чумы и сообщается вмиг. Все вдруг отыскиали в себе такие грехи, каких даже не было. Слово *мёртвые души* так раздалось неопределённо, что стали подозревать даже, нет ли здесь какого намёка на скорострительно погребённые тела, вследствие двух, не так давно случившихся событий. Первое событие было с какими-то сольвычегодскими купцами, приехавшими в город на ярмарку и задавшими после торгов пирушку приятелям своим устьсыольским купцам, пирушку на русскую ногу, с немецкими затеями: аршадами, пуншами, бальзамами и проч. Пирушка, как водится, кончилась дракой. Сольвычегодские уходили насмерть устьсыольских, хотя и от них понесли крепкую ссадку на бока, под мышечки и в подсочельник, свидетельствовавшую о непомерной величине кулаков, которыми были снабжены покойники. У одного из восторжествовавших даже был вплоть сколот нос, по выражению бойцов, то есть весь разможён нос, так что не оставалось его на лице и на полпальца. В деле своём купцы повинились, изъясняясь, что немного пошалили; носились слухи, будто при повинной голо-ве они приложили по четыре государственных каждый; впрочем, дело слишком тёмное: из учинённых выправок и следствий оказалось, что устьсыольские ребята умерли от угара, а потому так их и похоронили, как угоревших. Другое происшествие, недавно случившееся, было следующее: казнённые крестьяне селца Вшивая-Спесь, соединившись с таковыми же крестьянами селца Боровки, Задирайлово-тож, снесли с лица земли будто бы земскую полицию в лице заседателя, какого-то Дробяжкина, что будто земская полиция, то есть заседатель Дробяжкин, повадился уж чересчур часто ездить в их деревню, что в иных случаях стоит повальной горячки, а причина-де та, что земская полиция, имея кое-какие слабости со стороны сердечной, приглядывался на баб и деревенских девок. Наверное, впрочем, неизвестно, хотя в показаниях

крестьяне выразились прямо, что земская полиция был-де блудлив как кошка, и что уже не раз они его оберегали и один раз даже выгнали нагишом из какой-то избы, куда он было забрался. Конечно, земская полиция достоин был наказания за сердечные слабости, но мужиков как Вшивой-Спеси, так и Задирайлова-тож нельзя было также оправдать за самоуправство, если они только действительно участвовали в убийении. Но дело было темно, земскую полицию нашли на дороге, мундир или сюртук на земской полиции был хуже тряпки, а уж физиогномии и распознать нельзя было. Дело ходило по судам и поступило наконец в палату, где было рассуждено сначала наедине в таком смысле: так как неизвестно, кто из крестьян именно участвовал, а всех их много, Дробяжкин же человек мёртвый, стало быть ему немного в том проку, если бы даже он и выиграл дело, а мужики были ещё живы, стало быть для них весьма важно решение в их пользу; то вследствие того решено было так: что заседатель Дробяжкин был сам причиною, оказывая несправедливые притеснения мужикам Вшивой-Спеси и Задирайлова-тож, а умер-де он, возвращаясь в санях, от апоплексического удара. Дело, казалось бы, обделано было кругло, но чиновники, однако ж, неизвестно почему, стали думать, что, верно, об этих мёртвых душах идёт теперь дело. Случись же так, что, как нарочно, в то время, когда господа чиновники и без того находились в затруднительном положении, пришли к губернатору разом две бумаги. В одной из них содержалось, что, по дошедшим показаниям и донесениям, находится в их губернии деятель фальшивых ассигнаций, скрывающийся под разными именами, и чтобы немедленно было učinено строжайшее розыскание. Другая бумага содержала в себе отношение губернатора соседственной губернии о убежавшем от законного преследования разбойнике, и что буде окажется в их губернии какой подозрительный человек, не предъявляющий никаких свидетельств и пашпортов, то задержать его немедленно. Эти две бумаги так и ошеломили всех. Прежние заключения и догадки совсем были сбиты с толку. Конечно, никак нельзя было предполагать, чтобы тут относилось что-нибудь к Чичикову, однако ж все, как поразмыслили каждый со своей стороны, как припомнили, что они ещё не знают, кто таков на самом деле есть Чичиков, что он сам весьма неясно отзывался насчёт собственного лица, говорил, правда, что потерпел по службе за правду, да ведь всё это как-то темно, и когда вспомнили при этом, что он даже выразился, будто имел много неприятелей, покушавшихся на жизнь его, то задумались ещё более: стало быть жизнь его была в опасности, стало быть его преследовали, стало быть он ведь сделал же что-нибудь такое... да кто же он в самом деле такой?..

ГЛАВА X

...Думали, думали, толковали, толковали, и наконец решили, что не худо бы ещё расспросить хорошенько Поздрёва. Так как

он пер
в каки
мнени
ещё, ч
Ст
звания
нельзя
тем и
верит
менно
прони
сится
излом
крича
не ста
нец к
ещё л
дряни
ством
под ч
Утопа
нет в
катит
даже
в гол
лись
писал
ботфо
же м
рёва.
не вы
окош
боль
ких д
рую
боты
продо
ляис
день
жиль
чёрту
чутьс
смяг
как п
поло
ность
были
не су

он первый вынес историю о мёртвых душах и был, как говорится, в каких-то тесных отношениях с Чичиковым, стало быть, без сомнения, знает кое-что из обстоятельств его жизни, то попробовать ещё, что скажет Ноздрёв.

Странные люди эти господа чиновники, а за ними и все прочие звания: ведь очень хорошо знали, что Ноздрёв лгун, что ему нельзя верить ни в одном слове, ни в самой безделице, а между тем именно прибегнули к нему. Поди ты, сладь с человеком! не верит в бога, а верит, что если почешется переносье, то непременно умрёт; пропустит мимо создание поэта, ясное как день, всё проникнутое согласием и высокою мудростью простоты, а бросится именно на то, где какой-нибудь удалец напутает, наплетёт, изломает, выворотит природу, и ему оно понравится, и он станет кричать: вот оно, вот настоящее значение тайн сердца! всю жизнь не ставит в грош докторов, а кончится тем, что обратится наконец к бабе, которая лечит зашёптываньями и заплёвками, или, ещё лучше, выдумает сам какой-нибудь декохт из нивесть какой дряни, которая, бог знает почему, вообразится ему именно средством против его болезни. Конечно, можно отчасти извинить господ чиновников действительно затруднительным их положением. Утопающий, говорят, хватается и за маленькую щепку, и у него нет в то время рассудка подумать, что на щепке может разве прокатиться верхом муха, а в нём весу чуть не четыре пуда, если даже не целых пять; но не приходит ему в то время соображение в голову, и он хватается за щепку. Так и господа наши ухватились наконец и за Ноздрёва. Полицеймейстер в ту же минуту написал к нему записочку пожаловать на вечер, и квартальный в ботфортах, с привлекательным румянцем на щеках, побежал в ту же минуту, придерживая шпагу, вприскок на квартиру Ноздрёва. Ноздрёв был занят важным делом; целые четыре дня уже не выходил он из комнаты, не впускал никого и получал обед в окошко, — словом, даже исхудал и позеленел. Дело требовало большой внимательности: оно состояло в подборании из нескольких десятков дюжин карт одной талии, но самой меткой, на которых можно было бы понадеяться, как на вернейшего друга. Работы оставалось ещё по крайней мере на две недели; во всё продолжение этого времени Порфирий должен был чистить меделянскому щенку пуп особенной щёткой и мыть его три раза на день в мыле. Ноздрёв был очень рассержен за то, что потревожили его уединение; прежде всего он отправил квартального к чёрту, но когда прочитал в записке городничего, что может случиться пожива, потому что на вечер ожидают какого-то новичка, смягчился в ту же минуту, запер комнату наскоро ключом, оделся как попало и отправился к ним. Показания, свидетельства и предположения Ноздрёва представили такую резкую противоположность таковым же господ чиновников, что и последние их догадки были сбиты с толку. Это был решительно человек, для которого не существовало сомнений вовсе; и сколько у них заметно было

шаткости и робости в предположениях, столько у него твёрдости и уверенности. Он отвечал на все пункты, даже не заикнувшись, объявил, что Чичиков купил мёртвых душ на несколько тысяч, и что он сам продал ему, потому что не видит причины, почему не продать; на вопрос, не шпион ли он и не старается ли что-нибудь разведать, Ноздрёв отвечал, что шпион, что ещё в школе, где он с ним вместе учился, его называли фискалом и что за это товарищи, а в том числе и он, несколько его поизмывали, так что нужно было потом приставить к одним вискам 240 пьёвок, то есть он хотел было сказать 40, но 200 сказалось как-то само собою. На вопрос, не делатель ли он фальшивых бумажек, он отвечал, что делатель, и при этом случае рассказал анекдот о необыкновенной ловкости Чичикова, как, узнавши, что в его доме находилось на два миллиона фальшивых ассигнаций, опечатали дом его и приставили караул, на каждую дверь по два солдата, и как Чичиков переменял их все в одну ночь, так что на другой день, когда сняли печати, увидели, что все были ассигнации настоящие. На вопрос, точно ли Чичиков имел намерение увезти губернаторскую дочку и правда ли, что он сам взялся помогать и участвовать в этом деле, Ноздрёв отвечал, что помогал и что если бы не он, то не вышло бы ничего, тут он и спохватился было, видя, что солгал во все напрасно и мог таким образом накликать на себя беду, но языка никак уже не мог придержать. Впрочем, и трудно было, потому что представились сами собою такие интересные подробности, от которых никак нельзя было отказаться: даже названа была по имени деревня, где находилась та приходская церковь, в которой положено было венчаться, именно деревня Трухмачёвка, поп — отец Сидор, за венчание 75 рублей, и то не согласился бы, если бы он не припугнул его, обещаясь донести на него, что перевенчал лабазника Михайла на куме, что он уступил даже свою коляску и заготовил на всех станциях переменных лошадей. Подробности дошли до того, что уже начинал называть по именам ямщиков. Попробовали было заикнуться о Наполеоне, но и сами были не рады, что попробовали, потому что Ноздрёв понёс такую околёсину, которая не только не имела никакого подобия правды, но даже просто ни на что не имела подобия, так что чиновники, вздохнувши, все отошли прочь; один только полицеймейстер долго ещё слушал, думая, не будет ли по крайней мере чего-нибудь далее, но наконец и рукой махнул, сказавши: «чёрт знает, что такое!» И все согласились в том, что как с быком ни биться, а всё молока от него не добиться. И остались чиновники ещё в худшем положении, чем были прежде, и решилось дело тем, что никак не могли узнать, что такое был Чичиков. И оказалось ясно, какого рода создание человек: мудр, умён и толков он бывает во всём, что касается других, а не себя; какими осмотрительными, твёрдыми советами снабдит он в трудных случаях жизни! Экая расторопная голова! кричит толпа: какой непоколебимый характер! А нанесись на эту расторопную голову какая-нибудь беда,

и дове
куда д
из него
фетюк
Все
больш
ствова
думати
личом
так и
всплес
пустит
тело.
была,
показы
в мал
так да
маги н
бровях
уже не
каким
вал, за

...О
ся чита
датель
вершен
ко, — т
отрази
мая по
ты ни
короти
автору
го чело
иные, с
ство р
стями
со всей
стремл
все доб
живым
боко за
по при
что впе
питанн
стью у

и доведись ему самому быть поставлену в трудные случаи жизни, куда делся характер, весь растерялся неколебимый муж, и вышел из него жалкий трусишка, ничтожный слабый ребёнок, или просто фетюк, как называет Ноздрёв.

ГЛАВА XI

и место, и время! А добродетельный человек всё-таки не взят в герои. И можно даже сказать, почему не взят. Потому что пора, наконец, дать отдых бедному добродетельному человеку, потому что праздно вращается на устах слово: добродетельный человек, потому что обратили в рабочую лошадь добродетельного человека, и нет писателя, который бы не ездил на нём, понукая и кнутом, и всем, чем попало; потому что изморили добродетельного человека до того, что теперь нет на нём и тени добродетели, и остались только рёбра да кожа вместо тела; потому что лицемерно призывают добродетельного человека; потому что не уважают добродетельного человека. Нет, пора, наконец, припрячь и подлеца. Итак, припряжём подлеца!

Темно и скромно происхождение нашего героя. Родители были дворяне, но столбовые или личные — бог ведает. Лицом он на них не походил: по крайней мере родственница, бывшая при его рождении, низенькая, коротенькая женщина, которых обыкновенно называют пиголицами, взявши в руки ребёнка, вскрикнула: «Со всем вышел не такой, как я думала! Ему бы следовало пойти в бабку с матерней стороны, что было бы и лучше, а он родился просто, как говорит пословица: *ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца*». Жизнь при начале потянула на него как-то кисло-неприятно, сквозь какое-то мутное, занесённое снегом окошко: ни друга, ни товарища в детстве! Маленькая горенка с маленькими окнами, не отворявшимися ни в зиму, ни в лето; отец — больной человек, в длинном сюртуке на мерлушках и в вязаных хлопанцах, надетых на босую ногу, беспрестанно вздыхавший, ходя по комнате, и плевавший в стоявшую в углу песочницу; вечное сиденье на лавке с пером в руках, чернилами на пальцах и даже на губах; вечная пропись перед глазами: *Не лги, послушествоуй старшим и носи добродетель в сердце*, вечный шарк и шлёпанье по комнате хлопанцев, знакомый, но всегда суровый голос: «опять задурил!», отзывавшийся в то время, когда ребёнок, наскуча однообразием труда, приделывал к букве какую-нибудь кавыку или хвост; и вечно знакомое, всегда неприятное чувство, когда вслед за сими словами краюшка уха его скручивалась очень больно ногтями длинных протянувшихся сзади пальцев: вот бедная картина первоначального его детства, о котором едва сохранил он бледную память. Но в жизни всё меняется быстро и живо: и в один день с первым весенним солнцем и разлившимися потоками, отец, взявши сына, выехал с ним на тележке, которую потащила мухортая¹ пегая лошадка, известная у лошадиных барышников под именем сорóки; ею правил кучер, маленький горбунок, родоначальник единственной крепостной семьи, принадлежавшей отцу Чичикова, занимавший почти все должности в доме. На сороке тащились они полтора дня с лишком; на дороге поче-

¹ Мухóртый — гнедой, с желтоватыми подпалинами у морды, у ног и в пахах.

вали, и жар
до гор
города
рот, по
начина
ный гр
гами, п
шила
цветш
его, ни
и скр
ём, с у
дрябла
сушив
чика п
остать
Отец,
расста
была
нее, у
и не п
никам.
не успе
редиш
если у
чтобы
потчев
больше
на све
тебя в
Всё сд
кое на
мой на
видел;
Пав
бених
отлича
зался в
ской. С
товари
не толь
шение,
затъ се
пейки,
казав
снегиря
жении

вали, переправлялись через реку, закусывали холодным пирогом и жареною бараниною и только на третий день утром добрались до города. Перед мальчиком блеснули неожиданным великолепием городские улицы, заставившие его на несколько минут разинуть рот, потом сорока бултыхнула вместе с тележкой в яму, которую начинался узкий переулок, весь стремившийся вниз и запруженный грязью; долго работала она там всеми силами и месила ногами, подстрекаемая и горбуном, и самим барином, и, наконец, втащила их в небольшой дворик, стоявший на косогоре, с двумя расцветшими яблонями пред стареньким домиком и садиком позади его, низеньким, маленьким, состоявшим только из рябины, бузины и скрывавшейся во глубине её деревянной будочки, крытой драньём, с узеньким матовым окошечком. Тут жила родственница их, дряблая старушонка, всё ещё ходившая всякое утро на рынок и сушившая потом чулки свои у самовара, которая потрепала мальчика по щеке и полюбогалась его полнотою. Тут должен был он остаться и ходить ежедневно в классы городского училища. Отец, переночевавши, на другой день выбрался в дорогу. При расставании слёз не было пролито из родительских глаз; дана была полтина меду на расход и лакомства и, что гораздо важнее, умное наставление: «Смотри же, Павлуша: учись, не дури и не повесничай, а больше всего — угождай учителям и начальникам. Коли будешь угождать начальнику, то, хоть и в науке не успеешь, и таланту бог не дал, всё пойдёшь в ход и всех опередишь. С товарищами не водись: они тебя добру не научат: а если уже пошло на то, так водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезными. Не угощай и не потчевай никого, а води себя лучше так, чтобы тебя угощали, а больше всего береги и копи копейку: эта вещь надёжнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Всё сделаешь и всё прошибёшь на свете копейкой». Давши такое наставление, отец расстался с сыном и потащился вновь домой на своей сороке, и с тех пор уже никогда он больше его не видел; но слова и наставления заронились глубоко ему в душу.

Павлуша с другого же дня принялся ходить в классы. Особенных способностей к какой-нибудь науке в нём не оказалось; отличался он больше прилежанием и опрятностью; но зато оказался в нём большой ум с другой стороны — со стороны практической. Он вдруг смекнул и понял дело и повёл себя в отношении к товарищам точно таким образом, что они его угощали, а он их не только никогда, но даже иногда, припрятав полученное угощение, потом продавал им же. Ещё ребёнком он умел уже отказать себе во всём. Из данной отцом полтины не издержал ни копейки, напротив, в тот же год уже сделал к ней приращения, показав оборотливость почти необыкновенную: слепил из воску снегиря, выкрасил его и продал очень выгодно. Потом в продолжении некоторого времени пустился на другие спекуляции, имен-

но вот какие: накупивши на рынке съестного, садился в классе возле тех, которые были побогаче, и как только замечал, что товарища начинало тошнить, — признак подступающего голода, — он высовывал ему из-под скамьи, будто невзначай, угол пряника или булки и, раззадоривши его, брал деньги, соображаясь с аппетитом. Два месяца он провозился у себя на квартире без отдыха около мыши, которую засадил в маленькую деревянную клеточку, и добился, наконец, того, что мышь становилась на задние лапки, ложилась и вставала по приказу, и продал потом её тоже очень выгодно. Когда набралось денег до пяти рублей, он мешочек зашил и стал копить в другой. В отношении к начальству он повёл себя ещё умнее. Сидеть на лавке никто не умел так смирно. Надобно заметить, что учитель был большой любитель тишины и хорошего поведения и терпеть не мог умных и острых мальчиков; ему казалось, что они непременно должны над ним смеяться. Достаточно было тому, который уже попал на замечание со стороны остроумия, достаточно было ему только пошевелинуться или как-нибудь ненароком мигнуть бровью, чтобы подпасть вдруг под гнев. Он его гнал и наказывал немилосердно. «Я брат, из тебя выгони заносчивость и непокорность!» говорил он: «я тебя знаю насквозь, как ты сам себя не знаешь. Вот ты у меня постоишь на коленях! ты у меня поголодаешь!» И бедный мальчишка, сам не зная за что, натирал себе колени и голодал по суткам. «Способности и дарования — это всё вздор!» — говаривал он: «я смотрю только на поведение. Я поставлю полные баллы во всех науках тому, кто ни аза ни знает, да ведёт себя похвально; а в ком я вижу дурной дух да насмешливость, я тому — нуль, хотя он Солон¹ заткни за пояс!» Так говорил учитель, не любивший насмерть Крылова за то, что он сказал: «По мне уж лучше пей, да дело разумей», и всегда рассказывавший с наслаждением в лице и в глазах, как в том училище, где он преподавал прежде, такая была тишина, что слышно было, как муха летит, что ни один из учеников в течение круглого года не кашлянул и не высморкался в классе и что до самого звонка нельзя было узнать, был ли кто там, или нет. Чичиков вдруг постигнул дух начальника и в чём должно состоять поведение. Не шевельнул он ни глазом, ни бровью во всё время класса, как ни шипали его сзади; как только раздавался звонок, он бросался опрометью и подавал учителю прежде всего треух² (учитель ходил в треухе); подавши треух, он выходил первый из класса и старался ему попасться раза три на дороге, беспрестанно снимая шапку. Дело имело совершенный успех. Во всё время пребывания в училище был он на отличном счету и при выпуске получил полное удостоверение во всех науках, аттестат и книгу с зо-

¹ Солон (639—559 гг. до н. э.) — древнегреческий государственный деятель.

² Треух — мужская тёплая шапка.

лотыми буквами: за *примерное прилежание и благонадёжное по-*
ведение. Вышед из училища, он очутился уже юношей довольно
заманчивой наружности, с подбородком, потребовавшим брит-
вы. В это время умер отец его. В наследстве оказались четыре
заношенные безвозвратно фуфайки, два старых сюртука, подби-
тых мерлушками, и незначительная сумма денег. Отец, как вид-
но, был сведущ только в совете копить копейку, а сам накопил
её немного. Чичиков продал тут же ветхий дворишка с ничтож-
ной землицей за тысячу рублей, а семью людей перевёл в город,
располагаясь основаться в нём и заняться службой. В это же вре-
мя был выгнан из училища за глупость или другую вину бедный
учитель, любитель тишины и похвального поведения. Учитель с
горя принялся пить; наконец, и пить уже было ему не на что; боль-
ной, без куска хлеба и помощи, пропадал он где-то в нетоп-
ленной, забытой конурке. Бывшие ученики его, умники и остряки,
в которых ему мерещилась беспрестанно непокорность и занос-
чивое поведение, узнавши об жалком его положении, собрали тут
же для него деньги, продав даже многое нужное; один только
Павлуша Чичиков отгоргорился неимением и дал какой-то пятак
серебра, который тут же товарищи ему бросили, сказавши: «Эх
ты жила!» Закрыв лицо руками бедный учитель, когда услышал
о таком поступке бывших учеников своих: слёзы градом поли-
лись из погасавших очей, как у бессильного дитяти. «При смер-
ти на одре привёл бог заплакать», произнёс он слабым голосом
и тяжело вздохнул, услышав о Чичикове, прибавя тут же: «Эх,
Павлуша! Вот как переменится человек! Ведь какой был бла-
гонравный! ничего буйного — шёлк! Надул, сильно надул...»

Нельзя, однако же, сказать, чтобы природа героя нашего бы-
ла так сурова и черства и чувства его были до того притуплены,
чтобы он не знал ни жалости, ни сострадания. Он чувствовал и
то, и другое, он бы даже хотел помочь, но только, чтобы не за-
ключалось это в значительной сумме, чтобы не трогать уже тех
денег, которых положено было не трогать; словом, отцовское на-
ставление: «береги и копи копейку!» пошло впрок. Но в нём не
было привязанности собственно к деньгам для денег: им не вла-
дели скряжничество и скупость. Нет, не они двигали им: ему ме-
рещилась впереди жизнь во всех удовольствиях, со всякими достат-
ками; экипажи, дом, отлично устроенный, вкусные обеды — вот
что беспрерывно носилось в голове его. Чтобы, наконец, потом со
временем, вкусить непременно всё это, вот для чего береглась ко-
пейка, скупо отказываемая до времени и себе, и другому. Когда
проносился мимо его богач на пролётных красивых дрожках, на
рысаках в богатой упряжи, он как вкопанный останавливался на
месте и потом, очнувшись, как после долгого сна, говорил: «А ведь
был конторщик, волосы носил в кружок!» И всё, что ни отзыва-
лось богатством и удовольствием, производило на него впечатление,
непостижимое им самим. Вышед из училища, он не хотел даже
отдохнуть: так сильно было у него желание скорее приняться за

дело и службу... Местечко досталось ему ничтожное, жалованья тридцать или сорок рублей в год. Но решился он жарко заняться службою, всё победить и преодолеть. И, точно, самоотвержение, терпение и ограничение нужд показал он неслыханное. С раннего утра до позднего вечера, не уставая ни душевными, ни телесными силами, писал он, погрязнув весь в канцелярские бумаги, не ходил домой, спал в канцелярских комнатах на столах, обедал подчас со сторожами и при всём том умел сохранить опрятность, порядочно одеться, сообщить лицу приятное выражение и даже что-то благородное в движениях. Надобно сказать, что палатские чиновники особенно отличались невзрачностью и неблагообразием. У иных были лица, точно дурно выпеченный хлеб: щёку раздуло в одну сторону, подбородок покосило в другую, верхнюю губу взнесло пузырьком, которая, в прибавку к тому, ещё и треснула; словом, совсем некрасиво. Говорили они все как-то сурово, таким голосом, как бы собирались кого прибить; приносили частые жертвы Вакху¹, показав таким образом, что в славянской природе есть ещё много остатков язычества; приходили даже подчас в присутствие, как говорится, налившись, отчего в присутствии было нехорошо и воздух был вовсе не ароматический. Между такими чиновниками не мог не быть замечен и отличён Чичиков, представляя во всём совершенною противоположность и взрачностью лица, и приветливостью голоса, и совершенным неупотреблением никаких крепких напитков. Но при всём том трудна была его дорога. Он попал под начальство уже престарелому понытчику², который был образ какой-то каменной бесчувственности и непоколебимости, вечно тот же, неприступный, никогда в жизни не явивший на лице своём усмешки, не приветствовавший ни разу никого даже запросом о здоровье. Никто не видал, чтобы он хоть раз был не тем, чем всегда, хоть на улице, хоть у себя дома; хоть бы раз показал он в чём-нибудь участие; хоть бы напился пьян и в пьянстве рассмеялся бы; хоть бы даже предался дикому веселью, какому предаётся разбойник в пьяную минуту; но даже тени не было в нём ничего такого. Ничего не было в нём ровно: ни злодейского, ни доброго, и что-то страшное являлось в сем отсутствии всего. Чёрство-мраморное лицо его, без всякой резкой неправильности, не намекало ни на какое сходство; в суровой соразмерности между собою были черты его. Одни только частые рябины и ухабины, истыкавшие их, причисляли его к числу тех лиц, на которых, по народному выражению, чёрт приходил по ночам молотить горох. Казалось, не было сил человеческих подбиться к такому человеку и привлечь его расположение, но Чичиков попробовал. Сначала он принялся угождать во всяких незаметных мелочах: рассмотрел внимательно чинку

¹ Вакх — в греческой мифологии бог вина и веселья.

² Понытчик — столоначальник, заведующий отделением государственного учреждения в дореформенной России.

перьев, к
их, клал
его песоч
отыскал
существо
до оконч
её мелом
замечан
конец, он
что у не
будто бы
то сторо
ковь при
наступо
и дело
его на
лось де
нужным
черью о
целовал
перед в
даже х
Чичикол
место.
его со
отправи
другой
ловал
будто в
он всяк
чай, та
ность и
произн
Это
С этих
метным
ность
кими
называ
разом
шие пр
ся и о
зом пр
время
дил пр
оттуда
Хован
рил он

перьев, какими писал он, и, приготовивши несколько по образцу их, клал ему всякий раз их под руку; сдувал и сметал со стола его песок и табак; завёл новую тряпку для его чернильницы, отыскал где-то его шапку, прескверную шапку, какая когда-либо существовала в мире, и всякий раз клал её возле него за минуту до окончания присутствия; чистил ему спину, если тот запачкал её мелом у стены. Но всё это осталось решительно без всякого замечания, так, как будто ничего этого не было и делано. Наконец, он пронюхал его домашнюю, семейственную жизнь: узнал, что у него была зрелая дочь, с лицом, тоже похожим на то, как будто бы на нём происходила по ночам молотьба гороху. С этой стороны придумал он повести приступ. Узнал, в какую церковь приходила она по воскресным дням, становился всякий раз насупротив её, чисто одетый, накрахмаливши сильно манишку, и дело возымело успех: пошатнулся суровый повытчик и зазвал его на чай! И в канцелярии не успели оглянуться, как устроилось дело так, что Чичиков переехал к нему в дом, сделался нужным и необходимым человеком, закупал и муку и сахар, с дочерью обращался как с невестой, повытчика звал папенькой и целовал его в руку; все положили в палате, что в конце февраля, перед великим постом, будет свадьба. Суровый повытчик стал даже хлопотать за него у начальства, и чрез несколько времени Чичиков сам сел повытчиком на одно открывшееся вакантное место. В этом, казалось, и заключалась главная цель связей его со старым повытчиком, потому что тут же сундук свой он отправил секретно домой и на другой день очутился уже на другой квартире. Повытчика перестал звать папенькой и не целовал больше его руки, а о свадьбе так дело и замялось, как будто вовсе ничего не происходило. Однако же, встречаясь с ним, он всякий раз ласково жал ему руку и приглашал к себе на чай, так что старый повытчик, несмотря на вечную неподвижность и чёрствое равнодушие, всякий раз встряхивал головою и произносил себе под нос: «надул, надул, чёртов сын!»

Это был самый трудный порог, через который перешагнул он. С этих пор всё пошло легче и успешнее. Он стал человеком заметным. Всё оказалось в нём, что нужно для этого мира: и приятность в оборотах и поступках, и бойкость в деловых делах. С такими средствами добыл он в непродолжительное время то, что называют хлебное местечко, и воспользовался им отличным образом. Нужно знать, что в то же самое время начались строжайшие преследования всяких взяток. Преследований он не испугался и обратил их тот же час в свою пользу, показав таким образом прямо русскую изобретательность, являющуюся только во время прижимок. Дело устроено было вот как: как только приходил проситель и засовывал руку в карман с тем, чтобы вытащить оттуда известные рекомендательные письма, за подписью князя Хованского, как выражаются у нас на Руси, — «нет, нет», говорил он с улыбкой, удерживая его руки: «вы думаете, что я... нет,

нет! Это наш долг, наша обязанность; без всяких возмездий мы должны сделать! С этой стороны уж будьте покойны: завтра же всё будет сделано. Позвольте узнать вашу квартиру; вам и заботиться не нужно самим: всё будет принесено к вам на дом». Очарованный проситель возвращался домой чуть не в восторге, думая: «Вот, наконец, человек, каких нужно побольше! Это, просто, драгоценный алмаз!» Но ждёт проситель день, другой — не приносят дела на дом; на третий тоже. Он в канцелярию — дело и не начиналось; он — к драгоценному алмазу. «Ах, извините!» говорил Чичиков очень учтиво, схвативши его за обе руки: «у нас было столько дел, но завтра же всё будет сделано, завтра непременно! Право, мне даже совестно!»

И всё это сопровождалось движениями обворожительными. Если при этом распаивалась как-нибудь пола халага, то рука в ту же минуту старалась дело поправить и придержать полу. Но ни завтра, ни послезавтра, ни на третий день не несут дела на дом. Проситель бсрётся за ум: «да полно, нет ли чего?» Выведывает — говорят, нужно дать писарям. «Почему же не дать? я готов четвертак, другой». «Нет, не четвертак, а по беленькой». «По беленькой писарям!» вскрикивает проситель. «Да чего вы так горячитесь?» отвечают ему: «оно так и выйдет: писарям и достанется по четвертаку, а остальное пойдёт по начальству». Бьёт себя по лбу недогадливый проситель и бранит, на чём свет стоит, новый порядок вещей, преследование взяток и вежливые, облагороженные обращения чиновников. «Прежде было знаешь по крайней мере, что делать: принёс правителю дел красную¹, да и дело в шляпе, а теперь по беленькой, да ещё неделю провозишься, пока догадаешься... чёрт бы побрал бескорыстие и чиновное благородство!» Проситель, конечно, прав; но зато теперь нет взяточников: все правители дел честнейшие и благороднейшие люди, секретари только да писаря мошенники. Скоро представилось Чичикову после гораздо пространнее: образовалась комиссия для построения какого-то казённого, весьма капитального, строения. В эту комиссию пристроился и он, и оказался одним из деятельнейших членов. Комиссия немедленно приступила к делу. Шесть лет возилась около здания; но климат, что ли, мешал, или материал уже был такой, только никак не шло казённое здание выше фундамента. А между тем в других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры; видно, грунт земли был там получше. Члены уже начинали благоденствовать и стали заводиться семейством. Тут только и теперь только стал Чичиков понемногу выпутываться из-под суровых законов воздержания и неумолимого своего самоотвержения. Тут только долговременный пост, наконец, был смягчён, и оказалось, что он всегда не был чужд разных наслаждений, от которых умел удержаться в лета пылкой молодости, когда ни

¹ Красная — десятирублёвая ассигнация.

один человек совершенно не властен над собою. Оказались кое-какие излишества: он завёл довольно хорошего повара, тонкие голландские рубашки. Уже сукна купил он себе такого, какого не носила вся губерния, и с этих пор стал держаться более коричневых и красноватых цветов с искрою; уже приобрёл он отличную пару и сам держал одну вожжу, заставляя пристяжную виться кольцом; уже завёл он обычай вытираться губкою намоченной в воде, смешанной с одеколоном; уже покупал он весьма недёшево какое-то мыло для сообщения гладкости коже; уже...

Но вдруг, на место прежнего тюфяка, был прислан новый начальник, человек военный, строгий, враг взяточников и всего, что зовётся неправдой. На другой же день пугнул он всех до одного, потребовал отчёты, увидел недочёты, на каждом шагу недостающие суммы, заметил в ту же минуту дома красивой гражданской архитектуры — и пошла переборка. Чиновники были отставлены от должности, дома гражданской архитектуры поступили в казну и обращены были на разные богоугодные заведения и школы для кантонистов¹, всё распушено было в пух, и Чичиков более других. Лицо его вдруг, несмотря на приятность, не понравилось начальнику, почему именно, бог ведает, иногда даже, просто, не бывает на это причин, и он возненавидел его насмерть. Но, так как всё же он был человек военный, стало быть, не знал всех тонкостей гражданских проделок, то через несколько времени, посредством правдивой наружности и умения подделаться ко всему, втёрлись к нему в милость другие чиновники, и генерал скоро очутился в руках ещё больших мошенников, которых он вовсе не почитал такими: даже был доволен, что выбрал, наконец, людей, как следует, и хвастался не в шутку тонким умением различать способности. Чиновники вдруг постигнули дух его и характер. Всё, что ни было под начальством его, сделалось страшными гонителями неправды: везде во всех делах они преследовали её, как рыбак острогой преследует какую-нибудь мясистую белугу, и преследовали её с таким успехом, что в скором времени у каждого очутилось по несколько тысяч капитала. В это время обратились на путь истины многие из прежних чиновников и были вновь приняты на службу. Но Чичиков уже никаким образом не мог втереться; как ни старался и ни стоял за него, подстрекаемый письмами князя Хованского, первый генеральский секретарь, постигнувший совершенно управление генеральским носом, но тут он ничего решительного не мог сделать. Генерал был такого рода человек, которого хотя и водили за нос (впрочем, без его ведома), но зато уже, если в голову ему запала какая-нибудь мысль, то она там была всё равно, что железный гвоздь: ничем нельзя было её оттуда вытеребить. Всё, что мог сделать умный секретарь, было уничтожение запачканного послужного списка, и

¹ Кантонисты — сыновья крепостных солдат, с самого рождения закрепощённые за военным ведомством; воспитывались в особых школах, где была жёсткая дисциплина.

на то уже он подвинул начальника не иначе, как состраданьем, изобразив ему в живых красках трогательную судьбу несчастного семейства Чичикова, которого, к счастью, у него не было.

«Ну, что ж!» сказал Чичиков: «зацепил — поволок, сорвалось — не спрашивай. Плачем горю не пособить, нужно дело делать». И вот решился он сизнова начать карьеру, вновь вооружиться терпением, вновь ограничиться во всём, как ни привольно и ни хорошо было развернулся прежде. Нужно было переехать в другой город, там ещё приводить себя в известность. Всё как-то не клеилось. Две, три должности должен он был переменить в самое короткое время. Должности как-то были грязны, низменны. Нужно знать, что Чичиков был самый благопристойный человек, какой когда-либо существовал в свете. Хотя он и должен был вначале протираться в грязном обществе, но в душе всегда сохранял чистоту, любил, чтобы в канцеляриях были столы из лакированного дерева и всё бы было благородно. Никогда не позволял он себе в речи неблагопристойного слова и оскорблялся всегда, если в словах других видел отсутствие должного уважения к чину или званию. Читателю, я думаю, приятно будет узнать, что он всякие два дня переменил на себе бельё, а летом, во время жаров, даже и всякий день: всякий сколько-нибудь неприятный запах уже оскорблял его. По этой причине он всякий раз, когда Петрушка приходил раздевать его и скидывать сапоги, клал себе в нос гвоздичку; и во многих случаях нервы у него были щекотливые, как у девушки; и потому тяжело ему было очутиться вновь в тех рядах, где всё отзывалось пенником и неприличьем в поступках. Как ни крепился он духом, однако же похудел и даже позеленел во время таких невзгод. Уже начинал было он полнеть и приходить в те круглые и приличные формы, в каких читатель застал его при заключении с ним знакомства, и уже не раз, поглядывая в зеркало, подумывал он о многом приятном: о бабёнке, о детской, и улыбка следовала за такими мыслями; но теперь, когда он взглянул на себя как-то ненароком в зеркало, не мог не вскрикнуть: «Мать ты моя пресвятая! какой же я стал гадкий!» И после долго не хотел смотреться. Но переносил всё герой наш, переносил сильно, терпеливо переносил, и — перешёл, наконец, в службу по таможне. Надобно сказать, что эта служба давно составляла тайный предмет его помышлений. Он видел, какими щегольскими заграничными вещами заводились таможенные чиновники, какие фарфоры и батисты пересылали кумушкам, тётушкам и сёстрам. Не раз давно уже он говорил со вздохом: «Вот бы куда перебраться: и граница близко, и просвещённые люди, а какими тонкими голландскими рубашками можно обзавестись!» Надобно прибавить, что при этом он подумывал ещё об особенном сорте французского мыла, сообщавшего необыкновенную белизну коже и свежесть щекам; как оно называлось, бог ведает, но, по его предложениям, непременно находилось на границе. Итак, он давно бы хотел в таможню, но удерживали те-

кущие разные выгоды по строительной комиссии, и он рассуждал справедливо, что таможня, как бы то ни было, всё ещё не более как журавль в небе, а комиссия уже была синица в руках. Теперь же решил он, во что бы то ни стало, добраться до таможни — и добрался. За службу свою принялся он с ревностью необыкновенною. Казалось, сама судьба определила ему быть таможенным чиновником. Подобной расторопности, проницательности и прозорливости было не только не видано, но даже не слыхано. В три, четыре недели он уже так набил руку в таможенном деле, что знал решительно всё: даже не весил, не мерял, а по фактуре узнавал, сколько в какой штуке аршин сукна или иной материи; взявши в руку свёрток, он мог сказать вдруг, сколько в нём фунтов. Что же касается до обысков, то здесь, как выражались даже сами товарищи, у него, просто, было собачье чутьё: нельзя было не изумиться, видя, как у него доставало столько терпения, чтобы ощупать всякую пуговку, и всё это производилось с убийственным хладнокровием, вежливым до невероятности. И в то время, когда обыскиваемые бесились, выходили из себя и чувствовали злобное побуждение избить щелчками приятную его наружность, он, не изменяясь нисколько ни в лице, ни в вежливых поступках, приговаривал только: «Не угодно ли вам будет немножко побеспокоиться и привстать?» или: «Не угодно ли вам будет, сударыня, пожаловать в другую комнату? Там супруга одного из наших чиновников объяснится с вами»; или: «Позвольте, вот я ножичком немножко пораспору подкладку вашей шинели», и, говоря это, он вытаскивал оттуда шали, платки, хладнокровно, как из собственного сундука. Даже начальство изъяснилось, что это был чёрт, а не человек: он отыскивал в колёсах, дышлах, лошадиных ушах и нивестях в каких местах, куда никакому автору не пришло в мысль забраться и куда позволяется забираться только одним таможенным чиновникам, так что бедный путешественник, переехавший через границу, всё ещё в продолжение нескольких минут не мог опомниться, и отирая пот, выступивший мелкой сыпью по всему телу, только крестился да приговаривал: «Ну, ну!» Положение его весьма походило на положение школьника, убежавшего из секретной комнаты, куда начальник призвал его с тем, чтобы дать кое-какое наставление, но вместо того высек совершенно несожиданным образом. В непродолжительное время не было от него ни какого житья контрабандистам... Честность и неподкупность его были неодолимы, почти неестественны. Он даже не составил себе небольшого капиталца из разных конфискованных товаров и отбираемых кое-каких вещей, не поступающих в казну во избежание лишней переписки. Такая ревностно-бескорыстная служба не могла не сделаться предметом общего удивления и не дойти, наконец, до сведения начальства. Он получил чин и повышение и вслед за тем представил проект изловить всех контрабандистов, прося только средств исполнить его самому. Ему тот же час вручена была команда и неограниченное право производить всякие

поиски. Этого только ему и хотелось. В то время образовалось сильное общество контрабандистов обдуманно-правильным образом; на миллионы сулило выгод дерзкое предприятие. Он давно уже имел сведение о нём и даже отказал подосланным подкупить, сказавши сухо: «Ещё не время». Получив же в своё распоряжение всё, в ту же минуту дал он знать обществу, сказавши: «Теперь пора». Расчёт был слишком верен. Тут в один год он мог получить то, чего не выиграл бы в двадцать лет самой ревностной службы. Прежде он не хотел вступать ни в какие сношения с ними, потому что был не более, как простой пешкой, стало быть, немного получил бы; но теперь... теперь совсем другое дело: он мог предложить какие угодно условия. Чгобы дело шло беспрепятственней, он склонил и другого чиновника, своего товарища, который не устоял против соблазна, несмотря на то, что волосом был сед. Условия были заключены, и общество приступило к действиям. Действия начались блистательно: читатель, без всякого сомнения, слышал так часто повторяемую историю об остроумном путешествии испанских баранов, которые, совершив переход через границу в двойных тулупчиках, пронесли под тулупчиками на миллион брабантских кружев¹. Это происшествие случилось именно тогда, когда Чичиков служил при таможене...

После трёх или четырёх бараньих походов через границу у обоих чиновников очутилось по четыреста тысяч капитала. У Чичикова, говорят, даже перевалило и за пятьсот, потому что был побойчее. Бог знает, до какой бы громадной цифры не возросли благодатные суммы, если бы какой-то нелёгкий зверь не перебежал поперёк всему. Чёрт сбил с толку обоих чиновников: чиновники, говоря попросту, перебесились и поссорились ни за что. Как-то в жарком разговоре, а может быть, несколько и выпивши, Чичиков назвал другого чиновника поповичем, а тот, хотя действительно был поповичем, неизвестно почему — обиделся жестоко и ответил ему тут же сильно и необыкновенно резко, именно вот как: «Нет, врёшь, я статский советник, а не попович; а вот ты так попович!» И потом ещё прибавил ему в пику, для большей досады: «Да, вот, мол, что!» Хотя он отбрил таким образом его кругом, обратив на него им же приданное название, и хотя выражение: «вот, мол, что!» могло быть сильно, но, довольный сим, он послал ещё на него тайный донос. Впрочем, говорят, что и без того была у них ссора за какую-то бабёнку, свежую и крепкую, как ядрёная репа, по выражению таможенных чиновников; что были даже подкуплены люди, чтобы под вечерок, в тёмном переулке, поизбить нашего героя; но что оба чиновника были в дураках и бабёнкой воспользовался какой-то штабс-капитан Шамшарёв. Как было дело в самом деле — бог их ведаёт; пусть лучше читатель-охотник досочинит сам. Главное в

¹ Брабантские кружева — кружева высокого качества, вырабатывались в Брабанте — области в Бельгии.

том, что тайные сношения с контрабандистами сделались явными. Статский советник хоть и сам пропал, но-таки упёк своего товарища. Чиновников взяли под суд, конфисковали, описали всё, что у них ни было, и всё это разрешилось вдруг, как гром, над головами их. Как после чаду опомнились они и увидели с ужасом, что наделали. Статский советник по русскому обычаю с горя запил, но коллежский устоял. Он умел затаить часть деньжонок, как ни чутко было обоняние наехавшего на следствие начальства. Употребил все тонкие извороты ума, уже слишком опытного, слишком знающего хорошо людей; где подействовал приятностью оборотов, где трогательною речью, где покурил лестью, ни в каком случае не портящею дела, где всунул деньжонку, словом, обработал дело по крайней мере так, что оставлен был не с таким бесчестьем, как товарищ, и увернулся из-под уголовного суда. Но уже ни капитала, ни разных заграничных вещей — ничего не осталось ему: на всё это нашлись другие охотники. Удержалось у него тысячонок десяток, запрятанных про чёрный день, да дюжины две голландских рубашек, да небольшая бричка, в какой ездят холостяки, да два крепостных человека, кучер Селифан и лакей Петрушка; да таможенные чиновники, движимые сердечною добротою, оставили ему пять или шесть кусков мыла для сбережения свежести щёк — вот и всё. Итак, вот в каком положении вновь очутился герой наш! Вот какая громада бедствий обрушилась ему на голову! Это называл он: потерпеть по службе за правду. Теперь можно бы заключать, что после таких бурь, испытаний, привратностей судьбы и жизненного горя он удалится с оставшимися кровными десятью тысячками в какое-нибудь мирное захолустье уездного городишка и там заклёкнет навеки в ситцевом халате у окна низенького домика, разбирая по воскресным дням драку мужиков, возникшую перед окнами, или для освежения пройдясь в курятник пощупать лично курицу, назначенную в суп, и проведёт таким образом нешумный, но, в своём роде, тоже не бесполезный век. Но так не случилось. Надобно отдать справедливость неодолимой силе его характера. После всего того, что бы достаточно было если не убить, то охладить и усмирить навсегда человека, в нём не потухла непостижимая страсть. Он был в горе, в досаде, роптал на весь свет, сердился на несправедливость судьбы, негодовал на несправедливость людей, и однако же не мог отказаться от новых попыток. Словом, он показал терпенье, перед которым ничто деревянное терпенье немца, заключённое уже в медленном, ленивом обращении крови его. Кровь Чичикова, напротив, играла сильно, и нужно было много разумной воли, чтобы набросить узду на всё то, что хотело бы выпрыгнуть и погулять на свободе. Он рассуждал, и в рассуждениях его видна была некоторая сторона справедливости: «Почему ж я? Зачем на меня обрушилась беда? Кто ж зевает теперь на должности? — все приобретают. Несчастливым я не сделал никого: я не ограбил вдову, я не пустил никого по миру;

пользовался я от избытков; брал там, где всякий орал бы; не воспользуйся я — другие воспользовались бы. За что же другие благоденствуют, и почему должен я пропасть червём? И что я теперь? Куда я гожусь? Какими глазами я стану смотреть теперь в глаза всякому почтенному отцу семейства? Как не чувствовать мне угрызения совести, зная, что даром бременю землю? И что скажут потом мои дети? — «Вот, скажут: отец — скотина: не оставил нам никакого состояния!»

Уже известно, что Чичиков сильно заботился о своих потомках. Такой чувствительный предмет! Иной, может быть, и не так бы глубоко запустил руку, если бы не вопрос, который, неизвестно почему, приходит сам собою: «а что скажут дети?» И вот будущий родоначальник, как осторожный кот, покосившись только одним глазом в бок, не глядит ли откуда хозяин, хватается поспешно всё, что к нему поближе: масло ли стоит, свечи ли, сало, канарейка ли попалась под лапу, словом — не пропускает ничего. Так жаловался и плакал герой наш, а между тем деятельность никак не умирала в голове его, там всё хотело что-то строиться и ждало только плана. Вновь съёжился он, вновь принялся вести трудную жизнь, вновь ограничил себя во всём, вновь из чистоты и приличного положения опустился в грязь и низменную жизнь. И, в ожидании лучшего, принуждён был даже заняться званием поверенного, — званием, ещё не приобретшим у нас гражданства, толкаемым со всех сторон, плохо уважаемым мелкою приказною тварью и даже самими доверителями, осуждённым на пресмыкание в передних, грубости и прочее, но нужда заставила решиться на всё. Из поручений досталось ему, между прочим, одно: похлопотать о заложении в опекунский совет нескольких сот крестьян. Имение было расстроено в последней степени. Расстроено оно было скотскими падежами, плутами-приказчиками, неурожаями, повальными болезнями, истребившими лучших работников, и, наконец, бестолковьем самого помещика, убравшего себе в Москве дом в последнем вкусе и убившего на эту уборку всё состояние своё до последней копейки, так что уже не на что было есть. По этой-то причине понадобилось, наконец, заложить последнее оставшееся имение. Заклад в казну был тогда ещё дело новое, на которое решались не без страха. Чичиков, в качестве поверенного, прежде расположивши всех (без предварительного расположения, как известно, не может быть даже взята простая справка или выправка, — всё же хоть по бутылке мадеры придётся влить во всякую глотку), — итак, расположивши всех, кого следует, объяснил он, что вот какое, между прочим, обстоятельство: половина крестьян вымерла, так чтобы не было каких-нибудь потом привязок... «Да ведь они по ревизской сказке числятся?» сказал секретарь. «Числятся», отвечал Чичиков. «Ну, так чего же вы оробели?» сказал секретарь, «один умер, другой родится, а всё в дело годится». Секретарь, как видно, умел говорить и в рифму. А между тем героя нашего осенила вдохновеннейшая мысль, какая ко-

да-либо приходила в человеческую голову. «Эх я Аким-простота!» сказал он сам себе: «ищу рукавиц, а обе за поясом! Да накупи я всех этих, которые вымерли, пока ещё не подавали новых ре-визских сказок, приобрети их, положим, тысячу, да, положим, опекунский совет даст по двести рублей на душу: вот уже двести тысяч капиталу! А теперь же время удобное: недавно была эпидемия, народу вымерло, слава богу, немало. Помещики попроигрывались в карты, закутили и промотались, как следует; всё полезло в Петербург служить: имения брошены, управляются как ни попало, подати уплачиваются с каждым годом труднее; так мне с радостью уступит их каждый, уже потому только, чтобы не платить за них подушных денег, а может, в другой раз так случится, что с иного и я ещё зашибу за это копейку. Конечно, трудно, хлопотливо, страшно, чтобы как-нибудь ещё не досталось, чтобы не вывести из этого истории. Ну, да ведь дан же человеку на что-нибудь ум. А главное то хорошо, что предмет-то покажется всем невероятным, никто не поверит. Правда, без земли нельзя ни купить, ни заложить. Да ведь я куплю на вывод; теперь земли в Таврической и Херсонской губерниях отдаются даром, только заселяй. Туда я их всех и переселю! в Херсонскую их! пусть их там живут! А переселение можно сделать законным образом, как следует, по судам. Если захотят освидетельствовать крестьян — пожалуй я и тут не прочь; почему же нет? Я представлю и свидетельство за собственноручным подписанием капитана-исправника. Деревню можно назвать Чичикова слободка, или по имени, данному при крещении: сельцо Павловское». И вот таким образом составилась в голове нашего героя сей странный сюжет, за который, не знаю, будут ли благодарны ему читатели, а уж как благодарен автор, так и выразить трудно, ибо, что ни говори, не приди в голову Чичикова эта мысль, не явилась бы на свет сия поэма.

Перекрестясь, по русскому обычаю, приступил он к исполнению. Под видом избрания места для жительства и под другими предлогами предпринял он заглянуть в те и другие углы нашего государства, и преимущественно в те, которые более других пострадали от несчастных случаев: неурожаев, смертностей и прочего, и прочего, словом — где бы можно удобнее и дешевле накормить потребного народа. Он не обращался наобум ко всякому помещику, но избирал людей более по своему вкусу, или таких, с которыми бы можно было с меньшими затруднениями делать подобные сделки, стараясь прежде познакомиться, расположить к себе, чтобы, если можно, более дружбою, а не покупкою приобрести мужиков. Итак, читатели не должны негодовать на автора, если лица, доныне являвшиеся, не пришлись по его вкусу: это вина Чичикова; здесь он — полный хозяин, и куда ему издается, туда и мы должны тащиться. С нашей стороны, если уж точно, падёт обвинение за бледность и невзрачность лиц и характеров, скажем только то, что никогда вначале не видно всего ин-

рокого течения и объёма дела. Въезд в какой бы ни было город, хоть даже в столицу, всегда как-то бледен; сначала всё серо и однообразно: тянутся бесконечные заводы да фабрики, закопчённые дымом, а потом уже выглянут углы шестиэтажных домов, магазины, вывески, громадные перспективы улиц, все в колокольнях, колоннах, статуях, башнях, с городским блеском, шумом и громом и всем, что на диво произвела рука и мысль человека. Как произвелись первые покупки, читатель уже видел; как пойдёт дело далее, какие будут удачи и неудачи герою, как придётся разрешить и преодолеть ему более трудные препятствия, как предстанут колоссальные образы, как двинутся сокровенные рычаги широкой повести, раздастся далече её горизонт, и вся она примет величавое лирическое течение, то увидит потом. Ещё много пути предстоит совершить всему походному экипажу, состоящему из господина средних лет, брички, в которой ездят холостяки, лакея Петрушки, кучера Селифана и тройки коней, уже известных поимянно от Заседателя до подлеца чубарого. Итак, вот весь налицо герой наш, каков он есть! Но потребуют, может быть, заключительного определения одной чертою: кто же он относительно качеств нравственных? Что он не герой, исполненный совершенств и добродетелей, — это видно. Кто же он? Стало быть, подлец? Почему же подлец? Зачем же быть так строго к другим? Теперь у нас подлецов не бывает: есть люди благонамеренные, приятные, а таких, которые бы на всеобщий позор выставили свою физиогномию под публичную оплеуху, отыщется разве каких-нибудь два-три человека, да и те уже говорят теперь о добродетели. Справедливее всего назвать его: хозяин, приобретатель. Приобретение — вина всего: из-за него произвелись дела, которым свет даёт название *не очень чистых*. Правда, в таком характере есть уже что-то отталкивающее, и тот же читатель, который на жизненной своей дороге будет дружен с таким человеком, будет водить с ним хлеб-соль и проводить приятно время, станет глядеть на него косо, если он очутится героем драмы или поэмы. Но мудр тот, кто не гнушается никаким характером, но, вперя в него испытующий взгляд, изведывает его до первоначальных причин. Быстро всё превращается в человеке; не успевшь оглянуться, как уже вырос внутри страшный червь, самовластно обративший к себе все жизненные соки. И не раз не только широкая страсть, но ничтожная страстишка к чему-нибудь мелкому разрасталась в рождённом на лучшие подвиги, заставляла его позабывать великие и святые обязанности и в ничтожных побрякушках видеть великое и святое. Бесчисленные, как морские пески, человеческие страсти и все не похожи одна на другую, и все они, низкие и прекрасные, все вначале покорны человеку и потом уже становятся страшными властелинами его. Блажен избравший себе из всех прекраснейшую страсть: растёт и десятируется с каждым часом и минутой безмерное его блаженство, и входит он глубже и глубже в бесконечный рай своей души. Но

есть страсти, которых избранье не от человека. Уже родились они с ним в минуту рождения его в свет, и не дано ему сил отклониться от них. Высшими начертаньями они ведутся, и есть в них что-то вечно зовущее, неумолкающее во всю жизнь. Земное великое поприще суждено совершить им: всё равно, в мрачном ли образе, или пронесшись светлым явлением, возрадуящим мир, — одинаково вызваны они для неведомого человеком блага. И, может быть, в сем же самом Чичикове страсть, его влекущая, уже не от него, и в холодном его существовании заключено то, что потом повергнет в прах и на колени человека пред мудростью небес. И ещё тайна, почему сей образ предстал в ныне являющейся на свет поэме.

Но не то тяжело, что будут недовольны героем: тяжело то, что живёт в душе неотразимая уверенность, что тем же самым героем, тем же самым Чичиковым были бы довольны читатели. Не загляни автор поглубже ему в душу, не шевельни на дне её того, что ускользает и прячется от света, не обнаружь сокровеннейших мыслей, которых никому другому не вверяет человек, а покажи его таким, каким он показался всему городу, Манилову и другим людям, — и все были бы раздешеньки и приняли бы его за интересного человека. Нет нужды, что ни лицо, ни весь образ его не метался бы, как живой, пред глазами: зато, по окончании чтения, душа не встревожена ничем, и можно обратиться вновь к карточному столу, тешащему всю Россию. Да, мои добрые читатели, вам бы не хотелось видеть обнаруженную человеческую бедность. «Зачем?» говорите вы: «к чему это? Разве мы не знаем сами, что есть много презренного и глупого в жизни? И без того случается нам часто видеть то, что вовсе неутешительно. Лучше же представляйте нам прекрасное, увлекательное. Пусть лучше позабудемся мы!» — «Зачем ты, брат, говоришь мне, что дела в хозяйстве идут скверно?» говорит помещик приказчику: «я, брат, это знаю без тебя; да у тебя речей разве нет других, что ли? Ты дай мне позабыть это, не знать этого — я тогда счастлив». И вот те деньги, которые бы поправили сколько-нибудь дело, идут на разные средства для приведенья себя в забвение. Спит ум, может быть, обретший внезапный родник великих средств; а там имение бух с аукциона — и пошёл помещик забываться по миру, с душою, от крайности готовою на низости, которых бы сам ужаснулся прежде.

Ещё падёт обвинение на автора со стороны так называемых патриотов, которые спокойно сидят себе по углам и занимаются совершенно посторонними делами, накапливают себе капиталы, устраивая судьбу свою на счёт других; но как только случится что-нибудь, по мнению их, оскорбительное для отечества, появится какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда, они выбегут со всех углов, как пауки, увидевшие, что запуталась в паутину муха, и подымут вдруг крики: «Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом? Ведь это всё, что

ни описано здесь, это всё наше, — хорошо ли это? А что скажут иностранцы? Разве весело слышать дурное мнение о себе? Думают: разве это не больно? Думают: разве мы не патриоты?» На такие мудрые замечания, особенно насчёт мнения иностранцев, признаюсь, ничего нельзя прибавить в ответ. А разве вот что: жили в одном отдалённом уголке России два обитателя. Один был отец семейства, по имени Кифа Мокиевич, человек нрава кроткого, проводивший жизнь халатным образом. Семейством своим он не занимался; существование его было обращено более в умозрительную сторону и занято следующим, как он называл, философическим вопросом: «Вот, например, зверь», говорил он, ходя по комнате: «зверь родится нагишом. Почему же именно нагишом? Почему не так, как птица: почему не вылупливается из яйца? Как, право, того: совсем не поймёшь натуры, как побольше в неё углубишься!» Так мыслил обитатель Кифа Мокиевич. Но не в этом ещё главное дело. Другой обитатель был Мокий Кифович, родной сын его. Был он то, что называют на Руси богатырь, и в то время, когда отец занимался рождением зверя, двадцатилетняя плечистая натура его так и порывалась развернуться. Ни за что не умел он взяться слегка: всё — или рука у кого-нибудь затрешит, или волдырь вскочит на чьём-нибудь носу. В доме и в соседстве всё — от дворовой девки до дворовой собаки — бежало прочь, его заидя; даже собственную кровать в спальне изломал он в куски. Таков был Мокий Кифович, а впрочем, он был доброй души. Но не в этом ещё главное дело. А главное дело вот в чём. «Помилуй, батюшка барин, Кифа Мокиевич», говорила отцу и своя, и чужая дворня: «что это у тебя за Мокий Кифович? Никому нет от него покоя, такой приперть¹!» — «Да, шаловлив, шаловлив», говорил обыкновенно на это отец: «да ведь как быть? Дратся с ним поздно, да и меня же все обвинят в жестокости; а человек он честолюбивый; укори его при другом-третьем — он уймётся, да ведь гласность-то — вот беда! город узнает, назовёт его совсем собакой. Что, право, думают, мне разве не больно? разве я не отец? Что занимаюсь философией, да иной раз нет времени, так уж я и не отец? Ан, вот нет же, отец! отец, чёрт их побери, отец! У меня Мокий Кифович вот тут сидит, в сердце!» Тут Кифа Мокиевич бил себя весьма сильно в грудь кулаком и приходил в совершенный азарт. «Уж если он и останется собакой, так пусть же не от меня об этом узнают, пусть не я выдал его!» И показав такое отеческое чувство, он оставлял Мокия Кифовича продолжать богатырские свои подвиги, а сам обращался вновь к любимому предмету, задавая себе вдруг какой-нибудь подобный вопрос: «Ну, а если бы слон родился в яйце, ведь скорлупа, чай, сильно бы толста была, — пушкой не прошибёшь; нужно какое-нибудь новое огнестрельное орудие выдумать». Так проводили жизнь два обитателя

¹ Приперть — притеснитель, обидчик.

мирного уголка, которые нежданно, как из окошка, выглянули в конце нашей поэмы, выглянули для того, чтобы отвечать скромно на обвинение со стороны некоторых горячих патриотов, до времени покойно занимающихся какой-нибудь философией или приращениями насчёт сумм нежно любимого ими отечества, думающих не о том, чтобы не делать дурного, а о том, чтобы только не говорили, что они делают дурное. Но нет, не патриотизм и не первое чувство суть причины обвинений: другое скрывается под ними. К чему таить слово? Кто же, как не автор, должен сказать святую правду? Вы боитесь глубоко устремлённого взора, вы страшитесь сами устремить на что-нибудь глубокий взор, вы любите скользнуть по всему недумаящими глазами. Вы посмеётесь даже от души над Чичиковым; может быть, даже похвалите автора — скажете: «Однако же кое-что он ловко подметил! должен быть весёлого нрава человек!» И после таких слов, с удвоившеюся гордостью обратитесь к себе, самодовольная улыбка покажется на лице вашем, и вы прибавите: «А ведь должно согласиться, престранные и пресмешные бывают люди в некоторых провинциях, да и подлецы притом немалые!» А кто из вас, полный христианского смирения, не гласно, а в тишине, один, в минуты уединённых бесед с самим собою, углубит внутрь собственной души сей тяжёлый запрос: «А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова?» Да, как бы не так! А вот пройди в это время мимо его какой-нибудь его же знакомый, имеющий чин ни слишком большой, ни слишком малый, — он в ту же минуту толкнёт под руку своего соседа и скажет ему, чуть не фыркнув от смеха: «Смотри, смотри: вон Чичиков, Чичиков пошёл!» И потом, как ребёнок, позабыв всякое приличие, должное званию и летам, побежит за ним вдогонку, поддразнивая сзади и приговаривая: «Чичиков! Чичиков! Чичиков!»

Но мы стали говорить довольно громко, позабыв, что герой наш, спавший во всё время рассказа его повести, уже проснулся и легко может услышать так часто повторяемую свою фамилию. Он же человек обидчивый и недоволен, если о нём изъясняются неуважительно. Читателю с полугоря, рассердится ли на него Чичиков, или нет, но что до автора, то он ни в каком случае не должен ссориться со своим героем: ещё немало пути и дороги придётся им пройти вдвоём рука в руку; две большие части впереди — это не безделица.

«Эхе-хе! что ж ты?» сказал Чичиков Селифану: «ты?..»

«Что?» сказал Селифан медленным голосом.

«Как что? Гусь ты! Как ты едешь? Ну же, потрогивай!»

И в самом деле Селифан давно уже ехал, зажмуря глаза, изредка только потряхивая впросонках вожжами по бокам дремавших тоже лошадей; а с Петрушки уже давно, не весть в каком месте, слетел картуз, и он сам, опрокинувшись назад, уткнул свою голову в колено Чичикову, так что тот должен был дать ей щелчка. Селифан приободрился и, отшлёпавши несколько раз по

спине чубарого, после чего тот пустился рысцой, да помахавши сверху кнутом на всех, примолвил тонким певучим голоском: «Не бойся!» Лошадки расшевелились и понесли как пух лёгонькую бричку. Селифан только помахивал да покрикивал: «эх! эх! эх!», плавно подсакивая на козлах, по мере того, как тройка то взлетала на пригорок, то неслась духом с пригорка, которыми была усеяна вся столбовая дорога, стремившаяся чуть заметным накатом вниз. Чичиков только улыбался, слегка подлётывая на своей кожаной подушке, ибо любил быструю езду. И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда «чёрт побери всё», его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит: летят вёрсты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с тёмными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога пивесть куда в пропадающую даль; и что-то страшное заключено в сем быстром мелькании, где не успеваешь означиться пропадающий предмет, только небо над головою да лёгкие тучи, да продирающийся месяц — одни кажутся недвижны. Эх, тройка! птица-тройка! Кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты могла только родиться, — в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать вёрсты, пока не зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьём, с одним топором да долотом, снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит чёрт знает на чём, а привстал, да замахнулся, да затянул песню — кони вихрем, спицы в колёсах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход! и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух.

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несёшься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, всё отстаёт и остаётся позади. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони. — что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню — дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится, вся вдохновенная богом!.. Русь, куда ж несёшься ты, дай ответ? Не даёт ответа. Чудным звоном заливаются колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо всё, что ни есть на земле, и косясь постоянно и дают ей дорогу другие народы и государства.

Виссарион Григорьевич БЕЛИНСКИЙ

* 1811—1848 *

ИЗ СТАТЕЙ В. Г. БЕЛИНСКОГО

Повести г. Гоголя ~~народны~~ в высочайшей степени; но я не хочу слишком распространяться о их народности, ибо народность есть не достоинство, а необходимое условие истинно художественного произведения, если под народностию должно разуметь верность изображения нравов, обычаев и характера того или другого народа, той или другой страны. Жизнь всякого народа проявляется в своих, ей одной свойственных формах, следовательно если изображение жизни *верно*, то и *народно*. Народность, чтобы отразиться в поэтическом произведении, не требует такого глубокого изучения со стороны художника, как обыкновенно думают. Поэту стоит только мимоходом взглянуть на ту или другую жизнь, и она уже усвоена им. Как малороссу, г. Гоголю с детства знакома жизнь малороссийская, но народность его поэзии не ограничивается одною Малороссиею. В его «Записках сумасшедшего», в его «Невском проспекте» нет ни одного хохла, все русские, и, вдобавок, ещё немцы; а каково изображены им эти русские и эти немцы! Каков Шиллер и Гофман! Замечу здесь мимоходом, что, право, пора бы нам перестать хлопотать о народности, так же как пора бы перестать писать, не имея таланта; ибо эта народность очень похожа на тень в басне Крылова: г. Гоголь о ней нимало не думает, и она сама напрашивается к нему, тогда как многие из всех сил гоняются за нею и ловят — одну тривиальность.

«О русской повести и повестях г. Гоголя», 1835 г.

У истинного таланта каждое лицо — тип, и каждый тип для читателя есть *знакомый незнакомец*. Не говорите, вот человек с огромною душою, с пылкими страстями, с обширным умом, но

ограниченным рассудком, который до такого бешенства любит свою жену, что готов удавить её руками при малейшем подозрении в неверности — скажите проще и короче: вот Отелло! Не говорите: вот человек, который глубоко понимает назначение человека и цель жизни, который стремится делать добро, но, лишённый энергии души, не может сделать ни одного доброго дела и страдает от сознания своего бессилия — скажите: вот Гамлет! Не говорите: вот чиновник, который подл по убеждению, зловерен благонамеренно, преступен добросовестно — скажите: вот Фамусов! Не говорите: вот человек, который подличает из выгод, подличает бескорыстно, по одному влечению души — скажите: вот Молчалин! Не говорите: вот человек, который во всю жизнь не ведал ни одной человеческой мысли, ни одного человеческого чувства, который во всю жизнь не знал, что у человека есть страдания и горести, кроме холода, бессонницы, клопов, блох, голода и жажды, есть восторги и радости, кроме спокойного сна, сытного стола, цветочного чаю, что в жизни человека бывают случаи поважнее съеденной дыни, что у него есть занятия и обязанности, кроме ежедневного осмотра своих сундуков, амбаров и хлевов, есть честолюбие выше уверенности, что он первая персона в каком-нибудь захолустьи; о, не тратьте так много фраз, так много слов — скажите просто: вот Иван Иванович Перерепенко, или: вот Иван Никифорович Довгочухи! И поверьте, вас скорее поймут все. В самом деле, Онегин, Ленский, Татьяна, Зарецкий, Репетилов, Хлёстова, Тугоуховский, Плагон Михайлович Горич, княжна Мими¹, Пульхерия Ивановна, Афанасий Иванович, Шиллер², Пискарьев, Пирогов: разве все эти собственные имена теперь уже не нарицательные? И, боже мой! как много смысла заключает в себе каждое из них! Это повесть, роман, история, поэма, драма, многотомная книга; короче: целый мир в одном, только в одном слове!

«О русской повести и повестях г. Гоголя», 1835 г.

Литература наша... постоянно стремилась к самобытности, народности, из риторической стремилась сделаться естественною, натуральною. Это стремление, ознаменованное заметными и постоянными успехами, и составляет смысл и душу теории нашей литературы. И мы не обинуясь скажем, что ни в одном русском писателе это стремление не достигло такого успеха, как в Гоголе. Это могло совершиться только через исключительное обращение искусства к действительности, помимо всяких идеалов. Для этого нужно было обратить всё внимание на толпу, на массу, изображать людей обыкновенных, а не приятные только исключения из общего правила, которые всегда соблазняют поэтов на идеализм.

¹ Героиня повести 30-х годов «Княжна Мими» В. Ф. Одоевского.
² См. «Невский проспект» Н. В. Гоголя.

зирование и носят на себе чужой отпечаток. Это великая заслуга со стороны Гоголя, но это-то люди старого образования и вменяют ему в великое преступление перед законами искусства. Этим он совершенно изменил взгляд на самое искусство. К сочинениям каждого из поэтов русских можно, хотя и с натяжкой, приложить старое и ветхое определение поэзии, как «украшенной природы»; но в отношении к сочинениям Гоголя этого уже невозможно сделать. К ним идёт другое определение искусства — как воспроизведение действительности во всей её истине. Тут всё дело в *типах*, а *идеал* тут понимается не как украшение (следовательно, ложь), а как отношения, в которые автор ставит друг к другу созданные им типы, сообразно с мыслию, которую он хочет развить своим произведением...

«Что за охота наводнять литературу мужиками?» — восклицают аристократы известного разряда. В их глазах писатель — ремесленник, которому как что закажут, так он и делает. Им в голову не входит, что в отношении к выбору предметов сочинения писатель не может руководствоваться ни чуждою ему волею, ни даже собственным произволом, ибо искусство имеет свои законы, без уважения которых нельзя хорошо писать. Оно прежде всего требует, чтобы писатель был верен собственной натуре, своему таланту, своей фантазии. А чем объяснить, что один любит изображать предметы весёлые, другой — мрачные, если не натурою, характером и талантом поэта? Кто что любит, чем интересуется, тот и знает лучше, а что лучше знает, тот лучше и изображает. Вот самое законное оправдание поэта, которого упрекают за выбор предметов; оно не удовлетворительно только для людей, которые ничего не смыслят в искусстве и грубо смешивают его с ремеслом. Природа — вечный образец искусства, а величайший и благороднейший предмет в природе — человек. А разве мужик — не человек? — Но что может быть интересного в грубом, необразованном человеке? — Как что? — Его душа, ум, сердце, страсти, склонности, — словом, всё то же, что и в образованном человеке. Положим, последний выше первого; но разве ботаник интересуется только садовыми, улучшенными искусством растениями, презирая их полевые, дико растущие первообразы? Разве для анатомика и физиолога организм дикого австралийца не так же интересен, как и организм просвещённого европейца! На каком же основании искусство в этом отношении должно так разниться от науки? А потом — вы говорите, что образованный человек всё выше необразованного. С этим нельзя не согласиться с вами, но не безусловно. Конечно, самый пустой светской человек несравненно выше мужика, но в каком отношении? Только в светском образовании, а это несколько не помешает иному мужику быть выше его, например, со стороны ума, чувства, характера. Образование только развивает нравственные силы человека, но не даёт их; даёт их человеку природа. И в этой раздаче драгоценнейших даров своих она действует слепо, не разбирая сосло-

ний... Если из образованных классов общества выходит больше замечательных людей, — это потому, что тут больше средств к развитию, а совсем не потому, чтобы природа была для людей низших классов скупее в раздаче даров своих...

Остаётся упомянуть ещё о нападках на современную литературу и на натурализм вообще с эстетической точки зрения во имя чистого искусства, которое само по себе цель и вне себя не признаёт никаких целей. В этой мысли есть основание, но её преувеличенность заметна с первого взгляда. Мысль эта чисто немецкого происхождения; она могла родиться только у народа созерцательного, мыслящего и мечтающего и никак не могла бы явиться у народа практического, общественность которого для всех и каждого представляет широкое поле для живой деятельности. Что такое чистое искусство, — этого хорошо не знают сами поборники его, и оттого оно является у них каким-то идеалом, а не существует фактически. Оно, в сущности, есть дурная крайность другой дурной крайности, то есть искусства дидактического, поучительного, холодного, сухого, мёртвого, которого произведения не иное что, как риторические упражнения на заданные темы. Без всякого сомнения, искусство прежде всего должно быть искусством, а потом уже оно может быть выражением духа и направления общества в данную эпоху. Какими бы прекрасными мыслями ни было одушевлено стихотворение, как бы ни сильно отзывалось оно современными вопросами, но если в нём нет поэзии, — в нём не может быть ни прекрасных мыслей и никаких вопросов, и всё, что можно заметить в нём, — это разве прекрасное намерение, дурно выполненное. Когда в романе или повести нет образов и лиц, нет характеров, нет ничего *типического*, — как бы верно и тщательно ни было списано с натуры всё, что в нём рассказывается, читатель не найдёт тут никакой натуральности, не заметит ничего верно подмеченного, ловко схваченного. Лица будут перемешиваться между собою в его глазах; в рассказе он увидит путаницу непонятных происшествий. Невозможно безнаказанно нарушать законы искусства. Чтобы списывать верно с натуры, мало уметь писать, то есть владеть искусством писца или писаря; надобно уметь явления действительности провести через свою фантазию, дать им новую жизнь. Хорошо и верно изложенное следственное дело, имеющее романический интерес, не есть роман и может служить разве только материалом для романа, то есть подать поэту повод написать роман. Но для этого он должен проникнуть мыслию во внутреннюю сущность дела, отгадать тайные душевные побуждения, заставившие эти лица действовать так, схватить ту точку этого дела, которая составляет центр круга этих событий, даёт им смысл чего-то единого, полного, целого, замкнутого в самом себе. А это может сделать только поэт...

Но, вполне признавая, что искусство прежде всего должно быть искусством, мы тем не менее думаем, что мысль о каком-то

чистом
сфере,
есть м
и нигд
подраз
тельно
зом, и
дробн
нужен
что эт
архив.
жет об
кусстве
роль, а
поэзии
фантаз
произв
дивить
объемл
требую
вредит
Искусс
как бы
одинок
ностию
человек
меется,
ния дей
есть оп
имеет с
творени
мому н
В роман
зорека
говым и
убежден
условно
всего —
мени. Д
чем на
В на
прежде,
что в на
сделали
других
Мы с
говорят
бывало

чистом, отрешённом искусстве, живущем в своей собственной сфере, не имеющей ничего общего с другими сторонами жизни, есть мысль отвлечённая, мечтательная. Такого искусства никогда и нигде не бывало. Без всякого сомнения, жизнь разделяется и подразделяется на множество сторон, имеющих свою самостоятельность; но эти стороны сливаются одна с другою живым образом, и нет между ними резкой разделяющей их черты. Как ни дробите жизнь, она всегда едина и цельна. Говорят: для науки нужен ум и рассудок, для творчества — фантазия, и думают, что этим порешили дело начисто, так что хоть сдавай его в архив. А для искусства не нужно ума и рассудка? А учёный может обойтись без фантазии? Не правда! Истина в том, что в искусстве фантазия играет самую деятельную и первенствующую роль, а в науке — ум и рассудок. Бывают, конечно, произведения поэзии, в которых ничего не видно, кроме сильной блестящей фантазии; но это вовсе не общее правило для художественных произведений. В творениях Шекспира не знаешь, чему больше удивиться — богатству ли творческой фантазии или богатству всеобъемлющего ума. Есть роды учёности, которые не только не требуют фантазии, в которых эта способность могла бы только вредить; но никак этого нельзя сказать об учёности вообще. Искусство есть воспроизведение действительности, повторенный, как бы вновь созданный мир: может ли же оно быть какою-то одинокою, изолированою от всех чуждых ему влияний деятельностью? Может ли поэт не отразиться в своём произведении как человек, как характер, как натура, — словом, как личность! Разумеется, нет, потому что и самая способность изображать явления действительности без всякого отношения к самому себе — есть опять-таки выражение натуры поэта. Но и эта способность имеет свои границы. Личность Шекспира просвечивает сквозь его творения, хотя и кажется, что он так же равнодушен к изображаемому им миру, как и судьба, спасающая или губящая его героев. В романах Вальтера Скотта невозможно не увидеть в авторе человека более замечательного талантом, нежели сознательно широким пониманием жизни, торж, консерватора и аристократа по убеждению и привычкам. Личность поэта не есть что-нибудь безусловное, особо стоящее, вне всяких влияний извне. Поэт прежде всего — человек, потом гражданин своей земли, сын своего времени. Дух народа и времени на него не могут действовать менее, чем на других...

В наше время искусство и литература больше, чем когда-либо прежде, сделались выражением общественных вопросов, потому что в наше время эти вопросы стали общие, доступные всем, яснее, сделались для всех интересом первой степени, стали во главе всех других вопросов...

Мы сказали, что чистого, отрешённого, безусловного, или, как говорят философы, *абсолютного*, искусства никогда и нигде не бывало ..

Всего естественнее искать так называемого искусства у греков. Действительно, красота, составляющая существенный элемент искусства, была едва ли не преобладающим элементом жизни этого народа. Оттого искусство его ближе всякого другого к идеалу так называемого чистого искусства. Но тем не менее красота в нём была больше существенною формою всякого содержания, нежели самим содержанием. Содержание же ему давали и религия, и гражданская жизнь, но только всегда под очевидным преобладанием красоты. Стало быть, и самое греческое искусство только ближе других к идеалу абсолютного искусства, но нельзя назвать его абсолютным, то есть независимым от других сторон национальной жизни. Обыкновенно ссылаются на Шекспира и особенно на Гёте, как на представителей свободного, чистого искусства, но это одно из самых неудачных указаний. Что Шекспир — величайший творческий гений, поэт по преимуществу, в этом нет никакого сомнения; но те плохо понимают его, кто из-за его поэзии не видит богатого содержания, неистощимого рудника уроков и фактов для психолога, философа, историка, государственного человека и т. д. Шекспир всё передаёт через поэзию, но передаваемое ни в коем случае от того, чтобы принадлежать одной поэзии. Вообще характер нового искусства — перевес важности содержания над важностью формы, тогда как характер древнего искусства — равновесие содержания и формы. Ссылка на Гёте ещё неудачнее, нежели ссылка на Шекспира...

...«Фауст» Гёте, конечно, везде — великое создание. На него в особенности любят указывать, как на образец чистого искусства, не подчиняющегося ничему, кроме собственных, одному ему свойственных законов. Но однако ж — не в осуд будь сказано почтенным рыцарям чистого искусства — «Фауст» есть полное отражение всей жизни современного ему немецкого общества. В нём выразилось всё философское движение Германии в конце прошлого и начале настоящего столетия. Недаром последователи школы Гегеля цитовали беспрестанно в своих лекциях и философских трактатах стихи из «Фауста». Недаром также во второй части «Фауста» Гёте беспрестанно впадал в аллегорию, часто тёмную и непонятную по отвлечённости идей. Где же тут чистое искусство?

Мы видели, что и греческое искусство только ближе всякого другого к идеалу так называемого чистого искусства, но не осуществляет его вполне; что же касается до новейшего искусства, оно всегда было далеко от этого идеала, а в настоящее время ещё больше отдалилось от него; но это-то и составляет его силу. Собственно художественный интерес не мог не уступить место другим важнейшим для человечества интересам, и искусство благородно взялось служить им в качестве его органа. Но от этого оно несколько не перестало быть искусством, а только получило новый характер. Отнимать у искусства право служить общественным интересам — значит не возвышать, а уничтожать его, потому

что это
дать его
кою пра
Гово
Англии
было на
детьми.
вал в эт
эстетиче
что иску
ние вове
данное
образам
тико-эко
действуя
такого-то
шилось в
живым
в верной
положен
улучшил
доказыва
логически
шают и
шеннейш
ние, равн
благосос
собствова
необходи
ство — на

...Я с т
донецкая,
Итак, я те
рая стала
сов, альфо
ней. Она в
историю, и
перь жизн
жизни...

что это значит лишать его самой живой силы, то есть мысли, делать его предметом какого-то сибаритского наслаждения, игрушкой праздных ленивцев....

Говорят, Диккенс своими романами сильно способствовал в Англии улучшению учебных заведений, в которых всё основано было на бесщадном дранье розгами и варварском обращении с детьми. Что ж тут дурного, спросим мы, если Диккенс действовал в этом случае, как поэт? Разве от этого романы его хуже в эстетическом отношении? Здесь явное недоразумение: видят, что искусство и наука не одно и то же, а не видят, что их различие вовсе не в содержании, а только в способе обрабатывать данное содержание. Философ говорит силлогизмами, поэт — образами и картинами, а говорят оба они одно и то же. Политико-эконом, вооружась статистическими числами, *доказывает*, действуя на ум своих читателей или слушателей, что положение такого-то класса в обществе много улучшилось или много ухудшилось вследствие таких-то и таких-то причин. Поэт, вооружась живым и ярким изображением действительности, *показывает* в верной картине, действуя на фантазию своих читателей, что положение такого-то класса в обществе действительно много улучшилось или ухудшилось от таких-то и таких-то причин. Один *доказывает*, другой *показывает*, и оба *убеждают*, только один логическими доводами, другой — картинами. Но первого слушают и понимают немногие, другого — все. Высочайший и священнейший интерес общества есть его собственное благосостояние, равно простёртое на каждого из его членов. Путь к этому благосостоянию — сознание, а сознанию искусство может способствовать не меньше науки. Тут и наука и искусство равно необходимы, и ни наука не может заменить искусства, ни искусство — науки.

«Взгляд на русскую литературу 1847 г.», 1843.

ПИСЬМА В. Г. БЕЛИНСКОГО

В. П. Боткину, 8 сентября 1841 г., СПб

...Я с трудом и болью расстаюсь с старою идеею, отрицаю её донельзя, а в новую перехожу со всем фанатизмом прозелита. Итак, я теперь в новой крайности, — эта идея *социализма*, которая стала для меня идеею идей, бытием бытия, вопросом вопросов, альфою и омегою веры и знания. Всё из неё, для неё и к ней. Она вопрос и решение вопроса. Она (для меня) поглотила историю, и религию, и философию. И потому ею я объясняю теперь жизнь мою, твою и всех, с кем встречался я на пути к жизни...

Социальность, социальность — или смерть! Вот девиз мой. Что мне в том, что живёт общее, когда страдает личность? Что мне в том, что гений на земле живёт в небе, когда толпа валяется в грязи? Что мне в том, что я понимаю идею, что мне открыт мир идеи в искусстве, в религии, в истории, когда я не могу этим делиться со всеми, кто должен быть моими братьями по человечеству, моими ближними во Христе, но кто — мне чужие и враги по своему невежеству? Что мне в том, что для избранных есть блаженство, когда бóльшая часть и не подозревает его возможности? Прочь же от меня блаженство, если оно достояние мне одному из тысяч! Не хочу я его, если оно у меня не общее с меньшими братьями моими! Сердце моё обливается кровью и судорожно содрогается при взгляде на толпу и её представителей. Горе, тяжёлое горе овладевает мною при виде и босоногих мальчишек, играющих на улице в бабки, и оборванных нищих, и пьяного извозчика, и идущего с развода солдата, и бегущего с портфелем под мышкой чиновника, и довольного собою офицера, и гордого вельможи. Подавши грош солдату, я чуть не плачу, подавши грош нищей, я бегу от неё, как будто сделавши худое дело и как будто не желая слышать шелеста собственных шагов своих. И это жизнь: сидеть на улице в лохмотьях, с идиотским выражением на лице, набирать днём несколько грошей, а вечером пропить их в кабаке — и люди это видят, и никому до этого нет дела!.. И это общество, на разумных началах существующее, явление действительности!..

И после этого имеет ли право человек забываться в искусстве, в знании! Я ожесточён против всех субстанциональных начал, связывающих в качестве верования волю человека! Отрицание — мой бог. В истории мои герои — разрушители старого — Лютер, Вольтер, энциклопедисты, террористы, Байрон («Кайн») и т. п. Рассудок для меня теперь выше разумности (разумеется — непосредственной), и потому мне отраднее кощунства Вольтера, чем признание авторитета религии, общества, кого бы то ни было! Знаю, что средние века — великая эпоха, понимаю святость, поэзию, грандиозность религиозности средних веков; но мне приятнее XVIII век — эпоха падения религии: в средние века жгли на кострах еретиков, вольнодумцев, колдунов; в XVIII — рубили на гильотине головы аристократам, попам и другим врагам бога, разума и человечности. И настанет время — я горячо верю этому, настанет время, когда никого не будут жечь, никому не будут рубить головы, когда преступник, как милости и спасения, будет молить себе казни, и не будет ему казни, но жизнь останется ему в казнь, как теперь смерть; когда не будет бессмысленных форм и обрядов, не будет договоров и условий на чувство... Не будет богатых, не будет бедных, ни царей и подданных, но будут братья, будут люди!..

ПИСЬМО К. ГОГОЛЮ¹

Вы только отчасти правы, увидав в моей статье *рассерженного* человека: этот эпитет слишком слаб и нежен для выражения того состояния, в какое привело меня чтение Вашей книги. Но Вы вовсе не правы, приписавши это Вашим, действительно не совсем лестным, отзывам о почитателях Вашего таланта. Нет, тут была причина более важная. Оскорблённое чувство самолюбия ещё можно перенести, и у меня достало бы ума промолчать об этом предмете, если б всё дело заключалось только в нём; но нельзя перенести оскорблённого чувства истины, человеческого достоинства; нельзя умолчать, когда под покровом религии и защитой кнута проповедуют ложь и безправственность как истину и добродетель.

Да, я люблю Вас со всею страстью, с какой человек, кровно связанный со своею страной, может любить её надежду, честь, славу, одного из великих вождей её на пути сознания, развития, прогресса. И Вы имели основательную причину хоть на минуту выйти из спокойного состояния духа, потерявши право на такую любовь. Говорю это не потому, чтобы я считал любовью мою наградою великого таланта, а потому, что, в этом отношении, представляю не одно, а множество лиц, из которых ни Вы, ни я не видали самого большего числа и которые в свою очередь тоже никогда не видали Вас. Я не в состоянии дать Вам ни малейшего понятия о том негодовании, которое возбудила Ваша книга во всех благородных сердцах, ни о том вопле дикой радости, который издали, при появлении её, все враги Ваши — и нелитературные Чичиковы, Ноздрёвы, Городничие и т. п., и литературные, которых имена Вам известны. Вы сами видите хорошо, что от Вашей книги отступились даже люди, по-видимому, одного духа с её духом. Если б она и была написана вследствие глубоко-искреннего убеждения, и тогда бы она должна была произвести на публику то же впечатление. И если её принимали все (за исключением немногих людей, которых надо винить и знать, чтоб не обрадоваться их одобрению) за хитрую, но чересчур перетоненную проделку для достижения небесным путём чисто земных целей — в этом виноваты только Вы. И это несколько не удивительно, а удивительно то, что Вы находите это удивительным. Я думаю, это оттого, что Вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль которого Вы так неудачно приняли на себя в своей фантастической книге. И это не потому, чтоб Вы не были мыслящим человеком, а потому, что Вы столько уже лет привыкли смотреть на Россию из Вашего *прекрасного далёка*; а ведь известно, что ничего нет легче, как издали видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть; потому, что Вы в этом *прекрасном далёке*

¹ Печатается с частичными сокращениями.

живёте совершенно чуждым ему, в самом себе, внутри себя, или в однообразии кружка, одинаково с Вами настроенного и бес- сильного противиться Вашему на него влиянию. Поэтому Вы не заметили, что Россия видит своё спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме¹, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, — права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполнение. А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр — не человек; страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: *Ваньками, Стешками, Васьками, Палашками*; страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей. Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть. Это чувствует даже само правительство (которое хорошо знает, что делают помещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых), — что доказывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу белых негров и комическим заменением однохвостого кнута трёххвостой плетью. Вот вопросы, которыми тревожно занята вся Россия в её апатическом² полусне! И в это-то время великий писатель, который своими дивно-художественными, глубоко-истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России, давши ей возможность взглянуть на себя самое, как будто в зеркале, — является с книгою, в которой во имя Христа и церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, ругая их *неумытыми рылами!*.. И это не должно было привести меня в негодование?.. Да если бы Вы обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел Вас, как за эти позорные строки... И после этого Вы хотите, чтобы верили искренности направления Вашей книги? Нет, если бы Вы действительно преисполнились истинною Христовой, а не дьяволовой учения, — совсем не то написали бы Вы Вашему адепту из помещиков. Вы написали бы ему, что так как его крестьяне — его братья во Христе, а как брат не может быть рабом своего брата, то он и должен или дать им свободу, или,

¹ *Пиетизм* — учение германских сектантов, возникшее в конце XVIII века, проповедующее религию чувства, не стеснённого обрядами; учение это выродилось в одну из самых лицемерных сект.

² *Апатия* — вялость, равнодушие.

хоть по крайней мере, пользоваться их трудами как можно льготнее для них, сознавая себя, в глубине своей совести, в ложном в отношении к ним положении. А выражение: *Ах, ты, неумытое рыло!* Да у какого Ноздрёва, какого Собакевича подслушали Вы его, чтобы передать миру как великое открытие в пользу и назидание русских мужиков, которые, и без того, потому и не умываются, что, поверив своим барам, сами себя не считают за людей? А Ваше понятие о национальном русском суде и расправе, идеал которого нашли Вы в словах глупой бабы в повести Пушкина и по разуму которого должно пороть и правого и виноватого? Да это и так у нас делается в частую, хотя чаще всего порют только правого, если ему нечем откупиться от преступления — быть *без вины виноватым!* И такая-то книга могла быть результатом трудного внутреннего процесса, высокого духовного просветления!.. Не может быть!.. Или Вы больны, и Вам надо спешить лечиться; или — не смею досказать моей мысли...

Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма¹ и мракобесия, панегирист² татарских нравов — что Вы делаете?.. Взгляните себе под ноги; ведь Вы стоите над бездною... неужели Вы, автор «Ревизора» и «Мёртвых душ», неужели Вы искренно, от души, пропели гимн гнусному русскому духовенству, поставив его неизмеримо выше духовенства католического? Положим, Вы не знаете, что второе когда-то было чем-то, между тем, как первое никогда ничем не было, кроме как слугою и рабом светской власти; но неужели же и в самом деле Вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадю, попову дочь и попова работника. Кого русский народ называет *дурья порода*?.. — Попов. Не есть ли поп на Руси, для всех русских, представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства? И будто всего этого Вы не знаете? Странно! По-Вашему, русский народ — самый религиозный в мире: ложь! Основа религиозности есть пиетизм, благоговение, страх божий. А русский человек произносит имя божие, почёсывая себе... Он говорит об образе: *годится — молиться, не годится — горшки покрывать*. Приглядитесь пристальнее, и Вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический³ народ. В нём ещё много суеверия, но нет и следа религиозности. Суеверие проходит с успехами цивилизации, но религиозность часто уживается и с ними; живой пример Франция, где и теперь много искренних, фанатических католиков между людьми просвещёнными и образованными и где многие, отложившись от христианства, всё ещё упорно стоят за какого-то бога. Русский народ не таков:

1 **Обскурантизм** — враждебное отношение к просвещению масс, человека, чрезмерно восхваляющий что-либо.

2 **Панегирист** — человек, чрезмерно восхваляющий что-либо.

³ Атеистический — не верующий в бога.

мистическая экзальтация¹ не в его натуре, у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме, и вот в этом-то, может быть, и заключается огромность исторических судеб его в будущем. Религиозность не привилась в нём, даже к духовенству; ибо несколько отдельных, исключительных личностей, отличавшихся тихою, холодною, аскетическою созерцательностью — ничего не доказывают. Большинство же нашего духовенства всегда отличалось только толстыми брюхами, теологическим педантизмом² да диким невежеством. Его грех обвинять в религиозной нетерпимости и фанатизме³; его скорее можно похвалить за образцовый индифференцизм в деле веры. Религиозность проявилась у нас только в раскольнических сектах, столь противоположных, по духу своему, массе народа и столь ничтожных перед нею числительно.

Не буду распространяться о Вашем дифирамбе⁴ любовной связи русского народа с его владыками. Скажу прямо: этот дифирамб ни в ком не встретил себе сочувствия и уронил Вас в глазах даже людей, в других отношениях очень близких к Вам по их направлению. Что касается до меня лично, предоставляю Вашей совести упиваться созерцанием божественной красоты самодержавия (оно покойно, да, говорят, и выгодно для Вас); только продолжайте благоразумно созерцать её из Вашего прекрасного далёка: вблизи-то она не так красива и не так безопасна. Замечу только одно. когда европейцем, особенно католиком, овладевает религиозный дух — он делается обличителем неправой власти, подобно еврейским пророкам, обличавшим в беззаконии сильных земли. У нас же наоборот, постигнет человека (даже порядочного) болезнь, известная у врачей-психиатров под именем *religiosa mania*⁵, он тотчас же земному богу подкурит больше, чем небесному, да ещё так хватит через край, что тот и хотел бы наградить его за рабское усердие, да видит, что этим окомпрометировал бы себя в глазах общества... Бестия наш брат, русский человек!..

Вспомнил я ещё, что в Вашей книге Вы утверждаете, как великую и неоспоримую истину, будто простому народу грамота не только не полезна, но положительно вредна. Что сказать Вам на это? Да простит Вас Ваш византийский бог за эту византийскую мысль, если только, передавши её бумаге, Вы не знали, что творили...

«Но, может быть, — скажете Вы мне, — положим, что я заблуждался, и все мои мысли ложь; но почему ж отнимают у меня

¹ Экзальтация — возбуждённое состояние.

² Теологический педантизм — стремление защищать церковные, религиозные верования без каких бы то ни было поправок, изменений.

³ Фанатизм — слепое, пламенное следование убеждениям.

⁴ Дифирамб — напыщенное восхваление.

⁵ *Religiosa mania* — душевная болезнь, связанная с повышенной религиозностью.

право заблуждаться и не хотят верить искренности моих заблуждений?» — Потому, отвечаю я Вам, что подобное направление в России давно уже не новость. Даже ещё недавно оно было вполне исчерпано Бурачком¹ с братиею. Конечно, в Вашей книге больше ума и даже таланта (хотя того и другого не очень богато в ней), чем в их сочинениях; зато они развили общее им с Вами учение с большей энергиею и с большею последовательностию, смело дошли до его последних результатов, всё отдали византийскому богу, ничего не оставили сатане; тогда как Вы, желая поставить по свече тому и другому, впали в противоречия, отстаивали, например, Пушкина, литературу и театр, которые с Вашей точки зрения, если б только Вы имели добросовестность быть последовательным, несколько не могут служить к спасению души, но много могут служить к её гибели. Чья же голова могла переварить мысль о тождественности Гоголя с Бурачком? Вы слишком высоко поставили себя во мнении русской публики, чтобы она могла верить в Вас искренности подобных убеждений. Что кажется естественным в глупцах, то не может казаться таким в гениальном человеке. Некоторые останавливались было на мысли, что Ваша книга есть плод умственного расстройств, близкого к положительному сумасшествию. Но они скоро отступились от такого заключения: ясно, что книга писалась не день, не неделю, не месяц, а может быть, год, два или три; в ней есть связь; сквозь небрежное изложение проглядывает обдуманность, а гимны властям предержащим хорошо устраивают земное положение набожного автора. Вот почему распространился в Петербурге слух, будто Вы написали эту книгу с целью попасть в наставники к сыну наследника. Ещё прежде этого в Петербурге сделалось известным Ваше письмо к Уварову², где Вы говорите с огорчением, что Вашим сочинениям в России дают превратный толк, затем обнаруживаете недовольство своими прежними произведениями и объявляете, что только тогда останетесь довольны своими сочинениями, когда тот, кто и т. д. Теперь судите сами, можно ли удивляться тому, что Ваша книга уронила Вас в глазах публики и как писателя и, ещё больше, как человека?

Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Её характер определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы, но, сдавленные тяжёлым гнѣтом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть ещё жизнь и движение вперёд. Вот почему звание писателя у нас так почтенно, почему у нас так

¹ Бурачок С. А. (1800—1878) — писатель, редактор реакционного журнала «Маяк», проповедовавшего полный застой в общественной жизни.
² Уваров С. С. (1786—1855), будучи министром народного просвещения, проводил политику воспитания юношества в духе «самодержавия, православия и народности».

лёгкок литературный успех, даже при маленьком таланте. Титло поэта, звание литератора у нас давно уже затмило мишуру, эполет и разноцветных мундиров. И вот почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление, даже и при бедности талантов, и почему так скоро падает популярность великих поэтов, искренно или неискренно отдающих себя в услужение православию, самодержавию и народности. Разительный пример — Пушкин, которому стоило написать только два-три верноподданнических стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви¹. И Вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что Ваша книга пала не от её дурного направления, а от резкости истин, будто бы высказанных Вами всем и каждому. Положим. Вы могли это думать о пишущей братии, но публика-то как могла попасть в эту категорию? Неужели в «Ревизоре» и в «Мёртвых душах» Вы не менее резко, с меньшею истиною и талантом, и менее горькие правды высказывали ей? И она, действительно, осердилась на Вас до бешенства, но «Ревизор» и «Мёртвые души» от этого не пали, тогда как Ваша последняя книга позорно провалилась сквозь землю. И публика тут права: она видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от мрака самодержавия, православия и народности и потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не прощает ему зловредной книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя ещё и в зародыше, свежего, здорового чутья; и это же показывает, что у него есть будущность. Если Вы любите Россию, порадитесь вместе со мною падению Вашей книги!..

Не без некоторого чувства самодовольства скажу Вам, что мне кажется, что я немного знаю русскую публику. Ваша книга испугала меня возможностью дурного влияния на правительство, на цензуру, но не на публику. Когда пронёсся в Петербурге слух, что правительство хочет напечатать Вашу книгу в числе многих тысяч экземпляров и продавать её по самой низкой цене, мои друзья приуныли; но я тогда же сказал им, что, несмотря ни на что, книга не будет иметь успеха и о ней скоро забудут. И действительно, она теперь памятнее всё^м статьями о ней, нежели сама собою. Да, у русского человека глубок, хотя и не развит ещё инстинкт истины!

Ваше обращение, пожалуй, могло быть и искренно. Но мысль — довести о нём до сведения публики — была самая несчастная. Времена наивного благочестия давно уже прошли и для нашего общества. Оно уже понимает, что молиться везде

¹ Эта мысль Белинского глубоко ошибочна. Великий критик-демократ не мог тогда знать всех обстоятельств жизни Пушкина последних лет. «Пожалование» Пушкина званием камер-юнкера было сделано Николаем I для того только, чтобы оскорбить поэта и окончательно лишить его возможности покинуть двор. Пушкин принял эту «милость» с резким возмущением, но он не мог выразить своё негодование открыто.

всё равно, и что в Иерусалиме ищут Христа только люди или никогда не носившие его в груди своей или потерявшие его. Кто способен страдать при виде чужого страдания, кому тяжело зрелище угнетения чуждых ему людей, — тот носит Христа в груди своей и тому незачем ходить пешком в Иерусалим. Смирение, проповедуемое Вами, во-первых, не ново, а, во-вторых, отзывается, с одной стороны, страшною гордостью, а с другой — самым позорным унижением своего человеческого достоинства. Мысль сделаться каким-то абстрактным¹ совершенством, стать выше всех смирением может быть плодом только или гордости или слабоумия и в обоих случаях ведёт неизбежно к лицемерию, ханжеству², китаизму. И при этом Вы позволили себе цинически грязно выражаться не только о других (это было бы только невежливо), но и о самом себе — это уже гадко, потому что, если человек, бьющий своего ближнего по щекам, возбуждает негодование, то человек, бьющий по щекам самого себя, возбуждает презрение. Нет! Вы только омрачены, а не просветлены; Вы не поняли ни духа, ни формы христианства нашего времени. Не истиной христианского учения, а болезненною боязнью смерти, чёрта и ада веет от Вашей книги. И что за язык, что за фразы! *«Дрянь и тряпка стал теперь всяк человек!»* Неужели Вы думаете, что сказать *всяк* вместо *всякий* — значит выразиться библейски? Какая это великая истина, что когда человек весь отдаётся лжи, его оставляют ум и талант! Не будь на Вашей книге выставлено Вашего имени и будь из неё исключены те места, где Вы говорите о самом себе как о писателе, кто бы подумал, что эта надутая и неопрятная шумиха слов и фраз — произведение пера автора *«Ревизора»* и *«Мёртвых душ»*.

Что касается до меня лично, повторяю Вам: Вы ошиблись, сочтя статью мою выражением досады за Ваш отзыв обо мне как об одном из Ваших критиков. Если б только это рассердило меня, я только об этом и отозвался бы с досадою, а обо всём остальном выразился бы спокойно и беспристрастно... Передо мною была Ваша книга, а не Ваши намерения. Я читал и перечитывал её сто раз, и всё-таки не нашёл в ней ничего, кроме того, что в ней есть, а то, что в ней есть, глубоко возмутило и оскорбило мою душу.

Если бы я дал полную волю моему чувству, письмо это скоро бы превратилось в толстую тетрадь. Я никогда не думал писать к Вам об этом предмете, хотя и мучительно желал этого и хотя Вы всем и каждому печатно дали право писать к Вам без церемоний, имея в виду одну правду. Живя в России, я не мог бы этого сделать, ибо тамошние Шпекины распечатывают чужие письма не из одного личного удовольствия, но и по долгу службы, ради доносов. Но нынешним летом начинающаяся чахотка прогнала меня за границу, и Некрасов переслал мне Ваше письмо

¹ Абстрактный — отвлечённый.

² Ханжество — притворная набожность.

в Зальцбрунн, откуда я сегодня же еду с Анненковым в Париж, через Франкфурт-на-Майне. Неожиданное получение Вашего письма дало мне возможность высказать Вам всё, что лежало у меня на душе против Вас по поводу Вашей книги. Я не умею говорить вполовину, не умею хитрить: это не в моей натуре. Пусть Вы или само время докажет мне, что я ошибался в моих о Вас заключениях — я первый порадуюсь этому, но не раскаюсь в том, что сказал Вам. Тут дело идёт не о моей или Вашей личности, а о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и Вас: тут дело идёт об истине, о русском обществе, о России. И вот моё последнее, заключительное слово: если Вы имели несчастье с гордым смирением отречься от Ваших истинно великих произведений, то теперь Вам должно с искренним смирением отречься от последней Вашей книги и тяжкий грех её издания в свет искупить новыми творениями, которые напомнили бы Ваши прежние.

Зальцбрунн, 15 июля н. с. 1847-го года.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ

<i>Летопись</i>	3
Героический эпос «Слово о полку Игореве» . .	6
<i>Повести</i>	23
Повесть об Евпатии Коловрате	—
Повесть о Ерше Ершовиче	25

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА

Михаил Васильевич Ломоносов

Ода на день восшествия на престол Елисаветы Петровны, 1747 г.	29
--	----

Гавриил Романович Державин

Отрывки из Оды Фелице	34
Осень во время осады Очакова	36
Памятник	37

Денис Иванович Фонвизин

Недоросль (в сокращении)	39
------------------------------------	----

Александр Николаевич Радищев

Путешествие из Петербурга в Москву (отры- вок)	63
Вольность (в сокращении — строфы 1, 12, 14, 22)	71

Николай Михайлович Карамзин

Бедная Лиза (отрывки)	72
---------------------------------	----

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА

Василий Андреевич Жуковский

Светлана	79
Лесной царь	82
Море	83

Кондратий Фёдорович Рылеев

К временщику	85
Песня	86
Гражданин	87
Смерть Ермака (дума)	88

Александр Сергеевич Грибоедов

Монологи Чацкого из «Горя от ума»	91
«Мильон терзаний» И. А. Гончарова (в со- кращении)	94

Александр Сергеевич Пушкин

ЛИРИКА	103—121
Цыганы	122
Евгений Онегин. Роман в стихах	131
Борис Годунов (в сокращении)	210

В. Г. Белинский

Сочинения Александра Пушкина (отрывки)	258
--	-----

Михаил Юрьевич Лермонтов

ЛИРИКА	269—286
Герой нашего времени (в сокращении)	287

В. Г. Белинский

«Герой нашего времени» (отрывки)	384
--	-----

Николай Васильевич Гоголь

Мёртвые души (в сокращении)	391
---------------------------------------	-----

Виссарион Григорьевич Белинский

Из статей В. Г. Белинского	495
Письма В. Г. Белинского	502
В. П. Боткину	—
Письмо к Гоголю	503

Составители: *И. Н. Кубиков и Н. Л. Бродский*

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Хрестоматия для 8-го класса средней школы.

Редактор *В. И. Зайцев*. Художник *С. Б. Телингатор*. Художественный редактор *Б. М. Кисин*. Технический редактор *В. В. Новоселова*. Корректор *А. А. Рукосуева*.

Подписано в печать с матриц 27/1 1969 г. 60×90^{1/16}. Типографская № 2. Печ. л. 32,0. Уч.-изд. л. 31,87. Тираж 700 тыс. экз. Зак. 1185.

Издательство «Просвещение» Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Отпечатано с матриц Саратовского полиграфкомбината на Калининском полиграфкомбинате детской литературы Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46. Заказ № 71.

Цена без переплета 80 коп. переплет бум. 10 коп., коленкор. 18 коп.